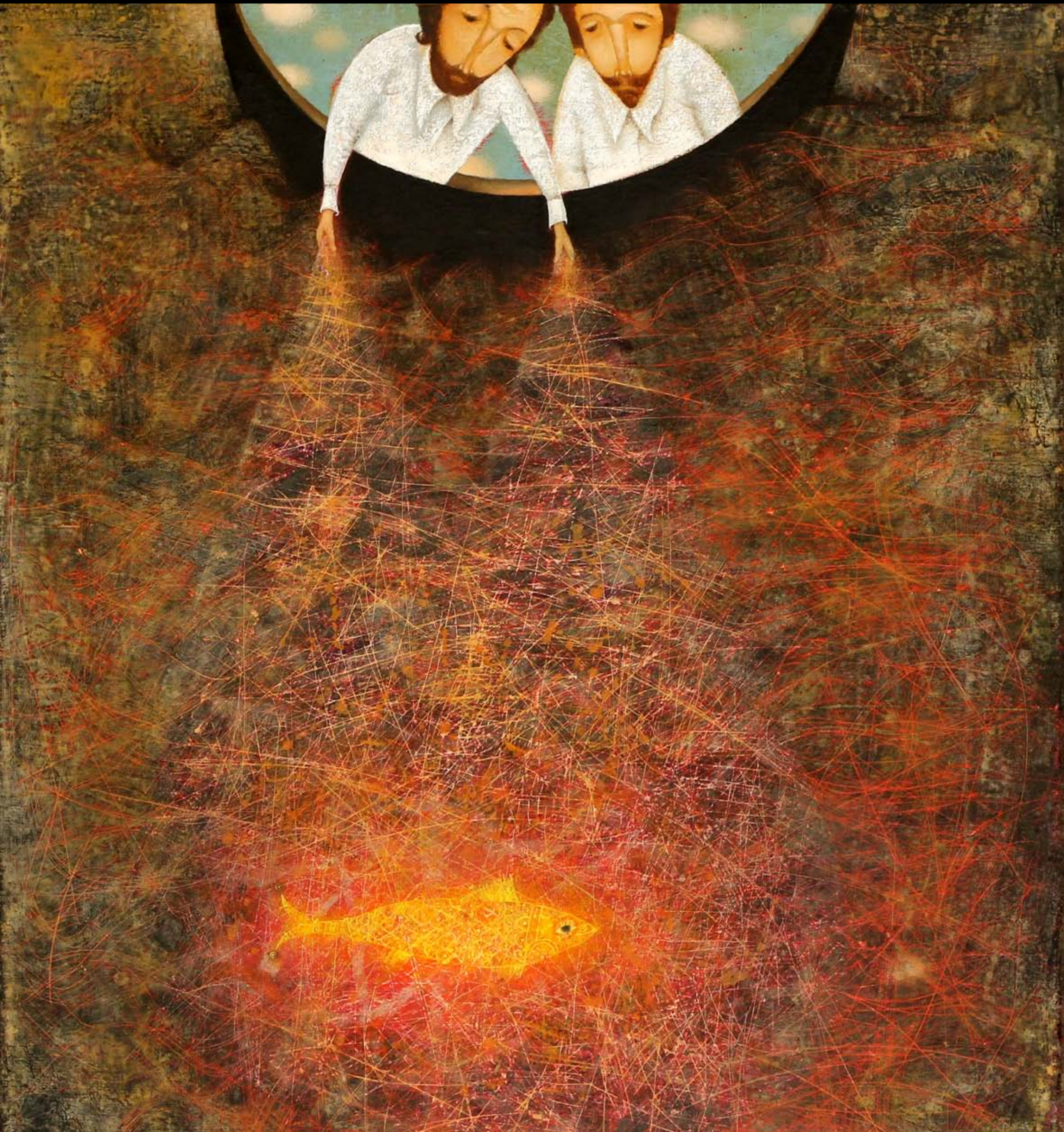
ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №5 | 2012



Белый день, Красный дом | 2012 | 75 × 90 | холст, масло

После | 2011 | 75 × 90 | холст, масло

Образы, созданные красноярским художником *Андреем Исаенковым*, до предела лаконичны по форме, но всегда предполагают многозначное и глубокое содержание. Жизнь современного человека и древнейшие символы схвачены мастером в момент взаимопроникновения, которое можно было бы назвать «постижением истины», «судьбой», «инсайтом». Диалог, который он ведёт со зрителем-собеседником,— немногословен, но точен и правдив.

www.behance.net/isaenkov

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения **№ 5 | 2012**

В номере

Д*и*Н юбилей

3 «Живи ещё хоть Блоку вровень…»

Александр Милях

10 Сыновья Победного Простора

Д*и*Н мемуары

Сергей Кучин

12 Курсанты

Владимир Алейников

35 Вокруг самиздата

Д*и*Н встречи

65, 114, 153, 171, 182, 202, 218, 236, 245

Волошинский сентябрь: *«золото улова»*

Д*и*Н диалог

Юрий Беликов, Валентин Курбатов

66 На мосту, меж двумя берегами

Д*и*Н бенефис

Эдуард Русаков

74 Стоит только понять…

Николай Ерёмин

92 Рассказы завтрашних ночей

Страницы Международного сообщества писательских союзов

Борис Шигин

105 Как долог век! Как сказка недолга!..

Ирина Кучерова

107 Книга ветров

Борис Куделин

112 Париж глазами эмигранта

Д*и*Н почта

115 Письмо из Латвии

Д*и*Н стихи

Николай Конев

117 Бородинский день

Сергей Хомутов

119 Горькая воля

Владимир Спектор

121 По контуру мечты

Александр Дьячков

123 На первой исповеди

Айдар Хусаинов

125 Смерть воробья

Вероника Шелленберг

195 Линия жизни — река

Алёна Бабанская

197 Никодим

Константин Комаров

199 Оставшаяся на фото

Д*и*Н ревю

Олег Корабельников

11 Избранные произведения в двух томах

Наталия Слюсарева

118 Прогулки короля Гало

Д*и*Н публицистика

Ирина Макарова
127 Божественная ловушка Вениамина Блаженного

Лев Бердников
205 Урок анатомии

Д*и*Н проза

Елена Бажина
130 Школа для девочек

Евгений Мартынов
154 День и ночь…

Библиотека современного рассказа

Лана Райберг
165 Школьные заметки

Зинаида Кузнецова
172 Обгоняя солнце

Каринэ Арутюнова
183 Связь

Евгений Мамонтов
189 Искусство невинности

Людмила Черных
193 Покорение Эвереста

Клуб читателей

Алексей Антонов
201 Там, где упал «боинг»

Владимир Коркунов
203 Нетабуированная книга

Д*и*Н артефакт

Василий Димов
208 Анабечди

Д*и*Н сдвигология

Андрей Ключанский
219 Зга

Д*и*Н мегалит

Чёрный Георг
221 Психоделические альфа-ритмы современной поэзии

Михаил Горевич
223 Идущий в осень

Ирина Каменская
224 Сужая круги

Дмитрий Дёмкин
225 Синий бархат

Чёрный Георг
226 Звезда в надире

Д*и*Н критика

Алексей Конаков
228 Вид Отечества

Д*и*Н полемика

Дмитрий Косяков
237 Искусство и рыночное общество

247 Д*и*Н авторы

«Живи ещё хоть Блоку вровень…»

Круглый стол, посвящённый столетию стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека…»

«Важнейшее из искусств» ввело очень интересную традицию: празднование юбилеев культовых фильмов. Искусство кино сравнительно молодо, поэтому даже десятилетний возраст годится для широкого праздника. И это понятно, потому как следующее десятилетие может разжаловать фильм из ранга культовых.

Поэзия, несмотря на почтенный возраст, в «важнейшие» выбиться не смогла. Хуже того: в последние годы разговоры о её смерти становятся всё громче и злораднее. У меня нет желания доказывать обратное. Те, кто желает её похоронить, пусть хоронят. От поэзии не убудет. Но тем, кто уверен, что без поэзии нет России, хочется напомнить, что сто лет назад, а если точнее—10 октября 1912 года, Александр Блок написал восемь строк, которые, на мой взгляд, по сей день остаются самыми загадочными и завораживающими в русской поэзии.

> Ночь, улица, фонарь, аптека,
> Бессмысленный и тусклый свет.
> Живи ещё хоть четверть века—
> Всё будет так. Исхода нет.
>
> Умрёшь—начнёшь опять сначала,
> И повторится всё, как встарь:
> Ночь, ледяная рябь канала,
> Аптека, улица, фонарь.

У Твардовского есть строки: «Вот стихи, а всё понятно, всё на русском языке…» В юбилейном стихотворении тоже вроде бы ничего сложного, ничего особенного и всё понятно, но стоит вчитаться—и откроется бесконечное разветвление смыслов, напоминаний и догадок…

А посему обращаюсь к друзьям (и врагам) поэзии с просьбой ответить на три вопроса:

1. В каком возрасте Вы впервые прочли это стихотворение, и какое впечатление оно произвело на Вас?
2. Не кажется ли Вам, что «вдохновенная загадочность» зачастую подменяется неряшливостью или продуманной невнятицей?
3. «…Он не знает, не чувствует, что высоким стилем всё можно опошлить»,—писал о Блоке Иван Бунин. Полвека спустя его практически повторил Иосиф Бродский: «…На мой взгляд, это человек и поэт во многих своих проявлениях чрезвычайно пошлый». Как Вы думаете, чем вызвана пренебрежительная оценка нобелевских лауреатов?

Сергей Кузнечихин

Сергей Есин

прозаик, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой мастерства Литературного института имени А. М. Горького (Москва)

1. Первые две строки шедевра Блока, ещё не понимая и не догадываясь, что это шедевр, я, мне кажется, знал с невероятного измальства. Мы ведь ещё не проходили «Онегина», но уже знали: «мой дядя самых честных правил», или «мороз и солнце», или «горе от ума». Русская речь полна знаменитых речений, впервые возникших под пером писателей. Но счастлив и поэт или прозаик, в языке которого имеются такие драгоценные самоцветы. И сразу скажем: у одних они есть, а у других—нет. Этим, как правило,—у которых «есть»—отличаются классики. Ну а само стихотворение я, конечно, впервые целиком услышал от взрослых много позже. Было время, когда взрослые стихами перебрасывались или даже просто, собравшись компанией, читали вслух. Тогда же я схватил и первый его смысл. Если коротко, то у меня ощущение, что это стихотворение я впервые услышал вместе со «Сказкой о золотой рыбке».
2. В Литературном институте, где я преподаю, мне приходится очень много читать студенческих стихов. «Вдохновенная загадочность»—«давно разоблачённая морока». Неподлинность содержания всегда бросается в глаза, она-то и есть «неряшливость и продуманная невнятица». В большой поэзии случайного ничего не возникает. Пушкин, как известно, писал кусками, пропуская то, что с налёта не получалось. Но ведь потом шла редактура—и жёсткая. В каком-то смысле это короткое стихотворение Блока достигает гранитного лаконизма религиозных текстов. Слово «Библия» я написать постеснялся, да и побоялся. Но под «рябью канала»—невероятная глубина, и дно это самой рябью отражается на поверхности.

3. У того же Блока есть такое выражение: «Друг другу мы тайно враждебны». А уж когда мы говорим о писателях, этот постулат справедлив вдвойне. У Александра Александровича, как и у Горького, и у Толстого, не было Нобелевской премии. И здесь мы опять сталкиваемся с невероятно тонкой материей. Да, были «Жизнь Арсеньева», и «Деревня» (её антикрестьянский пафос и привлёк к Бунину внимание широкой дореволюционной публики), и—прелестные маленькие рассказы, и—замечательные стихи. Но Россия всё повторяет и повторяет: «Да, скифы мы, да, азиаты мы...» Моя старая, ныне, к сожалению, умершая, знакомая Фаина Абрамовна Наушюц, отсидевшая в наших лагерях, рассказывала мне, как в бараке своим товаркам читала наизусть Блока:

   Уж не мечтать о нежности, о славе,
   Всё миновалось, молодость прошла!
   Твоё лицо в его простой оправе
   Своей рукой убрал я со стола...

   Вот так и только так... «и укрощать рабынь строптивых». Я думаю, моя точка зрения ясна. Я ведь тоже люблю стихи Бродского. У меня был самый первый томик поэта, вышедший в начале перестройки. Читал его на даче, прислонив к батону. Многое по ощущению помню: о домике у моря или «хорошо в империи родиться». Правда, неплохо? «И выезжает на Ордынку такси с больными седоками». Хорошо, ясно, но... не захватывает, не переходит в фольклор. А что касается «пошлости», понятием о которой всегда можно отгородиться или «списать» соперника, то Анна Андреевна Ахматова настаивала, что в каждом стихотворении неизменно должен находиться этот самый элемент. Как вишенка в коктейле. Но не синоним ли это яркости и народной доступности?

Александр Ёлтышев

поэт (Красноярск)

1. Точно не помню—в ранней юности. Запомнилось целиком с первого прочтения. Впечатление какого-то спокойного волнения. Скоро стало понятно, что невозможно проникнуть в загадку этих строк—и не надо. Это поэзия в чистом виде, не поддающаяся рациональному анализу.
2. Такое бывает часто: или автор мудрствует, или истосковавшийся по запредельному читатель.
3. Бунин вообще всё человечество ненавидел, особенно коллег, а к оценкам Бродского нельзя относиться всерьёз: он в запале много чего наговаривал, сам себе противореча.

Вера Зубарева

поэт, писатель, литературовед, режиссёр, доктор филологических наук, главный редактор журнала «Гостиная», президент Объединения Русских литераторов Америки (ОРЛИТА) (Филадельфия):

1. Не могу припомнить ничего о первом прочтении. У меня ощущение, что это стихотворение слетело откуда-то, покружило, покружило—и больше уже никогда зимняя картинка комнаты с квадратом в стене, где умещалась часть двора, не восстановилась в доблоковскую. Есть вещи, которые, после того как их создают по слову, внедряются в ткань воздуха и существуют всегда. Это стихотворение к ним относится. Оно не часть книги, а часть пространства, и его присутствие нужно ощутить. Именно ощутить, а не прочесть или продумать. «Магию невозможно прочесть»,—это, наверное, и было самой первой мыслью и впечатлением от этих стихов, а заодно и уроком.
2. «Зачастую»—если говорить о непрофессионалах. У профессионалов случается, но крайне редко и где-то на уровне черновиков. А то, что кажется стороннему наблюдателю «неряшливостью» или пустой красивостью, на поверку оказывается необходимой деталью в здании с непростой архитектурой. С этим я сталкивалась не раз, анализируя стихи Ахмадулиной. Большой поэт (художник, литератор) занят сотворением не частности, а целого. Перед его взором—целостный дизайн, открытый только ему, но не как конкретная структура, а как общая направленность, тональность, почва, из которой прорастут зёрна частного.
3. Наверное, они просто не прослушали блестящий курс по символизму замечательного, ныне покойного, профессора Ст. Ильёва. Его работы по «кодовому языку» русских символистов, и в частности А. Блока, прояснили бы им если не всё, то, по крайней мере, многое. А самое главное, они прояснили бы, что без знания концепций, которыми легко оперировали в своих произведениях русские символисты, невозможно оценить стройность здания, выстроенного любым из них, включая и Блока. Их мало волновало мнение непосвящённых. Они оценивали друг друга в рамках выработанных ими понятий, кажущихся непосвящённому обыденными словами. Никогда не забуду, как Ильёв привёл нам как-то в пример первую строчку из стихотворения Блока «О, я хочу безумно жить». «Если не знать концепции безумия, на которой строились многие вещи в русском символизме, то строчка может показаться пошлостью»,—сказал Ильёв. После этого последовала лекция о концепции безумия, которая завершилась виртуозным

анализом образов и деталей в стихотворении. А ещё Ильёв рассказывал нам о концепции «возврата» в творчестве Блока. Первым примером было стихотворение «Ночь, улица…».

Марина Кудимова

поэт, эссеист, ведущий редактор отдела «Литература и библиография» «Литературной газеты» (Москва)

1. В десять лет, когда мне подарили шеститомник Блока. Стихотворение «Ночь, улица…» я откуда-то знала. Но понятия не имела, что за «канал» такой, и, дитя тамбовского полублатного двора, думала: это от глагола «канать»—«идти, бежать». И куда же, спрашивается, «бежала» эта «рябь»? Вот в чём состояла главная загадка Блока. Потом—не скоро—я поняла, что секрет поэзии связан с адекватностью восприятия, с общими аллюзиями. В десять лет у меня с Блоком их не было и быть не могло.

2. В девяти случаях из десяти, причём в самых хрестоматийных произведениях. Например, у Пастернака: «А ты прекрасна без извилин» (?!). Это про блондинку? Феномен авторской глухоты широко представлен в знаменитом «Поэтическом словаре» Квятковского и чрезвычайно узко исследован литературоведами. Хотя среди них полно любителей постебаться. А вот поди ж ты…

3. Всё относительно. По мне, так можно опошлить эротику, упиваясь её описаниями в восемьдесят лет. Нобелевские лауреаты точно так же завистливы, как и не получившие за свои литтруды ничего, и точно так же проговариваются, как ученики пятого класса. Более ничем не может быть вызвана такая оценка величайшего поэта xx века. Да и сначала хорошо бы понять, что Бунин и Бродский вкладывают в понятие «пошлость».

Валентин Курбатов

литературный критик, академик Академии современной российской словесности, член редколлегии журнала «День и ночь» (Псков)

1. В семнадцать. А впечатление: как точно! В семнадцать жалко себя, хорошо подражать Печорину и видеть себя усталым, а мир бессмысленным и тусклым. Должно пройти полсотни лет, должна подкрасться старость, чтобы «ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь» стали прекрасны и, повторяясь, как встарь, делались только ненаглядней, а жизнь—умнее и желаннее. Самому Александру Александровичу время в этом отказало и самим этим стихотворением подписало себе приговор. Вот теперь пусть и получит свой вечный портрет.

2. Мне сейчас, по здравом размышлении, показалось, что вообще анкета—не лучший способ отметить юбилей «Аптеки». Тем более—спровоцировать на фоне этого кристально-ясного стихотворения разговор о невнятности и ложной значительности современной поэзии и тем невольно заставить предположить, что и Блок темноват. Скорее, уместен разговор об утрачиваемой ёмкости слова, о тайне и границе. Ведь тут закричишь от одной первой строфы. Вторая уж—только чтобы замкнуть круг бессмыслицы существования. Мы пожили дольше Александра Александровича и теперь могли бы ограничиться и одной первой строфой, потому что успели повидать бессмыслицу-то во всех видах и «дописали» бы вторую строфу самим опытом жизни. Как там у В. Соколова: «Я устал от двадцатого века, от его окровавленных рек. И не надо мне прав человека, я давно уже не человек». Это как раз «аптека» и отозвалась. Хотя время искало и «вдохновенной загадочности», и продуманной, а то и не очень, невнятицы, отчего тусклое серебро века нет-нет да отдавало оловом, что первым как раз слышал сам Блок.

3. Не это ли олово дня на месте желанного серебра, о чём я сказал выше, и сделало его бедную улицу и аптеку «символом пошлой безысходности»? Впрочем, боюсь, что старики были просто ревнивы. Хотя, скорее, не так: это обступивший их мир стал так пошл, что всякое высокое слово начало мерещиться неправдой. Век из серебряного на глазах того и другого сделался железным, оловянным, потребовались другие чувства и меры, и сама сомовская бледность портрета Блока показалась игрой и подменила внимание к стиху. А то одно это великое стихотворение не дало бы языку повернуться в унижающей оценке. Но разве Бунин с Бродским «Аптеку» имели в виду под «пошлостью»-то? Я всё думаю о Твардовском: «Вот стихи, а всё понятно, всё на русском языке». И что-то мне всё кажется, что эта ветвь договорена Рубцовым, что эта традиция умерла вместе с землёй, с питавшей её деревней, коренной жизнью. Теперь поэзия переехала к «Аптеке и фонарю». Это её новое Отечество, её земля, её деревня. А хорошо ли это—Бог весть. Это, конечно, сужение лёгких—всякое дыхание без земли и неба затруднено,—но человек, не ведавший этих поля и неба, и не знает настоящего-то объёма лёгких. Ему довольно того, с чем рождён,—аптеки, улицы, фонаря…

Владимир Монахов

поэт (Братск)

1. Стихотворение впервые прочитал школьником в старших классах, с тех пор запомнил.

И очень часто к нему обращаюсь, по крайней мере — цитирую. Если запомнил, то, значит, впечатление было сильным. Тем более что ничего не изменилось в этом мире: ночь, улица, фонарь, аптека нас всё время преследуют уже больше века. К тому же такой пейзаж я вижу из своего окна в Братске. А поскольку городской пейзаж всё ещё жив, то заставляет откликаться моё русское сердце…

2. Если говорить об этом стихотворении, то в нем всё провидчески чётко… всё повторяется, как встарь… Минималистический набросок не изменился, остался прежним. И в этом поэт угадал русское урбанистическое пространство, которому ещё долго жить…

3. Нобелевские лауреаты со своей высоты могут говорить всё, что им угодно, про других поэтов. Но это не факт, что мы должны их мнение учитывать. Пошлость у Бунина и Бродского тоже можно отыскать в их произведениях… Но это же дело вкуса… Просто оба они пытались выступить судиями, а это напрасный, я бы сказал — неблагодарный труд для поэта любого уровня…

Иван Шепета

поэт (Владивосток)

1. И Блока, и Твардовского первый раз прочитал в школе, в десятом классе. Но — возвращаюсь, перечитываю. И, Бог даст, ещё не раз буду возвращаться, перечитывать.

Тогда, в десятом классе, поскольку стихотворение было «программным», оно запомнилось как наиболее яркое, афористичное из предлагаемых учителем (плюс «Я сидел у окна в переполненном зале…»). Поэма «Двенадцать» не понравилась категорически (и до сих пор не нравится). Именно из-за поэмы я Блока не считал классиком первого ряда. Он для меня был ничем не значительнее Ф. Тютчева, например, заклеймённого во «второстепенные поэты».

Сейчас стихотворение «про аптеку» мне уже не кажется превосходным. Слишком много в современности скепсиса, разочарованности, выраженных ярче, сильнее. Сегодня от романтика-символиста хочется взять более ценное, духоподъёмное, что ли:

> Простим угрюмство. Разве это
> Сокрытый двигатель его?
> Он весь дитя добра и света.
> Он весь свободы торжество!

С Твардовским всё ровно наоборот. В школе он показался мне серым, бесцветным. Ненастоящим поэтом. Строчки «Вот стихи, а всё понятно, всё на русском языке» были поняты мною как попытка оправдаться. Теперь, измученный диалогами с заумными актуалами, манкирующими традициями, я зову одного из виднейших советских поэтов в союзники.

2. И то, и другое. У одних загадочность выглядит как неряшливость, ибо они пишут якобы под диктовку сверху, поэтому ничего не исправляют. Это обычные графоманы, их пруд пруди. Чаще всего — возрастные люди, которые начинают писать после сорока-пятидесяти. К ним у меня нет никаких претензий, так как налицо стремление к саморазвитию. Другие (актуалы как раз) создают управляемый хаос, освежая классическую форму. И здесь редкие успехи сопровождаются колоссальными издержками, садистским желанием всё «прежнее» разрушить, расчленить. Актуалы часто недостаточно образованны, агрессивны и самонадеянны. Точно так же, как и «олбанский» язык Интернета «актуальный» возникает как сознательный эпатаж, но внутри явления — комплекс неполноценности перед классикой, переходящий в отрицание и агрессию.

3. Нужно чётко проводить границу между Блоком молодым, незрелым поэтом и человеком, и Блоком, условно, после тридцати.

«Вхожу я в тёмные храмы, совершаю тайный обряд…» и т. д. — графомания, разгон перед тем, чтобы написать действительно что-то хорошее, имеющее для нас значение и поныне. Ещё раз повторюсь, что для меня Блок, безусловно, классик, но в силу некоторых политических причин внесённый в школьную программу, а потому просто более популярный, что ли… Нобелевские лауреаты ревнуют. Их можно понять. Кстати, пошлости, безвкусицы, на мой взгляд, в стихах Бродского не меньше, чем у осуждаемого Блока, хотя она и другого происхождения, однако попробуй об этом вслух сказать — заклюют либералы, активно канонизирующие сейчас воинствующего тунеядца. Для меня Бродский и нынешние актуалы произрастают на одной почве отрицания национального, исторического и культурно-традиционного.

Алексей Шманов

поэт, прозаик (Иркутск)

1. Блока стал читать в двенадцать-тринадцать лет, охренел. Не заучивая, запомнил «Авиатора», «Скифов», ещё несколько стихотворений, в том числе и «Ночь, улица…». Меня, пятиклассника, моя классная водила читать «Скифов» в десятый. Хорошо это помню.

2. У имитаторов — конечно, но есть и «божественное косноязычие». Рецепта нет, смотреть надо в каждом конкретном случае.

3. Оценка Бродского и Бунина, увы, справедлива, но уверен, что наряду с безвкусицей они видели и гениальность автора. Сам Блок, к сожалению, не видел этих гигантских перепадов в собственном творчестве. Ему бы редактора хорошего, дабы отмести посредственные и пошлые стихи. Шутка, но в каждой шутке лишь доля шутки.

Владимир Алейников

поэт, прозаик, художник (Москва—Коктебель)

1. Лет в двенадцать это стихотворение я уже хорошо знал. Следовательно, прочитал его ещё раньше. Стихотворение для Блока—знаковое. В нём—весь Петербург, вся мистичность города, где фантасмагория и красота неразрывно связаны.

   Это стихотворение максимально точно выражает состояние человека, жизнь и творчество которого одновременно и отравлены, и вдохновлены алкоголем.

   Есть у Блока и другое стихотворение, тоже для него знаковое: «Ты из шёпота слов родилась, в вечереющий сад забралась и осыпала вишенный цвет...» В нём сконцентрировано всё, что потом получило такое невероятное и последовательное развитие в его поэзии.

   Два стихотворения—«Ты из шёпота слов родилась...» и «Ночь, улица, фонарь, аптека...»—два полюса, между которыми—энергетическое поле блоковского творчества.

2. Этот вопрос: о ком? Надеюсь, Блок здесь ни при чём. Он вообще—особый сказ. Да, есть у него немалое количество стихотворений весьма среднего уровня. Но они—промежуточные, вроде мостиков, связующих и поддерживающих вершинные стихи. Дело ведь в том, какова задача, а лучше сказать—сверхзадача поэта. Блок нередко вырывался в другие измерения и миры. Чтобы побывать на таких высотах и в таком отдалении от земной реальности, нужны серьёзные жертвы, решиться на них—непросто. Блок был мистиком. Его прозрения, озарения, разочарования, открытия, падения, взлёты, загадки, тайны—при нём навсегда. Его творчество надо принимать полностью, потому что оно складывается из множества разнородных компонентов и составляет огромную единую книгу.

3. Бунин был человеком феноменально талантливым, чрезвычайно умным—и всё, конечно же, понимал. Поворчать, а то и высказаться категорично он любил и умел, такой уж был у него характер. И задачи в поэзии были у него совершенно другими. Поэзия Бунина—ведическая в своей основе, это песнь яви. Отсюда—его интуитивное неприятие всяческих проникновений в навь. Поэзия Бунина—тоже единая книга.

   Бунин и Блок—две разные планеты в поэтической вселенной. Каждый по-своему, они улавливали вселенские вибрации и выражали их в слове.

   О втором лауреате—не хочу говорить. Его заносчивое высказывание—подобие бумеранга.

   Возможности русской поэзии—безграничны, потому что жива наша речь.

Александр Самарцев

поэт, член Союза российских писателей (Москва)

1. Я довольно поздно увидел это стихотворение, года в двадцать три, вернувшись из военных лагерей после института. Блок вообще пришёл ко мне «в обратном хронологическом порядке»—после Пастернака с Цветаевой и «шестидесятников». Потому лаконичная отчётливость этих восьми строк бросила как раз «нужные» семена: я не стремился «понимать», мне достаточно было «подзавода», я сам был готов к вибрациям. На фоне остального тома «Ночь, улица...» выделялось не загадкой даже, а чем-то стоическим, если не сказать—«столпническим», недаром финальной точкой является «фонарь». То есть одинокое стояние, несущее, *держащее* свет. И глагол «повторится» обманчив, как «порядок творенья» в одном из пастернаковских сопровождений романа: повтор (как бы посмертный) перемагнитил детали, «сумма» уже не та, свет—это не конец.

2. Мне кажется, вопрос поставлен очень приблизительно, «по касательной». Я не вижу в Блоке «продуманной невнятицы», а вот «вдохновенную загадочность» он в себе, несомненно, лелеял. И неряшливости тоже никакой. Если допустимо толстовское словечко, Блок, скорее, «не удостаивал» быть завершённым, доверяясь клубящейся музыке «внизу» и лепя, вытанцовывая свои соты для «музыки сфер». Есть разница между «продумыванием» и «отпусканием»: Блок себя именно что *отпускал*—правда, умело, трезво, и парадоксальнее всего, что *дисциплинарно*, со средневековым упорством мастерства.

3. Честная чувственность Бунина мне ближе мировоззренчески, но в стихах Блока есть взлёты и взмывы, недоступные любимому Ивану Алексеевичу, те же хрестоматийные «...так пел её голос, летящий в купол...», «...где-то светло и глубоко неба открылся клочок...», «...белый стан, голоса панихиды...» (я нарочно черпнул из середин, а не опознавательные начала), и ещё наберётся дюжины полторы стихотворений, выпадающих, на мой слух, из массы вялых кружений, осенённых «величием замысла». Кстати, пошлость можно увидеть и в этой самооправдательной формуле Бродского: кто не

без греха? Надменная боязнь пошлости может быть столь же пошлой и уязвимой, нобелиат сам подставляется «по полной» нарочитыми снижениями, необязательным сленгом, сухой назидательностью типа «только пепел знает, что значит сгореть дотла». Возможно, Бродский бил в культ Блока, в его слишком открытое рыцарство, а попадал в собственный же страх полёта над бездной. Так что «не верь, не спорь, не огрызайся».

Сергей Хомутов

поэт, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ, действительный член Петровской Академии наук и искусств (Рыбинск)

1. Поэта надо не только читать, но и перечитывать. И определяющим является — сколько раз ты возвращался к стихотворению. Впервые прочитал это восьмистишие в возрасте двадцати четырёх — двадцати пяти лет. И сразу же захотелось запомнить его наизусть. Ощущение бесконечности пространства и загадочной закономерности человеческого бытия возникает при каждом обращении к этому шедевру. Блок — мой любимый поэт, добавлять что-то излишне.

2. Не просто кажется, а раздражает, но только относится это не к Блоку, а к поэтам нового поколения. Они уже отвергли Пушкина, Лермонтова, Некрасова… Смутил многих Бродский своей культурологической насыщенностью, потом появилась «армия» подражателей, соревнующихся в том, кто кого переусложнит. Приложили руку, если можно так сказать, и метаметафористы. Невнятицей часто прикрываются беспомощность и отсутствие судьбы, которая и должна стать основой стихов. Пушкин тоже высказался по этому поводу: «Есть два рода бессмыслицы: одна происходит от недостатка чувств и мыслей, заменяемого словами; другая — от полноты чувств и мыслей и недостатка слов для их выражения». И то, и другое — проблема поэтической состоятельности.

3. Проще всего было бы сказать, что нелестные характеристики собратьев связаны с обычной завистью, ревностью к признанию Блока. Нобелевский лауреат — всего лишь титул, присвоенный в определённое время в сложившихся удачно обстоятельствах. Счастливчики были фигурами политическими, момент скандальности имел большое значение. Бунин — эмигрант, не признавший советскую власть, Бродский — то же самое. Блок был величиной поэтической — жил в России и умер в России. От него веет величием Серебряного века, он остался там, в вышине, а Бунин и Бродский — уже целиком на грешной земле.

   Но есть и другие причины. Бунин шёл в поэзии (именно в поэзии) своим путём, а уж Бродский и вовсе продукт времени, в котором изменилось отношение к поэзии и поэту. Отсюда неприятие самого образа мышления и жизни Блока, в том числе возвышенности стихов. Но поэт — разный, иногда он прозаичен, к примеру, в стихотворениях: «Фабрика», «Работай, работай, работай…», широко известном «Поэты»… Чтобы понять его, надо читать не только стихи, но и воспоминания о нём, и его переписку. А о пошлости говорить нелепо, это уже, как говорится, удар ниже пояса, когда нет других аргументов. Место Блока в поэзии незыблемо, как место Пушкина, Лермонтова, которые за свои творения были отмечены совсем не премиями. Простим человеческую слабость собратьям великого поэта, в литературе это не ново: «У поэтов есть такой обычай…»

Александр Кузьменков

прозаик, критик (Нижний Тагил)

1. «Ночь, улицу, фонарь…» я прочитал лет в пятнадцать. Забавно, что не у самого Блока, а в книге о нём — «Поэт и его подвиг» Б. Соловьёва. Сложно сказать, зачем я взялся за этот восьмисотстраничный филологический фолиант — видимо, по инерции: читал всё, что под руку попадёт. Но образ Блока, умно и талантливо воссозданный Соловьёвым, впечатлил. Стихи — тем паче: оказались созвучны отроческой, напрокат взятой, меланхолии. Понимание пришло позже. И ничуть не повредило гибельному обаянию стиха.

2. Кризис смыслов для русского социума, — стало быть, и для русской литературы, — явление непреходящее. Лермонтов написал «И скучно, и грустно…» аж в 1840 году. Другой вопрос, как именно просвещённая публика к этому самому кризису относится. Блок переживал его как трагедию. Но Блок на фоне своих современников — явное исключение.

   В иные времена осмысленное высказывание становится откровенным моветоном. Таков был Серебряный век: минуло и 19 февраля 1861 года, и 17 октября 1905 года, но жить не стало ни лучше, ни веселее. Вдрызг разочарованная интеллигенция вынесла смертный приговор идее во всех её изводах. И приплыл чуждый чарам чёрный чёлн, и привёз «дыр бул щыл». Итог всему подвёл эгофутурист Василиск Гнедов: его «Поэма конца» представляла собой лист чистой бумаги. Выступая с «Поэмой…» на эстраде, автор молча иллюстрировал смысловую пустоту непристойным жестом. Курсистки обоего пола визжали от восторга.

Отечественная история циклична, и нынче снова в фаворе взгляд и нечто. В последние два десятилетия Россию постиг мировоззренческий коллапс: сперва в страшных корчах скончалась марксистская идея, следом за ней испустила дух либеральная, скоро вынесут вперёд ногами и национал-патриотическую. Следствием стал очередной смертный приговор смыслу. И пришла чёрная обезьяна, и принесла «полокурый волток». Полистайте прозу континуалистов или стихи метаметафористов — всё будет ясно без комментариев. Не за горами, надо думать, и поэма конца — а восторженный визг курсисток обеспечен заранее.

Уж простите за ликбез, но идея любого текста может и должна быть выражена в виде сложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным. Примеры грубые, но показательные: колобок погиб, потому что был самонадеян; репку удалось вытащить, потому что трудились все сообща. Если текст не поддаётся названной операции — со смыслом явно не всё в порядке.

Впрочем, постмодернисты настаивают: искусством может быть что угодно. Хоть чёрный квадрат, хоть ночной горшок. Мастерство художника при этом отходит на второй план, на первый выдвигается мастерство интерпретатора. Вспомните, как азартно и разнообразно критика трактовала невразумительные опусы Осокина, Элтанг и Петросян. Подобную разноголосицу принято считать свидетельством запредельного глубокомыслия; я же смею думать, что это признак невнятности авторских высказываний. Идею можно толковать однозначно, зато отсутствие идеи — на все лады. Благо, торричеллиева пустота поддаётся любой трактовке.

Для пущей ясности прибегну к геометрической аналогии: через две точки на плоскости можно провести одну прямую, зато через одну — бесконечное множество прямых. Если текст допускает несколько взаимоисключающих интерпретаций — значит, автор попросту не утрудился (не смог, не захотел) поставить вторую точку.

3. Господа нобелиаты во многом правы. Для полноты картины не хватает лишь Маяковского: «У Блока из десяти стихотворений — восемь плохих...» Далеко ходить не нужно, блоковские рифмы говорят сами за себя: «мои — твои», «любовью — кровью», «ночь — прочь», «наплевал — прочитал». Плюс полтора десятка дежурных образов, которые кочуют со страницы на страницу, как незабвенные цыганы по Бессарабии: вино, ночь/мгла, проститутка, кольцо/перстень, тройка, снег/вьюга, ветер, поэт и проч. Пошлость? Да, вне всякого сомнения.

Разберёмся, однако ж, в причинах. Лермонтов в своё время сетовал: «Публика не понимает басни, если в конце её не находит морали». Но самого страшного М. Ю., слава Богу, не увидел: после него мораль в отечественной словесности сожрала басню с потрохами. От Лермонтова до Чехова лежит полувековая пустыня слегка беллетризованной и коряво написанной публицистики, которую мы отчего-то считаем литературой. Тогдашний эстетический императив точнее всех сформулировал Надсон: «Лишь бы хоть как-нибудь было излито, чем многозвучное сердце полно!..» Чаша сия не минула никого, включая корифеев. Толстой: «Нехлюдов почувствовал прежние чувства»; Достоевский: «В глазах его было что-то лупоглазое»; Чернышевский: «Они долго щупали рёбра одному из себя». То же, в сущности, творилось и в поэтическом цехе. Вспомним, на какой лирике вырос А. А.: тусклый Апухтин, аморфный Полонский, — а других ориентиров попросту не было...

Но! — при всём при том Блок чувствовал своё время как никто другой. «Трагический тенор эпохи» — это не всуе сказано. *Fin de siécle — fin du globe*, и ни Брюсову, ни Белому, ни Гумилёву не удалось столь мощно выразить пафос «неуюта, неблагополучия, гибели». А теперь впору процитировать Маяковского полностью: «У Блока из десяти стихотворений — восемь плохих и два хороших, но таких хороших мне, пожалуй, не написать».

Александр Милях

Сыновья Победного Простора

К 70-летию со дня рождения

Возвращение

В Молдавии, в стране слепых дождей,
Где снились мне берёзовые страны,
Я жил среди приветливых людей
И, всем открытый, не казался странным.

Великий город,
Сдержанный в любви,
Меня страданьем цепким обеспечил,
И помнят, помнят чопорные львы
Мои опустошительные речи.

Я проходил по улицам иным,
По улицам простых весёлых песен.
Где от вина — не тесен мир вины,
А мир тепла воистину не тесен.

Где юности дворовый виноград
Дорос до всех пределов по наклону,
Где мать моя, который год подряд,
Встречала, не тревожась, почтальона…

● ● ●

Поэту В. Ф. Михайлову
в город Алма-Ата

Стихи — стихают, если сердце внемлет
Другому сердцу, чтоб его понять.
Так небеса оберегают землю,
Где обрели тебя Отец и Мать.
Где вырос ты. Не искривлённый ложью,
С той правдой — обречённой, но прямой:
Судьбою русской! Жить неосторожно,
Что навсегда — с тобою и со мной!
Во времена уныньля и позора
Пришли мы — из трагических времён,
Мы — сыновья Победного Простора,
Смертельно ранен, но бессмертен… Он.
И ты — не вдруг, и я — не вдруг… Поверил
В него и в Русь. Вобрав в свои сердца
Простор Любви. В тебе он, друг Валерий,
Во мне живёт. Петь будет до конца
Пути земного. Нашего. Не песни —
Степей и гор, лесов родных и рек.
Мы в них уйдём? Но с ними мы воскреснем,
Как воскресают — Речь и Человек!

Надписи на полях

На книжных полях — воск от свечей,
В надписях избранный том:
«…Нам нужно дожить до белых ночей,
А после — мы не умрём!»
Старая книга в руке не дрожит —
Ручки слабеющей дрожь:
«…До белых ночей — нужно дожить,
После — ты не умрёшь!»
На подоконнике книга лежит
(След на обложке от льда):
«…До белых ночей нужно дожить» —
Точку размыла вода.
Последняя надпись — как отблеск свечей,
Как шёпот в блокадном ветру:
«…Мне только дожить бы до белых ночей,
И я — никогда — не умру…»

Книга

На обложке
Зловещие лица —
Торжествует, кричит
Вороньё…
Мчит пустыней измученный рыцарь —
Наготове и меч, и копьё.
Ни упрёка, ни страха не зная,
Защитит справедливость и честь.
Мальчик скорбную книгу
Читает,
Книжку добрую хочет
Прочесть.
На обложке знакомые лица,
На обложке — нет стёртых имён.
Ищет зло очарованный
Рыцарь,
Защитит всех обиженных
Он.
Грянет бой, как возмездие,
Краткий,
Враг отпрянет от города
Прочь!
Тусклый пламень мерцает в лампадке,
На исходе блокадная ночь.

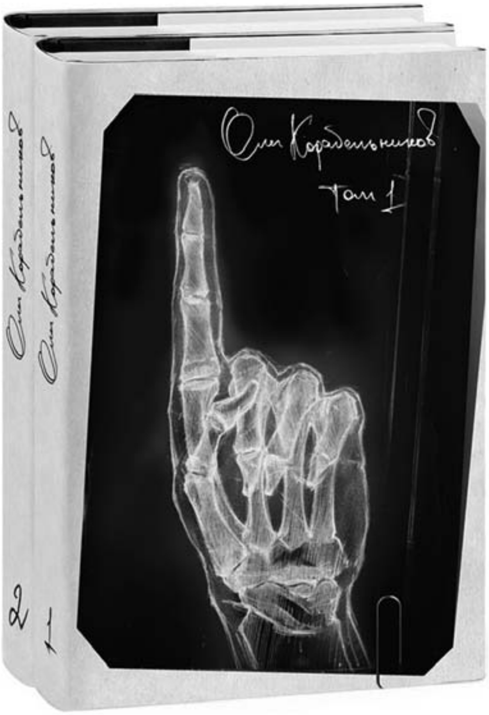
Домик в пушкинской Долне

А на окне—
Седые георгины
Цветут.
Цветут—все времена подряд,
И стены дома смыл
наполовину,
Как водопадом,
Дикий виноград.

Войдёшь?..
Хрустят простые половицы,
А на столе—
Зачинщике пиров—
Грустят страницы,
письма из столицы,
Усталое
Гусиное перо.

Но этот дом!
И этот палисадник…
Сутулые, сухие тополя
Запомнили:
Промчался дерзкий всадник,
И пыльным гулом
полнилась
Земля.

В село вплывало солнце.
Спозаранку
В кувшинах стыло
Старое вино,
А в чистом доме
Юной молдаванки
Склонились
Георгины…
За окно.



Олег Корабельников

Избранные произведения в двух томах

Имя красноярского писателя-фантаста Олега Корабельникова, обладателя премии «Аэлита», хорошо известно современному читателю. Его произведения неоднократно издавались в нашей стране и за рубежом.

Уникальное собрание его сочинений издаётся в России впервые и включает самые значительные произведения писателя в оригинальной авторской редакции. Двухтомник иллюстрирован рисунками талантливого художника Георгия Тандашвили, созданными специально для этого издания.

Издание подготовлено к печати издательством «Арта». По вопросам реализации обращайтесь по телефону (391) 278-15-86 или по электронной почте: tev@inbox.ru, info@artadesign.ru

Сергей Кучин

Курсанты

Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые…
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!
Давид Самойлов

От автора

Это документально-историческое повествование — всего малая толика из истории Великой Отечественной войны: о подготовке квалифицированных кадров в Иркутском военно-инженерном училище, располагавшемся в Красных казармах в 1942–1943 годах.

Красные казармы — уникальный памятник военной архитектуры начала XX века.

Училище было укомплектовано командно-преподавательским составом, оснащено хорошей учебно-материальной базой паромно-понтонного и лодочного имущества.

Книга — о системе обучения, о курсантской жизни и деятельности, о состоянии и положении на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу. О патриотизме, о военной дружбе. О долге гражданина перед Отечеством.

«Война гуляет по России»

Война вошла, вернее, ворвалась в каждый дом, в каждую семью, неся с собой изменения в уклад жизни каждого. Нет, здесь, в Сибири, мы пока не почувствовали никаких военных действий. Только сообщения о событиях на наших западных границах заставляли понять, что это очень серьёзно, что это опасно.

Меня война застала шестнадцатилетним парнем, окончившим девять классов средней школы и поступившим на работу вожатым в загородный пионерский лагерь. Лагерь располагался в сорока километрах от Иркутска, на берегу реки Иркут, в деревне Введенщина. В лагерь я поехал с большим удовольствием и желанием немного помочь семье материально, так как сильно болел отец, и мама вынуждена была не работать и ухаживать за ним.

С началом войны лагерь закрыли. Приехав в Иркутск, я, как зам. секретаря школьной комсомольской организации, возглавил работу по освобождению здания школы под госпиталь.

Затем меня директор школы направила в совхозы области, в которых работали на уборке урожая учащиеся нашей школы, передать ребятам письма и небольшие посылки родителей, познакомиться с ходом работ. Отделения совхозов были расположены далеко друг от друга.

Серьёзная травма — перелом ноги в момент возвращения домой, больница, смерть отца — все эти события сконцентрировались в два месяца. В октябре я уже мог ходить, опираясь на костыль. Начал посещать десятый класс в своей школе. (В тот год в школах учебный год начался с 1 октября.) Штурмовали военкомат, где нам отвечали: «Учитесь, армии нужны грамотные военные. Вызовем, как понадобитесь».

В декабре 1941 года меня по конкурсу зачислили курсантом высшего военно-морского училища им. Макарова.

Январь 1942 года. Владивосток. Строевая подготовка на сопках Владивостока сказалась резким воспалительным обострением перелома ноги. Госпиталь, медкомиссия. Военкомат. Отпуск на лечение — шесть месяцев. Завершение учёбы. Выпускные экзамены, аттестат.

Война гуляет по России,
А я пока и не при деле.

Неожиданно меня приглашают в обком комсомола. Инструктор докладывает:

— Заместитель секретаря комитета ВЛКСМ школы номер восемь. Участник лыжного агитпохода в январе тысяча девятьсот сорок первого года. Вожатый пионерского лагеря в Введенщине.

— Срочно оформляй документы на организатора пионерского лагеря при заводе имени В. В. Куйбышева для эвакуированных детей.

— Но мне ещё восемнадцати лет не исполнилось.

— Исполнится!

Высокое доверие

Июнь, 1942 год. Второй год идёт Великая Отечественная война, а я очень плохо осведомлён о военных действиях на её фронтах. Я озабочен эвакуированными детьми, которых обком комсомола обязал меня собрать в пионерском лагере при машиностроительном заводе имени В. В. Куйбышева и находиться с ними всё лето. Пионерского лагеря

как такового ещё нет, его только создают, возводят временные постройки возле домика бывшей радиостанции, рядом с подсобным хозяйством завода «Искра», в десяти километрах от города. Связь с заводом только телефонная, радио нет.

Детей вывезли из-под бомбёжки в мае вместе с работниками Краматорского завода. Руководство Иркутского машиностроительного завода встретило эвакуированных, как и положено, сочувственно, с пониманием оказания необходимой помощи. Были мобилизованы все материальные и людские ресурсы, и буквально в считанные дни был построен сарай для укрытия от непогоды, сколочены топчаны, скамейки, оборудована кухня, и в начале июня помещения для лагерного проживания на сто десять ребятишек были готовы.

Нас трое — воспитателей-вожатых: школьная учительница физкультуры, эвакуированная учительница начальных классов, бежавшая от немцев от самой границы, и я. Меня назначили старшим. В наш коллектив ещё входили опытный врач заводской поликлиники и пятнадцатилетний баянист — Костя. Вот весь наш воспитательный состав на сто десять детей в сезон.

Как бывает в экстремальных условиях, мобилизуются все внутренние энергетические ресурсы человека, направленные на созидательную деятельность. Так произошло и с нами. Все мы, оказавшись в необычайных условиях перед открытием лагерного сезона, старались как можно лучше подготовить лагерь к встрече с ребятами. Привезённой соломой набили матрасовки, наволочки подушек, застелили постели на топчанах, поставили букеты полевых цветов, в столовой пол покрыли скошенной травой. Нам хотелось сделать приятное детям, вывезенным из ада военных действий, ещё не успокоившимся от ужасов бомбёжки и трудной эвакуации. Заработала кухня. Дети, осознав полную безопасность от военных действий, попав в атмосферу природного благоухания, доброты, внимания, прониклись доверием к нам.

Мы, воспитатели-вожатые, старались пребывание ребят в нашем лагере сделать полезным с точки зрения не только укрепления здоровья, но и психологической уравновешенности, стабильности и одухотворяющей познавательности сибирской природы, местных обычаев.

Доставляемые завхозом из завкома завода газеты «Восточно-Сибирская правда», «Пионерская правда» повествовали нам о положении на фронтах Великой Отечественной войны. Многие из этих сообщений вызывало у ребят угнетающую реакцию, особенно те, в которых рассказывалось о зверствах фашистов, бомбёжках, разграбленных населённых пунктах. У некоторых ребят при эвакуации в тылу у немцев оказались близкие родственники, память о которых вызывала сострадание и неистребимую заботу об их состоянии. Мы учитывали при беседах с ребятами это и направляли их мысли на дела, помогающие бойцам в сражениях на фронте. Несколько человек старшего возраста, достигшие четырнадцати-пятнадцати лет, стали проситься на работу учениками рабочих в цеха завода.

Группа мальчишек, узнав из газет о героических делах партизан, стала готовить себя к такой борьбе. Витька Брехов, которому уже исполнилось четырнадцать лет, организовал целую бригаду из семи человек, и они стали сооружать в лесу землянку. Так это у них здорово получалось, что приехавший представитель заводского комитета профсоюзов, осмотрев эту землянку, заверил ребят, что они готовы для партизанской борьбы с фашистами, и пообещал об их делах рассказать в военкомате.

Мы, воспитатели, старались повседневно рассказывать ребятам о положении на фронтах, вселять в них боевой дух наших фронтовиков.

Для детей всё окружающее было внове, пока непознанное. Удовлетворить их любознательность, их любопытство и в то же время связать их пребывание в нашем лагере с той заботой о них, которую оказали им сибиряки — рабочие завода, было одним из направлений в нашей воспитательной деятельности.

Ребята с готовностью откликались на любые общественные мероприятия: прополку совхозных грядок, заготовку веток для корма животных, сена и др.

На совете лагеря наш врач — Надежда Константиновна — предложила привлечь детей к сбору лекарственных трав:

— Вокруг столько растёт целебных растений: подорожник, ландыш, ромашка аптечная, валериана и другие. Нужно связаться с аптекой.

В другой раз она предложила организовать для заводской столовой сбор ягод голубицы, заросли которой окружали лагерь. На вечерней линейке я сказал:

— Ребята, рабочие завода создали для вас этот лагерь, они делают всё, чтобы вы хорошо питались, а самих рабочих кормят щами из крапивы. Идёт война, продуктов питания не хватает. Давайте мы соберём для них бочку голубицы и отправим в заводскую столовую. Это будет наш витаминный подарок рабочим.

Назавтра завхоз привёз нам пятиведёрный бочонок, который ребята за два дня заполнили ягодой…

В межсезонную смену ребят я побывал в Иркутске, повидался с мамой. Она рассказала мне, что почти все мои одноклассники призваны в армию. Я зашёл в военкомат; он, как всегда, кишел народом. На мой вопрос, когда будет призыв моего года рождения, ответили: «Скоро!» Газеты поведали мне о положении на фронтах войны и,

самое главное, об ожесточённых боях у Сталинграда. Сталинград у всех иркутян был на устах.

Готов ли я встать на защиту Родины? Готов! Внутренне всё время настраиваю себя на преодоление предстоящих сложностей армейской службы.

Да, скоро я расстанусь со своим лагерем, в который я врос полностью. Война требует: встать в строй!

Сейчас, когда я пишу эту книгу—воспоминания моих военных лет, я поражаюсь тем событиям, участником и свидетелем которых я был, особенно доверительности к человеку, которому поручалась определённого рода работа в области воспитания патриотических чувств и личного участия в больших и малых руководящих делах. Доверие требует соответствующей отдачи в достижении ожидаемого результата, и это возвышает человека перед окружающими в его делах.

Призыв

Наконец-то 18 августа мама привезла мне военкоматовскую повестку, в ней было написано: «Вам необходимо явиться в горвоенкомат, имея при себе приписное свидетельство, паспорт, пару белья и продуктов питания на трое суток».

Вот это новость! Это куда же меня собираются отправить? Неужели японцы зашевелились, угрожают нам, и нас решили сосредоточить где-нибудь в Монголии, поближе к Японии?

Прощай, лагерь! Прощайте, ребята! Хочется только одного—чтобы вы не познали военных действий на себе, а мы приложим все силы на вашу защиту!

Повара лагеря приготовили мне съестной припас, он был невелик: несколько пирожков, отварное мясо, штук пять варёных яиц, хлеб,—троечетверо суток на этом припасе прожить можно.

20 августа 1942 года, в сопровождении мамы и моей двоюродной сестры Шуры, я прибыл в военкомат. Доложился, сдал документы.

Большой военкоматовский двор был буквально забит народом. Все вели себя весьма сдержанно. Никаких истерик, плача, завываний, нет и песен и звука гармошки. Все понимают: это проводы на войну, на защиту Отечества от фашистов. До жителей уже дошли в полной мере данные о фашистской «свободе», уже многие увидели документальные кинофильмы об их зверствах, уже живые свидетели рассказали обо всех «прелестях» оккупации. И сердца призывников наполнились местью за поруганную Родину, за уничтоженное.

Вызвали меня и вручили целую пачку повесток на призыв, приказав все их сегодня доставить адресатам, проживающим в основном в Глазковском предместье (Свердловский район). Завтра явиться в военкомат в десять утра без опозданий. Сегодня свободен.

Расположение улиц Глазкова я знал плохо. Улицы центральной части города, до самой Ангары, я освоил ещё в летние каникулы после шестого класса. Оставаясь дома один, я старался каждый раз ходить новым маршрутом, рассматривая дома, их содержание и архитектурную выразительность. Правда, они мало чем отличались друг от друга, в основном это были типовые домовладения, и обыкновенный забор (заплот) отгораживал их от улицы. Мама, приходя с работы и видя что-то мной не сделанное из её задания, недовольно говорила: «Опять улицы мерил?» Вообще, она относилась к моим хождениям снисходительно.

Глазковский же район я почти не знал. Он возвышался над городом на левом берегу Ангары, круто поднимаясь к Койской горе. Застроен был тоже частными домиками, ничем не выделяясь друг от друга. Единственная особенность района—что с любой точки предместья просматривался великолепный панорамный вид на Иркутск.

Жители встречали меня настороженно, официально, без приветливых улыбок. Я понимал их состояние и, вручив повестку, уходил.

Разнеся все повестки, пройдя через весь город от Ангарского моста до тюремного Ушаковского, оказался у своего дома с мезонином, где меня ждали мама и сестра Шура. Они очень обрадовались моему возвращению—побыть вместе ещё одну ночь. Разговоры: воспоминания о родных, о событиях на фронте, о положении в стране. Проговорили почти до рассвета.

Утром снова военкомат. Картина та же: двор заполнен призывниками и их провожающими, которые знакомятся друг с другом, записывают адреса. Мама как-то сразу сблизилась с родителями Виктора Шмурова, отец которого, работник Севморпути, вместе с семьёй был эвакуирован из Москвы в Иркутск. Сейчас они проживали на иркутской метеостанции. Познакомилась мама и с сестрой Виктора Молентьева.

Время от времени на крыльцо выходил работник военкомата, зачитывал список очередной сформированной команды в составе пятидесяти-ста человек. Шло построение этой команды, прощание с родными, и команду уводили. Куда? Повидимому, на вокзал!

Все напряжённо ждут своего вызова.

Во второй половине дня прозвучала и моя фамилия. Прощаемся. Мама держится внешне спокойно, только бледность на лице выдаёт её волнение. Крепко обнимаемся, целуем друг друга.

— Ну, с Богом. Пиши чаще. Я тебе положила бумаги и конверты. Береги себя, пиши.

Построение. Нас в команде человек сорок, разного возраста, в основном мои погодки, но есть и «старики»—лет под тридцать. Командует нами лейтенант. Выходим за ворота военкомата и по

команде «правое плечо вперёд» поворачиваем в сторону Кузнечных рядов. Догадываемся, что нас ведут к нашей «Шварцевской» бане: помоемся, а уже потом поедем. Но баня остаётся позади. Идём дальше по нашим улицам: Подаптечная, Красноказачья, 1-я Советская и т. д. Все идём задумчиво-напряжённо. В голове всё время вертится фраза повестки: «При себе иметь пару белья и продуктов питания на трое суток». Что это значит? Прохожие сочувственно провожают нас взглядами, понимая, что мы — очередная группа призванных для фронта. Многие родственники шагают несколько поодаль, сопровождая нас. Уже всем становится ясно, что мы идём к Красным казармам. Наверное, здесь будет дополнительное формирование, а завтра на вокзал. Вот они, казармы. Но нас провели мимо и подвели с южной стороны к огромной землянке, расположенной у ограды казарм.

Команда «стой».

— Сейчас вас разместят в этой казарме.

— Какая же это казарма? — вставил кто-то из новобранцев. — Это овощехранилище.

— Разговорчики! Всё, что есть в ваших вещмешках съестного, до утра уничтожить. С завтрашнего дня вы на довольствии училища, питаться будете в столовой.

Все в полном недоумении. Почему об этом нельзя было сказать в военкомате? Мы бы продукты отдали родственникам-иркутянам, испытывающим в них большой дефицит. Эх, командиры, командиры!

Появилось несколько сержантов, которые завели нас в эту «казарму» — огромную полуземлянку с двухъярусными нарами, с небольшими окошечками и несколькими чугунными печками — по-видимому, для зимнего периода. Эту землянку я знал ещё с довоенной поры. Перед Великой Отечественной войной, в 1940 году, когда проходил мимо на кладбище к могиле брата, умершего в 1930 году, привлекало внимание строительство огромной полуземлянки. Отец говорил, что это, наверное, строят овощехранилище для столовых, размещённых в Красных казармах.

А оказалась — это карантинная землянка. Я забрался на верхние нары. Рядом со мной добродушные буряты. Знакомимся:

— Ты откуда? Как звать?

— Я из Баиндая. Дашей. А тебя как звать?

— Сергей. Я здешний.

Второй представился Геннадием из деревни Оса. Говорит, собрался поступать в сельхозтехникум, но надо Родину защищать.

— Меня провожали всем улусом. Я охотник, хорошо стреляю, тайгу знаю. Буду на немца охотиться. Мой брат уже на фронте, хорошо воюет.

Среди нашей команды много иркутян. Они, так же как и я, страдают, что не могут сообщить родным о нашем местонахождении. Сколько нас здесь продержат?

Прозвучала команда на построение. Мы вышли из «казармы» и построились в две шеренги. Нас пересчитали, сверили по списку и предупредили, что через тридцать минут, ровно в двадцать два часа, прозвучит команда «отбой». После неё никуда не выходить. Стали готовиться ко сну. Никаких спальных принадлежностей нам не дали — голые доски, вещмешок под голову и… думы… Думы переполняли наши черепные коробки. Постепенно стали успокаиваться и засыпать. Целый день необычайного напряжения, марш по улицам города, таинственное размещение в этой «казарме» сказались. Спать!

Необычная ночь

(Обжираловка)

Только я задремал, чувствую — сосед справа толкает меня в бок:

— Братка, давай поедим.

Открывает свой вещмешок: сало, варёное мясо, домашняя колбаса, какие-то печенюшки — в сравнении с моим лагерным припасом в виде нескольких пирожков и варёных яиц его запасы выглядели внушительно. Поели, поговорили и решили спать. Однако через несколько минут меня снова разбудили, на этот раз сосед слева.

— Братка! Вставай, поедим.

Его вещмешок оказался ещё щедрее. Я, уже насытившийся, стал было отказываться, но Геннадий умоляющее стал упрашивать, чтобы я разделил с ним ночную трапезу. Пришлось ему помочь справиться с его припасами.

Взглянув на соседние нары, вижу, что многие сгруппировались и уминают содержимое вещмешков, но не все, некоторые затаились и не принимают участие: или не имеют запаса, или не хотят.

Вся наша команда после ночного закуса дружно забылась крепким сном…

— Подъём! Выходи строиться! — прозвучала команда.

Мы, не привыкшие ещё к армейскому порядку, стали группироваться. Нас пересчитали, сверили со списком. Всё оказалось в порядке.

Повели в столовую на завтрак. Когда увидели на столе хлеб, кашу, масло, чай, у нас сложилось мнение, что здесь очень хорошо кормят. Сегодня мы очень сытые.

После завтрака снова построение. Старшина объявляет:

— Сейчас вы поедете на товарную станцию — разгружать вагоны с заводским оборудованием. Будьте внимательны. Работать будете до обеда. Затем вернётесь сюда…

Четыре дня нас возили на станцию разгружать вагоны. Благо, погода стояла отличная, какая

обычно здесь в конце августа,—с неоглядным голубым небом, лёгким ласковым ветерком, проплывающей в воздухе паутиной.

Многие ребята смогли сообщить своим родным наше местонахождение, и уже под вечер начались свидания. Ещё не зная своей дальнейшей участи, все воспрянули, стали строить домыслы, связанные с Красными казармами; уже знали, что в двух из них располагаются училища—политическое и инженерное.

Нас предупредили, что на днях мы предстанем перед комиссией, и нас определят кого куда.

Красные казармы

Они назывались так, эти помещения для размещения красноармейцев (солдат), не по своей красоте, не по архитектурной выразительности, а просто по цвету кирпича, из которого были построены. Подобные казармы были возведены во многих крупных населённых пунктах России ещё до Октябрьской революции. Как и эти, иркутские, казармы, они являлись для жителей гарантией спокойствия, надёжности. В Иркутске их было несколько, расположенных в разных районах. Это были добротные помещения, отвечающие всем требованиям размещения в них военных подразделений. Одна казарма, со всеми необходимыми хозяйственными постройками—конюшнями, складами, кузницей, была на улице Знаменской (Баррикад), в ней в советские годы размещалась кавалерийская часть, вызывавшая у нас, мальчишек, неимоверную зависть и уважение. Когда кавалеристы выезжали под звуки военного оркестра, жители улицы старались их поприветствовать, а мы, мальчишки, провожали их восторженными возгласами до Ушаковского моста.

Одна казарма была в Знаменском предместье (Маратовском), недалеко от берега Ангары.

Несколько казарм размещалось в центре города, восточнее стадиона «Локомотив». От этих казарм остались только названия прилегающих улиц: Казарменные. Эти казармы никакой ни строительной, ни архитектурной выразительностью не обладали.

Основные Красные казармы—это был целый военный городок (там, где они и сейчас размещаются). За ними простиралось поле.

Красные казармы служили иркутянам хорошим ориентиром: «в районе Красных казарм», «недалеко от Красных казарм» и т. п.

При этих казармах были все необходимые помещения и службы: полковая церковь (уничтоженная в двадцатые годы), кузницы, мастерские, склады, баня, плац. Вблизи размещались дома для офицеров—добротные, в основном одноэтажные, деревянные. Военное ведомство России всерьёз занималось дислокацией воинских частей, обеспечивая их удобными помещениями и соответствующей базой.

Историческая справка

Красные казармы в Иркутске—уникальный памятник военной архитектуры начала XX века, комплекс зданий и сооружений, специально построенный для размещения воинских частей 7-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии.

По окончании Русско-японской войны 7-я Восточно-Сибирская стрелковая дивизия прибыла в Иркутск. Входившие в её состав 27-й и 28-й Восточно-Сибирские полки, отличившиеся при обороне Порт-Артура, усилили иркутский гарнизон. В связи с этим в 1907 году Городская дума выделила военному ведомству 32 незаселённых квартала на Иерусалимской горе под застройку. Строительство велось инженерными частями по проекту и под руководством военного инженера Ф. Ф. Коштяла. Всего за два года были построены казармы, жилые дома для семей офицеров, склады и т. д. Комплекс, получивший название «Красные казармы», являлся образцом военной архитектуры того времени.

20 февраля 1910 года все Восточно-Сибирские полки были переименованы в Сибирские стрелковые полки. В том же году в Красных казармах был освящён храм-памятник 28-го Сибирского стрелкового полка во имя Святого Николая Чудотворца (снесён в период до Второй мировой войны).

После окончания Второй мировой войны комплекс Красных казарм долгое время занимали части Мукденского соединения ПВО. После расформирования Мукденской дивизии ПВО и передислокации её остатков Красные казармы пришли в запустение.

В 1942–1943 годах в Красных казармах размещались военно-инженерное и политическое училища. Военно-инженерное училище было полностью укомплектовано преподавательским составом.

Под стать командно-преподавательскому составу была учебно-материальная база училища, оснащённая многими пневмоэлектрическими механизмами и приборами.

Сам казарменный городок—комплекс учебного заведения с его учебными классами, плацем, понтонно-лодочным парком—был образцом военного училища.

И когда в момент написания этой книги автор узнал, что Красные казармы, этот уникальный памятник военной архитектуры начала XX века, внёсший значительный вклад в подготовку военных кадров во время Великой Отечественной войны, разрушается и по воле некоторых чиновников подлежит уничтожению, возникает не только непонимание, но и возмущение преступной деятельностью чиновников инспекции по контролю за состоянием и реставрацией памятников истории и культуры при президенте Иркутского регионального отделения ВООПИК.

Меня, коренного иркутянина, бывшего курсанта Иркутского военно-инженерного училища, очень взволновала участь Красных казарм. К сожалению, об их судьбе я узнал только сейчас, в мае 2011 года. Я с 1953 года живу в городе Железногорске Красноярского края. Красные казармы для меня — как альма-матер, всегда останутся памятью о высокопрофессиональном военном училище.

Меня до глубины души возмущает верхоглядство всех занимающихся историей Красных казарм. Как они из-за леса всевозможных явлений и действий чиновников, выносящих вердикт о ненужности Красных казарм, не смогли разглядеть могучий «дуб» — уникальный военно-архитектурный памятник конца XX века, не изучили, какое великое дело было выполнено Иркутским военно-инженерным училищем, размещавшимся в Красных казармах вместе с конно-сапёрным дивизионом в 1942–1943 годах и готовившим высококвалифицированные инженерные кадры для фронтов Великой Отечественной войны?

В послевоенные годы в казармах размещались подразделения ПВО, топогеодезические и другие.

Кроме этого, Красные казармы сыграли значительную роль в становлении таких советских военачальников, как А. Родимцев, К. Рокоссовский, Р. Малиновский, И. Бескин, А. Таубе и др.

Красные казармы Иркутска — уникальный памятник военной архитектуры, и относиться к нему нужно так, как это предписано законом о сохранении исторических памятников.

Ещё несколько лет — и уникальный архитектурный памятник будет окончательно утрачен для потомков.

Мандатная комиссия

Утром нам объявили общее построение, пересчитали, сверили со списком военкомата. Все на месте. Старшина сказал, что мы находимся в помещении карантина военно-инженерного училища. Сегодня мы предстанем перед медицинской и мандатной комиссиями, которые определят нашу годность к дальнейшему прохождению военной службы. Собрали нас в помещении рядом с кабинетом начальника училища, сказали, что вызывать будут по одному и мы должны, заходя в кабинет, докладывать: «Красноармеец такой-то», называть свою фамилию.

Царившее напряжение стало как-то сникать. Стали общаться друг с другом, знакомиться. Оказалось, что подавляющее большинство нашей команды — иркутяне. Всех интересовал вопрос: что же это за училище? Почему раньше о нём ничего не говорили? Кого оно готовит? Сколько мы будем в нём учиться? Какие требования предъявляют сейчас при зачислении в училище?

— Красноармеец Кучин, — выкрикивает старшина.

Захожу в кабинет. Сидят полковник, подполковник и два майора. Здесь же присутствует военврач. Представляюсь:

— Красноармеец Кучин.

Хотя я ещё в ранге призывника до принятия присяги. Мне задают вопросы, где я учился, какие у меня оценки по математике, геометрии, есть ли у меня жалобы на здоровье, каково моё семейное положение. Отвечаю.

— Желаете ли стать курсантом военно-инженерного училища?

— Да!

— Можете быть свободны.

Перед обедом общее построение, зачитывается приказ начальника училища, кого зачислили курсантами. Я — курсант!

Баня

И вот первое построение уже курсантов. Кое-кто из ребят узнал, что это бывшее Черниговское военно-инженерное училище, эвакуированное в Иркутск, его аббревиатура ЧВИУ звучала более романтично, чем теперешняя ИВИУ. Это личное восприятие не влияло на официальное название: Иркутское так Иркутское. Главное, что в основном весь квалифицированный преподавательский состав, всё техническое и военно-учебное оборудование прибыли сюда, в Иркутск.

Взвод, ещё не умеющий держаться строем, раскачиваясь шеренгами, протопал к одноэтажному кирпичному зданию в углу казарменного двора. Шли мы со своими баулами, чемоданами, вещмешками, рюкзаками. Старшина объясняет:

— В предбаннике снять всю одежду, составить опись, в которой указать ваш домашний адрес, упаковать одежду в чемоданы или вещмешки. При входе всем остричься наголо, получить мыло. После бани получить обмундирование.

И вот все сорок курсантов в банном отделении, все довольно поджарые, в разной степени загорелые, разные и ростом, и возрастом. Стриженые головы как-то сближали, делали нас одинаковыми. И хотя это была сугубо мужская компания, мы всё равно стеснялись своей наготы…

И уже прозвучала первая оценка. Громкоголосый Трофим Винокуров пророкотал:

— Баня! Да разве это баня? Это так, помывочная. Вот у нас была баня так баня. Она досталась нам ещё от прадеда. Стояла она на берегу Иркута. Небольшая, неказистая снаружи, но внутри… Она топилась «по-чёрному». А вы знаете, что это значит — «по-чёрному»? Это когда вытяжной трубы в бане нет, и весь дым, обволакивая все стены и потолок, каждое брёвнышко, насыщает их собой и нагревает жаром берёзовых дров, которыми топится печка.

Притихли курсанты, внимательно вслушиваются в излагаемую коренным сибиряком историю бани «по-чёрному».

Трофим продолжил:

— Протопив несколько часов, хорошо проветривали всё помещение бани, закрывали двери и давали выстояться. Ох, какой дымно-одухотворяющий запах шёл изнутри. Интересно, что стены и потолок бани, закопчённые дымом, совершенно не мазали тело. Напарившись, нахлеставшись берёзовым веником, мы прямо с берега ныряли в Иркут, вдыхая полной грудью свежий речной воздух. А это что? Вот та была баня! А это так, помывка. Благо, что есть горячая и холодная вода…

— Заканчивайте мыться! — звучит зычный голос старшины. — Получите обмундирование.

В предбаннике старшина выдаёт обмундирование и бельё: кальсоны, рубахи, брюки-бриджи, юнкерские фуражки (от Гражданской войны, до сих пор лежавшие на складе), ботинки, портянки и… обмотки. Вот в этот-то момент и началось весёлое оживление. Старшина показывает великую премудрость: как правильно обматывать портянки и обмотки. Да, эти элементы обмундирования не были знакомы курсантам. Только несколько «старичков» быстро освоили эти премудрости и выглядели отличным наглядным пособием.

Оделись, смотрим друг на друга, не узнавая. Уже послышались солдатские ехидные подначки:

— Баллон-то у тебя уже спустил.

И под общий хохот незадачливый курсант сматывает обмотки и снова старательно накручивает на ногу.

Старшина командует:

— Взвод! Выходи строиться!

Первое построение взвода, только что одетого в курсантскую форму. И казалось, что прошло-то всего чуть больше часа после этой метаморфозы, но это уже был строй красноармейцев: форма подтягивала, дисциплинировала, обязывала буквально с первых минут её ношения. Вызывали недоумение кителя и фуражки. Говорили, что это обмундирование от юнкеров до сих пор лежало на складах. Многие курсанты оценили его лучше красноармейских гимнастёрок и пилоток.

Знакомство с командиром взвода

Старшина повёл нас в казарму, в которой на третьем этаже должна располагаться наша рота.

Встретил нас лейтенант, который представился:

— Я — лейтенант Голубков, командир вашего взвода, который входит в состав первой роты. Командир роты — старший лейтенант Крикунов. Во взводе — четыре отделения, командиры которых — сержанты Сенаторов, Наумов, Морозов и Какоулин. Старшина роты — Сластных. Ваш взвод будет располагаться вот здесь, в первом боксе.

— Разрешите вопрос? — обратился один из курсантов.

— Разрешаю. Представьтесь.

— Курсант Колдашов. А кто в каком отделении, и где наши спальные места?

— Об этом сейчас вам расскажет старшина роты Сластных. Он непосредственный ваш начальник по всем вопросам армейской службы.

После объявления состава отделений стали занимать указанные места. Мне досталась верхняя кровать над командиром отделения.

Стали знакомиться друг с другом. Мой сосед — Виктор Шмуров, ставший настоящим верным другом; к сожалению моему и моих друзей, первый из взвода погиб в марте 1945 года…

— Ты откуда?

— Я черемховский. Павел Еремеев, из школы военных техников (ШВТ). Нас тут несколько человек. А ты откуда?

— Я — Сергей. Местный. Окончил восьмую школу.

Николай Непомнящий — из города Тулуна, Павел Колдашов — аж из города Моршанска, Поздняк Михаил — из Нижнеудинска…

Знакомства продолжались. Постепенно формировался круг единомышленников, в основном по отношению к военной службе, степени образования и человеческого отношения к окружающим.

Дня через три пришла ко мне мама, ей о месте нашего нахождения сообщили Шмуровы. Она была очень рада, что я в Иркутске, в военном училище.

Назавтра перед нами выступил комиссар — майор Учава. Он рассказал о положении на фронтах войны, о продолжавшейся эвакуации предприятий на восток, о наших задачах — окончить училище, стать командирами и выполнить свой долг по защите Родины.

Комиссар рассказал, что училище было организовано перед войной в городе Чернигове. Затем передислоцировано сюда, в Иркутск. Теперь это Иркутское военно-инженерное училище, готовящее командиров инженерных подразделений широкого профиля. Нам предстоит изучить такие военные дисциплины: сапёрно-подрывное дело, минирование, фортификационные сооружения, мосты, дороги, маскировку, связь, топографию, тактику, форсирование водных преград и другие, постоянно помня, что идёт жестокая война на территории Родины.

Началась наша учёба со строевой подготовки и теоретических занятий по форсированию водных преград и организации переправ.

Переправа

В середине сентября мы стройной колонной отправились к месту практических занятий по переправам, в район деревни Смоленщина, что на берегу реки Иркут, в двадцати пяти километрах от наших казарм. Полная боевая экипировка. У нас ещё не было своих шинелей, одолжили у соседнего батальона, уже прошедшего эти учения. Через весь

город Иркутск маршировали мы к месту сбора. И вот, наконец, наш будущий лагерь.

На отлогом берегу Иркута—несколько шалашей, покрытых хвойными ветками. Внутри—двухсторонние земляные нары на десять человек с каждой стороны траншеи глубиной сантиметров сорок. В торце шалаша устроена пирамида для оружия.

Распорядок на этих сборах был очень жёстким, даже в какой-то мере жестоким. Сбором руководил майор, которого мы сразу прозвали Водяным. Он всё время ходил с указкой в виде кия и указывал на недостатки в расположении понтонного имущества.

На территории сбора требовалось ходить только «понтонным шагом», что-то вроде бега трусцой. Вообще, все действия должны проводиться как во фронтовых условиях—бесшумно, без демаскирующих действий, костры разрешалось разводить только днём с соблюдением скрытности.

Сначала днём изучали устройства переправочных парков:

- труднозатопляемое имущество (тзи) для устройства пешеходных мостов;
- резиновые лодки (парк а-3) для переправы и устройства паромов;
- ещё какой-то деревянный парк.

На берегу находилось два вида понтонов: из надувных резиновых лодок и деревянных, окантованных металлом больших лодок, борта которых могли складываться. Практические занятия проводились и днём, и ночью. Все конструкции парков и оснастки к ним были уложены на берегу в чёткой последовательности сборки: лодки (понтоны), прогоны, настил, колесоотбой, оснастка, скрепляющие болты, стропы, меха для надувания резиновых лодок.

Подавались команды:
— К оснастке понтона приступить!
— К сборке парома приступить!

Руководитель засекал время, и если мы не укладывались в нормативный срок или своими разговорами создавали демаскирующий шум, все команды отменялись, всё разбиралось, складывалось на берегу, и всё повторялось сначала—до совершенства и приобретения навыков. Особенно тяжело приходилось тем, кто занимался подноской прогонов и настила.

Мы научились собирать понтоны различной конструкции: и надувные, и сборные фанерные, и цельнометаллические. Выводили их в линию моста, закрепляли и пропускали по ним механизированные подразделения.

Чтобы собрать понтон, приходилось «понтонным шагом» (бегом) к нему подносить отдельные детали весом до восьмидесяти килограмм. Подносили вдвоём на плечах, на которые надевали специальные наплечники.

Организовали и индивидуальное, и групповое форсирование водных преград из местных плавсредств и т. п. В основном все подобные мероприятия проводились в ночное время. Ноги и шинели были мокрые, сушить разрешали только днём у костра. Но мы умудрялись ночью разводить маленькие костры в шалаше и ставить на просушку свою обувь, пока не произошёл анекдотичный случай. Один из курсантов, «старичок», оставив у костра свои ботинки, утром, как обычно, сунул в них ноги и выскочил из шалаша на зарядку. Командир взвода лейтенант Голубков построил взвод и стал обходить его, разглядывая состояние обмундирования. Последовала команда:
— Курсант Рубцов, выйдите из строя.

Он выходит, а мы охнули, увидев его ботинки с отвалившимися носками, из которых выглядывали портянки и шевелящиеся пальцы ног.

За сожжённые ботинки Рубцов получил двое суток гауптвахты. А где же отбывать наказание? Был вырыт двухметровый шурф, и в него поместили Рубцова.

В связи с намеченным на следующий день принятием присяги Рубцова реабилитировали. История эта сохранилась в памяти на все годы учёбы.

Присяга

Здесь же, на переправе, на берегу реки Иркут, мы приняли присягу. Вообще-то это был уникальный случай в истории училища, когда присяга принималась в обстановке, близкой к фронтовой.

Накануне нас предупредили, что завтра будем принимать присягу. С утра стали приводить в порядок свой лагерь, подшили свежие подворотнички, почистили свои ботинки. Чувствовалось волнение, наступал ответственный момент, когда мы должны дать клятву на верность Отчизне во всех своих делах и помыслах.

День выдался солнечный, тёплый. С реки веяло прохладой. На деревьях уже почти не было листвы, кустарник создавал оранжево-красноватый фон, голубое небо—всё навевало праздничное настроение; если бы не полчища кровососущих насекомых, жужжащих над нами и вонзающих свои носы в нашу задубевшую кожу, всё было бы отлично.

Мы выстроились на специально приготовленной площадке. Приехали начальники: полковник—начальник училища, комиссар, с ним два политработника. Комиссар сказал приветственную речь, поздравил с принятием присяги. Торжественный момент портили полчища комаров, через великую силу выдерживали мы их натиск по команде «смирно». Но вот зачитан текст присяги, поставлена подпись, и я уже не просто военнослужащий, а красноармеец—боец нашей Красной Армии.

После принятия присяги—обед. Правда, он ничем не отличался от обедов в обычные дни.

В честь этого важного момента в нашей жизни нам выделили два часа свободного времени.

Затем были продолжены занятия по сборке понтонов. Погода одарила нас хорошим настроением, золотистым природным букетом.

И снова потекли тяжёлые, изнурительные дни освоения форсирования водных преград, по суворовскому выражению: «Тяжело в учении, легко в бою». Много раз во фронтовых условиях мы вспоминали эту переправу.

Этот сбор нас вымотал здорово, но в результате мы овладели знаниями форсирования водных преград и укрепили наши отношения между собой, стали понимать друг друга, и наше товарищество стало перерастать в дружбу, которая сохранилась до сегодняшних дней.

Возвращались мы с этих учений в начале октября измотанные, в замызганном обмундировании, страшно усталые. Казалось, что весь солдатский дух из нас вышел. И вдруг заиграл оркестр, встречающий нас. О, это великое чудо. Откуда-то взялись силы, поднялось настроение, и бодро зашагалось. Какая великая сила таилась в этих оркестровых звуках! Мы почти строевым шагом прошли по плацу к нашей казарме, уже не ощущая усталости.

Командно-преподавательский состав училища

С командно-преподавательским составом училища нам повезло. Во-первых, все командиры, от командира взвода, роты, батальона и до старшин, относились к нам с армейской строгостью, справедливостью и суворовской заботливостью. Все преподаватели одновременно выполняли роль командиров, проводя практические занятия и по строевой подготовке, и по строительству причала, обследованию дорог, мостов, возведению фортификационных сооружений и др.

Показ, как нужно делать, и строгий спрос, многократное повторение, пока преподаватель не убеждался в твёрдом усвоении изучаемого материала, прочно закрепляли знания.

Многие преподаватели во время теоретических занятий делились своим опытом ведения конспектов: записывать главное — суть изучаемого, при этом используя различные методы выделения главного, доходить до каждого курсанта, добиваясь усвоения.

В общем, это было настоящее учебное заведение высокого класса.

Да, с командно-преподавательским составом нам повезло. А вот о составе младших командиров — командиров отделений — этого сказать нельзя. Их роль в армейско-курсантской жизни, особенно в учебном процессе, была далека от справедливо-действенного отношения к своим подчинённым в отделении.

Здесь сказались и общеобразовательный ценз, и личное отношение каждого к своим обязанностям, и чувство личного тщеславия. Правда, среди средних командиров были не только просто здравомыслящие, но и перспективные, смотрящие на своё сегодняшнее положение как на временное и старающиеся взять всё ценное для себя от общения с более опытными и грамотными сослуживцами.

Нет, у нас не было дедовщины, широко распространённой в армейской жизни и даже в учебных заведениях, но не было и взаимного уважения. Дело в том, что младшие командиры значительно уступали курсантам по уровню образования, имея, как правило, в основном семь-восемь классов средней школы. Отслужив срок действительной службы в строевых частях, хорошо усвоив уставы военной службы, они попали в высшее учебное заведение, где могли проявить себя только высокой требовательностью к подчинённым, навыками практических приёмов строевой подготовки, физкультурных занятий, в строительстве фортификационных сооружений (окопы, дзоты, капониры и т. п.).

Недостаточная культура общения, поведения в общественных местах, некоторое высокомерие, любовь к славе, тщеславие — быть лучше других в какого-либо вида соревнованиях — снижали их достоинство как командира, как руководителя. Они, особенно командиры первого и четвёртого отделений, упивались своей властью, доказывая своё «превосходство». Какоулин мог среди ночи скомандовать любому курсанту отделения: «Подъём, одеться, доложить», «Отбой». И всё повторялось несколько раз. В таком виде и темпе отрабатывались команды! Да, с младшими командирами нам не повезло. Но все курсанты оказались выше их.

Учёба

Познав азы военных действий, приближенных к фронтовым, мы после учебной переправы поняли необходимость более серьёзного изучения военной науки — науки воевать.

Первое, что нас волновало при возвращении с переправы, — положение на фронтах Великой Отечественной войны. Много тревожного мы узнали из газет о блокаде Ленинграда, кровопролитных боях на многих фронтах, особенно на сталинградском направлении. Усилилось чувство тревоги, чувство нашей ответственности.

> «В течение 21 сентября наши войска вели ожесточённые бои с противником в районах Сталинграда и в районе Моздока. На других фронтах изменений не произошло.
>
> *Совинформбюро. 21 сентября 1942 г.*».

Такие информационные стенды постоянно вывешивались в коридорах у учебных классов.

В училище усилили в первую очередь изучение науки грамотно воевать, используя весь арсенал военных знаний, добиваться превосходства над врагом и в нападении, и в обороне, доводить свои действия до автоматизма, используя при этом знания маскировки, строительства фортификационных сооружений, устройства личных средств защиты — стрелковых ячеек, траншей полного профиля, создания минных полей и других видов заграждений.

Война — противоборство двух воюющих сторон. Вспоминаются слова литературного героя Жухрая из романа Николая Островского «Как закалялась сталь». К сожалению, этот шедевр патриотического воспитания молодёжи современные идеологи стараются затоптать, но моё поколение эта книга воодушевляла, вселяла силы и энергию при преодолении житейских трудностей. Так вот, напутствуя Павку Корчагина на справедливую борьбу, Жухрай говорил: «Драться вообще не вредно, только надо знать, кого и за что бить».

Мы прекрасно понимали, за что необходимо бить фашистов, пытающихся захватить нашу Родину, а вот как их бить — нас как раз учили в училище.

Очень широкий круг военных дисциплин был в программе училища, о некоторых из них мы на гражданке даже не ведали: возведение взводного и ротного опорных пунктов; строительство долговременных огневых точек; умение читать топографические карты, определять по ним наиболее выгодные и безопасные пути движения воинских подразделений; строительство мостов; оборудование средств связи между подразделениями, как телефонных, так и радио; способы форсирования водных преград и др.

И конечно, нам, как будущим командирам инженерных подразделений, старались более детально изложить задачи сапёрно-подрывных операций — минирования и разминирования.

Большое внимание и теоретически, и практически уделялось тактическим занятиям. Их проводили не только преподаватели тактики, но и командиры подразделений.

При любом движении взвода на местности давались вводные:

— Взвод! Противник справа. Рассредоточиться. Занять оборону. Взвод, построиться! Шагаем в район деревни Большая Разводная (сейчас этой деревни нет, её поглотило Иркутское водохранилище).

Команды:

— Взвод! Конница слева! Занять оборону!

— Курсант Шмуров, командуйте.

— Курсант Шмуров убит. Команду берёт на себя курсант Дижур.

— На горизонте показались танки. Ваши действия?

И так всю дорогу.

Особенно изматывающими были занятия в зимние морозные ночи, когда в полной боевой экипировке, с шанцевым инструментом, нас выводили в район водонапорной башни и ставили задачу взорвать её. Нам выдавали прорезиненные мешки для «взрывчатки», которую имитировал снег. На старте мы набивали мешки снегом и ползли к башне. Так как ползти нужно было не одну сотню метров, мы снег из мешков высыпа́ли и, проявляя «красноармейскую находчивость», ползли налегке — и у подножия башни набирали снег в мешки. Здесь неожиданно появлялся преподаватель.

— Что это у вас?

— Аматол, для взрыва башни.

— Нет, это снег. Аматол вон там, — показывает на место старта.

Приходилось всё делать сначала. Возвратившись к стартовому месту, набивать мешки снегом и ползти к водонапорной башне.

Вообще, этого преподавателя мы уважали за справедливую требовательность к нам и хотя и строгое, но тактичное обращение с нами. Он покорял нас своей выправкой, отношением к изучаемому предмету, говоря, что взаимодействие воинских подразделений во время боя — одна из главных задач действия в наступлении.

Побывал на фронте, был легко ранен и после госпиталя направлен в училище. Старался от нас добиться автоматизма в действиях, говоря, что только отличное знание приёмов приносит успех в бою.

Вспоминается преподаватель минно-подрывного дела — Межхельсон. Он, пожалуй, был старше всех из преподавателей. Относился к нам строго и как-то по-отечески заботливо, умело сочетая иронические приёмы с требовательностью.

После занятий на морозном воздухе, придя в тёплый класс, многие курсанты начинали дремать. Заметив это, он тихим голосом подавал команду:

— Кто спит, — и громко: — встать!

Задремавшие с грохотом, под общий смех, вскакивали. После команды «садись» занятия продолжались.

Училище получило новые миноискатели с круглой рамкой. Вспоминается его рассказ:

— Принёс вчера этот миноискатель домой, чтобы получше ознакомиться с ним. Жена спрашивает, что это такое. Это, говорю, универсальный миноискатель, при помощи которого можно не только обнаруживать мины, но и определять у женщин срок беременности и пол плода. Я-то знал про свою жену, надел ей наушники, подвёл рамку миноискателя к её животу, к металлической пряжке, и спрашиваю: «Слышишь? Звенит. Значит, сын будет». К вечеру несколько беременных женщин пришли ко мне на приём.

Громкий, заразительный смех был наградой майору за его байку.

Сосредоточив внимание на каждой фразе излагаемых действий при минировании и разминировании, особенно мин с «сюрпризом», которые

немцы охотно любили применять, он всё время напоминал поговорку: «Сапёр ошибается один раз», указывая на внимательность и ответственность.

Сколько раз мы вспоминали эти предостережения в боевых условиях, особенно при разминировании. Они действительно были для нас больше чем преподавателями, были нашими отцами и старшими братьями. Разминирование на практике оказалось самым смертельным делом для нашего батальона во время боевых действий, когда даже сам комбат, в последний день войны обезвреживая мину, погиб 8 мая 1945 года.

И в учебные дни к процессам обращения с взрывчатыми веществами, взрывателями нас всё время призывали соблюдать осторожность и аккуратность.

К сожалению, в момент изучения этих ответственных задач были и чрезвычайные происшествия из-за нарушения правил техники безопасности. Такой случай произошёл в нашем учебном батальоне, во время занятий в смежном классе по изучению немецких взрывателей к противотанковым минам. Взрыватель резко отличался от нашего, на нём была маркировка красной краской, что это учебный экспонат. Во время рассказа преподавателя об особенностях этого взрывателя его вызвал дежурный командир. Преподаватель предупредил всех курсантов, чтобы во время его отсутствия на столе ничего не трогали. Любопытство сидящего за первым столом курсанта пересилило все сдерживающие факторы. Он взял взрыватель и повернул в нём рычажок—раздался взрыв. Курсант убит, его сосед тяжело ранен. Трагедия училищного масштаба. Случай этот был обсуждён во всех подразделениях училища. Комиссия констатировала основную причину как результат ослабления дисциплины. Преподавателя—старшего лейтенанта—военный трибунал приговорил к тюремному сроку с заменой на отправку на фронт. Военный трибунал также определил суровые наказания командирам роты и взвода, лаборанту, выдавшему боевой взрыватель за учебный. А наше непосредственное командование усилило внимание к дисциплине в наших подразделениях и личной ответственности за свои действия.

Шанцевый инструмент

Сапёры в основе своей—строители. Это им предназначено строить инженерные сооружения: доты, дзоты, землянки, капониры, причалы, мосты, различного рода заграждения, хотя даже энциклопедии трактуют сапёров как «подразделения и части инженерных войск, занимающиеся разминированием местности, оборудованием переправ, установкой минно-взрывных заграждений, прокладкой пути движения».

Да, конечно, самая опасная, самая напряжённая работа у сапёра связана с минами и взрывателями.

Сапёр должен владеть многими плотницкими и землеройными инструментами, и один из них—сапёрная лопата.

Мой фронтовой друг Миша Позняк по поводу лопаты написал: «В нашем взводе большинство курсантов получили сапёрные лопаты, а мне досталась кирка-мотыга. Если у кого-либо при слове «лопата» сложится мнение, что она похожа на известную огородную лопату, то они глубоко ошибаются. Сапёрная лопата делалась в строго определённых размерах. Её общая длина вместе с черенком—1 метр 10 сантиметров. Длина лезвия—20 сантиметров. Лопаты, которые выдавали нам, были сделаны ещё в царское время из отличной стали и наточены до такой степени, что некоторые пытались с их помощью бриться. Лопата помещалась в чехол, который крепился к ремню; черенок лопаты с помощью ремешка прикреплялся к левому плечу. Таким образом, лопата не мешала бойцу в движении, а при необходимости могла быть использована в качестве холодного оружия. После работы весь шанцевый инструмент тщательно очищался от грязи; лопаты, пилы и другие—точились, смазывались тонким слоем солидола и, после осмотра командиром отделения, ставились в пирамиду».

Мне из обязательного шанцевого инструмента досталась именно лопата.

Верность

Лопата, старая лопата,
В каких ты землях не была!
И от снегов была черна ты,
И от жары белым-бела.
Всё по тебе: и ярость пыла,
И край передний на войне,
И столько ты перекопала—
Что и до звёзд достать вполне.
Готовы всё отдать до нитки
По добродушью своему
Рукотворила ты магнитки,
Столбила северную тьму.
Моя любовь. Моя подмога.
Товарищ верный по судьбе.
Нет, ты не хмурься, ради Бога,
Что я тут столько о тебе.
Народ мой чтил тебя от века.
Всё было. Трудно и легко.
…Люблю характер человека,
Который роет глубоко.

Сергей Островой

Как я с ней сдружился! Моя экипировка без лопаты была ущербной. Я ею дорожил, как и своим автоматом.

Сколько я этой лопатой перекопал, какого только грунта она не испытала — и всегда успешно справлялась. Да, она действительно была «моя любовь, моя подмога», как написал о ней поэт Сергей Островой. Я благодарен ей.

У Миши Позняка и Павла Еремеева были кирки-мотыги, которые тоже хорошо крепились и не мешали в движении, а у Володи Дижура — пила, которую курсанты не любили, потому что, как её ни крепи, она доставляла определённые неудобства при движении…

Во время наступления в марте 1945 года через поле перед деревней во время сильного миномётного обстрела пила Володи, по-видимому, замедлила его движение, он запнулся, и в этот момент осколок мины врезался ему в ногу выше колена, вырвав большой кусок бедра.

Когда мы с Мишей Позняком подползли к нему, он от большой потери крови был очень бледен, но в памяти. Мы перевязали его, вытащили с поля боя, из-под разрывов снарядов, и на сапёрной повозке повезли в медсанбат. Рана оказалась очень большой, и он умер у меня на руках. Мы, его друзья, решили, что в его смерти была виновата пила, мешавшая в движении.

Смерть Володи для нас была большим несчастьем. Однако решили, что смерть на войне находит массу причин, оставляя родным и друзьям память. И мы оставили в себе добрую память о хорошем человеке — Володе Дижуре

А вообще шанцевый инструмент для сапёра — очень нужный рабочий инструмент.

«Сорок»

Наша курсантская жизнь вступила в фазу стабильности. Всё основное внимание — учёбе. Ведь для нас учебный процесс открывал столько нового, непознанного, хотя мы считали, что знаем многое для отражения врага.

Война, шедшая на территории нашей Родины, каждый день передавала нам тревожные вести. Мы чувствовали, что нам как можно скорее необходимо влиться в состав действующей армии. Учились усердно. Но армейская жизнь многообразна: помимо сна, принятия пищи, изучения военных предметов, ещё необходимо удовлетворение некоторых привычек, хотя и пагубно действующих на здоровье, но неотвратимых для повседневной жизнедеятельности — курение!

«Сорок!» Это не победный клич ворвавшегося в курилку, а просьба: оставьте хоть немного, на затяжку, хоть процентов сорок окурка. Как хорошо, что я не курил. Курящим курсантам приходилось туго. Мама не верила, думала, я стесняюсь, не говорю ей. Она передавала мне табак, я отдавал его курящим. Во время перекура в туалете стоял дым коромыслом, курящих было много, но обделённых было больше. Они, эти желающие, с тоской смотрели на курящих; иногда те искуривали половину своей самокрутки, тогда некурящие просили оставить «сорок», то есть меньше половины, Те, по неписаному закону, отдавали остаток. А те, кто опаздывал к этому ритуальному дележу, просили «двадцать»! И довольствовались остатком, который обжигал губы, — но сохранялась солидарность курцов.

Сталинград

«В течение 3 ноября наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда, северо-восточнее Туапсе и юго-восточнее Нальчика. На других фронтах никаких изменений не произошло.
Совинформбюро. 3 ноября 1942 г.».

Вместе с пониманием возможности получаемых знаний в этом училище, крайне необходимых на фронте, ответственности перед народом за судьбу Родины в битве с врагом и необходимостью и желанием самим скорее принять участие в этой битве, курсанты всё же испытывали усталость от весьма напряжённой учёбы, и нам хотелось хотя бы небольшого отдохновения и нравственного отдыха.

Разрядкой служили просмотры кинофильмов в казарменном клубе, редкие походы в Дом культуры соседнего училища авиационных механиков и в театр музыкальной комедии — на гастроли киевского театра, — это были духовные праздники, но они были эпизодическими. И всем было понятно: обстановка на фронте и, естественно, в стране была очень напряжённая. В 1942–1943 годах сводки информбюро занимали у каждого главенствующее внимание. В основном вопросами политического просвещения занимались политорганы.

Наш комиссар, майор Учава, — типичный представитель кавказской национальности, крупного телосложения, говоривший с сильным акцентом, что вызывало особую нашу симпатию. Говорил он медленно, весомо и иногда как-то заискивающе перед собеседником, совсем уж не по-солдафонски. Курсанты его уважали за добродушное отношение к ним.

В период армейского двоевластия он не старался подменить или тем более заменять своей властью командира роты, использовал свою власть в сочетании с его действиями. Но в области общественной деятельности, в проведении досуга курсантов старался проявить инициативу. Любил поэзию и сам пописывал стихи. Узнав из анкет, что я в школе занимался художественной самодеятельностью, усиленно стал привлекать меня к прочтению его стихов и озвучиванию их на концертах в нашем училищном клубе.

Стихи его были очень корявые, не вписывались ни в какие стихотворные каноны. И всё же несколько его стихов я прочитал со сцены клуба.

Однажды майор вызывает меня и даёт газету «Восточно-Сибирская правда», в которой были напечатаны стихи иркутского поэта Молчанова-Сибирского «Рассказ пленного». Было это как раз после завершения Сталинградской битвы. Он говорит мне:

— Слюшай! Ты понимаешь, как это воспримут курсанты, когда перед ними выступит «живой немец»? Слюшай, это будет большой сенсация. Мы разыграем интермедию.

Он сильно возбудился, встал, прошёлся по кабинету и продолжил:

— Мы всё представим по-фронтовому. Согласен?

Разгром фашистов под Сталинградом для всех жителей нашего Союза был большим радостным событием. Политработники решили специально этому событию посвятить концерт в нашем клубе.

Майор Учава перед началом концерта выступил с коротким докладом об этом историческом событии, приведя данные об окружении двадцати двух немецких дивизий, взятии в плен свыше девяноста тысяч немецких солдат и офицеров во главе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом.

— Это огромная победа нашей Красной Армии! — закончил Учава.

Зал взревел криком:

— Ура!

> «В течение 29 декабря наши войска южнее Сталинграда продолжали успешно развивать наступление и заняли ряд населённых пунктов.
> *Совинформбюро. 29 декабря 1942 г.*».

Майор продолжал ещё своё выступление, когда на сцену вышел дежурный офицер и доложил майору, что доставлен пленный немец. Зал выразил своё удивление и какое-то ошеломление от такого необычного сообщения. Командиры и старшины еле успокоили присутствующих в зале.

На сцену переполненного клуба конвоир выводит меня — «пленного немецкого солдата», в замызганной немецкой шинели, в огромных соломенных бахилах на ногах, на голове спущенная на уши немецкая пилотка. Зал замер. Сопровождающий офицер спрашивает:

— Расскажите, что вы делали на фронте? Вы говорите по-русски? Шпрехен зи рушен?

— Я, я. Да, я умей.

— Где ваши части находились, в тылу?

— Я, я.

Наш офицер —
Фриц фон дер Платен —
Нам даль приказ,
И ми шель в бой.
Ми биль пьяны,
Но наш зольдатен
Сражались храбро,
Как герой.
В одном селе,
Где нет мужчина,
Наш Фриц убиль
Один старик
И два ребят.
Ми браль скотина.
Быль много шум
И много крик
Нам в этом ошень помогает
Немного нож,
Немного штык.
По-русски это назыфают —
Ди кража
Или дер грабёж.
Ми ночеваль,
Наш офицер быль
Много пьян.
Вдруг выстрел.
Нам сказаль, что
Это русский
Партизан.
Тогда уехать
Ми шелали,
Но наш обоз
Совсем исчез.
Зольдатен храбро
Побежаль пешком.
Как вдруг из тёмный лес
На конях мужики и бабы,
В руках винтовка и гранат.
И наш обоз вместе со штабом
И наших доблестных зольдат
Они взяль плен.
Фаюю я не первый год,
Я Бельги биль,
Мы и Францью браль,
Но там зольдатен воеваль,
А тут фаюет весь
Народ!

Эффект был потрясающий. Хлопали, неистово кричали, свистели, и, главное, неслись возгласы:

— А ты как думал, сволочь немецкая?

Меня увели со сцены под улюлюканье зала. Интересно, что какая-то часть зрителей поверила в действительность интермедии.

Майор Учава был доволен.

Ледяная переправа

Я хоть и коренной сибиряк, но к пониженным температурам наружного воздуха отношусь отрицательно. Правда, я целиком разделяю мнение англичан, которые говорят: «Нет плохой погоды, а есть неуважение к ней — надо одеваться в соответствии с температурой».

К сожалению, командование училища не особенно придерживалось этого принципа, нам не разрешали утепляться дополнительно тёплыми

вещами, одевать можно было только то, что выдавали интенданты: нательное бельё, тёплое бельё, китель, бриджи и шинель, на голове шапка-ушанка. В морозы ниже двадцати градусов нам дополнительно выдавали башлыки. Я на наружных занятиях мёрз. А когда нас вывели на речку Ушаковку (приток Ангары), где господствовал пронизывающий ветер, и объявили, что через эту реку необходимо пропустить механизированную колонну, а лёд тонкий, необходимо его нарастить, то мы поняли, что предстоит работа с водой. Стали вырубать растущий на берегу кустарник, стаскивать его в створ будущей переправы и заливать водой, которую черпали в проруби и подносили вёдрами. Естественно, обливались, и буквально вскоре наши шинели встали коробом. Ветер, нёсшийся по долине Ушаковки, способствовал замерзанию переправы и одновременно нас самих. Трудились мы на этой переправе около четырёх часов. Задание выполнили. Толщина льда в месте переправы превысила семьдесят сантиметров, что было достаточным для пропуска мехколонны на противоположный берег. И только после этого мы пошли в казармы. Тяжело, но зато мы на практике познали, как можно и нужно делать ледяную переправу. И хотя во фронтовых условиях ни мне, ни моим товарищам не пришлось делать подобных переправ, урок был очень познавательный.

Песни

Мой друг Павел Колдашов при встрече, вспоминая прошлое, говорил:
— Ох, какие мы песни пели! Особенно во время вечерней прогулки! Раздавались звонкие голоса запевал, и вся рота дружно подхватывала:

А почему сапёры носят
Лопату, кирку и топор?
А потому, что они знают,
Что надо дать врагу отпор.

Песня! Строевая песня — неизменный спутник солдатской службы. Она — и украшение солдатского бытия, и вдохновение на переживание всякого рода неурядиц, и призыв к стойкости в битве с врагом. Песня будоражила не только души солдат, она создавала атмосферу благополучия у жителей, слышавших песню солдат.

Всё новые и новые голоса вливаются в этот многоголосый хор, и летит песня, широко расправив крылья над готовящимся ко сну городом. И думают горожане: раз казармы поют — значит, всё хорошо. Укрепляется уверенность в надёжности нашей борьбы на фронте.

Звенит лиричный голос запевалы Ивана Дунаевского, уже подхватывает его зычный, немного басовитый голос Виктора Мелентьева, и рота следом за ними поёт:

Гремя огнём, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин
И первый маршал в бой нас поведёт…

И все тяготы прожитого сегодняшнего дня забыты. Всеми курсантами завладевает песня.

Жаль, что эта хорошая традиция вечерних армейских прогулок сейчас утрачена. Считается неприличным петь на улице в строю. Песня и музыка никогда не были помехой хорошему настроению.

У нас даже существовал свой особый репертуар. Когда старшина роты или помкомвзвода выводил нас из казармы на построение, перед движением в столовую и командовал:
— Взвод! Левое плечо вперёд, шагом марш! Запевай! — Иван Дунаевский своим задушевным лирическим тенором выводил:

Ох, как бы дожить бы
До свадьбы-женитьбы
И обнять любимую свою.

Старшина подавал обычную свою традиционную реплику:
— Доживёте! — и подавал команду: — Рота! — что означало: нужно переходить на строевой шаг и «рубить каблуками землю».

Возвращаясь из столовой, по команде старшины Иван Дунаевский и Виктор Мелентьев дуэтом запевали:

Кони сытые бьют копытами,
Встретим мы по-сталински врага…

И, передохнув, набрав в грудь воздуха, заканчивая свой марш патриотическим запевом, они продолжали:

Заводов труд и труд колхозных пашен
Мы защитим, страну свою храня,
Ударной силой орудийных башен
И быстротой и натиском огня.

И все курсанты роты подхватывали:

Пусть знает враг итог борьбы великой:
Народ-герой никем не победим!
Мы смерть несём фашистской банде дикой.
Мы от фашистов мир освободим.

— Рота! — командует старшина — и снова строевой шаг. — Стой! Разойдись!

Доволен старшина, довольны курсанты.

Это песни строевые, необходимые в любом движении воинского подразделения строем. Такая песня помогает сосредоточить внимание именно на движении колонны, на шагистике и на выражении своего настроения.

Песня — зеркальное отражение душевного состояния человека в данный момент. Взгрустнулось

Володе Дижуру — потянулся за гитарой, тронул струны, и полилась душевно-лирическая, его любимая «Любимый город». Эта песня из кинофильма сошла с экрана в народ перед Отечественной войной и сразу стала одной из популярных народных песен; она покорила своей правдивостью, своей судьбоносностью, оптимистической перспективностью:

> Пройдёт товарищ все бои и войны,
> Не зная сна, не зная тишины.
> Любимый город может спать спокойно,
> И видеть сны, и зеленеть среди весны.

И забирается в сердце солдата тоска по дому, по тишине…

Таких песен перед войной было мало, они появились в годы войны, вышли изнутри солдатских душ и действительно были зеркальным отражением душевного состояния: от песни-набата «Вставай, страна огромная» до задушевной «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат».

Причал для Иркутской ТЭЦ

Не знаю, на каких условиях училище в марте 1943 года получило задание построить на Ангаре, у Иркутской ТЭЦ, причал для разгрузки барж с углём.

По-моему, это было очень разумное и полезное решение и для города, и для училища — как производственная практика курсантов.

Наша рота почти в течение месяца ежедневно в семь часов утра выходила из казармы в полной боевой экипировке, с шанцевым инструментом, оружием, противогазами, и шагала по улицам города до ТЭЦ с десятиминутным привалом на территории сквера имени 1 Мая, что на улице Декабрьских Событий. Причём, как правило, этот интервал от казармы до привала шли, выполняя команду «оружие на плечо». Придя на место работы, оружие (винтовки) устанавливали в пирамиды, складывали инструмент и приступали к работе. Трубы ТЭЦ нещадно дымили, засыпая винтовки и инструмент сажей. Работа наша заключалась в подготовке свай, установке сваебойного оборудования, фрикционных лебёдок, заготовке настила, забивке свай — более ста штук.

Пронизывающий ангарский ветер охлаждал наш пыл. По очереди ходили погреться в помещение кузницы. Обед нам привозили в термосах на место работы. Температура наружного воздуха держалась в пределах минус двадцати пяти градусов.

В один из рабочих дней, при забивке очередной сваи, с консольного помоста оступился и упал в ледяную воду Виктор Шмуров. Поднялся переполох. К счастью, его тут же вытащили из воды, затащили в кузницу (единственно тёплое помещение), раздели, обсушили. Всё обошлось. Однако неприятный разговор о нарушении правил техники безопасности с командиром роты состоялся.

В восемнадцать часов мы заканчивали работу и строем шагали в казарму. Ужинали, чистили оружие и шанцевый инструмент, проклиная тэцовские трубы, засыпающие сажей наше имущество. Эти дни работы на причале были для нас тяжёлыми, но мы были довольны своей работой, своими познаниями технологии строительства причалов, знакомством с работой электро- и пневмоинструментов. Мы считали, что выполнили большую, нужную работу для Иркутска в напряжённое военное время, которая дала возможность нормально работать ТЭЦ, а значит, и заводам и фабрикам Иркутска.

Положение на фронтах

Сообщения Совинформбюро о положении на фронтах Великой Отечественной войны мы слушали с затаённым вниманием. Командование училища даже несколько раз отменяло физзарядку, давая нам возможность прослушать радиопередачу о положении на фронтах. Учебный процесс в училище и положение на фронте и в тылу нашей Родины постоянно увязывались при изучении всех предметов. Причём преподаватели, используя опыт ведения боевых действий в особых природных и городских условиях, старались акцентировать внимание именно на этих фактах, особенно — ведении уличных боёв в Сталинграде, форсировании водных преград и т. п. Была постоянная связь фронтовых действий с положением тыловых предприятий, сложностью работы, снабжением, бытовыми условиями. Мы видели, какой огромный, сложный объём работы выполнял Государственный Комитет Обороны, увязывая всё в единое целое, направленное на решение одной задачи — победы над фашизмом.

Именно в эти последние дни 1942-го и начале 1943 года всё человечество волновала судьба Сталинградского сражения.

> «В течение 24 ноября наши войска продолжали вести успешное наступление с северо-запада и с юга от города Сталинграда на прежних направлениях.
> *Совинформбюро. 24 ноября 1942 г.*».

Положение на фронтах Великой Отечественной войны осложнялось. Наш комиссар, майор Учава, вечером после ужина собрал нас в Ленинской комнате и рассказал о битве за Сталинград:
— Очень сложные, тяжёлые условия приходится преодолевать нашим воинам на Сталинградском фронте. Инженерные и дорожные войска действуют с огромным напряжением, строя новые и восстанавливая разрушенные бомбёжками мосты и переправы. Только в полосе действий Сталинградского фронта инженерные части оборудовали

на Волге девять районов переправ. Всего на Волге от Саратова до Астрахани только за время Сталинградской эпопеи наведено пятьдесят паромных переправ, на которых работало более ста тридцати паромов. Кроме того, инженерные войска построили два наплавных моста. Работая на переправах днём и ночью, нередко стоя в ледяной воде под огнём противника, в ноябре переправили более ста шестидесяти тысяч солдат и офицеров, сотни танков, орудий, автомашин, тонны боеприпасов. Вы понимаете, как необходимы инженерные войска на фронте, как нужны ваши знания для победы над гитлеровским фашизмом. Практические занятия в училище должны помочь закрепить ваши знания, показать вам сложность и необходимость ваших действий на фронте.

Курсант Мелентьев обратился к комиссару:

— Товарищ майор, мы понимаем всю сложность обстановки на фронтах и наши задачи в учёбе. Мы выполним свои обязанности.

Война постоянно требовала пополнения воинских рядов ввиду выбывших убитыми и ранеными. Причём часто это возмещение требовалось срочно и квалифицированными кадрами. Это касалось младших командиров, среднего комсостава. В основном эти вопросы решали школы младших командиров, ускоренные курсы среднего комсостава. К сожалению, военные училища и тем более — военные академии не могли полностью обеспечить замену квалифицированными кадрами. В училищах сокращали срок обучения за счёт интенсификации учебного процесса. Но всё равно военные училища старались программу обучения выполнить, не снижая качества учёбы. Мы, курсанты, это чувствовали на себе и тоже старались уложиться в установленные сроки обучения, не снижая качества.

Обучая военным наукам, преподаватели старались сочетать их с трудовой деятельностью, которая обязательно потребуется после войны. И это оказалось очень важным в народно-хозяйственной деятельности государства после Победы.

Несмотря на необходимость скоротечности подготовки кадров, готовили их в основном по программам мирного времени: питание по курсантской норме, распорядок дня с обязательным послеобеденным часовым отдыхом и многие другие мероприятия, направленные на сохранение здоровья и физического состояния. «Тихий час» — как он сохранял наши силы в период напряжённых, изматывающих полевых занятий!

Всё это мы оценили значительно позднее, анализируя нашу учёбу, нашу подготовку к напряжённым боевым действиям на фронте.

Да, высшее армейское руководство заботилось о будущем, зная, что нам предстоит на заключительных этапах войны участвовать в кровопролитных боях, преодолевая ярость немецких фашистов.

Мамин праздник

Неожиданно в субботу командир роты выписал мне увольнительную до двадцати двух часов. Я был очень обрадован, особенно потому, что знал: завтра — православный праздник, Пасха. Религиозные праздники в то время отмечали только отдельные верующие граждане, для мамы он был обязателен. Она родилась в деревне на берегу реки Лены, у старинного села Верхоленска, окончила начальную школу с похвальной грамотой и, конечно, была верующей, соблюдая все православные праздники, особенно такие, как Рождество и Пасху, торжественно к ним готовясь, наводя порядок в квартире и отмечая праздник кулинарным изыском — это в мирное время, а сейчас…

Я почистил сапоги, привёл в порядок курсантскую форму и помчался домой. Путь был длинный: от Красных казарм по улицам города через тюремный Ушаковский мост на Сарафановский проезд. И вот уже виден мой дом с мезонином, в этом доме мы снимали квартиру, арендуя мезонин, в который вела деревянная лестница, сделанная отцом перед войной. Сердце учащённо забилось перед встречей с мамой. Открыл калитку ворот — и вижу: мама моет горячей водой (на дворе апрель) лестницу — это её предпраздничный ритуал.

Радость общения. Поднимаемся на веранду, заходим внутрь. Наша скромная кухонная обстановка смотрится как-то привлекательно: накидочки, шторки, занавесочки, сделанные из паковочного материала и украшенные трафаретным орнаментом, придают особый вид уюта. Да, мама постаралась. На столе белая скатерть, на ней чаша с пятью яйцами, окрашенными луковой шелухой, два ломтика хлеба, традиционный байкальский омуль и каша.

— Ой, сейчас я проверну на мясорубке перловку и испеку на рыбьем жире пару лепёшек. А с первой звездой мы с тобой и покушаем. Как я рада твоему приходу. Надолго?

— Увольнительная до двадцати двух часов! Как ты тут поживаешь? Как работаешь?

— Да вроде всё нормально. Дети Анны Степановны (хозяйки дома), Володя и Николай, служат в авиационной части на Урале. Роман на фронте. Вот от него давно нет писем, Анна Степановна очень волнуется. У меня в совхозе всё нормально. Наше Ушаковское отделение отметили за высокий урожай капусты, даже премию выдали — по бутылочке рыбьего жира. Шура (моя двоюродная сестра) устроилась на работу на Куйбышевский. У Фаины (родственницы мамы) оба сына на фронте. Приезжали из Верхоленска (родина мамы), привезли немного муки. Так что обо мне не беспокойся…

Возвращался я в казарму, осуждая себя, что даже не сохранил несколько кусочков сахара, выдаваемого нам к завтраку, это был бы мой подарок

маме к её празднику. Я шёл и думал, скольким же таким женщинам, как мама, приходится переживать трудности и невзгоды военного лихолетья. Ведь она потеряла мужа и сына и живёт одна — только силой своего духа и мыслями обо мне. Чем я сейчас могу помочь ей? Только частыми известиями о себе.

Это стихотворение прислал мне двоюродный брат моей жены — Распутин Константин Васильевич, участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке. Узнав, что я пишу книгу о военно-инженерном училище, о котором он в годы войны знал как о базе военных кадров, одобрил мою инициативу и, как подарок фронтовикам, написал это стихотворение и просил по возможности напечатать его, что я и делаю.

Лишь подвиг наш остался молодым

Приветствую соратников своих.
Осталось, вижу, нас немного,
Ведущих переменные бои
С судьбой, стоящей у порога.

Менялся мир, и мы менялись с ним.
Отжившее, кончаясь, тлело.
Лишь подвиг наш остался молодым,
Победа наша не старела!

Уверенно вручаем мы её
Достойным правнукам и внукам.
Священную не тронет забытьё,
Коль есть надёжные их руки.

Под занавес желает ветеран,
Чтобы страны родной элита
Хвастливо не гремела в барабан,
За что мы в сорок первом биты.

Убеждены: непобедима Русь,
Мощь атома тому порукой,
Проучены швед, немец и француз,
Не вывелись ещё Суворовы и Жуков.

К. Распутин, участник
Великой Отечественной войны

Дружба, скреплённая войной

В августе 1942 года мы встретились в Иркутском военкомате, совершенно не знакомые друг другу, разновозрастные, каждый со своим интеллектом, своим характером, объединённые одними условиями, одними действиями — военной службой, военной учёбой. Постепенно в каждом раскрывались черты общего, определялись точки соприкосновения, понимания друг друга, зависимость, сочувствие.

Первые дружеские отношения у меня сложились с Павлом Еремеевым. Мы были с ним соседями по койкам. Сын рабочего из города Черемхова, выросший в большой семье. Из школы поступил в школу военных техников (ШВТ), оттуда был переведён в наше училище.

Сблизились мы с ним на первом марше в район учебной переправы. Как-то сразу прониклись друг к другу уважением, которое переросло в крепкую дружбу. Он оказался порядочным парнем — прямым в суждениях, умеющим постоять за справедливость. С Павлом я был в одном отделении в училище и — во время боевых действий — в 139-м гвардейском отдельном сапёрном батальоне в составе 17-й воздушно-десантной бригады. И всё это время я с ним ел из одного котелка. Первое фронтовое задание мы выполняли вместе, и даже 8 мая 1945 года, когда мне вместе с Мишей Позняком приказали разминировать коварное немецкое минное поле, на котором погиб наш комбат, он обратился к командиру роты с просьбой разрешить ему остаться со мной. Ему отказали, но сам факт этого поступка говорит о многом, ведь это было в последний день войны.

Виктор Шмуров — москвич, сын работника Севморпути, эвакуированный из Москвы в Иркутск вместе с отцом, матерью и сестрой. Участник математических олимпиад при Московском университете, он выделялся среди нас своей образованностью, скромностью, активным участием в комсомольской работе батальона. Надёжный товарищ. Пользовался авторитетом всех курсантов и преподавателей.

К величайшему моему и моих друзей сожалению, он погиб на полях сражений в Венгрии в марте 1945 года. Он был настоящим другом. Незадолго до его гибели мы с ним договорились: если один из нас погибнет, второй подробности его гибели сообщает родителям. Эта участь досталась мне. И сидит во мне большой занозой его гибель. Я сделал всё, чтобы светлая память о друге сохранилась надолго.

Родители Виктора относились ко мне как к родному. Всегда приветливо встречали, постоянно поддерживали со мной письменную связь. По просьбе отца, Михаила Васильевича, я не рассказал матери, Михалине Михайловне, подробности о гибели Виктора, ей мы сказали, что Виктор во время наступления пропал без вести — по-видимому, попал в плен. С большим недоверием она продолжала до самой своей смерти ждать от Виктора известий.

Виктор Мелентьев — иркутянин, из простой рабочей семьи. Так же как и многие из нашего взвода, призван был сразу после окончания девятого класса. Внешне он отличался атлетическим сложением, житейской взрослостью — прямо Аполлон. К нему часто на свидание приходила симпатичная девушка. Многие из нас завидовали ему, у нас

ещё не было любимых девушек. Виктор вскоре стал командиром отделения. Вёл себя подобающе строго и справедливо, никогда не проявлял своего превосходства. Он обладал даром рассказчика. На маршах, особенно в ночное время, шагая с нами в строю, негромко, но выразительно пересказывал содержание книг Алексея Толстого, Майн Рида и других. Слушали его с удовольствием, коротая походное время.

На фронте мне пришлось вместе с ним выполнять первое фронтовое задание—охранять в течение нескольких суток стык фронтов двух дивизий под постоянным миномётным обстрелом противника. С ним вместе я совершил первый прыжок с парашютом, когда нас перевели в десантную бригаду.

А после войны я был у него на свадьбе, он женился на моей однокласснице, с которой я проучился все школьные годы. Сложилась замечательная семья. Виктор окончил курсы экономистов и работал в аппарате Иркутского облисполкома.

А та девушка, что приходила к нему на свидания, вышла замуж. Весь взвод, узнав об этом, написал ей письмо в духе Константина Симонова.

Примите же от нас
Презренье наше на прощанье,
Не уважающие вас
Виктора однополчане.

С Валентиной Ивановной, женой Виктора, мы по-прежнему школьные друзья. Мы с моей супругой каждый раз, бывая в Иркутске, навещаем Валентину Ивановну и её семью. Всегда рады встрече с членами теперь большой, дружной семьи Мелентьевых.

Павел Колдашов—замыкающий в шеренге при построении взвода. В своих воспоминаниях об училище он писал: «В роте, а тем более во взводе я был самым молодым и самым маленьким по росту (где-то около 110 см). Трёхлинейная винтовка с примкнутым штыком была выше меня. Но это меня не смущало, так как, по боевому уставу пехоты (БУП-36), в отделении замыкающий—опытный боец».

Да, он был самый молодой и самый маленький, и к тому же он окончил только девять классов. Учился он хорошо, даже очень. Здесь же, в городе, жила его сестра, муж которой был заместителем начальника нашего училища. Но Павел никогда об этом не распространялся и никакими льготами не пользовался. Мало кто из курсантов знал об их родственных связях. Про него можно сказать: мал золотник, да дорог. В шестнадцать лет он стал сиротой, работал в бригаде связистов по установке наружной связи. Родился и вырос он в городе Моршанске, и в училище его долго нарекали Моршанским, особенно вспоминая при получении моршанской махорки, к производству которой он никакого отношения не имел, но прозвище это долго сопутствовало ему.

Он был общителен, дружелюбен. Никогда не отказывался ни от каких физических работ. Курсанты относились к нему доброжелательно. В мае 1945 года его с другим бывшим курсантом отправили на учёбу в Ленинградское высшее инженерное училище.

В шестидесятых годах, после длительного перерыва, мы встретились. Восстановились и укрепились наши дружеские отношения. Он дослужился до полковника, руководил научно-исследовательскими работами на Ладожском озере по защите портовых сооружений. До самой его смерти мы оставались близкими друзьями.

Павел Лоншаков—кондовый сибиряк. В училище был направлен из Иркутской школы военных техников (ШВТ). Он действительно был ярким представителем сибиряка-забайкальца. Деловой, скромный, общительный, сам крепкий, могучий, как сибирский кедр. Какая-то сила притяжения сблизила нас, хотя мы с ним были в разных отделениях.

Спокойный, выдержанный, он быстро завоевал авторитет в нашем взводе, не говоря уже об отделении. Командование батальона, видя его организаторские способности, вскоре назначило его командиром отделения.

На фронте он вёл себя очень достойно. Был ранен, но своего отделения не оставил.

После демобилизации Павел вернулся в город Ступино—наш базовый город (здесь формировалась наша 17-я гвардейская воздушно-десантная бригада), где его ждала Таня. Женился. Работал секретарём Ступинского горкома комсомола, затем, после окончания техникума,—начальником цеха на авиапредприятии. Замечательная семья. Несколько раз я бывал у него в гостях и всегда уходил с впечатлением уверенности и дружелюбия, взаимопонимания.

К сожалению, 18 июля 1979 года он скоропостижно умер, оставив о себе замечательную память как о человеке долга, справедливости, чести—каким он был в жизни.

Миша Позняк—самый близкий по интеллекту друг. Мы с ним одновременно были зачислены в училище, но оказались в разных отделениях, однако это не помешало нам завязать крепкую дружбу до конца дней его жизни (он умер в Киеве в 2009 году).

И в училище, и затем в действующих войсках на фронте я совместно с ним участвовал во многих операциях: в форсировании реки Раба в Венгрии, в эвакуации раненного Володи Дижура с поля боя, из-под миномётного обстрела, в строительстве

моста у города Санкт-Пельтен в Австрии, в разминировании коварного минного поля в последний день войны, 8 мая 1945 года, на границе Чехословакии, в захоронении нашего комбата майора Гладышева и старшины Дмитрюка в День Победы — 9 мая 1945 года…

После войны Миша окончил юридический факультет госуниверситета, работал судьёй, затем председателем Курского областного суда.

Дружба, крепкая, уважительная, сохранялась все годы жизни.

Иван Дунаевский — наш запевала. Он своим голосом, своим умением задавать тон песни снискал большое уважение в нашей роте. Этот добрый, отзывчивый, неунывающий товарищ был нашей гордостью, и благодаря ему мы на всех строевых смотрах завоёвывали призовые места. Он погиб при разминировании моста.

Николай Непомнящий — земляк, сибиряк. Он както не особенно выделялся в нашем взводе, был несколько замкнутым. Он поразил меня своей отзывчивостью. В сентябре 1945 года меня отправили сопровождать политработника дивизии аж до города Канска Красноярского края и при этом предоставили краткосрочный отпуск для моего заезда в Иркутск, к маме.

После военных действий наше обмундирование выглядело весьма неприглядно. Ребята стали меня «облагораживать»: кто-то поменял сапоги на более приличные, кто-то поменял мне бриджи, а Николай отдал взамен моей, не пригодной к носке, свою, только что им полученную шинель.

После войны он окончил Иркутский пединститут, работал директором школы в городе Тулуне.

Володя Дижур — наш «Тёркин», неунывающий, вечно подбадривающий других. Он был тяжело ранен во время наступления. Мне с Мишей Позняком пришлось вызволять его с поля боя под миномётным обстрелом. Но довезти его до медсанбата живым я не смог, он умер у меня на руках. Вечная слава этому замечательному воину. После войны мы с Мишей Позняком встретились с его братом и рассказали ему о смерти Володи, который погиб в бою как доблестный воин.

Миша Пятаков — замечательный товарищ, запевала в нашей роте. Какие рулады он выводил своим голосом, дружно подхватываемые всей ротой. Как же помогала нам солдатская песня в нашей службе в училище. Он был отличным минёром, но погиб при разминировании немецкой мины с «сюрпризом».

Кукушкин Михаил — сибиряк. Невысокого роста, плотного телосложения, трудяга. О таких говорят: от скуки на все руки. Мы страдали по шахматам, Миша перочинным ножиком вырезал за неделю все шахматные фигуры.

Уже в десантной части наше отделение командировали на ремонт парашютного склада. Там из бракованного авиазента он нам всем сшил сапоги на зависть местным парням. После фронта наши дороги разминулись, а жаль. Он оставил о себе самые светлые воспоминания.

Среди нас самым старшим был бывший директор школы Охотин. Невысокого роста, щуплый, очень подвижный. Прекрасно занимался на турнике — крутил «солнце» и многократно подтягивался на зависть молодёжи. Он хорошо рисовал маслом, командование снабжало его красками и предоставляло возможность рисовать большие полотна, посвящённые войне. Он, как и несколько других курсантов, при расформировании училища был направлен в распоряжение СибВО.

Да, невозможно забыть моих друзей-товарищей по армейской службе. Ведь почти пять лет вместе, из них десять месяцев — в училище. В последующие годы, не менее напряжённые, ответственные: воздушно-десантная бригада, Белоруссия — резерв Главного командования, фронт — Австрия, Венгрия, Чехословакия, и везде — наш 139-й гвардейский сапёрный батальон, укрепивший нашу дружбу, наше единодушие. За всё это время в памяти нет никаких конфликтных ситуаций, никаких неурядиц. Мне, конечно, повезло на единство коллектива: безусловно, сказалась общая образованность, культура. Это были годы настоящего жизненного университета, и главное не только в приобретении новых знаний, а в установлении настоящих дружеских отношений.

Сразу после демобилизации мысли о встрече с однополчанами не появлялись. Семейные, житейские заботы, накопившиеся за военные годы проблемы, требующие разрешения, отодвинули память. А она — о друзьях-товарищах — пробивалась сквозь время, через расстояния. Мы все спрашивали: «Где же вы, друзья-однополчане?» Вспоминали, искали, ждали встреч. Ведь их должно было быть много, со мной в одном армейском коллективе служили, учились, воевали курсанты инженерного училища, солдаты-десантники, сапёры 139-го гвардейского батальона.

Инициатором первой встречи был штаб нашей 106-й гвардейской воздушно-десантной бригады. Эта встреча всколыхнула память, ускорила наше сердцебиение, усилила потребность личного общения.

Получаю приглашение на встречу, в котором всё чётко регламентировано: дата встречи, схема места встречи, программа, адрес гостиницы и маршрут движения.

Еду поездом. Волнения начались уже на подступах к столице нашей Родины — Москве. Письменно изложить то духовно-физическое состояние, которое возникло от ожидания встречи, невозможно. С приближением к указанной гостинице сердце начало учащённо биться. Вот гостиница, за окном в вестибюле первого этажа — знакомые физиономии смотрящих на улицу друзей. И сразу объятья друзей, порыв встречи: Миша, Павел, Виктор, второй Павел... Друзья, здравствуйте!

Оформление гостиничных документов, размещение в номерах. Через тридцать минут — общий сбор. Как здорово, что все здесь собрались!

Вопросы, вопросы: кто откуда? Семья, работа? И уже потом: а помнишь? Это — на весь вечер. Назавтра собрались в вестибюле, двинулись к месту сбора — площади на территории вднх. Все при наградах, сверкающих в лучах утреннего солнца и мелодично позванивающих. Заходим в вагон трамвая — и невольно горло сжимают спазмы: пассажиры вагона встали, приветствуя нас. Неожиданно, необычно и благодарственно москвичам.

На площади у Дома культуры вднх — разметки построения подразделений дивизии. Находим место своего 139-го гвардейского сапёрного батальона. У таблички стоят двое мужчин, один из них спрашивает:

— Ребята, вы из сапёрного батальона?

— Да!

— А кто знал Володю Дижура?

Мы обомлели. Оказывается, это родной брат Володи, Саша, узнал, что состоится наша встреча здесь, и он, как работник администрации вднх, пришёл попытаться найти друзей Володи. Это невероятная встреча. Мы с Мишей Позняком рассказали вкратце о смерти Володи. Саша заявил, что он нас не отпустит, что после торжественного собрания сослуживцев он нас забирает к себе домой, что он должен услышать от нас подробный рассказ о Володе.

После встречи завязалась переписка с Сашей, дружеская, тёплая, товарищеская.

Эта встреча с моими друзьями-однополчанами открыла мне в их судьбах много того, что таилось в их сердцах и душах всё время совместной службы.

Как бы донести эту дружбу, эти бескорыстные отношения до сегодняшней молодёжи, подверженной дедовщине, разборкам, пагубным привычкам? К сожалению, армия сейчас перестала быть символом мужества, стойкости, взаимовыручки, дружбы, а служить-то Родине нужно всего год. Может быть, именно поэтому не успевают познать как следует друг друга, не хватает настоящего общения, совместного преодоления трудностей, взаимовыручки, взаимопомощи. Нас, военное поколение, это очень волнует.

Память же о друзьях-товарищах нас вдохновляет, наполняет наши сердца гордостью за дружбу, за совместное преодоление всех армейских тягот.

Так и просится из популярной песни: «Где же вы теперь, друзья-однополчане, боевые спутники мои?» — и... пушкинский ответ: «Иных уж нет, а те далече».

И только память воскрешает их образ, их дела во имя нашей дружбы.

Перекур

Пот застилает глаза. Уже все шагающие в этом марше с нетерпением ждут команды на отдых. Полная походная армейская выкладка тянет к земле. Наконец лейтенант подаёт команду:

— Перекур!

Свобода! Можно сесть где удобнее, расслабиться и, конечно, закурить. Курящих во взводе около половины, и они как бы задавали темп дальнейшему распорядку, но это только в самом начале, а затем внимание всех сосредотачивалось на каком-нибудь рассказчике. У нас, как правило, всё внимание в этот момент обращено на Уткина, старались оказаться поближе к нему, чтобы лучше слышать его байки.

Уткин — сухощавый, подвижный курсант, явно перешагнувший тридцатилетний возраст, но никогда не выказывающий своего возрастного превосходства перед нами — в основном девятнадцатилетними юнцами. Женат, жена — врач. Сам инженер. Очень коммуникабельный. Все теоретические предметы схватывал на лету, а вот что касается физической нагрузки, здесь он уступал многим молодым, особенно на занятиях по штыковому бою.

Во время перекуров Уткин в центре внимания. Со всех сторон к нему летят просьбы:

— Ну, Уткин, давай, трави!

И он, не обращая внимания на тон просьбы, начинал рассказывать анекдоты. Знал он их неисчислимое количество. Лейтенант наш усаживался несколько в стороне от общей массы курсантов и, покуривая, лукаво улыбался в предвкушении оглушительного смеха. А Уткин уже рассказывал...

Такие перекуры устраивались уже по теплу — в апреле-мае, когда мы двигались от казармы к деревне Большая Разводная на берегу Ангары, где у нас была база нашего лодочного парка.

Вот уже раздался первый, ещё сдержанный, смех.

— Едут в поезде в одном купе женщина с мальчиком лет шести и полковник-грузин. Мило беседуют. Мальчик время от времени обращается к матери: «Мама, я пукну?» — «Иди пукни». Мальчик возвращается. Так повторяется несколько раз. Наконец, после очередного возвращения мальчика, полковник, поведя своим выразительным носом,

говорит: «Слюшай, малшик, ты пукни здесь, а потом иди в тамбур».

Хохочут курсанты, улыбается лейтенант.

Уткин продолжает:

— В загсе в очереди на развод сидят двое. Один другого спрашивает: «Что у тебя случилось?» — «Не могу больше терпеть. Такая неряха, всё в квартире запустила. Свинарник, а не квартира. Уже что только не делал, помогал, даже сам пол мыл, а она хоть бы что. А вчера в супе выловил носок. Всё, развод. А у тебя что?» — «А у меня такая аккуратистка, что житья нету. Ночью встану в туалет, вернусь, а постель уже заправленная».

Опять взрыв хохота:

— Вот такую нашему старшине надо. А что? Вот порядок-то был бы.

Уткин продолжает:

— Приходит в домоуправление мужик и говорит: «Смените мне квартиру. Я человек пожилой, степенный, а они не считаются со мной и каждый вечер крутят на моих глазах любовь». Пришла к нему комиссия, просит: «Покажите, что вам мешает». Мужик говорит: «Дак вон, залезьте на гардероб, оттуда всё видно…»

Лейтенант подаёт команду:

— Взвод, приготовиться к построению.

Курсанты просят:

— Ну ещё один анекдот.

— В следующий раз! Взвод, становись!

Возбуждённые, в весёлом настроении подходили курсанты к берегу Ангары. Быстро собирали большие понтонные лодки и занимали места гребцов. Над Ангарой неслись команды:

— Правой греби, левой табань!

— Прямо.

Мы любили эти занятия: Ангара со своей кристально чистой водой, свежий воздух с запахом моря, наступающая весна и физическая нагрузка — гребля, — замечательная зарядка!

Через неделю перед подъёмом прозвучала команда:

— Учебная тревога!

Вообще-то мы не ожидали, думали, что дело идёт к концу нашей учёбы и никаких тревог больше не будет. Ошиблись. Приехало какое-то московское начальство и решило посмотреть, чему же мы научились.

— Тревога! Подъём!

Сборы — всё отработано до автоматизма. Мы умудрились досрочно. Построение. Проверка и… марш-бросок до нашей лодочной базы. Экипировка — полная, боевая. Бегом! Дополнительно в момент марша вводная: «Появление на горизонте вражеского десанта, круговая оборона, захват десантной группы, овладение лодочной базой, захват одного понтона (нлп — новый лодочный парк), рассчитанного на двадцать человек, и переправа на нём по ангарскому заливу». Отработка этого мероприятия оказалась очень сложной, трудоёмкой, но мы с ней справились, получив оценку «хорошо».

Отдышавшись и приведя себя в порядок, строевым маршем двинулись в казарму и вот тут, на полпути, лейтенант разрешил сделать привал. А раз привал — значит, Уткин продолжит анекдоты. Его уже окружили плотным кольцом.

— Пришёл красноармеец к командиру полка и просит отпустить его в отпуск, говорит, что его жена ждёт ребёнка. «Когда должен появиться ребёнок?» — спрашивает командир. «Если вы дадите отпуск и я благополучно доеду до дома, то через девять месяцев», — под общий смех заканчивает Уткин.

Здесь же сидят двое московских проверяющих, с большим вниманием слушают и улыбаются.

— Девушка гуляет с парнем в парке, обнимает его и спрашивает: «А ты будешь меня любить всю жизнь?» — «Как же я тебя всю жизнь любить буду, кода у меня увольнительная только до десяти?»

Уткин обратился к окружающим за табаком. Сразу несколько человек протянули ему свои кисеты. Он закурил и продолжал своё повествование:

— Шёл Абрам мимо базара, видит — женщина продаёт какие-то сильно большие яйца. Он спрашивает: «Чьи?» Она ему отвечает: «Слоновьи». Он берёт пару, приносит домой и, пока Сары нет дома, решает попробовать. Снял штаны и сел на яйца. Пришла Сара. «Ты что, Абрам, делаешь?» — спрашивает она. «Вот купил два слоновьих яйца и сижу на них». Сара заглянула под него и говорит: «Сиди, Абрам, сиди, уже хобот видно».

Тут же грянул гомерический хохот, московские проверяющие тоже смеялись вместе со всеми.

Командирский голос

Приближался конец нашего обучения в военно-инженерном училище. Скоро нас выпустят, присвоив воинское звание «лейтенант». В воинской части, в которую нас направят, назначат нас командирами инженерных (как правило, сапёрных) подразделений. Мы станем не только командирами, но и воспитателями вверенного нам подразделения. Наверняка подавляющее большинство личного состава будет по возрасту старше нас. И многое зависит от взаимоотношений с личным составом, проявления к ним строгой справедливости, знаний в выполнении заданий и умения проявить командные приёмы. Для этого необходим командный голос. Как правило, мы его отрабатывали в свободное время после ужина, удаляясь в безлюдные места. И тут уже давали волю своей инициативе, командуя по очереди:

— Взвод, становись! — командует курсант Еремеев.

— Отставить! Повторите!

— Взвод, становись! — снова даёт команду Еремеев.

— Отставить!..

Да, у большинства из нас, девятнадцатилетних, голос был далеко не командирский, часто «давал петуха». Это те, кому было под тридцать, имели уже басовитый командирский голос. А мы? Старшина говорил:

— С твоим голосом в самый раз петь в пионерском хоре.

Наш командир взвода, лейтенант Голубков, которого мы очень уважали за справедливую строгость и требовательность, за знание тех предметов, которые преподавались в училище, постоянно говорил:

— Разрабатывайте командный голос. Он в любой интонации должен быть повелительным, беспрекословным, в нём не должны звучать оскорбительные ноты. Команда должна звучать чётко, ясно, доходчиво.

Выводя нас на занятия за пределы нашего военного городка, он постоянно давал вводные:

— Командует взводом курсант Кукушкин.

Через некоторое время — новое назначение:

— Командует взводом курсант Позняк...

И так за время пути к объекту занятий — деревне Большая Разводная, где базировался лодочный парк училища, он задействовал на командных должностях до половины курсантов взвода.

На запад

И вспять покатилась орда.
Мы снова весь путь повторяли.
Мы брали назад города,
Мы близких навеки теряли.

Константин Ваншенкин

15 июня 1943 года. Вроде не предвещавший каких-либо событий вечер. Построение на вечернюю поверку. Неожиданно появился командир батальона. Старшина предоставляет ему слово.

— Товарищи курсанты! Нами получен приказ Главного военно-инженерного управления: наше военно-инженерное училище с завтрашнего дня расформировывается. Основная масса курсантов нашего батальона и частично курсантов конно-сапёрного дивизиона направляется в распоряжение Главного военно-инженерного управления, в Москву. Все остальные курсанты — в распоряжение ЗапСибво. К сожалению, обстановка сложилась так, что вы не успели закончить наше училище, но знания, которые вы здесь получили, обязательно пригодятся вам в дальнейшей службе, особенно на фронте. Завтра, после подъёма, сдать все постельные принадлежности старшине, получить сухой паёк, приготовить казарму к сдаче. После обеда — общее построение и движение на вокзал.

Дрогнуло сердце. Вообще-то мы к этому готовились, для этого учились, но как сообщить маме? Ночь прошла волнительно. Сразу после завтрака я, предупредив своего командира — Виктора Мелентьева, решил быстро добежать до мамы, которая должна работать на совхозном поле на противоположном берегу Ушаковки, и сообщить ей о моём отъезде.

Всё обошлось. Я предупредил маму. Конечно, моё известие огорчило её, но она восприняла его с пониманием и сказала, что она обязательно придёт проводить меня.

Прощальный обед. Построение.

Прощай, ивиу. Мы многое здесь получили.

Начальник училища сказал напутственное слово, пожелал нам успехов и удачи. Подошли попрощаться курсанты, что оставались в Иркутске.

Походная колонна училища выглядела величаво, протянувшись вдоль улицы Декабрьских Событий на несколько кварталов за духовым оркестром. Впереди колонны наша рота в новом обмундировании, с курсантскими погонами, недавно выданными нам.

С двух сторон на тротуарах — иркутяне, провожают нас сурово-назидательным взглядом. Все понимают: на фронт!

Чётко шагают курсанты, теперь уже бывшие. А что впереди?

Ангарский мост, вокзал, эшелон чистых товарных вагонов. Прощание с родными. Удивительно: никакой суматохи, никаких всхлипываний. Как-то быстро находят провожающие своих родных, друзей. Команда:

— По вагонам!

Прощаюсь с мамой. Да, она останется одна. Держится стойко. Единственная её просьба:

— Пиши чаще, я тебе конверты и бумагу положила. До свидания!

Под прощальные звуки оркестра забираюсь на верхнюю полку нар. Тоскливо. Но стараюсь не давать эмоциям овладеть моим настроением. Под звук колёс засыпаю.

Проснулся ночью. Где же это остановился наш поезд? Оказывается, на станции Иркутск-товарный. Обидно, проспал этот путь.

Но вперёд, на запад!

Заключение

Мне, безусловно, повезло: нежданно-негаданно оказался в элитном военно-инженерном училище. Умелая программа, сочетающая анализ военных событий на фронтах Отечественной войны и доводившая до нас, курсантов, выводы результатов военных действий. Сочетание практических приёмов с теоретическими обоснованиями давало нам хорошие военно-инженерные знания и необходимую военно-патриотическую закалку.

Даже продолжая службу в вдв, в строевых частях, а затем работая на гражданских предприятиях, я частенько прибегал к методам и опыту, приобретённым в армии, в решении сложных жизненно-производственных ситуаций.

Призванный в августе 1942 года в Красную Армию, я прослужил в её рядах до марта 1947 года — пять лет, из них десять месяцев учёбы в военно-инженерном училище, почти два года службы в воздушно-десантных войсках, в резерве Главного командования Министерства обороны, участие в боевых действиях в составе 139-го гвардейского отдельного сапёрного батальона 106-й гвардейской дивизии ВДВ на территории Венгрии, Австрии, Чехословакии…

Пять лет я не держал в руках школьных учебников, а 1 сентября 1947 года уже был зачислен студентом Иркутского горно-металлургического института. Началась гражданская жизнь: карточная система на продукты питания, весьма ограниченные финансовые возможности. Студенты в основном со школьной скамьи, нас, фронтовиков, — шесть человек, дистанция в знаниях — огромного размера. Надо срочно эту дистанцию пробежать, догнать основную массу студентов. А тут ещё дирекция института возложила на меня обязанности старосты группы.

Только армейская закалка в преодолении трудностей, целеустремлённость, общение с инициативной, отзывчивой молодёжью помогли мне успешно окончить институт и получить диплом с отличием.

Производственная деятельность на строительстве уникального подземного атомного комбината и города Железногорска, участие в общественной жизни города, присвоение мне званий лауреата премии Совета Министров СССР и «Почётный гражданин города Железногорска» как бы явились жизненным результатом на этом этапе. Я считаю, что во всех этих делах основным запалом-детонатором была моя армейская служба, особенно в её первые годы.

Повествуя о своей жизнедеятельности, я обязательно должен отметить, что добиться определённых успехов мне во многом помогло моё отношение и активное участие в деятельности компартии, членом которой я стал в последние дни Отечественной войны и нахожусь в ней до сих пор.

Учась в институте на втором и третьем курсах, я одновременно работал в мужской средней школе №15 Иркутска. В институте, на третьем курсе, меня избрали секретарём партбюро геологического факультета. В 1956 году, работая в Горном управлении, я был избран председателем построечного комитета профсоюза горняков (численность коллектива — около двух тысяч работающих).

В 1961 году, перейдя на работу в проектно-изыскательский институт, я несколько раз избирался секретарём парторганизации института. Моё общественное положение, постоянное общение с коллективом помогало мне сосредотачивать внимание на проблемах жизнедеятельности коллектива и его производственных проблемах.

Анализируя свой жизненный путь, я прихожу к убеждению, что я, как гражданин своего государства, прошёл его достойно, и в этом мне особенно помогла закалка в юношеские годы, которая явилась надёжным фундаментом моих последующих жизненных свершений, — это годы службы в Советской Армии.

Я поражаюсь молодёжи, негативно относящейся к службе в армии, к выполнению своего гражданского долга по защите Отечества. Государство определило для этой обязанности — всего год. Этот год пребывания в армии — год возмужания, год получения знаний военного мастерства, изучения военной техники, год самообладания, физической закалки, это год становления Мужчины — защитника своего народа. Это воспитание своей воли, своего характера, это — оценка дружбы, взаимопонимания, воспитание чести и достоинства.

Это не потерянный в биографии год, а наоборот — год приобретения большого жизненного опыта, жизненных навыков.

Надеюсь, это моё повествование в какой-то мере убедит молодёжь, что нам необходимо беречь наше государство. Жизнь наша многогранна, очень интересна, познавательна, и много в этой жизни зависит от каждого: как он к ней относится, как строит свою жизнь.

«…Я люблю тебя, жизнь, — повторяю вслед за моим однополчанином, поэтом Константином Ваншенкиным. — Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно!»

Владимир Алейников

Вокруг самиздата

Продолжение. Начало в «ДиН» №№3–4/2012.

Некоторые западные слависты, привязанные к прошлой поре по роду своих занятий, да и отечественные исследователи новейшей литературы — были они раньше в умеренном количестве, те, кто постарше по возрасту, а теперь появились уже и те, кто помоложе, и даже совсем из себя молодые, а раз уж появились, то наверняка их количество будет расти и расти, — меланхолически сетуют на то, что история смога так никем и не написана.

Как это — не написана? Я написал об этом. А кому же ещё — писать?

К тому же тут обязательно учитывать надо: как — писать, что — писать, почему — писать.

смог — он такой, сам по себе, особенный.

Зона. Круг. Знак. Звук. Среда.

Уж кому, как не мне, это лучше всех знать?

смог — он такой, он — сумел, он — не то, что прочие литературные «группы», которых вы же, голубчики, что-то там этакое пишущие и подо всё, обязательно, в первую очередь, базу свою подводящие, понаплодили, как будто кроликов, — девать их некуда, — хотя некоторых из этих самых «групп» сроду в природе не было.

Тем более — в природе речи. Слова.

Речь — она со смогом. Слово — оно со смогом.

Попробуйте-ка возразить! Не получится. Не сумеете. Не дано.

Я один-единственный в мире, один-одинёшенек на всей этой земле, один, — понимаете? — долгие годы — один, лишь один, — потому что давно нет на этой земле, в этом мире, где «пахнет крышами, мертвецами, гарью с тóполя, и стоят деревья — бывшие, и царят — лицом истоптанным», в этом мире, где «камень горбится, распрямляются в гробу», где «мне приходится пять шагов несчастных губ», в этом мире, где «жрать мне нечего, кроме собственных затей», где «участь певчего — только в сумерках локтей», — моего друга молодости, Лёни Губанова, — знаю о смоге — всё. Да не просто — знаю. Ведаю.

Вот потому — и пишу о смоге.

Как надо — пишу. Сам.

Придёт время и для издания.

И на учёные головы, и на удалые, и на те, о которых в народе говорится «дурья башка», — на всякие — действует невероятной своей энергией — подобно тому, как воздействовал на наших ведических предков находившийся в особо почитаемом святилище небесный камень с созвездия Орион, — созданное нами когда-то и обретшее право на жизнь в мире — слово. Похлеще всякого психотронного оружия. Ведическое слово. Слово-дело.

Ну а теперь — немногое — о смоге. Почти трактат? Заметки на полях? Преданье старины глубокой? Дума? Стихотворение? Раёшник? Притча? Сказ? Дань прошлому? Былина? Слово? Плач?

Смог — это значит: сумел. Ну а смог, сумел выжить — сумей же сказать. Произнести — слово. На чутье, на дыхании, чудом — но удержаться в яви. Ринуться в стихию речи — и обрести в ней дом. И продолжать — путь.

Ощутить серебрящийся, мерцающий камертон позвоночника в соловьиной украинской ночи — ибо хребтом чуем подлинное, сокровенное, тайное — и здесь, в пелене мглы, в гуще тьмы, на пороге смущённого света, и там, в космическом единении, равновесии, может быть — и гармонии, куда так тянутся на ощупь стебли, стволы, зрачки и ладони, — и отправить, благословив, проводить в мир ещё звук — услышанный столь отчётливо и воспринятый только тобою и никем иным, словно бы извне, свыше, из глуби сущего, из выси родственной, — импульс, биение живой ткани естества.

Роящееся, кружащееся, обволакивающее душу звучание. Музыку.

Никто не поможет, никто не подскажет. Куда там! Да и зачем? Кто и кому?

Всегда и везде — только сам. Да-да, в одиночестве. Наедине с источником света. Именно так.

Всё, что было с тобою, тревожило, ранило, пело, хранило, — все события, люди, пейзажи, мгновения целого, кровного, — всё — вокруг тебя: роем, кружением, гулом, наваждением, правдой, тревогой, сомнением, болью; ну а в центре, вон там, — нет, не точками чёткими — вспышками

огненными, сутью дней и деяний—и солью, вобравшей пространство, таящее неизъяснимое,—воля и доля.

Соловьиная ночь украинская—или эта, московская, вроде и привычная, но чуждая, не сжившаяся с тобою, то ли обморочная, то ли выжидающая чего-то, кольцами своими захлестнувшая тебя—кольцами бульваров, сиротливо насторожённых, Садовых отравленных, обручем кольцевой бестолковой дороги, отдающаяся в сердце хрустом небрежного снежка, потрескиваньем слюдяного ледка, прямо в горло тычущая не то хвойные острия, не то неразумные и слепые, наобум, с маху кем-то насаженные на коренастые, то угластые, то закруглённые, узорчатые, каменные тела,—копья кремлёвских башен,—и когда-то давно, и, конечно, вот здесь, в декабре.

Ночи, тройственность их. Средоточье молчания. Клочья отчаянья. Почва звучания.

Значит—слышать. Сквозь хаос и смуту найти этот тон, самый верный, живучий. Неуязвимый для бед.

Удерживающий нить. Выводящий из лабиринта за собою—всё, чему суждено явиться.

На звук, на голос твой—как на свет, окно ли, свеча ли, костёр ли.

Отыскать эти вехи незримые, маяки эти—в темнотище, во тьме египетской, государственной, узаконенной, с тёмной структурой, тёмным прошлым, с ненасытным нутром, хваткой лапою, цепким оком, нечистыми помыслами, с изъеденными метастазами клетками-живоглотами, в затянувшемся этом сумраке и мороке, да и просто—в ночной темноте, в этих недрах, в глуши, на распутье, посреди задремавшей, забывшейся вроде, разметавшейся беспокойно, беспредельно уставшей страны, в наслоеньях, и жилах, и руслах, в тенях и пластах.

И шагнуть за черту, начиная движенье. И сказать. Говорить—значит, быть.

Из широкого месива шумерских переимчивых глин, принимающих под руками ваятеля очертания людских фигур, восстаёт это слово, древнейшее «ме»,—где же глубже понять?—вот истоки его.

И алмазным сиянием сквозь зодиак: речь—твой дом, береги же в ней ясное «ом».

Столько лет уж прошло с той поры, когда в жизнь нашу—и мою, и друзей моих,—вошло это понятие: смог.

Нет, не понятие—понимание. Творчества, совести, веры, поступков. Дела жизни.

Проникло, влилось в линии наших судеб, запульсировало в них, срослось с естеством.

смог—это как рериховский знак единения. Символ моего поколения.

Горчайший свет памяти для всей более чем разрозненной нашей плеяды.

А ведь было так щедро отпущено всем, что казалось: рванись, распахни не окошко, так дверь,—и вот они сразу, открытия, радость и слава.

Было, было даровано свыше нечто такое, что даётся единожды.

А сейчас—улыбнёшься, вздохнёшь. А не то и слеза набежит.

Столько лет—нет, не сахар. Это, братья, эпоха.

Ну а соли пуды, те, что съесть нам всем вместе пришлось,—никуда их не деть. Потому что—смогли.

смог—со многими словами рифмуется. Здесь вам и рок, и срок, и слог, и Бог.

Слова сии—частицы нашей речи, нервы, крупицы её.

Всё—вошло в кровь, всё—читается в глазах и писаниях наших.

смог бывал и клеймом. Слишком долго. Мерещилось—чуть ли не навсегда, пожизненно.

Да и на клеймах жития любого из плеяды, как погляжу я, зримо запечатлелся задевающий тайную струну где-то внутри минорный отзвук его, клином улетающей журавлиной стаи уносящееся в неведомое пространство, прорвавшееся сквозь несуразное время, трагичное эхо его.

смог—урок. И зарок.

Не фунт изюму. Не сладкий пирог.

Замах на мир, и не меньше,—и сразу отвергнутый скромный, уютный мирок.

Вначале был—как порог, но едва ступили с крыльца—вдосталь нахлынуло всяких морок.

смог—это слишком уж много доро́г.

Тем он и до́рог. И горек—всё тем же. Тем и высок.

Обречённость на путь была заложена, как некий код, в таком вот ёмком названии.

Как хотите, так и разгадывайте.

На то и путь, чтобы с него—не свернуть.

Сворачивать норовили—шеи. Судьбы ломать. Биографии корёжить.

Вышло у них? Как бы не так!

Был осознан путь—высветлилась суть.

Право, есть что вспомянуть.

Линию свою выдерживать, позицию отстаивать—не в бирюльки играть.

Как ни старались легионы, составленные из условных «кто-то» по приказу «кого-то», эти самые пути наши, как обручи для бредовой бочки—типичного порождения эпохи, столь категорично и звонкогласно, прямо-таки ну чтобы хоть на полочку было что поставить, именуемой безвременьем (раньше по-русски говорили горше: бесчасье),—гнуть, норовя поскорее туда запихнуть нескольких юных Гвидонов, сразу всех, заодно, оптом, как водится,—дабы не выделялись, дабы индивидуальности их в духоте, в темноте смялись, притёрлись,—для острастки, дабы другим неповадно было,—да бросили, улюлюкая, деревянное это псевдотроянское сооружение

в бездну морскую, напрочь не понимая, что и это — стихия, такая же, как и речь, — ан помотало бочку по волнам да пучинам морским (ну а всё-таки, может, — мирским?), да и выбросило на берег, на остров, развалилась она — и вышли оттуда на твёрдую почву друзья, выжили, уцелели — и снова, каждый по-своему, — в путь.

Что же существенно? Да всё — существенно. Каждая мелочь, казалось бы, штрих или росчерк, мановенье, движенье, касанье, деталь.

Ядрышко крепкое, выживший СМОГ!

Не Плутарх ли изрёк, что не столько при помощи дел величайших добродетель мы все познаём и порок, сколь при помощи жеста, изреченья, порой — анекдота, — и характер живущих в них лучше раскрыт отчего-то, чем участие в битвах, осадах и подвигов громких молва? Золотые, право, слова.

Тяга к сути. Ускользанье из раскинутой сети коварной. Верность наитию. Отрицание всякой корысти. Вдохновенность и честь. Из грядущего весть.

За напастью напасть — вот и отсеялась вскорости большая часть налетевших было на зажжённое пламя юнцов: обожглись, одумались, угомонились, а потом и обжились, как пришлось, — уже подальше от огня.

Мы — немногие — устояли. Не сдались.

Не засосала трясина-злость. Не размягчила лесть. Не угробила власть.

Потому что у речи — особая сила. И она — спасала.

...Сегодня, одиннадцатого августа тысяча девятьсот девяносто девятого года, — было солнечное затмение.

Сподобились все мы этого повышенного внимания к нам, внимания — свыше. Внимания — космических сил. И, понятное дело, полного понимания ими — нас, грешных. Пристального их взгляда — оттуда, с небес. Вроде как с изрядным прищуром взгляда, сквозь узкую щёлку между сомкнутыми веками. Взгляда — со вздохом. С укором. Без всеобщего нашего крика. Или — вопля. Пока что. И слава Богу, что — так.

Затмение оказалось — последним. В нынешнем, и без того неслыханно, с перебором, без всякого удержу щедром — на самые разные, нередко из ряда вон выходящие события, происшествия, катаклизмы, да и мало ли ещё на что — щедром, на что — способном, кровавом и сумбурном, с тяготением к абсурду, с пристрастием к дешёвым эффектам, с привычкой к неизбежным нашим жертвам, не без вызова нам всем, не без равнодушия ко всем нам, так яростно и так неумолимо заканчивающемся — столетии.

Ну и, разумеется, в теперешнем — пока ещё, как-то тихо съёживающемся, сжимающемся вовнутрь, незаметно отодвигающемся, на пару со столетием, куда-то в трудно определимую сторону, в некую, всё ещё с изрядным напряжением, очень уж смутно, слишком уж общо, так, больше по догадкам, по прикидкам, нежели хоть на йоту поконкретнее, но — всем нутром, хребтом, всей кожей чуемую, подсознанием — безошибочно уловленную и вот-вот, уже скоро, долженствующую появиться на экране загадочного его и непостижимого по своему устройству внутреннего, природного локатора, как ни крути и как ни отбрыкивайся, но осознаваемую совершенно всеми далечесть, то есть прямо в прошлое, как в прорву, в то одновременно и неопределённое, и слишком уж ёмкое, весомое, сконцентрированное до максимума, до предела состояние, или понятие, или разумение просто, разумение — сердцем, пусть — не умом, о котором говорится коротко: было, — в теперешнем, с перебоями сердца, с одышкой, с замирающим пульсом, хвором, хмуром, нелепом, усталом, но ещё, пусть и с усилием, дышащем, ещё, несмотря ни на что, вопреки прогнозам, — живущем, худо-бедно, а держащемся на ногах, из упрямства, но движущемся по известной давно и давно проторённой тропе, из яви — в навь, из вести — в память, столь обжитом, по-свойски, по-соседски, по-вражески, но всё-таки бок о бок — существовавшем, сжившемся с мечтами, химерами, реалиями, снами, трагедиями нашими, словами, писаниями нашими, безумном, родном тысячелетии, родном — поскольку все мы связаны с ним кровно, и узы эти нам — не разорвать.

Тысяча лет — это впечатляет. Целая тысяча лет! — это произносится почти с уважением. И остаётся только шаг — до почтения. А там — и до почитания.

Это не какая-нибудь там сотня, всего-то, всего-навсего — сотня быстротечных земных годочков, подобно горстке лёгких семян, собранная — кем-то невидимым и неузнанным, даже тогда, когда он хотя бы на миг появлялся воочью, появлялся, дивился неузнанности своей — и опять исчезал, — в полях, в лесах земных, со злаков и деревьев, одним движением, одним захватом сильным, всех разом — в пригоршню, — и брошенная вдруг — с размаху — прямо в звёздное пространство.

Неведомо откуда взявшийся, словно из-под земли появившийся, неземного, видать происхождения, таинственный ветер налетит, подхватит их — и унесёт, всех разом, с собою, — далеко, совсем далеко, — но куда? — ах, куда-то! — и не нам их искать уже, — и окажутся скоро, совсем уже скоро они — в такой небывалой дали, о которой лучше всех и лучше всего сказали бы дети: отсюда не видно.

Затмение — не просто событие планетарного значения.

Затмение — знак. Символ.

В самом слове — «затмение», в его звуке, в исчезающем из него, прямо на глазах, с каждой

написанной или прочитанной буквой, убывающем, тающем свете—есть нечто тревожное. Настораживающее. Пугающее.

Видимо, срабатывает прапамять. В генах, в крови нашей вызывает она вначале глухую волну беспокойства, а вслед за нею—целую лавину неопределённых, с трудом, с усилием фиксируемых, усваиваемых и осмысливаемых сознанием нашим, клубящихся, многообразных, трудновыразимых чувств.

Нет, не просто так, для заполнения пустоты, не абы как, на глазок, создаются слова. Нагрузка, смысловая, зрительная, слуховая, которую несёт слово,—предельна, это нагрузка под завязку и выше крыши, и куда больше, нежели может вроде бы вместить в себя, выдержать—в себе и на себе—слово. Это обычно—синтез опыта человеческого и напрямую связанных с ним ощущений, звучаний, световых сигналов. Слово—хранилище этого синтеза. Небольшое как будто хранилище—а вмещает куда как много.

В слове «затмение»—тьма. Оно тмится, звуча. В нём—то, что за тьмою. Что же? Можно только догадываться. В нём—есть слог «ме». Шумерское—«быть». Быть! Без кавычек. Ме—сущности, сути. Божественного происхождения, таинственные сути, управляющие миром. Земным и небесным. В затмении—то, что за бытием. То, что за словом «быть», за понятием—«быть». Но затмить—затьмить—мир—и свет в нём, солнечный ли, духовный ли,—непросто. Нет, ещё определённее, ещё убеждённее, выстраданнее: невозможно.

Шумеры—выходцы из Поднепровья. Из древней нашей Аратты—Страны хлеборобов. Из сумеречной страны—для более южных народов. Подумать только: так недалеко географически, по количеству километров, по расстоянию, от наших приднепровских степей до этих вот новых мест обитания, где жили и другие народы, на этих более южных широтах,—и вот уже привыкли относиться переселенцы к своей прежней родине как к северу, и называли наши цветущие, солнечные края—сумеречными. Они казались им отдалённым, труднодостижимым севером. Пообвыкли, пообжились люди на новых местах—и уже им не до миграций, не до передвижения с одних земель на другие,—что, надо заметить, широко практиковалось в древности. Привычка—вторая натура. И не то чтобы лень-матушка удерживала на месте, призывала к такой вот, исключающей всякие перемещения туда-сюда, оседлости. Нет, удерживала на месте—работа. Труд. Переселенцы были трудолюбивыми людьми. И чего метаться взад-вперёд, спрашивается, ежели и так забот своих по горло каждый день, с утра до ночи! А всего-то надо было—с территории Шумера—пройти несколько вверх, по землям Малой Азии, потом—пройти по перешейку, тогда ещё существовавшему, на месте нынешнего Босфора,—нет, я вспомнил: в пятом тысячелетии до новой эры море уже размыло этот перешеек, и образовался пролив, а Шумер, зарождение его,—это рубеж четвёртого и третьего тысячелетий до новой эры,—но всё равно—можно было и вплавь пересечь, на судах каких-нибудь, на челнах, мало ли как,—этот сравнительно недавний, новообразованный и мешающий таки передвигаться по старинке, по суше, не спеша, на повозках, запряжённых быками, да и пешком,—пересечь узкий пролив—можно было, а потом—всё выше и выше, вдоль черноморского берега, и ещё вверх, и правее, и углубиться в родные степи—и вот она, прежняя родина. Делов-то. Совсем близко. Чуть ли не рукой подать.

(…Надо же! Как ведь бывает! Я сообщил шумерам этот маршрут—и тут же припомнил, что передвигались они по другому пути—через Крым и Тамань, потом через Кавказ. И, соответственно, через Кавказ, Тамань и Крым—обратно. Лучше не советовать своим землякам изменять то, что было у них давно уже налажено!..)

Пришельцы из Поднепровья всё это прекрасно знали. И связи со своей предыдущей родиной никогда не теряли. Да и как её можно потерять, как её можно утратить или оборвать разом, эту кровную, глубинную, почвенную, духовную, незримую, но прочнейшую связь? И зачем? Это равносильно самоубийству—потому что дух убивает, свет гасит. Кто бы в древности додумался до такого? Кто бы пошёл на такое? Уж что-то, а историческая память была и свежа, и жива. И никому тогда и в голову не приходило лишать людей исторической памяти. Наоборот! Её хранили. Как и прочную память, всю память—обо всём, что с народом связано. Связь с Араттой регулярно поддерживали жрецы. Всё было чётко, по тем временам, налажено. На путях жрецов немало чего интересного оказывалось. Древнее, одно из наиболее значительных в наших степях, да и вообще, пожалуй, во всех евразийских землях, святилище называется—Рука царицы степей. Теперь называется оно—Каменной Могилой. Находится оно неподалёку от Мелитополя. Когда-то это был остров. А теперь это состоящий из песчаника холм со множеством всяких пустот, пещер. Там, в этих пещерах и гротах, шумерские жрецы—а это те же люди, что и жрецы, правившие Араттой,—делали рисунки и надписи. Эти изображения и письмена достаточно хорошо сохранились.

Холм с пустотами. Подобие пчелиных сотов.

Ведь именно так—пчелиные соты, некое кристаллическое образование—вижу я внутренним зрением свои книги, когда пишу их. Да ещё и—слышу их всегда.

Могилами называют на Украине курганы. Их у нас очень много. Мифология их—тоже об очень

многом говорит. Она такая же, как в «Ригведе». Все шумерские царские династии—выходцы, естественно, из наших степных краёв.

И в Кривом Роге, прямо там, где я вырос, на Гданцевке, в заречном, за Ингульцом, зелёном и тихом месте, был древний курган, который назывался—Царская Могила. Коли так назывался—значит, и захоронение в нём особое: жреческое, царское. Такие курганы ставили именно у рек. И наше заречье тоже называлось раньше именно так, как и сам курган. Потом стало называться Тихим Притулком (от слова—«притулиться», «прислониться»), что перевести можно с натяжкой как Тихий Приют,—ну, место, где можно притулиться наконец—и есть ведь к чему притулиться: к природе, к тишине, к покою, к воле, к людям,—а уже гораздо позже стало называться Гданцевкой. Как всегда это бывает: разные исторические времена—разные названия. А место—одно и то же, давным-давно обжитое. Хоть я говорил уже об этом выше, нелишним будет напомнить об этом же ещё раз. Там, где я вырос, жива память об ушедших когда-то на юг и на восток одноплеменниках.

Вот почему наши курганы таят в себе, в числе прочих, шумерские письмена и рисунки. Специалисты уже читали эти надписи. Им есть о чём поразмыслить. Хотя бы о прямой связи русской и шумерской мифологии. Да и везде она прослеживается, эта связь, и не только к шумерам тянется эта незримая духовная нить. Откуда же ей ещё тянуться, если не с территории нынешней Украины—исконной, древнейшей Руси, почвы духа и света, основы основ, из колыбели общей нашей? А рисунки—ну, они куда более доходчивы. Изображены, например, мифы о шумерском боге Энлиле—нашем древнем русском Леле. И так далее, как любил говорить Хлебников. В украинском языке—куда более близком к тому, древнерусскому, да и праурусскому, на основе которого был при переселении в Индию, из наших же мест,—а по пути к выходцам с Украины присоединились ещё и жители Поволжья, и обитатели Южного Урала,—создан Рамой санскрит,—в украинском, повторяю и подчёркиваю, языке сохранились многие слова из тех, что были разнесены в разные стороны света уходящими на новые земли частями единого многоплемённого народа. В том числе—и шумерские слова. Кстати, и само слово «курган»—это шумерское «кур-ан», «кур-галь»,—это и само по себе понятно, по корню, по звучанию слова, да и учёными доказано. И означало это—у шумеров—Гора Неба. Но это—к слову. Чтобы не было у нынешних, живущих на стыке двух столетий и двух тысячелетий, людей, общих наших с вами современников,—затмения памяти.

А теперь—ещё о севере. О понятии севера—прежде, когда не было таких быстрых, как теперь, средств передвижения по земле, по воде и по воздуху. О восприятии севера—как ужасно далёкого, сумеречного, холодного,—может, и достижимого, но уж точно—с немалыми трудами и хлопотами,—загадочного края.

Между прочим, этот же самый север, казавшийся древним грекам невероятно отдалёнными от их земли, мрачными, холодными краями, какой-то полулегендарной, туманной, таинственной страной,—то есть наши края, те, где я вырос, наши причерноморские и приднепровские степи, наша Ариана, Аратта, Скифия и так далее—названий у родной моей земли много было,—родина Аполлона. Аполло. Русского—Купалы. Подтверди, Алкей!

Но вернёмся к одному лишь конкретному случаю, о котором я хочу, опять-таки—к слову, сказать.

Вот, например, сравнительно ещё недавнее представление о севере—у пушкинских героев, испанцев.

Следует сразу же особо отметить, что уж кто-кто, а наш Александр Сергеевич Пушкин, дальний предок которого носил имя Радша, или Рача, образованное, быть может, от слова «рада», по-украински—«совет», отсюда и «радити», советовать, а может—от слова «радеть», радеть о чём-то, и был он—радетель об отчизне своей или ещё о чём-нибудь крайне дорогом для него, был—рачитель, и это имя—из древнего речевого арсенала, и есть в этом слове и Ра, древнее название Волги, а в Египте—бога, и рать, и радость, и этот Рача, Раджа—советовал всем нам радеть о родной своей речи,—так вот, наш, повторяю, Александр Сергеевич—умел входить в образ.

Север: что он такое—для испанцев?

Противопоставление их такого привычного, с детства знакомого ощущения, восприятия—своей земли, своей, в местах их обитания, родной для них, природы—какой-то неведомой, отчасти манящей, всё же пугающей, потому что—непонятной, совершенно им неизвестной земле, природе, среде.

Хотя, опять-таки, географически, по расстоянию, это ну так близко, так достижимо, что сейчас и говорить-то о таком всерьёз—просто смешно.

Пушкинским же героям было вовсе не до смеха. И не до шуток.

Вот чем был для них—север.

Пушкин. «Каменный гость». Из второй сцены.

«Лаура.

...Приди—открой балкон. Как небо тихо; недвижим тёплый воздух, ночь лимоном и лавром пахнет, яркая луна блестит на синеве густой и тёмной—и сторожа кричат протяжно: «Ясно!..» А далеко на севере—в Париже—быть может, небо тучами покрыто, холодный дождь идёт и ветер дует. А нам какое дело?..»

Вот вам и отношение к северу.

Как говорится,—без комментариев.

Солнечное затмение—прежде всего природное явление. Так говорят нам учёные. Так скажет любой школьник. Даже теперешний, из нашего междувременья, когда никому уже непонятно, какие, собственно, знания получают учащиеся в школах. Да и знания ли это? Или набор информационных клочков?

Об этом природном явлении увлекательно рассказывал—так передали мне его прилежные слушатели—один приезжий астроном, старый коктебелец. Недавно рассказывал. Прямо во дворе Дома Волошина. Там сотрудники музея периодически устраивают всякие вечера, концерты, выступления бардов, поэтов, разных интересных людей. По привычке это называется мероприятиями. Но я не пошёл на популярную лекцию известного астронома.

Во-первых—работал часов по десять, а то и больше, каждый Божий день. Во-вторых—просто не знал об этом. Да если бы и знал, то всё равно—вряд ли пошёл бы. Время дорого. Так дорого время! Как я это понимаю сейчас! И уж лучше я сам, сам по себе, как умею, всё это постараюсь увидеть и осмыслить,—так я рассудил. И это—в-третьих.

Солнечное затмение я наблюдал у нас в Коктебеле—а где же ещё наблюдать его, когда живу здесь? У нас оно было неполным. Примерно девяносто шесть—девяносто восемь процентов всей площади, всей массы солнечного диска было закрыто надвинувшейся на него луной. Но ведь это—почти полное затмение. Почти. Остальное—досказывало воображение. И показывало—случайно увидел—телевидение. Да и так, собственными глазами,—было на что поглядеть.

Одиннадцатое августа—день смерти Максимилиана Волошина.

Шестьдесят семь лет уже с того самого, печального тридцать второго года, когда он здесь, в Коктебеле, в своём большом и ранее столь гостеприимном, а тогда, в начале тридцатых, с неопределённым каким-то из-за множества обстоятельств будущим, но сохранившем свой свет и дух, единственном в мире, неповторимом, прибрежном доме, ушёл в свой последний путь,—прошло,—и сменялись времена года, сменялись власти, и люди, сюда приходившие, сменялись—а дом выстоял, жив, как живы и свет, и дух,—и яснее ясного определился, высветлился, от земли киммерийской до высоких небес неким стержневым лучом встал во весь исполинский свой рост.

Величественная фигура—Максимилиан Александрович Кириенко-Волошин. Значительнейший человек в русской культуре.

И вот ведь как слились, накрепко соединились две текущих в его жилах крови: отцовская—украинская, запорожская, сечевая, степная, исконно русская, корневая, кровь извечных жителей Арианы, Аратты, Скифии, то есть нашей, родной земли, как бы там её и когда бы ни называли, и материнская—немецкая,—и образовали—сплав. Синтез.

И вот что из этого вышло.

Вот какой человек получился.

Огонь был высечен—славный! Разгорелось пламя—в полную силу. Свет его виден был—издалека.

Рекомендую обратить внимание на то, что в первой части его фамилии—Кириенко—есть залетевший в неё из древнейшего нашего языка слог «ки»—духовная нить, незримая связь.

А вот шумерский миф о происхождении мира.

Изначальный Океан—А-ки-ан—Не-земля-небо—породил праостров Киан, внутри которого зародился Энлиль—Воздушное колыхание—Ветер—наш русский Лель. Когда он окреп, ощутил в себе силу, то сумел разъединить мать Ки—Землю и отца Ан—Небо. Сам же с той поры стал именоваться—Кур-галь—Великая гора. От Кур-галя рукой подать до кургана. И тут же вспоминается украинская весна, праздник Красная Горка, сохранившееся доселе почитание Леля: «Ой, леле!..»

Не случайно это, поверьте. Всё у Волошина—не случайно. Многое у него—предопределено. И очень многое—результат огромной внутренней работы. Совершенствования духовного. Пути—к свету. Сохранения этого света—и продления его, далее, в другие поколения.

Коктебельский Дом Волошина—словно единственный в своём роде, нигде больше аналогов не имеющий—киот. Внутри этого киота—образ. Образа. Да, такой вот небывалый киот. Смотрите: опять—слог «ки». Крепка духовная нить, незримая связь!

Дом—куда ведут все пути и откуда ведут все пути. Дом—где свет, нескончаемый, негасимый. Дом—где дух, возрастающий, всё вокруг—возвышающий.

Дом—нить. Дом—суть. Дом—внутрь себя путь. Внутренний мир. История его души.

Годы—а что они, годы? Шли себе. Дом—стоит. Стоит—как время. Сквозь время. Над временем.

Дом—кром. Дом—укром. Крымский дом. Киммерийский. Дом—звук: сам—звук. Дом встреч. Дом—речь.

Дом—торжество крова. Дом—сам—слово. Само слово. Сама слава.

Дом—тот, что рядом, об руку с трудом. Поруч—по-украински. Дом—вместе с поэтом. Дом—вместе со всеми нами. Дом—вместе с проросшими в настоящем, какое уж есть оно, и прорастающими в будущее духовными семенами.

Дом—сеятеля. Ваятеля—создававшего из света—сияние. Зодчего—создававшего из духа—вечное здание.

Дом—где создавались песни. Орфический дом. Дом—воплощение мысли. Материальное. В яви.

Дом—видящего. Зрячего. Дом—сведущего. Дом—ведущего: в завтра.

Дом—ведающего. Ведический дом.

Дом—ведического духа. Дом—ведического света. Дом—из Вед. Из речи, слуха, зренья, мысли. Дом Поэта.

И что ему какие-то там шестьдесят семь лет! Как и самому поэту!

А тогда, в шестьдесят пятом, когда впервые был я в Коктебеле именно в этот августовский день, его отделяло от дня смерти—физической лишь, поверьте!—Волошина—всего-то тридцать три года.

Ну разве не воскликнешь после этого—хотя бы по привычке, общепринятой, в основе своей имеющей обычную инерцию мысли, нежелание думать дальше, думать самому: «Боже, как быстро летит время!» Воскликнуть—можно, конечно. И никому это не возбраняется. Но мне сегодня почему-то не хочется так восклицать. Это как ещё посмотреть ведь на то, что, собственно говоря, это такое—время. Что оно из себя—конкретно—представляет. И как оно движется. В пространстве, что ли? В земном? В рамках трёх измерений? Или залетает и в четвёртое? Может, и в иные измерения—тоже заглядывает? А может, и вообще частенько наведывается туда? Движется—как же? Идёт? Бежит? Летит? Может быть, время—это совсем не то, что думает о нём большинство людей. Может быть, оно и не идёт вовсе, и тем более—не бежит, и уж точно—не летит. А может быть, его просто—нет. Просто нет его, времени. И всё тут. Может такое быть? Может. Всё может, коли на то пошло, быть. Ведь известно: в разные периоды жизни время и движется по-разному. Я, например, постоянно это ощущаю. На себе самом испытал это. Множество раз. То оно ускоряется, да так иногда, что действительно его не замечаешь, сообразить не успеешь, глазом моргнуть не успеешь, а оно уж прошло,—то замедляется, вдруг, непредвиденно, да так, что девать его некуда, а оно всё есть, и есть, и есть у тебя. В последние годы, на всём протяжении девяностых, время позволяет мне, время просто даёт мне возможность—очень вероятно, что сознательно даёт оно мне эту возможность,—работать. Счастливую возможность. Как её назвать иначе? Только вот так и назвать. Счастливую. Редкостную. Вовсе не запоздалую. Но и за неё, как и за всё вообще в жизни, надо платить. Тем же временем. Которое вне Коктебеля—ускоряется, изменяет свои очертания, меняет свой ритм, и всё, из чего оно, даже по приблизительным представлениям, состоит—меняет. В котором, живи я в Москве, а не в Крыму, я и чувствовал бы себя по-другому, и делал бы, возможно, что-то другое, и само время, ход его, течение его ощущал бы совершенно по-другому. Но это—там, где-то там. Здесь, у нас,—другие ритмы. Здесь, у нас,—другое время. Духовное. Путеводное. Световое. Здесь—время речи. Имя времени—слово.

Сегодня—грустная годовщина. Очередная.

И вот, именно в этот день,—затмение.

Всё—не случайно. Далеко не случайно. Всё в этой жизни—связано со словом. Весь наш мир—из слова. В начале было—оно. Затмилась когда-то жизнь поэта. Прервалась. И вот—затмение. Но жизнь поэта прервалась—и сразу началось другое. Началась—судьба. В которой—сплав, синтез, единство. Судьба его произведений. Трудная, конечно. Судьба—его духа, его света. Радостная—для всех. Путь судьбы этой—по всем дорогам земным и небесным. Путь—духовная жить, незримая связь. Всего и со всем.

Вот и затмение—пройдёт. Наверняка пройдёт. Покажется нам—во всей красе своей или во всём ужасе—кто его знает, как оно будет?—и закончится. Благополучно. Что бы там ни говорил и ни подсчитывал когда-то Нострадамус. Потому что—как же без света? Как же—без солнца? Без них—ну никак нельзя.

О затмении—знали, конечно, заранее. К нему—готовились. Его—ждали. Всем было прежде всего интересно. Любопытно. Даже зуд некоторые особенно взвинченные граждане ощущали. Нетерпение так и норовило прорваться наружу—но куда его потом денешь? Ничего оно не ускорит. И оно затухало само по себе. Таилось внутри. Ждало своего часа, чтобы опять—прорваться, вылезти вперёд, оказаться впереди всех, на самом удобном месте. Но, понимая абсурдность своего поведения, сникало нетерпение, стушёвывалось, а потом видоизменялось. Превращалось в обычное терпение. Которому, как известно, решительно все с малолетства обучены. Которого просто не занимать—у любого из масс. Но интерес—да, это другое. Совсем другое. Интерес—он живуч, он всегда сам по себе существует и ни от кого не зависит. Он—личный. Он же—и общим бывает. Но это когда многие интересы объединяются. И превращаются в одно общее желание: что-то увидеть.

Как оно—будет? Что именно—будет? А потом—что будет? Вот уж вопрос! «Быть иль не быть?»—перенесённое в будущее. Из любопытства. От нетерпения. Из интереса. Ну что же, скажите-ка,—там будет?

Ждали—отчасти с опаской. Из суеверия. Суеверие—это о-го-го что такое, братцы! Не как либо что, а что либо как. По причине данного подсознанием сигнала тревоги.

Оттого, что краешком мозга, хотя и хорохорились, хотя и храбрились, и виду вовсе не показывали, думали люди: а вдруг—хрястнет всё вокруг? И что делать тогда? Как быть? А вдруг—мировая катастрофа? Гибель всеобщая? Мало ли что! Не хухры-мухры всё это. Не хиханьки. Вот уж тогда—взвоем! Ждали—внутренне дрожали. Оттого, что неизвестное—страшит. Оттого, что ожидание чего-то—воздействует на человеческую психику и пугает куда больше, чем то, чего ожидают. Это, кстати, давно заметил и виртуозно обыграл, подробнейшим образом разработал в своих фильмах некоронованный король ужасов Альфред Хичкок. Ровесник Владимира Набокова, Андрея Платонова, Юрия Олеши и некоторых других замечательных писателей, ну хотя бы Эрнеста Хемингуэя, каждый по-своему подобные состояния выразивших. Смотрите-ка, до чего интересное поколение! Что-то в них во всех, таких разных, общее всё-таки было. Точно, было. Вот и готовая тема для исследователей. Дарю её кому угодно. Не жалко. Это—прямо по ходу, по вспышке у меня как-то само собой получается. Привык.

Оттого, что вспоминалась, выплывала на поверхность и становилась предметом обсуждения в толпе, да ещё—в толпе отдыхающих, людей временно праздных, на отдых сюда, в Крым, приехавших, вырвавших для себя этот короткий отдых—из унылой повседневности, из мрачноватого скопища трудовых, рабочих, далеко не всегда оплачиваемых, или не вовремя оплачиваемых, или недостаточно хорошо оплачиваемых, как в пору как бы времени это водится, человеческих, жизненных дней,—и желающих—ну хоть малую толику радости получить на юге, ну хоть немного праздничности ощутить, ну хоть просвет крошечный в жизни своей увидеть, а потом—ладно уж, будь что будет, потом—видно будет, потом—глядишь, и стерпим, потом, после нас,—нет, лучше всё-таки не потоп, лучше бы обошлось, лучше просто—жизнь, какая уж она есть, скрывать нечего, да и хвалиться нечем—так, существование,—всякая там, людей, конечно же, и притягивающая, заманивающая к себе, воздействующая на них, на психику их, и без того расшатанную, но одновременно, параллельно—и пугающая, то есть, что называется, и кнут, и пряник,—мистика—не больно-то высокого пошиба. Так себе, ниже среднего уровня. Но—для масс. Из арсенала «массовой культуры».

Предсказания астрологов. «— Ох, надо же!— Слышали?—Читали?—В газетах пишут!—По телевизору вещают!—По радио!» Разные пророчества. Туманные. Расплывчатые. Но—были ведь! «— Ох, ох!—А помните?—А знаете?—А слыхали?» Тот же Нострадамус—во главе угла, так сказать. И размножившиеся, мутирующие отечественные предсказатели. Помельче, да поязыкастей. Со страшилками своими. С их ложной, на лбах у них написанной многозначительностью. Стращальщики. Пугальщики. Специалисты по ужастикам. Да всё одно—мелкота.

А ещё и слухи. Слухи, слухи и слухи. Это уж—как всегда. Издавна и навечно. Испокон веков. Без этого—ну никак. Слух—подпитка для страха. Удобренная почва для грядущего стресса. Непременный атрибут. Неизменный элемент. В общей, слоями нарастающей, как торт-наполеон, информации. В самих массах. И только для них—со всех сторон. Вернее, в информационной каше-малаше, сборной солянке. Люди ждали—и напрягались. А действительно: мало ли что?

И вот—среда, одиннадцатое августа.

Утро началось у меня с некоторой тяжести в голове. С разбитости, усталости—во всём теле. Будто накануне физически много трудился. Машины с цементом разгружал, например. Или ещё что-нибудь в этом роде. Вкалывал. Мышцы болели. Спину ломило. Ноги были как ватные. Но особого значения всему этому придавать я не стал. Заварил, как обычно, чаю с травами. Хорошими травами, здешними, полезными: железницей, зверобоем, чебрецом, мятой, мелиссой, и ещё—розовыми лепестками. Попил чайку. Приободрился немного.

В моей рабочей комнате—ну, пусть уж называется она моим кабинетом, ладно, так и быть,—прикреплён к стене большой портрет Волошина. Форматом в четверть ватманского листа.

Это фотография. Замечательная.

Переснята со старой, маленькой, пожелтевшей—моим старым знакомым и даже приятелем, Сашей Гусевым.

Саша живёт сейчас у меня. Из Москвы приехал, от Москвы отдохнуть приехал. Ходит по окрестностям, снимает пейзажи и людей. Снимки у него выходят первоклассные. Он выставки свои устраивает. Кое-что знакомым дарит. На Сашиных снимках есть свет, здешний. Выражен дух Коктебеля. Это сразу же чувствуют все истинные коктебельцы. В Коктебеле Саша—на семь лет раньше меня появился, ещё в пятьдесят седьмом году, в десятилетнем возрасте. И весьма многое с тех пор успел увидеть и постичь. Всё и всех здесь знает. Совершенно свободен в своих действиях и привычках, по старинке. Ходит-бродит себе, улыбается, на природу глядит—и всегда что-то в ней этакое, особенное, прозревает. И запечатлевает.

В прежние годы любил он рассказывать свои сны. Потрясающе их рассказывал. Отчего и получил от коктебельской, свою особую среду составляющей, публики—прозвище: Саша Астральный. Ласковое прозвище. Дружеское. Дано было ещё и за пристрастие его ко всему необычайному. А в Москве молодёжь прозвала его: Саша-сэндвич. Потому что он делает вкусные сэндвичи и кормит

ими эту молодёжь. Сашу все любили. И любят. Он с людьми — ладит. Он — с добрым светом внутри.

В Москве у Саши собрана огромная библиотека эзотерической литературы. Он так и говорит:

— У меня есть всё!

И ему следует верить. Это ведь не кто-нибудь, а Саша.

Несколько лет назад Саша Гусев подарил мне эту фотографию Волошина.

Выполнена она в его секретной технике. Вначале была просто увеличена прежняя, маленькая. А потом уже — действительно было «дело техники». Получился синтез: и фотография, и графика — сразу, в одной вещи. Произведение искусства.

Есть у меня ещё здесь подаренные Сашей полуфотографии — полуграфические листы, с деревьями, разметавшими ветви, с целыми букетами линий, изгибов, наклонов и взлётов древесных.

Я мог бы ещё долго рассказывать о Саше. Ведь он — часть моего Коктебеля. Он дружил, например, с Колей Шатровым. Он знает многих действительно хороших людей.

Он несколько лет стоял в Москве в подземном переходе и делал фотографии прохожих, а потом преображал их в силуэты. У него тысячи этих человеческих силуэтов. Когда Саша их показывал, то казалось, что смотришь захватывающий фильм.

Немало бывало в Сашиной жизни событий. Немало есть у него и достоинств.

Хорошо, что подарил он мне фотографию Волошина.

Вовремя сделал это. Кстати очень она была. Очень к дому пришлась.

Так она и висит здесь.

Присутствует Волошин — рядом.

С утра я всё поглядывал на Волошина.

Смотрел на широкое, просветлённое какое-то, лицо его, обрамлённое вьющейся шапкой густых волос и седеющей — по рыжине — бородой. Смотрел в глаза его, обращённые к тому, кто смотрит на него. Обращённые — к единомышленнику. К собеседнику. К соратнику. Обращённые — вперёд. На него смотрела — вечность. Но смотрел и я. Прямо в глаза ему я смотрел. И — чувствовал его взгляд. Ясный, внимательный. Пристальный. Взгляд-зов и взгляд-отзыв. Знающий взгляд. Ведающий.

Волошин смотрел на меня с фотографии — и жил.

Разумеется, он — жив. Я-то знаю об этом. Давно и твёрдо знаю. Жив, как и свет в мире. Жив, как и дух Коктебеля.

Волошин — подлинный гений места. Великий мистик. Всем давно уже пора об этом знать. Что есть, то есть. Но — не знают. Не хотят знать. Некогда им. Незачем им знать. Это — знать. Им — то есть толпе. И не только ей. Ну хотя бы симферопольским университетским деятелям.

Помню, как на одной из волошинских конференций, уже ставших традиционными, проводимых Домом-музеем Волошина, — года три, что ли, назад, выступая на ней — то есть будучи на людях, — а появляюсь я на людях крайне редко, но тут уж случай был такой, пригласили, позвали, и я пришёл, — выступая, а значит, произнося своё слово, говорил я о том, что Волошин — огромный поэт, ведический поэт, потому что у него ведическое мироощущение. Говорил о том, что он — великий мистик. О том говорил, что такое Волошин — для Коктебеля, и не только для него, а для меня, для всех нас, давно с Коктебелем связанных людей, для света, для духа, для речи. Говорил — и знал, что́ говорю. Правду.

Но — не понравились кое-кому из присутствующих мои слова. И не только не понравились — а взбеленили просто этих кое-кого. Возмутили — ну прямо так, что сейчас же их, эти мои искренние слова, следовало — изъять. Будто из обращения изъять. Вычеркнуть. Методами советской цензуры — убрать. Снять. Устранить, будто и не было их. Да поскорее. Немедленно.

И вот — образец такой цензорской деятельности.

Меня сразу осадил, сразу же перебил, на полуслове, не церемонясь ни со мной, ни с людьми в зале, вообще ни с кем, потому что чего там тянуть, действовать надо, — какой-то симферопольский филолог, или литературовед, или профессор — уж не знаю точно, кто он такой, что за птица, каков он там, у себя в Симферополе, среди начальства, и в какой роли подвизается.

— Никакой Волошин не мистик! — безапелляционно, с категоричностью дурного толка — и тона, в данном случае просто неприличной, закричал он начальственным голосом — закричал прямо с места, не вставая, даже не приподнимаясь слегка, но наоборот, удобно развалясь, обсидев, как обжив, свой стул, — видимо, немедленно, по партийной привычке, желая пресечь в корне этакое безобразие, понимаешь, этакую дезинформацию, которая, чего доброго, может смутить умы и души присутствующих в зале. — Он символист! Это известно! Сим-во-лист!

Странная логика. Будто символист — не мистик. Достаточно вспомнить всю их честну́ю компанию. Но не объяснять же ему прямо здесь, что и мистики-то — разные бывают. Я покосился на этот беспардонный, самоуверенный, идиотский голос, не захотев даже вглядываться — кто там такой меня пресекает. Сказал ещё вкратце кое-что из того, что считал нужным, — да и ушёл с трибуны.

Конференция происходила в клубе пансионата «Голубой залив». Зал там большой. Был он битком набит и участниками конференции, и гостями,

и просто интересующимися людьми, включая местных жителей.

На улице хлестал весенний дождь. Свежий дождь. Майский. Дверь в клуб распахнута была настежь. Мягкая прохлада дождя так радостно и очень кстати врывалась сюда, в заполненное людьми, надышанное помещение. Но головы партийных деятелей от филологии и литературоведения она не остужала.

Надо заметить, что сидели мы, вместе со старинным моим другом-приятелем, поэтом Генрихом Сапгиром, на сцене, в президиуме. Приглашены были сюда официально, дирекцией Дома-музея Волошина.

Директор, молодая, взволнованная, разнаряженная, праздничная Наташа Мирошниченко, недавняя выпускница Симферопольского университета, зорким оком увидела меня, скромно сидевшего в последнем ряду, поближе к двери, к дождю, к освежающей его прохладе,—и громогласно, чтобы все слышали, объявила в микрофон:

— Среди нас находится замечательный поэт Владимир Алейников. Попрошу вас в президиум, Владимир Дмитриевич!

И призвала меня к себе плавным, но требовательным жестом высвободившейся на мгновение из кружев и прочих воздушных деталей её наряда худенькой белой руки—оттуда, издалека.

Весь зал одновременно повернулся и уставился на меня.

Пришлось встать и идти.

Подобным же образом Наташа призвала на сцену и Генриха.

Чуть нагнув седую голову и топорща опущенную краями вниз, под его юмористически подёргивающимся носом, который уже заострялся и сморщивался так, будто он вот-вот скажет сейчас знаменитое своё: «По-о-нятно!..», тоже седую подковку усов, Сапгир проследовал за мной.

Мы сидели с ним не за столом, а за одним из нескольких, составленных в неровный длинный ряд, столов. За этой чередой столов не хватало места всем членам президиума. Поэтому пристроились мы с Генрихом, по привычке, с краю. В этом были свои преимущества. Мы чувствовали себя свободнее. Не в числе прочих, а сами по себе. Не в стаде, не в стае.

До меня выступал и Сапгир. И его тоже—осадили. Пожилой человек Генрих, но и с ним не церемонились. Впрочем, и я немолод. Меня—потом уже, после него, осаживали. Инерция, надо полагать, уже работала. Чего, мол, с ними цацкаться, с поэтами этими! Вякают всякое тут, отсебятину несут, мнения свои высказывают! Нам их, поэтов, мнения—не нужны. Так эти симферопольские начальники, наверное, думали.

Ну как после всего этого себя вести? Переглянулись мы с Генрихом—и поняли друг друга. Нечего нам было здесь делать больше. Для приличия побыли ещё немного на сцене. Совсем немного. Потом—вместе, сразу,—встали. Да и направились прямиком к выходу. Спокойно шли. Бок о бок. Плечом к плечу. Не спеша. Невозмутимо. С достоинством. Как и подобает старым товарищам. Прошли сквозь зал—и ушли. К дождю. К свету. К Волошину.

К уходу нашему симферопольское начальство отнеслось так, будто бы ничего особенного и не произошло. Никто нас не задерживал. Никто не уговаривал остаться. Нас они, видимо, тоже—вычеркнули. Изъяли. Убрали. Сняли. Как и наши слова о Волошине. Мы им—не нужны были, с нашими-то мнениями. У них своё было мнение—обо всём. В том числе и о Волошине.

Оттого и загнано огромное творчество Максимилиана Волошина в одну, издаваемую с небольшими вариациями, обойму: стихи, поэмы—выборочно, немного прозы, вступительная статья чья-нибудь, скупые биографические данные о нём, иногда—сжатые комментарии. Всё. Называется—избранное. Однотомник. Читайте, мол. Вникайте. И этого хватит вам.

А давно подготовленное собрание сочинений Волошина в десяти томах—так и не издано.

Как же! «Символист».

Читающей публике отпущена, отмерена, разрешена—определённая доза.

Всё остальное—свет и дух, путь и речь—ждёт издания.

Так у нас всегда и бывает. Привычка старая—к обоймам. К «проверенным» изданиям—прямо как к «проверенным товарищам», партийным, разумеется. К шаблонам. К стереотипам. К инерции мышления. К инерции издательской, редакторской, составительской. Перепечатывать одно и то же по нескольку раз—это можно. А вот новое издать, в полном виде автора представить—нет, ещё погодить следует. А мало ли что? И никто не торопится—обрадовать читателей. Дать им возможность самим разобраться в творчестве поэта. И тем более—в творчестве такой уникальной, многогранной личности, как Волошин.

Кто он? Поэт? Пророк? Летописец? Критик? Переводчик? Искусствовед? Знаток литературы? Художник?

Он—всё это. И он—ещё больше всего этого.

Он—Волошин.

Его пора—по-настоящему, в полном виде, издать. Чтобы—читали. Чтобы его книги сами пришли к людям. Чтобы книги его—были у нас. Все.

Конференция продолжалась. А мы с Сапгиром—ушли. Ушли—и ладно. Мы—не жалели. Мы были—в Коктебеле. С Волошиным.

Дождь постепенно затихал. В лужах посверкивало прояснившееся небо. Сверху, с ветвей

деревьев, падали крупные, тяжёлые капли. Некоторые из них попадали за шиворот. Иногда сверху обрушивались и целые водопадики, будто бы под душем оказался.

«Под дождь, как под душ для души»,—писала в шестьдесят шестом году Наташа Горбаневская.

«Я сплю, как Бог. Под душ, на отмыванье своей души, через жару бегу»,—тремя годами раньше, в шестьдесят третьем, писал ещё в Кривом Роге я.

Бывают вот такие совпадения. Вспоминается вдруг такое вот, когда под дождевой, в данном случае—последождевой, водопадик с ветвей угодишь.

Мы с Генрихом вышли на набережную. Прогулялись у моря. Потом я отправился домой. Друг Ишка там ждал меня. Шёл я по звенящей ручьями улице, поднимался в гору и думал. Ну и публика, действительно! Это Волошин-то—не мистик? А кто же он такой? Дом его—точно посреди залива. Слева, на горе Кучук-Енышары, его могила. Справа—изваянный самой природой, абсолютно верный профиль его. А сам дом? А обстановка в нём? Атмосфера? Аура? Дух? А все без исключения писания Волошина? А его невероятные для человека поступки, даже подвиги? В семье Арендтов ещё со времён гражданской войны в Крыму Волошин—домашнее божество. Он спас, вырвал из лап чекистов их родственницу, известного в Симферополе врача. Он спас от смерти генерала Маркса. И—как он это сделал! Молитвой. За врагов. Он вообще очень многих—выручил, спас. «Макс был знающий»,—утверждала Цветаева. И он действительно видел—в одной Цветаевой—сразу нескольких поэтов. Таков потенциал у неё был. И он видел это—ещё в ту пору, когда была она совсем молоденькой. Знал. Здесь, в Крыму, он предсказал юному Владимиру Набокову великое будущее. Здесь, в своём Крыму, в своём Коктебеле, он совершал поистине чудеса. Здесь он был на месте. Был—гений места.

Покойный Борис Корчин, коренной коктебелец, рассказывал: ещё в детстве, поскольку его мать убиралась у Волошиных, частенько и он в их доме бывал. И всегда, при таком умении Волошина общаться с людьми, бросалась в глаза, поражала людей его непохожесть, выделенность—из других, из прочих. Избранность. Призванность. Что-то в нём уж точно было—особенное. Вспоминал Корчин: зима, снегу намело, холодно. Море возле волошинского дома тяжело ворочается, плещет прибоем по промёрзшему песку, на котором поблёскивают, вперемешку с ледышками, камешки-самоцветы. Собаки и те нос на улицу не кажут, прячутся. Ветер воет, норд-ост. А Волошин выходит вдруг из дому, плотный, крупный, и не такой уж высокий с виду, а кажется большим, этаким монументальным. Идёт, в тулупе, наброшенном прямо на голое тело, к воде. Сбросит на песок тулуп—и в море. Окунётся, поплавает. Мальчик смотрит на это, вытаращив глаза. Редкое зрелище, да ещё в зимнюю пору. А Волошин выйдет на берег, невозмутимо, спокойно, без всякой дрожи, накинет на плечи тулуп—да и домой к себе, неторопливо, будто вокруг лето, а не зима, идёт. И весь, ну весь—особенный. Как из сказки. Прямо светится весь. И всегда он такой был. Будто свет от него исходил.

Я шёл домой и вспоминал стихи Волошина. Вот уж кто был человеком самиздата! Вот уж кто отчётливо понимал всё значение самиздата—для всей страны, для людей, живущих под гнётом, но жаждущих подлинного, свободного чтения, любящих и знающих своих поэтов. Я вспоминал, что именно благодаря ему живу я сейчас в Коктебеле. Это ли не мистика? Это ли не поддержка Волошина, не помощь Волошина? Я вспоминал его жизнь—и его позицию в жизни—особенно важную для меня в наш теперешний, уже затянувшийся период междувременья. В его Доме-музее слышал я однажды волошинскую запись. И хорошо запомнил голос его: звук, тон, ритм, интонации. Я шёл домой и снова слышал его светящийся, светоносный, словно материализовавшийся здесь, в Коктебеле самом, в его пейзажах, в его приметах, несколько приподнятый голос:

«Войди, мой гость, стряхни житейский прах и плесень дум у моего порога… Со дна веков тебя приветит строго огромный лик царицы Таиах. Мой кров—убог. И времена—суровы. Но полки книг возносятся стеной. Тут по ночам беседуют со мной историки, поэты, богословы. И здесь их голос, властный, как орга́н, глухую речь и самый тихий шёпот не заглушит ни южный ураган, ни грохот волн, ни Понта мрачный ропот. Мои ж уста давно замкнуты… Пусть! Почётней быть твердимым наизусть и списываться тайно и украдкой, при жизни быть не книгой, а тетрадкой. И ты, и я—мы все имели честь «мир посетить в минуты роковые» и стать грустней и зорче, чем мы есть. Я не изгой, а пасынок России. Я в эти дни—немой её укор. И сам избрал пустынный сей затвор землёю добровольного изгнанья, чтоб в годы лжи, падений и разрух в уединеньи выплавить свой дух и выстрадать великое познанье. Пойми простой урок моей земли: как Греция и Генуя прошли, так минет всё—Европа и Россия. Гражданских смут горючая стихия развеется… Расставит новый век в житейских заводях иные мрежи… Ветшают дни, проходит человек, но небо и земля—извечно те же. Поэтому живи текущим днём. Благослови свой синий окоём. Будь прост, как ветр, неистощим, как море, и памятью насыщен, как земля. Люби далёкий парус корабля и песню волн, шумящих на просторе. Весь трепет жизни всех веков и рас живёт в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас».

В двадцать пятом году написано это стихотворение — «Дом поэта». А вдумаешься в него — будто недавно, только что написано. Теперь. Сейчас. Но и — всегда. Что значит и — навсегда.

Я вернулся в дом. Взял с собой уже соскучившегося по мне друга Ишку — да и отправился с ним на море. Побродили мы с Ишастиком-Ивасиком под Киловой горкой, у воды. Присели на привозной щебёнке, которой завален берег нынче и которую с неизменным упорством, как нечто чужеродное, каждую зиму выбрасывает море — подальше, как можно дальше от воды, от песка, от проглядывающих снизу, настоящих, камешков коктебельских. Неподалёку от нас, небольшими группами, сидели на берегу спокойные, никого не боящиеся чайки. Недавняя облачная пелена в небе сменилась чистой, просветлённой лазурью. Вдосталь света было в мире — и дух Коктебеля был, как и всегда, жив. Я вспомнил уже своё, написанное в июне восьмидесятого года и посвящённое памяти Волошина, стихотворение.

«…И, раздувая паруса, уносит ветер безутешный с неумолимостью поспешной береговые голоса».

Налетевший внезапно ветер, свежий, вспенивший небольшие, но упругие волны, широким крылом взмахнувший с моря бриз — действительно унёс чьи-то посторонние, диссонирующие с общим состоянием в природе, чужеродные голоса, будто сдул их с берега. И остались передо мною — только чистое небо, да открытое взглядам, привольно, раскованно плещущее всею массой солёной зелёной воды своей по песку и камням, вдохновенно поющее море, да вот эта пустынная, глинистая, вся в рубцах и шрамах, морщинистая, холмистая, полынная, родная, седая киммерийская земля.

И вот сегодня — такой особенный, столь тесно связанный с Волошиным, огромный, жаркий августовский день. Да ещё и затмение. Вовсе не приложение к нему. И не дополнение. Но — соединение. Двух фактов, двух событий — в одном, в едином дне. Сближение. Для одних — странное, для других — закономерное. Совпадение. Конечно же, не случайное. Попадание — в некий центр всеобщего действа — для чего-то куда более серьёзного и значительного, нежели само это действо. Чего-то извне, пришедшего сюда — и знающего, что к чему, со своим собственным, своим особенным знанием о мироздании и человеке. Чего-то — или кого-то. Ведающего. Вхождение — в магический круг, очерченный временем. Или чьим-то именем. В мистический волошинский круг. Ну и денёк! С гостевым билетом — прямиком во Вселенную. С нежданным правом на участие в невиданном миракле. С неслыханной доселе возможностью — быть очевидцем, быть свидетелем таинства. С правом голоса, своего собственного, каков уж есть он, голоса, чтобы сказать об этом, насколько уж сил и слов хватит, как уж сумеешь, но — сказать. Потом.

Попил я чаю, пришёл в себя — да и решил сходить, по своей, за девять-то лет коктебельской оседлой жизни сложившейся, прочной, даже незыблемой традиции, на море. Благо, оно у меня совсем близко от дома. Настолько близко, что смело можно говорить: оно у меня — рядом.

Друга Ишку на сей раз я оставил дома. Подстригла его Людмила. Стриженый — он стеснялся некоторое время появляться на людях. Отсиживался, отлёживался где-нибудь в уголке, в тени, в прохладе. Смешной такой стал. Эрдельтерьер, король терьеров. Ишхан. Ишастик. А вот когда отрастёт немного шерсть — сразу приободрится. Ничего, потерпит.

Купаться он любит. Плавает хорошо. Случается, что и бросается выручать, спасать тех, кто, как ему показалось, тонет. За что и прозван был — Спасателем.

Когда я иду один, без друга своего, то все встречные, давно уже привыкшие видеть нас везде вместе, вдвоём, только и спрашивают:

— А где же ваш Иша?

Некоторые путают имя, говорят «Тиша» или «Миша». Но это простительно.

Ишку в Коктебеле все знают и любят. Он — едва ли не местная достопримечательность.

Некоторые приезжие, бывает, из тех, кто с юмором, отпускают вот такие, например, шуточки:

— Смотрите, хозяин похож на свою собаку!

Ну, это, положим, Ишка на меня похож. Бороды у нас обоих рыжие, с сединой. Да и вообще, некоторое сходство можно заметить при желании.

В любом случае все встречные Ишку обычно нахваливают:

— Ах, какой пёс!

— Какой эрдель!

— Крупный какой! Красавец!

И тому подобное.

А он и рад. Улыбается, глаза весёлыми делаются.

Ну а если детишки поддразнивают: «Эрделька-сарделька!» — тоже не обижается.

Ишка — это Ишка. Он один такой на свете. И друзей таких, как он, верных — вот уже одиннадцатый год, нет у меня. Ишка — это человек. Настоящий.

Время шло к полудню. Или чуть перевалило за полдень. По солнцу — так выходило.

Ничто ещё не предвещало затмения.

Пройдя по улице Победы в сторону моря, спустился я с Киловой горки по тропке, вьющейся среди зарослей полыни, вниз. И оказался прямо у воды.

Я поплавал, понырял, пополоскал горло. Слишком тёплой показалась мне сегодня вода, почти не освежала.

Засиживаться на пляже я не любил. Натянул шорты, накинул рубашку, надел шлёпанцы—и обратно, вначале вверх по тропке, на горку, а потом снова по малолюдной, в эту-то пору, в самый сезон, потому что немного, по сравнению даже с прошлым годом, было нынче отдыхающих в посёлке, по ограждённой по бокам деревьями и заборами улице, по проезжей её части, поскольку тротуаров на ней не было и нет, по улице—почти без людей и вовсе без машин, пошёл неторопливо домой.

Один из дальних соседей, поздоровавшись со мной, сразу же спросил:
— Ну что, затмение смотреть будете?
— Да вот, собираюсь!—ответил я.
— Надо, надо. Мы до следующего не доживём. Следующее только через восемьдесят два года будет. В газете я вычитал. Так что—надо смотреть. Я стёкла закоптил заранее. Подготовился. Буду наблюдать.
— Пойду и я закопчу. Чтобы наблюдать,—сказал я.

И покосился на солнце.

Почему-то вдруг потянуло взглянуть на него.

Солнце стояло над Святой горой.

Жаркое, мощное, оно пылало, переливалось изобильнейшим теплом и светом.

Дома я нашёл в кладовке стёкла, отбил от них несколько кусочков и закоптил их над наскоро сложенным во дворе маленьким костерком. Проверил стёклышки, то есть посмотрел сквозь них, перебрав их все, на солнце. Смотреть можно было. Глаза не болели.

Солнце—было ещё совершенно круглым.

Стёклышки я приготовил на всех нас. Но дома были только мы с Людмилой. Наши дочери Маша и Оля купались и загорали где-то на Юнговском берегу, в компании знакомой молодёжи. Ну что же, придут—хорошо, стёклышки для них есть, персональные. А не придут—сообразят сами, как смотреть на солнце и сквозь что смотреть. Они уже большие, можно сказать—почти взрослые. Не мог я даже мысленно удержаться от этого «почти». Непривычно всегда собственных детей видеть—выросшими, взрослыми.

Людмила—стирала. Ишка—никаких признаков беспокойства не проявлял, хотя животные, как уверяют, в преддверии подобных явлений природы тревожатся. Но Ишка-то—человек. Уж я-то это хорошо знал, давно и твёрдо знал. А человек—он и ведёт себя по-человечески. Без паники. Спокойно. Сдержанно. Достойно.

Время, у нас—киевское, а не московское,—близилось к половине второго.

Круглое солнце—стояло и сияло в небе несколько правее Святой горы.

Предложил я Людмиле стёклышки, на выбор. Выбрал и себе. Расположился во дворе, под кирпичной аркой у входа в увитую диким виноградом беседку, на скамеечке, со стёклышком наготове, с сигаретами.

Стал поглядывать на солнце, покуривая, и—ждать.

И вот—что-то произошло. Но что именно, что конкретно—понять было трудно. Словно сдвинулось что-то в природе. Я совершенно отчётливо почувствовал этот, может быть, совсем небольшой, может, и крохотный, но уж точно—сдвиг. Некое—нарушение? Но чего же? Я не знал. Трудно было так вот сразу сообразить и уж тем более—сформулировать. Нарушение—гармонии? Равновесия? Какого-то крайне важного для мира—единства? Что-нибудь убыло? Исчезло вдруг? И если это утрата—какова же она, каковы её последствия? Что это за странная убыль? Что это за острая, острейшая нехватка чего-то существенного в мире, в природе? И даже такая важная, важнейшая, без которой—ну никак нельзя? Я ощущал всё это не умом. Ощущал—хребтом. Всей кожей. По которой, кстати, прошёл вдруг лёгкий холодок. Ощущал—чем-то изнутри, оттуда, где такое—уже было, оттуда, из той глубины, о чём эта глубина уже давно знала—и хорошо знала. Ощущал—как веяние прохлады из глубокого колодца. Словно взгляд темноты—из пещеры, из шахты. Словно дыхание опасности—из провалов где-нибудь в степи, из балок, из оврагов, из ям. То есть оттуда, где—бездна, где есть, где живёт это понятие—бездна, что-то без дна, бездонное, то, что страшит нас всегда, то, куда свет—уходит, убывает, исчезает если и не просто надолго, что само по себе ужасно, а—навсегда, насовсем, навеки. Убыль. Утрата. Утягивание чего-то дорогого—в себя. Втягивание—в воронку, в коловорот, в чёрную дыру. Отрезание с маху, отрывание—с мясом, отнимание—без спросу. Изымание, неясно для кого, в чью пользу, да и зачем,—того, без чего и жить-то нельзя, и дышать нельзя. Отсекание. Ну, пока ещё не головы, но какого-то жизненно важного органа. Перерезание—кислородного шланга. Жил человечьих—вскрывание. Отбирают—и всё тут. Хоть криком кричи. Утрата—неужели невосполнимая? Что за напасть?

Я посмотрел сквозь закопчённое стёклышко на солнце.

И точно! Вот, началось.

На солнечный диск—очень медленно, как-то нарочито медленно, чтобы все видели, чтобы всем ясно стало, что сейчас происходит,—справа, прямо из синевы небесной, как из ничего, как из ниоткуда,—наползал вдруг появившийся

округлённый краешек лунного диска. Солнечный диск—утрачивал свою площадь. Луна её сгрызала, съедала, неумолимо и неуклонно—отбирала.

Самого солнца, самого солнечного света—было ещё достаточно. Ещё больно было смотреть на солнце просто так, глазами, без всякой защиты. Ещё пылало солнце и плавилось, и жара стояла, и день стоял, длился неторопливо, тянулся во времени или в пространстве, долгий, большой, и Святая гора стояла, зелёная, лесистая, вздыбленная, приподнятая над окрестностями всем скруглённым сверху конусом своим.

Но—уже началось. Уже произошло то, что должно было произойти. То, чего—ждали.

И луна, хоть и медленно, всё-таки надвигалась на солнце.

И свет солнечный, если внимательнее к нему присмотреться, стал не таким, как прежде, стал—чуть иным. Ещё не тусклее, нет, но—с ощущением утраты.

Свет с повинной головой? Нет. Со склонённой головой? Нет. С усечённой головой? Нет.

Свет—утративший часть своей плоти, часть своего дыхания, часть своего дарения—миру, природе.

Свет—с которым нехорошее что-то делают, варварским образом поступают, с которым—не церемонятся, который хотят—усечь, пресечь, ужать, умалить. Отнять.

И я увидел: трепет в природе.

Ветер налетел—вдруг, сам по себе, спиралями над землёй проносящийся, взлетающий вверх, рыщущий понизу. Ветер—предвестие. Предупреждение об опасности.

Затряслись ветви деревьев. Листва задрожала, зашелестела—вся сразу, со всех четырёх сторон. Потом—затрепетала.

И ветер—стихнул. Пропал. Нет его больше. Тихо.

И в этой тишине—подспудный, внутренний трепет. Изнутри. Молчаливый. Повсеместный. Всеобщий.

И—словно всеобщий вздох. Не знаю, обречённый ли. Но—глубокий, усталый вздох.

И ещё более тихо стало.

Зелено вокруг—а пустынно. Чего-то недостаёт.

Рядом со мною—старый большой куст. На нём—крупные розы. Красные, пышные. Ещё недавно, когда жарко было так, и солнце—полное—сияло, я понюхал крайнюю розу, свежую, молоденькую. Она пахла сладко, сильно, призывно. А сейчас?

Я встал, подошёл к розовому кусту и понюхал эту розу ещё раз. Она—вовсе не пахла. Какой то сыростью отдавала, и всё. Запаха—не было.

А луна всё надвигалась.

И урезанное солнце всё больше становилось похожим на убывающий месяц, только размером намного крупнее, и свет был, конечно, куда ярче.

Стайкой прилетели откуда-то и пристроились поближе к дому, поближе к людям воробьи. Ну, воробей—птица почти домашняя. И всё же они очень уж как-то жались к людскому жилью. Хотели—притулиться к теплу, переждать нечто для них ужасное.

В беседку залетел большой шмель. Бунинский прямо: «Чёрный бархатный шмель, золотое оплечье». Он тревожно гудел, жужжал, крылышки его вибрировали в воздухе, в метре от меня. И вот перестал шмель—петь. Замолчал. И словно его и не было. Куда он девался? Где-нибудь здесь, наверное. Спрятался, что ли? Почему тогда—рядом со мной?

Белые бабочки ну только что кружились над клумбой с цветами. А теперь их нет.

Маленький мотылёк прилетел, покружился встревоженно, присел на листок хризантемы—и затих. Съёжился, сжался.

Вышла из дому Людмила. Посмотрела на солнце.

—Да,—говорит,—началось!

Но отнеслась к происходящему очень спокойно.

И мне почему-то спокойнее стало.

Ну, началось. И ладно. Пусть идёт себе это затмение как идёт. Нет у меня страха, нет у меня тревоги. Есть ожидание: а когда это пройдёт? Есть интерес: как это происходит?

Когда-то в детстве вроде видел я уже затмение солнечное, и отец тогда закоптил стёклышки, и мы с мамой смотрели сквозь них в небо, на солнце. И ничего, прошло, пронесло. Мир не разрушился. Всё живо.

—Интересно всё-таки!—сказала, глядя сквозь стёклышко, Людмила.—Ничего, подождём!

И в самом деле, подождём. И не такое пережидали.

А свет в природе уже начал убывать. Поначалу немного света убыло. Но это стало заметно. Не так ярко светило солнце, не так ярко грело.

Недавно термометр показывал тридцать два градуса тепла в тени. А сейчас—сколько? Я встал, посмотрел. Двадцать восемь, потом двадцать семь. Терпимо. Это не похолодание.

Свет начал тускнеть. Из золотого он превратился в золотисто-серебряный. Потом—в напоминающий отсвет фольги под электрической лампой. Потом—напомнил отсвечивающие ёлочные игрушки. Чуть позже стал он тускловато-жемчужным, ровным. Ещё позже—утратил тепло, стал ровным, безразличным. Даже не таким, как в сумерки, как в пору предвечерья. Безжизненнее. Без свечения, без скрытого внутри сияния, жара, некоей твёрдой гарантии жизни, выживания, продлевания жизни—далеко наперёд. Свет стал—цвет. Свет стал—след света.

И не воспоминание о свете меня тяготило, а просто—отсутствие его, отсутствие—должного, нужного, привычного света.

И тени, отбрасываемые растениями,—менялись. Они тускнели, теряли плотность, определённость, густоту свою. Теряли цвет свой, просто—обесцвечивались, начиная напоминать невзрачные, серовато-марлевые какие-то, полоски. Теряли прохладу свою, оставляя в сознании лишь недавнюю память о ней. Тени именно менялись, до неузнаваемости. Они теряли—прямо на глазах—лицо своё, теряли—значимость свою в мире, летом, в жару. Теряли—необходимость свою для людей. Они—истончались, таяли. Это были почти следы теней.

Между тем луна заползла уже на бóльшую часть солнца. Мне показалось, что и вверх продвинулась. Она куда меньше солнца по размеру—а словно распирает её что-то, неймётся ей—занять площадь чужую, вторгнуться туда. Чужеродность её, нет, даже полярность—стали ясны. Прямо какое-то Косово небесное!

Луна заполонила солнечный диск. Остался сверху только краешками своими скатывающийся вниз по обеим сторонам светящийся ободок, похожий на всем известный трагический рот на маске, на рот античного трагического актёра. Из-под луны начали высовываться светлые, белёсые усы, высунулись, метнулись в небо. Протуберанцы? Не знаю. Усы пульсировали, сжимались и разжимались. Потом исчезли.

И вот что было: солнце, закрытое луной, и только наверху—довольно слабо светящийся дугообразный кусочек живой солнечной плоти. Частичка. Остаток.

Всё заглохло, затихло вокруг. Почти затаилось. Не знаю, замерло ли. Но—не жужжали пчёлы, не мельтешили мухи.

Наш Ишка отнёсся к происходящему философски. Вышел на крыльцо, поднял голову, посмотрел в небо, покачал своей бородатой, кудрявой головой, опустил долу карие свои глаза, вздохнул, сделал мне знак ушами и мохнатыми бровями: всё, мол, понимаю, а ты держись, хозяин, терпи, друг, всё будет в порядке,—вильнул хвостом и спокойно удалился в дом.

Что он почуял? А вот и почуял.

Я увидел: недолго луна торжествовала.

Вот она уже сдвинулась влево, и это заметно.

И справа появилась, точно временно бывшая в плену, а теперь вырвавшаяся из этого неприятного плена, небольшая часть солнца.

Солнце стало напоминать растущий, прибывающий месяц.

И тотчас же по всей округе запели, заголосили петухи. Солнце приветствовали. Ох, как они старались! Как пели! На разные голоса. И хриплые, и звонкие, и протяжные, и действительно петушиные, то есть от радости срывались, петуха пускали, и трубили они долго, дружно, всем петушиным миром.

Солнце—росло.

Света вокруг становилось всё больше.

День снова стал напоминать день—и никак не сумерки.

Листья ожили, зашевелились. Воробьи запрыгали, зачирикали в кроне инжира. Появились насекомые. Низко над крышами пролетела стая чаек и направилась прямиком к морю.

Свет прибывал. Тепло прибывало. Жар августовский возвращался. Всё возвращалось—на круги своя.

И никакого тебе конца света!

Жизнь продолжается. Не так-то просто перешибить ей хребет, не так-то просто прервать её дыхание. Потерпит, переждёт—и снова жива, и опять сильна. В силе. Во здравии. В славе. Во всей красе.

И солнце—радовалось. И свет его—воспламенялся. Был уже не стиснутым чем-то, не ущемлённым, не зажатым, как будто горло рукою сдавили, не обиженным, не норовящим во что бы то ни стало прорваться сквозь преграду сюда, к нам,—но был просто свет. Животворный. Родной. Всегдашний.

Теперь луна—уходила. Смывалась. Удалялась. Хотелось бы ей поскорее, да не получалось. Ползла. Сходила, соскальзывала—опять в синеву, в которой её совершенно не было видно. Не на своём месте была. Не там, где следует ей, побывала. Зарвалась. Много о себе мнила. Так давай уходи. Соображать надо, что делаешь. Она и соображала, наверное, задним умом. Надо ей было—сваливать. Отваливаться, как клещ, от солнечного тела. Не успела и кровушки толком попить, не дали ей, не позволили. И луна сдвигалась с солнца, отодвигалась—не в тень, а в пустоту, которая, возможно, была там, за синевой неба,—луна уходила и уходила, и ни у кого не было сожалений о ней. А что—жалеть? О чём? Теперь всё ясно. И мы на неё, на луну, ещё насмотримся.

А солнце—вот это да. Чем его заменишь? Что противопоставишь ему? Оно—одно. Сразу на всех. Жизнь всему дающее. Энергию дающее. Само—сила, и силу в нас вливающее. Само—свет, и свет нам дарящее. Дух, дыхание—вышних. Путь его—наш путь. Все нити—к нему. Оно—суть, первоначало существования нашего. Исток жизни. Как говорил Шатров: «И сразу видно: это—Бог!» Верно говорил. И уже неинтересно мне было наблюдать за солнечным затмением и дальше. Всё ведь, в самом-то деле, стало ясным, стало очевидным. Не затмишь его, солнце, и всё тут. Оно—солнце. Наше. Цело оно. Живо.

Я подошёл к розовому кусту и понюхал снова ту, знакомую, крайнюю, красную розу. Она—снова запаха.

Я вздохнул—и улыбнулся.

И вернулся в дом, где уже было светло.

И столбик термометра пополз вверх, на прежнюю свою высоту.

И Святая гора видна была в моём окне. Большая гора, все окрестные вершины, кряжи и холмы замком смыкающая.

И справа от неё сияло всё возрастающее солнце.

И смотрел на меня с портрета — Волошин.

И радость была в его взгляде. Свет был в нём.

И не только слог «ки» — духовная нить, незримая связь — был в первой, украинской половине его фамилии, но и — «кирие». Господь.

Всё — не случайно. Далеко не случайно. И особенно всё, что связано с Волошиным. Его день. Но — и дальнейшие дни — его. С ним. И дальнейший свет — с ним. Дух коктебельский — с ним. Путь. Солнца ли, слова ли — в мире. Горение. Дыхание. Продолжение речи.

Я устроился за своим столом рабочим. Настроился внутренне — на светлое, на хорошее. Достал свои бумаги. И начал работать. Потому что работа — путь и спасение света.

И солнце светило, и день был необычно долгим, и долго ещё, ближе к вечеру, да и вечером, и позже, к ночи, словно некое светлое эхо его всё звучало в природе, в мире, в душе, всё длилось, всё светилось и пело в памяти, норовя помедлить ещё, задержаться ещё хоть немного, побыть ещё здесь, рядом с людьми, не желая, совсем не желая уходить, исчезать, прощаться — пусть до рассвета, пусть до утра, — долгое эхо, светлое эхо, поющее эхо радости жизни.

Как это важно — радость!

Как это много — жизнь!

И Волошин — живой — был рядом.

И пели по всей округе, торжествующе пели, небывалым, огромным, ликующим, слаженным хором, выкладываясь, вдохновляясь продолжением радости жизни, — пели сверчки.

И ни одна звезда не упала этой ночью с высокого неба.

Свет был — свят. Путь был — ясен. Дух был — радостен. Дом был — дружен с трудом.

На то он и август, со своим собственным ритмом, своим светом, своим совершенно особенным, вроде бы и внутрилетним, частично-летним, признанно-летним, но если внимательно приглядеться, если хорошенько вслушаться — то и с некоторым раскачиванием, с намечающимся уже и постепенно усиливающимся движением в сторону осени, хотя и всё ещё тёплым, полнокровным, самодостаточным, как и всегда, миром, чтобы в нём неизменно присутствовал Волошин.

Мы и глазом не успели моргнуть, как уже подошёл очередной, по традиции отмечаемый в Коктебеле, волошинский день — семнадцатое августа. Именины Максимилиана Александровича.

Давно, упрямо и прочно стоявшая изнурительная жара, не желавшая даже вечерами уступать место хотя бы относительной прохладе, накопившаяся в перегретом воздухе какой-то диковатой массой, выжелтившая кое-где листву, иссушившая почву, сделавшая сухими и колючими травы на Тепсене и прочих окрестных холмах, воду в море превратившая в тёплое варево, почти не освежающее, в котором растворились без следа остатки той бодрости, что является обычно следствием морского купания, длинными волокнами и обволакивающими волнами перемещавшаяся от нечего делать по дворам, по садам, где не знали, куда им деваться, деревья с обвисшими кронами, сутулившимися стволами, душными сгустками нависавшая в доме, по всем углам, по всем закуткам, застревавшая в шторах, буквально клубившаяся под потолком, в этот день умерила свой пыл. Стало вдруг легче дышать. Появилась возможность без особых усилий, без всякой одышки двигаться по комнатам, по двору и даже передвигаться в пространстве, то есть, пусть поначалу и недалеко ещё, пусть и осторожно, с некоторой опаской, с оглядкой, но всё же — выходить за калитку, всё же — идти куда-то, не рискуя перегреться и, что уж совсем было нежелательным, схватить по дороге тепловой удар. Природа смилостивилась ко всем нам. Погода позволяла нам идти куда-нибудь, если это было необходимо. Тем более если идти надо было не куда-нибудь, а в Дом Волошина. А туда в этот день вели все дороги.

Борис Гаврилов, бывший директор Дома-музея Волошина, жил у меня. Нынешний директор, Наташа Мирошниченко, предложила ему вести вечер, посвящённый волошинскому дню Ангела. Борис, конечно, согласился. Для него это было, особенно сейчас, важно. Он позвал с собой меня:

— Пойдём, Володя! Почитай хотя бы пару стихотворений. Хорошие люди будут. Да и я собираюсь кое-что сказать. Не только о Волошине, но и о тебе. Мне обязательно надо это сегодня сказать.

Борис прекрасно знал, как редко и неохотно выбираюсь я на всякие людные сборища. Однако сегодня случай был действительно особенный. И я решил пойти. К Максу пойти, как мы иногда между собой, все старые коктебельцы, говорили.

Борис приехал из Америки. Уже в третий раз приехал. Тянет его в Коктебель неудержимо. Ещё бы! Всё его становление — человеческое, духовное — связано с Коктебелем, с Домом Поэта. Что сорвало его с места лет пять назад? Вот, представьте, что-то взяло да сорвало. Были причины.

Борис — человек очень живой, всем на свете, начиная от книжных новинок и заканчивая просто новой для него географией, страстно интересующийся. В начале девяностых он съездил пару раз в Европу. Возил туда выставки Волошина

и Маргариты Сабашниковой — и читал там лекции. Вернулся — потрясённый ещё только чуточку приоткрывшимися ему новыми, западными странами.

Помню, как осенью девяносто четвёртого бродили мы с ним по берегу. Вернее, бродили мы втроём, поскольку со мной был неразлучный Ишка.

Наверное, стоял уже ноябрь. Облетела с деревьев на набережной, ещё не изуродованной тогда всяческими заведениями вроде кафе, ресторанов, каких-то забегаловок, биллиардных, ларьков и прочих несуразных в коктебельском пейзаже элементов, жёлтая, багряная, золотистая листва. Длинные, изогнутые полумесяцами коричневые стручки акаций хрустели под ногами. Пустые пляжи тянулись вдоль всего лукоморья. И не было на них, кроме нас, ни души. Пустым, без единого судёнышка, было и море. Прибой накатывался на песок, на привозную щебёнку, брызги разлетались в стороны фонтанами и даже, наподобие светящихся под тусклым солнцем трассирующих пуль, путь которых легко можно было проследить, залетали вдруг довольно далеко, чуть ли не до тентов на литфондовском пляже.

Борис, невысокий, но крепенький, плечистый, с развевающимися на ветру волосами, ходил взадвперёд вдоль прибоя и с тоской поглядывал куда-то за горизонт.

— Западник я, западник! — приговаривал он в такт шагам.

Я подумал: «К чему бы это? Неужели уедет?» Присмотрелся к нему. Борис — весь — был уже не здесь, а где-то там, в других краях. «Ну точно, уедет!» — с горечью подумал я. Так всё и вышло. Уехал. Вместе с женой Евой.

Знаю, что были у него причины. Знаю — какие именно. И не обо всех могу сейчас говорить. О некоторых — можно. Одной из причин его отъезда были угрозы от бандитов и прочих нелюдей, с которыми Борис боролся упрямо и самоотверженно, не позволяя им даже приблизиться к Дому Поэта. Угрожали — физической расправой. Некоторые другие нелюди — травили. Выживали Борю из Коктебеля.

Нелегко было решиться на отъезд.

В Доме Поэта Борис был на своём месте. К нему сами приходили всякие хорошие люди. Борис прекрасно своё дело знал. Его экскурсии долго потом вспоминали те, кому удавалось на них попасть. Хорошо знал Борис Волошина, всё его окружение, весь круг.

Некогда, мальчишкой, попал он в Коктебель и навсегда был пленён им. Был им — принят.

Мария Степановна Волошина выделила Бориса из числа многих её посетителей. Полагаю, что сработало её чутьё. Она называла Борю — «Керубино». Она призвала Борю — быть здесь, в Доме Поэта, заняться Волошиным. Она сразу почувствовала в нём — своего. Как почувствовала это и Мария Николаевна Изергина, ещё тогда же, — это я свидетельствую с её слов.

Борис открыл для себя светлейший мир — и вошёл в него. Ради присутствия в этом мире — стоило жить на свете! Знания были — здесь. Поэзия была — здесь. Любовь была — здесь.

Мария Степановна познакомила его с Евой и сказала ему:

— Вот твоя жена!

И Борис женился на Еве.

Ева — чудо. Феодосийское. Коктебельское. Такое чудо только здесь и могло появиться, и нигде больше. Поверьте мне. Киммерийское чудо. Вообразите себе огромные, полные лучистого света, очень тёмные, тёплые, бархатные, ну как эта вот крымская, киммерийская ночь, широко распахнутые, совершенно детские, девчоночьи глаза — на смуглом прелестном лице. Глаза — глядящие на мир из облака тёмных, длинных, густых, вьющихся волос. Глаза — глядящие на свет Божий из облака белых, разлетающихся, воздушных одежд. Не глаза — очи. Очи — из дня ли, из ночи? Из тайны, это уж точно. И к этим очам ещё и — не в дополнение, а в продолжение, в просветление, — детская, чистая, белозубая, обескураживающе искренняя, доверчивая улыбка. Белые одежды, тёмные волосы, улыбка, очи — это Ева. Сама первозданность, явленная не случайно. Тонкая гибкая фигурка, летящая походка, обаяние, грация — и ни единого излома, никакой позы, абсолютно всё естественно, всё органично — каждый жест, шаг, слово, — и это Ева. Плюс ум, тактичность, чуткость, отзывчивость. И ещё — нежность. И ещё — верность. Вот такая у Бори жена. Фея? Наверное. Уж точно — из сказки. Человеческое, женское воплощение Киммерии. Ни теней, ни темнот. Свет. Ну и, само собой, — дух.

И этой вот удивительной паре — выпал путь. Дальний.

Как-то устроились они там, в Штатах.

Что касается меня, то до сих пор я не представляю их обоих на чужбине, вне Коктебеля. Бывают люди, которые Коктебелю очень нужны, позарез необходимы. Так это как раз Боря с Евой. Ну что им делать в Америке? Для себя я решил, что никуда они вовсе не уезжали. Тем более — насовсем. Такого никак не могу я представить. Ну, куда-то поехали, и только. Вернутся ещё. Обязательно вернутся. Без Коктебеля им — никак нельзя. Буду их ждать.

Год шёл за годом, и вот уже пять лет как Боря с Евой живут в Америке. И что же? Ева работает. А для Бори — нет в Америке работы. Нет больше Советского Союза. Свернули все прежние программы. Закрыли институты. Не нужна больше американцам славистика. Не интересует их больше Россия. И президент Клинтон так и сказал, что, мол, больше на всё это ни цента не даст. Ну, значит, так и есть. Туго дело, конечно.

Однако Борис есть Борис. Он борец. Он и там решил—бороться. Читал иногда лекции. Терпеливо ждал места в каком-то институте. Готовился к конкурсу. Много работал—то есть много читал, размышлял, писал, что он вообще привык делать ежедневно. Информации было у него предостаточно. А душа—не нужна в Америке. Знания Борины не нужны. Дух не нужен там. Путь Борин не нужен. Неужели и свет—не нужен?

Живут Боря с Евой в городе, название которого я позабыл, потому что считаю, что всё равно никуда они не уезжали. Зелёный город, по площади величиной с Москву, а дома всё больше небольшие, так там привыкли существовать, с удобствами. Климат, можно сказать, жаркий. Город расположен на широте Батуми. Влажная жара.

Я-то думал, признаться, что ежели этот зелёный городок, величиной с Москву, расположен где-то неподалёку от Чикаго, то и климат там—умеренный, примерно такой, как в средней полосе России. А там, оказывается,—субтропики! Вот что значит—нигде не бывать, чужих стран не видать, а всё сидеть себе в Коктебеле, сиднем сидеть, медведем этаким, бирюком, отшельником, как я это столько уже лет делаю! Мир, оказывается,—не всегда такой, каким его представляешь, каким воображаешь. Фантазии фантазиями, в них больше, наверное, от Грина, с его вроде бы и наивным, но на самом деле—обострённо-мистическим воображением, тончайшим и верным, потому что это не просто полёт фантазии, свободный и непринуждённый, а сплошь и рядом—проникновение в суть, это—синтез мистики и мечты. Мир, наверное, реальный мир—куда проще. Ну кто бы мне, кроме Бори, сказал, что возле Чикаго—субтропики? И хотя и бассейн имеется прямо под Бориными окнами, и купается в нём Боря постоянно, как это привыкли делать местные жители, американцы, разномастные и чужие, по своим понятиям, со своими привычками, согласно своим правилам живущие, может, даже и симпатичные, и даже вполне хорошие, во всяком случае—любопытные горожане, весь контингент, всё население этого славного зелёного городка, площадью с Москву,—говорящие исключительно по-английски и ни бельмеса по-русски не понимающие, поскольку не нужно им это вовсе,—и Боря, живя среди людей спортивных, старается двигаться, разминаться, поскольку в своё время сам спортом занимался, даже боксом, а в своём американском далеке на велосипеде передвигается и вообще держит себя в руках, но—не подходит ему тамошний климат.

Ладно бы один климат. А то и нервотрёпки сплошные. Бесконечное ожидание чего-то—а чего? Перемен в судьбе? Это кого угодно измотает.

И вот, после очередного случая, с очередными рухнувшими надеждами на обретение работы, службы, когда изрядно пришлось перенервничать, случился у Бориса, с виду вроде достаточно крепкого и даже в достаточной мере спортивного человека, стойкого, волевого, о чём знаю я достоверно, устремлённого вперёд человека, но—не американского, а киммерийского,—инфаркт.

Ну, тут уж не просто испугаешься, а ещё и призадумаешься, всё о том же: как жить дальше?

В первый раз приехали Боря с Евой на родину в позапрошлом году. И—что скрывать—шок от перенесённого инфаркта был тем тяжёлым, норовившим выбить Борю из его привычных ритмов событием, от которого предстояло ещё оправиться, отойти, как по-русски говорят, и след которого коснулся Бориного лица, глаз, умудрился-таки оставить на всём его облике свой жестокий след.

Болезнь—за что? Почему? Карма, что ли? Борис—думал.

Мы сидели с ним вдвоём у меня в доме, говорили. Я всё твердил ему:

— Возвращайся! Ты нужен—здесь, а не там.

Боря с Евой уехали. Потом опять вернулись. Как им—там—без Киммерии? И вот уже в третий раз они здесь.

Очень изменился Борис. Не просто старше стал. Нет, к нему стало приходить некоторое понимание. Например: каково это, как непросто это—переждать междувременье, лихолетье, смуту, с тем чтобы продолжить своё дело—потом, здесь, а пока что—готовиться к новому подвигу.

Что же, может, и так. Но, мне думается, смуту надо пережидать и переживать—здесь, со своей страной, вместе со всеми людьми, пусть и в стороне от бестолкового хаоса, дабы суметь осмыслить происходящее и выразить его—в слове ли, в другом ли каком деянии.

— Если умру, то хотел бы лежать я здесь, в коктебельской земле!—сказал мне Борис.

Рано ещё—о смерти. Надо жить. И—выжить. Чтобы совершить то, к чему призван. Так я ему ответил.

Мало ли какие мысли приходят в голову вдали от дома? И каково ему, Борису, действительно человеку общественному в хорошем смысле, быть в изоляции от людей? А главное—чувствовать себя ежесекундно—оторванным от Дома Поэта, от того мира и света, к которому привела его когда-то Мария Степановна Волошина, от того пути, по которому столько лет он шёл, от того духа коктебельского, который и ему, и всем нам помогает жить и делать своё дело, несмотря ни на какие обстоятельства, дело—неразрывно связанное со словом.

Я верю, что Боря с Евой вернутся насовсем. Они построят себе в Коктебеле дом. И в доме их всегда будут и свет, и дух.

— Возвращайтесь, ребята!—только и говорю им.

Слава Богу, что Борис убедился: никто его не забыл здесь. Наоборот: он—нужен. Коктебельские

люди — особый народ. Они своих поддерживают всегда. И я видел, как Борис расцветал, преображался.

Тоже любитель светлых одежд, принарядится, бывало, выходит из дому вечером, весь в белом, а однажды даже в роскошном белом костюме, аккуратно причёсанный, свежий, и улыбка его, гавриловская, чуть ироничная, но добрая, и глаза его, гавриловские, с искорками, с несколько напряжённым, повышенным вниманием ко всему происходящему вокруг, будто там, внутри глаз, сидит вооружённый хорошей оптикой наблюдатель и всё-всё видит, не только поблизости, но и далеко, и видит это даже в подробностях, крупным планом, и всё примечает, — такие вот особые глаза, но — добрые, потому что со светом коктебельским, и внимательные, а пытливые — да, есть это, но и доверчивые, порой восторженные, как у того Бори-мальчишки, который когда-то впервые переступил порог Дома Поэта и вошёл в новый для него мир, глаза — говорящие мне о Бориной душе куда больше, чем чьи-нибудь, даже его собственные, рассказы о том о сём, о всяком жизненном, житейском, глаза — с полётом, с размахом, со взглядом в грядущее, глаза его — были на месте, вот здесь, в Коктебеле, и всё было на месте в нём, и сам Боря был здесь на месте, дома.

Потому я с ним и пошёл в Дом Волошина.

И людей на волошинские именины пришло — много.

Полукругом поставленные во дворе сиденья были все заняты. Люди стояли — тоже полукругом.

В центре, куда были направлены все взгляды, с установленного перед публикой портрета, смотрел на людей хозяин дома, сам Волошин.

Принаряженные сотрудницы музея держались приветливо, но торжественно. Саша Шапошников, славный человек, стоял среди них, высокий, в белых брюках и рубашке, ослепительно белой, с галстуком-бабочкой, который издали казался то ли действительно прилетевшей бабочкой, то ли приколотым на Сашиной груди строгим цветком.

С набережной почти не долетали посторонние звуки, не мешали нам.

По правую руку, будто присутствуя среди нас, пришедших поздравить его, стоял на узком постаменте белый, несколько обобщённый в деталях, но именно по этой причине удивительно разительный и похожий, прямо живой, бюст Волошина работы старых коктебельцев — скульпторов Ариадны Арендт и Анатолия Григорьева.

Казалось, что все деревья и цветы, растущие во дворе и в саду волошинского дома, не просто постоянно пребывают здесь, а тоже, как и люди, пришли сюда, чтобы побыть всем вместе, всем заодно, чтобы здесь быть, сейчас, в день именин поэта.

Вечер вёл Борис Гаврилов.

Замечательно он говорил, и глаза его горели прежним, вдохновенным огнём, и как-то похорошел он весь, воодушевился, и казалось даже, что лицо его излучает свет, — я, во всяком случае, это видел и чувствовал, — но важнее всего то, что был он снова здесь, на своём месте, будто никуда и не уезжал вовсе, — и он сумел это сам осознать, сумел и передать слушателям, и все это поняли и оценили.

А рядом со мной сидела Ева, вся в белом, как фея, сияла своими киммерийскими очами и радовалась за мужа.

И ещё рядом с нами сидела Лена Домрачёва, приехавшая из Германии, где она живёт уже десять лет, старинная общая наша приятельница, тоже из числа старых коктебельцев, по существу, здесь, в Доме Поэта, ещё при Марии Степановне, выросшая, знающая о Коктебеле — всё, сотни раз исходившая все окрестности, напитанная и поддерживаемая в жизни именно коктебельским духом. Где она только не была, какие аналоги Коктебеля не пыталась найти, а не получалось, не было никаких подобий и быть их не могло, — вот и тянет её сюда из года в год.

И вообще вокруг, стоило только повнимательнее оглядеться, обнаруживалось предостаточно хороших людей.

Борис, как и сообщил мне заранее, сказал важные для него слова обо мне, о моей поэзии. Не стану их пересказывать. Это были действительно хорошие слова.

Я, как и обещал ему заранее, прочитал два стихотворения из «Скифских хроник», написанных в Коктебеле.

Мне поаплодировали. Кто-то фотографировал.

Я вернулся на своё место, рядом с сияющей Евой.

Сидевший впереди Василий Асмус обернулся ко мне — и, весь лучась широко раскрытыми глазами сквозь очки — из зрачков, из души, — сказал мне совершенно по-детски, отрыто и прямо:

— У вас очень хорошие стихи.

— Спасибо! — ответил я ему.

И вдруг увидел — какой же это светлый человек!

Вот бывает ведь такое — свет его увидел.

Более того, я мгновенно понял: уж он-то мои стихи — понимает.

Ощущение это выразить трудно. Понимание такое — вещь редкостная. И чувствуешь его — сразу. Чуешь — правду его. Тон его. Дух его. Видишь — свет понимания. Подлинного. Человеческого. Принимаешь его — и хранишь в себе. Оберегаешь от ненужных вторжений. Защищаешь — порой как воин. Знаешь: есть понимание. И светлее с ним жить на земле.

Вася Асмус был — воплощённое в живом, в живейшем человеке, в таком, каких очень мало, в таком, которого вдруг открываешь для себя,

словно великое географическое открытие совершаешь, словно материк новый открываешь, а может — и планету, звезду открываешь, и уже кажется тебе, нет, уже веришь, уже знаешь, что так вот всё и должно было произойти, — воплощённое в земном, но с несомненным отношением к вселенской жизни, человеке, со светом звёздным в человеке, — понимание.

Он сидел совсем рядом, чуть впереди меня. И всё, совершенно всё в мире — видел, слышал и понимал.

Вечер продолжался.

Немного мешали слушать пролетающие наверху дельтапланы с моторчиками. Но их назойливое жужжание старались не замечать.

Очень хорошо говорил Валентин Цветков, астроном, глава издательства «Пан». Тоже старый коктебелец, он готовил к изданию книгу статей о Волошине.

Выступал и Саша Гусев. Он прочитал фрагменты своей статьи, посвящённой Волошину. Волновался, конечно. В своём мешковатом балахоне походил он на увеличенного Карлсона. Такая схожесть с известным персонажем вызвала в публике симпатию. Но с интересом были выслушаны и Сашины соображения о Волошине.

Светлана Фёдоровна Синицына, внучка коктебельского священника, друга и соседа Волошиных, замечательно рассказывала о том, как раньше отмечались именины Максимилиана Александровича. Говорила как по писаному. Ей давно надо воспоминания свои записать. Помнит и знает она очень многое. Она рассказывала увлечённо, темпераментно, с явным подъёмом, вся помолодев, забыв о своём возрасте, — а передо мною оживали те люди, которых она знала, видела, помнила: Волошин с Марией Степановной, Андрей Белый, Габричевские и многие другие друзья и гости этого единственного в своём роде, неповторимого дома.

Вечер закончился.

Мы разговорились с Асмусом.

Я вспомнил, как в семидесятых сходил он по трапу с катера на причал. Впереди, целеустремлённая, загорелая, тоненькая, в купальнике-бикини, Марина Аджубей, бывшая его жена. А за ней — Вася, стройный, худой, вежливый, резко выделяющийся из толпы, ну прямо — ходячий луч света в очках. Воительница Марина — и сама доброта, ум, обаяние, внимание — Вася.

Теперь Вася руководит научно-исследовательским центром космической гидрометеорологии, в его подчинении — две тысячи человек. И вполне с этим справляется.

В следующие дни он дважды навестил меня. И мы от души наговорились.

Вася Асмус — человек светлый, подлинно светлый.

И поэзию он понимает, сам — понимает, весь — понимает, как очень немногие — понимает.

Я это сразу почувствовал. И после волошинского вечера подарил ему бывшие у меня с собой «Скифские хроники».

Он этот большой том стихов прочитал за ночь.

И не только этим изумил меня, но и тем, что, прочитав, запомнил всё и даже высказал мне в ходе нашей беседы некоторые весьма дельные и верные соображения.

И я подарил ему все вышедшие свои книги.

Я сказал Людмиле:

— Это друг. У меня такое чувство, что я обрёл друга.

А всё потому, что это — Коктебель. Только в Коктебеле происходит такое, только здесь это возможно. Коктебель если уж сближает, если уж хочет сдружить людей — то это навсегда. Коктебель не захочет принять кого-то — и не будет его здесь больше никогда. Но если Коктебель примет человека — то человек этот будет сюда ездить и ездить, будет верен Коктебелю. И таких случаев — множество. Только на моей памяти здесь сменяется уже третье, если не четвёртое, поколение коктебельцев. Часами можно вспоминать разные случаи такой вот верности этому благословенному и благодатному, единственному на земле месту, где в людях раскрываются дремавшие ранее возможности, где дружбы с годами всё крепнут, где любовь не пустое слово, а важнейшее понятие, где особая энергетика даёт людям силы для жизни, особенно в нынешнее междувременье, где дух и свет Коктебеля пробуждают и укрепляют в людях самое человечное и светлое, что заложено в их природе.

Август шёл себе да шёл. Вроде бы и неторопливо, но, однако, и неудержимо, неостановимо — день за днём. И многие знакомые мои уже разъехались.

Уехали Вася Асмус, Валентин Цветков, Саша Гусев. Уехала моя жена Людмила, вместе с нашими дочерьми Машей и Олей, вместе с Ариной, дочерью Холина. Уехал живший по соседству, в доме Игоря Кузнецова, врач и профессор Михаил Анохин, пишущий любопытную прозу, вместе с обоими сыновьями, — а до него уехала певица Надя Лукашевич.

Дом наш опустел. Остались в нём, кроме нас с Ишкой, только Ольга Реброва с дочкой Таней. Они отправилась на набережную, чтобы послушать выступление то ли перуанского, то ли никарагуанского певца. Я его как-то слышал в прошлом году. Колоритный тип. Смуглый, худой, длинноволосый, похожий на индейца. Весь обвешан всякими дудочками, свирелями, играет на разных загадочных инструментах. И вдохновенность так и вспыхивает во всём его облике — вот что я сразу

увидел. Человек живёт музыкой. Пусть попоёт сегодня вдосталь. Завтра вроде бы и ему пора уезжать.

Вот какой август, прощальный, приближающийся к сентябрю. И Преображение Господне, девятнадцатое августа, прошло. А впереди—двадцать восьмого числа—Успение Пресвятой Богородицы. И не случайно стало прохладнее, и ветер усиливается ночами, вспенивает волны днём, и луна круглеет, наливается внутренним светом, притягивает воду, и в небе с полудня собираются облака, а кое-где превращаются они и в сплошную пелену, и всё это словно говорит: вот, брат, видишь, и лето, очередное лето твоё, проходит, и всё это лето провёл ты в трудах своих, и прошли эти три летних месяца вроде бы неспешно, давая тебе время и для раздумий, и для писаний твоих, а всё-таки прошли они, откатились, отодвинулись куда-то назад, стали прошлым, представляешь—уже твоим прошлым, и впереди ещё только немного летних дней, горстка всего, и потом—переход к осени,—и коли уж суждено тебе, друг, работать, коли придётся тебе, брат, сидеть здесь, в доме твоём, осенью, пока ещё грядущей, но вскорости долженствующей стать новым твоим настоящим, одному, по всей видимости, только с верным другом Ишкой твоим, что уже хорошо, поскольку всё-таки вместе веселее,—то уж ты и пиши эту книгу, пиши и благодари Бога за то, что есть у тебя в годы разрухи такая возможность—работать, делать своё дело,—и ты знаешь, давно и хорошо знаешь, что работа—твоё спасение. Вот какие мысли приходят в мою голову на склоне августа, двадцать пятого числа.

И я отодвигаю штору—и вглядываюсь в поздний вечер, сгустившийся за окном, в редкие огоньки, в темноту, слушаю ветер, шелестящий листвой, слушаю голоса природы. И второй уже вечер с изумлением замечаю, что сверчки по всей округе поют уже не так, как прежде. Их пение стало мощнее, истовее, полифоничнее. Чем ближе к полуночи, тем оно усиливается, множится, возрастает. Почему это так? И кто даёт им эту особую, светлую, орфическую силу пения? Как поют сверчки! Боже, как поют сверчки! Что ещё добавить к этому восклицанию? Что-то отзывается в душе. Ну конечно. Вспомнил давнюю свою элегию, написанную тоже двадцать пятого августа, в Кривом Роге, в родительском доме, после нашего с Людмилой первого путешествия в Крым и возвращения из него, в незабвенном для меня семьдесят восьмом.

«Сверчков я слушаю призывные мольбы…»

Не случайно, надо полагать, далеко не случайно вспоминаются иногда собственные стихи.

Сказанное когда-то—живо.

Двадцать восьмое августа. Успение Пресвятой Богородицы. Третий день—всё дожди и дожди. Первый дождь лил целые сутки. Был он странноватый. С ветром и завихрениями. Струи дождевые падали не отвесно и не наискось, а чуть ли не горизонтально. Они проникали в щели, врывались в приоткрытые форточки. Таким образом, дождь шёл не только на улице. Он оказался и в комнатах. Что ему надо было в доме? Не знаю. Но кое-что успело промокнуть. Пришлось принимать меры—вытирать, сушить, убирать всё, что он натворил. Второй дождь был короче. Я его почти не заметил. А он, тем не менее, продолжал дело первого. Третий дождь начался сегодня утром. К нему я отнёсся уже спокойно. Привык. Он пошумел по листве, исполосовал оконные стёкла оплывающими вниз потёками, да и угомонился. Однако в небе в течение всего дня собирались, клубились облака. А кое-где небо затягивалось плотной пеленой. Посмотрим, что будет дальше. Пока что—не похолодало, а посвежело. Все растения напились наконец вдосталь. Влаги уже слишком много. Избыточность её не тяготит ещё, но настраивает на размышления о близкой осени. И в самом деле, до сентября—рукой подать.

Вечер. И я опять работаю. Свет настольной лампы, сигареты, чай. Ишка устроился на своём диванчике, лежит, посапывает. Ему там куда теплее, чем на подстилке в прихожей. Хороший он друг. Верный. И всегда он, в отличие от других,—рядом. Трели заоконных сверчков пробиваются сквозь притихшую сырь. Вот и стемнело. Вечер коктебельский—вечер, как всегда, рабочий. Настраиваюсь на долгие труды. С удивлением смотрю, как на бумаге появляются—уж не сами ли собой?—слова.

Кто мне диктует всё это? Что это за давняя и прочная связь? Почему, находясь, это совершенно точно, в состоянии транса, так легко перемещаюсь я во времени, а что касается пространства, то это и так понятно? Такая свобода—откуда она? Моя независимость от всяких условностей и проблем повседневной жизни—что это? Позиция? Да, конечно. И это. И многое другое, собирающееся отовсюду, сгущающееся в это понятие—независимость. Главное же ясно мне давно. Это—путь. И поскольку это духовный путь, то что ему земные ограничения, что ему всякая заданность неизвестно кем и зачем, что ему какая-то там зависимость от обстоятельств, навязанных силами, ровным счётом никакого отношения не имеющими к творчеству! Вот прикрою глаза, сосредоточусь—и оказываюсь там, где хочу. Беседую с теми, кто дорог мне. Вижу то, что, повинуясь внутреннему толчку, непременно желаю увидеть именно сейчас, в эти минуты. А могу и не прикрывать глаз. Внутреннее зрение—вот что ведёт меня. Слух обострён. Дорогие для меня образы и голоса—здесь, в памяти, в душе. Тяжёл груз памяти. И только записав что-нибудь из того, что

вспомнилось, словно избавляешься от частицы этого груза. Но, как я погляжу, лишь тогда, когда записи мои превратятся в книги, сумею я вздохнуть посвободнее. Всё зависит от меня самого.

«Познай самого себя!»—так говорил наш великий философ Григорий Сковорода. Тоже, кстати сказать, ведическое мироощущение было у этого поразительного человека. Несмотря на православную подоплёку его писаний. И мышление у него—стержневое. А иначе и быть не могло. Откуда родом человек, кто он по крови—так и мыслит. Сковорода Григорий Савич—единственный в своём роде мыслитель и поэт. Как и Гоголь. Других таких днём с огнём не сыщешь. Двоица премудрости. Два камертона. Сковорода—мысль прежде всего. Ну а Гоголь—поэзия. Оба они задают тон звучанию речи. Орфичность их творчества ясна для меня как Божий день. Только так и должно быть. И в Сковороде, и в Гоголе столькое—от ведической традиции, от истоков, от сущности речи,—что радоваться, ликовать надо: жива традиция, жива речь. Скоро, скоро всё это окрепнет, возрастёт, воссияет в славе. И звёзды грядущего ещё загорятся над нами, это уж точно.

Вечер—и темь киммерийская.
Вечер—и тишь повсеместная.
Вечер—и глушь необъятная.
Вечер—и свет над исписанным этим листком.

...Вы опять, мои редкие гости, всё с вопросами да с вопросами. Всё о смоге да о смоге. Ну поверьте же, ну поймите же—будет об этом и книга. Не просто—заметки, наброски, записи. А именно книга. Попробую отшутиться. Как писал Губанов, «а у меня, как у России,—всё впереди, всё впереди». Всему свой черёд, всему своё время. Выше головы не прыгнешь. И так её не хватает, головы, на всё то, что хотелось бы сделать в эти месяцы. Ну, например, так тянет порой стихи писать, а не прозу. Но сдерживаю себя. Пишу эту книгу. Стихи—ждут. Обижаются, конечно. А всё же терпят. Понимают. Вот и с этой прозой как было? Несколько лет шло накопление. Записи, записи. И невмоготу стало уже всё это, всё, что помню, что знаю, что записано для работы,—держать в себе. Избавиться от этого—значит, написать свои книги. Вот и пишу. Что же ещё вам надо? Почему такое нетерпение? В одночасье всё не делается. Я себя и свою требовательность к себе, к слову своему знаю давно. Замечу, что требовательность эта с годами всё увеличивается. А вам надо, ну прямо так вот позарез надо—непременно сейчас что-нибудь услышать о нашем смоге. Действительно очень надо? Вот-вот. Я так и знал. Нет на вас угомону. Молодость, живой интерес. Понятно. Что вы говорите? Я—историческая личность? Ну что ж. Коли так, то и ладно. И смог—историческое явление? Пожалуй, что так. Но я-то—один, во всяком случае, сейчас, один—собираюсь сказать об этом. Планида такая? Долг? Знаю. Больше сказать некому. И не только о смоге. «За всіх скажу, за всіх переболію...»—это мой любимый Тычина. Тоже подлинно ведический поэт. Истинный гений. Душа народа через него, поэта, говорила. Читайте Тычину. Там такое открывается—Боже ты мой!.. Сковороду читайте. Сковороду и Тычину—в оригинале, а не в переводе. Тогда прозреете. Сама речь их к свету вас выведет. Гоголя читайте, Николая Васильевича. Письма его внимательно читайте. Многое сумеете постичь. Да вы мои стихи внимательно прочтите. Постарайтесь их понять. И тогда они откроются вам. Говорите, ворчу? Ну ворчу. Отвлекаете меня. Как вы сказали? Ничего страшного? Ещё наверстаю? Вот тебе на. Хороши приёмы воздействия, нечего сказать. Молодое поколение выбирает—а что оно выбирает? Оно хочет поподробнее услышать о смоге? Ну, братцы мои, вы своё дело знаете. Вот он, молодой напор. Хотят—и всё тут. Ладно уж, что-нибудь придумаем. Недавно ведь я вкратце сказал о смоге. Мало? Ну—хотите, так получайте. Вот вам что-то вроде ответов на ваши вопросы. В виде тезисов, что ли.

Ещё раз обращаю ваше внимание на то, что смог для всех нас был прежде всего чем-то вроде рериховского Знамени Мира—символом, знаком, объединившим наше поколение. Волшебным словом. Паролем. Нередко—боевым кличем. Всегда—светом, на который выходили из тьмы. Творческим содружеством. Творческим. Это очень важно. Никаким не политическим, не диссидентским. Только творческим.

Расшифровку аббревиатуры—Смелость, Мысль, Образ, Глубина—вы знаете. На этих «китах» и стоит лучшее, созданное нами за тридцать четыре года. Может, у других смогистов есть и иные соображения. За себя—ручаюсь. В моём случае—всё именно так обстоит.

В другой расшифровке—Самое Молодое Общество Гениев—избыток молодого задора, дерзость и вызов официальной нечисти. Вижу, что это вам, молодым, больше по душе. Ничего не могу возразить. Сам был молод. Но эта расшифровка мне до сих пор не больно-то нравится. Это всё губановские штучки.

С годами некоторые из нас действительно сделали что-то толковое в литературе. Многие отсеялись. Так—неминуемо—и должно было быть.

В шестидесятых годах были мы людьми известными. Особенно мы с Губановым. Наша с ним известность в период смога мгновенно, как по волшебству, переросла в славу. Нас с Губановым знали абсолютно все. У меня была—своя слава. У Лёни—своя. Но была ещё и общая—в ореоле смога.

Потом времена изменились. Надо было выживать.

Так сложились обстоятельства, что все пути к изданиям в родном отечестве оказались закрытыми. Наглухо. Надолго. Но у нас была своя этика. Считалось неприличным ходить по редакциям, обивать пороги. И когда очень скоро стало ясно, что публиковать нас не будут, мы не делали из драматической ситуации полнометражную или даже многосерийную трагедию. Перепечатывали стихи, отдавали их любителям поэзии, число списков и машинописных перепечаток всё росло и росло. Часто и помногу читали в различных аудиториях—и нас тогда услышали. Не то что сейчас!—не удержусь и добавлю. Эпоха была орфической—стихи хорошо воспринимались с голоса. Уместно здесь вспомнить формулу Максимилиана Волошина: «Почётней быть твердимым наизусть и списываться тайно и украдкой, при жизни быть не книгой, а тетрадкой». Может, я и приводил эти строки раньше. Но можете не сомневаться: и впредь не устану их повторять. Это—кровное. Никто из действительно одарённых наших друзей и не думал «продаваться», крепкие были орешки. А навидаться пришлось всякого…

Существование смога вызвало такой невероятный резонанс во всём мире, что, вспоминая сейчас об этом, я только грустно улыбаюсь, машу рукой да вздыхаю. Такое бывает—один раз.

Есть у Иннокентия Анненского замечательное стихотворение. Называется оно—«В марте»:

«Позабудь соловья на душистых цветах, только утро любви не забудь! Да ожившей земли в неоживших листах ярко-чёрную грудь! Меж лохмотьев рубашки своей снеговой только раз и желала она,—только раз напоил её март огневой, да пьянее вина! Только раз оторвать от разбухшей земли не могли мы завистливых глаз. Только раз мы холодные руки сплели и, дрожа, поскорее из сада ушли… Только раз… в этот раз…»

Вот так и со смогом. Как с любовью. Да и с судьбой. Памятен, ох памятен мне март шестьдесят пятого года!..

Издавали нас, каждого—в разных дозах, начиная с шестьдесят пятого, смоговского года, на Западе. Что это сулило в минувшие годы—нынешним молодым не понять. Лучше помолчим.

Пытаюсь взглянуть на себя вашими глазами—и вспоминаю строки Хлебникова:

«Тёмной славы головня, не пустой и не постылый, но усталый и остылый, я сижу. Согрей меня».

Но тут же вспоминаю и другое—из Хлебникова:

«Род человечества, игрою лёгкою дурачась, ты, в себе самом меняя виды, зимы холодной смоешь начисто пустые краски и обиды. Иди, весна! Зима, долой! Греми, весеннее, трубой! И человек, иной, чем прежде, в своей изменчивой одежде, одетый облаком и наг, цветами отмечая шаг, летишь в заоблачную тишь, с весною быстрою сам-друг, прославив солнца летний круг. Широким неводом цветов весна рыбачкою одета, и этот холод современный её серебряных растений, и этот ветер вдохновенный из полуслов, и полупения, и узел ткани у колен, где кольца чистых сновидений. Вспорхни, сосед, и будь готов нести за ней охапки света и цепи дыма и цветов. И своего я потоки, моря свежего взволнованней, ты размечешь на востоке и посмотришь очарованней. Сини воздуха затеи. Сны кружились точно змеи. Озарённая цветами, вдохновенная устами, так весна встаёт от сна».

Вот и у меня была своя весна—связанная со смогом.

Два поэта определили нынешний век—Иннокентий Анненский и Велимир Хлебников. Их-то стихи я и вспомнил. Кстати, интерес к смогу в зарубежных странах ныне не только не угас, а наоборот, возрос и укрепился. Каждый из нас «реализовывал свой дар» как умел. То есть прежде всего мы просто работали. Отсюда и обилие текстов у некоторых смогистов. А говоря определённее—у нас с Губановым.

Было чему противостоять. Уж это вам понятно. А панацея от всех бед—творчество. У меня—всегда так. Эпатировать мне, например, никого не хотелось. Я всегда много работал. Кто позадиристее был в молодости, тот, может, и эпатировал. Я занимался своим делом—литературой. Какой может быть протест против Вселенной, мира? Мы живём в мире, во Вселенной. Задача художника—ощущать и в меру сил выражать взаимосвязь всего сущего в мире.

При советской власти, как вы знаете, параллельно существовали две литературы—официальная и неофициальная. Это две разных планеты. У каждой—свои конкретные реалии литературной жизни. Их множество.

Задачи мы перед собою ставили прежде всего творческие. Документы—разные манифесты и прочие образчики самоутверждения—были, конечно. Да как-то и позабылись. Не знаю, сохранились ли. Почти всё из того, что было в моём архиве,—пропало. Не в них ведь, не в этих самых манифестах, дело. А в творчестве.

Ну конечно же, смог был литературным явлением. Да ещё каким! Вы порасспросите-ка очевидцев, тех, что с бою прорывались на наши вечера. Вы поговорите с читателями нашими. Небось, у кого-нибудь да сохранились те, прежние, самиздатовские сборники. Мало ли что вообще могло сохраниться? Утраты утратами, а народ у нас бережливый. Если очень надо—сохранят то, что считают нужным.

Кое-кто хотел было сдвинуть смог на политические рельсы, тем самым всем нам усложнив жизнь. Но политика и литература—понятия не

просто разные, а заострённо полярные. И говорить следует—о литературе. О тех, кто сумел выжить, сумел стать настоящими поэтами, прозаиками, и следует говорить, следует вспомнить. Остальное скажут их тексты.

Самиздат—российская, с многовековыми традициями, форма существования литературы. Он не исчезнет никогда, наверное. Мы в молодости много и охотно читали свои стихи, везде были желанными гостями. По мере взросления мы стали предпочитать, чтобы любители поэзии знакомились с нашими писаниями, читая их с листа. И я первый начал предпочитать такое вот общение с читателями. Несть числа этим самиздатовским сборникам.

Представители официальной советской литературы относились к ним по-разному. Кто-то сочувствовал, кто-то возмущался и реагировал, то есть множил число запретов. Белых ворон там сразу распознали. Вот я, с вами беседующий, и есть типичнейшая, известнейшая белая ворона. Смотрите на меня. Какой уж есть. Что? Седая ворона? Ну и шутка. Ничего, прощаю. Пусть так: седая белая ворона. В нашей, неофициальной, литературе всё было куда проще—там мы сразу стали своими. Какая из двух этих литератур была настоящей? Со временем всё прояснится. И так уже многое стало ясным. Западные слависты признают одну—неофициальную. Можно не быть столь категоричными. Но наша—лучше. Это уж точно. Она подлинная.

Никакой поддержки от советских «мэтров» не было. Меня поддерживали, в меру возможностей, добрым словом, а не делом, Арсений Тарковский, Аркадий Штейнберг, Лев Славин—но что они могли тогда? Они были просто порядочными и талантливыми людьми. Внимание их—дорого.

смог никогда не распадался. Как может распасться светлая идея? Чушь всё это, ерунда. Не верьте злым языкам. Их в Москве предостаточно. И в Питере. И мало ли где ещё. смог никогда и не мог распасться—он внутри каждого из нас. Поверьте, очень много пришлось поработать, чтобы со спокойной душой сказать это краткое слово: сумел. Все, кто живы, трудятся на ниве родной словесности—или на прочих поприщах. Нам не нужна групповщина. Само понятие—смог—для нас выше и серьёзнее, нежели крик, сбивающий в стаю. Разные индивидуальности, у каждого своя манера письма, разные характеры, по-разному сложившаяся жизнь у каждого. Сейчас модно, говорят, «тусоваться». Если не бываешь на всяких сборищах, тебя по меньшей мере странным считают. Меня, например, считают блаженным. Так вот, я не «тусуюсь». Полагаю, что и остальные. Мы живём и работаем. Я себя всегда вёл и веду именно так.

Леонид Губанов умер в восемьдесят третьем году. Наследие его—несколько полновесных томов своеобразнейших произведений. Появляются публикации в периодике и книги. Не единожды делал я губановские публикации. Даст Бог, ещё помогу прозвучать слову друга.

Кублановский вернулся уже давно из эмиграции в Россию, издаёт и переиздаёт, в разных вариациях, свои сборники стихов, выступает в печати как публицист.

Аркадий Пахомов издал книгу, были у него и публикации в периодике. Стихов у него мало. Зато жизнь—увлекательная книга. Взял бы да и написал свои воспоминания. Так нет же, только смутно намеревается. Всё больше в устном исполнении звучат его рассказы о былом. Да и те уже, будучи давно всем знакомыми, несколько потускнели. А время идёт и идёт. Опомниться пора бы в зрелых-то летах. Садиться и работать.

Саша Соколов живёт в Канаде, издаётся на Западе и на родине. Вернее, он и там, и здесь опубликовал уже то, что написал: три романа и небольшую книжку эссе. Надеюсь, он пишет свою интересную прозу и в наши дни междувременья.

Михаил Соколов—крупный искусствовед, доктор наук, автор ряда серьёзных книг об искусстве. Отличает его от остальных искусствоведов прежде всего то, что он умеет писать. А ещё, прежде этого «прежде всего»,—он всё-таки поэт.

Николай Боков бросил было литературу, ушёл в монастырь, жил в пещере—и это во Франции! Но я всегда твёрдо знал, что писать он никогда не бросит. Просто—другого рода писания стали выходить из-под его пера. Недавно он снова стал публиковаться, уже на родине. Одну из присланных им новых его вещей я опубликовал в киевском журнале «Византийский Ангел». Были вроде публикации и в Москве. Думаю, и до книги очередь дойдёт.

Арсений Чанышев—профессор мгу, любимец всей кафедры философии, автор многих книг по вопросам философии и множества публикаций. А вот огромный свод его стихотворений—замечательных, надо сказать, стихотворений, которые пишет он всю жизнь, ещё с сороковых годов,—так и не издан. Отдельные стихи появлялись иногда в печати. Вроде бы маленький сборник стихов где-то в провинции вышел. И всё. Моё мнение: стихи Арсения необходимо издать. Все. Полностью. Он настоящий поэт.

Николай Мишин был драматургом, стал—директором издательства «Палея». Издаёт вроде бы кого угодно, но не товарищей своих по смогу. Всякое бывает. Коля—человек артистичный, особенный, О нём книгу можно написать. Жизнь для него—театр. Он и сам играет, и целые спектакли разыгрывает, как и в молодые годы, день за днём, никогда не повторяясь, да каждый—хлеще другого. То он в Думе заседает, то в китайском посольстве обедает, то на Ближний Восток улетает, и там его,

сидящего в белом «Мерседесе», восторженные толпы несут на руках, то он у короля Иордании гостит, то ещё где находится,—и так вот—постоянно, весь в делах, весь в движении. Живой человек, в хорошем смысле—авантюрный, для интереса в жизни, неунывающий, деятельный. Лукьяныч, одним словом.

Вячеслав Самошкин—известный журналист. Живёт сейчас в Бухаресте, где и работает. Переводит прозу. Пишет стихи.

Достаточно, наверное, перебирать имена. Всех не перечислишь.

Скажу, пожалуй, о себе. У меня, с помощью некоторых очень хороших людей, вышли девять томов стихотворений и поэм. Но это лишь часть написанного мною за более чем три десятилетия работы. Пишу стихи. Пишу прозу о былых временах. Мои друзья по СМОГу пусть сами говорят о себе. И о своём отношении ко времени. Время нынче—смутное. Нынешнее время—это междувременье. Это как бы время. Да, сложное оно. А какое, скажите, было у нас простым? Какова страна, таково и время у неё. Вот и спрашивайте у моих товарищей: как они себя в данное время ведут, какие у них на этот счёт соображения имеются. Я же в хаосе участвовать не желаю. Живу многие годы чрезвычайно замкнуто, почти отшельником. И очень много работаю. Обо всём этом вы знаете. Куда разумнее написать восемь толковых строк, чем витийствовать на митингах. Никаких прогнозов на будущее давать я не вправе. Но верю—и знаю твёрдо: в эру Водолея Россия—Русь, в собирательном смысле этого слова, в её возвращённом единстве,—станет великой страной. Упадка интереса к поэзии нет и не было. И не будет никогда. Наоборот, вскоре интерес к поэзии будет всё возрастать. Люди есть люди. Одни поэзию не любят и не понимают, а другие любят и даже жить без неё не могут. В любую эпоху так бывало. Но такова уж наша страна, что в ней достаточно читателей, достаточно ценителей поэзии. Уж я-то это знаю. В следующем столетии у людей возникнет потребность в красоте, придёт новое её понимание. Начнётся осмысление наших и прочих писаний. Тогда и станет ясным, кто есть кто. Покуда жив я, надо мне работать. Поэт призван сохранить речь и продлить её дыхание.

Вот и всё, что я могу вам, ребятки, сегодня сказать. Можете считать это тезисами. В любом случае, это короткие ответы на ваши вопросы. Пора отдышаться. Давайте-ка прекратим эти разговоры. Сознательно. Ну разумеется, вам интересно. А мне-то каково? Разглагольствовать я вообще не люблю. Вон каким косноязычным с возрастом стал. Что вы говорите? Вовсе не так? Ну, уж мне виднее. Мои слова—в тексты уходят. Я-то лучше знаю. В своё время я уже наговорился. Теперь вот молчу месяцами, бывает. Или с другом Ишкой только и разговариваю. Ничего, привык. Давайте-ка лучше чаю попейте, с травами. Вкусно? То-то. Пейте. Чай свежий, хороший. Я ведь старый чаёвник. Вот сахар, вот варенье. Угощайтесь. Да вы берите, не стесняйтесь. Вам силы нужны. Можно ли дать кусочек печенья Ишке? Да пожалуйста. Печенье он любит. Иша, ты не усердствуй! Дай людям спокойно чаю попить. Душистый, правда? Я ещё заварю. Пейте. Опять вопросы? Мало рассказал? Достаточно. Пока что. Остальное—как-нибудь потом. Ах, вы завтра уезжаете? Вот оно что. И хотите ещё что-нибудь услышать? Ну понятно, о СМОГе. Вы меня прямо врасплох застали сегодня. Отвлекаюсь я от своих писаний. А у меня ведь свои ритмы. Прерывать их мне никак нельзя. Эх, старость не радость. Пейте лучше чаёк. Да, можно и с мёдом. Без сахара любите? Ну, пейте без сахара. Я тоже когда-то так пил. Погорячее любил да покрепче. А сейчас немного сахара кладу в чашку. И тоже—привык. Чай у меня всегда вкусный. Нравится? Ну, иначе и быть не могло. Ох, ребята, ребята. Ну что вы вновь заладили: всё Владимир Дмитриевич да Владимир Дмитриевич, расскажите ещё да расскажите ещё! Я что—хранитель устной традиции? В некотором роде? Нет уж, вы потом об этом почитайте, когда написано это будет, а может быть—ещё и вовремя издано. Издадут? Уверены? Будем надеяться. Вижу я, от вас так просто не отвяжешься. Упрямые вы люди. Больше не от кого это услышать? Тоже верно.

(Здесь с грустью сообщаю, что страницы о СМОГе при моих постоянных переездах—то в Москву, то обратно в Коктебель,—потерялись. И где они теперь—кто его знает? Посему—обойдёмся без них. Всё к лучшему, так я считаю. Всё—не случайно. В моём случае—тем более. Нет текста о СМОГе—и ладно. Появится—ну и хорошо. Куда мне от этого СМОГа деваться? Надоел до чего—передать невозможно! А поди ж ты—сросся как будто со мною, прикипел с годами ко мне. Как с ним быть? Что делать? Не знаю. Век—со СМОГом. Что есть, то есть…

А может быть—текст этот просто-напросто, сам, по собственной воле, по собственному желанию, по прихоти ли какой, по капризу, пускай мимолётному, ну а может, и по чутью, что, пожалуй, всего вернее,—да, наверное, в самом деле, по наитию, по чутью,—да ещё потому, пожалуй, что текст этот, как и я сам, искони, с молодых своих лет, уж очень самостоятелен, и так же самостоятельны любые тексты мои, хоть все они взаимосвязаны, но каждый самодостаточен, вот и чудят, бывает, и вытворяют порою такое, что диву даёшься, то прячутся, то находятся, то где-нибудь путешествуют, чтоб вдруг возвратиться ко мне, врасплох меня заставая,

и думай потом, и гадай, что же делать с ними, как быть, поскольку все они вместе и каждый из них в отдельности к себе внимания требуют, которое заслужили, и это не просто внимание, а самое что ни на есть вернейшее понимание, и тексты мои об этом давно и прекрасно знают, поскольку они живые, поскольку они мои, родные, и всё этим сказано,—поэтому текст о СМОГе, поскольку он, как и СМОГ, всегда и везде, где бы ни был он, только сам по себе, вполне допускаю это, взял да и переместился в другое какое-то место—или совсем в другое измерение—здесь же где-нибудь, в нынешней книге моей, в её земном и небесном времени и пространстве, в её силовом поле или ещё в каком-нибудь из всех возможных полей, во всей этой магии, тайне, в реальности магнетической, в легенде, в предании, в музыке, в сиянии, в речи моей…)

…Ночь уже. Батюшки!—ночь на дворе—а я всё говорю вам что-то своё. Вот уж, в кои-то веки, разговорился. Вспоминаю что-то, кусками, что в голову придёт. Не заметил даже, как и время пролетело. Небось, то этакую оду по ходу кому-нибудь закатывал, то ворчал на кого-нибудь. Всякое могло быть. Как получилось, так и получилось. Нынче я единственный, кто совершенно всё о СМОГе знает и кто имеет полное право говорить об этом так, как он считает нужным. Один я такой на свете—ведающий. Сам, всё—только сам. Ведь всё это для меня—живое. Что-то—радует, что-то—ранит. А всё равно воспринимаю до сих пор это наше общение молодое, творческое, содружество—как нечто целостное, очень естественное. Звук, звучание молодости слышу. Понимаете? Речь её слышу ясно. Слово её. Ну и, конечно, музыку всех последующих времён, и речь их, слово их—слышу, с каждым прожитым днём—всё более отчётливо слышу. Словно улавливаю непрерывно идущие ко мне импульсы, токи, сигналы. На волну особенную настроен я ныне, ребятки. Нет, пожалуй, даже на несколько волн. Вечная моя полифония. Контрапункт. Мой учитель—Иоганн Себастьян Бах. Из киммерийского своего затвора—приветствую вас, маэстро! Свою собственную музыку творческую слышу всё время. Вот и работаю. Надо трудиться. Пишу, с Божьей помощью, свою прозу. Вспоминаю. Записываю. Размышляю. И постепенно всё это начинает оживать, дышать, звучать. И называется это—работой. Что вы сказали? Спасибо за то, что рассказал вам о СМОГе? Да чего уж там. Надо книгу писать. Вон какая гора у меня подготовительных материалов для неё—видите? Множество записей. Наброски всякие. Порой—готовые, уже написанные куски. И во всё это я должен вдохнуть жизнь. Обязан это сделать. Обязан об этом написать. Больше—некому. Вот и работаю, помимо работы над нынешней своей книгой, ещё и над этим. И ещё кое над чем. Всего не перескажешь, да и незачем говорить об этом сейчас. Такая вот у меня творческая полифония. Над всем этим работаю я уже сейчас, да и давно уже, и всё это устремлено в будущее. А сегодня—этакая лекция своеобразная, наверное, получилась у меня для вас. Импровизация. И с некоторой конкретикой, и с отступлениями, и с величанием, и с ворчанием, и так далее. Вы слушали—вы и услышали. Вам видней, что получилось. Было—слышней, когда рассказывал просто. Будет—видней, то есть—увидите, когда будет написана книга. Не в моих правилах заранее рассказывать кому-либо содержание будущей книги, вроде бы сознательно оповещать народ, что там именно и зачем собираюсь я написать. Поэтому и то, что вы сегодня от меня услышали,—это так, для вас, для молодых, для ознакомления просто—чтобы на суть вас настроить, на грядущий путь направить, свет будущей цельности вроде бы невзначай, исподволь, вам показать,—и рассказ нынешний мой, в несколько приёмов, поскольку так уж вышло, звучавший,—частицы мозаики пока что, беглый очерк, серия набросков, нескольких линий выявление, штрихи, пунктир, собирание в параллельно идущие мелодии множества звуков, различаемых мною в пространстве и в памяти; сам образ времени будет—потом. Ну, давайте прощаться. Как обычно я приговариваю—пора отдышаться. А может, ещё и работать начну, несмотря на ночное время. Кто его знает? У меня такое—бывает. Поживём—увидим. Навещайте меня иногда. Буду рад. Приезжайте почаще в Коктебель. До свидания. С Богом!..

…Ночь. И вновь мы вдвоём с другом Ишкой остались. Ночь—и тишь. Ночь—и глушь. Мы с Ишастиком—в доме пустом. Ночь—и звёзды над миром. Сверчки и цветы—за окном.

Ушли мои гости. Зачем я им всё это рассказывал?—подумал я, когда все они ушли. Может, их и не было вовсе? Может, это просто—воображаемые слушатели? Кто же тогда был здесь? Не знаю. Кто-то—был. Вроде был. Или непременно—будет.

Как бы там ни было—надо работать.

Лампы свет—и созвездий сиянье—над рабочим столом.

Как же—иначе? Только так. Вот так—всегда. Всегда, неизменно,—вот так. И нельзя по-другому. Совсем нельзя. Никак нельзя. Категорически. Знаю: стезя такая. Планида. Куда и зачем—без неё? С нею—как-то привычнее. Может, и проще. И все эти «должен», «обязан», и вечное «надо»—всегда и везде—от неё. Да и то, что намного серьёзнее. Что в другой категории, в ранге другом. Что горения требует. А порой—и сгоранья. Но зато—продлевает речь. Но зато—поднимает из пепла. Воскрешает. Силу даёт. Исцеляет. И возвышает.

Совершать — так уж подвиг. Свой подвиг. Литературный. А какой же ещё? Коли к этому призван — трудись. Ежедневно. Без всякого шума и крика. Ежечасно. Ежеминутно. Потому что устроен ты так. Ежемгновенно. Потому что совсем ты один. Потому что лишь ты в эти годы сберегаешь незримую связь, и духовную нить не случайно ты сжимаешь в руке но ночам.

Ночь как ночь. Не какая-нибудь — киммерийская. А конкретнее — коктебельская. А ещё точнее — моя.

Ночь — рабочая. Ночь — до речи охочая. Ночь — горючая, жгучая. Неминучая.

Ночь — на краешке лета. На кромке. На грани.

Перед осенью новой. В преддверии света. Высокая ночь.

Почему же тогда не продолжить беседу о прошлом?

Там — так вышло — сплошной андеграунд.

Нынче — тоже. (Рембо — или Паунд?

Артюр: «О сезоны, о замки!..» Эзра: «Добытчик чудес...»)

Пусть за понятием «андеграунд» встаёт моя собственная жизнь, а с нею и моё творчество, пусть я получше других — да наверняка глубже, точнее, ранимее — знаю, что это такое, — но само словцо «андеграунд» — чудовищно. Без русского имени.

В противовес вышеназванному монстру так и хочется припомнить, так и тянет с явным удовольствием произнести поразительно верное слово: «авоська». Пустяк вроде. И далеко не пустяк, а символ. Пусть оно, повседневное, повсеместное это слово, и не имеет отношения к литературе, но вот уж где проявился дух и характер народа! Впрочем, почему не имеет? Ещё как имеет! В чём же ещё, бывало, носили, за неимением портфелей, кейсов и модных сумок через плечо, не только бутылки с дешёвым пойлом и завёрнутую в газеты с регулярными фотографиями правителей закусь, но и драгоценные книги, в том числе и запрещённые, и растрёпанные папки с рукописями, и зачитанные самиздатовские перепечатки! Я и сам, в период семилетних моих бездомиц и скитаний, сколько раз тащился по Москве — то среди метели, то в дождь, то в ясную погоду — обременённый двумя, тремя, а то и четырьмя вместительными авоськами, битком набитыми бумагами моими, взятыми из приятельского дома, где их, по неизвестным причинам, уже не хотели хранить, совершенно иногда не представляя, куда их, эти столь нужные для работы бумаги, хоть и на короткое время определить, — своего жилья не было, пристраивал части архива где попало — оттого и такие утраты текстов. Поистине: авось, небось, да третий как-нибудь.

Что уж говорить о слове «самиздат», о явлении самиздата — многодонном и многослойном, дробящемся и разветвляющемся, смело можно сказать — всеобщем!

Всем словам слово. Прочное, прямо алмаз.

Пусть самиздат и побывал поначалу домашним самсебяиздатом поэта Николая Глазкова, содержа в виде провисающей середины два лишних слога — типично глазковские ёрничество и юродство, — но сам язык, а значит — и народ, сразу его усовершенствовал, устранив излишества, — так и алмаз ограняют, и только после этой процедуры, как после обряда посвящения, становится он бриллиантом.

Самсебяиздат зрительно воплотился для меня в известный эпизод из фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублёв», где Глазков, в роли древнего русского воздухоплавателя, одержимого желанием полёта самоучки из народа, бросается со своим примитивным воздушным шаром в манящую, разверстую перед ним бездну гиперболического простора, некоторое время — с изумлённым криком: «Лечу!» — действительно с грехом пополам летит над родимой землёй, но в итоге разбивается о неё: порыв порывом, а несовершенство дела или слова есть причина падения.

Самиздат же, как более надёжный, непрерывно усовершенствуемый летательный аппарат, и с завидным упрямством, несмотря на всякие препятствия и ловушки, летал над всей необозримой территорией Советского Союза, и всегда удачно приземлялся — там, где его ждали.

Читаем: самиздат. Сам — состою — из дат. Сколько их было, драматических и трагических дат самиздата! Впору, как в фильме Анджея Вайды «Пепел и алмаз», так волновавшем нас, молодых, когда-то, тридцать с лишним лет назад, молчаливо зажигать спирт в стаканах и выстраивать эти импровизированные факелы на длинном пустом столе бесконечной чередой, один за другим, и ещё, и ещё, поминая героев.

Читаем: самиздат. И точно зуммер вспарывает застоявшуюся тишину. Телефонный предупреждающий звонок. Ночной условный стук в обшарпанную, на честном слове держащуюся дверь. Вой милицейской сирены, лихорадочное морзе мигалки над «воронком». Того хуже: нежданный визит напряжённо-вежливых граждан в штатском. Каменные лица соседей. Обыск. Огненными шарами вспыхивающие мысли: «Где же это? Здесь или там, в другом месте? Может, путаю, ум за разум заходит? Вдруг найдут?» Внутри — смятение. Внешне — дорого дающаяся невозмутимость. Ищут. Никуда не торопятся. Что им? Работа у них такая. Время тянется долго, долго. Тиканье

будильника отдаётся в мозгу. Вода из крана на кухне капает, капает в раковину—прямо пытка, а то и китайская казнь. Роются. Смотрят. Нет, ничего не нашли. Значит, и не найдут. Вот и прекрасно. На душе вроде полегче. Спокойно ждать. Просто терпеть. Ушли. Они ушли! Хлопнули дверью. Заурчала внизу отъезжающая машина. Тихо. Пусто. За окном беспросветно темно. Оцепенение. Ожидание утра. Потом—рывок. Истошный крик электрички. Треск мёрзлых поленьев, тёплый гул запоздалого пламени в загородной растрескавшейся печи. Охваченные жгучим огнём густо исписанные листы рукописи—той, заветной, из тех, что не горят. Так-то, брат!

Читаем «самиздат» наоборот: тадзимас.

Что это? Кто это? Маска, страшилка, страхолюдина. Почти Фантомас. Помните? Если верить статистике, в далёкие советские годы чуть ли не всё население Союза посмотрело французский фильм о Фантомасе, в итоге запрещённый Министерством внутренних дел как заведомо вредный.

Тадзимас-Фантомас. То, чем пугают детей, вроде бабая. И не только детей, но и взрослых.

Но и: тогда—тадысь—зима. Да, была зима. Всё верно. Зима, с её снегом, гнётом, льдом, сумраком, игом. Долгая, в любое время года—зима. Для личностей и масс.

(…Эх, знал бы я тогда, чем он окажется позже, кем он обернётся потом, что он будет собой представлять, этот самый Тадзимас!.. Ещё успеется и с этим. А пока—наедине я снова с самиздатом.)

Не только произнесённое, ненароком слетевшее с губ и надолго зависшее в воздухе, бесцельно кружащееся в речевом обиходе, но и обретшее почву, переросшее в дело, в деяние слово—семя, ключ и пароль.

Удивительно стойкое, обескураживающее своей почти детской, открытой, распахнутой определённостью, словно вдруг ясна стала некая простая и жизненно важная истина, постижение которой разом уравновесило многое в расшатанном мире, но и очень взрослое, зрелое, сложившееся, отвечающее за себя, утверждающее своё существование выплесками дерзкой отваги, горькое в своей запретности и гонимости, уже овеянное терпким ветерком желанной, полумифической свободы, слово это состоит в прямом, кровном родстве с некоторыми другими ключевыми словами советских десятилетий, и родство это давно уже укоренилось в нашем сознании.

Сейчас, когда я всё чаще оглядываюсь назад, то представляю себе поднятые к неяркому солнцу над каждым из наших домов, над каждым пристанищем нашим, наперекор красному месиву государственных знамён, боевые Андреевские флаги. Незримые для других, но очевидные для меня, реют они над прошлым. Было, было сражение, и неравное это сражение длилось долго, мучительно долго. И нет здесь никакой натяжки. Есть—доблесть и честь, совесть и верность, горесть и весть.

Слово—но и, конечно, понятие. Как же иначе? Неизменно—вызов, сплошь и рядом—поступок, шаг в неизвестность. Символ несгибаемости духа. Сопротивляющееся бреду, противостоящее злу, ершистое, с характером, со своим умом, с выстраданным, собственным мнением обо всём на свете, независимое, самостоятельное и самовозрождающееся слово. Грусть и задор перекликаются в нём с упорством и самоутверждением.

Ну а может быть, хоть отчасти—игра? Да, наверное. Но такая игра, где на карту поставлены судьбы. Рискованное, надо сказать, занятие. Само собой, всесильные власти, идеологические монстры, партия и комсомол, милиция и Лубянка не дремали—работёнки им хватало. За ореолом таинственности, за плотной, отчасти заговорщицкой атмосферой причастности нашей к общему движению, за наивностью круговой поруки—незамедлительно возникала резкая, напряжённо чернеющая тень ответственности, отбрасывавшая, в свою очередь, ещё две мрачные тени—расправы и расплаты. Но постоянная близость опасности лишь прибавляла значительности, масштабности работе, потому что была это именно большая, серьёзная во всех отношениях работа. Политической ли борьбой отзывалась она или «чистой» литературой, любительством или профессионализмом, бравадой или подлинным героизмом—не всё ли равно теперь? Всё смешалось с годами, всё густо сплелось, накрепко стянулось, со всеми своими рваными, кручёными или смолёными нитями, с узелками для памяти, всеми швами, прорехами или заплатами,—в единый, сплошной, неразрывный клубок—для истории, во всяком случае, и тем более для отечественной литературы нашей,—потому что всё, абсолютно всё было взаимосвязанным.

Сам-издат. Самозащита. Самосознание. Саморешение. Не издаёте—и не надо, издам сам. На пишущей машинке. Тоже ведь—печатает. Вот вам! Съешьте. Самолюбие. Самоотдача. Самооценка. Сам, всё—только сам.

«Никого никогда ни о чём не просить!»—так и витал, казалось, над всей страной завет Михаила Булгакова.

И литературный процесс (ужасное, заметим, но, к сожалению, общепринятое выражение!)—шёл, шёл не «как у людей», а по-нашему, по-российски, поскольку во всём самобытны мы и непредсказуемы, шёл двумя руслами: видимым, заданным, со

строгим спросом, указанным властями, донельзя заиленным, загрязнённым всякой плававшей и тонувшей дрянью, в которой терялся мнимый фарватер, официальным и несвободным,—и другим, подспудным, трудным, да верным, неофициальным, запретным, но внутренне раскрепощённым, единственно возможным и спасительным.

Не знаю, были ли это прямые линии. Скорее, спирали. Но если и была в них относительная хотя бы прямизна, то, вопреки теории Лобачевского, пути эти не пересекались.

Говоришь: самиздат,—и само звучание этого слова мгновенно включает слух, умело, не только для души, но и для работы, настраивает его на нужную волну, расширяющуюся в пространстве и времени далеко и свободно.

И вот уже слышишь характерный, волнующий, из потаённого переходящий в заоконный, чуть ли не всеобщий, шелест перелистываемых в порыве ночного бессонного чтения, истрёпанных в результате постоянного спроса и долгого пользования машинописных страниц, и различаешь, всё отчётливее и радостнее различаешь доносящийся отовсюду, со всех сторон, постепенно сливающийся в одно звуковое марево, нависшее над просторами Империи «от Москвы до самых до окраин», стрёкот пишущих машинок, вовсе не производственный, не механический, а скорее цикадный, орфический, вдохновенный, в каждом отдельном случае творческий, личностный,—и за ним, этим стрёкотом, иногда представляющимся мне ещё и каким-то невероятным, всеобщим севом, в ходе которого буквы-зёрна падают на чистое поле бумажного листа, улавливаешь голоса этих самоотверженных сеятелей, голоса друзей и знакомых.

Вслед за слухом включается зрение, вначале фотографически чётко фиксирующее, извлекающее из памяти разнообразные подробности, а потом незаметно, без излишней поспешности, как-то деликатно и твёрдо, бережно и уверенно обобщающее их, сгущающее в нечто целое, в образ.

И видишь, так отчётливо видишь эти разноформатные страницы, густо усеянные убористой перепечаткой стихов и прозы, эти рукотворные страницы, на которых текст живёт вроде бы и своей, особенной, казалось бы—замкнутой, но, однако, и на удивление быстро продлевающейся от человека к человеку, от читателя к читателю, изменчивой, движущейся по собственным законам, постоянно развивающейся, загадочной для непосвящённых жизнью.

И то он разборчив и строен, этот текст, если это первые экземпляры, то сбивчив и подслеповат, если это пятый экземпляр, но всё равно он важен, именно сейчас необходим, ты с ним наедине, он входит в твоё сознание и даже в кровь твою, он питает тебя, и пришёл он к тебе вовремя.

И где-то там, в неясном отдалении, как в другом измерении, как в осеннем тумане, сощурясь, различаю я силуэты пишущих машинок, наших спутниц, соратниц, наперсниц, и отношусь к ним как к живым существам, с подлинной любовью, с разумеемым уважением, с непритворным почтением и даже с некоторым суеверием—не сглазить бы, говоря о дорогом, о значительном для формирования духа,—отношусь к ним с давней нежностью и врасплох застигнувшим смущением, будто рассказывать придётся о чём-то сугубо личном, ранее не поддававшемся огласке.

Вот они все, словно и сейчас под рукой, настолько незаменимым всегда было их наличие, их присутствие в доме, готовые к бесконечному труду своему, эти наши рабочие лошадки, то загоняемые, то получающие нежданно редкую возможность отдышаться, эти, чуть переиначивая Пушкина, «лошади просвещения».

Скрипучая, с неровной, через силу тянущейся слева направо строчкой, точно усталые граждане терпеливо стоят в очереди за дефицитным товаром, и уже выезжает откуда-то сбоку грузовик, бестолково набитый кривыми, свалявшимися цифрами, и общее восклицание в виде подпрыгивающей вверх над соседками заглавной буквы «О» зрительно сливается с бесконечными портретами Хрущёва, и вслед за ними—с уже торжествующе-бесконечными портретами Брежнева, принесённая мне на Автозаводскую осенью шестьдесят четвёртого года неунывающим приятелем Колей Мишиным неказистая отечественная «Москва».

Дореволюционный «Ремингтонъ», тяжеленное металлическое чудовище, со сломанным восклицательным знаком, неподъёмный, грохочущий, молотящий нестирающимися литерами по распластанному на огромной, величиной с пулемётный ствол, каретке, трепещущему под натиском не знающих сносу железяк листу бумаги, кафкианский механизм, на котором, за неимением другого, довелось мне когда-то в молодости перепечатывать свои и прочие тексты, музейный экспонат, на котором, по уверениям давших его мне напрокат владельцев, печатала кремлёвские документы их родственница, секретарша Ленина.

Громоздкий, но габаритами поменьше, прочный «Континенталь», временно отданный мне для работы другом по обрушившимся на нас обоих испытаниям и несчастьям, сокурсником по университету и соратником по смогу Мишей Соколовым невероятной весной шестьдесят пятого года.

Послевоенный «Мерседес», видавший виды, звенящий металлом, кустарным способом, с помощью металлических же согнутых полос, наглухо прикреплённый к твёрдой основе.

Чудесный «Рейнметалл»—не его ли давала мне для моих перепечаток в шестидесятых Наташа Светлова, тогда ещё не Наталья Дмитриевна

Солженицына, а чуткий, отзывчивый друг, милая, с поразительным обаянием, молодая женщина, немножко — московская широко образованная дама из хорошей семьи, хозяйка дома, где принимали с разбором, только избранных, только своих, внешне сдержанная и скромная, но с несомненным наличием железной воли и просто грандиозной внутренней силы, способная на поступок, даже на подвиг, настоящая ценительница поэзии, такая, каких сейчас нет, и сама непосредственная участница самиздатовской эпопеи?

Крупная, с длинной кареткой, всё больше редакционная, служебная, контрабандная, печатать на которой приходилось от случая к случаю, мощно рокочущая прибоем перебираемых клавиш «Оптима».

Гордость некоторых приятелей, надёжная в работе, запросто берущая нужное количество экземпляров, спокойно выдерживающая натиск стёртых до мозолей пальцев на терпеливые клавиши, долговечная немецкая, из ГДР, «Эрика».

Выглядевшая диковинной редкостью, лёгонькая, хрупкая, не печатающая, а по-птичьи свищущая,— такая была только у Андрея Битова — игрушечная «Колибри».

Ладный, спокойно поблёскивающий деталями, плавный в ходу, с большим отчётливым шрифтом, появившийся в продаже году в шестьдесят восьмом чешский «Консул» — такой купили себе Эдик Лимонов и Генрих Сапгир.

Портативный, в удобном футляре, лёгкий, предпочтённый мною, всюду путешествовавший со мной, с маленьким, приятным для глаз шрифтом, чешский же «Консул».

Приобретённый в семьдесят восьмом, тоже портативный и тоже с маленьким округлым шрифтом, на славу, сверх всяких норм, поработавший, готовый к работе и ныне, через двадцать один год, вопреки прогнозам скептиков о том, что машинка износится через четыре года, югославский «Унис».

И вслед за ним другой «Унис», уже с большим шрифтом (редакционные требования к рукописям), приобретённый в начале восьмидесятых, когда мои переводы, а потом и стихи изредка, с оглядкой на мою биографию, с искажениями текста, всё-таки стали, со скрипом, с запозданием, но стали публиковать на родине.

И ещё один «Унис», купленный в комиссионке, прогнозы скептиков оправдавший и сломавшийся довольно скоро, но из всегдашнего моего упрямства отремонтированный у соседа, мастера на все руки, а потому хоть и хромающий слегка, да остающийся на ходу — быть может, из-за суеверного желания иметь запасную машинку.

И наконец, недавняя моя «Эрика», уже не выпускаемая, поскольку ГДР больше нет, но залежавшаяся где-то на складе и совсем новая, купленная незадорого, по знакомству, у двух измотанных жизнью парней, мастеров по ремонту пишущих машинок, вследствие нынешних нравов лишившихся помещения своей мастерской, а потому, по согласованности с милицией, аккуратно взимающей с них дань, принимающих заказы от населения и торгующих машинками прямо на одной из центральных московских улиц.

Всех ли я вспомнил? Чуть задумался и понимаю: не всех, далеко не всех. Кого забыл — простите меня, старика. Много лет миновало, начиная с зари моего самиздата, немало было и машинок в работе.

Гулкой музыкой дышат, многократным эхом прошлого отдаются в мозгу их названия, холодком теперешнего как бы времени обвеваются металлические и пластмассовые их корпуса, и все они, эти машинки, за которыми я работал, разные, взятые на время и собственные, кабинетные и портативные, импортные и отечественные, дороги мне,— чиненные-перечиненные, то переходящие по эстафете от одного приятеля к другому, то надолго устраивающиеся на столе у счастливого владельца, хорошо знающие нашу любовь к ним и преданность им, все они славно потрудились на своём веку во имя домашнего, подпольного, запретного, всеобщего, небывалого книгопечатания, и до сих пор, знаю, ещё склоняются над ними всякие светлые головы, потому что если даже компьютеры и вытеснят их когда-нибудь из употребления, то всё равно отечественный самиздат как существовал в пределах державы нашей веками, в различных своих формах, так и будет существовать всегда.

...Волшебное имя — Феллини.

И творчество его — сплошное волшебство.

Откуда такая магия — белая, световая?

Откуда такая музыка — серебряная, золотая?

Звезда ли горит за окном, лампа ли над столом, свеча ли потом загорится над каждой моею страницей — а там и листва пожелтеет, а там и прохладой повеет, но в творчестве этом — тайна, и всё в нём — совсем не случайно, поскольку печаль бескрайна и радость в душе жива, поскольку здесь в каждом звуке не только исток разлуки — начало грядущей встречи, в которой — любви слова.

Наверное, в шестьдесят четвёртом увидел я «Дорогу» Феллини. В советском прокате фильм назывался — «Они бродили по дорогам». Что сразу же придавало названию этакий сознательный, подчёркнуто скитальческий, с маху перечёркивающий всякую оседлость, а с ней и даже простейший уют, ну и, разумеется, покой,— оттенок. Бесцеремонное цензорское вторжение оставляло, надо полагать, одну волю. Броди, мол, себе, сколько захочешь, сколько душа пожелает,— пространства на земле много. Вот и пришлось мне через некоторое время вдосталь побродить, поскитаться по просторам страны моей — да и всякого в этот период пришлось навидаться.

Но я-то знал, каков он — ключ к «Дороге». И что это такое — Дорога, Путь.

И вспоминаю всё — и слышу, слышу мелодию трубы — то золотую, то вдруг серебряную, то уже седую — с годами.

А дорога — это жизнь.

Пред новой осенью, у века на краю, над кромкой хрупкою прохлады, уже встревоженный, ещё я постою, пичужьи слушая рулады. Покуда вглядываться я не устаю туда, где свет восходит снова, даст Бог, поймёшь ещё, о чём теперь пою, зане в начале было Слово.

Окончание следует

ДиН встречи

Волошинский сентябрь: *«золото улова»*

Международный научно-творческий симпозиум «Волошинский сентябрь» отметил десятилетний юбилей. Журнал «День и ночь» был широко представлен на этом форуме — и выступлениями авторов, и собственной презентацией, и номинацией поэтического конкурса, которая представляет собой волошинскую строку «Как ядро к ноге прикован шар земной…». Жюри конкурса определило победителей. Праздник состоялся. Награды вручены. Однако мы уверены, что списком произведений, отмеченных жюри, не исчерпываются творческие находки поэтов, участвовавших в конкурсе или выступавших на фестивале вне конкурса. Мы с удовольствием предлагаем читателям наши «волошинские» открытия.

Редакция «ДиН».

Мариян Шейхова

Там, высоко…

На каком языке говорит твоя ночь, на каком языке?
Спит короткая память в насечке кладбищенских дат,
Время вязнет шершавой печалью в наскальной строке,
Осыпается щебнем в ладони грядущих утрат.

Семь веков поминают свой дом на руинах мечети Убра,
Подставляют могучие плечи оседающим в землю камням,
И рассветные ветры сотрут им испарину силы со лба
И наполнят студёной росою тоску по засохшим корням.

Семь веков поминают свой дом на руинах мечети Убра
И читают священные книги кладбищенских дат,
Чтоб, проверив ушедшую жизнь на скрижалях добра,
Сохранить её речь на погосте надежд и утрат.

Борис Марковский

● ● ●

А осень безнадёжно хороша!
безукоризненна её отделка.
Мелькнёт в кустах оранжевая белка…
Что, если вдруг — молчи, молчи, душа! —
вся наша жизнь такая же безделка,
как этот мёртвый след карандаша?
Но на часах не двигается стрелка,
и так легко дышать… но что ни шаг —
то тлен и смерть… Пустынная аллея.
Ни мёртвый лист, ни беличьи следы
не трогают тебя… и ты стоишь, хмелея
от этой царственной, торжественной беды,
испытывая боль, почти блаженство…
в несбыточном плену у совершенства.

Юрий Беликов, Валентин Курбатов

На мосту, меж двумя берегами

Выбраться за Вильвенский мост!.. Первое, о чём попросил меня мой собеседник, когда мы прибыли с ним на нашу общую отроческую родину — в город Чусовой. Вильвенский мост — здешний позывной, пароль. Для чусовлян, всегдашних и бывших, пояснять не надо, что сие означает. Сретенье двух рек, Вильвы с Усьвой (Вильва — мутная вода, Усьва — чистая вода), питающих третью — Чусовую. Излюбленное место отдыха местного народа под вековыми тополями, чья поплавковая кора помнит руки Виктора Астафьева. Мост — железнодорожный. То бишь для человечьего шага не шибко приспособленный. Но всяк тутошний пешеход улучает момент, чтобы перейти на противоположную сторону по узеньким, проложенным вдоль рельсов плитам, зияющим на стыках посасывающей жутью текучей воды. Лучше не останавливаться… Но если остановиться и глянуть вниз и чуть в сторону, ты увидишь, как сливаются красноватая Вильва со светлейшей Усьвой; однако, войдя в единое русло, они ещё долго не могут сломить гордыню неслиянности, и поэтому река выглядит двухцветной.

Но, миновав мост, мы уже скатываемся к берегу Усьвы, где в стремительно бегущей ледяной воде отражаются те самые тополя, напоминающие Валентину Яковлевичу картины импрессионистов. И он, почтенный академик Академии современной российской словесности, член жюри высокопарных премий, заставляющий каждый чусовской овраг цитировать Набокова («Россия, звёзды, ночь расстрела, и весь в черёмухе овраг!»), нынешний гость проекта «Русские встречи», первым забредает в майский речной поток, дабы окунуться в него с головой в свои семьдесят три. Потом уж — мы, его более молодые спутники, нашедшие приют в этнографическом парке Леонарда Постникова на берегу Архиповки — ещё одного притока Чусовой. Оказывается, и в Архиповке, и в Чусовой, и в Вильве с Усьвой почтенный академик уже окунался дня за три до нашего приезда. Стало быть, по новой? Хар-ра-аш-шо! Так бы каждый Божий день. И было в этом крещении малой родиной что-то мальчишеское и в то же время ностальгически-выстраданное в праве на надежду, что, может, всё-таки не зазорно, вопреки Гераклиту, войти в один поток дважды…

— Валентин Яковлевич, в наших паспортах сейчас отсутствует графа «Национальность». Мол, зовитесь как угодно. Хоть марсианами. Вот и пребываем мы, по определению Ельцина, «дорогими россиянами». Но и в этом — насмешка: какие ж мы «дорогие»? Почему нас всё время «отстёгивают» от Родины и титульной нации?

— Вот сейчас мы с вами гостим у Леонарда Дмитриевича Постникова, который сумел создать нечто большее, чем этнографический парк. Это русский узел на карте, целый смысловой град, замечательной красоты и точности, где есть всё — крестьянские дома, мельница, храмы, восстановлена жизнь первоначально существующей подлинности и цельности. А на другом конце России, на Псковщине, в деревне Борки Великолукского района, в которой в своё время поселился последний лауреат Ленинской премии в области литературы Иван Афанасьевич Васильев, автор пронзительных очерков и повестей о жизни нашей деревни, практически на свалке, где, казалось бы, всё уже кончено, был осуществлён материальный пример его собственного понимания бытия. Сначала Иван Афанасьевич построил там свой дом, потом — дом экологического просвещения. Осознавая, что деревня и сельское хозяйство умирают, он тем самым хотел уязвить каждую механизаторскую душу: дескать, ребята, когда вы нечаянно плугом взрываете сердце этой земли, она потом не зарастает двадцать-тридцать-сорок лет. А дальше Иван Афанасьевич возвёл дом книги русской военной истории. Затем — картинную галерею. В деревне! Спрашивается: отчего мы пытаемся сберечь эту память? Оттого что чувствуем: с ней что-то происходит. Если б мы жили естественно и подлинно, стал бы я, извините, строить этнографический парк истории реки Чусовой? Я бы тут просто жил. Как и Иван Афанасьевич под Великими Луками. Зачем мне собирать и спасать чего-то? А это — потому, что мы оборвали историческую пуповину и надо соединять оборванное.

У меня есть замечательный товарищ, дивный художник Константин Сутягин, книги которого называются исключительно «Про счастье». И он однажды написал, что у русского человека, к сожалению, остаётся только два пути: либо уйти

в полицаи и подсвистывать тому, что происходит, либо, взяв хотя бы сухой паёк, податься в партизаны. И этот выбор, который предлагается русским — громадной нации и, соответственно, всей русской культуре, — в партизаны или полицаи — в нашей отечественной истории звучит, может быть, впервые так мучительно, стыдно и страшновато. А если вы, сохрани Бог, ещё это напечатаете, немедленно в четыре пальца засвистит пол-России: «Как вы смеете?! Какие мы полицаи и партизаны? Мы тут живём…» Если бы действительно жили…

— Как сказал по сходному поводу поэт Ярослав Смеляков: «…Что и сам я обываю и ещё настроен быть…»

— «Настроен быть…»? Следовательно, вглядись, вслушайся: светлейший художник, никогда не измышлявший никаких злокозненных текстов и правильно, как бывший лётчик, понимающий пространство, приходит к жесточайшему выбору — партизаны или полицаи! Даже при господине Горбачёве, когда начиналась перестройка, и при господине Ельцине, с его недореформами, люди ещё вспоминали, что была русская мысль: и Николай Бердяев, и Иван Ильин, и Сергей Булгаков, и Константин Леонтьев, и Николай Данилевский, и отцы Павел Флоренский и Георгий Флоровский… Их цитировали — опасливо, трусливо, но цитировали, понимая, что после революции надо что-то в Отечестве нашем переменить. Увы, мы отделались от русской мысли самым лукавым способом: взяли и всю её напечатали! В роскошных переплётах: мол, идите вы, ребята, Бог подаст, отстаньте от нас с вашими вопросами о русском самосознании. Вы на полках стоите? Вот и стойте! Чего вам ещё надо? Сегодня никто не цитирует русской мысли, никто. И в первую очередь — руководители государства. Потому что цитировать — стало быть, отвечать перед этой мыслью и следовать ей.

— Буквально на днях, читая книгу «Осеннее солнце» — избранное пермского поэта Юрия Калашникова, я, будто к нашему разговору, наткнулся на такие строфы:

В достатке бананов, кокосов,
В достатке колбас и конфет.
Но бедствует русский философ,
Но пьянствует русский поэт.
И рвётся на мелкие части
Единая раньше страна.
Когда инородцы у власти,
То русская мысль не нужна.

Однако, помнится, наш нынешний президент на одном из предвыборных митингов привёл, пусть слегка переврав, четверостишие из Сергея Есенина:

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая —
Дайте родину мою».

И этим нас обнадёжил…

— А вы не знаете, как имиджмейкеры «построили» это четверостишие? Они почти сами его написали, потому, может, и с ошибкой, но в любом случае всё это отдавало ложной картинностью. Во время встречи с Путиным во Пскове, в момент создания «Народного фронта», я его укорил: «Владимир Владимирович, в былые годы Леонид Ильич Брежнев и все предшествующие правители ещё цитировали русскую классику и действительно её опасались. Сегодня ни в одном докладе — ни президента, ни председателя правительства — вы не найдёте ссылок на Толстого, Достоевского, Тютчева, Пушкина…» Владимир Владимирович тогда возразил мне: «Как же, я же совсем недавно цитировал Пушкина…» — «Догадываюсь откуда, — заметил я. — Наверняка — из «Евгения Онегина»: «Не нужно золота ему, когда простой продукт имеет»?» Знаменитые экономические фразы, которые часто воспроизводил Егор Гайдар. Когда исполнялось двести лет Александру Сергеевичу, все цитировали одно и то же маленькое стихотворение — о том, как Пушкин пишет в ссылку Ивану Пущину, своему товарищу:

Мой первый друг, мой друг бесценный,
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.

Замечательное стихотворение, но его вспоминали потому, что оно коротенькое. Цитировали, совершенно не слыша, что на самом деле в нём есть какой-то мучительный призыв дружества, окликание чего-то высшего и совершенного. В этом, может, тайная тревога наших дней: что, не окликая, а поставив на полку, мы тем самым оказываемся в положении сирот посреди русской мысли и русского пространства.

Я всё время жалею: Господи, если бы все радио- и телепрограммы, все литературные интервью воспроизводили бы ауру записи и съёмки!.. Вот как сейчас: берег Архиповки, где мы сидим, птички поют, май на дворе заканчивается, речка стремительно журчит, нет-нет да прокричит петух… Почему на лекции в пермской библиотеке имени Пушкина я жаловался, что русский пейзаж в литературе умер? И тем самым умерли мы посреди русского литературного пространства. Вот человек воюет, диктует, негодует или декларирует что-то. И он убедительно делает это только тогда, когда стоит посреди русского пространства, когда над ним действительно восходит солнце, падают

звёзды, а мимо течёт река… И человек это пишет. И мы понимаем, почему он так себя ведёт. Почему он — подлец или, наоборот, носитель добродетели. Но когда сегодня человек оказывается вне пространства России, с ним можно сделать всё, что угодно. И книжка может быть живой, стремительной, летучей, но вдруг чувствуешь: она вся как будто привозная, это литература какая-то неродная, нерусская…

— Когда-то Маяковский написал: «Это время трудновато для пера». У него были свои смыслы, которые он вкладывал в это определение. Но вот настали времена, «трудноватые для пера» в прямом смысле. Мы живём в эпоху, когда сменились носители. Временем правит её величество Цифра. Вы давно уже пользуетесь компьютером, Интернетом, электронной почтой. Мне как-то в одном издании сказали: «Возьмите интервью по скайпу!» Я представил, как, допустим, говорю это слово Виктору Петровичу Астафьеву…

— Он бы спросил: «Это чё тако? Скальп?..»

— Ну да, он даже пишущей машинкой не пользовался — всё от руки, тем самым пером. Вы же знаете, что Марья Семёновна за него печатала. На ваш взгляд, не является ли эта смена носителей последним росчерком того самого пера, для которого «время было трудновато», но совсем в другом смысле?

— Господь милосерден — обязательно найдёт нам ещё какое-нибудь пространство для жизни. Сегодня, на пермском переводе «Эха Москвы», я было посетовал, что забвение уже подбирается к Виктору Петровичу, но меня вдруг заверили, что, оказывается, «по скачиванию его текстов молодыми людьми в Интернете» Астафьев — чуть ли не первый писатель. Вспоминаю, как Виктор Петрович, работая над «Пастухом и пастушкой», написал слово «милая», а потом — целый абзац. Затем, через месяц обдумывания, вернулся к слову «милая», чтобы сказать: «Милая моя». Между этими «милая» и «моя» — огромная жизнь задыханий высокого человеческого сердца. Сотый раз говорю: Дина Рубина — хороший писатель, Улицкая — хороший писатель, Пелевин — замечательный, Дима Быков умён и тонок, как змея, но при всём при том они не будут писать абзац между «милая» и «моя», который выдохнул Виктор Петрович, почти погибая… И то, что детки, до этого начитавшиеся современной, иронической, умной и тонкой литературы, начинают откладывать в сторону и Пелевина, и Прилепина, и «великого» Диму Быкова и читают Астафьева, не свидетельствует ли о том, что они тоже догадываются: между словами «милая» и «моя» обязательно есть какая-то громадная зияющая пауза? И возврат Виктора Петровича в русское культурное пространство есть утешительный знак, что мы ещё не вовсе прикончены и можем говорить на правильном человеческом языке.

— Вы входите в жюри премии «Ясная Поляна» и ежегодно, ежемесячно и, может быть, даже ежедневно читаете массу творений соискателей этой премии. В чём отличие литературы нынешней от той, которая существовала до смены носителей?

— Когда в прошлом году, накануне вручения премии «Ясная Поляна», я читал пятьдесят с лишним книжек в электронном переводе, то есть — с экрана, я вдруг понял: существует чудовищная разница между текстами нового поколения (пусть оно меня простит, заранее читающее только с этого носителя, в нём существующее и, может быть, слышащее всю полноту текста) и, допустим, чтением «Войны и мира» или «Преступления и наказания». Мне кажется, их нельзя прочитать в электронном переводе.

Знаете, мне припоминается одна забавная история времён моей юности. Я тогда писал заметки для псковской газеты «Молодой ленинец». И у меня был приятель — инженер с местного радиозавода, а у него — полюбовница, которая жила почему-то в бане. И вот лампочка горит свечей двадцать пять, засиженная мухами. Голландка-печь, покрашенная серебряною краскою. Барышня лежит, укрытая роскошным стёганым малявинским одеялом. И видно, что ждёт кавалера. Голубенькая серёжка мерцает у неё в ухе. Она тотчас вскакивает, увидев своего героя. Они бегут навстречу друг другу. А я, как интеллигентный, тонкий человек, несу с собою трёхпластиночный комплект «Идиота» Достоевского, в постановке Товстоногова записанный на фирме «Мелодия». Мне негде его послушать. А в бане, оказывается, можно. Но они достают чекушку, нарезают огурец. А я включаю проигрыватель. «Веруешь ты в Бога али нет?» — спрашивает Рогожин у князя Льва Николаевича Мышкина. «Вы слышите? — обращаюсь я к своим знакомым. — Люди насчёт веры говорят, а вы, собаки…» — «Пошёл вон!» — ответствуют мне. И я ухожу в ночь…

Вот вы спросили меня про смену носителей. Может быть, ещё радио, ещё телевидение доносило эту тайну смысла литературного произведения. А когда я прочту: «Веруешь ты в Бога али нет?» — на экране компьютера, я не выстрадаю того, что пережил тогда, во время того ночного, банного видения, когда словно попал в достоевскую ситуацию…

— Но это — вы. А предположим, двадцатилетний молодой человек?

— Вот я поэтому и говорю, что не знаю. Мне хотя бы на минуту хотелось бы побыть двадцатилетним. Вглядеться: слышит ли он в тексте то же самое, если он считывает его с айфона? Ведь книжка чем

примечательна? Когда ты её берёшь, ты думаешь: «Господи, как же она хороша! И как плохо, что она сейчас кончится! Так мало страниц остаётся…» Ты её обнимаешь, эту книжку, прижимаешь её к сердцу. Я помню «Роман-газеты», которые читал ещё в Чусовом, в библиотеке. На обложке—девочка опирается о ствол берёзки, мальчики-пионеры её слушают. Для меня это было каким-то вечным детством, тем, что навсегда умещается в понятие «Родина». Пустая книжка Родиной не является. В книжке есть обложка, форзац, титул… Всё это и составляет понятие не только родного слова—просто Родины. А когда ты читаешь виртуально, то и Родина становится виртуальной и перестаёт быть Родиной в том телесном, подлинном значении этого слова.

— Тогда не считаете ли вы, что если писатели ушедше-уходящей генерации—Астафьев, Шукшин, Леонид Бородин, Белов и Распутин—жили и творили по заветам Пушкина: «…Что чувства добрые я лирой пробуждал»,—то писатели «смены носителей» (назовём их так) заняты преимущественно гонками за бесчисленными литпремиями? Создаётся впечатление, что они этим живут: страдают, если премию не получили, и ликуют, если выбор пал на них. Движущей силой становится не жажда жизни, а жажда премии…

— Даже в этой пушкинской фразе, такой, казалось бы, обыкновенной: «…Что чувства добрые я лирой пробуждал»,—звучит какой-то тревожно важный диалог. Потому что на памятнике, что ныне всесветно известен и утверждён на Пушкинской площади, в своё время, когда состоялось его открытие, рукой Василия Андреевича Жуковского было выведено: «…Что прелестью стихов живой я был полезен». То есть—искажённый «дружеской» цензурой вариант. Однако товарищ Сталин властною рукою деспота написал: «…Что в мой жестокий век восславил я свободу». Это вернул он, товарищ Сталин, вместо того трусливого текста Василия Андреевича. То есть, видимо, существует диалог, всегда присутствующий от века, когда один человек пытается осмотрительно увернуться от времени, а другой—поговорить с ним напрямую. Я догадываюсь, что, наверное, я ещё плохо знаю то, что подпадает под виртуальные средства собеседования, но уже имел возможность убедиться: есть замечательный писатель Дмитрий Евгеньевич Галковский. Кто не слышал, настоятельно прошу: в «Живом Журнале», где угодно, найдите книгу «Бесконечный тупик». Уже само это словосочетание свидетельствует о редком уме этого человека. Он давно её написал—чуть ли не в двадцать семь лет. Её печатали все журналы. «Знамя»—одну часть, «Новый мир»—другую, «Наш современник»—третью, «Москва»—четвёртую. Каждый—свой кусочек, который наиболее ему любезен. Галковский отвечал на все вопросы сразу. И в конце писал примерно следующее: «Мне двадцать семь. Вы видите по тексту, что я—гений. Я умру, как собака, под забором. Как же мне жить дальше? В этом бесконечном тупике русского пространства, духовного, интеллектуального, всякого, которое всё время пытается вырваться из себя, но вырваться не может». Галковский стал знаменит и впоследствии напечатал свою книжку с предисловием Вадима Валерьяновича Кожинова. Завёл блог в «жж». И в этом «Живом Журнале» кто-то однажды посмел пикнуть против Дмитрия Евгеньевича—некий юноша обнародовал какой-то укоризненный текст. И я вдруг увидел, что такое виртуальное средство информации! На этого юношу накинулись, как собаки, все поклонники Галковского. Запинали до смерти. Может, этого человека на Земле больше нет?..

Я хочу сказать, что вот это средство мгновенной реакции, которое порождает Интернет, даёт какой-то новый, другой способ существования. Я существую не длительно, не в переписке, как Иван Сергеевич Тургенев с Львом Николаевичем Толстым (пока письмо добирается, я перечитаю свой ответ и обдумаю, верную ли я избрал интонацию). Нет, здесь—напротив: эта мгновенность исторического пространства сужает текст до какой-то кинжальной, стремительной остроты. И жизнь перестаёт иметь длительность, становится пунктирно-точечной. Мы живём только в кратчайшее мгновение диалога этого человека с тем. На фоне «Живого Журнала» даже электронная почта уже не является почтой. Я только написал—через минуту ответ. Я теряю предвкушение ожидания, получения письма, открытия конверта, и это лишает меня радости пространственного существования в русском слове. Мы действительно переходим в новое качество. И это не просто сетования старика на новое поколение, но чёткое ощущение того, что пришло новое пространственное понимание мира. И в нём надо, как ни странно, напрячься «Живому Журналу», всем средствам интеллектуальной информации и масс-медиа и догадаться о страшной ответственности, попытаться сохранить вертикаль и горизонталь пространства, неба и земли—тот крест, на котором распят человек. Чтобы держатели этих средств поняли, даже в этом сиюминутном пространстве Интернета: всё равно им придётся жить тут, где есть земля—горизонтальная длительность России от Калининграда до Владивостока. И—вертикаль неба, которая всегда останется вертикалью. И однажды они догадаются, что им придётся взять на себя ответственность сократить количество прямых реакций в Интернете и озорства. Помните? Никита Михалков попытался написать программу для России—военную, инженерную, строительную, культурную, крестьянскую, всякую… Огромный

документ. Ответом было: «Не асилил! Многа букафф». Так от истории отделываться нельзя.

— И всё-таки я возвращаю вас к своему вопросу о двух писательских генерациях…

— Уверен, что нет ни одного писателя, который бы возглашал: «Жажду премии!» Но соглашусь с вами: премий, к сожалению, много. Даже слишком. Их много быть не должно. Как ни парадоксально, в том, что происходит, виноваты сами премии. Потому что неправильно сформулированы их конституции. В этом смысле мы и с «Ясной Поляной» намучились. Точно так же — с «Национальным бестселлером». Когда я был там членом жюри, авторы присылали рукописи. Представляете: он ещё не напечатал книжку, но уже уверен, что это «Национальный бестселлер»! Ещё никто не видал ни одной его строчки, а он уже думает, что его будут читать повсеместно! К тому же присылают одни и те же книжки. Бунинская премия, Горьковская, «Национальный бестселлер», «Большая книга», «Золотой витязь», «Ясная Поляна»… Премии разные, а книжки одни и те же. Миленький мой, ты же должен понимать, что премии-то отличаются!..

— В две тысячи четвёртом году у вас была напечатана любопытная книга «Подорожник». Она родилась из того, что в ваш «подорожный альбом» вписывали свои автографы встречающиеся вам на пути собеседники. И Валентин Распутин недаром озаглавил предисловие к этой книге «Были люди в наше время!». Эта лермонтовская строка становится камертоном любой эпохи. Мы всё время говорим: «Были люди». И действительно, ваш «Подорожник» вместил образы интеллектуального и нравственного цвета нации. И в данном случае я не делю этих людей по политическим и мировоззренческим пристрастиям — правый-левый, почвенник-либерал. Здесь Павел Антокольский и Давид Самойлов, Валентин Распутин, Василий Белов и Виктор Астафьев, Булат Окуджава и Арсений Тарковский, Николай Бурляев и Станислав Куняев… Однажды Андрей Вознесенский написал: «Рифмы дружат, а люди — увы…» Что развело нашу когда-то единую и подлинно интеллектуальную элиту?

— Она всегда была разделена и никогда не была единой. Ещё Пушкин говорил, что он историю свою не уступит Петру Яковлевичу Чаадаеву — другу своему. Ссорятся западники и славянофилы. Правда, они ещё договаривались: как Герцен пишет, они ссорились, но сердце у них было одно. Сегодня, к сожалению, сердце стало другим. Мы сердцем разделились. Почему произошло это странное развеществление? Не знаю.

— Вот и в книге переписки с Астафьевым «Крест бесконечный» вы повествуете: «У Солженицына на присуждении премии Инне Лиснянской собрались подлинно жук и жаба, конь и трепетная лань: Д. Балашов, и С. Липкин, В. Личутин и Ю. Мориц, В. Бондаренко и Н. Иванова. Поначалу держались фракциями, но выпив, пустились обниматься все со всеми, и чем крепче обнимались, тем виднее делалось, как завтра будут „мочить“ друг друга с удвоенным „мастерством“». В чём тут дело? Антагонизм крови? Или — «у поэтов есть такой обычай»?

— Когда мы с Владимиром Ильичём Толстым затеяли «Литературные встречи в Ясной Поляне», то они замышлялись во многом для того, чтобы Союз писателей России не собачился с Союзом российских писателей. Человек со стороны не поймёт, в чём между ними разница. А они даже не здороваются друг с другом. Как сделать, чтобы они перестали бесчестить имя русского литератора? Видно, что-то разошлось настолько необратимо, что люди сидят, разговаривают, вместе выпивают и закусывают, обнимаются друг с другом, однако когда уезжают восвояси, я вижу по задним красным сигналам машин, что они все едут в Москву, но — в разные стороны. Сегодня постепенно стали ездить в одну, но не для того, чтобы сократить расстояние, а словно все устали от этого деления: «А, пошли они!» И вот это «А, пошли они!» стало ощущением третьей дороги — ни левой, ни правой. И даже не срединной, а просто той, которой не существует.

С самого начала нашей беседы таится вопрос: где разрешение этого конфликта — условно говоря, между Болотной площадью и Поклонной? Есть историческое пространство, в которое мы вляпались, или нам повезло, что мы в него угодили. Существуют промежутки, когда всё зависает, приостанавливается и не ведает, с какой ноги пойти дальше. И это состояние, может быть, самое мучительное и одновременно дорогое. Ведь и Тютчев говорил: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые…» Вот эти «роковые минуты» драгоценны тем, что ты стоишь меж берегами и впервые оказываешься человеком в самой страшной полноте этого слова. Человеком, который чувствует, что ему выпадает какая-то чудовищная ответственность. В этом — необычайное счастье и какая-то грозная красота. Не знаю почему. Объяснить не могу…

— В том же томе переписки с Астафьевым, в письме от двадцать девятого июня тысяча девятьсот девяносто девятого года вы рассказываете: «Приезжал к нам на Пушкинский праздник В. И. Белов. В монастырь ездил. Когда мы прощались, с искренней горечью сказал, что очень жалеет о Вашем с ним расхождении и тоскует по старым отношениям… И очень видно, что одинок». А какую позицию занимали вы, когда разошлись Астафьев, Белов и Распутин?

— Я всё время занимаю трусливую позицию — посередине. Может, от критической профессии, которая всё время хочет примирить то и другое? Или во мне, в отличие от Василия Ивановича и Виктора Петровича, более отчётлива закваска православного христианина (простите мне эту самонадеянность), который пытается слышать обе стороны? Я вижу, как они близки. Василий Иванович мне потом выдал: «Ты чего это там написал?! Чтоб я с Витькой?.. Да я на один горшок с ним не сяду!» Хотя перед этим говорил, имея в виду Астафьева: «Если бы Кривой мне только шепнул на ухо — я бы пошёл по шпалам в Красноярск, чтобы обнять его!» Отвечаю Василию Ивановичу: «Я выдумать, к сожалению, ничего не могу. Я простой свидетель эпохи. Делаю моментальные фотографии времени. Вы сказали, Василий Иванович, я с радостью это запомнил».

Когда-то я сочинил такой проект — собраться всем в Сростках у Василия Макаровича Шукшина на его юбилей. Написал письмо Виктору Петровичу: «Василий Макарович вас ждёт!» Василию Ивановичу написал: «Василий Макарович вас ждёт!» Про другого — ни слова. Написал и Валентину Григорьевичу Распутину: «Валентин Григорьевич, Василий Макарович ждёт именно вас — и больше никого!» Думаю, сейчас получит каждый весточку — и полетит. Первым раскусил мой замысел Виктор Петрович: «Ты чё меня пытаешься надуть-то?» А я-то со своим простосердечным умом был уверен, что, если бы тогда, в девяностых, в самой середине разрыва всех со всеми (все знали, что Астафьев поссорился с Беловым, Белов — с Распутиным), они вышли бы все на сцену одновременно, пусть молчком, то все двадцать пять тысяч жителей Сросток встали бы и, думаю, половина бы из них заплакала!.. И мы бы не сделали того срама, на который сподобились, если бы эти люди стояли на одной сцене. Просто стояли — больше ничего. И все бы поняли, что они развязали те узлы, которые должны были быть развязаны.

— Получается, дело в элементарной человеческой гордыне?

— Нет, это не гордыня. Это — хуже. Я даже не знаю, как это назвать. Каждый отстаивает свою национальную правду. И каждому кажется: единственно подлинную. Я уж сколько выслушал гневных слов против Виктора Петровича, который как-то сказал, что если б сдали Ленинград немцам, было бы лучше. Зачем оборонять камни? Надо хранить человека. Чтобы написать эти слова, требовалась чудовищная отвага, которую никто из тех, кто возражал ему, в сердце своём не держал. Вдруг заступиться за человека! Никто до конца бы этой правды не договорил. Но Виктор Петрович договорил её для грядущего человечества. Он хотел сказать: «Ребята! Ни мёртвые камни Флоренции, Рима, и Петербурга, ни мёртвые камни Москвы и всего мирового пространства не стоят одной человеческой жизни». Он словно пытался нас по этому хрупкому мосту найденных слов перевести в какое-то новое человеческое бытование. А ему: «Пошёл вон! Мы остались в истории. А ты хотел выдернуть нас из истории и перевести во что-то неисторическое — во всечеловеческое». Вот и получил: «Иди ты!.. Мы лучше останемся в истории».

— То есть в данном случае вы занимаете позицию Астафьева?

— Я, к сожалению, занимаю обе позиции. И, может быть, в нашей беседе самое дорогое будет то, что мы дерзаем и не в силах решиться остаться здесь, на этом берегу, и ступить туда, на противоположный берег. Легко остаться. Не трогайте меня. Я — мощный имперский человек, у меня — сила, власть и воля. А что вы мне там суёте, на своём либерально-демократическом берегу? Очередную мерзость? Я не знаю, что там. Но сами-то мы видим, что уже наполовину ступили туда, в это новое пространство. В духовном, историческом, политическом, буквально всяком существовании. Мы почти неизбежно там. И уклониться уже не можем, потому что сие начертано на роду. И всё-таки думаешь: остаться на этой земле — либо шагнуть туда? Либо догадаться, что мы с вами — мост? И нам выпало это чудовищное несчастье — быть мостом между тем и этим? Мостом, по которому пройдут, не заметив, что мы таковым мостом были. Пройдут — и забудут. Может, даже осмеют.

— Сколько я вас помню, у вас — своя, фирменная, курбатовская униформа. Или — «прикид», если пользоваться современным сленгом. Этот «прикид» даже воспет в повести «Рак-отшельник», которую написала праправнучка легендарного красного комдива Василиса Чапаева. Цитирую…

— Так…

— «И тут Карпатову вспомнился Сталин, а вернее, его френч…»

— Уже хорошо…

— «Константин заказал у портного длинный глухой пиджак: что-то среднее между старинным сюртуком и военным френчем… Дело оставалось за малым — создать себе новую причёску. Он решил больше не делать в парикмахерских «ёжики», «полубоксы» и прочие новомодные стрижки. Отрастил волосы и сделал причёску польских панов». Похож?

— Красиво… Виктор Петрович, когда подписывал свой первый договор, вывел этакую кудрявую роспись, в которой ни за что узнать Астафьева нельзя. «А» вписана в «В», «В» — в «П». Он осмысливал. Я тоже репетировал на флоте поджарую такую, стремительную роспись — фффить-фффьють! —

а потом понял: не надо прикидываться. Но вот этот сюртучок остался со мной как попытка смирения собственного безволия. Я заковываю в него самого себя, чтобы мне держаться и не распуститься. Но вы же видите: я всё равно распустился — в словаре, во всём…

— Тогда я позволю продолжить цитату из Василисы: «Много Пришвина, Бианки, Толстого… — говорит героиня её повести про Карпатова. — А ещё, по-моему, кое-что из дневников… Забавно! Эдакие литературные коллажи… Вы так смело подставляете в известные случаи свою персону, что просто диву даёшься! Вы также примеряете на себя чужие исторические факты, как рак-отшельник использует чужие раковины и панцири». Не кажется ли вам, что здесь устами ребёнка (а когда Василиса это писала, ей было пятнадцать) что-то да глаголет?

— Наверное. На самом деле в этом нет ничего такого — ни скрытности, ни переодевания. Потому что, простите меня, я — деревенский человек по рождению. Я уж как-то вам говорил, что родился в землянке и семь лет прожил в ней же. И всю свою жизнь догоняю человеческую культуру. Читаю всех: Борхеса, Томаса Манна, Маркеса, Павича… Могу назвать весь мировой свод. Я его читаю жадно. Я не переодеваюсь во что-то, не прикидываюсь, а пытаюсь догнать. И поэтому действительно иногда это выглядит комически и странно. Кажется: человек всё время во что-то переодевается. Сколько я за свою жизнь получил упрёков: «Старик, ты чё? Ты всё-таки выбери, где ты стоишь! Чего ты всё время мечешься? Встань, наконец, как следует!» Я бы и рад встать как следует, но как только встану, в любой партийной позиции, вдруг почувствую, что есть правда и с той, и с другой стороны, а как только ухвачусь за что-то — получу предательскую пулю и с того, и с этого берега. Вот он, мост! Я всё время его вижу — между тем временем и этим. Мы всё время на мосту — встретились на его середине. В шесть часов вечера после войны, которая длится и длится. Пусть обвинят меня в чём угодно. Пусть Василиса будет отчаянно храбра в своей пятнадцатилетней правде. Она доживёт до моего возраста и однажды узнает: Василий Иванович Чапаев, если б он доплыл до противоположного берега, возможно, выплыл бы Бог знает в каком платье. В фильме «Холм», который мы делали с Александром Прохановым, есть такая сцена. Помните, Василий Иванович из-за бугра вылетает, бурка его развевается, зал топает ногами, кричит «ура», потому что победили беляков, а они — винтовки наперевес! — давай психическую? Но — таков монтаж — вглядитесь в лица: это идёт поручик Толстой. А Анка из пулемёта: «Тра-та-та-та-та!» А это идёт поручик Лермонтов. Анка — снова: «Тра-та-та!» А это идёт поручик Куприн. Анка: «Тра-та-та-та!» Василий Иванович этого не слышит, потому что у него — партийная короткая правда. Но Василиса-то Чапаева сегодня должна услышать. И ей придётся стоять на мосту вместе с нами. С этой стороны она будет думать о своём прапрадедушке, а с этой — что её ждёт там, на том берегу. Я помню Василису: прелестное лицо, замечательная девочка. Умная, чистая. И Карпатов ей может сказать только одно: «Встретимся. А, Васька? Поговорим ишшо!»

— Но вы ведь сами признаётесь в письме к Виктору Петровичу: «Поглядел на свои заметки, которые всегда писал только по заказу, как исправный чиновник, и понял, что похвалиться-то и перед самим собой нечем, и показать нечего». Сейчас немало тех, кто раньше проходил по цеху литературных критиков, но подался в писатели. Например, Павел Басинский выпускает книги то о Толстом, то о Горьком, но с прицелом на собственное писательство. Эта жажда в вас затухла? Или вы всё-таки ещё хотите у самого себя взять реванш?

— Я очень понимаю Пашу Басинского, горжусь им и радуюсь тому, что он делает. Но он моложе. Он просто раньше вышел на подмостки, а я, к сожалению, видимо, обречён договаривать. Я — заложник своего времени и возраста. Тот самый мост. Из крестьянской России, переходящей в европейское пространство. Я уже не дерзну вступить в области какого-то другого существования — прозаического или стихотворного. Проза и поэзия есть способы определённого миропонимания. Не переходные способы, а устойчивые, покойные, соразмерные и ясные. Может быть, это прозвучит самонадеянно, но вот это мостовое существование я чувствую как призвание. Хотя только сейчас, на берегу Архиповки, крошечной совсем и бобровыми хатками затканной, догадался (и спасибо вам именно в этом смысле за беседу!), что теперь это меня отчасти оправдывает: я — мост. Мост, который, к сожалению, когда через него переходят, разбирают…

— Слеза наворачивается. Прямо-таки как в романсе на стихи Якова Полонского: «Ночью нас никто не встретит; мы простимся на мосту…» Не потому ли, что вы — мост, вы по-прежнему — и член Общественной палаты при Президенте России? Входите в тамошнюю комиссию по культуре. Как-то в своём блоге небезызвестный галерист Марат Гельман даже поиронизировал: вот, мол, Курбатов, который везде выступает и публикуется, в Общественной-то палате, в комиссии по культуре, молчит. О чём молчит Курбатов?

— Помню, мы сидим на семидесятипятилетии Валентина Григорьевича Распутина. Вдруг оказывается, что из приглашённых я не один, а ещё — Мариэтта Чудакова, которая тоже будет что-то говорить. Мариэтта при мне нацепляет белую ленточку и бежит на какую-то площадь выступать

против чего-то. Она заранее готова. Я на этом языке говорить не могу. Не могу в противовес ей надеть красный бант и выступать так же. Для меня это игровое, странное пространство. Точно так же я не могу говорить на языке Гельмана, Тины Канделаки и иже с ними, которые были там, в той палате, и сейчас их в ней уже, слава Богу, нет. Я лучше замкнусь. Это язык, на котором изъясняется то, что надчеловечно. И когда это надчеловечное пространство вторгается, человеческая система самозащиты в тебе подаёт сигнал: «Парень, уйди! Лучше перемолчи». Возможно, они окажутся победителями, но моё молчание их рано или поздно заденет. И не только они, но и все остальные это почувствуют: если этот мужик молчит, значит, он молчит о чём-то. Когда замолчал Валентин Григорьевич Распутин, должно было собраться заседание российского правительства: «Валентин Григорьевич Распутин молчит!» В силе и расцвете. Значит, что-то с государством случилось противоестественное, раз он в этот час не говорит. Почему так звучит завещание Виктора Петровича? «Я пришёл в мир добрый, родной и любил его безмерно. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать вам на прощанье». Это та же занесённая нога. Казалось бы: человек входил в мир, где были Норильск, ссылки, тюрьма, гибель и сиротство. И уходил из нынешнего, где то, и другое, и третье остались вроде бы в прошлом, но при этом: «Мне нечего сказать вам на прощанье». Астафьев вдруг понял, что он — в состоянии перехода, и перехода к чему-то, что ещё пока не очень отчётливо. Он оставляет что-то ему известное и ясное, а то, во что ступает, — его, в сущности, пока как такового попросту нет.

— Вы частый паломник пушкинского заповедника «Михайловское», частый гость постниковского этнографического парка в Чусовом, неизменный участник фестиваля «Сияние России» на родине Валентина Распутина в Иркутске. Наверное, вы ещё можете назвать какие-то благие точки в пространстве нашего Отечества, где «и гордый внук славян» чувствует себя на Родине? Что для вас эти точки в русском пространстве и как их приумножить?

— У Пушкина есть в черновом варианте лицейской поры: «Где ходит гордый славянин…» Гордый! А дальше: «Испанец, немец, армянин…» Дескать, пустяки всякие. И в «Памятнике» он повторил: «И гордый внук славян…» Кто из нас сегодня решиться сказать это с гордостью, с внутренней отвагой и силой? У Пушкина везде — один эпитет. В своё время я говорил и Георгию Николаевичу Василевичу, директору «Пушкиногорья», и Владимиру Ильичу Толстому в Ясной Поляне, и Александру Михайловичу Шолохову в Вёшенской: ребята, попробуйте собраться однажды просто так, потом пригласите блоковское Шахматово, затем — лермонтовские Тарханы. Вы ходите по Михайловскому, по Вёшенской, по Ясной Поляне, рассказываете анекдоты, смеётесь, но все люди, которые идут мимо, — научные сотрудники и просто паломники — с придыханием показывают: «А вон директор Михайловского пошёл, а вон — Ясной Поляны, а вон — Тархан». И все вдруг понимают: именно эти ребята (если они обнимают друг друга, ходят, озоруют и смеются) держат русское пространство, потому что русское пространство подпирает всё-таки русская литература, русская традиция и русское слово. И если эти ребята ходят, обнявшись, и у них всё спокойно и хорошо — следовательно, и в русской культуре всё в порядке. Она нежна, и сильна, и отважна. И они должны догадаться — и Спасское-Лутовиново, и Тарханы, и Михайловское, и астафьевская Овсянка, и «Сияние России» Валентина Григорьевича, — что они — те стяжающие острия духовного пространства России, как только они себя заявят спокойно и властно. Они станут той державною силою, от одного вида которой однажды в холодный пот бросит господина Гельмана, а в президентской администрации наконец догадаются, что надо ехать завтра же господину Путину в Тарханы, в Ясную Поляну, в Шахматово, в Михайловское, в Чусовской этнографический парк к Леонарду Постникову… Может быть, более всего, как ни странно, — ехать в это как будто бы не самое заметное место, но настолько мощное, собирающее в себе и Михайловское, и Ясную Поляну, и Шахматово, и всё на свете… Представьте метафизическую картину: идёт Путин без охраны по этой маленькой постниковской улочке, которая сейчас за нами. Идёт к дому Леонарда Дмитриевича. Мимо часовни Ермака Тимофеевича, бюста Аркадия Гайдара, памятников Александру Грину и Владимиру Ильичу Ленину…

— …замечает нас на деревянном мостке у речки, спускается и подтрунивает: «Ну что, мостостроители?»

— И мы отвечаем: «А чё, старик, сам не сделашь — тогда уж мы…» Это, конечно, улыбка, но в ней — какая-то правда: они на самом деле когда-нибудь догадаются, что надо оставить все охраны и проехать по России как по собственной стране. Они — дети этой страны и её отцы одновременно. Чего там защищаться-то, от кого?.. Обрадуйся: тебе бегут навстречу сторожа этнографического парка и все остальные, тебя обнимут, и ты всё поймёшь. Но прежде всего — может быть, главное, что ещё остаётся спасительного и властного, — это русская традиция, русская усадьба, русское слово, письменное, устное и даже виртуальное, пока оно ещё не забыло своих корней, помнящее о матери своей печатной и бумажной, и значит, живы ещё, слава Богу, и русская литература, и русская культура. Аминь.

Эдуард Русаков

Стоит только понять…

●●●

Стоит только подумать,
Стоит только сказать,
Стоит только проснуться, очнуться, подняться,
Стоит только напрячься и смело всё снова начать,
Стоит только за дело приняться,
Стоит только вздохнуть и коснуться нагого плеча,
Стоит песней восторга наполнить молчанье пустое,
Стоит только понять, как весенняя кровь горяча,
Стоит только…

Но как это дорого стоит!

Белые ночи в Кырске

Мы всё чаще молчим, говорим всё короче.
Оглянись—мы остались одни.
Превращаются в белые ночи
Наши дни.

Ночью белой, молочной
Я по спящему Кырску бреду,
Среди призрачно-серых домов
И заборов прозрачно-непрочных,
В привычном бреду.

Как бедняжку Евгения
Среди ночи-дня—
Лошадь медного гения
Настигает меня.

Бойся! Втопчет злыми копытами
В асфальт—и прочь
Умчится, скотина несытая,
В молочную ночь.

Так уймись же, прошу. Не рискуй и не рыскай.
Вытри слёзы с небритых щёк.
Не гуляй—умоляю—ночью белой по Кырску…
Ну, чего ещё?

Хочешь не хочешь—
Люби, кляни.
Белые ночи.
Чёрные дни.

●●●

Живу по графику скользящему.
Где ночь? Где день?
Подобен ветерку сквозящему.
И думать—лень.

Шальная жизнь, твоё скольжение—
Моя лыжня.
В душе мороз, лишь в пальцах жжение,
И нет меня!

Пейзаж лесной—сквозная графика.
Пронзай до жил!
Скользящая игривость графика:
Я жив? Я лжив?

Весёлая жестокость графика
Скользит, маня.
Друзья мои, зачем вы грабите
Всю жизнь меня?

Вы грабите меня, насилуете…
Хоть лыжи мажь.
О, сжальтесь надо мной, помилуйте!
Ведь я—не ваш.

Пусть вы со мной, но ведь не с вами я.
Вы—без лица.
Печаль моя! Ей нет названия
И нет конца.

Прощайте, палочки бамбуковые!
Мне скучно здесь.
Я переполнен злыми буквами,
Как снегом—лес.

Да что там! К чёрту скину лыжи я,
Нырну во мглу,
Где ждёт меня подруга рыжая
В своём углу.

Так продолжайся, биография!
Привет, любовь!

…Петлёй скользящей, то есть—графиком
Я пойман вновь.

● ● ●

Когда с экрана поёт хор мальчиков,
Душа печалится и вздрагивает.
И рой нежнейших детских пальчиков
Сердца усталые затрагивает.

Хор октябрят, хор пионеров ли
Поёт в восторженном отупении,
И мы не скрипками, а нервами
Аккомпанируем их пению.

Экран—удав. Мы—просто кролики.
Мороз по коже от детских спевочек.
Заходят шарики за ролики…
—Включи погромче—поёт хор девочек!

Мама

Мне мама снится каждую ночь
Вот уже много лет—
Словно хочет вернуться, хочет помочь…
А как проснусь—её нет.

● ● ●

Ты, конечно, опять же, как прежде,
права, моя ласковая…
Совесть твоя чиста.
Девочка! Птичка! Ласточка!
Сжалься, ради Христа.

Баллада

Она любила стоять у окна,
А я—сидеть у огня.
Когда она уходила одна,
Я не был спокоен ни дня
И ждал её с утра до темна,
Любя её и кляня…

Когда же домой возвращалась она,
То не было дома меня.

● ● ●

Умру, забыв твой тонкий профиль,
Овальный фас.
Всё растерял, всё продал, пропил.
Жениться?—Пас.

Женитесь сами. Я—из робких.
Уйду от вас
С дырявым зонтиком по тропке.
Работать?—Пас.

Писать стихи? Чеканить строфы?
Стоять у касс?
Плюю на всё—на тонкий профиль,
На толстый фас!

● ● ●

Отроялил грустный Брамс.
—До свиданья, моя рыбка.
Я узнал, что я твой брат.
—До свиданья, моя рыбка.
Перспектива!—ранний брак…
—До свиданья, моя рыбка.
Я не брал тебя, не брал!
—До свиданья, моя рыбка.
Я на прошлом ставлю «брак».
—До свиданья, моя рыбка.
Колебанье тяжких бра…
—До свиданья, моя рыбка.
Уплываешь стилем «брасс»?
—До свиданья, до свиданья,
до свиданья, до свиданья…

● ● ●

В жизни очень много хорошего,
Этим она и ужасна,
Ибо всё в конце концов отнимает
Немилосердный Господь.

Лепестки прозы

Проза есть проза

Главные признаки настоящей прозы скрыты в самом этом слове—«проза».

Если не понял, произнеси вслух: «Проза!»

В этом слове есть всё, что требуется от прозы: прозрачность и призрачность, прозрение и презрение, прелесть и пряность, праздность и праздничность… прощенье, прощание и пощада… простор и простота.

Если так ничего и не понял, ещё раз произнеси: «Проза! Проза! Проза!» Повторяй до тех пор, пока не поймёшь.

Проза есть проза есть проза… Гертруда Стайн, отстань!

Бог—бомж

Бом-м-ж-ж-ж!.. Бом-м-ж!..

Кто звонит в колокол: Бог—бомж? Бог—бомж!

Где он? Кто он? Какой он? Куда и откуда?

Его разыскивает Интерпол!

Его имя и адрес никому не известны.

Разные адреса, чужие имена. Зевс, Иегова, Ра, Иисус, Аллах, Будда—всё это лишь псевдонимы,

а подлинное его имя никому не известно, даже ему самому.

Бог—сирота, беспризорник, подкидыш, неприкаянный, безымянный, бездомный. Бог ночует на чердаках и в подвалах, прижавшись к горячей трубе или к холодному люку.

Бог—немой. Иначе б давно уж проговорился.

Бог—не мой. И не твой, и ничей.

У каждого—свой Бог.

И у всех—один. Один на всех. И все на одного. Бог—боль…

Бог—бомж! Бог—бомж!

По ком звонит колокол? По тебе и по мне. И по нас. И по ним. И по Нему.

Бог—бомж…

Свобода творчества

Можно писать длинно, подробно и обстоятельно, с морем причастных и деепричастных оборотов, с океаном сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, с бесконечными витиеватыми фразами, орнаментируя их всевозможными эпитетами, метафорами и прочими тропами, то уводящими прочь от сути, то приближающими читателя к ней, чуть мерцающей то ли в глубине, то ли где-то вдали, в словесном тумане, за горизонтом смысла (дарю заголовок: «За горизонтом смысла»!), когда одно слово обгоняет другое, когда волна слов—солёных, шипучих, горьких, пьянящих—захлёстывает читателя и нагромождается на другую волну, и этот прилив суесловья, прилив словесных волн сменяется их отливом, а на песке (который сыплется из тебя, из меня, из нас) остаются лишь мелкий словесный мусор, да обломки разбитых о рифы шлюпок и яхт, да осколки нелепых и неуместных аллитераций, ассонансов и рифм, противопоказанных прозе, но, как назло, прорывающихся то тут, то там, и так далее, далее, далее, нагнетая и угнетая, заклиная и проклиная, иссушая и насыщая бедную прозу суггестивным, гипнотическим, усыпляюще-расслабляющим зарядом, дабы подчинить дремлющего читателя своей воле, дабы почувствовать свою власть над ним и всласть насытиться этой властью, дабы-дыбы, дабы-дыбы, бамс-бэмс, пш-ш-ш-ш…

А можно и наоборот. Писать кратко. Лаконично. Аскетично. Сухо. Жёстко. С максимальным минимализмом. Мини-проза. Мини-мани. Мини-юбки, которые. Никогда. Не выйдут. Из моды. Помни, брат, что ты—брат краткости. Которая—твоя сестра. Которая—твоя жизнь. Ты понял, брат? В чём наша сила, брат? В краткости! В лаконизме! Пиши рублёвым ру́бленым телеграфным стилем. Целую. Тчк. Да. Зпт. Нет. Тчк. Всё прочее—от лукавого. Именно так. Без соплей и запятых. За многоточие—расстрел. За точку с запятой—химическая кастрация. Этак нервно надо писать. Этак судорожно. Пароксизмально. Каждое слово—пуля в лоб. Каждое междометие—экстрасистола. Сбой сердечного ритма. Одышка. Удар в солнечное сплетение. Под дых! Башмаком—по голени! Коленом—в пах! Больно! Больно!! Ещё больней!!! Невыносимо!!!! Холодно. Сухо. Сугроб. Лёд на лоб. Ноль градусов. Минус пять. Минус десять. Плюс-минус любовь. Кровь! Кровь!!

Можно писать об окружающем тебя мире—о людях, их взаимоотношениях, о любви, о карьере, о политике, о любви, о судьбе России, о судьбе планеты, о судьбе Вселенной, о любви, о том, что все мы не вечны, но наша сила—в нашем единстве (наша сила, брат, в нашем братстве, брат), и человечество—это одна семья, а на других, далёких планетах есть тоже разумные существа, а ещё можно писать о защите природы, о том, что все звери и птицы—наши младшие братья и сёстры, и мы в ответе за тех, кого приручили, а ещё можно писать о том, что в человеке всё должно быть прекрасно, а ещё о том, что человек—это звучит гордо, а ещё о том, что любовь побеждает смерть, хотя в это никто не верит, но писать-то об этом же можно же, правда же, вот и пиши, сука, пиши о том, что любовь побеждает смерть, а если не хочешь писать об этом, пиши о том, что все люди—братья, ну и что, что ты в это не веришь, никто не верит, не всё ли равно, ты, главное, пиши что хочешь, а можешь писать о том, что все люди—враги, все друг другу волки, и наша планета, да что планета, вся наша Вселенная—это поле битвы, где кровь и слёзы льются рекой, а можешь писать о том, что дети—цветы жизни, а живые цветы и морозные узоры на стёклах окон—это художественное творчество Главного Дизайнера всего сущего, и эти цветы, и эти морозные узоры доказывают, что Боженька—чистый художник, творец искусства для искусства, и красота существует вовсе не ради привлечения друг к другу самца и самки и не ради того, чтобы, видите ли, спасать этот сраный мир, а ради самой себя, красоты, а ты, гнида, никак не желаешь с этим согласиться, хотя это так очевидно, что не требует доказательств, но если не хочешь писать об этом, пожалуйста, пиши о чём-нибудь другом, ведь мир так велик, разнообразен и прекрасен.

А можно писать о самом себе и плевать на весь мир, потому что, конечно же, несметные богатства твоей души куда драгоценнее всех сокровищ мира. Потрать жизнь на познание самого себя—и ты не пожалеешь, и читатели будут тебе благодарны, ибо, знакомясь с тайниками и лабиринтами твоей души, они научатся постигать свою собственную душу. Не встречайся ни с кем. Не выходи из дома. Выкинь телевизор и компьютер, не отвечай на телефонные звонки. Расслабься духом и разуй глаза. Меньше жри, больше спи и записывай в толстую тетрадь

свои сновидения. Переименуй дневник в ночник. Не ходи на работу; в крайнем случае—работай сторожем или дворником. Видишь, висит объявление: требуется вахтёр в музыкальную школу. Это как раз для тебя. Не женись. Если уже женат—разведись немедленно. Пока не поздно. Впрочем, уже поздно. Будь один—и ты сможешь, в конце концов, написать замечательный текст. Впрочем, уже написал.

А можно и вообще не писать. Паузы, интервалы, белые поля—лучшее в прозе. Лучший текст—чистый лист бумаги. Так что если не хочешь—не мучайся и вообще не пиши. Или издай книгу с чистыми пустыми страницами. Пусть думают, что текст написан водяными знаками, симпатическими чернилами. Нет, серьёзно: зачем же себя насиловать? Ты никому ничего не должен. И читатели ничего от тебя не ждут. Им вообще надоело читать. Так же, как тебе надоело писать. Ведь правда же? Надоело же? Ну признайся честно. Честность и скромность—единственные твои достоинства. Вот и не пиши. Ведь мы живём в свободной стране, где никто никому ничего не должен.

Так что, если совсем уж честно, надо платить писателям за то, чтобы они совсем не писали. Чем больше не написал, тем больше получил гонорар.

Кошмар феминизма

Моя жена—феминистка.

С первого дня совместной жизни она качает права и пилит мой слабый мозг.

Когда утром восьмого марта я поздравил её с женским праздником и спросил, чего бы она хотела получить в подарок, жена злобно сказала:

—Я хочу, чтобы президентом России стала женщина.

—Ну, этого я тебе подарить не могу,—вздохнул я.

—Тогда я хочу, чтобы ты навсегда исчез из моей жизни.

—Это тоже не в моей власти,—соврал я.

—Тогда я хочу, чтобы ты превратился в мышку, а я—в кошку.

—Я не Бог.

—Да уж… Как я хотела бы, чтобы Бог был женщиной, а не мужчиной!

—Не дай Бог!—испугался я.

И вдруг я представил: Бог—женщина!.. Бог—огромная, вечно плодоносящая Матка, из которой расползаются во все стороны света мелкие разноцветные муравьи—робкие работяги, жалкие особи мужского пола… И я содрогнулся от ужаса!

—Нет, только не это!

—Что ж…—вздохнула жена, глядя на меня с отвращением.—Тогда подари мне свободу и независимость, хотя бы на сегодняшний вечер.

—Это можно,—обрадовался я.

И она тут же исчезла неведомо куда. И мы оба с ней были в тот вечер счастливы. Каждый по-своему.

Поцелуй на морозе

Вадим Иванович жил один, в однокомнатной квартире, хотя у него были жена и двое детей, и даже четверо внуков.

Но Вадим Иванович на старости лет решил уединиться и поселился в квартире, где когда-то жила его мама, царствие ей небесное. Если бы он был верующим, он бы ушёл в монастырь, но он как-то прошёл мимо Бога, их пути не пересеклись. И неверующий Вадим Иванович жил один, в окружении любимых книг, картин, альбомов по искусству и дисков с любимыми фильмами и музыкальными произведениями. Ему было хорошо и не скучно. Он ни от кого не зависел—наоборот, он как мог помогал своим близким, но частых встреч с ними избегал.

Вадим Иванович вообще был очень деликатным человеком, он не любил ни от кого зависеть и никогда ни у кого ничего не просил. Это был его главный жизненный принцип: не обременять собой окружающих. Свобода и независимость. Точка.

Но однажды зимой, в разгар крещенских морозов, у Вадима Ивановича подскочило давление, да так, что он даже потерял сознание. Придя в себя, он с ужасом обнаружил, что у него отнялись левые рука и нога, а когда он глянул в зеркало, то увидел, что лицо его жутко перекосило… Инсульт! Что делать? Звонить в скорую? Детям? Жене? Нет, ни в коем случае!

Вадим Иванович горько пожалел, что заранее не запасся каким-нибудь ядом, а все другие способы самоубийства были ему сейчас не под силу. Ни повеситься, ни застрелиться… Хотя… Эврика!

И Вадим Иванович пополз к балкону, подтягиваясь правой рукой и с трудом волоча отнявшиеся левые руку и ногу. Возле балконной двери отдышался, потом открыл дверь, выбрался на засыпанный снегом балкон—и с наслаждением, жадно и глубоко, стал вдыхать крепкий морозный воздух. Вадим Иванович был в пижамных штанах и майке, но простуда его не пугала. Он для того сюда и приполз, чтобы здесь, на морозе, дождаться желанного своего финала—застыть, заснуть, окоченеть… Главное—никого не утруждать, не обременять… «Как я здорово это придумал!»—хотел он произнести, но смог лишь радостно усмехнуться искривлённым ртом.

…Через три дня жена, обеспокоенная тем, что он не отвечает на её телефонные звонки, решила навестить отшельника. У неё были ключи от

его квартиры. Жена переступила порог и сразу поняла, что случилась беда: Вадима Ивановича в квартире не было! Куда же он мог уйти? Не раздеваясь, она обошла всю квартиру и наконец заметила перед балконной дверью отдёрнутую тюлевую штору. Подошла к двери, приоткрыла её—и вскрикнула.

Вышла на балкон и склонилась над лежащим мужем. Её поразила сказочная красота его мёртвого бледного лица, ничуть не обезображенного ни параличом, ни смертью. Морщины разгладились, губы порозовели, на щеках выступил нежный румянец, и даже седая щетина на подбородке придавала худому лицу модное гламурное очарование…

— Вадя, милый…—прошептала жена, опускаясь пред ним на колени.—Какой ты красивый, Вадя… если б ты знал… если б ты только знал…

Она осторожно приподняла его тяжёлую мёртвую голову—и нежно и бережно поцеловала в ледяные губы. Он, конечно же, не проснулся, потому что это была не сказка про спящего красавца, совсем не сказка.

Когда она отпустила его и выпрямилась—губы её были в крови, лицо в слезах.

Перекличка по четвергам

— Господи, выслушай, это я…
— Кто ты? Вас много… Записывайся на приём. Твоя очередь—номер 24 971 256… перекличка по четвергам…
— Господи, умоляю, выслушай!
— Твоя очередь номер 2 403 619… Чем ты лучше других?
— Господи, нет больше сил терпеть эту муку, выслушай, ну пожалуйста…
— Твоя очередь приблизилась—ты уже номер 1 935 617… Перекличка по четвергам! Не шумите! Вас много, а я один.
— Но я тоже один, Господи! И мне не к кому обратиться, кроме Тебя!
— Смирись и жди. Перекличка по четвергам. Не опаздывай на перекличку, а то окажешься последним в очереди.
— Господи!
— Вот ты и опоздал. А ведь я же тебя предупреждал. Теперь ты—последний и навряд ли скоро дождёшься.
— Господи! Господи! Господи! Разве нет у Тебя заместителя, вице-Бога? Господи, помилуй!
— Твоя очередь подошла. Говори!
— Как—уже подошла?! А как же… И что—говорить? Я уже и забыл, о чём хотел просить Тебя, Господи… Трудно выбрать самое главное—всё ведь рушится! И вообще: что мне делать, если я не очень верю Тебе… то есть в Тебя… то есть в себя?.. ну, ты понимаешь… Господи, прости!
— Прощаю… Следующий! Вас много, а я один.

Дуэль

Повесть

1.

Я спокоен, я совершенно спокоен. Моё дыхание ровное, спокойное… пустое сердце бьётся ровно… в руке не дрогнет пистолет… (Это шутка! Шутка! Глупая шутка! Бью себя по губам, по рукам, продолжаю…)

Итак, я спокоен, я совершенно спокоен. Приятное тепло разливается по всему моему телу. Мои руки становятся тяжёлыми, о-о-очень тяжёлые мои руки!.. Мои ноги наливаются свинцом! Мои веки тяжелеют, глаза закрываются, голова опускается… я засыпаю…

Я—орёл, я—ястреб, я—коршун, парящий над суетным миром, у меня стальной клюв, железные когти и зоркие глаза, и люди, которые ещё недавно казались мне всемогущими и безжалостными, кажутся сейчас муравьями, жуками навозными, божьими коровками, мотыльками… Я никого не боюсь! Я бесстрашен и дерзок! Я гордая хищная птица! Я! Я!! Я!!!

2.

…я—жалкий писака, когда-то мечтавший о литературной славе и вынужденный зарабатывать журналистикой, газетной подёнщиной, которая мне давно уж осточертела… я—невзрачный старик, оплакивающий свою незабвенную юность… я—неудавшийся врач-психиатр… я—мнительный, закомплексованный психастеник… я—добрейший чудак-одиночка, катастрофически неконфликтный тихоня, за всю свою жизнь не обидевший даже навозную муху… И вот надо же—на кого покусился?!

Так уж вышло, друзья, так уж вышло.

Главный редактор газеты «Кырская заря», где я работаю, поручил мне написать репортаж о публичном сеансе знаменитого психотерапевта Альберта Кошмаровского, посетившего в начале марта наш город. Сказано—сделано. Вот он, перед вами, репортаж о покорении Сибири Кошмаровским.

3.

«…Великий установщик и рассасыватель, маг и волшебник Альберт Кошмаровский провёл в ДК «Саяны» несколько бесплатных сеансов. В толпе жаждущих чуда на халяву встречались, конечно, и мужские лица, но женщин (в основном—пожилых) было намного больше. Билетов на всех не хватило. Цыганка, похожая на оперную Кармен, продавала по пятьсот рублей взятые ею накануне оптом бесплатные билеты. Тут же шла бойкая распродажа дисков и фотографий Кошмаровского, «заряженных» его магической силой, можно было

приобрести (всего за двести рэ!) и волшебную соль, тоже «заряженную»… Так что назвать эти сеансы бесплатными можно лишь очень условно и с оговорками.

Он возник на советских телеэкранах почти четверть века назад, в распадающейся красной империи, переутомлённые жители которой были охвачены жаждой чуда. И Кошмаровский (как сейчас помню!) творил чудеса: прямо с телеэкрана рассасывал всевозможные рубцы и болячки, излечивал взрослых от депрессии и бессонницы, а детей от энуреза (сын моего друга-писателя мигом исцелился после одного из таких сеансов). Кошмаровский впервые в истории осуществил психологическую анестезию нескольких хирургических операций.

Он всегда подчёркивал, что не использует гипноз, а лишь включает систему саморегуляции, чтобы организм сам вырабатывал необходимые лекарства («Наш организм—это аптека!»), хотя на его сеансах очень многие впадали именно в гипнотический транс, это было очевидно. Наряду со сторонниками у него было немало авторитетных противников, отмечавших, что психотерапевтические сеансы Кошмаровского приносят лишь кратковременное облегчение, а для тех, кто страдает психозами, онкологическими и другими серьёзными органическими заболеваниями, эти сеансы вредны и опасны. Неудивительно, что вскоре телесеансы были запрещены, и на долгие годы Россия забыла о Кошмаровском.

Но недавно он снова возник и на телеэкранах, и на сценических площадках различных городов. Добрался и до нашего Кырска.

…Преодолев небольшую «Ходынку» у входа, ваш покорный и безбилетный слуга тоже проник в переполненный зал, где с трудом устроился в дальнем ряду и жадно уставился на сцену. А на сцене, под грохочущую музыку, появился Он—весь в чёрном, ни разу не улыбнувшийся, сверлящий каждого и всех сразу угольными зрачками, поджарый и моложавый, совсем не постаревший за минувшие двадцать лет (разве дашь ему семьдесят два года?!). И чуть хрипловатый голос Кошмаровского, казалось, проникал в душу, когда он заговорил вдруг стихами:

Я не колдун, не маг, не чародей,
Но заменяю всех врачей!
Гипноза нет в методике моей,
Я пробуждаю вас от сна!
Я дам вам веру!
И я прошу глядеть в глаза мне смело…
В глаза! В глаза! В глаза!

И все смотрели ему в глаза, как кролики на удава. Кошмаровский едва успел начать свою вступительную (установочную!) лекцию, как одна истеричная женщина, сидевшая передо мной, вдруг вскрикнула и стала судорожно размахивать руками. Кошмаровский строго приказал ей:

— А ну прекратить!

И она прекратила.

Говорил он тоном напористым, грубоватым, то и дело подшучивая над неразумной публикой. Люди жадно впитывали каждое его слово, каждую фразу: «Тело—наш убийца…»—«Наш организм запрограммирован, как компьютер…»—«На яблоне не вырастут груши…»—«Уши не для серёжек, а чтобы слушать!..»

К своим многочисленным врагам Кошмаровский был беспощаден. С отвращением отозвался он о гнусных клеветниках-журналистах, высмеивающих его в разных сми, с презрением—о конкурентах-врачах:

— Современная психотерапия себя опустила ниже плинтуса. Меню психотерапевтов—страхи, депрессия, бессонница, заикание… Всё! А моё дело—дать установку всему организму, разбудить спящий компьютер, матрицу памяти. И не надо на меня навешивать ярлыки, сочинять про меня анекдоты. Когда американцы при моей поддержке предлагали помочь очистить Россию от мусора, наши власти не согласились, и меня потом называли «мусорным королём»… Выставляют меня невежей и шарлатаном, а я люблю художественную литературу, с шести лет знаю Руссо, знаю наизусть огромное количество стихов, много отрывков из «Войны и мира» и «Тихого Дона»…

Впрочем, демонстрировать своё знание классики Кошмаровский не стал, зато подробно рассказал о неудавшемся полёте в космос:

— Я хотел из космоса сделать анестезию десятков операций, хотел провести серию установочных сеансов над всей планетой, уже подготовился, договорился с администрацией Космического городка, прошёл все тесты… Я за двадцать минут ответил на все вопросы, на которые Гагарин отвечал шесть часов! Но ничего не получилось… Тогдашний патриарх всея Руси сказал: «Если Кошмаровский полетит в космос, я себе отрежу бороду!» Да лучше б он себе отрезал причинное место!—Кошмаровский угрюмо хмыкнул.—И вот так святоши-попы и мерзкие журналисты всю жизнь мне мешают творить добрые дела!..»

4.

…А ведь когда-то, давным-давно, в начале семидесятых, мы вместе с ним учились в Москве на курсах повышения квалификации по психотерапии. У профессора Рожнова, самого знаменитого в ту пору кудесника, исцелявшего алкашей гипнозом. Кошмаровский приехал из Одессы, где работал врачом в какой-то спортивной команде, а я—из своего Кырска. Молодые, да ранние. Я каждый вечер пропадал в театрах, на поэтических

вечерах (уже тогда меня тянуло в литературу), а друг Альберт просиживал допоздна за книгами, конспектируя классиков психиатрии и психотерапии. Тогда это, помнится, был нормальный парень, только вот шуток совсем не понимал и шутить не любил. А уж если над ним пытались подшучивать друзья-товарищи, Кошмаровский воспринимал это как личное оскорбление, сразу лез в драку. Не помню, чтобы он вообще хоть раз улыбнулся. Впрочем, нет, однажды я видел улыбку на его лице… но об этом чуть ниже.

Зато с каким восторгом смотрел он на профессора Рожнова во время его показательных противоалкогольных сеансов!

Мы, молодые врачи-курсанты, стояли кружком вдоль стен процедурного кабинета, а в центре, на табуретках сидели несчастные алкоголики с опущенными головами, и перед каждым стоял таз, в который они дружно блевали по приказу профессора Рожнова.

— Вы слышите только мой голос! — рычал Рожнов. — Посторонние звуки и мысли исчезли! Только мой голос вы слышите, сукины дети! Ваши веки тяжёлые, о-очень тяжёлые ваши веки… Вы засыпаете… засыпаете… вы уже крепко спите — и продолжаете слышать мой голос! А теперь берите стакан и пейте… берите стакан! Кому говорю?! В стакане — водка! Водка!

Мы все, кроме алкашей, точно знали, что в стаканах — простая вода.

— Пейте! Пейте! Пейте, сволочи!

Алкаши с отвращением выпивали простую воду и начинали корчиться в рвотных судорогах.

— Ну как, хорошо?! Очень вкусная водочка, твари вы этакие?.. Пей до дна, гнида! Пей до дна! Не хочешь? Отныне один только вид водки, одно лишь упоминание о ней будет вызывать у вас отвращение и рвоту! Водка — рвота! Водка — отрава! Пей, сволочь, — и сдохни!

Несчастные алкаши блевали, стонали, выворачивались наизнанку, блевали желчью, кровью, падали на карачки, ползли к Рожнову, пуская сопли и слюни, всхлипывая, словно нашкодившие дети, хватали профессора дрожащими руками за полы халата.

Случайно глянув на стоявшего рядом со мной Кошмаровского, я вдруг увидел на его лице восторженную улыбку! Наконец-то он улыбнулся… Наконец-то! Заметив мой взгляд, Альберт подмигнул и тихонько произнёс:

— Ради этого стоит жить… Но я — добьюсь куда большего! Только бы всякие жиды не мешали!..

И ведь добился. Прошли годы — и вся страна, не отрываясь и не мигая, смотрела на его строгое, но справедливое каменное лицо на телеэкране — и слышала только его голос! Его голос заставлял отступать болезни, рассасывал тромбы, язвы, рубцы и прочие болячки, исцелял детей от ночного недержания мочи, а взрослых от полового бессилия. Правда, этот же голос нередко обострял психозы и ускорял развитие злокачественных опухолей… но никто ведь не вёл статистического учёта!.. Знаменитые телесеансы Кошмаровского потрясли тогда весь перестроечный Советский Союз. А потом он покорил и другие страны, выступил даже в штаб-квартире ООН, мечтал вырваться в космос, но помешали происки патриарха и прочих церковников, а также завистливых коллег-психотерапевтов («картавых ворон!»), увидевших в нём конкурента в борьбе за человеческие души…

А тогда, сорок лет назад, трудно было даже вообразить столь блистательное развитие его карьеры. Хотя некоторые признаки могущества Кошмаровского проявлялись уже и в то московское лето…

5.

Кстати, точно не помню, какой это был год, назову лишь две знаменательные приметы: в том году на московских улицах появились «Волги» новой модели, а в московских магазинах чёрная и красная икра подорожала вдруг ровно в десять раз — стоила четыре рубля кило, а стала аж сорок рэ… Скорее всего, это был тысяча девятьсот семидесятый год… Впрочем, принципиального значения точная хронология не имеет, а мои наивные попытки придать этому нервному тексту документальный характер способны лишь вызвать читательскую улыбку.

Ну чего ты ходишь вокруг да около? Будь честен хотя бы перед самим собой, скажи просто и прямо: Кошмаровский отбил у тебя твою девушку! Правда, потом ты отчасти, как бы это сказать, взял реванш, но ведь это было потом и отчасти, и вообще не зря говорится, что первое слово дороже второго…

Тем московским летом я подружился с чудесной девушкой, которую звали Оксана Рыбка, то есть Рыбка — это была её фамилия, а вовсе не прозвище и не кличка. Она была москвичка (вот вам и рифма!), училась на первом курсе МГУ, факультет журналистики. Невысокая, ладненькая, точёная, словно шахматная фигурка, сероглазая, светловолосая, с нежными ямочками на щеках… Чудо, а не девушка! Золотая рыбка! Подарок судьбы!

— Откуда ты, прелестное дитя? — воскликнул Кошмаровский, когда увидел её впервые рядом со мной на Тверском бульваре.

— Это моя девушка, — сказал я. — Знакомьтесь: Оксана, Альберт.

— Говоришь, *твоя* девушка? — без улыбки хмыкнул Кошмаровский. — Ну-ну. Сегодня твоя, а завтра…

Он не договорил.

— Не хотите пойти с нами в парк Горького? — спросила его Оксана.

— Конечно, хочу!

И Кошмаровский сверкнул на меня своим чёрным триумфальным взглядом.

В парке Горького мы гуляли по аллеям, ели мороженое, пили газировку (стакан — четыре копейки), катались на карусели, а потом присели отдохнуть на скамейку у Зелёного театра.

На эстраде наяривало джаз-трио (аккордеон, саксофон и ударные) и вовсю заливалась модная в ту пору певица Майя Кристалинская. Пела песенку «А у нас во дворе» или что-то из этого цикла, уж точно не помню, а врать не хочу.

— Терпеть не могу эту песню, — прошептала Оксана.

— А хотите, она сейчас мигом заткнётся? — прошептал Кошмаровский.

— Как это?..

И Оксана недоверчиво хихикнула.

Кошмаровский же вдруг угрюмо уставился на поющую Майю Кристалинскую, что-то неслышно пробормотал — и певица споткнулась, сбилась, закашлялась, замахала ручонками, а потом расплакалась как дитя и с рыданиями убежала со сцены.

— Ни фига себе… — прошептала Оксана и расширенными глазами посмотрела на Кошмаровского. — Это как это?..

— А вот так, — и Альберт уставился теперь уже на неё. — Смотри на меня, Оксана! Смотри не мигая… Ты слышишь только мой голос! Сейчас ты встанешь и пойдёшь со мной…

— А как же я?! — воскликнул я.

Альберт отмахнулся от меня, как от мухи.

— Оксана, ты слышишь только мой голос! Встань и иди!

И этот гад увёл мою золотую Рыбку, мою нежную, верную, трогательную Оксану.

А уже через неделю он строго и официально вручил мне открытку, на которой было написано красивыми каллиграфическими буквами, что Оксана Рыбка и Альберт Кошмаровский приглашают меня на свадьбу, которая состоится такого-то числа в таком-то ресторане, в банкетном зале… И я, конечно, пришёл на эту свадьбу, хотя лучше было бы не ходить.

Потому что, когда я приблизился к невесте в белой фате, к моей ненаглядной Рыбке, она так вдруг побледнела, словно увидела свою смерть.

— Поздравляю тебя, Оксана, — произнёс я мёртвым голосом. — Желаю семейного счастья и долгих лет жизни…

— А-а-ах! — воскликнула она как подстреленная, всплеснула руками, оттолкнула окаменевшего жениха — и выбежала прочь из зала.

Я выбежал вслед за ней.

— Оксана, вернись! — крикнул вслед нам Альберт, но мы даже не обернулись.

Я нагнал её возле гардероба, обнял, прижал к себе.

— Рыбка, милая, что ты наделала?..

— Хочешь, брошу его — прямо сейчас — и уйду с тобой? Хочешь? Хочешь? — лихорадочно говорила она. — Он же — чёрт, он — бес, я боюсь его… А тебя — люблю! Скажи «да» — и всё переменится! Скажи «да»! Скажи «да»! Скажи, пока не поздно!

Но я не сказал ей ни «да», ни «нет».

И вот так я в очередной раз упустил своё счастье.

Правда, через несколько дней после свадьбы Оксана ещё раз прибежала ко мне — проститься уже навсегда, перед отъездом в Одессу с молодым и угрюмым мужем.

— Ты не бойся, — шептала она, — Альберт сейчас на даче моего папы, он ждёт меня там, но я решила провести эту ночь с тобой… Я так решила!

Друзья-курсанты сжалились надо мной и оставили нас вдвоём в комнате. В эту ночь мы с ней были близки, мы любили друг друга, мы смеялись и плакали, плакали, заливая друг друга слезами, и Оксана то вскакивала вдруг с постели и подбегала к окну, словно боялась кого-то увидеть там, внизу, то снова ныряла в постель и трепетала в моих руках, горячая, жаркая, Рыбка моя золотая…

— Ну и как тебе с ним? — спрашивал я.

— По-разному, — честно отвечала она. — Плохо то, что он совсем не смеётся, даже не улыбается… Я его как-то в постели пыталась защекотать — так он даже не хихикнул… Ты представляешь? Он совсем не боится щекотки!

— Он ничего не боится, — вздыхал я.

Но я ошибался. Кошмаровский боялся, но не щекотки, — он боялся насмешек над собой. Он хотел, чтобы все трепетали перед ним, чтобы все его боялись и уважали… чтобы все слышали только его голос!

А таких легкомысленных гнид, как я, он всегда ненавидел.

6.

Между прочим, я тоже мечтал ведь тогда стать великим психотерапевтом. Но я хотел добиться успеха путём любви и сострадания, путём задушевного искреннего общения, путём доверительных исповедальных бесед… Но оказалось, что всё это никому не нужно!

Людям нужны власть и авторитет, люди жаждут подчинения чужой властной воле. И в этом я убедился на одном из собственных сеансов гипноза, к которым я не испытывал никакого пристрастия и поэтому проводил их редко, с ленцой, халтурно, сугубо формально произнося необходимые ритуальные фразы, не вкладывая в свои слова ни капли живого чувства.

Так вот, это был обычный рядовой сеанс в клинике для страдающих неврозами и реактивными депрессиями. На трёх кушетках лежали три туши,

три пожилые дамы, супруги каких-то начальников (больница в основном предназначалась для блатного контингента).
—…Приятное тепло разливается по всему вашему телу,—вяло и монотонно вещал я,—дыхание ваше становится ровным, спокойным… вы засыпаете, засыпаете… Посторонние звуки не отвлекают вас… вы слышите только мой голос… только мой голос!..

И тут вдруг с грохотом упала деревянная гардина, на которой держалась оконная штора,—я вскрикнул и чуть не обмочился от страха! А потом глянул на своих пациенток—и обомлел: они как ни в чём не бывало крепко спали, посапывали как дети… То есть они и впрямь слышали только мой голос! А грохот упавшей гардины совсем не дошёл до их слуха. Я и впрямь мог как угодно управлять их волей, ибо именно этого они хотели сами!

Только тут я по-настоящему понял, что люди *очень хотят*, чтобы ими манипулировали, ими командовали, ими руководили… И любовь тут совсем ни при чём. Нет, любовь при чём, но она вторична. Первично страстное желание людей подчиниться чужой воле. Гитлер сперва подчинил, а уж потом влюбил в себя немцев. Ну и так далее—смотрите на телеэкран, на людей вокруг, на себя в зеркало… Любуйтесь на устремлённую в небеса фаллическую вертикаль власти и знайте, что вы сами, сами, сами—хотели всего того, что вы получили в этой прекрасной жизни…

И с этого дня я перестал мечтать о карьере психотерапевта. А вскоре и вообще ушёл из медицины, занявшись литературой, а после, когда гонорары и тиражи стали ничтожными, соскользнул в мутное море журналистики. Да, конечно же, это был брак по расчёту, не по любви.

А вот мой бывший друг Кошмаровский оказался куда более верен своему призванию и добился-таки грандиозных успехов.

7.

Впрочем, вернёмся к моему газетному репортажу о покорении Сибири Кошмаровским…

«…После установочной лекции в зале дк «Саяны» великий рассасыватель начал публичную демонстрацию своих магических способностей. Для начала он пригласил выйти на сцену тех, кому помогли его прежние сеансы. Одна женщина поблагодарила его за исцеление дочери, страдавшей судорожными припадками и энурезом:
—После ваших телесеансов у дочери всё прошло!

Другая поведала о том, что у неё после этих сеансов «рассосалась гематома». Пожилой мужчина, чуть смущаясь, признался, что сеансы Кошмаровского излечили его дочурку от энуреза, а его самого от простатита. Ещё одна дама избавилась сразу от букета недомоганий—ночного храпа, цистита и даже галлюцинаций.

Потом Кошмаровский пригласил на сцену ещё восемь женщин, страдающих циститом («Восемь девок, один я!»—пошутил он),—и стал исцелять их тем, что прикладывал каждой на низ живота свою чудодейственную фотографию.
—Мне не важно, верят ли они,—я сам верю, я убеждён, что им станет лучше!

Примерно так же он на глазах изумлённой публики исцелил пятерых человек с болезнями носа, затруднённым носовым дыханием и ночным храпом. Уложил всех на пол рядком, словно кегли,—и приказал:
—С сегодняшнего дня вы лишаетесь храпа!

Потом приказал им подняться и подышать в микрофон носом. Женщине, которая только что жаловалась, что из-за её храпа муж уходит спать в другую комнату, Кошмаровский сказал радостно:
—Вы чудесно дышите! Пусть ваш муж теперь спит с вами… Вот вы и получили от меня нормальный нос в подарок к Восьмому марта!

Надо было видеть счастливые женские глаза в эту минуту!

Проводя свои «сеансы здоровья», укладывая людей одним жестом, одним лишь словом штабелями на пол, Альберт Кошмаровский каждый раз повторял, что это никакой не гипноз:
—Никто из них не спит, они в ясном сознании. Я напрямую зашёл в их сознание, в их компьютер. Я могу сделать так, что многие из вас не попадут на операционный стол, многие избавятся от сахарного диабета, гипертонии и других болезней. Моя задача—направить вас к свету от тьмы, к тем исходным рубежам, где вы были нормальными и здоровыми. Я даю вам только то, что у вас есть, и ничто другое. Доверьтесь мне! Спасать людей очень сложно, мешает ум человека!..»

8.

Тут он, конечно же, был совершенно прав. Ум человека—мешает. Давно известно, что наше горе—от ума. Все спасители заблудшего человечества это хорошо понимали. И сегодня, когда Россия вновь оказалась на пороге потрясений, когда в народных массах обострилась хроническая жажда чуда, вновь стал востребованным редкий дар Кошмаровского. Дар подчинения людей своей воле.

Но вернёмся в дк «Саяны».

9.

«…В завершение Кошмаровский предложил выйти на сцену тем, кто страдает депрессией и бессонницей. Вышли человек десять, в том числе ваш покорный (катастрофически неконфликтный!) слуга.

Маэстро мигом уложил нас всех на пол, потом произнёс свою установочную лекцию: мол,

депрессия и бессонница исчезнут сами собой, и мы о них даже забудем, и всё это вовсе никакой не гипноз, а мобилизация дремлющих сил организма.
— Считаю до трёх! — объявил Кошмаровский. — На счёт «три» вы встанете и будете чувствовать себя отлично. А про бессонницу забудете навсегда… Раз! Два! Три!

Девять моих товарищей вскочили с радостными лицами и сияющими глазами. Лишь я, как бесчувственное бревно, продолжал лежать на пыльном полу.
— А ну встать! — приказал Кошмаровский, хватая меня за плечо железными пальцами.

Я послушно поднялся.
— Кто что скажет? — обратился он ко всем. — Как себя чувствуете?
— Просто замечательно! — воскликнул какой-то дядька. — Даже дышать стало легче… Словно камень с души свалился!
— И мне полегчало, — признался другой.
— И мне!
— И мне! Ещё утром жить не хотелось, а сейчас… Спасибо вам, доктор!
— Спасибо!
— Спасибо!
— А вы что молчите? — повернулся ко мне Кошмаровский.
— А мне стало ещё хуже… нет, правда! Уж извините, пожалуйста! Такая тоска — взял бы и застрелился…
— Это провокатор! — жёстко произнёс Кошмаровский. — Где-то я уже видел этого типа… Да это же наверняка журналюга, из жёлтой прессы… Пошёл вон со сцены!
— То есть как? — удивился я столь грубому обращению.
— Пошёл вон, мудила, — сказал он негромко, приблизившись ко мне вплотную. — Пока я тебе всю морду не набил… Пошёл!

И я, спотыкаясь, спустился в зал, где меня встретили лица земляков, полные неприязни и отвращения…»

10.

Но беды мои только ещё начинались!

Возмущённый ироническим (хотя и совсем, как мне казалось, беззлобным!) тоном моего репортажа, опубликованного спустя пару дней в газете «Кырская заря», Кошмаровский сам изъявил желание приехать в редакцию и на месте разобраться с обидчиком. Прибыл он в сопровождении четверых мордоворотов, похожих скорее не на психотерапевтов, а на санитаров дурдома.

Впрочем, в газете встретили гостей доброжелательно, и атмосфера в кабинете главного редактора (чуть не написал: «главврача») царила очень даже тёплая. Чаёк, кофеёк, печенюшки. Пообщаться со знаменитостью оказалось много желающих. Журналисты просили у него автограф, фотографировались рядком на память.

Смягчившийся Кошмаровский не стал мне публично «бить всю морду», а лишь отчитал как школьника и посоветовал прочесть новеллу Стефана Цвейга про Месмера, основателя психотерапии (которая в ту давнюю пору вообще-то называлась «магнетизмом»). Потом он напомнил о своих великих достижениях:
— Начиная с тысяча девятьсот восемьдесят девятого года, благодаря моему методу у огромного количества людей в массовом порядке стали исчезать рубцовые образования на коже и во внутренних органах. Во всём мире меня признают, уважают, а сюда приезжаю — и здесь меня вдруг называют «рассасывателем»!
— Ну, это же просто беззлобная шутка, ирония, — робко заметил я.
— С иронией вы — к своей тёте, маме и бабушке, но не ко мне! Я иронии не принимаю! Моя работа дала излечение миллионам человек! Так над чем тут иронизировать? Почему не писать правдиво, без оскорбительной иронии?..
— Это не оскорбление, это шутка, — не унимался я. — Вы же сами во время сеансов позволяете себе шутить над людьми. Вспомните свою фразу: «Восемь девок, один я!» А как язвительно вы подшутили над патриархом, который пообещал отрезать себе бороду, если вы полетите в космос… Я ещё пожалел вас, не стал приводить в газете вашу шутливую реплику на этот счёт…
— О чём вы?
— Ну как же! Неужто забыли? Вы сказали про патриарха: «Пусть лучше он себе отрежет причинное место…» Ай-яй-яй! Как так можно — про патриарха, почтенного, уважаемого, старого человека… Впрочем, Бог с вами — шутите себе на здоровье, но и другим не запрещайте. Почему ж вы другим-то не позволяете шутить над собой? Этим вы как бы поднимаете себя на некий пьедестал…
— На этот пьедестал меня моя работа поставила! — гордо воскликнул Кошмаровский. — И я там буду стоять всегда! И не позволю над собой иронизировать!
— Та ирония, которая вас возмутила, адресована в меньшей степени вам, а в основном — тем людям, которые готовы подчинить свою волю чужой воле. Подобная готовность людей к подчинению авторитетам удивляла меня всегда и везде — и на ваших сеансах, и на политических митингах, и на литературных собраниях…
— Ничью волю я не подавляю! Люди сами ко мне идут, потому что им это нужно, интересно. Я просто говорю людям об их скрытых резервах, стараюсь им помочь…

Постепенно тон разговора смягчался, гость даже произнёс несколько комплиментов в адрес сибиряков:

— Чем дальше от столицы, тем больше России. Именно здесь, в Сибири, я увидел настоящую Россию. Народ тут мягкий, доброжелательный, незлобный… За некоторыми исключениями, конечно…— и он метнул грозный взгляд в мою сторону.— Русский человек — это широта, доброта. Не случайно ведь именно сибиряки отстояли Москву.

Нашёл он добрые слова и в адрес журналистов («Кроме некоторых!» — и опять взгляд в мою сторону):

— Самый главный конфликт у меня не с журналистами и не с попами, а с эпохой,— и Кошмаровский вздохнул.— Приходится преодолевать сопротивление косности, старых взглядов… Было время — участвовал и в политике, был даже депутатом Госдумы, но потом отказался от этого. Моё дело — спасать людей!

— А вам не кажется, что среди тех, кто приходит на ваши сеансы, слишком много людей психически неуравновешенных, а то и просто душевнобольных? — спросил кто-то из журналистов.

— Вам всюду мерещатся сумасшедшие! — возмутился Кошмаровский.— А это — нормальные люди, обиженный наш народ. На мои сеансы приходят больные, несчастные люди, а никакие не сумасшедшие. А препятствия мне чинят всякие невежи или те же священники, которые называют меня бесом, нечистой силой… Вот уж точно: Бог создал мир, а религия его разрушит!

— Вам уже за семьдесят, а вы ведёте такой активный образ жизни,— позавидовал кто-то.— Много путешествуете, выступаете по всей России, в других странах мира…

— Иногда по четыре выступления в день! — горделиво сказал Кошмаровский.

— Как же вы потом восстанавливаете свои силы?

— Экзюпери сказал: «Самая большая роскошь — это роскошь человеческого общения». Вот я посидел тут с вами, пообщался — и зачем мне после этого восстанавливать свои силы?

«…Не знаю, как мои коллеги, но я после этих слов Кошмаровского чуть не прослезился,— писал я в своём втором репортаже.— А уж когда он привёл ещё несколько примеров успешного излечения из своей богатейшей психотерапевтической практики, то последние остатки моего скепсиса развеялись как дым. И я торжественно пообещал своему оппоненту, что впредь буду максимально корректным и толерантным, предельно ласковым и нежным…»

Но я поспешил с этим обещанием.

11.

В тот же вечер Кошмаровский позвонил мне из гостиницы, в которой он проживал со своей свитой, и удивил меня озабоченностью и даже тревогой по поводу моего второго репортажа, над которым я как раз уже вовсю работал.

— Надеюсь, на этот раз в вашем репортаже не будет иронии и сарказма,— сказал он настороженно и напряжённо.— Ведь мы же с вами — славяне, не так ли? Мы не жиды картавые, которые заполонили всю Россию…

— А мне-то казалось, что почти все евреи давно поразъехались из России,— робко заметил я.— Да и не только евреи… Один мой знакомый писатель, чистокровный русак, свалил недавно в Америку… А другой удачно прикупил квартирку в Италии и каждые полгода проводит там… Да и вы сами, насколько я знаю из Интернета, больше времени проводите за рубежом, чем на родине…

— Слушайте меня! — сорвался Кошмаровский.— Жиды, как и прежде, у руля! Они в первых эшелонах российской власти… Не позволяйте им, мой друг, манипулировать вами!

— Спасибо за своевременный совет,— осторожно ответил я, а потом, когда уже с ним попрощался и положил трубку, вдруг подумал: «Что же он так всё всерьёз-то переживает? Это ж надо — унизился, позвонил мне… Он — слон, а я — моська, и он так волнуется из-за моей ничтожной писанины…»

А ещё меня удивило то, что Альберт, с которым мы когда-то дружили, так ведь меня и не узнал, не вспомнил.

12.

Мой второй репортаж, разумеется, вызвал у Кошмаровского ещё большее озлобление. Он был оскорблён моим издевательским «покаянием», о чём тут же сообщил нашему главному редактору и заявил ему, что это дело так не оставит — и развернёт в Интернете кампанию против меня и нашей газеты. А потом непременно подаст на нас в суд. Главред, исходя из принципов плюрализма (а по-моему, просто испугавшись судебных преследований), предложил Кошмаровскому опубликовать в газете все его возражения, а также дать подборку откликов из Интернета. Я же, узнав об этом их сговоре, категорически отказался от дальнейшего участия в затянувшейся игре, являвшейся по сути бесплатным и беспрецедентным пиаром тщеславного психотерапевта.

В одном из ближайших номеров «Кырской зари» целый разворот был посвящён Кошмаровскому: главред не поскупился и целиком напечатал послание обиженного установщика и рассасывателя, а рядом дал огромную статью его американской поклонницы (чью фамилию я забыл), которая многословно и утомительно доказывала, какой хороший врач Кошмаровский и какой плохой журналюга — ваш покорный и нервный слуга. Из всей громадной её статьи мне запомнилась

лишь цитата из моего же юношеского стихотворения, которое миссис отыскала в недрах Интернета и привела как наглядный пример моей моральной ущербности:

> Ни о чём не жалею.
> Ничего не желаю.
> От стыда не алею.
> От любви не пылаю…

Бог ты мой! Ровно пятьдесят лет назад, весной тысяча девятьсот шестьдесят второго года, на страницах этой же газеты «Кырская заря» была напечатана статья В. Архарова «Растить строителей коммунизма!», где разоблачались всевозможные идеологические отклонения в среде местной молодёжи и в качестве отрицательного примера приводилась моя персона, мои декадентские стишки, те самые, что процитировала спустя полвека американская поклонница Кошмаровского. После этой цитаты у Архарова шла фраза: «Где, в какой среде воспитывался этот моральный урод?!» И вот теперь, спустя полвека, на страницах той же самой, но теперь уже вполне демократической газеты меня вновь пригвоздили к позорному столбу… Сколько можно, земляки? И как вам не надоест?!

Правда, завершалась эта громадная подборка кратеньким комментарием главреда, где в мой адрес было сказано несколько как бы добрых, сочувственных слов. Но если честно, комментарий этот можно было сравнить с тем, как если бы меня облили двумя вёдрами помоев, а потом попрыскали нежным одеколоном. Если же говорить совсем просто и кратко, сам факт публикации данного разворота я расценил как личное оскорбление. И оскорбил меня вовсе не Кошмаровский. Ему я даже сочувствую.

13.

Он ведь так и не успокоился!

Накануне отъезда из Кырска позвонил мне и пригласил заглянуть к нему в гостиницу, пообщаться «на посошок». Меня очень удивил этот звонок: я-то думал, что он меня ненавидит, как злейшего врага…

— Зачем я вам нужен, Кошмаровский?
— А вы что, боитесь меня?
— Нисколько.
— Так в чём дело? Загляните на полчасика, выпьем по стопочке горилки… Время не позднее, ещё светло. А завтра утром я улетаю.

Вообще-то мне не очень хотелось снова раскуривать трубку мира с этим самовлюблённым гипнотизёром, но писательское любопытство и моя катастрофическая неконфликтность взяли верх — и я отправился к нему в гостиницу.

Багаж был собран, душ только что принят, Кошмаровский встретил меня в махровом халате. Благоухающий французской туалетной водой. Телохранители-мордовороты по сигналу хозяина тут же оставили нас вдвоём в его номере «люкс».

— Прошу, — пригласил он к невысокому столику возле дивана. — Горилка — высший сорт! Сальце хохлацкое, селёдочка норвежская, огурчики венгерские, брынза литовская, хлебушек рижский, брусничка кырская… Впрочем, вы, может быть, предпочитаете коньяк или виски?
— Давненько не пил горилку, — сказал я, присаживаясь. — С такой роскошной закуской только её и пить.
— Надеюсь, этими словами вы не хотели меня обидеть? — напрягся Кошмаровский.
— Что вы, коллега!
— С каких это пор мы — коллеги? — удивился он и снова напрягся в ожидании очередного подвоха.
— Так ведь я тоже по первой-то специальности врач-психиатр, — признался я, наливая себе полную рюмку. — Правда, лет тридцать уже как ушёл из медицины…
— Во-от оно что! — и Кошмаровский поднял брови, а потом рюмку. — Теперь мне многое становится ясным… Ну что ж, давайте выпьем за здоровье… не наше, не наше! Я предлагаю выпить за здоровье всех братьев-славян! За русских и украинцев, поляков и белорусов! Во мне самом текут польская и украинская кровь, так что…
— А-а, теперь понятно, откуда в вас этот шляхетский гонор! — воскликнул я и тут же осёкся. — Простите, ради Бога. Я не хотел вас обидеть. Шляхетский гонор — это достоинство, а вовсе не недостаток…
— Да ладно, я не сержусь, — благодушно хмыкнул Кошмаровский и опрокинул рюмку горилки. — Последней публикацией в вашей газете я полностью удовлетворён, так что больше — никаких обид. Так и передайте вашему шефу. Да вы закусывайте, закусывайте.
— Спасибо. А мне вот как раз польской крови и не хватает, — неловко пошутил я. — То есть гонора не хватает… Гордости — не хватает! Вы понимаете?
— Как не понять? С вами, друг мой, давно всё ясно. Типичный гнилой интеллигент… закомплексованный психастеник… без конца рефлексирующий, кусающий сам себя за хвост…
— Ох, как верно! Как точно вы меня раскусили!
— Тоже мне, бином Ньютона, — хмыкнул он всё так же без улыбки. — Давайте выпьем — теперь уж за ваше здоровье, пан писатель!
— Не откажусь.

Мы выпили, закусили. Я расслабился, но так и не мог понять: зачем же он пригласил меня? Зачем всемогущему магу и чародею моя дружба? А может, он хочет меня напоить, а потом — как-нибудь унизить? Ну и шут с ним… посмотрим ещё, кто кого!

14.

И мне вдруг спьяну почудилось, померещилось, что между нами в этот мартовский вечер происходит некая тайная дуэль, этакий необъявленный поединок, турнир двух соперников-психотерапевтов… Тьфу ты, чёрт! Это ж надо, какая чушь может придти в голодную голову после двух рюмок горилки…

— Третий тост — не буду оригинальным — за прекрасных дам! — произнёс Кошмаровский, разливая горилку.

— Присоединяюсь! — поддержал я. — Предлагаю конкретизировать сей тост — и выпить за здоровье вашей супруги!

— К сожалению, моя супруга ушла из жизни… — нахмурился Кошмаровский. — И я вдовец. Безутешный вдовец, можно так сказать.

— Очень жаль, — искренне огорчился я. — Предлагаю выпить не чокаясь.

И мы выпили не чокаясь. Помолчали.

— А ведь я знал вашу Оксану, — сказал я вдруг. — Не только знал, но когда-то мы с ней любили друг друга…

— Какая Оксана? О ком вы? — напрягся он. — Мою жену звали Галина! Она погибла в автокатастрофе… несчастный случай…

— Извините… Но разве Оксана… простите… Но где же тогда Оксана? Помните — Оксана Рыбка? Неужто вы её забыли?

— Оксана Рыбка?.. Ах да, — спохватился он. — Как же, как же… Оксана — да. Это было так давно! Мы ещё поженились тогда в Москве… а потом поехали ко мне в Одессу… и там она утонула в море…

— Утонула?! — и я вскочил из-за стола. — Оксана, которую я так любил, — утонула? И вы так спокойно говорите об этом?

— Что ж, я должен рвать волосы, что ли? Да, она утонула. И это случилось очень давно. Я её, между прочим, предупреждал: не заплывай далеко, ты ведь плохо плаваешь… Она сама говорила, что плавает плохо… а тут взяла и поплыла за буйки… и утонула…

— Так, может, она это специально?

— Что — специально?

— Ну, заплыла специально — чтобы утонуть? Вы об этом не думали?

— Что за бред?! Она только что вышла за меня замуж, зачем же ей убивать себя?

— Затем, что она не любила вас — она вас боялась! Вы её запугали, приворожили, подчинили её себе, подавили её волю… А любила она меня! Меня!

— Ты… ты… ты совсем рехнулся… коллега! — и он заиграл желваками. — Лучше не дразни меня… сочинитель! Кто ты такой, чтобы судить о моей жизни?

— А ты, я вижу, совсем меня не помнишь, Альберт? — спросил я. — Совсем-совсем не помнишь? Москва, семидесятый год, курсы психотерапии, профессор Рожнов… Оксана Рыбка… которую ты отбил у меня! Ты — отбил у меня — мою любимую! А тебя она только боялась, только боялась!

— А-а, вот оно что, — произнёс он угрюмо. — То-то я смотрю, твоя морда мне очень знакомая… Вот и разобрались. И теперь мне всё ясно.

— Что тебе ясно? Что тебе ясно, Альберт? Ты хоть понял, что это ты — убил мою Оксану? Из-за тебя она утопилась! Из-за тебя! И, может, не только она одна! С тобой надо ещё разобраться… Ты, может быть, и Галину тоже так загубил… Подстроил аварию… А? Что скажешь, Альберт?

Кошмаровский молча налил себе полную стопку, выпил, отдышался. Посмотрел на меня с холодным презрением.

— С тобой всё ясно, — сказал он. — Ты — неудачник. Простой советский неудачник. Ты мне просто завидуешь. Ты ни в чём не добился успеха — ни в медицине, ни в литературе, ни в журналистике, ни в личной жизни. И твою девушку я у тебя отбил, это правда. Но я никого никогда не убивал, это плод твоего больного уязвлённого воображения. Моё призвание — исцелять людей, и я это делаю очень успешно. Твоё же призвание — кусать за пятки тех, кто идёт впереди.

— Ты убил Оксану! И Галину… Галину ты тоже убил!

— Ага! Скажи ещё, что я пью кровь убиенных мною младенцев… Идиот! Кретин! Ничтожество!

Он налил остатки горилки в фужер и выпил залпом. Долгая пауза.

— Альберт… почему ты выпил всю горилку? — тихо и вкрадчиво спросил я его. — Это негостеприимно, Альберт…

— Ничего, перебьёшься…

— Молчать! — крикнул я. — А ну смотри на меня!

Он опешил, уставился на меня, приоткрыл рот.

— Ты слышишь только мой голос! — сказал я приказным тоном.

— Нет, это *ты*, сука, слышишь только мой голос!! — взревел Кошмаровский.

— Не-ет, бес, это *ты, ты, ты — слышишь только мой голос!* — заорал я, вперяя свой немигающий взгляд в его мечущиеся зрачки. — Только мой голос ты слышишь, гад! Свинцовая тяжесть сковала всё твоё тело! Твои руки тяжёлые, ноги невозможно сдвинуть, твои веки опускаются… и ты — спишь! Ты спишь!!!

Кошмаровский закрыл глаза и покорно сидел передо мной, опустив руки.

— А сейчас ты встанешь и пойдёшь со мной, — продолжал я диктовать ему свою волю. — Встань и иди, Альберт!

Я раскрыл дверь и вышел в гостиничный коридор. Кошмаровский послушно следовал за мной.

— Ты слышишь только мой голос! — напомнил я. — Теперь мы выйдем из гостиницы и перейдём на другую сторону улицы. Иди, Альберт!

Мы перешли через улицу и приблизились к расположенной неподалёку, в глубине сквера, православной церкви. Там как раз завершалась вечерняя служба.

— Сейчас ты войдёшь в храм, встанешь на колени — и покаешься в своих грехах, Альберт! — продолжал я приказывать. — Вспомни, как ты оскорбил его святейшество патриарха всея Руси! А какими гнусными словами ты не раз отзывался о других священнослужителях православной церкви — ты помнишь, Альберт? Иди в храм, пади на колени — и кайся! Молись, Альберт! У тебя есть сегодня последний шанс спасти свою душу!

И он подошёл к храму, перекрестился у входа, зашёл в церковь, приблизился к алтарю — и опустился на колени. Я стоял в отдалении, но я видел, как он многократно осенял себя крестом, целовал икону Спасителя, и я слышал его воспалённый надрывный голос:

— Прости меня, Господи! Прости мне мою гордыню! Прости за всё! Смилуйся, Господи! Спаси и помилуй, сохрани раба твоего Альберта!..

15.

Когда он вышел из церкви, лицо его было залито слезами.

Мы подошли к скамейке возле фонтана, сели.

Возле наших ног суетились, воркуя, голуби в поисках пищи, у фонтана шалили дети, на соседних скамейках сидели и разговаривали их бабушки и мамы. Мир был тих, спокоен и благостен.

— Миром правит любовь, а не твоя железная воля, — сказал я, обращаясь к Альберту. — Посмотри, как люди могут быть счастливы без твоей жестокой психотерапии. Оставь их в покое — раз и навсегда!

16.

Зря я это сказал. Рано я расслабился. Слишком уж я поверил в свои силы. Мои гипнотические чары были недолгими.

Заплаканное лицо Кошмаровского вдруг искривилось в усмешке.

— Ну уж нет, — произнёс он хрипло. — Никто не заставит меня отказаться от моей великой миссии… Я знаю: Господь со мной! Я только что слышал Его благословляющий голос… Я послан Им на Землю, чтобы спасать людей от недугов, исцелять их тела и души… И я буду это делать! И Господь меня не оставит! Отныне Он направляет меня по моему Пути! Ты увидишь, и все увидят, что скоро я полечу в космос — и сбудется моя давняя заветная мечта! И тогда мою силу почувствуют все люди на этой планете, погрязшей в грехах и разврате…

— А что будет со мной? — прошептал я.

— А ты… Ты… Ты — неизлечим! Ты — так и будешь строчить свои ничтожные заметки, сочинять свои никому не нужные рассказики, свои дурацкие повестушки. Ну чего расселся? Иди и пиши! Оглох, что ли? Иди и пиши, пока не сдохнешь!

И я пошёл.

И вот пишу, пишу, пишу.

И пока что не сдох.

И дыхание моё ровное, спокойное… пустое сердце бьётся ровно… в руке не дрогнет пистолет.

И это не шутка.

Транзитный пациент

День выдался удачный. У врача-психиатра Румянцева с утра было приподнятое настроение. Прежде всего потому, что именно сегодня был возвращён из побега социально опасный больной. К тому же на почте Вадим Иваныч получил приятное извещение из корсаковского журнала: его статья о вялотекущей шизофрении поставлена в восьмой номер. Замечательно. Просто великолепно. И погода прекрасная: бабье лето, тепло, солнышко светит.

Возвращаясь из больницы домой, Румянцев проторчал минут двадцать на автобусной остановке — но и это не смогло омрачить его хорошего настроения. От прохожих узнал, что, оказывается, водители автобусов проводят именно сегодня предупредительную забастовку, требуя повышения зарплаты, — и стоять нет смысла. Пришлось идти дальше пешком, топать через двухкилометровый мост на правый берег. Но и это неожиданное приключение почти не огорчило, а даже взбудоражило жизнерадостного Румянцева. Он бодро шагал по мосту — высокий, стройный, моложавый, хорошо сохранившийся в свои сорок пять. Он всегда был человеком свободомыслящим, либеральным, хотя и чурался реальной политики. Тем не менее, чужая борьба его возбуждала, обостряла в нём вкус к жизни. Вот и сейчас, шагая по мосту, Вадим Иваныч мысленно выражал солидарность с бастующими шофёрами: «Молодцы! Так дальше жить нельзя!..» Что он при этом конкретно подразумевал, он и сам представлял довольно смутно.

Пройдя через мост, он увидел на Предмостной площади столпотворение, множество людей с плакатами, лозунгами. Некий молодой человек выкрикивал что-то в мегафон, и было трудно разобрать, о чём он говорит. Румянцев подошёл ближе. Сам он не был членом никакой партии, оправдывая свой нейтралитет профессией: ведь настоящий врач не должен отдавать кому-либо предпочтение, он обязан помогать всем страждущим. Поэтому Румянцев никогда на митингах не выступал, но слушал всегда внимательно и с острым любопытством.

Так и в этот раз. Он остановился неподалёку от очередного оратора, закурил и, уютно прислонившись к гранитному парапету, стал слушать. Бородатый оратор закончил свою горячую речь — и

передал мегафон другому, худому черноглазому мужчине с болезненно бледным измождённым лицом.

— Господа! — воскликнул худой. — Коммуняки не унимаются! Сегодня они перекрасились в демократов, хотя это всё те же волки в овечьей шкуре! Но у нас — хорошая память! Перед вами — жертва психиатрического террора! Долгие годы я был узником советских психобольниц!..

Улыбка застыла на лице Румянцева. Он растерянно оглянулся: лица людей были хмурыми, напряжёнными, суровыми.

— …и в нашей городской психобольнице мне тоже довелось побывать, — продолжал бледнолицый обличитель, — она ничем не лучше, чем Томская или Казанская, в которых надо мной издевались палачи в белых халатах. Вы спросите: за что они меня истязали? За то, что я хотел быть свободным! Я не боялся вслух говорить о прелестях социалистического рая — и был признан сумасшедшим! Мне поставили диагноз «шизофрения», меня признали невменяемым и недееспособным, я не смог продолжать учёбу в институте, я не смог свободно передвигаться — за каждым шагом моим следили, меня избивали в отделениях милиции и подстраивали подлые провокации гебисты…

«Ишь как режет правду-матку, — восхищённо поёжился Вадим Иваныч. — Да, чего тут скрывать — бывало и у нас такое… Нечасто, но бывало…»

— И разве смогу я забыть психиатрические застенки? — воскликнул бледнолицый. — До сих пор на теле следы от тысяч уколов, до сих пор меня мучает бессонница… а посмотрите на мои руки — как они трясутся!

Оратор простёр над толпой руки с растопыренными пальцами — и все убедились в наличии у него выраженного *тремора*.

— Врачи-палачи сгубили навек мое здоровье! Послушные исполнители воли гебистов и партаппарата, психиатры пичкали меня нейролептиками, кололи сульфозином, сотрясали мой мозг электричеством… да разве перечислишь все истязания, которым они меня подвергали?!.. А когда я их спрашивал: в чём же моя вина? — эти гестаповцы в белых халатах отвечали с циничной усмешкой: в том, что ты недоволен нашей замечательной Родиной. Нормальный человек — по их изуверской логике — не может быть ничем недовольным… Дай им волю, этим палачам, — повысил голос оратор, — они бы всех нас запихали в дурдом! Они были бы рады превратить всю страну в огромную психобольницу… но их время прошло! Слава Богу, страна выздоравливает! А врачи-палачи не уйдут от возмездия! Я бы долго мог перечислять имена тех, кто пытал и калечил меня и моих единомышленников. Назову лишь тех, кто работает до сих пор в нашем городе… Страна должна знать своих палачей! Это прежде всего бывший главный врач психобольницы — Метёлкин, заведующая кафедрой психиатрии — Лапшина, врачи Пяткина, Грубер, Лисовский, Румянцев, Васильченко…

«Что такое? — опешил Вадим Иваныч. — Он назвал и мою фамилию?.. Но ведь это несправедливо, несправедливо! Какой же я палач? Что за глупости… Среди моих больных никогда не было никаких диссидентов… Да и этого типа я вижу впервые. Он меня с кем-то явно спутал! Но разве так можно?..»

Расстроенный Вадим Иваныч отошёл в сторону и хотел было уже направиться домой, но остановился — и решил подождать, чтобы всё-таки разобраться тут же, на месте, в этом нелепом недоразумении. Он не чувствовал за собой никакого греха. Он впервые видел этого человека! Нет, он вовсе не считал, что человек этот лжёт, — но, скорее всего, он просто что-то напутал.

Когда бледнолицый оратор закончил свою обличительную речь, Румянцев пробился к нему и тронул его за локоть.

— Извините… не знаю вашего имени-отчества…

Тот круто обернулся, уставился на Румянцева жгучими чёрными глазами.

— В чём дело?

— Видите ли, я один из упомянутых вами врачей-палачей… — и Румянцев попытался улыбнуться, как бы давая понять, что он, в общем-то, в принципе-то, вполне солидарен с диссидентом. — Моя фамилия Румянцев…

— А-а, — прищурился бледнолицый. — Доктор Румянцев? Не буду врать, что рад вас видеть… И руку вам не подам.

— Извините, — покраснел Румянцев, — а ваша как фамилия?

— Неужто забыли? — ухмыльнулся тот. — Склероз? Или что?

Румянцев пожал плечами, продолжая напряжённо улыбаться.

— Жарков моя фамилия, — быстро сказал бледнолицый. — И я вас, доктор, отлично помню. Вы хорошо сохранились. Цвет лица чудесный.

— Жарков?..

Вадим Иваныч задумался. Нет, эта фамилия ничего ему не говорила. Жарков, Жарков… нет, никаких совершенно ассоциаций.

— А вы не могли меня с кем-то спутать? — осторожно спросил он. — В каком году вы у меня лечились?

— В восемьдесят шестом, — сквозь зубы процедил Жарков. — Слава Богу, память у меня пока не отшибло… как вы с коллегами ни старались!

— В восемьдесят шестом? Не может быть… Абсолютно не помню!

— Значит, вам самому лечиться надо, — хмыкнул Жарков и отвернулся от него, утратив интерес к разговору.

Митинг продолжался. Румянцев потоптался минут пять — и направился прочь, домой. Настроение было испорчено. Даже ужинал дома он без

аппетита. Даже с женой из-за пустяка повздорил. В ушах звенели отрывки недавних фраз: «врачи-палачи», «гестаповцы в белых халатах». Вот уж никогда не думал Вадим Иваныч, что доживёт до этаких необоснованных обвинений в свой адрес. И в кошмарном сне подобное не могло бы присниться! «Разумеется, всё это ошибка, недоразумение»,—продолжал он убеждать самого себя—впрочем, без прежнего энтузиазма.

В эту ночь Румянцев так и не смог заснуть. Перед его мысленным взором маячила бледная физиономия диссидента Жаркова, звенели его слова, полные ненависти и презрения. Прожив на земле сорок пять лет, Румянцев привык считать, что у него нет ни врагов, ни даже недоброжелателей. Он и впрямь ведь был человеком добрым, мягким, терпимым… И вот на́ тебе! Такой гнев, такая испепеляющая ярость!.. За что, спрашивается?

Впрочем, тут же, одновременно с этими мыслями, в нём, как стыдливые промельки, возникали и не очень приятные воспоминания: например, о том, как однажды он промолчал на областной конференции, когда был не согласен с коллективно утверждённым липовым диагнозом,—и оправдывал себя тем, что, мол, всё равно возражать бесполезно, один в поле не воин… Или о том, как давным-давно он поддался влиянию шефа—и без особых показаний назначил больному атропино-коматозное лечение, и больной этот умер, не вышел из комы… И ещё несколько подобных не очень приятных эпизодов вспомнилось ему в эту бессонную ночь…

На другой день, придя на работу, Румянцев еле дождался окончания планёрки—и сразу побежал в больничный архив, где хранятся старые истории болезней. Искал недолго. На букву «Ж» было не так уж много папок. Вот он—Жарков Георгий Сергеевич, 1950 года рождения, русский, проживающий по такому-то адресу… многократно находившийся на принудительном лечении в разных психобольницах… трижды был и в нашей больнице… последний раз—в 1986 году… диагноз: вялотекущая шизофрения, психопатоподобный вариант… поступил 12 апреля, выписан 15 апреля… лечащий врач—Румянцев… И подпись!

—Моя подпись,—еле слышно произнёс Вадим Иваныч и недоумённо покачал головой.—Как же так? Почему я его совершенно забыл?

Он перелистал историю болезни. Всего три листочка, три кратких врачебных записи. Его почерк. Запись в день поступления, в день выписки, короткий эпикриз. Наморщив лоб, Румянцев вчитывался, вглядывался в лаконичные стандартные фразы, начертанные некогда его собственной рукой—и, как ни напрягался, как ни надсажал память, не мог ничего вспомнить. Наконец он сообразил: да ведь это же был *транзитный* пациент! Ну конечно—и на обложке написано: «Поступил для дальнейшей транспортировки в Томскую психобольницу»… «Как же я сразу не сообразил!—мысленно обрадовался Румянцев.—Ничего удивительного, что я его не запомнил… я и видел-то его, вероятно, только на обходе… я и в ординаторскую-то его не вызывал… транзитный же! Переписал все данные из экспертного заключения, соматически даже и не осматривал, написал: «Без патологии»—вот и всё. Поэтому я его и не запомнил…»

Словно камень свалился с души Румянцева. Улыбка осветила его осунувшееся лицо, щёки его порозовели, под ложечкой вдруг приятно заныло: он только сейчас спохватился, что так ведь сегодня и не позавтракал.

«Я же знал, знал, что всё это чепуха, недоразумение,—бормотал он, закрывая историю болезни.—Никогда не было среди моих больных никаких диссидентов… а транзитные—не считаются… Мои руки—чисты!.. чиста моя совесть! Ну а этот… Жарков—с ним теперь всё ясно. Поступил в пятницу, в понедельник выписался—и прощай. В нашей больнице такие больные вообще не задерживаются. Так что все претензии, господин диссидент, не ко мне, а к томским врачам-палачам!..»

На всякий случай Вадим Иваныч записал в записную книжечку домашний адрес и телефон Жаркова. Мало ли что. Вдруг понадобится, вдруг пригодится.

Пригодилось в тот же вечер.

Дома, после сытного ужина, в уюте и комфорте, в душевном тепле и покое,—появилось вдруг шальное желание: позвонить пресловутому диссиденту—и хотя бы в его глазах, так сказать, немедленно реабилитироваться.

Трубку сняли сразу. Голос Жаркова:

—Да?

—Добрый вечер, Георгий Сергеевич. Вас беспокоит один из врачей-преступников,—шутливо, стараясь быть максимально либеральным, но в то же время и как бы не роняя собственного достоинства, бойко заговорил Румянцев.—Я по поводу вашего вчерашнего выступления на митинге… помните? Ну, я—Румянцев, врач-психиатр Румянцев!

—А-а…—не очень приветливо отозвался Жарков и, даже не поздоровавшись, грубо спросил:—Чего надо?

—Ошибочка вышла, господин Жарков…—и он хохотнул.—Неправда ваша, дяденька, как выражался Ваня Солнцев…

—Какой ещё, к чёрту, Ваня Солнцев?—сердито перебил его Жарков.—Что вы мне лапшу на уши вешаете?

—Ошибочка, говорю, вышла,—заторопился Румянцев, испугавшись, что собеседник бросит трубку и справедливость не будет восстановлена.—Не мог я вас мучить и пытать, как вы вчера изволили выражаться… Вы меня слышите?

—Ну?

— Вы в нашей больнице были транзитом! Проездом в Томскую психобольницу, на принудительное лечение… разве не так?
— Ну и что?
— Как — что? Вы в тот раз у нас только уик-энд провели, ну, субботу и воскресенье… Как же мог я вас, извините, пытать и мучить? И когда б это я успел над вами поизмываться?.. Я с вами, милостивый государь, даже словом не перекинулся…
— То-то и оно, — сказал Жарков. — Вам плевать на таких, как я.
— Постойте, постойте! — воскликнул Румянцев. — Да я просто физически бы ничего не смог… я просто не успел бы… потому что ведь, согласитесь сами…
— Чего ты от меня хочешь? — не просто грубо, а оскорбительно грубо перебил его Жарков. — Чего тебе надо?

Румянцев поперхнулся.

— То есть как… да вы сами разве не понимаете, что вчерашние ваши обвинения в мой адрес беспочвенны?
— Значит, чистеньким хочешь быть? Отмыться хочешь? Душа, небось, комфорта просит?
— Ну при чём тут душа?..
— Уж не хочешь ли ты, чтобы я перед тобой сейчас извинился? — странно тихим, вкрадчивым голосом произнёс Жарков.
— А нельзя ли повежливее? Как я вам уже только что объяснил, вы преувеличили, так сказать, мою причастность к имевшим место злоупотреблениям, которые…
— Ах ты, гнида, — очень тихо, как-то изумлённо, издалека произнёс Жарков, — ну и гнида… Может, справку тебе дать — что я не имею претензий? Или медаль на грудь — за великий твой гуманизм? А?!
— Что?.. Какую справку? Какую медаль? — растерялся Румянцев.

Жарков грубо выругался — и бросил трубку.

А Румянцев долго ещё держал в потной руке кукующую трубку и повторял смятенно: «Вот ведь хам какой… медаль какую-то придумал… справку… ну при чём тут медаль? Может, он и правда — псих? Я к нему от чистого сердца, от всей души, а он… Что за люди?! Откуда в них эта озлобленность, эта жестокость, эта нетерпимость?.. Откуда?!..»

Беляев и Черняев

Сказка перед сном

Два писателя оказались на необитаемом острове. Писатель Беляев и писатель Черняев. А как они там оказались? А вот как. Закрой глазки и внимательно слушай.

Они оба летели на «боинге» через океан в чужеземную страну на международную конференцию, посвящённую роли писателя в современном обществе. Жизнерадостный писатель Беляев сочинял остросюжетные романы на актуальные темы, выходившие огромными тиражами по всему миру, а мрачный писатель Черняев сочинял беспросветные психологические рассказы, которые почти никто не хотел печатать, но которые, тем не менее, пользовались необъяснимым успехом в узком кругу таких же, как он, пессимистов и мизантропов.

Оптимист Беляев сладко спал в своём кресле, а пессимист Черняев мрачно смотрел в иллюминатор, предчувствуя, как всегда, беду, — и первым увидел, как вспыхнул один из двигателей самолёта. Черняев разбудил Беляева — и они успели надеть спасательные жилеты. Когда пылающий лайнер рухнул в океанскую пучину, все пассажиры и экипаж погибли, лишь два писателя спаслись. Вот они-то и выплыли на берег необитаемого острова, которого до сих пор не было на карте.

То, что остров совсем небольшой и необитаем, писатели поняли в первый же день, когда поднялись на высокую прибрежную скалу. Весь остров был перед ними как на ладони: песчаные пляжи, холмы, заросшие пальмами, обезьяны, птицы… И ни одной хижины, ни одного следа человека.

Пессимист Черняев помрачнел и затосковал. А жизнерадостный оптимист Беляев ободряюще хлопнул его по плечу:

— Не паникуй, старик! Нас обязательно спасут, вот увидишь.
— Пока нас спасут, мы умрём от голода, — заныл Черняев.
— Да ты что, старина? Тут же вокруг полно жратвы! Бананы, кокосы, финики — выбирай на вкус!
— Предпочитаю бананы, — вяло улыбнулся Черняев.
— Всё будет тип-топ, — заверил его Беляев. — Со мной не пропадёшь! Вон под тем обрывом, на берегу, соорудим жильё, потом разведём костёр, наловим рыбы, а завтра пойдём на птичек охотиться. Хищных зверей тут, похоже, нету…
— А вдруг? — напрягся трус Черняев.
— Держись за меня! — подмигнул бесстрашный и находчивый Беляев. — Главное — развести костёр и не гасить его, чтобы дым был виден издалека. Тогда наш сигнал непременно заметят!
— Дай-то Бог, — вздохнул неверующий Черняев. — А у вас есть спички?
— Хороший бойскаут добывает огонь без спичек! — горделиво сказал Беляев — и тут же подтвердил на деле своё умение.

А Черняев подумал, что ему сказочно повезло, что судьба послала ему такого предприимчивого товарища. Сам Черняев ничего не умел делать, кроме сочинения никому не нужных рассказов, и он ни во что не верил. От жизни он ждал только бед и несчастий, и неудивительно, что все его рассказы были пронизаны беспросветной

экзистенциальной тоской. «Если бы не Беляев, я пропал бы»,—думал Черняев, и он был прав.

Но прошло дней десять, за ними никто не прилетал, и никаких кораблей не было видно на горизонте. Сообщить о себе писатели не могли—их сотовые телефоны покоились на дне океана. Оптимист Беляев слегка загрустил, но продолжал охотиться на птиц и ловить рыбу.

— Ничего, ничего,—приговаривал он, утешая скорее себя, чем Черняева,—ещё два-три дня—и нас обязательно найдут! Вот увидишь, старик!

Но Черняев ему уже не верил. Дни шли за днями, а никто не спешил их спасать. Вероятно, скорбящее человечество решило, что все пассажиры погибли, не спасся никто, к тому же этого острова не было на карте, и находился он в стороне от обычных авиарейсов и корабельных маршрутов.

И Черняев, окончательно отчаявшись (а отчаяние было его обычным состоянием), решил заняться привычным делом, единственным делом, которое он умел и любил делать всегда и везде,— сочинять рассказы. Ни компьютера, ни машинки под рукой не было, не имелось даже ни ручки, ни карандаша. Но Черняев быстро наловчился писать острой рыбьей костью на пальмовых листьях. И каждое утро, по несколько часов подряд, он занимался любимым своим сочинительством.

— Чего ты там карябаешь?—удивлялся Беляев.— Дневник, что ли, пишешь?

— Зачем дневник? Рассказы!—смущённо кривясь в улыбке, отвечал пессимист Черняев.—Сегодня такой славный сюжет пришёл в голову… Хочешь, расскажу?

— Да ну тебя,—отмахнулся Беляев.—Для кого стараешься? Тут, брат, ни читателей, ни издателей…

— А мне в кайф!—хохотнул Черняев.—Я привык для себя… ни для кого… Я так привык, понимаешь? Мне без разницы, что дома в стол писать, что тут… Понимаешь?

— Не понимаю,—нахмурился Беляев.—Абсурд какой-то. Даже представить не могу, чтобы я здесь, на этом острове, стал вдруг сочинять роман… Для кого?! Я привык писать только для читателей… Иначе—зачем?!

— А для кайфа!—и Черняев ему подмигнул.—Для собственного удовольствия!

Беляев же лишь сочувственно покачал головой: мол, совсем ты, старик, рехнулся. Спятил, бедный, от одиночества…

Но это ему, Беляеву, одиночество было в новинку и в тягость. И это он, Беляев, не мог писать «просто так», не для читателей, не за гонорар, не для славы, а ради чистой бескорыстной радости. И поэтому спятил (то есть лишился рассудка) в конечном итоге не пессимист Черняев, а он, оптимист Беляев. Его жизнерадостная душа оказалась незакалённой и абсолютно не готовой к таким испытаниям—и он вскоре сошёл с ума, впал в глубокую депрессию, и в одно прекрасное утро Черняев нашёл своего друга повесившимся на пальме.

Погрустив и оплакав товарища, Черняев похоронил его под этой же пальмой. И продолжал жить на необитаемом острове, и продолжал сочинять свои рассказы, читая их по вечерам столпившимся вокруг него мартышкам и макакам. И даже разноцветные крикливые птицы ненадолго прекращали свой гвалт—и тоже внимательно слушали рассказчика. И совсем не важно, понимали они его или нет,—настоящему писателю это абсолютно всё равно.

А когда однажды утром над островом пролетел непонятно откуда взявшийся вертолёт, Черняев уже не спал: он сидел на прибрежном песке и царапал рыбьей костью на пальмовом листе очередное своё произведение. Вертолёт развернулся—и завис над Черняевым, а потом сверху свесилась верёвочная лестница и послышался призывный крик пилота:

— Хай! Ком он!

— Да погоди ты,—отмахнулся Черняев.—Дай дописать сказку…

И ведь дописал! И был спасён!

А необитаемый остров вскоре был нанесён на карту, и называется он теперь—остров писателя Черняева. А про Беляева все забыли…

…Ну а теперь, дружок, повернись на правый бочок—и постарайся заснуть крепко-крепко.

Николай Ерёмин

Рассказы завтрашних ночей

70-летию моего друга Эдуарда Русакова посвящаю

Куба—любовь моя!

Певец Михаил Победоносцев лежал на операционном столе и протяжно декламировал:

Стой, певец! Стой, родимый! Куда ты?
У тебя ж—аденома простаты!..

Хирург Виктор Дегтярёв старательно мыл руки по методу Спасокукоцкого—Кочергина.

Ассистент-анестезиолог готовился к проведению пациенту спинномозговой пункции.

Операционная сестра Машенька раскладывала стерильный инструментарий.

Певец только что срочным порядком на такси был доставлен в хирургическое отделение областной лечебно-профилактической комиссии, откуда он утром сбежал, чтобы провести в областной библиотеке творческую встречу.

Встреча длилась три часа без перерыва, и аденома простаты, рассердившись на отсутствие к ней должного внимания, в гневе пережала уретру и ввела певца, излучавшего творческую энергию, в предкоматозное состояние.

—Доктор,—сказал певец,—я ужасно боюсь!

—А вы не бойтесь. Маленький укольчик—и никакой боли. В течение всей операции вы будете находиться в ясном сознании и можете разговаривать.

—А без операции нельзя обойтись?

—Нет. Обследования, проведённые в терапевтическом отделении, из которого вы так удачно сбежали, говорят, что нельзя.

—Как же мне было не сбежать, если у меня сегодня день рожденья? Шестьдесят два стукнуло! Да и творческая встреча. Обещал, обещал, да всё откладывал.

—Вот и доткладывали,—сказал хирург, склоняясь над певцом.—Так, делаем послойный разрез от лобка до пупка...

—Доктор, а можно без этих комментариев? У меня от них, как представлю, мурашки по спине...

—Можно, да только осторожно,—сказал хирург.—Хорошо. Комментарии мои будут лаконичны и понятны только моим ассистентам. Но пока мы будем заниматься своим делом, расскажите-ка нам о своих делах. Я, по сути, ничего ведь о вас и не знаю. Кроме того, что вы—певец и народный артист.

—Это плохо,—сказал певец.—А ведь я спел все ведущие партии в нашем прекрасном Абаканском оперном театре! «Иоланта», «Князь Игорь», «Аида», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Тоска», «Царская невеста», «Дон Прокопио», «Риголетто», «Паяцы», «Трубадур»... Какой репертуар!

—И ни на одной из этих опер я не был!—сказал хирург.—Зато прооперировал всех ваших коллег-артистов. Ну да ладно. Лучше расскажите: как вы дошли до жизни такой? Где родились? Кто ваши родители?

—Ах, доктор! Родился я в Магадане. Слышали о таком городе? Много о нём песен есть, но Канделаки любил вот эту:

Магадан теперь—как Сочи!
На-ни-на... На-ни-на...
Солнце греет, но не очень...
На-ни-на... На-ни-на...

Ну и так далее. И были у меня два отца и одна мать...

—Шутить изволите?

—Какие тут могут быть шутки? Моего будущего биологического отца по сфабрикованному делу репрессировали как врага народа и сослали в места лишения свободы на десять лет. Но мне ужасно повезло. Мой второй, идеологический отец, вождь всех времён и народов, издал указ, по которому жёны заключённых могли в последний год срока приехать и разделить с мужем его участь. Каково? Таким образом, он поспособствовал моему зачатию. Мать доехала до Владивостока на поезде. А дальше, до Магадана,—на пароходе «Находка», вместе с тремястами таких же декабристок. В двухстах метрах от берега «Находка» подорвалась на мине. Но, слава Богу, все были спасены. И вот ровно через девять месяцев, в бараке, на зоне, я и увидел свет.

Все три оставшихся до освобождения месяца я так орал, что зэки сочувственно говорили моим родителям: «Не иначе как певцом будет!»—не ошиблись.

Из Магадана мы переехали жить в прекрасный сибирский город Абаканск.

Папа работал на ПВРЗ—паровозовагоноремонтном заводе—слесарем, пока его не выгнали

за пьянку. Мама там же—техничкой. Жили во времянке, втроём, и ещё угол сдавали то одному, то другому постояльцу.

Когда учился я в шестом классе, в школе ввели уроки пения и организовали хор. Хормейстер Фёдор Фёдорович устроил прослушивание, заставил всех по очереди петь самую популярную тогда песню «Куба—любовь моя».

Я проорал первый куплет так громко, что Фефе, как мы его прозвали, захлопал в ладоши и, перекрывая мой ор, воскликнул: «Довольно! Хватит! Михаил, у тебя нет ни голоса, ни слуха. Поэтому я буду ставить тебе пятёрки просто так. Только ты на занятия ко мне не ходи. Договорились?»

И стал я частично свободным человеком. У всех—пять уроков, а у меня—четыре. Что хочу, то и делаю. Мама—на работе, папа—неизвестно где и с кем выпивает. Дома—квартирант дядя Рома, аккордеонист филармонии.

Вот он-то однажды меня и спросил, в чём дело. И удивился. И за неделю научил меня правильно петь «Куба—любовь моя», и всю нотную грамоту потом объяснил, и голос мне поставил.

И вот в конце учебного года пришла комиссия из районо, познакомиться с успехами нашего школьного хора, и увидела, что все на сцене поют, а я молчу. Молчу, потому что Фефе запретил мне рот открывать.

«Мальчик, а почему ты молчишь?»—председатель комиссии спрашивает. «Да ему медведь на ухо наступил!»—объясняет Фефе, и все хористы дружно смеются.

А председатель берёт в руки баян и говорит: «Что ж, давайте проверим! А ну-ка спой нам песню «Куба—любовь моя», да так, чтобы Фидель Кастро услышал».

И я запел. И все были поражены. И когда я кончил петь, все от души захлопали в ладоши, а председатель объявил, что включает меня в группу школьников, едущих на Кубу для творческого обмена.

На Кубе я действительно познакомился с Фиделем Кастро. Мы до сих пор с ним изредка переписываемся. За месяц, проведённый на острове Свободы, я обучился испанскому языку, стал петь по-испански и, несмотря на строжайшую дисциплину и контроль, попробовал кубинского рому и гаванскую сигару. Так что когда я вернулся в школу, стал я легендой, героем и звездой первой величины.

Мама моя по-прежнему работала техничкой, и мы, благодаря квартиранту, кое-как сводили концы с концами. Но внезапно появлялся пьяный папа и требовал от мамы денег. А однажды пришёл поддатый, открыл дверь и говорит ей: «Не дашь денег—убью!» Да как метнёт в неё кухонный нож! Да так сильно, что я потом не смог его вытащить из деревянной перегородки. Мама молчит, слова вымолвить не может.

А я встал вдруг между нею и отцом и говорю: «Уходи из нашего дома! И чтобы глаза мои тебя больше не видели!» Сказал—и аж задрожал весь. «Ты чего, сынок?»—начал было отец. «Уходи!»—повторил я.

И представляете—ушёл он. Ушёл навсегда из нашей жизни. Говорят, после этого он за ум взялся, пить бросил. Женился, и даже мальчик у них родился. Брат мой. Но я о нём так до сих пор ничего и не знаю.

Школу я закончил с похвальной грамотой, и устроила меня мать на пврз учеником токаря.

— А с пением как же? Бросили?—спросил хирург и добавил, обращаясь к ассистенту и операционной сестре:—Начинаем экстирпацию. Будьте особенно внимательны. Так. Зажимы. Кетгут. Скальпель.

— Как же, бросишь тут, когда мать постоянно твердит: «Учись, человеком станешь!» Так что днём—работа, а вечером музыкальная школа при Дворце культуры имени Карла Либкнехта. И потом, в армии, когда в стройбате служил, пел—в свободное время.

Лишь после армии, когда поступил я в музыкальное училище, только тогда я запел по-настоящему. Благодаря любви. Да.

Звали её Зоя Ильинична Сологуб. Была она преподавателем вокала. Только меня увидела, только меня услышала, так через день и призналась. «Мишенька,—говорит,—двадцать два года я ждала этой встречи!»

Разве на такие слова что-нибудь возразишь?

Всю свою душу она в меня вложила, всю свою любовь, пока приёмам пения и тайнам дыхания обучала… А когда пришло время окончания училища, сказала: «Всё, Миша, ты теперь сформировавшийся певец. И никто тебя ничему новому не научит и не переучит. Можешь петь в любом театре. Но знаешь, без высшего образования, без диплома в нашей бюрократической стране все дороги будут тебе закрыты. Поэтому езжай в Москву, в консерваторию. Вот тебе рекомендательное письмо. Там меня знают. И ценят. Держись самостоятельно—и тебя тоже будут ценить».—«А как же наша любовь, Зоенька?»—спрашиваю я. «А никак. Стара я, Миша, стала для тебя, ушли мои годы. Спасибо тебе за то счастье, что я испытала. Езжай. И не оглядывайся назад. Жизнь оперного певца всегда полна любовью. Новая партия—новая любовь. И никуда от этого не денешься. Любовь—одна. Принимай каждое новое чувство как продолжение предыдущего. С открытым сердцем».

— И как вас в консерватории приняли?—спросил хирург и добавил чуть тише:—Зажим. Кетгут. Скальпель.

— Всё было, как сказала Зоя. И как Вольф Мессинг мне предсказал. Случилось так, что возвращался он с гастролей в Москву, и ехали мы с ним в одном поезде, в одном купе. Я молчал, думал

о поступлении в консерваторию. А он вдруг все мои мысли и озвучил. Разговорились. И потом, когда в Москве прощались, задержал он мою ладонь в своей и, глядя пристально в глаза, произнёс с каким-то особенным чувством: «Пой, Миша, пой! Всё сложится хорошо. Потому что дано тебе столько, сколько и десятерым вместе взятым не снилось!»

И стал я студентом консерватории. И познакомился со всеми знаменитостями. И все приняли меня в свой круг. Свешников, Светланов, Бабаджанян, Магомаев, Покровский, Ведерников… и Гуго Тиц. Слышали о таком?

— Нет, не слышал,— сказал хирург.— Сейчас может быть немножко больно, так вы потерпите… Зажим. Кетгут. Скальпель… Хорошо! Не больно?

— Нет,— сказал певец.— Так вот, Тиц — профессор консерватории, педагог, солист Всесоюзного радио. Когда Гитлер грозился захватить Москву, то сказал, что первым расстреляет диктора Левитана, а вторым — певца Гуго Тица за его антифашистские песни. Вот под руководством Гуго Ионатановича я и имел честь обучаться и заканчивать консерваторию.

— Про Тица ничего не знаю, а вот про Вольфа Мессинга наслышан. Два купленных на свои деньги и подаренных военным лётчикам самолёта… Чтение мыслей, предсказания, гипноз… Неужели это всё правда?

— Правда, чистейшей воды. Я несколько раз встречался с Вольфом Гершеньевичем, так, представьте, после этого как под гипнозом был. А восьмого ноября, когда он умер, спел «Риголетто», и когда узнал — голоса лишился. И подумал, грешным делом: всё, гипноз закончен. Петь больше не смогу.

Друзья мною восхищаются: «Вчера ты пел, как Бог!» А я в ответ шепчу им: «Да, вчера, а вот сегодня…»

И посмотрела меня главный фониатр клиники Большого театра, выдающийся оториноларинголог, профессор Валентина Антоновна Фельдман-Загорянская, и говорит: «Мишенька! Да у вас огромная дыра между голосовыми связками. Дыра явно психогенного характера. Я, конечно, могу укол сделать, скальпелем кое-что, но тогда мне придётся взять у вас расписку, что все последствия вы берёте на себя. Лучше давайте поступим так. Подождём полгодика. Никакого пения и никаких разговоров. Вы даёте мне обет полного молчания! И мы ждём».

— Ну и как, выдержали вы обет молчания? — спросил у певца хирург.

— А что мне ещё оставалось делать? Молчу, а сам арию Фигаро из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» мысленно повторяю.

Зато когда голос вернулся ко мне и приехал я в город Казань на ярмарку вокалистов, уже как выпускник консерватории, произошло невероятное. Я так спел на ярмарке, что все театры Советского тогда Союза одновременно пригласили меня к себе на сцену.

«Небывалый случай! — воскликнул ректор консерватории.— Миша, куда тебя распределить? Решай!» — «Ну нет уж,— сказал я,— во все театры одновременно я распределиться не могу, а обижать никого не хочется. Давайте мне свободный диплом!»

И стал я свободным художником. И вернулся сюда, в распрекрасный наш сибирский город Абаканск, к маме. И мне, наверное, последнему оперному певцу при социализме, дали возможность самому выбрать себе по вкусу государственную квартиру!

И стал я ведущим солистом Абаканского государственного театра оперы и балета, где никто, кроме меня, две с половиной октавы взять не мог. Женился. Детьми обзавёлся, внуками… И почувствовал себя самым счастливым человеком в мире, который, кстати, весь этот самый мир и объездил с гастролями вдоль и поперёк. Так что всё, чего я хотел, всё у меня сбылось. И лишь одно меня тяготит: что до сих пор не знаю, где могилка моего отца. И брата своего не видел, найти бы его!

Сегодня мне исполнилось шестьдесят два года. Как вы, доктор, думаете, сколько я ещё проживу? Я ведь преподаю в Академии музыки и театра, хочется своих учеников на ноги, как говорится, поставить и на большую сцену вывести.

— По моим наблюдениям,— сказал хирург,— тот из мужчин, кто пережил свой критический возраст, шестьдесят два года, тот ещё долго живёт. Вот, полюбуйтесь-ка на свою аденому. Какую красавицу вы в себе вырастили! Теперь она мешать вам не будет. Живите сколько хотите! Машенька,— обратился он к операционной сестре,— отправьте пунктат на анализ, а её положите в банку со спиртом, чтобы потом студентам показывать. Редкий по своей величине экземпляр! А что касается поисков брата, так по некоторым признакам я и есть, Миша, брат твой младший. Как звали батюшку нашего репрессированного и посмертно реабилитированного? Семён Семёнович Дегтярёв?

— Точно. И я был бы Дегтярёвым, да когда получал паспорт, взял фамилию матери. И прославил её как Михаил Семёнович Победоносцев, певец, народный артист, профессор, доктор искусствоведения.

— А я взял фамилию отца и вот — весь на виду: Виктор Семёнович Дегтярёв, хирург, профессор, доктор медицинских наук. Выздоравливай, брат мой! Сам вставай на ноги и учеников ставь. Операция прошла успешно. Вместе сходим на могилку отца. Я знаю, где она.

— Точно?

— Точнее не бывает.

— Ну а я тогда, брат мой, приглашаю тебя на Кубу! В гости к Фиделю Кастро! На остров Свободы, рому кубинского попить, сигар гаванских

покурить,—сказал певец и включил свой знаменитый баритон:

> Куба—любовь моя!
> Остров зари багровой.
> Песня летит, над планетой звеня.
> Куба—любовь моя!

— У больного послеоперационная эйфория!—сказал хирург.—Машенька, сделайте ему два кубика димедрола с промедолом, пусть счастливый человек хорошенько отоспится!

Бесплатный сыр

— Очень хочется в Турцию!—сказал поэт Михаил Злобин своему другу, прозаику Константину Невинному.
— Да, в Турции хорошо!—засмеялся Константин.—Только родился—и уже турок! И твой намёк я отлично понял. Но ты же знаешь мой принцип: никому не занимать и ни у кого не занимать. А вот помочь заработать—это я могу.
— Да как нынче заработаешь? Все сферы влияния распределены, все ниши кругом заняты.
— Как? А очень просто! При помощи Интернета! Только ленивый, имея ноутбук, сейчас не зарабатывает. У каждого—свой сайт, блог, интернет-магазин… Была бы идея!
— А у тебя она есть?
— Есть, да ещё какая! Только, чур, я буду руководителем, ты исполнителем, а денежки—пополам. Идёт?
— Идёт!
— Идея проста, как всё гениальное. Каждый в России—поэтическая душа. И каждый пишет стихи. И мечтает опубликоваться. При социализме, в прошлом веке, это было, как ты сам помнишь и на своей шкуре испытал, почти невозможно. Все издательства и печатные станки принадлежали компартии. И нужно было стать её членом, а потом членом подчинённого ей Союза писателей, чтобы напечатать хоть что-нибудь. А ещё—цензура, идеологический контроль…Бр-р-р… Вспоминать не хочется. Да, группа избранных, отфильтрованных, дистиллированных писателей издавала книги, и гонорар им платили, и десять бесплатных авторских экземпляров присылали. Но большинство пишущих бились напрасно, отвергаемые армией штатных, запрограммированных на отказ рецензентов… Слава Богу, сейчас нет ни цензуры, ни партийного контроля. Но осталось огромное количество пожилых авторов, желающих напечатать свои стихи, да и молодые подросли. Вот на них-то мы и заработаем!

И появился в Интернете новый сайт под названием «Друзья Константина Невинного».

И был объявлен поэтический конкурс «Вдохновение». Условия: каждый желающий мог прислать свои тридцать поэтических строк. За первое место—премия пятьдесят тысяч рублей. За второе и третье место денег не полагалось. Участие в конкурсе анонимное. Голосование тайное. Сами участники должны назвать имя победителя. Срок—месяц.

Желающих поучаствовать в конкурсе и стать единственным и неповторимым победителем оказалось семьсот человек.

И через месяц был объявлен результат, по которому победителем и лауреатом мифической премии оказался поэт Михаил Злобин.

Остальным участникам конкурса Константин Невинный выслал семьсот виртуальных дипломов «Вдохновения» со своей факсимильной подписью и предложением выкупить наложенным платежом изданный одноимённый альманах—семьсот страниц, твёрдый переплёт, каждому по странице, на которой в очаровательной виньетке, поддерживаемой амурами и купидонами,—нетленное стихотворение из тридцати строк.

И процесс пошёл!

Деньги автору идеи, вдохновителю и организатору конкурса хлынули бурным потоком.

Частная типография «Семицвет», директором которой был Василий, сосед Константина по лестничной площадке, радовалась выгодному заказу и старалась проявить себя в лучшем виде. Михаил ходил в типографию за очередной пачкой альманахов, заклеивал их в конверты, старательно подписывал адреса авторов и заполнял бланки почтовых переводов.

Олег, внук Михаила, бегал на почту и отправлял бандероли наложенным платежом.

Шестьсот девяносто девять бандеролей отправил он.

Почему шестьсот девяносто девять? Да потому, что один чудак, семисотый по счёту, попросил прислать ему альманах «Вдохновение» бесплатно!

«Я понимаю ситуацию и не требую гонорара. Но пришлите хотя бы один бесплатный авторский экземпляр!»

За что и получил по «электронке» лаконичный исчерпывающий ответ: «Дорогой друг! В наше непростое и трудное время, когда все люди многострадальной России заняты одним-единственным процессом—выживанием, выслать вам бесплатный экземпляр мы не можем. Вспомните народную мудрость, гласящую, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке!»

Таким образом закончилась реализация проекта.

И друзья встретились на квартире у Константина, чтобы подвести итоги.
— Вот тебе, дорогой друг,—сказал Константин,—пакет, в котором честно и благородно заработанные тобою деньги. Ты по-прежнему хочешь в Турцию? Так вперёд! Хотеть не вредно. Их должно

хватить на путёвку с проживанием в пятизвёздочном отеле в течение тридцати дней!

И отправился Михаил Злобин на следующий день во Дворец труда нашего прекрасного сибирского города Абаканска, где работала постоянная ярмарка горящих путёвок.

Тридцать туристических фирм в этот день торговали счастливыми местами под солнцем в южных странах. Огромный зал, а по периметру—столы с ноутбуками, за которыми—операторши турфирм, одна другой краше, а над столами—вывески с названиями…

Выбрал Михаил Злобин самую красивую девушку под вывеской «Вдохновение-тур».

— Как вас зовут?—спросил он.
— Меня зовут Наташа.
— Очень хочется в Турцию, Наташа!
— Есть Кемер, Аланья, Мармарис… Вам куда?
— Мне без разницы, лишь бы на море!
— Море везде.
— А вы сами когда-нибудь бывали в Турции, Наташа?—улыбаясь, спросил Михаил.
— Да, и неоднократно.
— Так, может быть, вы составите мне компанию? Ведь я там бывал лишь в мечтах.
— С удовольствием! Вот вам двухместная путёвка. Давайте ваш загранпаспорт, я сниму ксерокопию.

Наташа сделала ксерокопию, аккуратно пересчитала деньги, вручила под роспись Михаилу путёвку на две персоны и сказала:

— Вылет послезавтра. Встречаемся в аэропорту Черемшанка, за два часа до вылета. О билетах я позабочусь.

Каково же было удивление поэта Михаила Злобина и его провожающих, когда в аэропорту в назначенное время Наташи не оказалось.

Дежурный администратор вежливо объяснил ему, что туристическая фирма «Вдохновение-тур» в их реестре не значится, и вообще самолёта в Турцию сегодня нет.

В расстроенных чувствах пришёл Михаил к Константину.

— Интересная ситуация!—сказал Константин.— Я так думаю, что нам нужно было всё-таки выслать этому бедолаге бесплатный авторский экземпляр. Может, поэтому ты сейчас не в Турции. Впрочем, не расстраивайся. Чем чёрт не шутит! Каждый в наше непростое и трудное время зарабатывает как может. Давай лучше выпьем коньячку и поговорим. Есть у меня одна новенькая креативная идейка!

Концерт Паганини

Когда меня, профессора Абаканской академии искусств, пригласили в Москву дать сольный концерт на скрипке, я с радостью согласился.

Юбилей консерватории!

Да, давненько я там не был—считай, со времени её окончания.

Как незаметно засасывает провинциальное болото! Годами от себя не отпускает.

А тут всё решилось мгновенно.

Мой бывший однокурсник, а ныне известный пианист Анатолий Баскаков позвонил и сказал:

— Будешь в Москве—моя квартира в твоём полном распоряжении. Я, к сожалению, на юбилее не буду, еду, понимаешь, в Болгарию на гастроли. Так что ключ оставляю соседям. Прилетишь—живи в своё удовольствие, все четыре комнаты твои. Только одно условие: дверь в кладовку не открывай ни в коем случае! Как бы тебе этого ни хотелось. Понял?
— А что у тебя там?
— Неважно. Однако я тебя предупредил!

И прилетел я в Москву, и открыл квартиру Толика Баскакова—двенадцатый этаж, вид на Москву-реку и Калининский проспект,—и прошёл по квартире.

Да, хорошо живут пианисты в столице! Ни в сказке сказать, ни пером описать. Не то что скрипач Евгений Иванович Фридман, то есть я, в прекрасном сибирском городе Абаканске. Третий этаж в пятиэтажной хрущобе, лифта нет, вид из окна на стройку и помойку, подвал затоплен, амбре… Бр-р-р… И ничего с этим не поделаешь.

Открыл я холодильник—а там чего только нет! Всё есть. Даже птичье молоко в шоколаде.

Выпил я коньячку на ночь, закусил бутербродом с красной икрой и прилёг в спальне, включив телевизор…

Только начал засыпать, как вдруг слышу откуда-то женский плач и голос:

— Да помогите же мне, кто там есть?

Встал я, одну дверь открыл.

Никого.

Вторую дверь открыл.

Никого.

А на третьей двери, гляжу, висит металлическая табличка—с черепом, двумя перекрещенными костями, молнией и надписью: «Не влезай! Убьёт!». Такие таблички я видел на столбах высоковольтных передач.

Ну и юморист Толик, думаю.

А из-за двери—женский голос:

— Да помогите же!
— Кто там?—спрашиваю.
— Откроете—увидите!
— У меня запрет—не открывать. Это ведь дверь в кладовку?
— Какой такой запрет? Откройте сейчас же! Я—жена Анатолия, и зовут меня Валентина.

Что делать, думаю, а сам от любопытства изнываю.

Потянул я, значит, дверь на себя, а она как бы сама собой и открылась!

И предстало моему взору чудо чудное, диво дивное: женщина в образе русалки, синеглазая, белокурая, обнажённая, по рукам и ногам блестящими цепями к полу и потолку прикованная, а на бёдрах—этакое металлическое приспособление, которое в старину, во времена рыцарей и колдуний, называлось «пояс целомудрия».

— Как вас зовут?—русалка спрашивает.

— Евгений Иванович Фридман,—отвечаю, слегка заикаясь от волнения и букву «р» не выговаривая.

— Женечка, значит?—красавица уточняет.—Так вот, милый Женечка, чтобы вы знали, мой муж, Толик Баскаков, старый хрыч, женился на мне в третий раз по счёту, официально, а вместо того, чтобы взять меня с собою в Болгарию, укатил туда с четвёртой кандидатурой, а меня, чтобы им не помешала, цепями здесь приковал. Так что вы—добрый молодец, мой спаситель и освободитель!

— Но ведь мы с ним одногодки!—возражаю.

— По вашему виду не скажешь. Богатырь, кровь с молоком! Впрочем, вам предоставляется прекрасная возможность доказать свою молодость и силу! Ключ от цепей в серванте, под зеркалом.

И освободил я от цепей красавицу Валентину, и допили мы с ней бутылку коньяка, и закусили птичьим молоком в шоколаде.

И заснул я в её молодых сладких объятиях под шёпот ласковый:

— Ах, какие у тебя нежные пальцы, Паганини ты мой длиннопалый…

На следующий день состоялся мой сольный концерт в консерватории.

Большой зал был переполнен. Очень уж меломанам хотелось услышать скрипку Страдивари, извлечённую из спецхрана в честь юбилея и выданную мне под роспись. А я должен был исполнить на ней знаменитую «Кампанеллу» Паганини, да так, как это могли сделать только божественный Паганини и я, Евгений Фридман.

Валентина, в полупрозрачном малиновом платье, сидела в ложе бельэтажа, и пока я играл первое отделение, казалось мне, что не на меня смотрит почтенная публика, а лишь на неё, русалку и красавицу.

— Ты бесподобен!—сказала в антракте Валентина.—А правда, что тебе дали настоящего Страдивари?

— Совершенная правда,—подтвердил я.

— Тогда ты должен, как Паганини, сыграть для меня на одной струне!

— Но, Валентина, это же легенда!

— Так оживи легенду!

Ну что тут было поделать?

Взял я у Валентины из театрального несессера пилку для ногтей. Подпилил три струны.

И колокольчики «Кампанеллы» божественно зазвучали под моим удлинённым смычком.

Когда лопнула первая струна, меломаны насторожились в недоумении…

Когда лопнула вторая струна, зашушукались…

Когда лопнула третья струна, зал оцепенел, в нём установилась гробовая тишина…

Но когда я на одной струне завершил исполнение, все повскакали с мест и неистово закричали:

— Браво! Браво! Брависсимо!..

Три дня после концерта мы бродили по Москве, выполняя юбилейную культурную программу. Покупали газеты с восторженными статьями обо мне. Плавали на речном трамвайчике… И когда пришло время возвращаться мне в прекрасный сибирский город Абаканск, Валентина сказала:

— Я счастлива с тобой! Летим вместе!

— А как же Анатолий?—возразил я.

— Анатолий хочет, но не может. А ты и хочешь, и можешь!—воскликнула Валентина.

— А, какие наши годы!—махнул я рукой и согласился:—Летим!

Но недолго длилось наше счастье.

Как пело в нашей однокомнатной хрущобе вульгарное радио «Шансон»:

> Недолго музыка играла,
> Недолго фраер танцевал…

Ровно девять месяцев.

А как только родила мне Валентина дочку Ирочку—словно бес её обуял.

— Не хочу жить в этой убогой однокомнатной хрущобе!—твердит.—А хочу жить в четырёхкомнатной, на двенадцатом этаже!

Поднапрягся я, добрый молодец, с финансами—и переехали мы в новую квартиру.

— Не хочу день и ночь за твоим ребёнком ухаживать, пелёнки стирать!—твердит.

Поднапрягся я—и нанял круглосуточную няньку для Ирочки.

— Не хочу свою молодость губить в четырёх комнатах и в этом паршивом Абаканске прозябать!

И загуляла моя синеглазая белокурая русалка по морям, по волнам, нынче здесь, завтра там… То с одним таксистом, то с другим.

Прихожу я однажды вечером домой после занятий со студентами, а няня держит на руках плачущую Ирочку и говорит мне, показывая на спальню:

— Туда нельзя!

— Почему?—спрашиваю.

— Потому что там Валентина с мужчиной какимто.

Потянул я, значит, дверь спальни на себя, а она как бы сама собой и открылась.

И понял я, что нашему счастью пришёл окончательный конец.

Посмотрели Валентина и таксист на меня вопросительно. И сказала Валентина таксисту:
— Ну чего ты смотришь? Удали его из нашей спальной!

И вскочил таксист, косая сажень в плечах, и заломил мне два пальца на правой руке, да так, что кости хрустнули.
— Слышал, что она сказала?—спросил.

И я потерял сознание.

Очнулся—Валентина кричит. Доченька моя любименькая ревмя ревёт. Нянька причитает:
— Господи, помилуй, Господи, помилуй! Потерпите, сейчас скорая помощь приедет!

И приехала скорая помощь, и отвезли меня в хирургическое отделение травматологии, и сделали мне операцию, совместили фаланги пальцев, загипсовали и оставили меня в больнице.

Звоню я в Москву по мобильному телефону Толику Баскакову и говорю:
— И зачем это я, Толик, тебя тогда не послушался? И зачем открыл эту дверь проклятую?

А Толик слушает и смеётся:
— Ничего страшного! Зато теперь у тебя есть дочка Ирочка. А насчёт Валентины не беспокойся. Выздоравливай и жди. Скоро я прилечу, заберу её к себе и прикую в кладовке цепями по новой. Всётаки чувство моё к ней не остыло. Всё познаётся в сравнении. Да и скучно как-то без неё в столице, понимаешь.
— Согласен, только с одним условием,—говорю я.—Ирочку я тебе не отдам!
— Само собой!—Анатолий смеётся.—Это твоё лучшее произведение. Поправляйся и учи её играть на скрипке, Паганини ты наш длиннопалый!

Клуб «Золотая осень»

— У моей бабушки было пятнадцать детей, у моей мамы—шесть, а у меня—двое,—сказала Софья Ивановна Бурдакова на встрече с пенсионерами православного клуба «Золотая осень» при областной библиотеке, куда я был приглашён в качестве корреспондента газеты «Абаканский ветеран».— И над всеми детьми тяготело какое-то проклятие. Все жили очень мало и умирали не от старости. Кто в этом был виновен, я не знаю. Дьявол, наверное. Бог бы этого не допустил, а дьяволу всё можно. Иначе зачем моего дедушку, трудолюбивого крестьянина, добрейшей души человека, вдруг раскулачили, а потом осудили по политической пятьдесят восьмой статье на десять лет лишения свободы без права переписки? Разрушили крепкую семью, обрекли на неминуемую погибель.

Бабушка была сослана в глухую тайгу, где среди вырубки стояли два барака—один женский, другой мужской.

Зимой всех сосланных заставляли работать вздымщиками, то есть обдирать кору с сосен в виде стреловидных насечек остриями вниз и прикреплять жестяные воронки, куда по весне стекала смола, живица.

Зимой на крутом морозе, а летом на изнуряющей жаре до полного изнеможения трудились моя бабушка и моя мама.

В одном из этих бараков я и родилась, и прожила там семь лет.

Потом бабушка умерла от сыпного тифа, а я и мама переехали в деревню Усолку, где была школа, которую я и окончила с похвальной грамотой «За отличную учёбу и примерное поведение».

Грамоту окаймляла красная рамка. А вверху, посередине, между знамёнами, выпукло выделялись два овальных портрета—Ленина и Сталина.

Моей мечтой было тогда выучиться на радиоинженера, поэтому я решилась и уехала из деревни Усолки сюда, в город Абаканск, и поступила во втуз при заводе телевизоров. Одновременно училась и работала, проживая в рабочем общежитии на улице Спартаковцев, в Николаевской слободе.

Школьницей вступила я в Коммунистический союз молодёжи, а на заводе—в Коммунистическую партию. И поэтому возглавила бригаду коммунистического труда.

Чем, спросите вы, наша бригада отличалась от обычной бригады?

Да ничем!

Просто мы были под особым партийным контролем, и к нам строже относились. Например, опоздает кто-нибудь на смену хоть на пять минут— такую проработку в парткоме потом устроят, так настращают лишить и того и сего, что в другой раз опаздывать не захочешь.

Зато на всяких торжественных мероприятиях усаживали нас на первый ряд и говорили с трибуны, что гордятся бригадой коммунистического труда за то, что она трудится по-коммунистически и перевыполняет норму на много процентов.

Что мы изготовляли, даже сейчас, в эпоху гласности и свободы слова, сказать не могу, потому что—государственная тайна и дала подписку о неразглашении. Хотя во всех газетах давно написано, что изготовляли мы совсем не телевизоры, а работали на «оборонку».

На заводе я встретилась с Олегом Степановичем Шевляковым, начальником отк, который стал моим мужем. Но фамилию менять не стала.

Сыграли скромную свадьбу.

Двухкомнатную квартиру получили.

И родилась у нас дочка Светлана, а потом и сын Игорёк.

Умницы, симпатяги: смотришь—не насмотришься. Всё бы хорошо. Но дьявольское проклятие и тут сработало. Открылась у доченьки неизлечимая болезнь. Врачи сказали, что протянет года два или три, и отказались лечить.

Спасибо, травница Пелагея из Иркутска помогла, и прожила Светочка двадцать один год, и школу закончила, и на филологическом факультете пединститута поучилась. Много читала, стихи писала и рисовала, и все её так любили, что студенты частенько приходили к нам домой, где образовалось что-то вроде литературно-художественного салона.

Втуз я, конечно, окончила и стала радиоинженером, но почувствовала, что это—не моё, и все силы стала отдавать мужу и воспитанию детей.

Но партком заставил меня продолжить учёбу в вечернем институте марксизма-ленинизма, на атеистическом отделении, и вести соответствующую пропаганду среди рабочих завода.

Дело в том, что на заводе нашем обнаружились члены различных сект: баптисты, иеговисты, адвентисты седьмого дня… Приходилось всех собирать вместе, читать им лекции, а потом проводить индивидуальные беседы о вреде религиозного дурмана, доказывая, что Бога нет и что они глубоко заблуждаются в своём невежестве.

И вдруг случилось очередное несчастье.

Мой сын, инструктор по скалолазанию, повёл группу новичков на «Столбы», в наш замечательный сибирский скальный заповедник, и стал поднимать их с помощью страховки на Второй столб. Страховка подвела, он, оступившись, оборвался, переломал себе все рёбра и был в бессознательном состоянии доставлен в больницу.

Днём и ночью дежурила я у его постели.

И когда мне показалось, что лекарства ему уже не помогают, начала я внезапно молиться, обращаясь к Богу, Спасителю всемогущему… Откуда и слова-то нужные взялись?

И—чудо!

Молитвы мои подействовали!

И сын мой, Игорёшка любимый, единственный, выздоровел!

И покаялась я в грехах своих, и причастилась, и приняла святой обряд крещения.

И поняла, что снято с меня дьявольское проклятие. Поняла—и словно преобразилась.

Всю Библию—и Ветхий, и Новый Завет, как раньше труды Маркса и Энгельса, законспектировала, просветилась—и стала служить Богу, возрождая Свято-Никольский храм—сначала само здание, а потом и православную воскресную детскую школу при нём.

От чисто хозяйственной деятельности постепенно, по благословению отца Серафима, перешла к учебной и духовной.

Какие мы проводим уроки?

Это Закон Божий, история, словесность, пение, рисование и рукоделие.

Да, времена изменились.

Раньше все говорили: «Слава КПСС»,—а сейчас все говорят: «Слава Богу».

Завода, на котором я проработала двадцать пять лет, уже не существует. На его месте—современный, в европейском стиле, Торговый квартал.

А мы с мужем, Олегом Степановичем, продолжаем жить душа в душу. Вот он, сидит среди вас. Поднимись, Олег, не стесняйся!

При этих словах все православные пенсионеры, в основном старушки, заполнившие до отказа читальный зал, одобрительно зашушукались, оживились и дружно захлопали в ладоши.

— А вот мой сын, Игорь Олегович, живой и вновь здоровый благодаря слову Божьему и молитве. Снова водит он новичков на «Столбы», обучает искусству скалолазания.

А вот и мои ученики, воспитанники воскресной школы: Иван, Пётр и Вадим. Они уже окончили обучение, и я уверена, что изберут себе верную дорогу. Потому что в школе, как сказал однажды очень точно отец Серафим, перед ними открылась красота православного мира на пути, которому нет и никогда не будет конца.

Я не раз уже убедилась, что на всё—воля Божья, и хочу, чтобы на всех вас снизошла его благодать,—сказала Софья Ивановна Бурдакова и смахнула уголком платочка с глаз набежавшую слезу.

Тут с первого ряда встал в полный рост молодой, красивый, стройный, в чёрной приталенной рясе, священник—упомянутый ею отец Серафим.

И повернулся он к залу просветлённым лицом и сказал:

— Братья и сестры, давайте помолимся! Вознесём нашу молитву во славу Божью за всё хорошее, что Он творит, преображая души наши…

И встали православные, и склонили головы, перекрестившись, и зашептали хором слова молитвы, известной всем им, только не мне, грешному.

Все молились, а я стоял и молчал, некрещёный корреспондент, журналист, «золотое перо» нашего прекрасного сибирского города Абаканска, представитель второй древнейшей профессии, журналюга эдакий, уже давно не верящий по долгу своей службы ни в Бога со свечкой, ни в чёрта с кочергой.

Простой художник Филипчук

При социализме художник Филипчук был заведующим художественным фондом. Все заказы и финансовые потоки шли через него.

Нужен бюст Ленина? Пожалуйста! Нужны портреты членов Политбюро или ЦК КПСС? Пожалуйста! Нужно оформить Красный уголок на предприятии? Без проблем! Народному художнику—столько. Заслуженному—столько. Простому—столько. И так—каждый месяц.

Да, был он простым художником, но самым главным из них, потому что все вокруг зависели

от его подписи. И неспроста любил он повторять народную мудрость: «Не место красит человека, а человек место!»

Я, как председатель Абаканского Союза писателей, частенько поднимался к нему в мастерскую — по поводу и без повода, так, поболтать о том о сём, кофию попить. А кофе, надо прямо сказать, у него был отменный! Аромат с седьмого этажа — на всю округу.

Пьём это мы, значит, кофий, блаженствуем, и я в который раз уже спрашиваю:

— Сергей, а почему ты до сих пор ещё не заслуженный?

— А зачем это мне? — привычно отвечает он. — Ведь всё у меня есть: квартира, дача, машина, кабинет заведующего худфондом в старинном особняке, мастерская, где мы сейчас находимся, — сорок квадратных метров, центр города, из окна — вид на Караульную сопку с часовней Параскевы Пятницы. Вон, полюбуйся: фабрика фотобумаги «Квант» напротив, речка Кача, на берегу которой жил и в которой купался наш великий художник Василий Иванович Суриков, а теперь я живу… Чего ещё желать? — улыбаясь, шутит он.

— А ты всё-таки подсуетился бы! — возражаю я. — Звание — оно тебе не помешает. И даётся на всю оставшуюся жизнь. Вот я — заслуженный работник культуры и поэтому имею льготы на оплату квартиры, телефона, проезда в общественном транспорте. Разве это плохо?

Но Сергей был неумолим.

— Как я в глаза своему учителю, художнику Заславскому, посмотрю, когда в Москву приеду? Если он — простой, а я — заслуженный? Нет, пусть всё остаётся как есть.

Но всё как есть оставаться почему-то не оставалось.

Застойный социализм в 1991 году рухнул, вместе с распадом могучей когда-то империи СССР — Союза Советских Социалистических Республик. И начался психоз приватизации общественной собственности при помощи ваучеров. Худфонд ликвидировали. Особняк, где была контора Филипчука, «прихватизировал» богач из Москвы и открыл в нём фирму «Реставрация».

Огромную мастерскую Филипчука разделили на три части. Одна — ему, а две — представителям подрастающего поколения. И остался он в маленьком закутке, с видом на фабрику фотобумаг, которую тоже закрыли, приватизировали и сдали в аренду торговцам. Так незаметно, в разборках по делению и присвоению недвижимости, прошло двадцать лет.

Кому нужна сейчас фотобумага?

На дворе — век новых технологий. У всех компьютеры, цифровые фото- и видеокамеры, ксероксы, струйные и лазерные принтеры.

Сверкает зеркальной поверхностью стена торгового центра «Квант» с громадным экраном над входом, отражающим все твои желания. Заходи, покупай что надо. Всё есть!

А мы сидим как ни в чём не бывало у него в мастерской, ароматный кофе пьём, о переменах в обществе рассуждаем, о грядущем празднике 12 июня — Дне независимости России. Какой независимости? От кого?

Как вдруг — звонок домофона, и через пять минут входят в мастерскую два человека, мордоворота, в форме судебных приставов.

— Вы — художник Сергей Александрович Филипчук? — спрашивают.

— Ну, я, — Сергей отвечает.

— Тогда распишитесь. Вот постановление суда о выселении вас с незаконно занимаемой площади. Двадцать лет вы не платили за неё ни копеечки, поэтому всё имущество, находящееся здесь, подлежит описанию в счёт погашения долга, а само помещение переходит к Управлению Комитета недвижимости при администрации Абаканской области.

Услышав это, Сергей побледнел, потом покраснел.

— Да как вы смеете! — воскликнул он. — Да это моя мастерская, а в ней — мои картины, да им цены нет!

— Всё на свете имеет цену. И у нас есть ценник, — судебные приставы говорят. — А не хотите по-хорошему — будем действовать с позиции силы.

— Нет, ничего у вас не выйдет! — закричал Сергей.

И вскочил он на подоконник, и распахнул створки широкого окна с видом на торговый центр «Квант», часовенку Параскевы Пятницы и речку Качу, на берегу которой проживал наш великий живописец Василий Иванович Суриков, распахнул, да так, что вылетели стёкла со звоном и вниз полетели…

И очень медленно и тихо произнёс:

— Я сейчас в знак протеста выброшусь из окна!

И закричал, высунувшись наружу и уцепившись руками за раму:

— Помогите, люди добрые! Грабят!

Внизу, около торгового центра, мгновенно собралась толпа. Судебные приставы бросились стаскивать художника с подоконника, а он стал отбиваться и кричать ещё сильнее:

— Помогите! Убивают!

И вдруг резко оттолкнулся — и полетел вслед за стёклами с высоты седьмого этажа…

Но не разбился, а отделался несколькими порезами и лёгким испугом.

Дело в том, что недавно, ради великого всенародного праздника — Дня независимости России, как раз под его окном какой-то предприниматель установил для детей надувной батут — аттракцион «Кенгуру», где озорные дети могли бы кувыркаться и радоваться жизни. Так Сергей упал, как большой ребёнок, в самый центр огромной резиновой

подушки, подпрыгнул несколько раз и оказался в руках взволнованных зрителей.

Приставы сказали мне, что придут через три дня, и как ни в чём не бывало удалились.

Я поднял Серёжу на лифте в мастерскую, смазал кровоточащие порезы на руках художника йодом и стал отпаивать его крепким, только что заваренным кофе с коньяком.

— Нет, я им покажу, как мастерскую отнимать! Я им покажу! — долго повторял неудачник-самоубийца, пока, наконец, не успокоился.

Поступок художника Филипчука не остался незамеченным. Кто-то успел заснять его полёт на мобильный телефон в режиме видео, и этот сюжет много дней крутили по всем каналам ТВ. А в газетах и журналах нашего прекрасного сибирского города Абаканска появились портреты художника с заголовками типа «Так поступают настоящие герои!».

Сам губернатор пригласил Сергея к себе на приём и имел с героем двухчасовую беседу, в результате которой предложил ему нарисовать свой портрет.

Целый год трудился простой художник Сергей Александрович Филипчук над живописным портретом губернатора. Идёт губернатор над великой сибирской рекой по Коммунальному мосту, соединяющему половинки Абаканской области, равной по величине двум Англиям, трём Германиям и четырём Франциям, вместе взятым, и смотрит вокруг добрым взглядом, а голуби слетаются к нему со всех сторон — и клюют зерно из протянутых щедрых его ладоней.

За это время Филипчук стал сначала заслуженным художником, а потом и народным.

Презентация портрета губернатора происходила на корабле «Св. Николай», на котором когда-то будущий вождь мирового пролетариата и создатель империи СССР, ныне уже не существующей, В. И. Ульянов (Ленин) плыл по Енисею в царскую ссылку, осуждённый за свою революционную деятельность.

— Как жаль, — сказал губернатор, — что этот замечательный корабль сейчас приварен намертво к речному дну и не может никуда уплыть! Но мысленно, дорогие друзья, мы всё равно плывём с вами в светлое будущее, несмотря ни на какие временные трудности. И моё пожелание могучему отряду наших прекрасных художников, наследников таланта Сурикова, чтобы они каждому из здесь присутствующих нарисовали такой же прекрасный портрет, какой сумел нарисовать Главный художник Абаканской администрации, а с сегодняшнего дня и академик Сергей Александрович Филипчук. Выпьем же за то, чтобы не оскудела талантами земля сибирская!

Был, был и я на этом историческом корабле, на презентации, и пил вместе со всеми, как председатель Абаканского Союза писателей, у которых, кстати сказать, недавно отобрали шикарное помещение на Стрелке, где Кача впадает в Енисей, и отдали представительству посольства Белоруссии.

Первый этаж, центр города.

Так что если бы я и захотел прыгнуть в окно в знак протеста, то прыгнуть мне теперь практически неоткуда…

Горе луковое

В субботу вечером поэту Григорию Бычинскому позвонил бард-менестрель Толик Малышев и, чуть не плача, сообщил, что только что похоронил свою мать и ему так одиноко и грустно, что впору хоть самому на тот свет.

— Не тот ли это Толик, что пять лет за воровство отсидел? — спросила жена у поэта.

— Тот самый, но он за ум взялся, бардом-менестрелем стал, на гитаре играет, поёт, сам песни сочиняет. А недавно мы в журнале «Зима и лето» напечатали подборку его стихов.

— Знаю я этих бардов-уголовников! Воздержался бы ты от поездки.

— Нет, Ниночка, я уже пообещал. Уж очень он просил приехать. И за такси, говорит, заплатит, только приезжай быстрее.

— Ну, делай как знаешь, я своё мнение высказала, только адрес его на всякий случай мне запиши.

И взял поэт Бычинский такси, и уже через пятнадцать минут был на противоположном берегу Енисея, в Шинном посёлке нашего прекрасного сибирского города Абаканска. И поднялся он на пятый этаж старинной хрущёвки, и постучался в железную, с глазком, дверь, и она мгновенно перед ним распахнулась.

На пороге возникла улыбающаяся старушка и спросила:

— Вы к кому?

Тут же из-за её спины появился Толик Малышев и воскликнул:

— Мама, я же говорил вам, чтобы вы не показывались из своей комнаты!

— Это твоя мама? — удивился Бычинский. — Ты же сказал…

— Я пошутил. Надо же как-то мне было тебя заманить! Без повода ты бы ни за что не приехал. Проходи, а то так грустно, что и выпить не с кем. Все друзья после моей отсидки куда-то подевались. Некому, понимаешь, даже песню спеть.

И провёл бард-менестрель Толик Малышев поэта, члена редколлегии журнала «Зима и лето» Григория Бычинского в комнату с балконом, и усадил за круглый стол, на котором стояла бутылка водки, а рядом лежала огромная луковица. И налил водки в два стакана, и сказал:

— Ну, давай выпьем за здоровье моей мамы, — и добавил громче, повернув голову к соседней

комнате: — Мама! Идите сюда! За ваше здоровье пить будем!
— Спасибо! — послышался старческий голос. — Ты же знаешь, что я не пью, и тебе не советую.
— Ну, как знаешь. А мы давай, Григорий, выпьем за мою маму-пенсионерку, которая проработала всю жизнь свою на шинном заводе… Чтобы она ещё долго жила, лет до ста, и поила меня, и кормила! Я ведь сам пока нигде не работаю. Вот, получил гонорар за стихи в журнале…
— Ну, давай, — согласился Григорий, — хорошо, что за здравие, а не за упокой.

Выпили.

Толик мгновенно запьянел и запел под гитару:

Сижу на нарах, как король на именинах,
И пайку серого стараюсь получить.
Капель стучит в окно,
А сердцу всё равно…
Я никого уж не сумею полюбить.

— Нравится? Моя песня! Все меня на зоне за неё на руках, можно сказать, носили.
— А я где-то читал, что её сочинил Глеб Горбовский, — возразил Григорий.
— Присвоил. Сейчас мода такая — чужие песни за свои выдавать.
— А где жена твоя?
— А, в деревню к тёще уехала. Последние денежки ей на дорогу отдал, ни копеечки не осталось. Может, поможешь материально?
— Да я вообще-то с собой наличку не ношу. Было пятьсот рублей, так за такси отдал. Приезжай ко мне завтра, я тебе сколько надо одолжу.
— Ну уж нет! — воскликнул Толик. — Завтра, завтра, не сегодня — так ленивцы говорят. Да я никогда ни у кого и не одалживался.

Тут зазвонил мобильный телефон.

— Как доехал, Гриша? — спросила Нина.
— Хорошо, не беспокойся, родненькая! Всё у меня хорошо.
— Ну, смотри не злоупотребляй!
— Что ты, о чём разговор? Ты же меня знаешь!
— Тогда до встречи.
— До встречи, любимая!
— Кто это тебе звонил? — поинтересовался Толик.
— Жена. Беспокоится.
— И ты её до сих пор любимой называешь?
— Да, у нас взаимное неугасающее чувство. Я даже книгу стихов в прошлом году издал, ей посвящённую, под названием «Тебе, любимая!».
— А моя стихов не читает. Деревня! И песен моих не любит. От них, говорит, тошно у неё на душе. А ну-ка покажи мне свой мобильник! Ого! Самый современный! С наворотами! И фото, и видео, и Интернет в нём есть! Вот и ладненько! Сейчас я его загоню — и деньги будут!
— Да никто его не купит. Очень дорогой, — возразил Григорий.
— За три бутылки водки купят! И мой сосед Петя сейчас это всё быстро устроит.

Воскресным утром проснулся Григорий Бычинский от головной боли.

— Ах, Ниночка, как голова трещит! И луком пахнет!
— Ещё бы не болела! Хорошо же ты напился вчера, как дурак, на поминках!
— Да не было никаких поминок. Это он так пошутил, чтобы меня достать. Кстати, надо мне позвонить ему. Спросить, как он там. Ты не видела, где мой мобильник?
— Нет у тебя теперь мобильника. Твой Толик сказал, что ты решил ему помочь материально и продал его соседу за большие деньги.
— Да как же так? Да не мог я этого сделать, там же две симки с адресами, телефонами, фотографиями…
— Вот твои две симки, он мне их отдал, когда я за тобой приехала. Неужели ничего не помнишь?
— Нет, не помню.
— Эх, говорила же я тебе, чтобы воздержался ты от этого визита. Вот он тебя и достал. Ну ничего, в следующий раз умнее будешь. Поднимайся и беги скорее под душ, горе ты моё луковое!

Первая скрипка в оркестре

То, что я рогоносец, ни для кого никогда не было тайной. Рога мои отрастали естественно, и никто ни в чём не был виноват.

Жил я тогда, после окончания технологического института, в общежитии на улице Марковского.

Общежитие смешанное, пятиэтажное: этаж — девушки, этаж — юноши; комнаты гостиничного типа, туалет и душевая — в одном крыле, кухня — в другом.

Живи и радуйся!

Все условия для женихов и невест.

И влюбился я в скрипачку Машеньку Иванову, выпускницу Свердловской консерватории, распределённую в наш прекрасный сибирский город Абаканск в связи с образованием у нас Сибирского симфонического оркестра.

Высокая блондинка с васильковыми голубыми глазами и длинными нежными музыкальными пальцами. Про таких поётся в народе: «Посмотрит — рублём подарит».

«Превратим Сибирь в край высокой культуры!» — такой лозунг висел над фасадом филармонии и мелькал тогда в каждой газете.

— Зачем превращать область в край? Надо превращать её в центр культуры! — сказал я Машеньке, едва мы познакомились.

И она со мною согласилась. И пригласила меня на симфонический концерт.

Бах. Моцарт. Вивальди.

Машенька играла по нотам, сидя в глубине оркестра и глядя на пюпитр. Дирижировал седой

маэстро. Но я смотрел не на него, а на Машеньку, я любовался ею, слушая божественную музыку то с открытыми, то с закрытыми глазами. Слушал, набираясь вдохновения и смелости.

Потом я провожал её от филармонии до общежития. Читал стихи Ахматовой, Цветаевой, Пастернака… И, конечно же, свои, только что рождённые:

Маша, Маша, ты—мой свет!
И тебя прекрасней нет.
Ты—как море кораблю.
Знай, что я тебя люблю!

И после третьего концерта по превращению Сибири в край высокой культуры я сказал:
— Маша! Позволь сделать тебе предложение: выходи за меня замуж!

Неделя прошла для меня в мучительном ожидании.

Маша сомневалась, колебалась, и лишь только когда в дело вмешалась приехавшая из Свердловска её мама, объявила:
— Федя, я согласна!

Все пять этажей общежития пришли поздравить нас.

Комсомольско-молодёжная свадьба удалась на славу.

Комната, которую совет общежития выделил нам как молодожёнам, была завалена подарками и цветами.

Медовый месяц мы провели в Крыму, на берегу моря, в старинном одноэтажном Коктебеле, который был тогда центром планеризма и поэтому назывался Планерское.

Мы купались в бирюзовом заливе, выискивали в прибрежных волнах светящиеся красными огоньками сердолики, восходили на потухший вулкан Кара-Даг и даже поднялись однажды на планёре над Коктебельской бухтой—красота, восторг неописуемый, до сих пор, как вспомнишь, дух захватывает…
— Машенька, я так счастлив!—кричал я, пролетая над виноградниками.
— Я тоже счастлива!—вторила мне моя молодая жена.
— И я хочу, чтобы у нас родились близнецы!—продолжал я.
— Почему обязательно близнецы?—удивлялась Маша.
— Потому что я очень люблю детей и хочу, чтобы их было как можно больше, на радость тебе и мне!

Но как я ни старался, детей у нас почему-то не было.

И только на приёме у врача по этому поводу, когда он собирал у меня анамнез, вспомнил я, что перед поступлением в технологический институт, на факультет «Прочие дисциплины», соблазнённый повышенной стипендией, подписал я бумагу, в которой ясно было сказано, что факультет вреден для здоровья, так как связан с изготовлением компонентов засекреченного тогда ракетного топлива, и, возможно, у тех, кто поступает, впоследствии будет нарушена репродуктивная способность.

Тогда я не придал этим словам особого значения, бумагу подписал и с отличием окончил институт.

Машенька, как могла, меня успокаивала.
— Что ты, Федя, ведь всё у нас хорошо, ведь мы с тобой счастливы! А что нам ещё нужно?

Чтобы укрепить наше семейное счастье, на химкомбинате «Ионесси» партком, профком и завком решили выделить нам квартиру в хрущёвской пятиэтажке: третий этаж, две изолированные комнаты, совмещённый с ванной санузел.

И мы продолжили счастливую жизнь.

Я работал на химкомбинате начальником цеха. Она играла в оркестре. С утра—репетиции, вечером—концерты.

И вот однажды, когда Маша была с оркестром на гастролях в Болгарии, получил я телеграмму: «Федя у нас будет ребёнок поздравляю тчк».

Но родился не один ребёнок, а два: близнецы, двойняшки. Как я хотел!

Таня и Ваня.

И Таня, и Ваня как две капли воды были похожи на художественного руководителя и главного дирижёра симфонического оркестра Илью Лазаревича Миллера.

Я по этому поводу нисколько не комплексовал.

Таня и Ваня росли весёлыми, наделёнными всевозможными талантами. Ваня сейчас знаменитый художник, живёт в Израиле. Таня—известная певица с удивительным меццо-сопрано, живёт в Италии, но дело не в этом.

А в том, что счастью нашему не было предела, хотя предел ему чуть было не наступил. Хорошо, что вмешалось Провидение, и всё обошлось наилучшим образом.

Как говорится, нет худа без добра.

Однажды, когда я был на работе, а дети—в детском саду, затеяла Маша генеральную стирку на нашей старенькой стиральной машине «Снежинка». И когда уже доставала из неё бельё, отжимала между двумя резиновыми валиками при помощи коленчатой ручки справа и развешивала на горячий змеевик, электрошнур, протёртый на сгибе, замкнул провода, и ударило её мощным разрядом электрического тока…

Как потом рассказывал мне Гоша, сосед по лестничной площадке:
— Захотелось мне выйти в магазин за покупками, открываю дверь, а там, за нею, лежит Мария Петровна, с мокрой наволочкой в руке, в бессознательном состоянии, и шепчет: «Скорую вызывай! Быстрее!»

И как потом рассказывала мне Машенька:

— Стукнуло меня током, и прилипла я к змеевику, насилу оторвалась, упала и поползла к двери, шепча слова откуда ни возьмись пришедшей мне на ум молитвы: «Господи, спаси и сохрани меня ради деток моих Тани и Вани и мужа моего Феденьки…»

Слава Богу, скорая помощь прибыла незамедлительно.

Маша находилась уже в состоянии клинической смерти. Но экстренные мероприятия по реанимации, спасибо врачу Якову Абрамовичу Фельдману, с которым я до сих пор поддерживаю дружеские отношения, увенчались успехом.

После выписки из больницы атеистка по воспитанию Маша поверила в Бога, приняла обряд крещения и стала прихожанкой Покровской церкви.

Мало того, у неё обострилась музыкальная память, и она стала играть без нот все скрипичные партии.

Бах, Моцарт, Вивальди — в совершенстве, без проблем.

Увидев это, главный дирижёр и художественный руководитель, отец Тани и Вани, Илья Лазаревич Миллер объявил Машу первой скрипкой и со словами: «В симфоническом оркестре чем человек сидит ближе к дирижёру, тем он больше получает», — вывел её из глубины оркестра и вместо двухсот двадцати назначил ей оклад жалованья в шестьсот рублей.

Мало того, Машенька вдруг необычайно похорошела, её васильково-голубые глаза стали коричневыми, как две спелые смородинки, а волосы — чернее воронова крыла!

И тут же в неё влюбился флейтист оркестра Арам Мартиросян.

Но я по этому поводу не комплексовал.

И родились у нас близнецы-двойняшки, как я хотел, Наташа и Аркаша.

Сейчас Наташа живёт во Франции, она известный художник-модельер. А Аркаша живёт в Англии, он — полиглот, знает все европейские и азиатские языки и преподаёт в Кембридже славянскую мифологию.

И все вокруг нас с Машенькой счастливы.

Она оставила симфонический оркестр и поёт в церковном хоре.

Я ушёл с химкомбината «Ионесси», поскольку меня, как борца за его закрытие, избрали депутатом в Законодательное собрание Абаканской области, и я выдвинул лозунг: «Превратим Сибирь в экологически чистый центр!» И большинство депутатов — эдакая фракция счастливых рогоносцев, хоть про каждого рассказ пиши, — меня поддерживает.

Стихами я, конечно же, давно не грешу, они сделали своё благородное дело.

Перешёл на прозу. Пишу иногда публицистические статьи и злободневные рассказы для газеты «Абаканский патриот».

А недавно позвонил мне редактор журнала «Новый Абаканский литератор», попросил денег на издание очередного номера и рассказ.

— Деньги есть, а рассказа нет! — сказал я ему.

— А вы напишите! — сказал он.

— О чём?

— О вашей жизни, разумеется; желательно — о любви. Только правду, правду и ничего, кроме правды!

Я просто вынужден был согласиться, вот и написал этот рассказ.

Тем более — время есть. Начался сезон летних отпусков. Все дела закончены, и завтра мы с Машенькой садимся в поезд и едем в Крым, чтобы из окна вагона посмотреть на новую Россию, а потом вспомнить молодость.

Да, всё изменилось.

Крым вернули крымским татарам.

Планерскому вернули название Коктебель, и центр планеризма стал многоэтажным центром туризма, над которым, к сожалению, уже не полетаешь.

Борис Шигин

Как долог век! Как сказка недолга!..

● ● ●

Так и живу, мне большего не надо.
Не надо быть участником парада.
Я шумной вечеринке предпочту
Общенье с другом или же собакой,
Что, в общем-то, одно и то же… Дракой
Меня давно уже не зазовёшь
Решать непримиримый спор. Всё ложь,
Всё суета сует и искушенье
Нарушить мирное теченье лет. Печенье—
И то должно в духовке полежать,
Чтоб вкусным быть! А мы давай рожать
На свет детей без матери… Наивно!
Луг зеленеет только после ливня,
Лишь после ливня в рост идёт листва,
И дух такой, что всё вокруг родится:
Сад зацветает, и гнездится птица,
И побеждает сила естества!

Так и живу, за жизнью наблюдая,
Не тороплю её, она—такая,
Какой была сто тысяч лет назад:
Когда лишь пчёлы оживляли сад,
И летнее тепло, им потакая,
Весны прошедшей попирало смрад!
Хочу тепла. Побольше дней бы летних!
Но я уже, похоже, безбилетник!
Подножка, впрочем, как всегда, пуста…
Беги быстрей, за поручни хватайся,
На «колбасе», как в юности, болтайся…
Не привыкать нам с чистого листа
Всё начинать. Начни ещё разок!
В снегу тони, но догони возок
Любви последней. Как сладка погоня!
И крик надрывный, бешеный: по коням!
И пусть в угаре пьяном, на глазок!

Хочу тепла! Но зябкое предзимье—
Теперь мой дом. Кто дал такое имя
Поре, что так печальна и строга?
Уже накрылись шапками стога,
Земля ждёт ласки снега, а не ливня…

Как долог век! Как сказка недолга!

● ● ●

Какое прекрасное качество:
Прощать чудакам их чудачества.
Влюблённым прощать нерешительность,
А любящим—ревность и мнительность.

Неумным прощать неумение,
Беде—холод прикосновения.
Забывчивость—счастью и радости,
И недругу—сплетни и гадости.

Прощать и подонков случается…
Себя только—не получается.

● ● ●

Если нет тебя рядом,
То сердце болит нестерпимо.
Всё мне кажется адом,
Всё крахом Великого Рима.

Нет ни слов, ни мелодий,
Ни мира, ни в драке победы.
Не грешили мы вроде—
Откуда же вдруг эти беды?

Почему крови голос
Срывается, в горле клокочет?
Почему спелый колос
Любви дать зерно нам не хочет?

Нет ответа, ну что же,
Бывает такое, бывает.
Злой мороз уничтожит
Неубранный клин. Пруд задраит.

Станет осени ядом,
Поминками прошлому лету…
Вот и нет тебя рядом,
А сердце всё жаждет ответа

На простые вопросы
Да так же болит нестерпимо…
Будто это не осень,
А гибель Великого Рима.

● ● ●

Не разлюблю тебя, но отпущу.
Мы любим птиц и всё же отпускаем
На волю их. И всё, и всем прощу…
А если нет, то в новую пращу
Опять вложу слепой обиды камень.

Но брошу не в тебя — в свою печаль!
Моя война не против птиц, но клеток.
А милый мир из пёрышек и веток…
При чём тут он? Он — зыбкий твой причал.

Вернись к нему, свободной будь, запой,
Весёлой птахой стань опять. А гунны…
Уйдут домой или уйдут в запой,
Натянут тетиву, натянут струны,

Отправятся в поход, в другой стране
Отыщут новую любовь и в новой клетке
Певунью новую полюбят…
И в огне
Сгорят поэта новые заметки…

● ● ●

Пока решает третья парка,
Когда и как обрезать нить
Моей житухи, крепко, жарко
Целу́ю жизнь. Хочу испить
Чего покрепче. Нет, не старки —
Любви последней благодать.
Такой, какой не знают парки.
Не паркам — парочкам подарком
Такая. Грешным нам под стать.

Влюблюсь — и каяться не стану,
В последний раз — как в первый раз.
Прильну к немыслимому стану,
Умру в глубинах карих глаз.
Пойму, что жил я не напрасно,
Коль был любимым и любил.
И на вопрос небеспристрастный
Как будто выдохну: испил!

Пыхтит под утро кофеварка:
Со мною истину искать
Устанешь. Так решай же, парка,
А я пока продолжу ткать.
Ткать полотно любви последней,
Что всех чудесней плащаниц.
И мой неведомый наследник,
Дай бог, ослепнет от зарниц
Своей любви. Решай же, парка,
Но знай — напрасен этот труд.
Пока целуем крепко, жарко
Мы жизнь, желанья не умрут.
Не страшно мне. Я вот он, тут,
Перед тобой! Решай же, парка!

Романс

Когда снега обрушатся на город,
Когда дорожкой прежней не пройти,
Я вспомню, что давно уже не молод,
И нет в помине лёгкого пути.
Ах, как сладка болезнь любви последней
И, как снега слепые, тяжела.
Мне пела про неё метель намедни:
Жила-была, жила-была, была…

Давно пожары осени потухли.
Снега искрятся, властвуют снега!
Но хочется к весне готовить туфли
И открывать иные берега.
Твердить бинтам-дорогам, что посредник
И врач не нужен, коли боль мила…
Мне пела про неё метель намедни:
Жила-была, жила-была, была…

Как хочется любви лелеять имя:
Как сон ребёнка, сладкий, вещий сон.
Ах, милая, улыбками твоими
Я нынче, как снегами, занесён!
И будь что будет, если в вечер летний
Любовь вдруг скрутит снеговая мгла.
Мне пела про неё метель намедни:
Жила-была, жила-была, была…

В дождь

Мне трудно справиться с собой,
Мне трудно справиться с тобой,
Со всеми, кто не слышит,
Как лихо в струйке голубой
Жесть водостока, как гобой,
Поёт под крышей.

Понять, простить, за боль не мстить
И чашу эту не допить,
Мне данную судьбою.
Амброзия в ней, или яд,
Или целебный взгляд наяд —
С её водою?

Пусть светлым будет этот душ,
Купающий остатки душ,
Ещё влюблённых.
Пусть станет понятым гобой,
В струе поющий голубой
Уединённо.

Пойму, прощу и укрощу
Свои желанья. Упрощу
Сей страсти уравненье.
Намечу новых правил свод…
Вот только изменить ли вод
И душ влеченье?

Ирина Кучерова

Книга ветров

Не о погоде

Я—шальное тепло, без которого можно жить…
Только эхо моё за тобой по дорогам бродит.
Если впустишь меня, то на самое дно души:
Не выходит у нас о природе и о погоде.

Чей-то верх красноречия принявшим за азы,
Нам взлетать и тонуть, от рутины спасая вечер.
Положи моё имя таблеткою под язык,
Чтобы после гадать, почему тебя это лечит.

Нам хранить из глубин всех оставшихся на мели,
Сожалеть, что до нас окрестили мосты и звёзды,
И словечки рождать, чтоб играли, цвели, текли,
Чтоб роскошно назвать то, что Бог так роскошно создал…

Сбереги от чужих виражи мои, миражи,
Беспокойные сны и хождения по канату.
Про шальное тепло, без которого можно жить,
Бесполезно рассказывать тем, кто живёт как надо.

Чтоб не лгал календарь, листья лета с него сорви—
Мир меняет окрас, от осенних ветров рыжея.
Уходя в те края, где не будет моей любви,
Подними воротник и теплее укутай шею…

Оформитель

Мой августовский гость—ночного неба житель.
Осеннею тоской его глаза полны…
Ютится на звезде художник-оформитель.
Он тушью и пером всю ночь рисует сны.

Ещё один эскиз. Ещё одна страница.
Штриховкой ляжет тень—и оживёт портрет.
И в городе земном кому-нибудь приснится
Далёкая любовь, которой больше нет.

Художник над листком корпит не за награды.
Он просто может всё, что для других—табу.
Вплетает в наши сны шаги, слова и взгляды
И на другом витке дублирует судьбу.

Могло сложиться так, а вышло всё иначе.
Но снова чей-то шанс на кончике пера.
И катится луна—забытый детский мячик.
Не хватятся её до самого утра…

Речной песок

Мир качнуло: памяти виток.
Детство—называется портал…
Принести со дна речной песок—
Давняя упрямая мечта.

Вновь нырнуть и сжать песок в горсти…
Дальше не сбывалось никогда.
Вынырну—в надежде донести,
А в ладони—мутная вода.

Я ныряла в лето из весны.
Длила миг. Стояла на краю.
Я однажды поняла, что сны
Тоже ничего не отдают.

Всё, что память жадно зачерпнёт,
Смоет пробуждения волна.
Блокировка. Вечный недолёт.
Не пробиться за границу сна.

…Дни в разлуке—видеоотчёт
В том, чего не требует душа.
Наше время дышит горячо,
Мерно осыпается, шурша.

Мир качнёт очередным витком.
Сложатся в рисунок пазлы слов.
Я для всех была речным песком,
Чтоб узнать руки твоей тепло.

Баланс

Грош цена тому, о чём мы спорим…
Глупый и ненужный разговор.
Грузный кот уселся на заборе.
Под котом качается забор.

Я, махнув рукой на наши споры,
Думаю о том, о чём и ты,—
То грущу, что хилые заборы,
То горжусь, что крепкие коты.

Книга ветров

Эта книга молчит, но как будто дышит…
Киноварью узор по заставкам вышит.
И страницы тяжёлые чутко дремлют.
Всех ветров имена в этой книге древней.

Видишь, голуби кружатся тёплым снегом?
И окно голубятни раскрыто в небо.
Утро дарит проснувшимся на рассвете
Белый плеск в небесах, голубиный ветер.

А по осени яблоки тяжелеют,
И кусты раздеваются всё смелее.
И скитается яблочный ветер гулкий
По садам, осеняющим переулки.

Дальше в книге закладка—искристый бархат…
Со страницы взмывает под фугу Баха
Темнокрылый, в летящем своём виссоне,
Звёздный ветер ночной, менестрель бессонниц.

Эти ветры по зову слетятся в руки.
И они сквозь кордоны любой разлуки
Все слова моей нежности сумасшедшей
Донесут, подхватив,—и тебе нашепчут…

Именные звёзды

Свет лепестков на яблоневой ветке.
Издалека, из детства, голос деда:
«Что ж тут расскажешь?.. Всю войну в разведке.
Кому девчата снились, нам—Победа».

Плывущий дым солдатских самокруток.
Мечты о возвращении. О доме.
«А я пришёл—заснул на двое суток.
Мать напугалась… Думала, что помер».

И майский вечер дышит в окна комнат
Так, словно в мире нет беды и боли…
А мне казалось: главное—запомнить
Его слова, как явки и пароли.

Сберечь поглубже в сердце эти коды,
С чужими их не поминая всуе,
Когда-нибудь прорваться через годы
В его живую юность фронтовую.

Клянусь запомнить. Верю—не напрасно.
Фронтовики уходят в путь неблизкий.
Их именные звёзды в небе гаснут.
И тускло светят звёзды обелисков.

И комья глины сиротливо мокнут.
И горькие тюльпаны напоследок—
Потомки тех цветов, летевших в окна
Шальных от счастья поездов Победы.

Сияние

Чистят снег. И машина гудит жуком.
Белизну и мерцанье гребёт скребком.
Снег нетронут и чист, а она грязна,
И, однако же, чистит его—она.

Парадоксы, в которые сделай шаг—
Сразу фразы толпой зазвучат в ушах,
Спотыкаясь и путаясь, торопясь,
Меж словами и сутью шифруя связь.

Но дорогой своей ты идёшь затем,
Чтоб метаться фонариком в темноте,
Чтобы истины свет возвращать словам—
Вот наследство твоё и твои права.

И не жди ни наград себе, ни похвал,
Если слово забытое подобрал,
Подышал на него, рукавом оттёр—
И сияние вспыхнуло, как костёр…

Пронеси этот свет сквозь метель годов,
Мимо тех, кто сиянье предать готов.
Вот наш путь—и окольной дороги нет.
Это путь, где никто не почистил снег.

Дефо

Горьким кофе в горле утро стоит.
Неразмешанная темень густа.
Недописанные сказки мои
Ходят, верные, за мной по пятам.

Учиняют кавардак в голове,
Убеждают: брось дела, развяжись…
Я—за пазуху их, молнию вверх—
И ныряю в эту взрослую жизнь.

В эту темень, где недолго гореть
Окнам утренним—подкрался рассвет.
Апельсиновые сны фонарей
В сердце прячутся, как ливни в листве.

Я пишу, плечом зажав телефон,
Я срываюсь по звонку, но внутри—
Тёплый остров Даниэля Дефо,
Для счастливых беглецов—материк.

Беззаконные права у любви:
К сновиденьям ревновать, к городам,
Паникуя, за запястье ловить,
Чтобы точно не ушла никуда.

Никуда я не сбегу… ни в Тибет,
Ни в Испанию, мулеты кроить…
Просто все они теперь—о тебе,
Недописанные сказки мои.

Сердце августа

Всех ближе та звезда, что далека.
Крутая тропка видится пологой.
Отправлюсь в путь, и вновь моя тоска
Окажется длиннее, чем дорога.

Держись за небеса, моя звезда…
Всё словно ждёт финального полёта—
Сезон дождей, высокая вода
И тёмный магнетизм водоворота.

Сгореть, сорваться, искоркой дотлеть—
Шальному сердцу гибель и награда.
Но тошно знать, что кем-то на земле
Вот этот миг заказан и загадан.

Забыть… как с ветки яблоко стряхнуть.
Жить, не деля свои лучи и ночи…
И я срываюсь только в долгий путь.
Но снова он тоски моей короче.

Орион

Не пишется. Душа в режиме поиска.
Попыток безуспешных—легион.
Привычно затянувшись звёздным поясом,
Уходит на охоту Орион.

Вглядишься в эту темень—жить расхочется.
Горит светильник—медная сова.
Под птичьим взглядом пробую охотиться,
Но фарта нет. Не ловятся слова.

Искушена в охоте (всё ж не курица),
Сова немого скепсиса полна.
Вот так-то, птица. Вяло мне мышкуется.
Тону в ночи, не ощущая дна.

Густая чернота горчит и плещется.
Осколки проплывают, леденя.
Собаки лают… если не мерещится.
И звёзды, как будильники, звенят.

Собачий лай всё ближе. Тьма расходится.
Взмываю к звёздам сквозь тоску и муть.
Вернулся Орион—пустой, как водится,—
И в сотый раз не даст мне утонуть.

Всего на миг запястье стиснет ласково
И разворчится, отозвав собак,
Что не его печаль—меня вытаскивать.
И что охотник он, а не рыбак.

Сказка

Оброню слова в речные травы—
Пусть лучами тёплыми сквозят.
Сказочный расклад: «Пойдёшь направо…»
Я согласна—лишь бы не назад.

В старых сказках—новые законы.
На излёте гаснущего дня
Краткое заклятье телефона
Вызволит и вызовет меня

В тёмный город, в улицу пустую,
К огонькам вечернего такси…
Сказочные грузчики бастуют,
Так что ясность некому вносить.

Сказка всё звучит. И вместе с нею
Длится, как последняя глава,
Разговор, где в паузах яснее
Всё, что так запутали слова.

Пунктир

Рассыплюсь пылью дождевой—
Не зачерпнуть и не напиться.
Бушуют ливни над травой,
Погасли солнечные спицы.
И день встаёт не с той ноги,
Вязанье солнечное спутав.
Одно не вяжется с другим.
И в сердце—сладостная смута.

Все телефонные пути
Дождём оборваны к рассвету.
Вне зоны действия сети
Мы необещанным согреты.
Очерчен остров тишины,
Где отрывается мечтатель,
Где обжигающие сны
Извечно прерваны некстати.

Границу смывшие дожди—
Они для счастья не причина.
Мне просто радостен вердикт,
Что это всё неизлечимо.
Под ливень лёгшая трава
И листьев поднятые лица…
Всё то, что ветер шифровал,
Чтобы на мелочи спалиться.

Адрес последнего сна

Странная улица… низкий асфальтовый ветер…
В стёклах фонарных зелёные яблоки светят.
И тишина продолжается ровно до скрипа—
Липа скрипит, одинокая чёрная липа.

Днём эта тайная улица прячется… где же?..
Там, где сценографы снов бутафорию держат.
Много там странных вещичек, и если порыться—
Сны перебудишь, и младший из них повторится.

Там, где сценографы снов бутафорию прячут,
Тускло мерцает луны закатившийся мячик…
Кружатся окна и к стёклам прижатые лица…
В небо ведущая лестница длится и длится…

Если захочешь увидеться—улица та же.
Днём её нет… по листку расползается сажа…
Прячутся строки записочки—той, что могли бы
Сны обронить у подножия скрипнувшей липы.

Этот вальсочек тебя на закате накроет.
Слышишь—стучат молоточки? «Наверное, строят…»
Это готовит сценограф по прозвищу Вечер
Все декорации к сцене «Случайная встреча».

Линия и круг

Осень. Зябнут яблоки в саду.
Снова в сердце льются листопады.
Кажется, я больше не уйду
От прикосновения и взгляда.

Всё смешалось—ливень и пурга,
Ход в подвал и лестница на крышу.
Я молюсь языческим богам
И в ответ их жаркий шёпот слышу.

Знаки судеб—линия и круг.
И кому трудней, уже неважно…
Но искусство ускользать от рук
Постигают, чтоб забыть однажды.

Я, как воздух осени, вдохну
Всё, что безоглядно и ответно:
К берегу прильнувшую волну,
Деревце, ласкаемое ветром.

Мне сложнее—я же не волна.
Не цветок, не деревце, не птица.
Кажется, душа покорена.
Кажется, мерещится и мнится…

Комендантский час

Смотреть на огонь, полусонного пса обнимать,
Ладонями к чашке горячей порывисто льнуть—
Мой курс выживания в мире, где правит зима,
Где мы, замерзая, клянёмся дождаться весну.

Дожить до победы. Пройти ледяной коридор
От вешки до вешки. До выдоха: всё же смогла…
Заснеженный Млечный. Промёрзший луны луидор.
И так драгоценна вечерняя доза тепла.

Держусь, как травинка в снегу, что коварно глубок.
Но с каждой атакой мороз вынуждает слабеть.
Смотают метели в запутанный рыхлый клубок
Бессчётные нити дорог от тебя и к тебе.

Меня согревает по-детски упрямое «пусть».
Меня не сломает, не выстудит эта зима.
Наш город под вечер теперь по-военному пуст.
И в снежных окопах цепочкой застыли дома.

В февральские сны залетает дыханье цветов.
Отчаянно верю в заветное наше «тогда».
Но метеосводки похожи на сводки с фронтов.
И где-то морозам без боя сдают города.

Кошка-сова

Лето сонное, как кошка-сова.
Ярко пёрышки-шерстинки горят.
Лето хочется прижать, целовать:
«Никуда не отпущу!»—говоря.

Лето дремлет у ворот, накренясь,
Словно лень ему держаться ровней.
Лету нравится морочить меня
И позвякивать монетками дней.

Лето лапой размешало закат.
Нежной горечью трава изошла.
Рвутся-просятся слова с языка—
Слишком адресные кванты тепла.

Утро трезвое опять зачеркнёт
Всё, что вечер так легко разрешал…
«Слишком личное»,—прошепчет блокнот.
«Не рассказывай»,—попросит душа.

Так и маюсь я—сказать, не сказать…
Скоро ночь придёт баюкать слова.
И луною притворится опять
Немигающая кошка-сова.

По январскому курсу

Снежные крепости, замки ледовые, белые терема.
Нежно покорна, светло заколдована наша с тобой зима.
Алым и синим, любовью и верностью, будет очерчен путь.
Ласковый луч и метельные векторы… лишнее зачеркнуть.

Алым и синим, расплавленным золотом… помнишь цвета герба?
Огненным росчерком в небе расколотом пишется нам судьба.
Будут стремительно сумерки ранние синью густеть во тьму.
Сонмы шептавших курантам желания точно меня поймут.

Эти январские дни сумасшедшие, скидки на весь товар…
Значит, исполнится всё, что нашепчется,—акция Рождества.
Выпало делать не ставки, а выводы. Звёздная карусель
Дарит нам выбор. Отвагу для выбора, впрочем, даёт не всем.

В небе вечернем пасьянсы разложены, нежности млечен вкус…
Я тебя выбрала. Прадеды-лоцманы так выбирали курс.
Дальше решай: покоряться ли, царствовать, с гордостью или без,
Как ты используешь скидки январские, скинутые с небес?

Свитки с высот, манускрипты крылатые—это подарки звёзд.
Сколько же там вариантов запрятано: деньги, карьерный рост…
Благовоспитанность. Шанс образумиться. Близких столиц огни.
Или ко мне приводящая улица. Нужное—подчеркни…

Пятница

Иду в эту пятницу, слабо себя утешая,
Что будет суббота—моя, долгожданно большая,
Что день суматошный сегодняшний всё же не вечен,
Что есть и у пятницы что-то хорошее—вечер…

Сквозь встречи, звонки, сквозь вопящие в планингах даты
Огнём светофора зардеется пламя заката,
И мчатся на красный, светя габаритками судеб,
Собратья по пятнице, рядом живущие люди,

Ведомые лозунгом: пусть аутсайдеры плачут.
Им сказки порукой: трудясь, пожинаешь удачу.
Пожнут ли—неясно, однако сверкают серпами,
А оползень дня шелестит: не таких засыпали…

Но спустится миг, когда в воздухе явственней свежесть,
Лавина ленивее, осыпи реже и реже.
Вампир-ежедневник, в котором беснуются даты,
Мурлыкает сыто: закончено… сделано… снято…

Как лидера гонки, за финишной лентой встречают
Раскрытая книга и чашка зелёного чаю,
И там, за окном, облаков безымянных эскадра,
И всё остальное. Но всё остальное—за кадром.

Борис Куделин

Париж глазами эмигранта

Отрывок из романа «Попутный ветер до стен Нотр-Дам де Пари»

В мою повседневность изредка вплетались встречи с Екатериной. Обычно она меня куда-то тащила. Полноватая, она была очень подвижной—не ходила, а бегала. Нередко рискованно, в неположенных местах, перебегала через дорогу, вызывая лёгкое возмущение в общем-то невозмутимых французов за рулём. Но старания её были главным образом направлены на то, чтобы как-то помочь мне. Главным она справедливо считала, что надо найти для меня какую-то работу. Или же приобрести выгодное на сегодняшний день ремесло, чтобы я смог существовать в этом парижском мире. Работа—ключ к нормальной жизни. Както я проговорился, что было время, когда меня снедала страсть что-то живописать масляными красками. «Всё, решено!—молниеносно заключила она.—Будете как вот эти художники—рисовать портреты на набережной у Нотр-Дам».

И она стала со знанием дела рассказывать, как это просто делается. «Глазки, носик вырисовывайте, а остальное не так важно. Туристы—обычно богатые люди. В общем-то, им не важно фотографическое сходство. Главное—сувенир из Парижа. Но ещё лучше, что на портрете хоть как-то изображён он сам». Я слабо возражал, в первую очередь по той причине, что не только не профессионал-художник, но даже если допустить, что любитель, то только не портретист. Но Екатерина на мои возражения совершенно не обращала внимания. И так как она всё делала быстро, то решила не откладывать ни на какие «завтра-послезавтра» и повлекла меня в магазин «БШВ». Это один из центральных универсальных магазинов в Париже, на Риволи, рядом с «Отель де Виль». В магазине она мне купила (за её счёт) карандаши, бумагу, сумку для переноски рисунков. Впоследствии она приобрела и два недорогих раскладных стульчика. Один предназначался для меня—художника, другой—для «жертвы», с которой я бы предположительно рисовал портрет. Все эти реквизиты для моей творческой работы нужно было тотчас же забрать. Но у меня не было даже места для их хранения. Пришлось попросить матушку Ирину, чтоб она позволила спустить их в подвал под их домом. Сидеть на набережной в качестве художника я всё же не решился, несмотря на настойчивые советы Екатерины…

При встречах мы с ней совершали прогулки по местам, которые знала и любила эта активная, общительная, добрая женщина. Чаще мы с ней наведывались в кафе, которое находилось на крыше огромного и, наверное, самого красивого многоэтажного универмага «Прэнтам». С его террасы открывается вид почти на весь Париж. Совсем рядом видна «Опера», далее—высоченное, много-многоэтажное здание Монпарнаса. Мы брали чайник горячего душистого чая и красивые вкусные бриоши—булочки. Сидели обычно не менее часа. Екатерина учила меня жизни в Париже. По правде, я в этом на то время нуждался. Как-то она обронила, что человек, не имеющий во Франции прописки, постоянного адреса,—«ноль без палочки». «С вами даже разговаривать не станут, если узнают, что у вас нет постоянного места жительства. Некуда при случае даже письмо написать… Я знаю, недалеко от Парижа есть замок. В нём живут русские. Насколько мне известно, тоже без документов, но у них есть адрес…» Эта информация меня заинтересовала…

Как-то в один из грустных дождливых ноябрьских дней на одном из социальных пунктов, где можно было попить кофе, постирать бельё—в общем, отдохнуть, я невольно стал свидетелем разговора двух девушек из Молдовы. Девушки эти, вероятно, так же, как наша «великолепная шестёрка», жили, «опираясь» на социал. Для женщин, семейных или же для родителей с детьми социальные службы Франции предоставляют несколько иные услуги. О них проявляется больше забот. Например, и женщин, и семейных, как правило, размещают в гостиницах. А мужчины-одиночки находят приют в общежитии или в ночлежках на одну ночь.

Так вот, одна из этих девушек, плача, рассказывала другой: «Если была б возможность забрать моего отца сюда, во Францию, он здесь просил бы милостыню. А в Париже нищие живут более чем нормально. Подают хорошо! Это как ходить на работу—стоять у какого-нибудь магазина или почты… Постоянно будешь иметь какие-то деньги».

Из дальнейшего разговора я понял, что у этой девушки в молдавском селе остался одинокий отец-инвалид и что он бедствует, живёт в нищете. Помочь ему из Франции она не могла, так как сама ещё была не устроена. А вот если б ей удалось «перетащить» отца, то он бы здесь, как говорил один мой знакомый, «в сытенькой Франции», не пропал бы, а был бы всегда накормлен и одет…

Да, во Франции, в Париже, к просящим подаяния, бездомным, клошарам французы в большинстве случаев не остаются глухими и безучастными. Французы — сострадательный народ.

Да и где, как не во Франции, жили родоначальники великих бессмертных идей гуманизма, свободолюбивые демократы, философы — борцы за освобождение человечества от вековых уз жестокой эксплуатации и унижения?..

Кому не известны такие светлые, солнечные имена, как Франсуа Мари Вольтер, Дени Дидро, Жан-Жак Руссо?.. Последнему принадлежит лозунг, до сих пор, правда, многим до конца не понятный: «Свобода, равенство и братство!» Кстати, над входом в школах, которые я видел во Франции, и поныне начертаны эти прекрасные слова…

А чего только стоит творчество Виктора Гюго? Его произведения оказали глубочайшее влияние на формирование нравственности не одного поколения французов. Например, роман «Отверженные». Какой образец любви и сострадания к Человеку!

…Однако вернёмся к сегодняшним страдальцам Парижа. Один знакомый француз, играющий в переходах метро на скрипке, рассказывал мне, что видел на вокзале Парижа, как из поездов целыми вагонами выходили румыны со скрипками в руках или со старенькими аккордеонами за плечами. Это были, вероятно, музыканты или считавшие себя таковыми. Они безостановочно, прямиком с вокзала, шли на площади и улицы французской столицы, чтобы под душераздирающий визг скрипок или же под грустные вздохи аккордеона «срывать» подаяние у прохожих парижан. На обычно безмятежное лицо моего собеседника набегала тень: он предчувствовал серьёзную угрозу своему каждодневному заработку, а может, и полнейший крах… Да, это так. Грубо говоря, нищих на улицах и особенно в поездах парижской зоны за последнее время стало более чем достаточно. Но французские граждане всё же пытаются не опускать свой флаг, на котором по-прежнему начертаны добрые слова… И они подают, как обычно с улыбкой и со словами: «Бон кураж!» То есть: «Не отчаивайся, друг! Может, и тебе когда-нибудь повезёт. Мир не так уж и жесток!»

Я знаю, что есть и такие люди, которые никогда не подают, даже жалкие копейки. И некоторые относятся к этому очень принципиально… Как-то давно я читал рассказ талантливого итальянского писателя. Рассказ назывался «Скупой». Так вот, герой этого рассказа — скупой сеньор — однажды, вопреки своей скупости, чуть было не бросил пару лир в шляпу безногого нищего на одном из мостов солнечного Рима. Но вовремя опомнился, в памяти его всплыло, что он ранее читал в газете, как нашли мёртвого нищего и при нём несколько тысяч лир. (В те времена тысяча лир была сущим пустяком.) Некоторые мои знакомые (их мало) руководствуются такой же, как у упомянутого скупого, теорией…

Действительно, иногда можно увидеть на углу улицы или у подземного перехода (даже в моём славном городе Кишинёве!) безногого или, что ещё страшней, без обеих рук нищего. Таким, конечно, больше подают сердобольные прохожие. И около них обычно толчётся какая-нибудь, чаще всего некрасивая, тётка. Это, вероятно, жена, потому что лицо её выражает не то скуку, не то раздражение — нелегко жить с калекой!.. А может, ещё кто-то невдалеке толчётся — не жена, а кто-то другой… Ну а как же?! Кто бы это возился с безруким, если б у него не было ни копейки?! А так… Он ещё может чувствовать себя человеком, удерживать около себя людей. А присутствие этих людей для оказания ему хотя бы минимальной помощи — согласитесь — ох как необходимо!.. Да, завидовать нечему! И вот на этом мрачном фоне некоторую человеческую весомость глубоко несчастному, неведомо за чьи грехи постоянно страдающему человеку придаёт ваш брошенный пятак. А вы? Что на этот пятак смогли бы купить? Не купили бы даже полбулочки… Может, только крошку хлеба…

Другим, полагаю, не менее гуманным человеком, чем Гюго, был любимый мной с детства русский писатель Иван Сергеевич Тургенев. Он уже на склоне лет писал, что нищий, протягивающий руку за подаянием, «доставляет другим людям возможность показать на самом деле, что они добры»…

И, пожалуй, это наиболее простая, но и наиболее верная характеристика доброты, широты души человеческой. Она, эта способность отдать кому-то безвозмездно из своего кошелька ничтожную медную копейку, как лакмусовая бумага в химии, в жизненном броуновском движении определяет душу человека — светлая она или мрачноватая…

Да, бывает и так, что человек вроде способен и другим помогать. Даже деньги даст в долг. Но в глубине подсознания таится у него уверенность, что долг вернут, и, может, даже с лихвой… Но это уже, как пишется в одной Великой книге, совсем другое, и это уже совершенно ни о каком величии и щедрости души человеческой — увы — не свидетельствует…

Защитником униженных и оскорблённых в этом мире был и американский писатель Джек Лондон. Этот «моряк в седле», как назвал его один известный английский писатель, тоже был одним из искреннейших защитников отверженных — голодных

и бесприютных. Уже став знаменитым писателем, он переоделся в отрепья и слился с лондонскими нищими и бродягами. Так же, как и они, бродил в поисках работы, голодал, мёрз ночами под заборами… Подружившись с некоторыми бродягами, он вместе с ними скитался по трущобам Лондона и других городов Англии. И все эти муки скитания претерпевались ради куска хлеба, ночлега, какого-нибудь минимального заработка. Впрочем, и работу найти в те времена было почти невозможно.

В душных полутёмных помещениях только за то, что кормили нищенской похлёбкой в обед, давали ложку каши и тоненький, как ивовый листочек, кусочек сыра на ужин, они бесплатно работали по двенадцать часов в сутки. Правда, их ещё оставляли на одну ночь в помещениях, подобных хлеву… Невозможно без слёз читать эти печальные повествования о жизни огромного количества бездомных людей, живших в те времена в Англии. Да разве только в Англии?.. Джек Лондон пишет, что нередко в парках Лондона солнечным утром можно было увидеть в оборванных одеждах бродяг, спящих на скамейках под тёплыми лучами солнышка. Проходящие снобы, или, как их ещё называют, «пузатые толстосумы», глядя на них, презрительно цедили сквозь зубы: «Вот лодыри! Нет чтоб работать — они дрыхнут под солнцем…» «Да, — говорит сострадательный писатель, — им неведомо, они не испытали на себе, как жестоко холодны, как бесконечно долги зимние ночи для тех, у кого нет своего угла, где бы они могли укрыться от стужи… Поэтому измученные, до костей продрогшие за ночь бездомные, согревшись теплом щедрого солнца, наконец засыпают…»

…Да, сам Джек Лондон, несомненно, был искренним защитником страждущих и отверженных.

Но когда я думаю о нём, мне на память приходят слова из песни Владимира Высоцкого: «Я не люблю насилья и бессилья, вот только жаль распятого Христа…»

ДиН встречи

Волошинский сентябрь: *«золото улова»*

Ирина Бессарабова

Церковь

Корабли по небу закатному
Проплывают вверх днищами:
Небо к людям обращено.

Парусов рукава закатаны,
Руки мачт — всё тоньше и чище, —
Обращают воду в вино.

А затем, под иными речами,
Мачты молкнут: люди вошли,
И уже прочитан канон…

Своды парусника свечами
Осветили снизу, с земли.
Корабельный пасхальный звон
Нарастает волной вдали,
И снаружи, и изнутри…

Улица

Акварельная дочь Иаира —
Облик твой, твой предзимний туман.
От стеклянной мозаики мира
Еле виден младенческий шрам.

И границы молчания птицы,
Нарушая, не могут сломать.
Спит, во сне хорошея, девица,
И уже успокоилась мать.

Письмо из Латвии

Вера Панченко

● ● ●

Взаимно удобный уровень всеобщих неумений.
Мераб Мамардашвили

От потребностей нас отучила страна—
Оных наша корзина де-факто скудна,
И не ведает власть, из какого рожна
Наскрести изобилия рог.

В кресло власти уселся случайный игрок
И на головы наши все беды навлёк,
Мелкотравчат, утробен и зол, как зверёк,
И считает такими же нас.

И мы тоже мельчаем от этих зараз—
Ровный уровень в стаде, приличном на глаз.
Вроде светит души ювелирный каркас,
Но проест его ржа всё равно.

● ● ●

Мы не пойманы миром, как бреднем,
И не ждём милосердья угрюмо,
И на форуме нашем последнем
Торжествуем без лишнего шума.

Защитились мы купной манерой—
Мерить мир самой крупною мерой,—
На высотах он чист и разумен,
Без напичканных ядом изюмин.

● ● ●

Анне Андреевне Ахматовой

Поэт—это цельный кусок,
Как мрамора белая глыба,
Ни трещины—хоть с волосок,
Ни вмятины—от ушиба.

В природном единстве возник
Всей сути своей со стихами,
Он знак совершенства, антик,
И в имени личном—как в раме.

● ● ●

Жизни хватит, чтоб все отрицанья
Перебрать, убедившись в одном:
Новизны молодое бряцанье
Обязательно станет старьём.

Неуживчивый дух авангарда,
Разрушитель стабильных начал,
Громкозвучен и пуст, как петарда,
Постарев, приумолк, заскучал.

Время взгляда и сопоставленья
Настигает—очнётся игрок
И воспримет судьбы повеленье
К созиданью идти на урок.

● ● ●

Дружба—как дырявое ведро,
Из которого—без всяких ссор—
Утекают честь и серебро—
Остаются боль и мелкий сор.

Сергей Пичугин

Декабрь

Мы на холсте изобразим
Флоренцию простоволосых зим,
летящих голубей мороза.
Прими новорождённый хруст!
Земля, не размыкая уст,
лежит во тьме хриплоголосой.

И не отыщется причин
тому, что город стал ничьим,
в косматом ветре задыхаясь.
Проказы снежной детворы—
костры офортов ветровых
и мой, в тебя влюблённый, хаос.

Александра Бандурина

● ● ●

Ночь разделила времени поток
На завтра и вчера. Ты сердцем одинок.
Воспоминаний сумрачная глыба
Со дна всплывает, как большая рыба,
Сны разрывает острой чешуёй,
Права на ночь оставив за собой.
Забыться можно, но нельзя забыть.
Тьма глубока. До завтра плыть и плыть.

● ● ●

Солнце скользит по непрочному льду,
Утки шумят в полынье.
Как за причастьем, к воде подойду,
Свет зачерпну в глубине.

Ветер, буянивший утром, затих.
Воздух—в мечтах о весне…
Разве ещё что-нибудь в этот миг
Нужно для счастья мне?

Ностальгия

Рисует белый самолёт
На голубом холсте спирали,
За поворотом поворот
Отнять стремится у печали.

Но не добавить, не отнять—
Двойная точка невозврата.
И перед прошлым я опять
Не знаю в чём, но виновата.

Летит паучий парашют,
Летит по ветру, наудачу.
Нас с ним в конце пути не ждут,
А ведь могло бы быть иначе…

Теплом обнять и обмануть
Сентябрь пытается напрасно.
Хотя бы в щёлку заглянуть
Назад, где жить совсем не страшно.

Александр Якимов

● ● ●

Ещё последний свет заката
По горизонту не раскатан,
Но сумрак, утвердясь в правах,
Встал у заката в головах.

Ещё дворов и улиц складки
На запахи дневные падки,
Но предвечерний их посев
Уже не дал плодов для всех.

Ещё ни ближний, ни с окраин
Звук расстояньем не умаян,
Но с каждым город по чуть-чуть
Молчаньем наполняет грудь.

И вот из всех вечерних граней
Пришел черёд померкнуть—крайней,
Чтоб резал птичьих крыльев взмах
Струю воздушную впотьмах.

Гроза

Заслонила туча солнце,
Потемнела в поле рожь,
Растворилися оконца,
Разбрелась по дому дрожь.

Устрашённый рыком львиным,
Потрясённый новизной,
Небо на две половины
Расколол июльский зной.

Николай Конев
Бородинский день

Бородинский день

Сама земля подпитывает подвиги.
Их корневая сущность ощутима…
Идут в атаку всклоченные бороды
И с проседью колючая щетина.
Известно сотням атамана Платова:
Весь день не покурить и не побриться.
Навеки остаются в генной памяти
Поступки их суровые и лица.
Пусть сотни снова дерзкими попытками
Французов оттеснили ненамного,
Но казаки грозят клинками бриткими:
«Побреем и отправим в царство Бога.
Отправим к Богу с хворями простудными,
С распухшими от насморка носами».
Как борона откованными зубьями,
Пехота ощетинилась штыками.
Решают пушки: быть или не быть,—
И густо сеют ядрами по цели.
Весь день пехота будет боронить
Там, где прошли железные посевы.
А тыл кряхтит. Ему порой недужится,
Но у него надёжные основы,
И возникает у дороги кузница.
Для конницы кузнец куёт подковы.
Куют победу молотки и молоты.
Да будет труд в истории отмечен…
Горит закат. Спешат в укрытия бороды.
Целительно на раны дышит вечер.
Приходит ночь и облаками пегими
Над полем простирается горячим.
Увозят срочно раненых телегами,
Тележный скрип звучит вселенским плачем.
Идут телеги в сёла и становища,
Могилу оставляя за могилой.
Большая боль всеобщею становится,
Чтоб обернуться всенародной силой.

Багратион

Суворовский птенец Багратион.
Вот так он обозначен на скрижалях.
В своих стихах точнее был Державин,
Раздельно написав: «Бог рати он».
Выходит, что творились чудеса,
И в грозный час являлись для подмоги
В Россию озабоченные боги,
На время покидая небеса.
Они охранный возвышали глас,
Чтоб избежать повального урона…
Безвременно душа Багратиона
В заоблачные выси вознеслась.
Но вознеслась—как поднимают флаг.
Тогда, после ранения, на взлёте
Она узрела слабый дух в пехоте
И что прогнулся слабый левый фланг.
Но думала седая голова,
То голова стратегии—Кутузов.
Он, под служебной ношею сутулясь,
Сказал негромко точные слова.
Всех этих слов простой и ясный ряд
Был взят из повседневных разговоров.
Он так сказал: «Вот генерал Ермолов,
Пусть будет он примером для солдат».
Ермолов бился, как Багратион.
Обильно осыпаемый шрапнелью,
Был генерал отважный ранен в шею
И Дохтуровым храбрым заменён.
Как там теперь на наших небесах?
Наверное, лазурь в руках у знати.
Но кто она пред гордым Богом рати,
Познавшая тщеславие и страх?

Волконский

Судьбы непредсказуемой волокна
Свиваются то в ленту, то в кольцо…
Волконский-генерал и декабрист Волконский —
Одно и то же русское лицо.
Он был отмечен бородинской меткой.
А, безусловно, выполнил свой долг,
Когда широкой европейской лентой
Поход освободительный пролёг.
Потом кольцо. Нет, не кольцо, а лямка,
И каторга, и каторжная мгла.
Свилась верёвка, из неё — удавка,
Но задушить удавка не могла.

Генерал Милорадович

Табуретку приставил к столу,
Грузно сел, осмотрелся сердито:
Никакого походного быта,
Только чёрная бурка в углу.
Кашлянул приглушённо, простуженно.
Звякнув шпорами, снял сапоги,
Табаку попросил у слуги,
Не дождавшись дежурного ужина.
Завтра будут судачить в полках:
«Вот каков генерал Милорадович,
Даже сон у него малорадостный,
Поелику сей сон натощак».
Сон то был или вовсе не сон.
До утра было слышно под буркою,
Как холодная непогодь булькала:
На Смоленск уходил эскадрон.

Союзница

Была союзницей природа
И помогала воевать.
Сентябрь двенадцатого года
В России выглядел, как рать.
Сражалась рать. Мелькали пики
Внезапных, колющих дождей,
В багровом обрамленье лики,
Казалось, смотрят на людей.
И это были лики Божьи,
Глядящие через века.
Сомненья были невозможны,
И крепла верою рука.
Погоды хмурой авангарды
Своих манёвров знали цель.
Иноплеменным листопады
Стелили жёсткую постель.
Был куст рябиновый подсветкой
Разящей сабле и свинцу,
Хлестал наотмашь гибкой веткой
По ненавистному лицу.
Сентябрь военный по деревням
И днём, и ночью гнал врага.
В краях полуденных резервом
Стояли витязи — стога.
В резервы эти воин верил,
Но тихо ехал сенной воз.
Для быстроты впрягался ветер
В оглобли сосен и берёз.

Наталия Слюсарева

Прогулки короля Гало

Киев: «Бизнес-полиграф», 2012 г. — 111 с.

Книга Наталии Слюсаревой «Прогулки короля Гало» — своеобразная мистическая сказка, импульс к рождению которой — в картинах современного художника-сюрреалиста Виктора Кротова. Книга написана вдохновенно и увлекательно, со свойственным этой писательнице редкостным умением преображать явь так, что даже в самых простых вещах и явлениях пробуждаются их волшебные свойства. Речь Слюсаревой чиста и точна — и в деталях, и в обобщениях. Она создала особый мир, в котором можно жить и которому безоговорочно веришь.

Сергей Хомутов

Горькая воля

● ● ●

Средь суетного дня и скомканного года,
В реальности такой
растерянный почти,
Я — словно пешеход, что мимо перехода,
Рискуя, норовит дорогу перейти.
Вокруг снуют, летят железные машины,
Им трудно тормозить,
их скорость велика,
И, кажется, шаги мои неразрешимы,
Но я перехожу, не смят ещё пока.
Остановлюсь…
И вновь иду неторопливо.
Кручу туда-сюда ушастой головой.
Они сигналят мне крикливо и визгливо:
«Ты что, сошёл с ума? Скорей беги
иль стой!»
А подо мной асфальт, и небо надо мною,
И впереди уже обочина видна…
Вот шаг ещё ступил с тревогой и виною.
Я нарушитель, да,
и роль моя сложна.
На яростном шоссе, а не в оранжерее,
Зачем себя веду так бестолково я?
И можно поспешить,
и проскочить быстрее…
Но эта полоса — шальная жизнь моя.

● ● ●

Тонут ржавые листья в осенней грязи.
Увяданье и грусть по родимому краю…
Вот и я,
как скиталец, брожу по Руси
Да в котомку остатки любви собираю.

Мимо дачных домишек пройду к пустырю.
Запах преющих трав с каждым днём всё острее.
Сам я тлею всё чаще, всё реже горю,
Только странно,
что в тлении таю быстрее.

А любовь — не грибной и не клюквенный сбор,
Чтó в котомке, —
не взвесишь, не смеришь стаканом…
Всё труднее, бессмысленней с осенью спор,
И не скрыть ничего предзакатным туманом.

● ● ●

В провинциальных страшных городах…
С. Королёв

Когда меня выбрасывало вдруг
В бездомный холод
каменной столицы,
Я вспоминал заволжский мягкий луг…
В кустарнике восторженные птицы…
И думалось:
«Неужто вправду мы
Для жителей столичных так убоги,
И только до сумы или тюрьмы
Предписанные нам ведут дороги?»
Так что ж они,
от дел своих устав,
Бегут на волю нашу просветлиться
И забывают принятый устав —
Теплеют очиновленные лица?
Но вновь черед неделю или две
Летят в свой ад,
и надевают маски,
И счётчики включают в голове,
И в пробки снова лезут без опаски.
И про селенья наши, города —
Глубинку,
где вчера ещё гуляли:
«Как страшно здесь остаться навсегда», —
Твердят, как будто души поменяли.

● ● ●

Сколько вытаяло из-под снега
Опорожненных склянок весной,
Словно после хмельного набега,
Беспросветной гулянки чумной.

И телам доставалось, и душам,
И карманам, пустеющим враз.
Жутко даже, наверное, лужам —
Ощущать этот странный экстаз.

Вот и ты, пробираясь по полю,
Грустно глядя то вбок, то вперёд,
Ощущаешь всю горькую волю,
Что испил в эту зиму народ.

● ● ●

Многие реже сейчас улыбаются,
Тень отчужденья на лицах усталых,
Всё безысходней старушки сгибаются
Над кошельками в базарных развалах.

Что эти женщины думают грустные,
Что вспоминают, коль память осталась?..
Трудно сказать,
наши рынки нерусские
Видом одним загоняют в усталость.

А мужики поутру собираются
На партсобрания времени нового,
Ну и к обеду уже нажираются
И разговоров, и зелья хренового.

Время тревожное,
племя заблудшее,
Хоть бы дожить до весеннего лучика…
Жалко старушек, что видели худшее,
Да ребятишек, не знающих лучшего.

● ● ●

Когда-то здесь траву косили,
Хранили заданный уют…
Всё меньше станций по России,
Где поезда ещё встают—
Хотя бы на одну минутку,
Чтоб в город отвезти народ,
Ну а теперь—
ищи попутку
Иль топай ножками вперёд.
Ветшают домики вокзалов,
Где собирался люд честной,
И лавочки в пустынных залах
Уже не сыщешь ни одной.
А сколько было разговоров
Насущных и весёлых здесь,
Рыбацких, грибниковых споров:
Мол, посмотри,
примерь и взвесь.
Тот с удочкою, тот с корзинкой,
Припомнишь—
хоть вздыхай, хоть плачь.
Над милою моей глубинкой
Нависло время, как палач.
Кто б нынче эту жизнь исправил,
Зажёг угасшие огни
Там, где я был
и где оставил,
Быть может, сказочные дни?
Не хочет память знать урона
И, словно сам я в те года,
Стоит у краешка перрона,
Но мимо, мимо поезда…

● ● ●

С поры восторженной ребяческой
До нынешних тревожных дней
Бессмыслицы
хватало всяческой,
Жилось весьма нескучно в ней.
Сначала ветреницы юные
Влекли куда-то за собой,
Потом—
стремления безумные
За фантастической судьбой,
Рифмованное «сумасшествие»,
Блуждания в хмельных ночах,
Мои паденья и восшествия,
Обманность крыльев на плечах.
Всё позади…
Скупое времечко
Не слишком жалует уже,
Сомнения стучатся в темечко,
И строгий холодок—в душе…
Хотя ещё
в запасе числится,
Неуловимая почти,
Последняя моя бессмыслица—
Смысл жизни
всё-таки найти.

● ● ●

Что-то лёгкости не стало,
Видно, пёрышко устало
Или сам устал.
Всё какие-то кошмары,
Точно бросили на нары—
Грустный пьедестал.

Там болезни, здесь могилы,
Вот и черпай, братец, силы
Для весёлых строк.
Бабка около базара
Продаёт, что запасала
С молодости впрок.

А попробуй вдохновенье
Отложить хоть на мгновенье,
На глоток вперёд?!
Это вам не хлеб, не водка
И не воровская сходка—
Творческий полёт.

Что-то лёгкости не стало,
Скукой душу напитало—
Господи, прости.
За окном собака воет,
Буря мглою небо кроет
Двести лет почти.

Владимир Спектор

По контуру мечты

● ● ●

Сквозь шум прибоя слышится:
«*Лета бо не стоят, и вся в небытие отходят,*
глубинами забвенья помрачась…»
Шумит прибой и пенится, как сотни лет назад,
Приходит кто-то и уходит,
сдавая и захватывая власть.
Но солнце так же безмятежно светит, как тогда,
И корабли, меняя очертанья,
всё плывут сквозь бездну лет.
И нет ответов на вопросы вечные: «Зачем? Куда?»
И время, что струится мимо сквозь любовь и нелюбовь,
таит ответ…

● ● ●

И легкомысленный мотив,
И звон залётных колокольчиков-бубенчиков
Летят над миром, воспарив,
Сквозь жизнь, тяжёлую, как проза деревенщиков.

Вчерашним днём согрета ночь.
Вода, как время, вновь струится из стоп-крана…
Брат Авель, я хочу тебе помочь.
Брат Каин, не в твоём ли сердце эта рана?

● ● ●

«Неделовым» прописаны дела,
А «деловым»—как водится, успех.
«Неделовые» пишут: «Даль светла».
А «деловые» знают: «Не для всех».

Но где-то там, за финишной прямой,
Где нет уже ни зависти, ни зла,—
Там только мгла и память за спиной,
Но память—лишь о том, что «даль светла».

● ● ●

И в самом деле, всё могло быть хуже—
Мы живы, невзирая на эпоху.
И даже голубь, словно ангел, кружит,
Как будто подтверждая: «Всё—неплохо».

Хотя судьба ведёт свой счёт потерям,
Где голубь предстаёт воздушным змеем…
В то, что могло быть хуже—твёрдо верю.
А в лучшее мне верится труднее.

● ● ●

Ничего не изменилось,
Только время растворилось,
И теперь течёт во мне.
Только кровь моя сгустилась,
Только крылья заострились
Меж лопаток на спине,
И лечу я, как во сне.
Как цыганка нагадала:
Всё, что будет,—будет мало.
Быть мне нищим и святым.
Где-то в сумраке вокзала
Мне дорогу указала.
Оглянулся—только дым.
Где огонь был—всё дымится.
Крыльев нет. Но есть страница,
Вся в слезах. Или мечтах.
На странице чьи-то лица.
Небо, дым,
А в небе птицы,
Лица с песней на устах.
Ветер временем играет.
Ветер кровь
Мою смущает
Наяву или во сне.
Мальчик с узкими плечами,
Парень с хмурыми очами—
Я не в вас. Но вы во мне.
Мы с лопатой на ремне
Марширует на ученье,
Всё слышнее наше пенье.
Мы шагаем и поём.
О красавице-дивчине,
О судьбе и о калине—
И о времени своём.

● ● ●

По контуру мечты,
По краешку тревоги,
Где только я и ты—
И помыслы о Боге,

Там чья-то тень с утра—
Лука, а может, Павел…
И жизнь—словно игра,
Но, Боже мой, без правил.

• • •

Претенденты на победу в марафоне!
Марафонский бег в отцепленном вагоне
Предвещает не победу, лишь участье
В том процессе, что зовут
«борьба за счастье».
Претенденты на победу в марафоне!
Марафонский бег в оцепленном вагоне,
Предвещает он победы вам едва ли,
Не для вас куют победные медали.
Претенденты на медали в оцепленье
Цепь за цепью переходят
в наступленье.
Претенденты на победу в марафоне—
Это вам трубит труба в Иерихоне.
Не до жиру, не до бега, не до смеха…
Претенденты…
Претенде…
И только эхо…

• • •

В иголку нитку вдеть—труднее и труднее,
А в детстве всё так просто и легко…
Струится нитка жизни, я—за нею,
Вползая, как в игольное ушко,

В события, находки и потери,
Сжимая круг знакомых и друзей.
Всё воздаётся по делам и вере,
Где нитка правды сто́ит жизни всей…

• • •

Раскрытая книга судьбы, где вначале
Страницы надежды, любви и добра.
И дальше—страницы неясной печали,
Дорожные жалобы, злые ветра.

Завистливых взглядов угрюмость чужая,
Пустых разговоров невнятная речь.
И снова дороги открытость простая,
И мысли о том, как спасти и сберечь…

• • •

А верится лишь Богу от души
(И папе с мамой в детстве)?
Кто знает это… Всё же не спеши
Рубить с плеча наследство,

В котором памяти густой простор
Хранит обрывки веры,
В котором гордость, так же как позор,
Глупы, как пионеры…

В котором поровну добра, и зла,
И чести, и бесчестья.
В котором жизнь прошла и не прошла,
И в ней—всё это вместе.

• • •

Выжить…
Отдать,
получить,
накормить.
Сделать…
Успеть,
дотерпеть,
не сорваться.
Жизни вибрирует тонкая нить,
Бьётся, как жилка на горле паяца.

Выжить,
найти,
не забыть,
не предать…
Не заклинанье, не просьба, не мантра.
Завтра всё снова начнётся опять.
Это—всего лишь заданье на завтра.

• • •

В душе—мерцающий, незримый свет,
Он с лёгкостью пронзает стены.
Взгляни вокруг—преград как будто нет.
Но как тревожны перемены.

Небесной тверди слыша неуют,
Беспечно дышит твердь земная.
И нам с тобой—вдоль перемен маршрут,
Пока горит огонь, мерцая.

• • •

Взрываются небесные тела,
Земля мерцает сквозь ночной сквозняк.
И только мысль, как будто день светла,
Собою пробивает этот мрак.

Там—сталинские соколы летят,
Забытые полки ещё бредут…
И, словно тысячу веков назад,
Не ведает пощады Страшный суд.

• • •

Лежит судьба, как общая тетрадь,
Где среди точек пляшут запятые,
Где строки то прямые, то косые
И где ошибок мне не сосчитать.

Бежит строка в дорожной суете,
И я, как Бог, за всё, что в ней,—в ответе.
А в небесах рисует строки ветер.
Он в творчестве всегда на высоте.

А у меня сквозь низменность страстей,
Невольную печаль воспоминаний
Таранит, разбивая жизнь на грани,
Строка любви, парящая над ней.

Александр Дьячков

На первой исповеди

* * *

На Ивановском кладбище осень,
синий воздух прозрачен и чист.
Не спеша ударяется оземь,
как небесная лодочка, лист.

Но давайте закончим с пейзажем,
я хочу рассказать про вину.
На Ивановском кладбище нашем
оскверняют могилу одну.

Ермакова, который в отделе
был всего лишь одним из семи,
но участвовал в красном расстреле
императорской белой семьи.

На его обелиске из туфа
красной краской намазана «кровь».
Как же так? Получается, тупо
ничего мы не поняли вновь.

Мы потомки не тех, что не сдались
и погибли в ЧК, в лагерях,
и не тех, что в Европу подались
и топили тоску в кабаках.

Что мы ищем врагов до маразма?!
Мы бы так же, полвека назад,
замирали над чтением Маркса
и спешили на майский парад.

Жжёт и мучит меня ощущенье:
Ермаков—это мы, это я…
Ну какое тут может быть мщенье?
Богу—суд, человеку—прощенье.
Я прощаю. Простите меня.

* * *

На первой исповеди я
сказал, прочтя стишки:
—Грехов-то нету у меня,
а так—одни грешки.

Священник странно посмотрел
из-под прикрытых век…
—Пусть я не делал добрых дел,
я добрый человек.

—Ну хорошо,—сказал монах,—
немного погоди.
Давай пойдём за шагом шаг.
Итак, не укради?

—Да,—с удивленьем я сказал.
И дальше мы идём…
К концу беседы я признал,
что согрешил во всём.

—Ну, разве только не убей…
И тут я вспомнил,—чёрт!—
как бывшей девушке своей
дал денег на аборт.

Перевернулся мир вокруг,
я обнаружил зло.
Но не уныло стало вдруг,
а так светло, светло…

Из «Пасхального цикла»

● ● ●

Да, русский человек неисправим!
На Пасху я, рыдая, причащался,
а к вечеру напился водки «в дым»
и с кем попало целовался.

Восьмидесятник: препод и поэт,
из тех самоуверенно-речистых,
женился на Прудах, то ли на Чистых,
а то ли Патриарших… Счастья нет.

Он о смиренье что-то говорил,
о женщинах, поэзии, циррозе,
о том, что Церковь—это мафиози,
и про жидов, конечно, не забыл.

А я смотрел, пока он ныл, сипя:
окурок, галстук, мятая рубашка…
Смотрел, смотрел—и вдруг узнал себя…
Мне стало страшно.

● ● ●

Свет Христов, ты истинное средство,
свет Христов, ты лучшее лекарство.
Свет Христов, ты возвращаешь в детство,
открываешь двери в Божье Царство.

Свет Христов, ты пронизаешь тело,
свет Христов, ты душу пронизаешь.
Свет Христов, ты освящаешь дело.
Я поэт, но ты мне не мешаешь.

Свет Христов, ты освящаешь ближних,
сладок ты, и тих ты, и просторен.
Я считал себя одним из лишних,
как Онегин или же Печорин.

Оказалось, я один из нужных,
оказалось, я тобой любимый.
Я бы жил среди трагедий скучных,
если бы не ты, неутомимый

свет Христов.

● ● ●

У кого нет ни вкуса, ни слуха
к миру света, любви, тишины,
не оценит поэзию духа,
эти строки ему не нужны.

Он искать будет формы и формы:
рифмы, ритма, т.д. и т.п.
А поэзия духа—вне нормы,
потому что даётся тебе

не по мере таланта, уменья
или за поэтический рост,
а за нравственность жизни, смиренье,
добродетель, молитву и пост.

Не польётся, покуда я плотский
и душевный (по мысли Отцов)
свет Христа, о котором ни Бродский
не писал, ни—увы—Кузнецов.

Ибо дело не в строчках, а в духе,
что идёт через строчки вовне.
Почему ж мы так сдержанно-сухи
к настоящей, большой глубине?

Я иду после Пасхи и Бога
ощущаю в размякшей душе.
Тает снег… Или тает дорога…
Или, может, я таю уже…

Айдар Хусаинов

Смерть воробья

Рождество

Декабрьской ночью, разгоняя мрак,
Зажглась звезда, разжался вдруг кулак,
И губы сами расплылись в улыбке.
И в этом не было ни боли, ни ошибки,

А только жизнь, что снова началась.
Трещал огонь, неспешно речь велась,
Мотал петух кривою головою,
Дремали овцы, гордые собою,

Во сне ногами дёргал чуткий мул,
Он так устал, едва-едва заснул.
В углу вздыхала тяжкая корова,
И жизнь, запнувшись, начиналась снова.

Во всей семье один лишь только взгляд
Был обращён ни влево, ни назад,
А в точку ту, где птицей из гнезда
Сияла в небе яркая звезда.

И Он был прав, поскольку до конца
Мы понимаем в жизни лишь Отца.

Смерть воробья

Это белое небо Афгана
Над степною дорогой летит.
Вертолёт, как подсохшая рана,
Сильно чешется, слабо гноит.

Здесь не слышно журчанья кяриза,
Лишь мелькает себе лазурит.
— Ну признайся, ты просто мазила! —
Бортстрелку командир говорит.

Но молчит бортстрелок, разобижен,
Лишь качает слюну на губе.
Только — что же такое ты видишь? —
Показался вдали воробей.

Тут явились и ярость, и смелость,
Бортстрелок провернул ход конём
И, как будто бы даже не целясь,
Хохотнул пулемётным огнём.

Птичья жизнь в этом бешеном танце
Полетела в чужие края.
Бог простит за убитых афганцев.
Но зачем ты убил воробья?

● ● ●

Туманный день бесцветен, как с похмелья,
Лежит зима подушкой пухово́й,
И лёгкий снег, как сладостное зелье,
Дорогою проходит верховой.

Тут как подумаешь, что мы с тобой могли бы
Найти в лесу каких-нибудь опят…
Деревья, как обглоданные рыбы,
Глазами в небо сонными глядят.

Всё чисто-чисто, даже как-то больно
Смотреть за реку, лес и перевал,
Где, ошалев от бесконечной воли,
Лежит себе заснеженный Урал.

И лишь дымами как-то обозначен
Приют, что отыскался для души,
Где, отдыхая от трудов вчерашних,
Уснули люди, звери, мураши…

Как будто сбросив тягостную ношу,
С разглаженными лицами святых,
Уснули все, и даже запорошен
Весь двор большой… Пожалуй, золотых

Здесь не сыскать огней ли, или денег,
Как тех опят в заснеженном лесу.
Но словно пред началом песнопенья,
Вдруг что-то сдвинулось подобно колесу.

И тут младенец, спавший в колыбели
В свой первый день на сладостной земле,
Открыл глаза. Невиданный доселе
Он видит мир, он чувствует в тепле,

Надышанном уснувшими родными,
Животными, что тоже рядом спят,
Такой уют, что даже холод зимний,
Которым мир, как мороком, объят,

Вдруг затрещал, как лёд речной, могучий,
И в полынье забрезжила вода,
И, освещая ярким блеском кручи,
На небе сонном вспыхнула звезда.

И мы с тобой, потерянные дети,
Не зажигая света в темноте,
Вдруг обнялись — одни на белом свете —
И не одни — в великой пустоте.

Из Эдгара По

Когда этот мир до конца не просох
И юные годы цвели,
В далёкую землю привёл меня Бог,
Там встретил я Эннебел Ли.

Событий великих промчался поток,
И я оказался вдали,
Но в годы, в которые был одинок,
Я помнил об Эннебел Ли.

Но страшный в груди зародился вопрос:
«Ни счастья, ни крепкой семьи,
Ни мыслимых денег ты ей не принёс,
Возлюбленной Эннебел Ли!»

Ведь жизнь пролетела не в ярких огнях,
Что сбыться в мечтаньях могли…
И долго я плакал о горестных днях,
Что выпали Эннебел Ли.

Но, заново вечную душу собрав,
Я понял (и вы бы смогли):
Любовь—то не платья просторный рукав,
Любовь—это Эннебел Ли.

Пусть время проходит—и месяц, и год,
Пусть даже столетья прошли.
Любовь, словно солнце, по небу плывёт.
Любовь—это Эннебел Ли.

И пусть ей бывает порой нелегко,
Пусть день этот выдался плох.
Пускай она так от меня далеко,
Но я с нею рядом. Как Бог.

• • •

Я спросил Василия Петрова,
Что врагов имеет до фига:
«Ты скажи мне дорогое слово,
Что из друга делает врага.

Ведь для друга—и серьгу из уха,
А врагу—на что ему серьга?
Для него не то что, скажем, муха,
А душа твоя не дорога».

И сказал Петров велеречиво,
Как черту ведя под «итого»:
«Есть на свете только кофе «Чибо»,
Больше нет на свете ничего».

Что же ты в ответ на это скажешь?
Из пакета вытащишь коньяк?
В городском холодном экипаже
Навсегда уедешь в Туганьяк?

Иль, восточной хитрости образчик
Взяв за утешительный пример,
Для себя отыскивая хавчик,
Будешь ты достойный кавалер?

Мы живём смешно и бестолково,
Но ведь жизнь—не скользкие бега.
Всё равно на свете нету слова,
Что из друга делает врага.

Ну и что нам вечные укоры?
Ведь из нас любой не одинок.
Я иду на бельские просторы,
Как Есенин, Пушкин или Блок.

Ирина Макарова

Божественная ловушка Вениамина Блаженного

…Человек, который носит с собой повсюду смертность свою, носит с собой свидетельство греха своего и свидетельство, что Ты «противостоишь гордым».

Блаженный Августин Аврелий. Исповедь

Поэт Вениамин Блаженный родился в Минске в 1981 году. Было ему к тому моменту уже шестьдесят, и нарёк его именем «Блаженных» поэт Григорий Корин. Дочь Корина Елена Макарова так вспоминает совместную с отцом работу над рукописями, привезёнными им из Белоруссии: «…Стихи, собранные вместе, выглядели безнадёжно. Смерть, Бог, призрачные мать и отец, бездомные кошки и собаки,—эта мистическая рать русского поэта с фамилией Айзенштадт могла отпугнуть любые органы периодики. Стихи не переделаешь! Тогда папа придумал Айзенштадту другую фамилию—Блаженных. Вениамин Блаженных. Поэт согласился… Помогло!»[1] С тех пор прошло тридцать лет. У поэта вышло семь книг стихотворений, его публиковали в толстых журналах, «Днях поэзии». О нём снимали кино, писали статьи в книгах, газетах и журналах: Татьяна Бек—послесловие к книге стихотворений 1998 года; Кирилл Анкудинов—послесловие к книге «Сораспятье» 2009 года; Виталий Аверьянов—«Житие Вениамина Блаженного» в «Вопросах литературы» и т. д. Его поэзией восхищались Борис Пастернак, Виктор Шкловский, Арсений Тарковский, Александр Межиров и многие другие. На его стихи слагает песни Елена Фролова.

В 1999 году Вениамин Блаженный умер, пережив на две недели свою жену. Видимо, впереди ещё полное собрание его сочинений, а писал он много, и не только стихи, но и воспоминания о встречах—с Олешей, к примеру. Всё это наверняка издадут, и творчество Вениамина Блаженного займёт достойное место в библиотеке русской поэзии. Можно с лёгкостью согласиться с Александром Кушнером, писавшим Вениамину Михайловичу: «Вы пишете о самом главном: о жизни, о смерти, одиночестве, детстве. Как замечательно Ваше постоянство, какой духовной силой надо обладать, чтобы не бояться возвращаться всё к тому же и писать теми же словами, но по-другому…»[2] Несладкая жизнь, с психушками, артелями инвалидов, тяжёлыми болезнями,—всё будет разобрано и объяснено. Мы же обратимся к духовному пути поэта. Сам Вениамин Блаженный в автобиографии говорит: «Для меня поэзия—это исповедь, это плач, это—моление. Когда поэт умело сочиняет, когда он на все руки мастер—он не поэт. Он не может быть поэтом. И у композитора, и у художника—одна тема, один путь. Путь! И на этом пути кто-то бредёт сурово, а кто-то приплясывает, валяет дурака—и всё это зачтётся»[3].

Вениамин Блаженный «бредёт сурово». Его окружают кошки, собаки, птицы, олени, волки.

Давно я стал попутчиком
Бездомной малой твари,
И согреваюсь лучиком,
Когда со мною в паре
Собаки лохмоногие,
Пичужки одинокие…
(«Воробушек, воробушек…»[4])

В этом мире есть место разнообразным мертвецам, в том числе детям:

Дети, умирающие в детстве,
Умирают в образе зайчат,
И они, как в бубен, в поднебесье
Маленькими ручками стучат.
(«Дети, умирающие в детстве…»[5])

Поэт не расстаётся с умершими родителями:

Вот мать; в её улыбке меньше грусти;
Ведь тот, кто мёртв, он сызнова дитя,
И в скучном местечковом захолустье
Мы разбрелись по дням, как по гостям.

1. *Елена Макарова.* «Дружба народов» № 12/1999.
2. *Вениамин Блаженный.* «Сораспятье». Время. 2009. М., стр. 9.
3. http://krotov.info/libr_min/p/poezia/blachenn1.html
4. *Вениамин Блаженный.* «Сораспятье». Время. 2009. М., стр. 18.
5. Там же, стр. 137.

Но почему отец во всём судейском?
На то и милость, Господи, Твоя:
Он, облечённый даром чудодейства,
Кладёт ладонь на кривду бытия.
(«Воскресшие из мёртвых не брезгливы...»[6])

Мир Вениамина Блаженного состоит из смерти или умирания, он должен был бы быть холодным и пустоватым, но он наполнен силой и энергией света. Это возможно потому, что главные герои стихотворений не мертвецы, а боги. Сначала кажется, что их два: Бог Отец и Бог Сын. Автор по-разному к ним относится. К Отцу у автора довольно много претензий:

Когда евреи шли толпою обречённой,
Где был Ты, Бог моих отцов?
Зачем Ты пролил мрак и небо сделал чёрным
Над трупами живых и мертвецов?..

Над трупами живых, ибо, идущий сбоку,
Ты видел желтизну умерших лиц,
И каждый неживой шептал молитву Богу,
А Бог бродил среди убийц.
(«Когда евреи шли толпою обречённой...»[7])

Поэт вырос в еврейской семье, был хорошо знаком с иудейской культурой и религией. Он не мог не понимать необъяснимости Божьих деяний. «Суета сует, сказал Екклезиаст, суета сует,—всё суета!» (1:2). «Всё сделал Он прекрасным в своё время, и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца» (3:11). Поэтому так уверенно и твёрдо звучат стихи:

Всё держится на самой ветхой нити,
Всё зыблется, как хрупкая слюда.
Я никогда не молвил «ход событий»—
Событья не уходят никуда.
(«Моление о самом скудном чуде»[8])

Совсем другие отношения у Вениамина Блаженного с Богом Сыном. Они хорошо понимают друг друга. Страдание и скитание объединяют их:

Уже из смерти мать грозила пальцем:
Связался сын с бродягою-Христом
И стал, как он, беспамятным скитальцем,
Спит без семьи, ночует под кустом.
(«Уже из смерти мать грозила пальцем...»[9])

Автор стихотворений обдумал свой образ жизни давно: «да, таким я и был, как хотелось мне в детстве,—убогим...»[10] Именно путь Христа—Бога-человека, распятого, непризнанного в земном пути, но мужественно преодолевшего этот путь благодаря силе духа,—привлекает Вениамина Блаженного. Именно о «сладчайшем Иисусовом гвозде» молит. Разговаривая со своей душой, он ей предлагает:

Плесни меня в душу Христову размашисто-жарко,
А после об землю разбей покаянною чаркой!
(«Тоскую, тоскую, как будто на ветке кукую...»[11])

В этом чувствуется некий первичный долг—всегда оставаться в распоряжении Господа. Поэт считал, что в земном, телесном мире преобладает Сатана и соблазны повсюду. Борьба света и тьмы происходит повсеместно, и тот, кто знает Христа, должен отвоевать у бесов свою душу.

Как мужик с топором, побреду я по Божьему небу.
А зачем мне топор? А затем, чтобы бес не упёр
Благодати моей—Сатане-куманьку на потребу...
Вот зачем мужику, вот зачем, старику, мне топор!
(«Блаженный»[12])

Вступив в божественную роту, человек и его душа, вероятно, проходят «полпути» до цели. Поэт предлагает Христу чистые души животных в помощники (например, бродячего пса Полкана на место апостола) и самого себя осликом, чтобы увезти от людей в синие горы; он строит благословенную чудо-церковь и ощущает себя праведником. А дальше—«на войне как на войне»—все братья по оружию, а стало быть, равны в званиях. Где-то здесь появляется третий бог—Вениамин Блаженный. Его отношение к людям сформировалось при написании первых стихотворений: «Я любой, но не ваш». И вот стало понятно, не только чей, но и кто он.

Разыщите меня, как иголку пропавшую в сене,
Разыщите меня—колосок на осенней стерне,
Разыщите меня—и я вам обещаю спасенье:
Будет Богом спасён тот, кто руки протянет ко мне!..

Разыщите меня потому, что я вещее слово,
Потому, что я вечности рвущаяся строка,
И ещё потому, что стезя меня мучит Христова...
(«Разыщите меня, как иголку пропавшую в сене...»[13])

Вениамин Блаженный и Иисус—братья, один всегда готов принять муку другого:

На ладонях твоих нет следов от железных гвоздей,
На ладонях моих кровенеют гвоздиные язвы...
(«На ладонях моих...»[14])

В данных обстоятельствах особенно интересно, что любит Вениамин Блаженный Бога-страдальца, значит, его облику подражать и должен, а он уподобляется гневному Богу Отцу. Люди в стихотворениях автора выглядят порождениями

6. *Вениамин Блаженный.* «Сораспятье». Время. 2009. М., стр. 55.
7. Там же, стр. 112.
8. Там же, стр. 47.
9. Там же, стр. 21.
10. Там же, стр. 35.
11. Там же, стр. 29.
12. Там же, стр. 30.
13. Там же, стр. 53.
14. Там же, стр. 87.

Сатаны, они жестоки, глупы, жадны и корыстны. Он их искренне и пылко корит и судит.

> Как ненужную боль, ненавидит земля человека.
> *(«Почему, когда птица лежит...»[15])*

Или:

> Добавляли в суму мою боли
> И чужих добавляли невзгод.
>
> Кто-то выплюнул в душу окурок.
> Кто-то выматерил ходока...
> *(«Блаженный»[16])*

Или:

> Ещё вам захочется к Господу Богу
> Прийти за своим милосердным спасеньем,—
> И я, только я укажу вам дорогу,
> Я, с нищей сумой исходивший Россию.
> *(«Ещё вам захочется...»[17])*

Божественная ловушка Вениамина Блаженного расставлена ему им самим: или Бог—и тогда должно быть, как в Евангелии: «А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5:44); или простой смертный—тогда и спрос другой. Сам поэт говорит, что «религия—зеркало любого творчества»[18]. Высокая духовная планка, заданная себе автором стихотворений, сила духа и откровенность, с которыми они написаны, вызывают восторг. Сомнение возникает именно в связи с взглядом Вениамина Блаженного на людей. Дело не в том, что среди них не нашлось достойных (это вполне возможный вывод при той судьбе, которая досталась поэту, хотя помогали ему многие), а в том, что взгляд слишком профанный для существа сакрального. Возможно, ему не удалось преодолеть гордыню. Любовь к Богу была настолько велика, что он и оказался единственным ближним из человекоподобных. Думается, что сомнения были и у самого Вениамина Блаженного, иначе откуда такие строки:

> Разуверясь в блаженстве и в Боге
> И не смысля ни в чём ни аза,
> На проклятое племя двуногих
> Буду пялить из мрака глаза.
> *(«Всё равно я приду к вам однажды...»[19])*

И всё-таки Вениамин Блаженный напоминает апостола Павла: он тоже не видел Иисуса до его воскресения, был обращён появлением Бога перед ним, считал наше время—временем Сатаны, но верил в Царство Божие истово и горячо проповедовал. Вениамин Блаженный называл свои стихи исповедью, но они нам кажутся больше проповедью: искренней и пламенной.

«Ибо мы признаём, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона» (Рим. 3:28).

....

15. *Вениамин Блаженный.* «Сораспятье». Время. 2009. М., стр. 27.
16. Там же, стр. 40.
17. Там же, стр. 344.
18. http://krotov.info/libr_min/p/poezia/blachenn1.html
19. Вениамин Блаженный. «Сораспятье». Время. 2009. М., стр. 135.

Елена Бажина

Школа для девочек

Вероятно, он даже не подозревал, что все дети, какие когда-либо у него будут, окажутся банальными девочками. И это, наверное, было оскорбительно. У него всегда было чёткое представление о том, как правильно всё должно быть у нормального человека в жизни, а наличие сына было бесспорным подтверждением этой правильности и нормальности. Словом, традиционную формулу, что надо «построить дом, посадить дерево, вырастить сына» он воспринимал с примитивным буквализмом. Впрочем, всё это мы знаем лишь от наших родственников.

Дом он построил, хотя и с опозданием. Вернее, достроил и расширил то, что было на этом месте прежде. Деревья, наверное, тоже посадил где-то, в какой-нибудь воинской части; правда, скорее всего, руками солдат-срочников, даровой рабочей силы. Ну а сына… Сына у него так и не было, прямо как у короля Лира, сказала моя сестра Катя, как раз приступившая тогда к чтению Шекспира. А ведь это, наверное, по его понятиям, очень плохо.

Возможно, что так. Во всяком случае, мы, три сестры, да ещё погодки, не имеем явных подтверждений, считал ли он так на самом деле. А если и считал, то, возможно, не всегда, а потом даже считал наоборот, но это уже было потом. Может быть, он и был недоволен отсутствием наследника, но мы были вполне довольны. Нам было хорошо и весело. Нам даже подруги не требовались, потому что мы сами себе были подругами.

Когда он отъезжал в «горячие точки» и возвращался, он всё же старался относиться к нам по-особому. В короткие отпуска, находясь дома, он ездил с нами в гости к друзьям и знакомым, гулял в парке и даже читал нам допотопную книжку про Мальчиша-Кибальчиша. Правда, ещё про Питера Пэна, Красную Шапочку и Буратино, про Нильса и гусей, и ещё какие-то «Вредные советы» про то, что надо в папины ботинки вылить мамины духи. Но это было редко. И в результате — всё шиворот-навыворот. Вот фотография старшей, тогда пятилетней, Екатерины, в отцовской парадной военной фуражке. Кажется — мальчишка, и всё нормально, но ведь девочка… Уже не то. Или младшая, Кристина, едва стоит на ногах, но уже держит кобуру. Ну ладно, можно поверить, что это игрушка. Ей было всё равно. Для меня же, средней, Анастасии, тоже было всё равно, во что играть — в куклы или машинки, строить дом или военную крепость, у меня не было любимой игрушки, потому что поочерёдно любимыми были все.

И он был очень удивлён, увидев однажды, после одного из длительных отъездов, что у него три уже почти взрослые дочери. Это было написано на его лице, суровом, немного загорелом и усталом. Три девочки-подростка, каковыми мы предстали перед ним, показались ему чем-то неземным, словно свалившимся с неба, под которым идёт бесконечная военная жизнь.

Что эта жизнь значила для мамы, ушедшей от нас два года назад, трудно было представить. Ушедшей — нет, не туда, куда она хотела уехать всегда, куда-то в Московскую область, а совсем недалеко, в маленький городок за холмом за железной ржавой накренившейся остроконечной оградой, а местами и без ограды. Здесь, в этот пролом в заборе, мы и приходили к ней, чтобы не идти в обход к центральному входу, и шли по тропинкам мимо старых крестов и памятников, к тому уголку, где она теперь поселилась вместе с бабушкой и дедушкой, рядом. Почему-то весь круг её жизни замкнулся здесь, откуда и начинался когда-то, и все её странствия и путешествия по городам были не более чем сновидением. Можно было бы узнать у неё, расспросить, что это за жизнь такая, что за игры в отъезды и приезды, но уже было поздно: задавать такой вопрос было некому.

Она много плакала последнее время. Я почти не помню, чтобы она улыбалась, разве только на старых фотографиях, в первые месяцы знакомства с отцом и в первые годы их общей молодой здоровой жизни. Ведь когда-то она выходила замуж за красивого стройного курсанта, будущего офицера в мирной, ещё советской стране, ну, относительно мирной, и, как говорили родственники, её ждало обеспеченное будущее с хорошей зарплатой, жильём, статусом домохозяйки и карьерой офицерской жены, возможностью проводить отпуска в военных санаториях и домах отдыха, воспитывать детей в достатке и сытости. Как, должно быть, хотели и все остальные люди, но не всем тогда такое было позволено. Откуда ей было знать, что страна, которая была на тот момент и которую он был призван защищать, скоро исчезнет, во всяком

случае — вдруг резко поменяет свои незыблемые очертания на политической карте мира, а мирное в целом время, если не считать затянувшейся войны где-то за её пределами, обернётся постоянным вспыхиванием войн уж совсем рядом, к югу, закроются санатории и сократятся зарплаты, и всё её будущее окажется не таким, каким она представляла. Впрочем, поясняла одна наша знакомая, маме нужно было не это. Она просто любила отца, а он был тогда совсем другим человеком. Почему он изменился — не знает никто.

Какое-то время мы были все вместе, жили в общежитиях и малогабаритных квартирах, потом в более просторных квартирах при воинских частях, в военных городках, в которых часто что-то расформировывалось и переформировывалось. В целом для нас всё было неплохо… Но что-то случилось. Однажды мама сказала, что мы собираемся и уезжаем. Так она вернулась вместе с нами в свой город, то есть домой, где мы сейчас и живём, где яблоневые сады и где старые крепостные валы, на которые когда-то было так интересно взбираться. Отец уезжал и приезжал; мы никогда не знали, когда он может появиться и на сколько уедет снова. Почему-то каждый раз нам неохотно давали понять, что он может и не вернуться, что это может случиться однажды. Как будто нас приучали к мысли, что это неминуемо на его работе. Он несколько раз получал ранения и даже где-то был контужен. К его постоянному риску привыкнуть было невозможно. По крайней мере, не могла привыкнуть мама, а мы привыкли почему-то.

Но никто не мог подумать, что с мамой это случится раньше. Причиной её заболевания послужили неврозы. Это мы услышали от наших родственников, которые теперь, когда к нам приехал отец, отдалились от нас, потому что не любили его.

А отец просто вышел на свою раннюю пенсию. Точнее — был комиссован по состоянию здоровья. Он поселился с нами в нашем доме, обшил его сайдингом, достроил второй этаж, покрыл крышу коричневым ондулином, вставил стеклопакеты, с хрустом выломав старые рамы вместе с резными наличниками; сделал пристройку, гараж и сарай, провёл коммуникации, какие в нашем городе вообще-то есть не у всех, и даже некоторые учреждения до сих пор имеют «удобства» на улице, да ещё в шокирующем приезжих состоянии. А про дома, особенно бедные, и говорить нечего. И наш старый дом, доставшийся от дедушки, преобразился в короткое время.

Теперь мы принадлежим к довольно состоятельной — пусть и не самой богатой — прослойке нашего города. Нам стало понятно, что отец неплохо зарабатывал, участвуя в этих своих боевых действиях. Хотя, как он говорил, рисковал жизнью не ради денег, но можно было получать и больше.

Он повесил спутниковую тарелку на фронтоне нашего обновлённого дома и начал, как он сказал, новую жизнь. Конечно, делал всё это он не сам лично, не своими привыкшими к оружию руками, а посредством тех, кому это больше пристало. К нам приехали красивые здоровые ребята на военном грузовике, со стройматериалами и инструментами, и работали несколько дней, поглядывая временами на нас, а мы, разумеется, с любопытством поглядывали на них. Единственное, что от нас требовалось, — помогать тёте Гале готовить для них еду, а есть они, как мы поняли, очень даже хотели.

Впрочем, он мог бы и не делать всего этого, мог бы не затевать всей этой нудной возни в скучном и чужом для него, как он говорил, населённом пункте. Мы почему-то думали, что он увезёт нас отсюда куда-нибудь в большой город, гораздо больший нашего, туда, где у него есть квартира и друзья, но он почему-то не захотел. Хорошо бы, чтоб это была Москва или где-нибудь около неё, где мы жили как-то совсем недолго, но этого не случилось.

И вот теперь отец с нами дома. Мне иногда кажется, мы совсем не знаем его. Зато он уже познакомился с некоторыми «шишками» в нашем городе. И не только с ними, но и с какими-то странными плохо одетыми людьми, похожими на бомжей, сказав нам потом, что это «свои ребята, зря пострадали». А ещё он устроил скандал в новом супермаркете, потому что на полке лежали упаковки с просроченной атлантической сельдью. Он потребовал директора, которого, конечно, не оказалось, а пришёл какой-то холёный сонный менеджер; и вынудил-таки просмотреть все оставшиеся упаковки, открыть их и даже понюхать, едва ли не в морду этому менеджеру тыкал этой селёдкой. Собралась большая очередь, и все смотрели, чем всё кончится, но никто не поддержал его, даже будущие покупатели селёдки. Как рассказала нам знакомая, наблюдавшая эту сцену, все боялись, потому что отец в этот момент совсем не был похож на себя.

Он не рассказывал о своей военной работе, а мы понемногу привыкли, что расспрашивать его бесполезно. Очевидно, таким образом он наложил табу на эту тему, как и мы наложили табу на разговоры с ним о причинах маминой смерти. Большая часть нашего детства прошла без него, и что он в это время делал там, в своих военных операциях, мы не знаем. Он был закрыт от нас. Мы привыкли жить без него.

И может быть, оттого, что у него стало больше свободного времени, а может быть, оттого, что он наконец-то впервые столкнулся с нашим реальным существованием, он стал размышлять о том, как усовершенствовать жизнь. Не именно нашу, а жизнь вообще. В её вселенском масштабе — или, по крайней мере, в городском.

И тогда он задумал создать в нашем городе школу для девочек.

Мы сидим на кухне за широким обеденным столом, под лампой в разноцветном плафоне, испускающей мягкий рассеянный свет. Ужин, который иногда готовим мы, иногда отец, а иногда наша родственница тётя Галя, сметён. Телевизор выключен, потому что приемлемый для нас заряд информации о наводнениях, воровстве в государственных структурах и о каком-то очередном нераскрытом заказном убийстве нами уже получен.
— Да,—говорит отец, обращаясь к нам троим и в то же время говоря как будто только с собой или с какой-то невидимой для нас аудиторией,— для девочек нужно всё особое. Именно для них нужна особая школа. Это ведь не мальчики, это не какое-нибудь пушечное мясо, это де-воч-ки, у них свой мир, и у них должна быть совсем другая жизнь. Ради них мы живём, ради них мы воюем и стремимся к миру, для них умираем, для них обустраиваем жизнь…

Иногда он впадал в патетику. При последних словах Катька, смотревшая на дно своей пустеющей чашки, усмехнулась.
— Ты что-то сказала?—не поворачивая головы в её сторону, спросил отец.—Докладывай.
— Нет, ничего,—пробормотала она.
— Она хочет сказать,—решительно разъясняю я,— что воюют мужчины по большей части для себя.

Отец вздыхает.
— Может быть, вы и правы, девочки. Может, и правы. Хотя…
— Нет,—говорит Кристина.—Представьте, что в городе появляется чеченский бандит и взрывает жилой дом. Ночью. Или садится в переполненный автобус в поясе шахида. Что делать с такими?
— Уничтожать!—подхватывает отец.—Силой оружия! Ты правильно рассуждаешь.

Кристина вздыхает.
— Всё равно школа нужна, очень нужна,—продолжает отец.

На листке бумаги он набрасывает краткий проект того, что это будет. Надо учить девочек так, чтобы они как можно меньше знали о войне, чтобы её вообще никогда не было в их жизни, и тогда, может быть, только тогда они сумеют воспитать достойных мужчин. Чтобы защищать их же. Они должны изучать домоводство, кройку и шитьё, вязание. Кстати, сказал он, когда он учился в школе, были такие предметы для девочек.
— Даже в моё время всё это было,—сказал он с укором кому-то.
— Да, папа,—встряла Кристина,—а мама говорила, что у вас ещё была начальная военная подготовка. НВП. Мама умела собирать и разбирать автомат Калашникова!
— Да, было, да. Надо подумать. Лучше плавание, теннис, волейбол, лыжи, что угодно.
— А каратэ, папа?!—снова подаёт голос Кристина, вдохновляясь идеей другого образа жизни.
— Зачем это? Жестокая борьба с дикими нечеловеческими криками, направленная на убийство. Нет, не проходит.
— А для самообороны? Разве не нужна самооборона?..

Отец задумался.
— Самооборона, конечно, нужна. Нужна хорошая самооборона. Я подумаю.

Мы уже утомились от этого нудного, однообразного разговора. Кате хотелось пойти и покурить на заднем крыльце дома, Кристине—досмотреть на своём плеере «Миссия невыполнима», а мне—вернуться к своей компьютерной игре «Цивилизация».
— Папа, а может, дзюдо?—не унимается развеселившаяся Кристина.

Он не видел, это только мы понимали, что она уже начинает разыгрывать его.
— Нет, нет. Самбо, дзюдо—это всё ерунда, это для тупых идиотов. Я должен подумать. Во всяком случае, цветоводство, кройка и шитьё, кулинария, оказание первой медицинской помощи должны быть в обязательном порядке. Не помешает верховая езда. И танцы, танцы!

Первой заподозрила неладное Катерина. И когда на выходные приехал на своём «форде» Виктор Степанович, давний друг отца, и привёз нам разные вещи для хозяйства, а отцу какие-то бумаги, Катя улучила момент, чтобы пошептаться с ним немного.

Он выслушал её, а потом позвал и нас с Кристиной на заднее крыльцо дома, выходящее в сад из кухни. Эта дверь у нас часто была открытой, особенно когда было тепло. А потом мы прошли с ним под увитую плющом арку над цветником, который когда-то делала ещё мама.
— Вот что, девочки,—сказал он, склонив голову.— Не знаю, сразу вас расстраивать или постепенно. У вашего отца, похоже, серьёзные проблемы со здоровьем. Всё это стало усугубляться после контузии. Мне это известно. И от вас сейчас зависит многое. Вы ведь не хотите, чтобы его объявили недееспособным, а вас отправили в интернат?

Мы дружно замотали головами.
— Насколько я знаю, никто из ваших родственников не сможет взять вас под опеку.

Мы снова замотали головами. Увы, им всем было отказано. Нашему двоюродному дяде сказали, что ему самому нужен опекун. Другой родственнице указали на слишком низкий материальный уровень. А тётя Галя, как ни старалась, так и не смогла доказать родство с нами.
— Поэтому,—продолжил он по-военному чётко и уверенно,—лучше делать всё, чтобы это его

состояние не обострять, и никому не говорить о том, что с ним происходит. По крайней мере, до совершеннолетия одной из вас. Ну, то есть твоего, Катя. Не думаю, что он будет слишком часто появляться в публичных местах. Лечение ему прописано, и если он будет ему следовать, всё будет нормально. Через какое-то время, может быть, положим его в госпиталь на повторный курс. Но дома вы должны присматривать за ним. Я беспокоюсь за вас. Теперь от вас зависит его судьба и, следовательно, ваша…

Говорил он серьёзно и страшно. Катя тоже испугалась, но не подала виду. Кристина только улыбнулась и сказала:

— Мы будем стараться. Мы его не дадим в обиду.

Кажется, она ещё не поняла, о чём шла речь.

— Конечно, мы будем помогать, мы не оставим его,— сказал Виктор Степанович, не уточнив, кто такие «мы».

Ну а мы, со своей стороны, не спрашивали, потому что уже привыкли к некой полуконспиративной манере отношений.

Потом мы пили чай в нашей гостиной. Потом Виктор Степанович и отец ещё поговорили наедине в его комнате. Мы думали, что отец снова переберёт с алкоголем—пузатая бутылка коньяка «Бастион» присутствовала, как всегда, на столе,— но он был совсем трезв.

Обеспокоенные, мы попрощались с нашим гостем и поздно вечером пошли спать наверх.

На троих у нас были две комнаты на втором этаже и небольшой холл. Мы не делили площадь. В дальней всегда размещалась та, которой надо было особенно усиленно заниматься, но сейчас, летом, таковых среди нас не было. Да и вообще, никто из нас всерьёз не занимался. Только Катя иногда располагалась там с книгой на кушетке и не выходила часами, несмотря на наши призывы пойти прогуляться, искупаться или прокатиться на велосипеде.

У нас было мало друзей и почти не было подруг. Мы в них не очень-то нуждались, потому что нам хватало друг друга. Ведь даже между старшей из нас, Екатериной, и младшей, Кристиной, всего два с половиной года разницы. Были, конечно, некоторые дальние родственники. Например, тётя Галя, которая помогала иногда по хозяйству. Одна девушка, активно распространявшая «орифлэйм» и пытавшаяся убедить весь город, что лучшей косметики в мире не бывает. А ещё Ольга Сергеевна, или просто Ольга, учительница литературы в Катином классе. С соседями мы тоже попробовали дружить и даже, ещё когда-то давно, в детстве, приносили им на Пасху и Рождество подарки, куличи и крашеные яйца, рождественские свечки и маленькие самодельные вертепы. Но потом оказалось, что некоторые из наших соседей сильно огорчились, когда у нас появились второй этаж и гараж.

Катя однажды попробовала дружить со сверстницами, но и тут ничего у неё не получилось. И не потому, что они были с татуировками, пирсингом где только можно, килограммами косметики и в совсем уж падающих джинсах, ругались матом, пили пиво из горлышка и чуть было не подсадили Катю на «иглу». А потому, что они насмехались над младшей, Кристиной, когда она увязывалась с ними. От «иглы» же Катерина каким-то образом увернулась. Неизвестно, что удержало её,— может быть, слова, которые когда-то сказала мама: «Девочки, если в какой-нибудь компании вам будут предлагать покурить травку, или сделать укол, или попробовать необычные таблетки, знайте, что это не ваша компания». И хотя Катя не относилась к числу очень послушных дочек, всё же почему-то это на неё подействовало. А может быть, ей просто было с ними скучно. А ещё на неё подействовало то, что Кристина с тех пор усвоила: мир старших местных девочек—это жестокий мир. Курить Катя всё же научилась; правда, делала это изредка, как она говорила, «на нервной почве». Иногда они подбрасывали ей порно, скачанное из Интернета, и мы с ней, конечно, смотрели, но не показывали Кристине.

С мальчиками же у неё тоже всё не заладилось. На каком-то вечере в школе она познакомилась с одним симпатичным, как она рассказала, красавцем, но он почти сразу предложил ей переспать с ним, и она расстроилась. Может быть, где-то в глубине души она была и не против такого продолжения отношений в каком-нибудь пусть не очень далёком будущем, но для начала всё же ей хотелось поговорить о кино-поэзии-книгах-артистах-музыке и погулять по берегу реки под луной или без луны, на худой конец—посидеть где-нибудь в кафе или попрыгать на дискотеке. Словом, попытаться найти «духовное родство душ», о котором мы слышали от мамы, а Катя читала в книжках. Но, как сказала тётя Галя, наша мама в своей жизни так и не нашла никакого духовного родства, как ни старалась, и вообще она была романтиком, искала то, чего нет. И Катя на какое-то время решила ни с кем не дружить, наблюдая, как вся эта дружба складывается у меня. Но ещё до того, как смазливый красавец сделал ей это откровенное предложение, она поняла, что его интересовало совсем немногое: пиво, игры, футбол, драки, тусовки. А от этого, призналась она, веет тоской, на что Кристина заметила, что здесь все этим занимаются и это вполне обычное дело, а быть романтичной совсем не обязательно, а такого же двинутого, как она, на книгах можно никогда не найти.

В тот вечер, когда уехал дядя Витя и мы, попрощавшись с отцом и пожелав ему спокойной ночи,

пошли наверх, быстро заснуть нам не удалось. Екатерина тоном старшей говорила, что теперь нам надо быть очень осторожными, внимательными, нам надо хорошо учиться, и наставляла Кристину больше читать, готовиться к новому учебному году и меньше сидеть за компом. Мне она сказала, что я должна меньше разговаривать с теми, с кем плохо знакома.

— С кем же это я разговариваю?..— спросила я.

— Сама знаешь с кем,— ответила она.— Может быть, он тебе не пара.

— А я никого пока что не считаю своей парой,— ответила я.— А разговаривать можно с теми, с кем просто интересно поговорить.

Она имела в виду Мишу, старшего брата одного моего одноклассника, который всего лишь вчера провожал меня домой. До дома он не провожал меня никогда — а только до поворота на нашу улицу. Иногда он провожал меня до нижнего парка, и оттуда я уже шла домой одна, потому что я так хотела. Вернее, не хотела, чтобы территория обитания моего отца пересекалась с маршрутом нашего и, главным образом, Мишиного пути. Но почему-то каждый раз этот путь становился всё длиннее, и расстояние до дома становилось всё короче.

Я, конечно, соврала, сказав, что никого своей парой не считаю. Именно Мишу мне хотелось видеть всё чаще. Потому что когда увижу, то вдруг начинаю радоваться. Даже как-то глупо. Иногда мне хотелось, чтобы он взял меня за руку. Я даже закрывала глаза и представляла, как он берёт меня за руку, и у меня начинало колотиться сердце. А иногда я представляла, как вместе с ним мы плывём в лодке ночью по извилистой узкой реке, подальше от нашего города, а потом, положив вёсла, смотрим на звёздное небо. А потом… потом…

Одна знакомая моей мамы, увидев как-то меня с ним, сказала, что мы с ним чем-то похожи. «Чем же?» — спросила я тогда. «У него грустные глаза. Твой взгляд последнее время тоже изменился…» Она имела в виду — после смерти мамы, но не сказала прямо. Да и этого могла бы не говорить. Но ей почему-то нравилось говорить именно на эту тему. «Бедная Танечка,— любила повторять она.— Она так мало пожила. Но всё-таки у неё остались такие замечательные девочки…»

А у нас с Мишей вчера разговор был вполне обычный. Можно сказать, ни о чём. Он старше меня на восемь лет; мне кажется, что он взрослый и умный, что он много знает и что с ним интереснее, чем со сверстниками. И в то же время вдруг сходящая на него серьёзность и задумчивость настораживают меня. Он бывает мрачен. И эта его спонтанная грусть вдруг пугает меня, потому что за ней скрывается мрак одиночества, несмотря на то, что я рядом.

Мы поговорили о кино, о компьютерах, о мобильных телефонах, а потом, когда уже шли в сторону моего района, заговорили просто так, ни о чём.

— Хорошо вашему отцу,— вдруг сказал он ехидно.

— Чем же хорошо? — спросила я.

— А тем,— ответил он,— что не надо будет отправлять вас в армию или стараться отмазать от неё.

Я засмеялась:

— Даже если бы у нашего отца были три сына, а не три дочери, он ни одного из них не стал бы отмазывать от армии.

— Да, отмазывать, может быть, не стал бы, но место службы выбрал бы приличное,— ответил он.— Что-нибудь благополучное или даже элитное.

Я ответила, что отец наш всю свою жизнь — или почти всю жизнь — служил в горячих точках. Или где-то около них. Вряд ли он стал бы сыновьям своим подыскивать место покомфортнее.

Я вспомнила, хотя старалась не забывать, что и Миша служил в совсем не спокойном месте. Говорили, что он получил какие-то травмы или ранения, но никто не знал подробностей. И я не знала. Вдруг в этот момент меня стало распирать любопытство: а почему, собственно, он так особенно говорит о моём отце?..

— Это тебе так кажется, что не стал бы,— ответил он.— Любой отец, если бы встал вопрос, посылать сына на смерть или нет, сделал бы всё, чтобы не посылать. Кроме такого, конечно,— добавил он с усмешкой,— который всерьёз считает службу почётной обязанностью…

Мне тогда стало не по себе.

— Что ты всем этим хочешь сказать? — спросила я.

— Нет, ничего особенного,— ответил он.— Знаешь, что такое украденная жизнь?..

Я не знала, что ответить. Сказать «знаю» было бы слишком самоуверенно, но и сказать откровенно «нет», как будто я полная дура, я тоже не могла. После службы в армии Миша долго лечился где-то и потом искал работу. Совсем недавно он стал работать в салоне связи, и это в масштабах нашего города было совсем неплохо. Может быть, их пути с отцом где-то пересеклись, а может быть, в их путях просто есть что-то общее, откуда мне знать?..

— Я знаю, знаю,— говорю я.— Но ведь сейчас у тебя всё хорошо. Ты работаешь… Папа, кстати, говорит: человек сам не знает иногда, что он теряет, а что приобретает… Если всё кончилось хорошо, то что ты потерял?..

— У меня были другие планы,— ответил он.— Их уже не наверстать. Их уже не реализовать никогда.

— Почему не реализовать? Как будто ты потратил много времени! Пожалуйста, делай сейчас что хочешь!

— Дело не только во времени,— ответил он.— Ещё и в себе. Надо вернуть себя прежнего, а его уже нет.

— И что же такого ты хотел, чего в тебе уже нет? — с некоторым напором спросила я.

Наверное, за это он мне и нравился. Никто из моих сверстников не сможет говорить такие странные, абсурдные вещи.

Он усмехнулся.

— Какая разница, что я хотел? Есть вещи, которые уже нельзя исправить,— сказал он.— Их уже не вычеркнешь, и твой отец, наверное, тоже очень хорошо знает это…

Сообразив, на какую опасную почву разговора мы ступаем, я решила одним махом преодолеть этот путь.

— Ты, наверное, хотел бы сказать, что знаешь моего отца?.. Ты хочешь сказать, что знал моего отца там, где ты служил?.. Где ты служил, в какой части?..

Этот вопрос был бессмыслен. Я всё равно не помнила номера частей, где служил отец. И даже не утруждала себя запоминанием их.

Он почему-то не ответил.

— Не волнуйся,— вдруг сказал он.— Твой отец никогда не сделал бы ничего плохого. Он никогда не послал бы зря солдат на смерть. Ни за что. Он берёг бы каждого и за каждого пострадал бы сам.

И произнёс он эти слова так, что понять их можно было с точностью до наоборот.

— Он очень странный, этот твой Миша,— сказала Катя.— Я не понимаю, что в нём интересного.

— Он такой же мой, как и твой,— отвечаю я ей.— А если мне интересно, это не значит, что должно быть интересно и тебе. Но если хочешь, можешь поговорить с ним сама.

— Мне кажется, неспроста всё это. Он преследует какую-то цель. Почему ни разу не зашёл к нам в гости, на чашку чая?..

— Потому что я его не приглашала,— сказала я.

Но теперь, после сегодняшнего разговора с дядей Витей, всё должно быть по-другому. Это стало очевидно, и я не собиралась спорить. Иногда мне становилось всё равно, потому что казалось: есть какая-то обманчивость в спокойной и нормальной жизни, на самом деле жизнь похожа на войну— только линия фронта всё время перемещается куда-то и вдруг неожиданно оказывается перед самым носом. Такое убеждение появилось у меня очень давно, ещё в детстве.

Теперь же надо было только решить, как дальше вести себя с Мишей. О том, что он мне всё же нравится, придётся забыть. Может быть, на время, успокаиваю я себя. На время.

И с тоской думаю об этом странном сопутствии. Людей странных, конечно, немало, но почему-то сразу двое оказываются в моём близком окружении, рядом со мной, отец и Миша, и оба какие-то инвалиды, покалеченные какой-то странной войной в мирное время.

Наш город не очень большой. Может быть, даже маленький. И я даже не знаю, стоит ли говорить, как он называется. Ведь кто-то вдруг может решить, что речь идёт о его городе, хотя это не так, речь идёт о нашем и только о нашем городе. Во всяком случае, название его вполне обычное. Может быть, созвучное таким словам, как «Купавна», «Крапивна» или «Коломна», а может быть, это какой-нибудь Посад, а может быть, Тихорецк, Сестрорецк, Зареченск или Заозёрск. Это неважно. Сейчас это никого не интересует. По сути, до нашего города никому нет дела.

Сначала Кристине очень не нравилось здесь, и она говорила, что хочет уехать. Куда угодно. А я, успокаивая её, говорила, что надо жить там, где живёшь, и надо стараться что-то изменить вокруг, то есть сделать лучше. Это не я сама придумала, а слышала от кого-то. И Кристина стала изучать историю нашего города, ходить в музей и даже познакомилась с местным краеведом, Петром Григорьевичем, и потом заставляла нас слушать разные истории.

Сначала, когда-то давно, наш город делили между собой удельные князья, а страдали от этого, разумеется, мирные жители. Потом совершали набеги ордынские ханы, сжигая храмы и уводя в рабство опять же мирных местных жителей. Но это было давно. Потом, когда ханов прогнали князья, в нём заново возводили храмы, развивали разные ремёсла, строили мастерские, мануфактуры, лодочную станцию, каменные дома,— словом, шёл нормальный прогресс, который приводит к тому, что жить становится легче. Однако не для всех. То есть не для местных жителей нашего города. В общем, была у него какая-то своя история, хотя, как выяснила Кристина, а Катя тоном знатока подтвердила, радостного в этой истории было мало. Например, хозяева усадьбы, которую можно увидеть вдали со второго этажа нашего дома, когда-то продавали крестьян, как вещи. От крестьянских деревень, правда, тоже ничего не осталось— развалины да два-три дома. А в городе было построено шестнадцать храмов, которые потом, после революции, были либо разрушены, либо превращены, например, в бензозаправку, лесопилку, общежитие техучилища, диспансер, архив. Во время и после революции снова убивали местных жителей, разорили богатые дома и эту единственную за нашим городом усадьбу. Одного местного фабриканта расстреляли, а другой уехал за границу. Несколько лет назад приезжал какой-то его потомок и с тоской, чуть ли не со слезами, смотрел на дом своих предков, в котором сейчас сидит какое-то ООО, и на здание фабрики, которая, хотя и работала когда-то, в последнее время тоже закрылась. А усадьба, которую можно увидеть со второго этажа нашего дома, долгое время привлекала кладоискателей. Кристина сказала, что в областном музее находятся некоторые картины и красивые вещи из этого усадебного дома, те, что крестьяне когда-то не успели растащить и сжечь.

А ещё была немецкая оккупация. Правда, недолго. Одного из наших родственников угоняли на работу в Германию, а потом, когда он вернулся, его арестовали и отправили в наш советский лагерь, и оттуда он уже не вернулся. А тех, кого не угоняли, потом проверяли наши, нет ли среди них предателей. Как говорил прадедушка, «нас тут бросили на произвол судьбы, а потом пришли тыловые крысы от НКВД и нас же судили». В городе осталось даже немецкое кладбище; правда, его после войны сравняли с землёй, укатали и разбили на этом месте сквер. Какие-то слишком активные люди в городе говорили, что это нехорошо, что даже немецкое кладбище всё же должно быть кладбищем, но эти чрезмерные проявления демократии, свободы слова и почтения к иноземцам были быстро пресечены. Кладбище осталось сквером. И сейчас где-то за холмом иногда копают чёрные археологи, находя что-то то ли из восемнадцатого века, то ли из двадцатого. В общем, всё не сахар, рассказала нам Кристина. Если учить историю не по школьному учебнику, всё оказывается очень даже печально. А потом была перестройка.

Многие наши знакомые и родственники ругали перестройку, считая, что она разрушила счастливую советскую жизнь, в которой хоть и мало было еды, но человек с голоду бы не помер и на улице бы в грязных вонючих лохмотьях не валялся. Словом, если ты Солженицына-Синявского-Даниэля не читал, Галича на кассетах не слушал, Би-би-си и «Свободу» по ночам не ловил, советскую власть открыто не ругал, то жить можно было. Кроме тех, конечно, которые, как наш родственник, получили срок ни с того ни с сего как изменники родины. Но мама говорила, что всё равно было плохо. Плохо было оттого, что не хватало воздуха. Какого ещё воздуха ей было нужно?—недоумевала Кристина, а Катя отвечала: особого воздуха для ума и души.

Из шестнадцати когда-то действовавших храмов восстановили и открыли только два: один в центре города, соборный, и женский монастырь на окраине, за кладбищем, на холме, где жили пока что три монахини, да и те приезжие. Они как-то потихоньку превратили унылую развалину, оставшуюся от храма, в праздничную белую игрушку, и теперь голубые в белую крапинку купола были видны издалека.

Туда часто заезжал отец, потому что там на службе было меньше народа. Он деловито ставил свечки и подолгу стоял перед иконой Богоматери по стойке «смирно», как солдат перед начальством. Наверное, по-другому он не умел делать никакое дело. О чём он думал в этот момент, одному Богу известно. Верующим он стал совсем недавно. Потом он подружился с настоятельницей, матушкой Антонией, и помогал ей, находя для неё то каменщиков, то кровельщиков, то плиточников. Мы же побаивались немного и монастыря, и матушку, которая казалась нам очень строгой. Кроме Кристины, которая тоже стояла, не шелохнувшись, всю службу и даже подпевала хору. А матушка говорила, что собирается в будущем открыть здесь приют для детей. Отец же сразу поделился с ней своими планами—открыть школу для девочек, но с планами матушки это почему-то не совпало.

А ещё кто-то говорил, что там, дальше, за валами, уже в лесу,—то ли следы метеорита, то ли остатки какого-то странного сооружения. А сразу после перестройки, рассказывала нам мама, здесь у одной жительницы открылись вдруг какие-то паранормальные способности, она стала пророчествовать и исцелять, и сказала, что когда-то здесь совершил аварийную посадку НЛО. Что стало с пришельцами, никто не знает: может быть, они погибли, а может быть, смешались с местными жителями и живут сейчас где-нибудь в нашем городе.

А ещё мы впервые увидели здесь такую бедность, какой не видели никогда, ни в одном из городов, где мы жили раньше, ни в одной из воинских частей, ограждённых заборами, ни за пределами воинских частей. На другой окраине, восточной, располагаются самые бедные дома—старушек и стариков, которым уже никто никогда не поможет. Там пыльные окна, тёмные занавески, перекошенные двери и падающие заборы. Если туда идёшь, лучше не смотреть на эти окна, потому что бедность здесь незыблема, как сама вечность. И Пётр Григорьевич сказал Кристине, что так было всегда.

Может быть, поэтому отцу захотелось остаться здесь, на родине мамы, что до него, этого города, действительно никому нет дела? Может быть, это было связано с мамой, которая теперь здесь осталась навсегда, может быть, в напоминание о юности, которая отчасти прошла в этих местах. Может быть, красота здешних мест, река и луг, которые видны из окон нашего дома, после походов, поездок и передряг пришлась ему по душе? Может быть, ему захотелось тишины. Хоть и тревожной, мучительной, безнадёжной, но тишины. А может быть, из-за нас и только из-за нас решил он остаться здесь.

Когда-то, во время серьёзных разговоров с отцом, мама говорила, что было бы лучше ему приобрести мирную профессию. «Какую мирную профессию, где я её возьму, да и какая профессия—мирная?—возражал он раздражённо.—Кем бы я мог быть? Чиновником, торгашом, бизнесменом, чёрт возьми?.. Или, может быть, юристом? Адвокатом бандитов, мать твою?..»

Этот разговор нас пугал. Но на этом он, собственно, и заканчивался. Отец заводился, а мама удалялась куда-нибудь на кухню, если разговор происходил в комнате, или в комнату, если разговор происходил на кухне.

Потом, когда он уезжал, она говорила, что до смерти устала от всего этого.

На другом конце нашего города, в противоположном от монастыря, самом зелёном и красивом районе, сохранилось каменное двухэтажное здание бывшей женской гимназии. Теперь здесь размещался технический колледж, бывшее ПТУ, в котором учились местные парни и девушки. Но поскольку учащихся парней и девушек становилось всё меньше, некоторые отделения закрылись, а часть здания пустовала.

Именно это здание облюбовал наш отец в качестве школы для девочек. И поделился с нами своими соображениями.

Окрылённый, он, кажется, получил новый стимул к жизни. И только мы, переглянувшись, пожали плечами. Через пару дней появились ещё люди, которых отец назвал соучредителями. Папка с документами постепенно приобретала солидный вид.

— Всё надо исправлять в этом мире,— говорил он.— И начинать надо вот с таких, казалось бы, простых вещей. Создания школы для девочек. И как я раньше об этом не догадывался?! Этот мир испорчен безнадёжно. Мы пропадём, если ничего не будем делать.

— Папа,— немного иронично спорила с ним Кристина,— ты всегда говорил, что мир надо очищать от бандитов и негодяев.

— Да, конечно,— отвечал он.— От них тоже. Только от них землю не очистить. Никогда.

Через три дня после нашего разговора с дядей Витей отец заявил, что нужно придумать название для его необычной школы.

— Какое имя тебе больше всего нравится?— обратился он ко мне.

— Татьяна,— не раздумывая, ответила я, потому что так звали маму, и другого имени мне на ум не могло прийти.

— Н-да,— промычал он разочарованно.— Нет, нет, не годится. Это слишком… как тебе сказать… банально… Надо что-то новое, неожиданное и в то же время традиционное…

— Виктория,— говорит Катя.— Это — победа.

— Это хорошо. Но не то.

И он сказал через некоторое время, что назовёт школу для девочек «Жанна». Во-первых, потому, что имя это особое, благодатное, героическое; а во-вторых, Жанна д'Арк всегда была для него образцом героизма и самопожертвования, а также напоминанием о человеческой неблагодарности к тому, кто проявил это самопожертвование для спасения многих.

— Но ведь её сожгли,— с опаской заметила Катя.

— Да, верно,— задумчиво сказал он.— Кстати, и здесь, на территории старой усадьбы, когда-то была школа. И её сожгли крестьяне.

— Да не школу, папа, а Жанну д'Арк!..— воскликнула с раздражением Катя.

— Да, знаю,— спокойно ответил он.— Аутодафе.

Он ездил по делам. Так, в те августовские дни, когда жизнь ещё идёт в ритме летних отпусков и каникул, он сумел договориться об аренде здания.

Когда мы узнали, что он убедил некоторых людей в городе в необходимости создания школы, мы решили, что это конец. Отца вот-вот заберут в психдиспансер.

Ничего этого не случилось. В городской администрации ему сказали, что если он возьмётся за это дело, то это хорошо, ещё одно образовательное учреждение в нашем городе не помешает, пусть собирает необходимые документы. Он нашёл спонсора. Он нашёл юриста, который согласился помочь подготовить устав и получить лицензию. Отца даже не спросили о том, о чём сразу спросили мы:

— Папа, откуда такое количество девочек в нашем городе для твоей школы? В неё никто не пойдёт.

Никто не пойдёт в частную школу, кроме двух-трёх, ну, четырёх-пяти детей бизнесменов, начальника автозаправки и самой городской администрации, говорили мы. Ну, ещё этого спонсора, директора швейного комбината… Но даже у них у всех, вместе взятых, не найдётся такого количества девочек!..

В нашем городе действительно в последнее время стало мало девочек. И вообще детей. И вообще людей. Отец же говорил нам, что мы ничего не видим вокруг себя и не понимаем его замысла. Была бы идея, а девочки найдутся.

Так в нашем доме стали появляться люди.

Серьёзные тёти и дяди писали устав для школы «Жанна». Они приходили к отцу, сидели в его комнате за компьютером, сверяли каждое слово, выходили на кухню выпить кофе и снова шли корпеть над текстом — очень серьёзно и деловито. Мы переглядывались, что-то слушали краем уха — нет, у них тоже не было никаких опасений насчёт психического здоровья нашего отца. Кажется, они даже были рады, что у них появилось наконец-то настоящее дело и в их захолустную жизнь ворвалась струя свежего воздуха.

Появились: преподаватель иностранных языков, который, наверное, надеялся, что ему здесь будут больше платить; наш учитель физкультуры, которому было всё равно, с кем бегать и играть в футбол; учительница французского языка, которая, оказывается, много лет, с самого своего рождения, жила в нашем городе.

Её звали Софья Александровна. В нашей обычной школе французский был не нужен, его не изучали, и она была не у дел. Сама она была внешне очень похожа на француженку, сухая и высокая, с интеллигентными чертами лица, и нам хотелось

бы у неё учиться. Мы даже не догадывались, что здесь могут жить такие интеллигентные люди. Когда мы спросили, где она учила французский, она ответила: ещё бабушка в детстве разговаривала с ней по-французски. И читала Шарля Перро в оригинале, и потом рассказывала разные сказки, а вот её мама, то есть прабабушка, училась в гимназии и потом ещё в пансионе.

— А где же здесь был пансион?—спросила Кристина.

И Софья Александровна со знанием дела кивнула:

— Был, был, потом покажу где.

Она говорила, что её бабушке чудом удалось избежать чисток.

— Но к тому времени, когда откроют эту школу, нам французский уже не понадобится, мы закончим свою школу и, может быть, уедем отсюда,—сказали мы.

А отец говорил:

— Я лишь координирую. Делают пусть другие. Педагоги, соучредители, директора. Кто будет преподавать музыку? Где найти учителя? Кто будет преподавать искусства? Эстетику? Ну а если уж дело дойдёт до военного дела, военной подготовки, то тут буду преподавать я,—резюмировал он,— но до этого не дойдёт. Я не позволю никакому военному делу вторгнуться в тонкий процесс специального женского воспитания.

Иногда он сам, надев пиджак, уезжал на какие-то встречи с новыми людьми. И каждый раз нам казалось, что этот раз—последний. Что завтра к нашему дому подкатит психовозка, и больше мы отца не увидим.

Мы идём по тенистой аллее верхнего парка, примыкающего к соборной площади, или площади Ленина, откуда расходятся улицы в разных направлениях—на север, юг, восток, и запад. Пойдёшь на север—там два небольших, ещё работающих, пыхтящих завода. На восток—там спуск к реке, а за ним—развалюхи, гаражи, сараи. На западе живут богатые люди нашего города, там сосновый бор, остатки какого-то пансионата и стадион.

Мне уже не хочется, чтобы он брал меня за руку. Более того, я боюсь этого. Я боюсь его. Я иду, держа руки в карманах джинсовой куртки. Как всегда.

— У тебя всё хорошо?—спрашивает Миша.—Что случилось?

Спрашивает не сразу. Очевидно, это слишком заметно.

— Нет, ничего,—отвечаю я.—Всё хорошо.

Ведь и он никогда не говорит о своих переживаниях. Говорить о компьютерах, играх, мобильных телефонах, любимых фильмах—и ничего, совершенно ничего о своих переживаниях. Так легче. Так принято. Мы живём в каких-то разных мирах, закрытых друг от друга. Закрытых в себе, потому что не видим никакого смысла кого-то впускать туда.

Мы спускаемся вниз, к началу парка, к подножию холма. Здесь—памятник солдатам, освобождавшим наш город от оккупантов. Здесь братская могила. Раньше здесь горел вечный огонь, но теперь его нет. Мемориал был разрушен, памятник—воин с автоматом—покосился, но сейчас городская администрация его подправила немного и покрасила бронзовой краской. Но всё равно он здесь стоит как-то криво.

Мы обходим холм, мы идём в сторону нижнего парка, то есть ближе к нашему району, и там, у поворота, расстаёмся. Я снова иду домой одна.

— Ты будешь преподавателем литературы?—спрашиваю я с усмешкой Катю.—Поступишь на педагогический или филологический, а потом будешь работать в нашей школе?

Катя—единственная из нас, кто любит много читать. Она прочитала всё, что было в нашем доме, у соседей и в библиотеке. Иногда она могла целый день не выходить на улицу, лежать на кушетке или на полу и читать Александра Дюма или Джека Лондона. Теперь она читает Гюго и Шекспира, последнего даже пыталась читать в оригинале, чем привела в восторг свою учительницу литературы и почти подругу Ольгу Сергеевну. Мы же с Кристиной дальше «Гарри Поттера» не продвинулись.

— Вот ещё!—отвечает она, недовольно поднимая от книги свою занятую голову.—Ни за что не буду преподавать, и уж тем более в нашей школе. Мне интереснее читать. И переводить.

— А жить ты когда собираешься?

— А я что, по-твоему, делаю?..

— Тогда куда ты будешь поступать?

— Откуда я знаю? Ещё есть время подумать.

И снова—глаза в книгу, как будто там для неё всё самое интересное в жизни.

— Так ты думай побыстрее,—назойливо говорю я ей.—Может быть, у тебя нету никакого времени.

— А я не хочу спешить,—невозмутимо возражает она, теребя прядь волос.—Если человек совершит неправильный выбор, он никогда не будет счастлив.

— Да что тебе до этого счастья? Дело не в счастье. А в том, где ты будешь учиться. А счастье ищи потом, сколько хочешь. Нам надо поскорее зарабатывать, понимаешь?.. Сама же говорила—теперь всё меняется!

— А мама говорила,—подключается Кристина, снимая наушники,—что никакого счастья в жизни не бывает. Бывает его предчувствие. Или иллюзия. Или ожидание. Это всё очень субъективно. Счастье—это эйфория, а эйфория всегда говорит о какой-то неадекватности. В общем, о психической ненормальности.

— Может быть, поэтому тебе так нравятся занудные монастырские службы?—ехидно спрашивает Катя.—Заунывные и длинные. Там никакой эйфории. Мне там всегда плакать хочется.
— Это потому, что здесь всё тоскливо,—отвечает Кристина.—Радость может быть только там, на небе…
— Да кто тебе это сказал? А может быть, тебе надо в семинарию?..
— В семинарию девочек не берут,—сказала Кристина серьёзно, даже с раздражением.
— Для них девочки—не люди. Второй сорт. Это мне одна послушница сказала. Так что даже если ты хоть семи пядей во лбу, судьба твоя—ходить с тарелкой по храму,—с серьёзным видом говорит Катя.
— Лучше всего,—говорила Катя,—выйти замуж за богатого.
— Хорошо,—говорю я ей,—пожалуйста, да чтобы он ещё при этом был хорошим человеком.

Так говорила мамина подруга, Марина.

Я смотрю в окно и вижу там, вдали, ровное поле, и рощу, и излучину реки.
— Ну а ты? Ты-то сама чего собираешься делать?—спрашивает недовольно Катя.—Тебе-то чего хочется?

Я какое-то время молчу, продолжая рассматривать уходящий к горизонту пейзаж.
— Я тоже пока не знаю,—говорю я.—Наверное, путешествовать.
— Ух ты… Ну-ну, попутешествуй… Счастливого пути. Может, в Москву хочешь поехать?
— А может быть, и дальше,—говорю я.

Я хочу увидеть Великую Китайскую стену. Я хочу увидеть Великие озёра. Голубые горы и пустыню Пиннакли в Австралии. Я хочу увидеть Большой Каньон. Хочу проплыть по Большому каналу в Венеции. Бродить по Манхэттену, по Бродвею, по Елисейским полям, по Трафальгарской площади, а потом, когда надоест, вернуться домой. Только где он потом будет, мой дом? Я знаю где—там, где будут Катя и Кристина. И Миша… Ах да—конечно, и отец. Совсем забыла. И отец.
— А я пойду к матушке Антонии в послушницы,—говорит Кристина так, что даже не поймёшь, шутит она или нет.

В монастыре за кладбищем, где жили монахини, к Кристине относились хорошо. Может быть, потому, что она могла сосредоточенно и благочестиво выстоять всю службу, как и отец. У нас с Катей не хватало на это терпения. Может быть, у неё была какая-то особая богобоязненность, в отличие от нас. Может быть, у них с отцом была врождённая религиозность, которая вдруг вот так у них обоих ни с того ни с сего проявилась.

А я в монастыре после службы только однажды подошла сначала к священнику, а потом к матушке. «Что с тобой, Настя?—спросила матушка.—Ты совсем как в воду опущенная».

Какой странный вопрос—что со мной. Как будто непонятно. Совсем недавно мы были здесь на панихиде, когда была годовщина мамы. Что тут непонятного?

«Я понимаю, тебе тяжело. Но ты подумай, мама сейчас там, с Богом, и ей там хорошо. Ведь когда мы грустим по нашим близким, мы грустим прежде всего по нам самим… Мы жалеем не их, а себя…»—«Нет, не понимаю, всё равно не понимаю,—говорила я, с трудом подавляя подкативший к горлу ком.—Разве она нам не нужна? Как ей может быть хорошо там без нас?..» Матушка, а потом и священник отец Николай объясняли мне, утешали, что так надо, что надо смириться и что всё не так уж страшно, ведь я не одна, у меня сёстры; но тогда, помню, это не утешило меня. Они говорили, что если б у меня было побольше духовного зрения, то я поняла бы, какая великая милость Божия посетила нас, и не роптала бы, а благодарила бы Бога за посланное испытание. Это сразило меня окончательно, и я едва не разрыдалась.

И когда я сказала об этом Кристине, она ответила на удивление спокойно: «Если ей там лучше, то пусть так и будет. Я думаю, она будет помогать нам оттуда. Я иногда слышу её, как она оттуда говорит нам, что всё будет хорошо». Ну вот, у Кристины свои разговоры и отношения с тем миром. Лучше бы ты занималась побольше, говорит ей Катя.
— Ну а если серьёзно?—говорю я Кристине.—Если серьёзно, то куда?..
— Ну что ты пристала к нам?..—восклицает Катя.—Куда, куда…
— Нет, ничего,—говорю я.—Просто так.

Мы, как ни странно, мало похожи друга на друга. У Кати—светло-каштановые вьющиеся волосы, как у мамы, немного вытянутое худое лицо, и если надеть на неё очки, она будет похожа на профессоршу. У Кристины—чёткие, даже резкие черты лица и тёмные прямые волосы. Она похожа на отца—только на его голове волос осталось совсем мало, да и те стали белые.

А я не похожа ни на кого из родителей. Говорят, похожа на нашего родственника, которого угоняли на работы в Германию, а потом в наши лагеря.

Но между нами всегда было одно безусловное сходство. У нас были похожие красивые голоса. Мы всегда хорошо пели. В альбоме сохранилась фотография, которую делала мама, где мы, когда нам было девять-десять-одиннадцать лет, на школьном празднике поём песню. Мы стоим: Катя в центре, и мы с Кристиной—слева и справа. Я помню, как мы тогда привели в восторг всю школу, исполнив легко и задушевно: «Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко…»

После маминой смерти мы перестали петь. Мы больше не поём. Только иногда, когда плохое

настроение, мы слушаем на mp3 электронную музыку или techno, которую Миша качает из Интернета.

Отец, конечно, скоро узнал, что я встречаюсь с молодым человеком, да ещё, оказывается, чуть ли не ставшим инвалидом во время военной службы, то есть одна новость плохая, а вторая—ещё хуже. Это его насторожило, но не очень смутило. Он не выяснял подробностей. Ни как его зовут, ни как давно мы знакомы, он не спрашивал. Он ушёл в себя на какое-то время. Потом сказал, что надеется на моё благоразумие. Я кивнула с серьёзным видом. А ещё через некоторое время сказал, что всё же надо ввести в нашей школе уроки некоторых восточных единоборств—например, кун-фу. А я, увидев перемену его настроения, сказала:

— Папа, этот Миша совсем безобидный. Он хороший человек. Он работает в салоне связи. Я вас познакомлю. Он тебе понравится.

— Да, да, понял,—сказал отец.

Кажется, он впервые столкнулся с такой проблемой. Ведь у нас, оказывается, могут появиться друзья. И что они могут быть совсем не такими, какими представляли он и мама. И мы поведём себя совсем не так, как они предполагали.

— Нужна, нужна эта школа,—сказал отец.—Кроме восточных видов борьбы, нужно всё-таки владение холодным оружием. Обязательно. Это нужно не для нападения. Не для войны. Это нужно, если вдруг она останется одна… Как, например, вы оставались с мамой, пока меня не было… И некому её защитить. Да, конечно, она должна уметь защитить себя сама. И как я раньше не подумал об этом, старый дурак?

Он только сделал кое-какие пометки в тетради, которую вёл в связи с «Жанной», и ушёл в свою комнату.

Так в нашем доме появился ещё один житель. Вернее, жительница. О ней говорили каждый день. Тень «Жанны», как тень чьего-то безумия, всегда ходила за нами и требовала к себе постоянного внимания. Непредсказуемая и странная, она вставала вдруг между нами и наводила иногда страх, иногда тоску, иногда спонтанное желание бежать отсюда куда угодно. «А как поживает «Жанна»?..»—мы с Кристиной, вернувшись с прогулки, задаём этот вопрос Кате. «Пока спокойно, без перемен»,—отвечает она, оглядываясь, чтобы не услышал отец.

Кончается лето. Мне не нравится, когда оно кончается. Мне не нравится, что уходит зелень из нашего сада. Мне не нравится, что погибают цветы. Мне не нравится, что ветер гуляет среди веток, поднимает листву и зачем-то шумит в трубе камина. Мне не нравится, что обнажаются фасады домов на нашей улице, делая их владельцев более доступными.

У нас остаётся совсем немного времени до начала нового учебного года, до школы, в которую так не хочется идти. Закончить бы её поскорее, чтобы забросить учебники и стать свободными.

Отец сказал, чтобы мы составили список всех вещей, которые нам нужны. И поехал по делам своей школы, которую, сетовал он, никак не получится открыть к сентябрю, и даже к октябрю, и даже к Новому году.

Мы же этому только радовались.

По своим делам он любил брать кого-либо из нас. Это, говорил он, придаёт ему уверенности. В присутствии одной-двух дочерей всегда легче открывать школу для девочек. У нас же была возможность наблюдать за ним, за его необычным, непредсказуемым поведением.

— Папа, а может, ты на следующий год займёшься этим? То есть школой? То есть «Жанной»?—спрашивает Катя. Спрашивает не без умысла: на следующий год ей уже будет семнадцать, а там уже совсем недалеко до совершеннолетия.

На этот раз он с Кристиной и Катей поехал встретиться с одним из вероятных спонсоров. Однажды мне удалось видеть, как он убеждает людей. Его командный тон вдруг превращался в ласковое щебетание. Он становился обходительным и вежливым. Сейчас, идя к дому, я вспоминала выражения лиц людей—с них постепенно сходило напряжение при его потоке речи, и мне хотелось крикнуть: «Не надо, не слушайте его!..»

Я иду к площади, туда, где сейчас ярмарка к началу учебного года. Разноцветные тряпичные павильоны с вывешенными развевающимися рубашками, футболками, пиджаками, разложенными на прилавках тетрадями, блокнотами, ручками, канцелярскими наборами. Можно походить, поглазеть, можно кого-то встретить из знакомых и поболтать о том о сём, можно порыться в дисках.

Может быть, я когда-нибудь увижу Великую Китайскую стену. Может быть, я буду плыть по Большому каналу в Венеции с Мишей и тремя нашими детьми-погодками (ах да, мальчиками, конечно, мальчиками!), может быть, я смогу когда-нибудь брести по самой кромке Атлантического океана к закату солнца. Но я знаю, что никогда не смогу совершить в своей жизни одного очень нужного путешествия. В прошлое, в тот день своей жизни, три года назад, в март или апрель, число не помню. Когда мы с ней поссорились. Когда я наговорила ей разных слов про то, что мне всё надоело и я сама всё знаю, а потом выбежала, хлопнув дверью. Я хочу, прежде чем делать это, остановиться и сказать ей: «Ма…»

— Настя! Ты слышишь меня?..

Подняв голову от прилавка, я увидела женщину, которая смотрела на меня в упор. Она стояла прямо, прижимая к груди сумочку. На ней были красивый приталенный пиджак поверх белой

блузки и строгая юбка. Я пытаюсь вспомнить, как её зовут. Я видела её в каком-то кабинете с табличкой, куда заходила с отцом. Она улыбается, но сдержанно. Странно видеть её здесь. Кажется, она вышла из ближайшего бутика—единственного в нашем городе.

— Вот что, Настя,—говорит она деловито, даже не поздоровавшись.—Скажи отцу, чтобы зашёл ко мне по поводу своей школы. Надо обсудить с ним некоторые вопросы по поводу лицензии.

Мне захотелось спросить: «Чего-чего-чего? Лицензии? Ему? На школу? А вы разве не знаете, что он…»

Я киваю головой, стараясь не смотреть ей в глаза. Да, конечно, передам, да, мы ему помогаем по мере своих сил, но нам просто некогда, нам надо заниматься, а так он и сам справляется, да, хорошая идея, да, конечно, он молодец…

Ну вот, наконец-то она, повернувшись, ушла, немного раскачиваясь на своих каблучках и придерживая сумочку. Я сажусь на какую-то тумбу, и мне кажется, что я уже ничего не понимаю, что происходит здесь.

Потолкавшись немного у лотков, я иду домой готовить ужин.

Свернув на нашу улицу, я увидела новую незнакомую машину. Джип—блестящий, чёрный, новый, с тонированными стёклами, полированная банка, такой, на каких ездят у нас бандиты и мафиози и при виде которых скукожится от зависти любой лох из нашей школы,—стоял прямо против нашего нового забора и железной калитки.

Из окна высунулась голова—бритая, упитанная, круглая. И совершенно, как в песне, глупая. За тёмными стёклами ничего не было видно.

— Девушка,—сказала голова,—это ты здесь живёшь?

— Да. А что?

— Да ничего. А полковник Тарасов—твой отец?

— Да. А что?

— Да ничего. Где он?

— Его нет. Он уехал. А что?

— Да ничего. А когда он будет?

— А вам зачем?

— А ты отвечай на вопрос, когда тебя спрашивают.

— А я вас не знаю,—отвечаю я.—Почему я должна отвечать?

— Как ты разговариваешь со старшими?

— А вы мне не старший.

— А кто же я?

— Откуда я знаю? Вы мне документы не показывали.

— Девочка, кто тебя научил так разговаривать? Отвечай на вопрос.

— Вот ещё. Кто вы такой, чтобы мне приказывать?

— Ну ладно,—сказал он.—Передавай привет своему папаше.

— А от кого привет?

— От боевого друга.

— У него нет таких друзей.

— А ты этого не знаешь.

Голова скрылась в кабине, потом взвизгнули колёса, и чёрная блестящая банка умчалась вдаль по улице.

Вечером, когда приехал отец, я сказала, что на нашу улицу заехали бандиты из другого города и даже другой области. Наверное, по ошибке, но почему-то назвались боевыми друзьями. Отец долго расспрашивал меня, как выглядела эта голова и какой был номер на машине. Я ответила коротко:

— Коротко стриженый, голова круглая, и говорил с акцентом, как чёрные на рынке. А номер,—продолжила я,—был какой-то блатной, с шестёрками и семёрками, да ещё заляпан. Но это был не наш, папа,—сказала я,—это был не наш номер!

— Всё, всё, понял,—сухо отозвался он.—Свободны.

Конечно, единственное, что мне бы хотелось знать: зачем они упомянули нашу фамилию и откуда она была им известна?

Я вижу из окна нашей комнаты, со второго этажа, как он спокойно жарит на мангале шашлык, накинув на плечи камуфляжную куртку. И с кем-то говорит по мобильному телефону, неторопливо поворачивая шампуры. Я вдыхаю этот приятный дымок, который, наверное, коробит соседей, потому что шашлыки здесь часто не жарят.

Но отец обещал нам сегодня ужин. Шашлыки у него хорошо получаются.

— Послушай,—говорит он кому-то,—я не знаю, как вы там будете выкручиваться… Какое мне дело, б…?

Я вижу, как он оглядывается: не слышит ли кто-либо из нас этих слов. Убедившись, что нас поблизости нет, он продолжает:

— Ты меня не парь, … мать, я тебя достану, ты знаешь, что надо делать… Я вас всех, блин…

Я не могла понять, о чём шла речь. В разговоре с другим абонентом мобильной телефонной сети отец говорил уже более спокойно и дружески:

— Я, знаешь, уже не могу этим заниматься. Да и зачем мне это надо? Посуди сам: у меня три девочки. Девочки остались без мамы. Я должен хоть что-то сделать для них… Я должен думать об их судьбе. Что с ними будет дальше?.. Если бы мальчишки, можно было бы отдать в какой-нибудь кадетский корпус… а дальше крутись как хочешь… А они… Просто ужас, как многому их надо учить… Я должен во всё вникать… Должен всё знать: что они делают, чем увлекаются, с кем общаются. Да ещё всякая физиология… Но я же не могу рыться в их вещах в их отсутствие. Им надо и профессию получить, но только не тяжёлую, не кирпичи же на стройке таскать, а что-нибудь спокойное, интеллигентное, и чтобы деньги платили. А откуда

я знаю, что это? Парень, на худой конец, может пойти грузчиком работать, чтоб себя прокормить, а девочка куда? Может, им в ресторан пойти работать? Или в парикмахерскую? Или учительницами стать? Но это же замучаешься—оболтусов учить… В медицинский, конечно, неплохо, но это надо уезжать отсюда… Что? Ну да, конечно, замуж выйдет… А если муж какой-нибудь козёл попадётся, пьяница, бабник или которому вообще на семью наплевать?.. Или военный, который сегодня здесь, завтра там, которого, кроме стрельбы, ничего больше не интересует?.. Так им и зависеть всю жизнь от какого-нибудь хрена на ножках?..

Он перевёл дух, словно выслушивая ответ собеседника, и продолжил:

—А каково с ними разговаривать? Я никак не пойму их языка! Шутят они или всерьёз? Может, меня разыгрывают? Иногда чувствую себя круглым дураком… Иногда так хочется цыкнуть на них, а потом думаю: чего добьюсь? А потом… Им и так досталось… Конечно, трудно ей было одной с тремя… Из-за них, из-за них она заболела…

Наверное, мне надо было захлопнуть окно и больше не слушать. И я захлопнула.

У него всегда получались вкусные шашлыки. Он говорил, что научили его этому делу знающие толк мужики.

И всё же трудно было поверить, что он ненормален. И с чего мы взяли, что с ним что-то не так? Может быть, нам всё показалось?

Миша был одет в тёмно-синюю футболку, голубые джинсы с заплатами и складками, а в руках держал лёгкую джинсовую куртку. Всё как полагается. Он привёл меня в восторг. И почему это у Кати он вызывает подозрения?

Он принёс мандарины и пирожные к чаю. И ещё коробку «Коркунова».

Отец поздоровался с ним вполне цивилизованно, но с каким-то плохо скрытым недоумением: как будто он так и не мог понять, зачем этому парню сидеть за нашим общим столом. Он вёл себя так, как будто ему приказали выполнять некие действия, смысл которых был ему абсолютно непонятен.

Миша не рассказывал о себе, а отец не расспрашивал. Зато говорил:

—Все стремятся уехать в большие города. А мне всегда нравились маленькие уютные городки. Мне всегда хотелось жить в маленьком старинном городке, с двухэтажными купеческими домиками, с речкой, прудом, садами, рощами. Ловить рыбу из лодки. Так, чтобы рядом был луг, широкие поляны, тропинки, спуски к реке. Читать книги в саду в тени яблонь…

Никогда ничего подобного он нам не говорил. Ему всегда нравилось воевать и только воевать, почти кричу я про себя. И командовать. Автомат Калашникова ему всегда нравился, а не книжки, блин.

А Миша сказал:

—Знаете старые валы? Остатки крепостной стены знаете? Знаете про подземный ход? Их тут несколько, этих ходов. Их до сих пор ищут. И я искал одно время, а потом перестал. Но и сейчас мне иногда хочется найти. Говорят, там можно найти клады. Кто найдёт клад, станет счастливым, есть такая легенда… Может быть, я когда-нибудь найду?.. А может быть, я найду НЛО?

—Да уж, разумеется,—усмехается Кристина.—С кладом-то ты точно станешь богатым. А с НЛО ещё и счастливым.

—А я,—продолжил Миша,—всегда хотел чего-то необычного. Мне иногда казалось, здесь есть такие «чёрные дыры». Можно попасть в прошлое. И тогда увидишь мир, который был раньше здесь… Может быть, это из-за НЛО или метеорита этого дурацкого… Но я вам точно говорю—есть такое ощущение…

Вот тоже фантазёр, подумала я. А ещё прикидывается таким деловым и серьёзным.

—Да уж,—усмехается Кристина.—Большого труда не надо, чтобы попасть в это прошлое. Надо только закрыть глаза…

—А можно даже не закрывать глаза,—добавляю я.—Выйди на улицу, спустись вон туда, за мост, и увидишь всё прошлое, и настоящее, и будущее. И развалюхи, и сараи, и помойки… Потому что и в будущем там будет то же самое.

—Да,—подхватывает Катя.—Вон там, на поле, работают крепостные крестьяне. У реки женщины стирают и полощут бельё и тащат на себе большие корзины. На улице непролазная грязь. Там гуляют свиньи и куры. Телега увязла в грязи…

—Ну что же ты так сурова, дочка?—усмехнулся отец.—Ты всё представляешь слишком абстрактно. По книжкам. А частная жизнь—она неоднозначна, в ней много всего—и радостей, и печали… Иногда она может пройти мимо политики… Иногда во время больших общих трудностей человек может найти свою маленькую радость… И быть счастлив…

—Не думаю,—сказал Миша,—что она может пройти мимо политики.

—Это значит,—пояснила Катя,—когда всем плохо, кому-то может быть хорошо?..

—Ну не совсем так,—ответил отец.—Нам остаются от истории схемы, цифры и даты. Но атмосферу мы уже не можем уловить… От прошлого остаются чёрно-белые фотографии, а жизнь на самом деле разноцветная.

—Да, действительно,—говорит Катя,—а ведь наверняка люди думали, что жить станет лучше. И счастливее.

—Во всяком случае, лучше она не стала.

—Надо искать не счастье,—говорит отец.—А смысл жизни. Призвание. Долг…

— Долг…— задумчиво говорит Кристина.— Получается, человек всегда кому-то должен. А матушка говорит — надо искать спасение души. Вот и пойми…
— Я иногда представлял себя воином,— продолжил Миша, пропуская возникшую дискуссию мимо ушей,— который, держа меч, ехал на коне. У меня был рыжий конь. Я представлял себя каким-то воеводой… Или кем-то из княжеского войска… Я даже хотел научиться владеть мечом в одном историческом клубе… Теперь это так смешно.
— Теперь уже не хочется? — спрашивает Кристина.
— Теперь, конечно, нет,— усмехнулся он.— Теперь совсем даже не хочется. Сейчас я как-то охладел к оружию.

А ещё, рассказал он, здесь водятся призраки. Прямо как в английских замках. И однажды, когда-то в детстве, он с ними встретился.

Миша рассказывал, как это произошло. И даже обещал показать место: это в той, заброшенной части города. Туда надо прийти поздно вечером… Он может показать, если будет желание и если не будет страшно… Однажды в детстве он оказался там с ребятами и услышал разговор…

Наверное, он шутил. Но отец вдруг сказал всерьёз, что когда-то в молодости, когда приезжал сюда вместе с мамой, он сам разговаривал здесь с одним из таких призраков…

Он замолк. Однако неловкой паузы не возникло — мы продолжили расспрашивать Мишу о его салоне сотовой связи, и он говорил о том, что покупать нужно «нокию» или «эрикссон», ну если уж вы среднего достатка, то тогда «самсунг», ну а если совсем денег нет, то покупайте «моторолу».

И он говорил о телефонах, сетях, о новых технологиях, которые ещё не пришли пока в наш город, но скоро придут. Обязательно придут.

И отец предложил стаканом апельсинового сока тост за то, чтобы они обязательно пришли.

А это значит, что — даже если в нашем маленьком городке жизнь всегда была не сахар — мы будем жить лучше.

Уж мы-то всё равно будем жить лучше.

На прощание Миша, достав фотоаппарат «Olympus», предложил сделать снимок. Цветной, разумеется. Для будущего альбома. Для будущих воспоминаний.

Иногда отец вдруг уезжал на несколько дней, небрежно швырнув в багажник спортивную сумку, а на словах бросив, что он по своим делам куда-то ненадолго.

За старшую оставалась старшая — Катя.

Мы не спрашивали, что у него за дела. Мы привыкли ни о чём его не спрашивать. И может быть, зря.

Вот и в тот день он уехал. Куда, для чего?
— Какое наше дело? — говорила Кристина.— Пусть едет. А мы отдохнём без него. Погуляем где-нибудь.
— Теперь нам не всё равно, куда он едет,— сказала я.— Теперь нас это очень даже касается.
— Да, верно,— подтвердила Катя,— мы должны выяснить, что у него за дела. Надо проверить его комнату.
— Не надо в его отсутствие устраивать обыск,— сказала Кристина.— Это неприлично.
— Теперь не до приличий,— говорит Катя.— Мы должны всё контролировать.
— У нас и так всё под контролем,— весело отвечаю я.— Он же слушает нас и даже общается с Мишей!

И мы все отправились в его комнату.

Стол, кровать, книжный шкаф, платяной шкаф. Кресло у окна, небольшой журнальный столик. Зарядное устройство для мобильника, которое он, вероятно, забыл. И, в отличие от наших комнат,— ничего лишнего. Порядок. Ноутбук забрал с собой.

Катя открыла ящик письменного стола и вытащила несколько папок. Какие-то бумаги, в основном касающиеся его выхода на пенсию, какие-то воинские указы, старые письма начальству, ответы на них, рапорты — то, что сейчас уже было для него неактуально. Несколько книг — оказывается, он ещё читал книги,— детективы в мягких обложках. Фотоальбом, который был у него всегда и в котором присутствовали даже мы. И больше ничего, что помогло бы пролить свет на его прошлую жизнь. А в настоящей, кажется, кроме нас и «Жанны», больше ничего нет.

Впрочем, может быть, лучше в его дела не соваться.
— Руки вверх! — услышала я за спиной голос и ощутила между лопаток прикосновение твёрдого предмета.— Вы арестованы!..

Кристина держала в руках пистолет.
— Как тебе это? — спросила она.— Прикольно?
— Хватит,— говорю я, с недовольством отталкивая её руку.— Положи на место и не трогай его.
— Он не заряжен.
— Если отец узнает, что мы рылись в его вещах, будет скандал. И вообще, это нехорошо.
— Это «Оса»? — спрашивает Катя.
— Нет, настоящий, ПМ.
— Ну и положи. И вообще не наводи на человека.
— Да знаю, знаю.
— Хочешь сказать, умеешь им пользоваться?
— Хочешь сказать, тебя папа не учил?.. Вот, кладу,— отвечает Кристина.— А где же патроны? У него даже патронов нет!..
— Пойдём отсюда,— говорю вдруг я, испытав какое-то неприятное чувство от этих наших действий.

Мы выходим в гостиную. Надо идти в магазин, а очень не хочется. На улице вдруг стало прохладно.

Вечером приходит тётя Галя, помогает нам приготовить ужин, попутно расспрашивая, как

у нас дела. Катя отвечает, что всё хорошо, только очень хочется съездить куда-нибудь.
— Как вы думаете, надо ли нам уезжать отсюда?
— Уезжать? — переспрашивает она. — Наверное, если у вас получится переехать в какой-нибудь большой город… Наверное, так будет лучше.
— А мне здесь нравится, — говорит Кристина. — Здесь есть старинные дома и храмы. А потом — если все уедут, кто останется?
— Девочки, — говорит тётя Галя, — вам, конечно же, надо учиться. И вы правильно делаете, что не лоботрясничаете, а занимаетесь. Уезжайте! В нашем городе у вас нет будущего.

Уезжать… Куда, куда? Где оно есть, наше будущее?..

Через три дня, под вечер, когда только начал накрапывать мелкий дождь, приехал отец. Мы услышали шум подкатившей машины и привычный сигнал — так он давал знать о своём приезде. Потом раздался короткий хлопок дверцы, скрежет открываемых ворот, и затем — привычное шуршание колёс, когда машина въезжает в гараж.

Настроение было приподнятое, какое бывает у него обычно после пары рюмок коньяка. Он привёз нам новые мобильники «нокия» и маленькие ноутбуки. И дал нам денег на косметику.
— Командуйте, — сказал он, выложив перед нами подарки.

Нас охватила радость, которую я не буду описывать, потому что мы уже привыкли сдерживать чувства.
— Папа, это же дорого, — только и сказала Катя.
— Это не должно вас беспокоить, девочки, — отвечает он. — Вы не должны чувствовать себя хуже других.

Он спросил, как у нас дела. Готовимся ли мы к занятиям? Что читаем, и читаем ли? Какие книги нам нравятся? И снова рассказывал, как в детстве любил Дюма и Джека Лондона, Майн Рида и Конан Дойля.

Вечером мы лениво собираем на стол. Мы бы это делали ещё ленивее, если бы отец не участвовал в этом деле. Он быстро режет хлеб, одновременно давая указания Кате — порезать помидоры, а Кристине — разогреть котлеты. И, садясь за стол, начинает разговор о том, о чём не говорил прежде.
— Кем бы вы хотели стать, девочки?

Вопрос почему-то вызвал напряжение — наверное, потому, что на сей раз нам надо было отвечать на него.

Мы переглянулись, как будто никогда не думали об этом.
— Ну то есть… Учиться где бы вы хотели? Ведь думали же, наверное, об этом.
— Да, думали, — ответила Кристина. — Но пока ещё точно не решили!
— Ну а примерно? — сказал он. — А если примерно?..
— Примерно… — Катя вздохнула. — Я бы хотела уехать отсюда. Конечно, поступить в институт… Не здесь.

Конечно, ведь здесь нет институтов.
— А где же? — продолжал допытываться отец.

Катя сказала, что куда-нибудь в большой город. В Москву, например. Но это, конечно, если получится. Если будут деньги. А может быть, на заочное. А поступать она будет, скорее всего, на экономический. Это ведь перспективно.
— Экономический… — задумчиво повторяет отец. — Какая ещё экономика, где вы её видели? А иностранные языки тебя больше не интересуют?.. А книги?
— Интересуют, — отвечает Катя. — Но там много не заработаешь.
— Да, да, понятно, — сказал отец. — Это смотря где работать. Ну а ты? — и посмотрел на меня.

И я сказала: чтобы правильно выбрать, нужно время…
— Может быть, нет времени, — сказал он. — Иногда решения надо принимать быстро. От быстроты принятия решений зависит жизнь, может быть, не только твоя.
— Тогда, — говорю я, — я хотела бы поступить на какой-нибудь строительный факультет и уехать на фиг отсюда.

Отец передёрнул плечами.
— Круто, — сказала Кристина. — Тоже в Москву?
— Какая-то специальность не женская, — сказал отец. — Строительная… Может, скажешь ещё, что хотела бы в армию пойти?
— Нет, не хочу. Но почему не женская?
— Значит, уехать, — вздохнул отец. — Ну а как же дом? Как же всё, что здесь есть? Куда всё это?..
— А я, — сказала Кристина, — не поеду никуда. Я к матушке пойду петь на клиросе. Буду помогать в церкви. А потом подумаю.
— Н-да, — сказал отец. — Час от часу не легче. Вы что, сговорились, что ли? Ничего умнее не могли придумать?..

Мы пожали плечами.
— А моя школа как же? Кто будет мне помогать со школой? С «Жанной» что будет?..

Кристина вздохнула.
— Впрочем, вы правы, девочки, — ответил он сам. — Лучше вам уехать отсюда. Всем вместе уехать. И забыть про «Жанну».

Он сказал о ней так, как будто это был ещё один член нашей семьи, то ли наш брат, то ли сестра.
— Папа, не волнуйся, — говорит Кристина. — Разве мы оставим тебя и «Жанну»?..

И вдруг однажды случилось нечто странное, о чём нам поведала Катя.

Она пришла домой из библиотеки. Единственной оставшейся библиотеки в нашем городе, в которой она была едва ли не почётным читателем.

Мы с Кристиной в это время пили чай с блинчиками в гостях у одной нашей дальней родственницы, Клавдии Степановны, за мостом через реку.

Отец был дома, и не один. Какие-то люди, странные и мрачные, вдруг наполнили наш дом своим дыханием. И словами не совсем приличными. Нет, совсем не те люди, которые подхватили заразную болезнь создания школ для девочек. Совсем другие люди. Их было двое: один — высокий и угловатый, и второй — круглый и тёмный. Да, и голова у него была совсем круглая и бритая. Так их описала Катя. И недалеко от ворот стояла машина.

На журнальном столике стояли прямоугольной формы бутылка с желтоватой жидкостью и стаканы.

Поймав встревоженный взгляд отца, она поняла, что здесь что-то не так.

Они прекратили разговор. Так и замерли, увидев её.

Отец же, хлопнув себя по коленям, спешно поднялся:

— Всё, мужики, отбой. Базар окончен. Я всё сказал, — и, поворачиваясь в сторону Кати, добавил: — Иди наверх, дочка.

Один из них сидел, положив ногу на ногу. Он с любопытством, но холодно посмотрел Кате вслед. И вообще, от всей этой компании веяло каким-то смертельным холодом, сказала Катя. Она впервые ощутила такое. Такого в нашем доме не было никогда, сказала она. А отец — встал у камина и начал подбрасывать в него мелкие щепки. Последние дни было прохладно, и он решил затопить камин.

— Я же сказал, — пробурчал отец монотонно, — всё кончено. Что ещё?

— Ладно, — неохотно сказал один из них, поднимаясь и надевая куртку, брошенную на спинку кресла. — Нет так нет. Только... Зачем ты решил скрыться в такую глушь?.. Думал, не найду тебя?

Отец не отвечал, а только подбрасывал щепки, от которых потом разлетались искры.

— У меня теперь всё другое, — мрачно сказал он, не глядя на них.

— Нашёл что-то другое? Бизнес какой? Куда-то ездишь...

Они неторопливо направились к двери, и один из них позвякивал ключами от машины.

Катя поднялась наверх и вошла в нашу комнату, но её одолело такое любопытство, что она приоткрыла дверь, а потом тихо прижалась к перилам.

И только слышала чужой голос:

— Не обойтись нам без тебя, без твоих связей.

И второй чужой голос с усмешкой:

— Неужели оставишь такое дело? Хм... А жить на что будешь — на пенсию?..

И голос отца:

— Нет, всё кончено. Всё.

Она слышала шум шагов, хлопок двери, потом голоса звучали приглушённо за дверью, недоверчиво и раздражённо. Она уже не могла разобрать слов.

Вот всё, что она рассказала нам.

Иногда мы совершаем прогулки на велосипедах. По верхней дорожке, на холмы, откуда виден наш город. У нас только два велосипеда, поэтому кто-то остаётся дома. На этот раз осталась Кристина. Иногда заезжаем к знакомым, которые перестали ходить к нам в гости после того, как у нас поселился отец. Иногда пьём чай и слушаем рассказы о жизни.

Катя дружила с учительницей литературы. Даже странно представить, что в таком городке оказалась такая интересная учительница. Она была старше нас совсем ненамного. По сути, она была ровесницей Миши; может быть, даже моложе.

Жила она в двухэтажном доме, на втором этаже, без горячей воды. Когда-то здесь она жила с бабушкой, а теперь осталась одна. И — в комнате осталось всё, как было при бабушке. Старые тюлевые занавески. Книжный шкаф со скрипучими дверцами, за которыми стояли строгие ряды книг в старых тёмных переплётах. Рядом этажерка с учебниками и брошюрами. Старый диван с потёртой спинкой, который Ольге было жаль выбрасывать. Узкая, вытянутая кухня. Когда-то этот дом принадлежал одному хозяину, а потом его «разбили» на секции, и теперь здесь живут восемь семей. Во дворе, у железных гаражей, всё время грохотал мотоцикл.

— А я помню вашего отца, — говорила Ольга Сергеевна. — Мы были ещё маленькие, а он был такой высокий, красивый, стройный, когда приезжал с вашей мамой к вашим бабушке с дедушкой. Он казался нам таким сильным и недоступным. Все говорили: вот Танина судьба, такой надёжный и правильный, как это хорошо, что она встретила такого...

Катя изучала содержимое книжного шкафа, выискивая, что бы ещё выпросить почитать. Я жевала шоколадный батончик.

Ольга Сергеевна, или просто Ольга, говорила:

— Знаете, что мне всегда казалось? Здесь время идёт как-то по-другому... Может быть, по кругу... Мне иногда казалось, оно даже начинает идти назад... И можно было в это поверить и увидеть в этом какую-то необыкновенную красоту, если бы... Если не какое-то ощущение безысходности... Иногда видишь, как всё было прежде... Здесь жили люди... Куда они все делись?

Кажется, она говорила примерно то же, что говорил и Миша. Правда ли, что здесь появляется какое-то особое чувство времени, как будто времени нет? Или влияние какого-то метеорита, упавшего в далёком прошлом (ну не НЛО же! — сказала Катя). В любом случае, для нас время

только начинается, его у нас много, и у нас есть время разобраться, куда же уходит здешнее местное время.

Мы возвращаемся домой.

— Вот те на,—говорила Катя.—А ещё говорят, что мама была романтиком. Она по сравнению с ними была самым трезвым человеком. Они все здесь, в этом городе, какие-то странные… Откуда эти сказки про время, про какую-то другую жизнь, другое пространство? А что, может, и вправду—нло?..

— Это всё для того,—говорю я,—чтобы скрасить жизнь. Разве можно жить такой жизнью в реальности, не додумывая что-то?..

— Но ведь тебе же нравится,—говорит Катя.—Тебе же нравится наш дом, нравятся наши комнаты…

— Да, нравится,—говорю я.—Пока нравится,—и добавляю:—Это примерно то же самое, что навести уют и комфорт в отдельно взятой каюте на большом корабле, который идёт ко дну.

Мы катимся с горы, и Катя ещё раз пересказывает мне то, что было вчера. Спускаясь с холма, притормаживаем; издалека виден наш дом—ведь он теперь выше окружающих его домов, и кажется—что-то в нём не так. Только подъехав, мы понимаем, что изменилось: на углу дома, чуть выше забора и молодой яблони, висит бело-сине-красное полотнище.

Отец в гараже. Мы ставим велосипеды на место, в угол, отец лишь весело кивает нам и помахивает рукой.

Кристина сидит наверху. И встречает нас чуть ли не слезами.

— Ну вот,—бормочет она,—теперь все поймут, что он сумасшедший…

— С чего ты взяла?—спрашиваю я её, стаскивая с себя мокрую футболку.—Может быть, наоборот, все последуют его примеру… И что такого? Он военный, почему бы ему не повесить флаг?..

Нам важнее успокоить Кристину, чем разбираться—стоит висеть российскому флагу на нашем доме или нет. Не снимать же его теперь. И уж тем более не расспрашивать отца, с какой стати он его вдруг вывесил.

— Вот увидишь,—поддерживает меня Катя,—завтра на всех домах будут висеть флаги. И по праздникам у нас по всему городу флаги висят. И что же, весь город—сумасшедшие?

— По праздникам—это по праздникам.

Мы зовём её вниз, готовить ужин, ведь сегодня собирался прийти Миша, и спускаемся в нашу кухню-столовую, которая одновременно—место бесед и приёма гостей, обсуждения планов, споров и ссор. Отец, закончив дела в гараже, входит незаметно, вытирая руки полотенцем.

И Катя задаёт вопрос, который ей не терпелось задать весь сегодняшний день:

— Папа, кто те люди? Которые были здесь?

Отец не ответил—ни в первый раз, ни сейчас.

— Папа, почему ты не дашь им то, что они хотят?—это уже с нарочитой придурковатостью спросила Кристина.

— Что и кому я должен дать? Я никому ничего не должен. Вас это не касается. У вас всё будет хорошо.

Мы переглянулись. У него явно было неважное настроение, как будто он был недоволен кем-то из нас.

Ужин готовили мы с Кристиной, неохотно разливая тесто для оладий на две раскалённые сковородки. Миша принёс бутылку безалкогольного пива «Карлсберг» и полупрозрачную усечённую пирамиду «Рафаэлло». Он поставил всё это на столешницу и тихо шепнул мне на ухо:

— Всё в порядке?..

— Да,—тихо отвечаю я ему,—всё хорошо…

— А чего флаг повесили?..

— Да так, захотелось…

И мы приготовились к тихому, уютному семейному ужину.

Только его на этот раз не получилось. Отец был не в духе. Почувствовав это, Миша рано засобирался домой, поднялся из-за стола первым. Он встал—и вдруг тяжёлая рука отца опустилась на его плечо. Потом это плечо вместе с рукой оказалось вывернутым назад, как будто самого Мишу отец вдруг решил вывернуть наизнанку, так что мы даже не успели охнуть.

— Кто ты такой? Что тебе надо? Ты зачем следишь за мной?..

— Нет, нет,—испуганно прохрипел Миша.—Я не слежу. Я всего лишь в гости к Насте…

— В гости? Кто прислал тебя? Отвечай!

— Папа, что ты?!—закричала я.—Он всего лишь на чашку чая!..

— Я тебе сейчас устрою чашку чая, мать твою…

— Папа, он у нас уже был!—поддержала меня Кристина.—Ты с ним уже разговаривал!

— Мы его давно знаем, папа!..—добавила Катя.

Рука Миши была вывернута, голова клонилась к столу, к столешнице, и отец, возвышаясь над ним, давил рукой на его шею.

Мы все только ахнули.

— Папа, папа, папа!—хором кричали мы.

— Кто тебя послал? Говори же!.. Убью!..

После трёх секунд воцарившейся тишины отец всё же отпустил руку. Миша распрямился. Он так и не сделал ни одного движения, чтобы защитить себя.

Он повёл плечом, распрямил спину и выбежал из дома. Схватив его куртку, я вышла следом за ним. Он стоял у калитки, переводя дыхание.

— Ничего,—сказал он.—Ничего. Ты не думай, что я не смог бы… Я смог бы… Просто…

— Не надо,—сказала я.—Я должна тебе сказать что-то… На него нельзя обижаться как на обычного человека… У него… последствия контузии… Только об этом никто не должен знать, хорошо?..

— Я не буду,— ответил он.— Никому… Могила.
— Может быть, тебе не надо приходить сюда. Пока.
— Хорошо, не буду приходить. Пока.

Он встряхнул кисть руки и засунул в карман куртки.

Когда я вернулась в дом, Катя и Кристина сидели за столом, понурив головы. Я села рядом. Отец ходил по кухне, заложив руки за спину, и говорил, не глядя на нас:
— Теперь слушайте мою команду. Поняли? Так больше не будет продолжаться. Нужна дисциплина. Порядок. Теперь во всём будете отчитываться. Составите распорядок дня и принесёте мне. Во сколько подъём, зарядка, завтрак, какие дела, хозяйство, занятия и так далее.
— Папа, у нас же не казарма,— возразила я.
— Мы уже взрослые, мы сами знаем, во сколько надо вставать, чтобы делать наши дела,— добавила Катя.
— И нам не надо вставать в одно и то же время,— продолжила Кристина.
— Молчать!..— прервал нас отец.— Сейчас я говорю! Здесь я командую! Хотя бы дома можно не приказывать мне, что я должен делать? Хотя бы дома можно позволить делать то, что считаю нужным?..

Кристина выскочила из-за стола.

Мы опустили головы.
— Завтра составите этот распорядок. И никуда из дома не выходить без моего разрешения. Всё понятно? Есть вопросы?..

Мы замотали головами. Нет, нет никаких вопросов, какие могут вопросы.

Мы собрались идти наверх.
— Я ещё не всё сказал,— остановил он нас резким жестом.— Установите дежурство, чтобы убираться в доме. А когда идти в магазин — составите список продуктов и принесёте мне. Всё, свободны.

Мы тихо поплелись наверх, друг за другом, как овцы под кнутом пастуха, тупо и бессловесно.

Мы с Катей сидим на тахте, Кристина — на полу.
— Ты же понимаешь,— успокаиваю я её,— что ничего этого мы исполнять не будем. Мы же не сумасшедшие.
— А ты думаешь, он позволит нам не исполнять? А ты знаешь, как его называли в армии? А мне мама рассказывала…
— Врёшь ты всё,— говорю я.— Ты всё выдумываешь. И ничего тебе мама не говорила…
— Это неважно,— вмешалась Катя.— Всё равно мы ничего не будем исполнять.
— Вот теперь и разберись — надо заходить в его комнату или не надо, надо рыться в его вещах или нет,— говорю я.— А может быть, он перестал принимать лекарства? А какие лекарства он принимает?..
— А вы ещё ничего не поняли?— говорила Катя.— Надо установить жёсткий контроль над ним.
— А может, его надо в больницу?
— Его в больницу, а нас куда?..
— Звонить дяде Вите?
— А чем он нам поможет? Уже звонили. Не очень-то мы ему нужны.
— А мне уже надоели эти причуды,— говорит Кристина.— Когда всё это кончится?
— Успокойся,— говорю я.— Главное, что пока никого особенно сильно он не побеспокоил. А нам главное — поскорее выучиться и начать зарабатывать.
— Сначала надо решить, где учиться,— вздохнула Кристина.— Я пока не знаю.
— А ты думай побыстрее,— говорила Катя.— Не думаю, что монастырь тебе поможет. Там, скорее, ждут, когда ты будешь что-то им жертвовать, чем чтобы тебе заплатить за работу. Им всегда платить нечем.
— А я и не хочу, чтобы они платили мне,— говорила Кристина.— Храм не для этого. Только когда отец туда сходит, он спокойнее становится.
— Это если он с матушкой не поговорит,— уточнила я.— А после разговора с матушкой он становится взвинченный. И развивает бурную деятельность.

Утром мы не торопились подниматься. Утро всегда приходило к нам сквозь небольшое окно под потолком, через которое было видно небо. Поздно вечером можно было смотреть на звёзды. Как в иллюминатор космического корабля. Может быть, того самого, который прилетел сюда когда-то. Возможно, те, кто летел сюда, также рассматривали этот звёздный рисунок.

И если смотреть долго — может получиться именно так, как говорили Миша и Ольга: время отступает, уходит куда-то, остаётся только вечность, в которой ты можешь отправляться куда захочешь, как совершенно-абсолютно свободный человек-птица, человек-ангел, живущий без границ и тягот житейских.

— Девочки, ну что же вы не спускаетесь? Пора завтракать! Посмотрите на часы! Подъём!

Теперь через верхнее оконце льётся свет, да ещё такой яркий, что я невольно поднимаю голову, вырываясь из другой, беспечной жизни, называемой полётами во сне.

Катя молча натягивает джинсы. Кристина лениво расчёсывается, глядя на себя в круглое, прибитое к стене зеркальце.

После вчерашнего вечера мы ещё не знаем, чего нам ждать.

Мы спускаемся друг за другом и друг за другом идём в ванную. На столе уже стоит большая сковорода с омлетом. Расставлены чашки, разложены бутерброды.

Наскоро умывшись, мы садимся за стол.

Если отец берётся что-то готовить, он готовит вкусно.

— Вы что такие мрачные?—весело спрашивает он.

Мы пожимаем плечами. Он раскладывает омлет, нарезает сыр, заваривает чай.

— Случилось что-то?

Он смотрит на Катю.

Катя пожимает плечами.

Он смотрит на меня.

— Мы не составили распорядок, папа,—осторожно отвечаю я.—Мы не успели.

— Какой распорядок?

— Распорядок дня и дежурств,—говорит Кристина.

— Который ты вчера велел сделать,—добавляет Катя.

— Подъёма, уборки, завтрака, занятий,—уточняю я.

— Я велел составить распорядок?..

— Ага.

— Дежурства?..

— Да.

— Ну что вы, девочки, какое дежурство, мы же не в казарме.

Мы молчим.

— Я что-то от вас требовал?..

— Угу.

— Я кричал?

— Угу.

— Я ругался? Не может быть!

Мы молчим.

— Я вас обидел?.. Что я ещё говорил?

Мы молчим.

Он садится напротив нас, бросив кухонное полотенце на край стола, и потирает виски руками.

— Забудьте,—говорит он.—Забудьте... Не надо верить моим словам... Я сейчас поеду в управу... Потом—встретиться с одним преподавателем. Возможно, у нас всё же будет школа! Всё же будет.

Мы переглядываемся и пожимаем плечами.

Час от часу не легче.

Он уходит и через некоторое время выкатывает из гаража свой «мерс».

Вечером он пришёл домой огорчённый. Бросил в кухне свой кейс, который придавал ему солидности, и тяжело опустился на стул у окна.

— Ну надо же,—говорил он.—Они говорят, что невозможно зарегистрировать такую школу. Школа для девочек гуманитарной направленности... Почему только для девочек? У нас равенство полов, говорят они, почему вдруг такая дискриминация? А чем она не подходит для мальчиков тоже? Я долго им объяснял, что девочки—это девочки... А они говорят: школу делайте для всех, для мальчиков и девочек, а название ей дайте... ну, например, «Жан» или «Иоанн»...

А ещё оказалось, что в здание бывшей женской гимназии, на которое наш отец положил глаз, временно решили переселить интернат для умственно отсталых детей, которые раньше жили в старом двухэтажном кирпичном доме на окраине.

— Нет, не позволю,—говорил он, расхаживая по кухне.—Каких-то идиотов, дебилов, умственно отсталых олигофренов и уродов поселить в здании бывшей женской гимназии! Ни за что не позволю. В центре города—школа для придурков. Я буду возражать, я буду против. Я буду сражаться до конца, до последнего. Я не отступлю.

— Папа, это же временно,—начинала я успокаивать его.—Пока не будет отремонтировано их здание. Оно уже разваливается совсем, там холодно и сыро. Миша как-то там был по делам, они там проводили кабель, и говорил, что там ужасно жить, как в тюрьме. А в гимназии им будет лучше.

— Да какая мне разница, лучше им будет или хуже? Не всё ли равно?.. Это же дебилы.

— Папа,—подключалась Катя,—так не положено говорить. Они не дебилы, тем более что среди них есть очень даже умные. Они не дебилы и не идиоты. Они—с отклонениями в развитии. И что такого, что они будут жить в центре города?.. Они же безобидны, они со всеми здороваются и всем улыбаются. Пэтэушники вели себя гораздо хуже.

— Вот я и говорю, что дебилы. С чего бы со всеми здороваться? Нормальный человек не будет всем улыбаться.

— А что,—продолжила держать нашу общую линию обороны Кристина,—если человек безобидный, вежливый и всем улыбается, то значит, он уже идиот?.. А нормальные кто же?

Отцу, казалось, нечего было возразить. Но согласиться с тем, что лелеемая им мечта натыкается на такие нелепые препятствия, он всё же не мог. И хотя возражения на свои слова он получал в тройном объёме, то есть от всех нас троих, соглашаться так просто не собирался, потому что был слишком упрям.

Для нас же каждая победа в сражении с ним давалась нелегко, и всё же они были.

Но на этот раз всё оказалось хуже.

— Папа,—сказала Катя,—может быть, тебе отложить эти дела на следующий год? Зачем тебе сейчас этим заниматься?

И никогда не знаешь, на что наткнёшься.

— Хватит,—взрывается вдруг он, да так, что мы вздрагиваем.—Я уже говорил, что не надо мной командовать! Хотя бы здесь, в своём доме, я имею право, чтобы мной не командовали?!..

— Папа,—сразу возражает Кристина,—но это и наш дом... Это дедушкин дом... И мамин... Это не твой дом!

— Хватит меня учить!—ещё более раздражённо говорит он.—Я знаю, что мне надо делать!.. Генералы мне здесь не нужны!.. Как и всё прочее дебильное грёбаное начальство!

Мы с Катей молчим, ожидая, что эта волна сейчас спадёт. Не может молчать только Кристина, которая, как нам кажется, находится с отцом в каком-то одном нервном диапазоне.
— Это из-за тебя, из-за тебя она умерла!..— кричит она и выскакивает из-за стола.

Он смотрит ей вслед недоумённо, как будто не понимает, о чём она говорит.

Мы с Катей молчим.

Постепенно он согласился с тем, что дети из коррекционного интерната имеют право переехать в здание, вернее, в часть здания бывшей женской гимназии. И, к счастью, он не пошёл разбираться по этому поводу в администрацию, не стал звонить знакомым и людям, которые могут употребить своё влияние и задействовать рычаг телефонного права.

Интернат... Одно это слово нагнетает тоску. Ведь мы тоже были в интернате—правда, в другом и совсем недолго,—после смерти мамы, пока он не забрал нас оттуда. Я помню, как по ночам, просыпаясь, смотрела в серый унылый потолок, и мне было ужасно тоскливо. Кристину и Катю поселили зачем-то в другие комнаты. И там, в этом чужом доме, где я почему-то никак не могла согреться, я решила, что сделаю всё возможное, чтобы никогда больше не попасть туда.

Отец даже не подозревает, как невелико расстояние между теми детьми и нами. А между нами и ними, наверное, такой же крошечный шаг, как, например, между богатством и бедностью, между здоровьем и болезнью, между славой и забвением, между любовью и ненавистью.

Отец решил, что найдёт другое здание для своей школы. И всё равно ничто не помешает ему создать её.

— Ну что, покажешь нам своих призраков? Когда мы их увидим?
— А ваш отец не прибьёт меня между делом?
— А мы будем тебя защищать.
— Ну, тогда покажу. С вами мне не страшно.

Я нажимаю красную кнопку, завершая разговор с Мишей, уже не решающимся просто так зайти.

Посмотреть призраков захотела и Кристина, и сказала, что обязательно пойдёт, потому что их не существует. Можно увидеть ангела, но ты ведь не святой, чтобы видеть ангела. Поэтому, сказала она, скорее всего, ты разыгрываешь нас... И Мишин брат Саша, мой одноклассник, тоже увязался за нами, хотя его компания мне была совсем ни к чему. Он был глуповат. К тому же, казалось мне, мог рассказать потом всем в классе о нашем походе. А если в классе зайдёт разговор про меня и Мишу, обязательно подвалит Сорокина или Круглова и спросит якобы по секрету: «И вы с ним что, ни разу не спали? Ну что, совсем ни разу-ни разу? Ну и ну...» И будет смеяться надо мной перед всеми.

Мы шли три километра до развалин в сторону от реки, мимо старой усадьбы, за небольшую промзону, где были свалки.
— Вон там,—сказал он,—были какие-то склады. Здесь была тюрьма. Я покажу тебе подвал, в который одному лучше не ходить.
— Ничего подобного,—сказала Кристина.—Ничего такого здесь не было. Тюрьма была недалеко от центра, на спуске к мостику, она и сейчас за проволокой.
— Здесь была другая тюрьма. Для заключённых. Для политических заключённых. Здесь расстреливали людей,—говорит Миша.
— И ты повёл нас сюда на экскурсию? Здесь же страшно!
— Мне будут сниться кошмары.
— Глупость какая,—расстроилась Кристина.—Призраки. Тоже мне, нашёл где искать призраков...

Миша сказал:
— А я действительно видел здесь призраков. Нет, не видел, я слышал. Вот если спуститься в подвал и если прислушаться, можно услышать, как они разговаривают... Я слышал здесь голоса... Иногда они как будто плачут... Или зовут...
— Перестань!—воскликнула Катя.—Ты нас разыгрываешь!
— Они зовут,—говорю я,—потому что они здесь погибли. Вот и изучай,—говорю я ей,—ты ничего этого не знала.
— А я,—сказал Миша,—даже знаю людей, которых держали здесь. Вернее, их родственников...
— Я не могу этого понять,—сказала Кристина.—Я не хочу этого знать. Я это, конечно, знаю, но не хочу этого знать.
— Ну и не знай,—сказал Миша.—Пойдём дальше.

Вниз вели крутые ступени.
— Мне рассказывал один человек, у которого родственник работал здесь охранником. Вот так человека приводили сюда... Здесь открывалось окошко... Ему давали бумагу подписать... А потом—дальше, ступай сюда...

Мы вышли из узкого коридора в более просторное помещение. Сырое, холодное. Миша посветил фонариком.
— Вот здесь он останавливался... Сзади исполнитель... Он приводит в исполнение...

Саша приставляет к затылку Кристины указательный палец.
— Дурак, что ли?—вздрагивает Кристина.—Тебе делать больше нечего?
— Да нет же,—усмехается он,—ты только представь...
— Не хочу представлять,—отворачивается она.—Сами играйте в ваши игры. А я не хочу.
— А здесь вовсе не игры,—говорит мрачно Миша.—Хотели посмотреть места, о которых не знали, вот я вам и показал. Сейчас об этом все забыли. Боятся.

— А что те, кто работал здесь? Ну, надзиратели…— спросила Катя.
— Ничего. Они уж умерли. У них всё нормально было. Отец как-то видел одного из них, говорил, что ему было всё равно в кого стрелять. Правда, он потом спился совсем. Его сын сейчас какой-то крупный бизнесмен.

Кристина что-то бурчит. Да и мне хочется поскорее выйти отсюда, хотя я не буду показывать Мише, что мне страшно. И с досадой думаю, какая же странная экскурсия, зачем надо было нас вообще приводить сюда. Зачем приводить сюда Кристину?
— Ну а нло?
— нло в другой раз,— говорит Миша.

Мы быстро поднимаемся наверх, бегом, как будто за нами кто-то гонится, и если оглянуться, то может случиться что-то страшное. Если оглянуться, можно увидеть то, что происходило здесь когда-то. Скорее к воздуху и к свету.

Наверху страх отступает. Хотя здесь, в этой части города, где к тому же свалки каких-то старых вещей, всё равно неуютно. Мы выходим на дорожку, идущую мимо промзоны, и быстро обходим бетонный забор.

Идём в центр города есть мороженое. Располагаемся в пластиковых креслах под большими зонтами-тентами, положив сумочки на пластиковые столы. Нам принесли политый сиропом пломбир в железных вазочках.
— Нет,— говорит Кристина,— лучше сидеть в кафе и есть мороженое, чем ходить по таким местам…
— Ешь мороженое,— сказал Миша.— Сейчас такого не бывает. Чтобы человека вдруг посадили в фургон и увезли.
— Я всё узнаю у Петра Григорьевича,— серьёзно сказала Кристина.— Я знаю всё это, но не знаю, как это могло быть в нашем городе.
— Узнай. Что же до сих пор не узнала?
— Нужно всё это снести,— говорит Катя.— Нужно уничтожить то место.
— Зачем же?— усмехается Саша.— А вдруг ещё понадобится?
— Да,— добавляет с иронией Миша,— а вдруг завтра всё это снова понадобится? Ничего не надо строить, приходи, открывай, вот тебе и новая старая тюрьма.
— Нам это не грозит,— сказала Кристина.— Мы не делаем ничего плохого.

Миша проводил нас с Кристиной до заветного поворота на нашу улицу. Теперь мы почти бежали домой — почему-то этот подвальный холод продолжал нас преследовать.

Когда мы вечером пили чай, Кристина сказала:
— А я знаю, почему твой Миша такой странный. Я знаю! Я всё узнала!
— Что ты узнала?— недовольно спрашиваю я.
— Не было у него никакого ранения. Не был он ни в каких горячих точках. Он пострадал не в бою. Его просто избили. Вот поэтому он и любит ходить по местам, где людей мучили.
— Это была дедовщина,— поясняет Катя.— Он в этом не виноват.

Я какое-то время молчу.
— Ну и что?— говорю потом.— Тебе что до этого?
— Ничего,— ответила Кристина.— Никакой он не герой.
— Ну и что? Мне и не нужно, чтобы он был героем. И то, что ты рассказываешь, знают все.
— А может быть, он герой ещё больше,— отмечает Екатерина.— Значит, это как в тюрьме. В бою, может быть, легче. А ты попробуй в тюрьме оказаться!..
— Мы там были только что,— говорит Кристина недовольно и отворачивается.

Иногда мы с ней разговариваем как с маленькой, и ей это не нравится.

А ещё через день отец поссорился с матушкой из-за того, что она раскритиковала его будущую школу. У неё же к тому времени открылся приют — самый настоящий, а не на бумаге, в котором появились первые обитательницы — две худенькие девочки немного младше Кристины, которых уже одели в длинные подрясники, а на головах у них были тёмные платки.

Отец говорил, что её школа — это неправильная школа. Школа должна быть совсем не такой. Незачем девочкам стоять на службе часами, бубнить молитвы, а одежда, которую они носят, никогда не разовьёт у них эстетического чувства, и они никогда не научатся одеваться красиво и, соответственно, видеть красоту в чём-то другом. Матушка же отвечала, что одеваться красиво совсем не обязательно и даже грешно, и главное — надо быть не по одежде красивой, а Богу угождать, а что касается красоты, так она вся в храме Божием, и большей красоты человеку и не нужно. Отец же говорил, что категорически не согласен: нельзя загонять девочек в казарму, нельзя их так гнобить, они должны расти в свободной и радостной обстановке, подальше от всякой угрюмости и суровости, чтобы потом передавать, нести в мир радость жизни. И тогда мир, может быть, переменится. А матушка в ответ — что вся эта свободная жизнь есть жизнь греха, а радость жизни, о которой он говорит,— ненужная утеха, которой соблазняет девушек дьявол.

Так они ни о чём не договорились. Отец сел в машину, хлопнув дверцей. Мы с Кристиной уже сидели на заднем сиденье. Мы слушали весь этот разговор, не участвуя в нём никак. Вернее, участвуя, но только молча. Мы смотрели, как бы отец не сказал чего лишнего. Теперь это была наша главная забота.

Мы выехали за территорию монастыря. Несколько километров в объезд — и мы в городе. Мы заехали в книжный магазин, где отец купил

нам тетради и новые авторучки. Потом припарковались у супермаркета, где набрали йогуртов, хлеба, блинчиков и котлет.

Дома нас дожидались гости.

У калитки стоял джип, тот, который я уже видела. И я сказала отцу: смотри, это та самая машина. Он кивнул.

Мы вошли — осторожно, и увидели первым делом Катю, которая в каком-то недоумении стояла у стола в холле, и двоих — того, кого она сама называла «высоким», и второго, с круглым тёмным лицом. Это был тот, с круглой глупой головой, и он, кажется, узнал меня. Они сидели за журнальным столиком в креслах. Так же, как, вероятно, они сидели в прошлый раз.

— Ну что решил, полковник? — спросил высокий, даже не поздоровавшись, когда мы вошли. — Я ведь предупреждал, что приеду. Так ничего и не надумал?

Он поднялся и стал не спеша ходить по комнате. Отец недовольно бросил на пол сумку с покупками.

— Убирайтесь к чёрту, — сказал он, — я ведь сказал уже!..

Гость только улыбнулся, встал и подошёл ближе к Кате — так, как будто хотел спрятаться за неё. Но Катя отступила назад.

— Идите на улицу, девочки, — сказал отец строго. — Идите погуляйте пока.

Мы с Катей двинулись в сторону двери, да так и остановились. Выход нам перегородил другой — круглоголовый.

— Последний раз, — сказал гость. — Последний раз, Петрович. Мне стволы очень нужны. Без тебя никак.

— Послушай, — сказал отец. — Ты что, тупой?

— Ты же всё можешь, я знаю. Я не уйду.

Высокий улыбнулся, а круглоголовый нахмурился. От них веяло силой и каким-то решительным героизмом. Вся комната, казалось, пришла в движение от присутствия этих слишком бодрых и слишком смелых людей, так что та атмосфера мира и тишины, которую мы так лелеяли в последнее время, рухнула мгновенно.

— Тогда вот что, — сказал высокий, который, очевидно, был главным. — Мы отсюда не уйдём. Мы поживём здесь, у тебя. А обслуживать нас будут... Пожалуй, вот эти твои девочки... Так?

Отец засунул руки в карманы куртки.

— Послушай, — сказал он спокойно, — не советую меня шантажировать. Я уже сказал: больше ничего не будет.

— Впрочем, — добавил гость, — пожалуй, она поедет с нами. До тех пор, пока не надумаешь...

И круглоголовый взял за руку Катю. И положил другую руку на её шею и сжал её.

— Стой, — сказал отец. — Стой, говорю!

Круглоголовый опустил руку. И посмотрел из-за Катиного плеча.

— Отпусти. Я помогу, — сказал отец. — Последний раз.

Недоверчиво посмотрев на отца, тот убрал руку. Потом, посмотрев на «главного» и ещё раз на отца, услышав слова «да, да, обещаю, отпусти», убрал другую.

— Так бы и сразу, — проворчал «главный». — А то ты, Петрович, как ребёнок, блин, — упрёшься на пустом месте. Я ведь не даром прошу тебя это сделать. Ещё и бабки получишь, как всегда. Тебе ведь деньги нужны, наверное? Что ты здесь затеваешь? Школу решил открыть? Для девочек, да?..

— Катя, иди, — сказал отец.

Катя не шелохнулась.

У двери отцовской комнаты стояла Кристина с полувытянутой вперёд правой рукой. В ней был пистолет, который она направляла прямо на высокого.

— Валите отсюда на фиг, — сказала она. — А то я буду стрелять.

Это было долго и скучно. Потом мне много раз приходилось пересказывать эти события, этот момент, эти секунды, которые стали вечностью между жизнью и смертью — и всё же завершились смертью. С нами разговаривали разные люди, следователь и ещё кто-то, нас фотографировали и записывали наши слова. И я повторяла снова и снова, уже почти автоматически, одно и то же.

Кристина держала в руках пистолет. Нет, она раньше никогда не держала его в руках. Нет, она не училась пользоваться оружием — никогда. Нет, у нас в доме не было оружия. По крайней мере, нам об этом ничего неизвестно. Нет, я раньше никогда не видела этого пистолета. Нет, мы никогда не заходили в комнату отца в его отсутствие, у нас это не принято. Нет, нет, нет. Нет, мы раньше никогда не видели этих людей. Нет, я не знаю зачем. Нет, я не знаю. Нет, не рассказывал. Нет, не спрашивала. Нет, она не целилась... Нет, отец не учил нас пользоваться оружием. Он говорил, что это ни к чему, тем более девочкам. Может быть, она видела это по телевизору?.. Нет, нет. Он считал, что нас защищают милиция и армия. Нет, не вру. Честное слово. Да, она выстрелила случайно. Да, она попала случайно... Я не видела, как он упал, я видела, как он лежал... Мне показалось, она стреляла вверх, выше головы... Нет, никогда не видела раньше второго... Он достал пистолет, да, у него был с собой пистолет... Нет, он не стрелял... Не успел, отец ударил его...

Кристина, как мы узнали, давала сбивчивые показания. Она сказала, что не собиралась стрелять и даже не помнит, как стреляла. Просто она очень испугалась за отца и за Катю.

Приехавший довольно быстро дядя Витя провёл со мной и Катей специальную строгую беседу и запретил нам что-либо говорить о том, о чём

говорили «гости» — о «стволах». А дядя Витя загадочно пообещал «вытащить» нашего отца. Он нервно ходил по коридору и кричал кому-то по мобильнику, что «они решили сдать его» и что ему «нужны бабки».

Тот, в кого выстрелила Кристина, скончался в больнице. В городе заговорили о том, что дочка полковника убила бандита, который приехал в наш город, чтобы устроить теракт. Другие говорили, что это был друг отца, с которым воевали в какую-то кампанию, и теперь он не мог не воевать, потому что у него крыша поехала.

Отца увезли в тот же день, началось какое-то длинное расследование, после чего состояние отца ухудшилось, и его поместили в госпиталь, куда приезжали на машинах какие-то люди в костюмах. Кристину тоже поместили в какое-то закрытое учреждение для подростков, где её можно было иногда навещать, и потом обследовал врач, и потом ещё была какая-то экспертиза. Мы очень боялись: если Кристина окажется в тюрьме для малолетних, там ей придётся совсем несладко. Там её будут обижать. Она, конечно, будет давать сдачи — и сама же будет страдать от этого. Нас же с Катей временно оставили на попечении тёти Гали — до того, как соберётся опекунский совет, чтобы решить нашу дальнейшую судьбу.

Она поселилась у нас, и успокаивала нас, и сама иногда плакала, и что-то говорила невпопад про невезение и наказание Божье. Миша привозил нам продукты, он старался поддержать нас, разговаривая каким-то нарочито бодрым голосом, рассказывая о том, что происходит в городе, умалчивая о том, что говорят, а я сейчас уже смутно помню, что в те дни происходило со мной. Катя равнодушно разбирала пакеты с продуктами и говорила, что есть ей почему-то совсем не хочется. Мы с Мишей почти не разговаривали. Он садился напротив и пытался сказать что-то весёлое. Я однажды попыталась спросить: разве можно было, чтобы отец такое делал? Ну, то есть с оружием? Миша только усмехнулся и пожал плечами.

Я резко просыпаюсь среди ночи, как будто кто-то толкает меня где-то в черепной коробке. Я смотрю на кровать, где спала Кристина. Пусто. Мне становится жутко, и я бужу Катю. Она вздрагивает и приподнимается.

— Спи, — говорит она. — Не бойся.

Я пытаюсь заснуть. На полу — замысловатый рисунок из теней и лунного света. Всё оттуда же, откуда-то из космоса. Какое-то нло, не иначе.

И утром, спускаясь вниз, я знаю, что не увижу привычной картины. Отец больше не варит кофе. Тётя Галя, торопясь, ставит на стол чашки.

— Девочки, я сегодня приду поздно, вы тут сами распоряжайтесь.

Она вздыхает, глядя на нас.

Нужно время, чтобы привыкнуть. Пока что его прошло слишком мало, говорит тётя Галя.

И так каждый день. И снова наступает ночь, я засыпаю, мысленно пожелав Кристине спокойной ночи, а потом просыпаюсь и снова смотрю на её пустую кровать и на лунный рисунок на полу.

Всё изменилось в городе. Мне кажется, я впервые вижу его. Он стал какой-то неинтересный и скучный. Он посерел. Он стал обшарпанный и унылый. Теперь я точно вижу, как в нём остановилось время. Это мёртвый город, хочется сказать мне. И если мне скажут, что время пошло назад, я не удивлюсь. Тётя Галя говорит, что это пройдёт. А может быть, это то, о чём говорил Миша: ушла часть тебя, и её уже не вернуть.

И вот наконец в воскресенье утром мы с Катей отправляемся в монастырь и долго ждём, пока освободится матушка. Мы стоим всю службу и весь молебен, хотя жутко устаём от этого, но после всего, что случилось, это кажется пустяком. А когда служба заканчивается, матушка ведёт нас к себе, в свою келью братского, то есть сестрического, корпуса, куда вход запрещён посторонним, и благословляет нас.

И тогда я прошу её о том, о чём мы с Катей договорились просить. Чтобы она взяла нас к себе, в свой приют. Мы говорим: уж лучше быть здесь, в монастыре, чем там, в интернате. Мы будем делать всё, что нужно, только бы оставила нас у себя. Это ненадолго, два года, а потом уже Кате исполнится восемнадцать, и она оформит опекунство и на меня, и на отца, и на Кристину. И уже никто не посмеет поселить нас ни в какое учреждение. Для нас главное — ближе к дому.

Да что вы, девочки, отвечает она, у нас ведь приют ещё не совсем обустроен, да и с документами ещё не всё в порядке, да и условия у нас такие строгие, подъём рано, молитвы, служба, потом помощь по хозяйству, а вам ведь ещё учиться надо. А работы у нас много: и по огороду, там картошку надо будет копать, и в храме убираться, и вот сейчас корова появилась, её надо доить, да и вообще сейчас дел невпроворот, стройка к тому же никогда не кончается.

Нет, ничего, это не так страшно, отвечаем мы, мы будем вставать рано и будем исполнять всякие послушания, мы ведь умеем кое-что, можем научиться петь на клиросе, мы ведь пели когда-то хорошо. Нам бы только остаться здесь, рядом с домом.

А ещё посты, говорит она, вам будет трудно поститься, вы ведь не привыкли. Это как раз неважно, чуть ли не хором отвечаем мы, мы едим мало, а сейчас вообще перестали есть, потому что не хочется…

Матушка Антония вздыхала и крестилась, качала головой.

— Ну не знаю, что вам сказать, сейчас многое про вашего отца говорят, не знаю, правду или нет, но кем бы он там ни был, я о нём всё равно хорошее думаю, он помогал мне, хоть он человек резкий и нервный, но я молюсь о нём и буду молиться. Без него мы бы крышу не сделали. Не знаю я, как вам тут будет, ну да ладно, так и быть, не могу я вам отказать, ваш отец помогал мне. Вы не обязаны отвечать за его дела. У вас своя жизнь. Устраивайте её.

Мы с Катей отвечали, что отца мы всё равно не оставим, мы всё равно будем заботиться о нём. Что бы там ни решили, как бы его ни судили, всё равно он когда-нибудь вернётся домой.

Слава Богу, подумала я тогда, вот есть ещё один человек в нашем городе, который может вспомнить отца добрым словом, несмотря на все его странности. Хотя, хотя, сказала я потом Кате, всё равно уже не будет у нас как прежде, мы не будем такими, как раньше, ведь что-то поменялось навсегда. А пока что нам, как и всем, хочется просто жить, очень-очень хочется жить, ощущая далеко впереди прекрасное будущее.

Волошинский сентябрь: *«золото улова»*

Пётр Чейгин

* * *

Неделимо дерево в пылу
Объясненья с позвонками девы
Слепок тела у крови в плену
У греха во рту обмылок Евы
Мне не стыдно говорить с тобой
О грядущей нищете дремучей
Где разбитый лес черкнёт рекой
Выставив поленницу на случай

И меня на склоне забытья
Втравит в дело мотылёк ненастный
Распушив ольшаника края
Малым ветром смертушки атласной

Вот её чепец обуглил ночь
Выгребая небо до застёжек…
Невозможно тишине помочь
Встать с колен на глиняный порожек

Вот и образумься на краю
Огненной линейкой сбив колосья
Скальной речи… потерпи, спою
Имя жажды что забыла гостья…

Неделимо пламя без корней
На груди у Ветхого Завета
Неделима тень среди теней
Перебитых шомполами лета.

* * *

Приласкаю горбатого дня
Ненавистного полдня ключицы
Влажным хлебом степенной орлицы
Обнесут и тебя и меня

Как я влёк эту свору ключей
От подсолнечных мест до расходных
Открывая в себе сеть колодных
Переливчатых маятных черт

Я о том что на эхо твоё
Пал мой утренник гранями внутрь
Заселился бревенчатый ветр
Мерой грома во имя твоё

Что мне мучить твои невода
Крупной рябью способным налимом
Если брат мой росою творимый
Не отыщет меня никогда…

Как я плох для стараний твоих
И совьются морщины на кальке
В крону некую милости скольких
Взмахов денных живущую в них

Евгений Мартынов

День и ночь…

мир — без начала, без конца…
Стремлю я обруч колеса
Вдоль по деревне, в жизнь влюблён…
Бегу, как будто за нулём.

Евгений Казанцев

1.

Ни в одном городе России нет стольких Северных, улиц Северных! Теперь их насчитывается — за тридцать. В те далёкие сороковые в Омске их было, дай Бог памяти, двадцать одна. И каждая — своя деревня с одной улицей, правда, — бесконечной, по длине — вроде Калачовки, Саргатского района, только из этих каждая — как по линейке, а те — с выкрутасами. Двадцать первая — конец города. Дальше на север — пашни, плацдарм для роста количества, да колки — берёза с осиной. А на двадцатой Северной, дом семнадцать, жили Женькин дядя, Казанцев Макар, и тётя Лена, его жена. У них два сына — Валька и Генка, почти ровесники Женьки. Родились они ещё там, в деревне Аксёново, а вот сестрёнка Настя — она уже городская!

Позавчера мальчишку доставили к ним на полуторке-машине из Степановки.

Это началось с самого утра.

В другом режиме, продолжительнее и тревожнее обычного, гудели фабрики и заводы. Чёрные, как вóроны с распахнутыми крыльями, глубокие тарелки репродукторов вещали с телеграфных столбов, не умолкая, будоражили. *Двадцать второе июня!*

Глядя на взрослых, ребятня тоже встревоженно слушала… Объявили, что все мужчины, находящиеся в командировках и на отдыхе, должны без промедления выехать к месту жительства… Весть означала, что отец Женькин сегодня приедет! Год не виделись.

Отец, Андрей Александрович, отдыхал в сосновом бору Чернолучья, на берегу Иртыша, после окончания занятий в начальной школе, получив назначение на следующий год учителем физики и математики в пятых-шестых классах в семилетку Боголюбовки, что километрах в двадцати от Шараповки…

Улица опустела. Взрослые ушли на работу или занимались по хозяйству. Соседские мальчишки, те, что оказались вне поручений, затеяли игру в войну. Ввязался в неё и Женька. Он — с небольшой головой, при чёлке наискосок невысокого лба, босой, быстрый. Лёгкий, поджарый, маленького роста, но длинноногий, в белой ситцевой рубашонке, в тёмных хлопчатобумажных штанишках. Носились перебежками от дома к дому по улице и вокруг квартала с палками наперевес. Выглядывали из-за углов, вставали на одно колено, имитируя стрельбу. Ползали по-пластунски, приминая весёлую махонькую терпеливую конотопу. Бабахали, падали навзничь, но пока непременно вставали. С жаром доказывали свою правоту…

— Женька, Женя! — услышал своё имя мальчишка.

Опешил, приставил палку-винтовку к ноге, разжал кулак и что есть мочи помчался к полуторке-машине, ехавшей со стороны «Зелёной рощи» СибАки. Отец, который был для Женьки самым родным человеком на свете, на ходу, привстав ногой на борт машины и держа на весу чемодан, соскочил на землю.

— Па-апа!..

Чернявый, красивый в Женькиных преданных глазах, молодой, ловкий, строгий… И сын кинулся в его объятья.

— Ну вот и встретились, ну вот… — не находил слов отец. — Ну вот… подрос немножко, вижу, — похлопывал сына по спине, — а худющий-то! — гладил его густые жёсткие волосы, прослезился.

Сын заплакал от радости, откровенно, не стесняясь, не вытирая нахлынувших слёз. Пёстрый объёмистый чемодан стоял рядом, как бы наблюдая.

— Ну, пошли, Женя. Ты давно приехал?

— Позавчера.

— Война, сын, надо теперь круто… Будем добираться до Шараповки, а там, глядишь, и дальше.

Женька шагал рядом, держась за ручку чемодана, касаясь горячей твёрдой руки отца, чуть-чуть такой лохматенькой, надёжной… И ещё, помнил Женька, в этой Шараповке — племенной совхоз. Табун чистокровных лошадей — залюбуешься! Отец и сын поглядывали друг на друга — сверху вниз и снизу вверх. Папка у него был строгий, но справедливый. Женька его слушался. Слово отца было законом. Тогда и представить себе не мог другого. А ещё папка хорошо играет на гармошке. Тоже и поёт неплохо.

Нечасто — вместе-то… Первый класс закончил в Омске, второй — с отцом и братишкой, третий вот в Степановке, а над тем, где — потом, и не задумывался, не его это дело. Как скажет папка, так и правильно. Хотелось бы, конечно, всегда, как теперь, но… не быть же упрямым, как вон та коза на длинной верёвке.

Солнце тем временем поднималось всё выше над насыпными домишками. Улицы Северные, широкие, травянистые…

Из скрипучей калитки повыскакивали двоюродные братья — Гена и Валька — и сестрёнка Настя. Тётя Лена высунулась в распахнутое окно поприветствовать. Вошли в дом, на две комнаты. Первая — прихожая, она же и кухня, с небольшой, но тем не менее важной, выбеленной извёсткой печкой — «под русскую». На ней даже и полежать-то было невозможно, не то что в деревне, но сидеть — умещались двое пацанов. Хозяйка что-то варила. Кажется, борщ, судя по запаху. Крутила ложкой в чугуне.

— Валя, сынок, сбегай за отцом, скажи, что дядя Андрей приехал.

Макар работал неподалёку, на овощехранилище кем-то.

Тётя Лена своё «положение» прикрывала фартуком…

Рассусоливать, однако, было некогда. Надо собираться в дорогу: война! Война, война… только и слышно сегодня. А старший брат Андрея и Макара, Борис, работал далеко, трактористом на полях СибАки, не пригласишь.

— Ну, вот и Макар. Встречай брата, — непонятно которому из них сказала Елена.

Да и не всё ли равно, правда что. Сложила руки на округлый живот.

Макар — коренастый. Чуть ниже среднего роста. Глаза — цвета травы-муравы — под густыми белёсыми бровями. Взъерошенные, не приглаживающиеся волосы — цвета охры. Странно, а вот отец Женьки, Андрей, младший брат Макара, был темнокож, черноволос. С глазами — карими, ростом — на два пальца повыше. Их покойных родителей в своё время раскулачили и сослали за Васюганские болота. Но это — глубокая тайна. Можно было бы остаться и в деревне, но ведь третировали. Потому-то и в городе жить стали, хотя и не очень-то любо им здесь было сначала. Теперь и здесь — попривыкли. Но Женька тогда об этом и не догадывался, казалось.

Тётя Лена с дочкой стали собирать на стол взрослым, а всю остальную ребятню срочно послали в магазин. Отстоять очередь и купить аж десять кирпичей хлеба! В деревне пекарни не было, а лепёшки — пресные, да и печь самому не очень-то хочется.

— Выключи, Макар, радио. Понятно, что грызутся. Бойня предстоит не на жизнь, а на смерть, — попросил Андрей.

Когда мальчишки с хлебом возвратились, хозяйка убирала со стола лишнюю посуду. Братья-мужики налили себе ещё по полстакана «Московской». Помедлили, повздыхали и выпили горькую, привстав, один за другим, громко крякнув. Так, как было принято у них в той, предыдущей, большой семье. Занюхали ржаным хлебцем, зажевали сочным солёным огурцом.

Старший сын Макара, Геннадий, держался ближе к взрослым, прислушивался.

— Женька, иди сюда, сынок, — позвал отец.

Мальчик встал рядом, коснувшись сухого колена отца, одарил его ласковым взглядом и потупился. Андрей Александрович гладил черноволосую голову сына, улыбался.

— Ну ладно, Макар, спасибо вам за угощение, спасибо за то, что приютили сынка, вот, спасибо Лена. Буду собираться. Пора, а то, чего доброго, на ветку опоздаем.

Отец вытащил свои посеребрённые часики из тесного кармашка, нажал кнопочку. Блестящая крышка откинулась, пацанам на удивление.

— Пора, — сказал он.

За стол усаживалась ребятня. Встряхнув свой белый выходной костюм, гость усмехнулся:

— Интеллигенция. Когда теперь его наденешь. Дома перекрашу. В какой, в какой… ну не в коричневый же!..

Чемодан до отказа был наторкан хлебом и отставлен к порогу.

— Пузатенький, — сказал Валька и тут же получил подзатыльник от матери! На потеху ребятне.

Настя тоже было прыснула, но тут же прикрыла рот ладошкой.

— Нате-ка вот вам — дорога-то долгая. Тут — яички варёные, ватрушки да маслице… — Елена подала отцу снедь, завёрнутую в тряпицу.

Тоже потолстевший Женькин вещмешок и объёмистый мягкий узел с одеждой притулились к пёстрому новенькому чемодану.

— Голому одеться — только подпоясаться. Были сборы недолги, — процитировал отец. — Ты готов, Женька? Тогда пошли, сынок, дорога длинная.

— Давай-ка, Андрей, к дороге-то, говоришь, посошок, — вручая чарку, сказал Макар. — На вот и тебе, жена, красненького, пригуби, разрешаю. А пацаны — они ещё учатся, — тут Макар осёкся и с тревогой посмотрел на своего старшего сына. — Год-два — и на фронт, глядишь… Что за напасть такая на Россию? То — мировая, то Гражданская, и вот теперь — нá тебе, соскучились! — обводя взглядом остальных своих лобастых, смышлёных сына с дочуркой и Елену, словно точку поставил Макар.

Мать сняла фартук, накинула на плечи цветастый полушалок, но дальше чем за калитку не пошла. Попрощались. Настя осталась с матерью.

Навстречу, с пакетом «листовок» в руке, шёл молодой человек. Макар приостановился:
— Повестки разносит.

Провожали до самой конечной остановки. Андрей закурил…

Трамвай, лихо развернулся и встал как вкопанный. Выпустил пассажиров.

Репродуктор с высоты телеграфного столба сообщил, что идут тяжёлые бои, что сдан город Ровно. Мужики обнялись…

— Пиши!..— Женька потряс руку Вальке-погодку, покивал головой остальным и забежал вверх по ступенькам в вагон, не держась за поручни.

— Мой Вовка, младший, должен ещё появиться. От Марии из Аксёнова привезут. К Борису, договаривались. Может, и к вам прибежит. Присмóтрите? Я через неделю приеду за ним,— торопливо объяснял брат брату.— Хотел их вместе увезти, да вот видишь — приказ…

Трамвай выжидал, выдерживал время. Подошла ещё одна группа людей — призывник и провожающие. Война набирала обороты…

— Отстанешь, Андрей, уедет Женька-то без тебя!— подтолкнул брата Макар.

Тот три раза подряд затянулся, бросил окурок под ноги и придавил его штиблетой. Легко догнал вагон, запрыгнул на нижнюю ступеньку, повернулся на сто восемьдесят градусов, держась за поручень, и помахал свободной рукой. Женька прильнул к окну. Тоже махал остающимся. Он был почти счастлив: отец рядом, впереди — таинственное, тревожное неизвестное. Можно прижаться к родному человеку, такому молодому, сильному, красивому. Положить свою руку, вот так, ему на колено. Год разлуки, конечно же, обострял чувства. Кондуктор с узеньким бумажным рулоном, повешенным на шее, придерживая тесёмку, отмотала с полметра билетов, ловко оторвала и подала отцу, а тот, в свою очередь, сыну. Женька занялся было выслеживанием счастливого номера, но вскоре происходящее за окном увлекло его полностью. Предстояло пересечь весь город с севера на юг… Носом к стеклу. Так живо, так интересно после деревни. Что ещё надо — папка рядом!.. Опять же, и день особый… Слепило солнце, постепенно склоняясь, цвела сирень, яблони в палисадниках домов… Проехали улицы Северные.

Пассажиры входили и выходили. В вагоне становилось теснее. Город сгущал свои урбанистские краски, но день был всё-таки особый. Такой не забудешь. Вот скачет на красивых, отборных конях отряд кавалеристов мимо пожарной каланчи! Красноармейцы в шлемах. В длинных серых шинелях, с кривыми шашками у бёдер… пришпоривают!.. Командир — впереди, на вороном жеребце!

— Глянь-ка ты, уже и новобранцы,— сказал отец.

Нелегко было у него на сердце. По проезжей части улицы, прижимаясь к левой стороне, неорганизованным строем — «в колонну по шесть» — шагали не обученные ещё парни и мужики… Лицо отца было грустным.

Всего месяц тому назад развёлся с женой… снова не пожилось. Двое ребятишек. Предстоящая смена места жительства. С детьми надо будет — в Боголюбовку…

— Папа, смотри, смотри — танки!..

С вытянутыми «намордниками» на жерлах— стволами. Каракатицы. Запахло укропом. Скоро остановка — базар. Дебелая торговка готовится к высадке и продвигает набитую зеленью корзину к выходу. А вот и «Сад пионеров». Там театр кукол, разные аттракционы-карусели. И цирк неподалёку. Косолапые на велосипедах! И… взлетают под самый купол стройные акробатки с крылышками-лопатками на спине! Блеск!.. Счастливо-кувыркающиеся!.. Рычанье тигров. Прыгающие, балансирующие артисты. Клоун!..

«Островский». Драматический театр, его афиши. Старинные, «купеческие» двухэтажные здания… мощёная проезжая часть. Спустились под горку. Ларёк «Мороженое» попался на глаза. Мальчишка облизывается…

Трамвай прогремел на стыках стальных рельсов… Повело влево. А вот и речка! Так называемая «Стрелка». Кинотеатр «Гигант»! Барханы песка сухого на палубе баржи. А на паузке — каменный уголь. Хитросплетения чалок на кнехтах дебаркадера.

О, пассажирский катер до Чернолучья!.. Мой папка бы вернулся на нём, если бы не война, подумал Женька.

«Кабы не бы, кабы не бы…» Мотало вагон. Стучали колёса.

Прогромыхал железный мост… Речное училище… «Пароходство» — с огромными воронёными адмиралтейскими якорями на отполированных гранитных плитах по бокам многостворчатого входа в здание. И цепи с контрфорсами!.. Проехали. Пологий подъём. Трамвай сбавляет скорость, подёргиваясь и виляя задним вагоном с буферами. Женька любил на них, на этих самых, кататься, когда приходилось жить в городе: где деньги-то на билет взять? Летишь себе!.. Можно — стоя, можно и присесть верхом, а то и «по-дамски»! свесив ноги. Только чтобы не видел милиционер, а то — за шкирку!

Голубое небо, увалистые тучи, то как крутобокие корабли-парусники, а то так, словно валки свежего сена на покосе в Степановке…

Покачивает… Пологий разворот по привокзальной, тоже мощённой тёртым булыжником площади, и… трамвай, клацнув тарелками амортизаторов, остановился как раз напротив здания вокзала.

За этими «путевыми картинками» Женька и не заметил, как пролетело время. Лёгок на подъём… спрыгнул со второй снизу ступеньки и, догнав отца, ширя шаг, «подбирая ногу», пошёл рядом. Нужно было поторапливаться — вокзал любит оперативных.

Площадь… Здания… Репродуктор… «Все мужчины к месту жительства»…

— Ветку подадут через… час,— глянув на часы, сказал отец.

Очередь за билетами длинная, с тремя загибами, но ужимается быстро. Пёстрый чемодан не отлучается от ноги хозяина. Женька, сняв с плеч вещмешок, тоже льнёт к отцу, держа за лямку и свою поклажу. На душе спокойно. И что нет счастливее его на белом свете — не кажется, просто присутствует. Хотя и зной…

Объявили, что пассажирский Москва—Владивосток вышел из соседней станции. Да так, что вон даже дедушка содрогнулся как-то, подпрыгнул. И, спросив: «Какой, какой?..» — подхватил два больших узла. Посеменил к выходу вокзала, хотя — зачем, спрашивается, торопиться, поезд ещё только-только…

Душно. Чемодан медленно, что-то очень медленно продвигается. То ногой, то, приподнимаясь, за ручку. Женька мог и заскучать, но был один искус…
— Пап, дай денежку на мороженое,— заглянул в глаза отцу.— Тебе купить?
— Нет, я куплю билеты, а потом схожу лучше — пивка…

Мальчишка, пританцовывая, с интересом и нетерпением наблюдал, как краснощёкая тётенька-продавщица в белом передничке с кружевами по отложному воротничку голубенькой кофточки, в низенький, из лужёной жести, стаканчик-матрицу с подвижным донышком-поршнем… уложила вкусную вафлю и на неё алюминиевой ложечкой стала накладывать, прижимая, густую сладкую сливочную массу-мороженое!.. У Женьки — слюнки. Счистила её заподлицо с краями и сверху всю эту вкуснятину накрыла ещё одной вафлей! И стала выдавливать это, всё вместе сформированное, вверх, придерживая большим и средним пухленькими пальчиками,— Женька облизывался — и подала, как барину!..
— Спасибо! — сказалось само собой, естественно.

Мальчик дотронулся до лакомства кончиком языка — для него это было что-то неописуемо вкусное…

— Купил? И я купил. Ну вот, теперь схожу, а ты посиди, покарауль вещи. Капает же, ты поторапливайся, скоро посадка.

Отец ушёл. Женька сел на край чемодана, придвинул к ногам вещмешки и узел и, прижимая большим и указательным пальцами вафли, с наслаждением лизал холодеющим языком, растягивал удовольствие. По радио объявили, что сдали ещё один город, но это не портило настроения мальчишке. И отец тоже вернулся повеселевшим. Ниши вокзала заполнились пассажирами. Народ зашумел, забеспокоился.
— Женя, сходи-ка, сынок, вымой-ка руки — через двадцать минут посадка!

Вскоре мальчишка вернулся.

Вышли на перрон. Было присели, но поговорить снова не пришлось. Объявили, что поезд Москва—Владивосток прибывает. Предложили всем пассажирам, следующим рейсом Омск—Исилькуль, перейти на вторую платформу. Волна людей с баулами, чемоданами, узлами и всяческой другой поклажей хлынула с перрона, стала заливать железнодорожный путь, подхватив за собой Женьку и отца.

На третьем — готовился к отправке на фронт эшелон солдат. Формировался жёстко: без провожающих. Красноармейцы толпились у своих вагонов. Зной не спадал.

Ну наконец-то! Напившись досыта воды из башни и набрав про запас в тендер, освободившись от брезентового рукава, выпуская струи перегретого пара, посвистывая и дымя во всю Ивановскую до самых «Пороховых», поджарый силач-паровоз двинулся вдоль перрона, медленно вклиниваясь между двумя поездами. Из трубы валит густое чёрное облако, отсекая, как дымовой завесой, эшелон с красноармейцами от остающихся гражданских. Продолжает пыхтеть, тревожно гудеть, посвистывать. «Обилеченные» пассажиры поджимаются к движущимся ещё вагонам. Брезентовый рукав водонапорной башни бесхозно болтается, там, справа, как у безрукого.

— Вот тебе твой,— протянул отец,— живо пробирайся, занимай места.

Эта работа Женьке была понятна, «самое то», знакома.

После толкотни и мальчишеских уловок он очутился в вагоне. Чуть ли не первым, пропустив перед собой слепого дедушку и его поводыря, девчонку, да многодетную женщину. Проскочил, оглядывая свободные места, и круто юркнул вправо. Бросил свой мешок на сидение для отца, занял своё у столика, напротив — по ходу движенья. Ждал и отстаивал места:
— Здесь — занято, здесь — занято!..

Купе быстро заполнилось людьми. Когда появился отец, свободных мест не было. Тяжёлый чемодан с хлебом и узел с одеждой отец задвинул на верхнюю полку, а вещмешки засунули под столик.

Поезд несколько раз дёрнулся, тронулся. Дрогнули пассажиры, рассасывались по своим купе. Суматоха постепенно улеглась

— Ну, вот и поехали. До свиданья, Омск. Через неделю — надо вернуться за Вовкой.

— Война, Женя, — отец прикрыл своей ладонью кисти рук старшего сына. — Заберут на фронт — на тебя вся ответственность ляжет. Рассказывай давай, как ты там поживал-то в Степановке?

— Хорошо. Сусликов выливали! Знаешь… — начал было своё повествование Женька, но отец остановил:

— Да я не об этом. Справку-то об окончании третьего класса взял?

— Взял, пап.

— Оценки-то какие?

— Хорошие. Только по русскому — «посредственно», остальные — «хорошо» и «отлично»!

Поезд подёргивало. Стучали колёса.

— А что ж так по русскому-то?

— Ошибки, — вздохнул Женька. — Знаешь, пап, там школа — маленькая…

— Знаю? Конечно, знаю. В ней наш Вовка родился.

— Я это тоже знаю: баба Лиза рассказывала! — согласился Женька.

Отец погасил улыбку. Закурил было. Вспомнил, что в купе — нельзя. Вышел…

— Ну так вот, ты слышишь? — продолжил мальчишка. — Наш третий, всего-то в нём шесть человек, учился вместе с первоклашками с утра, а с обеда — четвёртый со вторым. Ну ничего — мне так нравилось…

— Учительницу-то как звали, поди, и не помнишь уже?

Женька посмотрел на отца удивлёнными глазами.

— Полина Семёновна! Она молодая, всего на семь или восемь лет меня постарше, только красивая. Косища — чуть ли не до пяток будет, толстенная! — жестикулировал мальчик.

— Кто — «толстенная»?

Сынишка посмотрел на улыбающегося отца.

— Ну не тётя Поля же. Ты ещё и не знаешь, наверно, папа, что она потом, осенью, когда мы все только что в большой новый рубленый дом переместились, даже и нельзя сказать, что мы тогда переехали, слышь, пап, ты бы видел, новый вокруг старенького домишки поднимался, поднимался венец за венцом!.. — тараторил Женька.

Что на него нашло сегодня — наскучался, что ли? А вообще-то он молчаливый, замкнутый, сам себе на уме.

— Так вот, Полина Семёновна стала женой дяди Гоши! И мы с ней, с тётей Полей, тогда подружились.

Женька помолчал, посмотрел в окно осины и берёзы, вспоминая…

— А знаешь, ещё вот баба Лиза сказки рассказывает. Хорошие и страшные, но тоже интересные! — взглянул на подрёмывающего отца и добавил: — Для меня интересные.

Вагон пошатывало. Ближние пассажиры затевали ужин.

— А с Колькой дяди-Ваниным мы тарантулов ещё дразнили, из нор сургучом на ниточке выманивали. Вот страшила так страшила!

Соседка-тётенька вытаскивала узелки с едой. Посмотрела и улыбнулась. Женька поджал ноги.

— Я по нашему Вовке соскучился. Подрос, наверно. Пап, а коней-то красивых в Шараповке ещё выводят? Хочу посмотреть, по ним тоже — соскучился…

Суматоха постепенно утряслась. Все едущие вроде как расположились. И всё-таки, вдруг провалившись из кошмара взаимодействий в недеяние, так скажем, теперь не находили себе места и, как потерянные, немедленно искали, чем бы заняться, и… все разом-таки нашли-порешили, что самое время поужинать.

— Кушать-то будем, что ли? — спросил Женьку отец.

Сын был более чем не против.

— Так, я схожу за кипятком, а ты доставай-ка еду. Что-то там нам с тобой Елена навязала? Попробуем…

Он высвободил из вещмешка солдатский котелок, потеснил краснощёкую колхозницу, извинившись за беспокойство, и, покачиваясь, придерживаясь за полки, скрылся, как бы отставая от поезда.

Поели молча.

— Ну вот, больше часа пролетело, — сообщил отец. — На-ка, отнеси, выбрось в раковину туалета, — сказал, сдвинув по столику завёрнутую в клочок газеты яичную скорлупу и всякие крошки.

Сынишка с готовностью было поднялся, но почувствовал, что отсидел ногу, будто сотни иголок вдруг впились в ягодицу и под колено!

Пацан бывал с отцом нечасто — так складывалась жизнь, а когда уж бывал… то выполнял все его поручения — от «А» до «Я», пунктуально, без промедления, испытывая беспричинную преданность. Был готов исполнить все его поручения абсолютно так, как он просил, или, другими словами, того требовал. Мать давно умерла. Отец для него был и то, и другое. А впрочем, искать, что, да почему, да отчего, — последнее дело.

Заоконье. Течение и кружение! Целый год не ездил на поезде — и голова кру́гом. Женьке всегда нравилось вот так стоять в конце узенького прохода и смотреть в окно. Ясно, что сначала протерев его и глянув потом на вдруг потемневший рукав рубахи.

Отталкивало от себя, но уже и притягивало ещё пока ослепительное солнце. Гляделось в озеро. Поезд вновь набирал скорость. А светило всё увеличивалось в диаметре и присаживалось за грозовые тучи у горизонта. Мелькали столбы,

деревья, полустанки. Дальний лес вместе с какой-то деревней, описывая огромную дугу, медленно отставал от поезда-ветки. День подходил к концу.

Сколько-то постояв у того, мальчуган теперь пробирался к своему окошку. И слева, и справа люди молчали о войне. На его месте сидел пожилой мужчина в форменной фуражке с дырочкой на зелёном околыше. Красная звёздочка отсутствовала. На столике стояла недопитая чекушка водки.

— Да, война. Не терпится фрицам: наступают, черти!

Увидев стоящего Женьку, говорящий было замолчал и начал вставать. Но мальчик попросился ещё постоять там, в коридорчике.

…Темнота стала гуще. Наступала ночь. Загадочная и даже пугающая. Замелькали огоньки. Протянутую голую руку семафора ещё можно было видеть. Но нечётко. Стучали колёса. Побрякивали амортизаторы. Трясло и клонило из стороны в сторону. Лица пассажиров стали расплывчатыми. Свет в вагоне ещё не зажгли. Укачивало. Глаза сами собой стали слипаться. Женька зевнул, раскрыв белозубый рот, и направился к отцу. Теперь уже хотелось и Женьке посидеть с закрытыми глазами… То взад, то вперёд, то с боку на бок торкался, двигался. Смешно над собой стало. Вспомнил, что отец теперь рядом, что всё хорошо складывается. Правда, вот война… Но это — где-то далеко же, и много тут… непонятного, таинственного. Даже интересно как-то, невольно хватаясь то за одно, то за другое — ну вот и его место свободное. А папка его уже спал.

Осторожно погладил, чтобы не разбудить. Вот так, вот так… и при качке подходящего качества влепился на своё законное местечко! Поёрзал, устроился поудобней, посмотрел — что там ещё за окном, и закрыл глазёнки. При полном доверии к складывающемуся. Такое бывало с Женькой только тогда, когда отец был рядом.

«Стукоток от колёс, стукоток, стукоток…» — пришла откуда-то извне строчка будущего стихотворения, которая, однако, на этот раз обернулась сладким, как мороженое, бесконечным, как уводящие вдаль блестящие стальные рельсы, сном.

Андрей Александрович пришёл в себя от толчков останавливающегося поезда. Взглянул на спящего сынишку, улыбнулся и высвободил, пошатывая, из тесного кармашка свои часы с откидной крышечкой. Оценив ситуацию, стал группировать вещи, готовиться к выходу. Женька продолжал наслаждаться сном, свернувшись в свою любимую позу — калачиком. Отец хотел было разбудить, да подумал — рановато, пусть ещё понежится. Голова его трещала от потрясений суматошного дня, от усталости и от выпитого спиртного. Прильнул к окну, выставив ладони шорами, но понял только то, что наступала ночь, да что скорость — падает.

Пассажиры спали или дремали. Закутки вагона оккупировал сумрак. Вращающееся от оси динамо надрывалось, стараясь, но не в состоянии было обеспечить расчётную яркость «лампочкам Ильича».

Андрей на всякий случай пошёл поинтересоваться: какая следующая остановка? Симпатичная дежурная проводница в гражданской кофточке и юбке, но в форменной фуражечке с подрезанным по моде козырьком и при хромовых сапожках на высоком каблучке, стояла на средней ступеньке. Она сообщила, что была — Дзержинка, следующая — разъезд Шараповка.

— Спасибо, — поблагодарил Андрей, одёргивая свою толстовку.

«Понятно, наша. Ехать — минут двадцать пять — тридцать. Но это уже сущая мелочь. Наконец-то скоро будем дома, если так можно сказать холостяку…» — с грустью подумал он. Проводница, приподняв флажки, как бы подросла и стала проходить к своему купе. Андрей прижался к стене вагона, касаясь спиной и затылком тёмного стекла окошка, придерживая правой рукой мягкий козырёк своей новенькой парусиновой белоснежной прогулочной кепки.

Покурил в тамбуре. Возвратился в купе, снова поправил головку сына, устроив её поудобнее, сел на место и… моментально отключился.

Проснулся от грубых толчков. Вагон замер. Пока растолкал сынишку, пока ему втолковал, пока пробрались до тамбура — поезд тронулся и стал, как сумасшедший, набирать скорость. Андрей рванул на себя дверь, обернулся:

— Женька?!

Но сын, как часы — тут как тут, — следовал за ним. Он соскользнул, держась за перила, на нижнюю ступеньку. Не до раздумий. В ушах шумел ветер. Отец крикнул:

— Прыгай за мной!

И враз… выбросил чемодан… и узел и, не выпуская из руки вещмешка, провалился и сам, исчез в темноте. Оп!.. Оп.

Поднялся. Последний вагон пронёсся мимо, растворился. Перемогая боль в локтевом суставе, прихрамывая, мельком огляделся и тут же громко позвал:

— Женя!..

Выждал. Сын не откликался. Крикнул:

— Жень-ка!..

Гробовое молчание. Только помигивали красный и синий огоньки на границе разъезда. Заорал благим матом!.. Ещё и ещё… Без-ре-зуль-татно. Машинально торопливо, на ощупь, собрал вещи. Схватился за голову. Фуражки не было. Продвигался по пути следования и кричал, кричал что есть мочи:

— Ты где, Женька?! Отзовись! Женька!..

По спине поползли мурашки.

Как же он непростительно просчитался! Скорость уже была критической — он думал, что меньше, — и прыгни пятью секундами позже — результат был бы и для него непредсказуем, а мальчишке предстояло…

— Женька! Женька!..

Отец осознавал всю остроту и неотвратимость момента. Похмелья как не было. Трезвая голова и хлёсткий ветер в ушах, да затухающий стук колёс уходящего поезда, да, уменьшающийся в размерах, исчез и жёлтый огонёк на торце последнего вагона. Вот и всё…

«Что это со мной? Как же это так?»

Женька! Женя!.. Но безответная мгла ночи глушила и его крик. Заныл, застучал встречный товарняк… напролёт… не снижая скорости. Кричать стало бесполезно, неразумно, но что делать?!.. Достал коробок… чиркнул спичку, а толку?.. А тут ещё этот чемодан с хлебом увязался, не бросишь. Присесть бы, подумать, да где там. Нагнулся. Подобрал палку. Метра два длиной.

…Всё тыкал и тыкал, то поднимаясь по насыпи под самые рельсы, то съезжая в канаву по гравию, заглядывая под каждую выбоину, всматриваясь в предметы, напоминающие контуры человеческого тельца.

Прошёл с полкилометра. Искать дальше не было уже никакого смысла, но Андрей знал и то, что его Женька не мог ослушаться ни при каких обстоятельствах, это было исключено, такого ещё не было.

«Да он выпрыгнул, он где-то здесь, я его найду, должен найти. Жив ли только? Да как же я, балбес, мог так!»

Грохотали поезда. Попутные и встречные. На половине неба, что с востока, сгущались звёзды. Западная сторона была угрожающе чёрной. Ночь вступала в свои права. Андрей сел на рельсы и снова взялся за голову. Тишина. Ослабил лямки. Выставил плотный, увесистый вещмешок из-за спины. Поставил его на колени. Обнял руками, склоняя голову, и вдруг вздрогнул всем своим измотанным существом!

— Что это?!.. — не веря своим ушам, потряс головой: в своём уме ли?

Огляделся. Но это не прекращалось: из глубокой ночной тишины до него доносился, накатывался с запада по рельсам проигрыш гармони, и некто старческим, но завораживающим сильным баритоном вдруг запел знакомую с далёкого его детства песню:

Отец мой был природный пахарь,
А я рабо-отал вместе с ним…

Андрей повернулся на месте в сторону поющего…

Шум приближающего поезда, не дав дослушать и куплета, заглушил наваждение. Пришлось соскользнуть вниз по крутой насыпи. Переждать.

Песня больше не возобновлялась. Тучи покрыли треть неба. На остальной, восточной, светили яркие звёзды. «С ума схожу, что ли?» — подумал он.

Слёз не было. Встал и пошёл дальше, теряя надежду, но продолжая поиск, волоча за собой и вещи. Руки онемели, опускались…

Впереди, по ходу движения, замаячил, замотался из стороны в сторону огонёк. Становился всё яснее, ближе… Оказалось — обходчик.

— Эй, кто там? Кто идёт? — послышался строгий оклик.

Сошлись.

— Мальчишка тебе не встречался?

В ожидании ответа замерло сердце.

— Нет, не видел, не попадался, нет. А что?..

Андрей объяснил…

— Ну ты и даёшь! — протянул рабочий, наконец оценив ситуацию. — Как же так-то можно? Уж если задумал спрыгнуть на ходу поезда, так ты его сначала выпроводи, если не жалко, да проинструктируй прежде. А то так для тебя, эвон, чемодан оказался дороже сына: ты, небось, сундучок-то этот из фибры первым ссадил на гравий, когда ещё скорость маленькая была!..

Андрей молчал. Угрюмо, понуро. Что тут скажешь.

— Сам — на такой скорости, а сынишка — прыгай с полного хода, восемьдесят пять километров в час! Тебе не шутка. Ловко получается, — не унимался служивый. — Ну, отец…

— Посоветуй, что делать-то, как поступить?

— Тут так можно, — хриплым, смягчённым голосом стал наставлять обходчик, отстранив от себя молоток на длинной ручке, — можно вернуться на разъезд и попросить дежурного связаться по селектору с поездом. Слышишь меня? Може, мальчишка-то разумней отца оказался, посмышлёней, не спрыгнул вовсе, може.

Сошли с насыпи. Прогромыхал длинный эшелон.

— Хотя — кто знает, отроки теперь пошли отчаянные, вона, вишь, на фронт волокут молодняк, войну предстоит пережить, не шутка.

У Андрея чуть отлегло от сердца: может, жив! Разминулись…

Все сомнения возвратились. «А вдруг он…» — и пошло.

И отец продолжил шарить, тыкать, искать, всматриваясь, склоняясь перед каждым кустиком, булыжником…

Сына нигде не было. Дальше искать не было смысла. Сел на грунт.

— Вот так, Андрей Александрович!..

Он встал, нацепил на себя вещи. И быстро пошагал, теперь уже в обратную сторону.

Дежурный по разъезду позвонил на станцию Марьяновка. Доложил. Приказал ждать результата. Прихватив фонарь, выскочил встречать очередной поезд. Вышел из помещения и Андрей. Небо с запада теперь уже затягивалось сплошной, во весь горизонт, тучей-жалюзи цвета крепкого кофе. Сверкали молнии, то слева, то справа. По всему фронту гремел гром!.. Навстречу—в ночном полёте—полк бомбардировщиков. Хлынул дождь, превратившийся в ливень…

Ответа пока ещё не было. Андрей было присел возле своих вещей. Вышел на порог покурить. Не помогало. А вдруг скажут, что не оказалось такого в поезде? Что тогда?.. Настенные часы показывали полночь. Стрелки двигались, но время зависло. Дождь хлестал.

В третьем часу пришло долгожданное известие: «Мальчик Женя, десяти лет, едет в седьмом вагоне до конечной—Исилькуль—и обратно до Шараповки. Встречайте».

Андрей Александрович со слезами на глазах поблагодарил дежурного и, учёный горьким опытом, попросив, чтобы его разбудили, перешёл в комнату для ожидания на три жёстких пятиместных кресла и стал ждать.

2.

Женька по тем же самым ступенькам, что и вверх при посадке, проваливался в тёмную бездну. Спросонья он плохо понимал происходящее. Следовал за отцом не думая, доверяясь, положившись… И вдруг… отец исчез, неожиданно, оставив после себя только голый приказ: «Прыгай за мной!» Темнота и поток восходящего кручёного шального ветра…

«Что это?»—мелькнуло в голове мальчишки.

«Прыгай за мной, прыгай за мной!..»—стучали колёса. Стоял на нижней ступеньке, держась за поручни, приседая, изготовился… взглянул вниз—мелькнули высвеченные шпалы: раз, два, три, огоньки—красный, зелёный, синий—и движущаяся со страшной скоростью чёрная лента чудовищного, сходящего с ума транспортёра стала уже увлекать его за собой…

«Тук, тук, тук…»

Миг просветления… Да, это всего—миг. Да, только само Существование удержало, приподняло… невидимыми оберегающими руками.

Отца не стало. Папки не стало!.. И это—реальность. И темнота, и завывающий ветер. И, опять же, требовательный, которого нет роднее на свете, голос: «Прыгай за мной!»—звенел в ушах. И вдруг возникшая уничижающая мысль: струсил! ты струсил.

«Я струсил!..»

«Прыгай за мной, прыгай за мной!..»—подтверждали невидимые чугунные колёса.

Женька, совершенно потерянный, нехотя поднялся в вагон, уткнулся в угол напротив двери у бачка с кипячёной водой и, сдерживая рыдания, плакал, не находя нужного положения телу, оседая—ноги его больше не держали—на корточки.

Произошёл вдруг разрыв привязанности. Впервые. «Так, так…»—стучали колёса. Рельсы—чуткие струны. Похоже, ночь—видящая, крылатая… Существованье… причин и следствий.

— Что с тобой?—послышался мужской голос.

Неохотно поднял голову. Над ним возвышался проводник, дяденька в форме железнодорожника.

— Папка выпрыгнул! Он, наверно, разбился!..

— Что ты такое городишь? Пойдём. Где твоё место? Докуда вы ехали?..

— До Шараповки.

— Понятно.

Усадив мальчишку на его законное место, пошёл доложить старшему проводнику о случившемся.

Девочка помогла деду снять гармонь. Приняла её на руки, как младенца, поместила на освободившийся край нижней полки. И когда дедушка, при соучастии пассажиров, присел на край противоположной, подала ему эту видавшую виды кормилицу. Поправила и разгладила заплечные ремни. Сняла с него старомодный картуз и разместила рядышком. Присела сама, наискосок от Женьки.

Седобородый, со смотрящими в бесконечность пустыми глазами, скупым привычным движением пальцев определил проигрыш знакомой большинству из присутствующих жалобной песни. Купе замерло. Жизнь замедлилась. И потекла в потоке мелодии, слилась с ним, стала единым.

Всё травою за-арастает,
Горьку правду тая-а.
И родны-ые не узна-ают,
Где моги-илка моя.

Ведающего не стало…

На мою-то лишь мо-огилку
Уж никто-о не придё-от,
Только ранне-ею весно-ою
Соло-овей пропоёт.

А когда дедушка появлялся между куплетами, когда изливалась только одна мелодия без слов, а слёзы текли из его провидящих, тогда девочка, необыкновенной красоты, промокала его глаза своим коленкоровым платочком с вышитыми голубыми бутончиками цветов.

Пропоё-от и просви-ищет—
И опя-ать у-улетит…
А моя-то ли-ишь могилка-а
Всё лежи-ит да лежи-ит…

Куплеты окончились. В забытый было картуз посыпались монеты. По просьбе слушателей песенник исполнил и ещё одну, ещё более проникновенно, что до этого казалось невозможным. Она начиналась:

Отец мой был природный па-ахарь,
А я рабо-отал вместе с ним…

А заканчивалась такими хватающими за сердце словами:

…Сестру из плена выручать.
Злоде-ей пустил зладейску-у пулю,
Уби-ил красавицу-у сестру.

И… что Россия уже снова — в состоянии войны, вдруг физически охватило всех крыльями во́рона.

Взошёл я на гору крутую
Село-о родное посмотреть;
Горит, гори-ит село родное,
Горит вся ро-одина мо-оя!

Старик молча, только постоянно кланяясь, поднялся. Внучка благодарила стеснительным шёпотом, как бы извиняясь за неловкость дедушки, переводила горсточками блёклые монеты в чистенькую тряпицу. Ловко подобрала её, как-то умело, по-женски, организовала узелок и сунула его в услужливую походную сумку. В этом вагоне слепой больше не пел. Они перешли в следующий. Пассажиры, не умствуя, вздыхали, покашливали и спустя некоторое время стали готовиться ко сну. Нужно было докоротать ночь. Кому-то до рассвета, кто-то, возможно, сойдёт и раньше.

Девочка с голубыми глазами, когда же мы встретимся, да и встретимся ли когда?.. Это была печаль не ребёнка, не отрока — зрелая печаль человеческой души. Она, эта печаль, была безбрежная, как океан, чистая, как только что выпавшая росинка на лепестке водяной лилии, вглядывающейся в голубые небеса.

Бывают мгновения — аромат жизни.

Когда они утонули в глубине вагона и Женька очнулся от нахлынувшего, новая волна собственного горя, смешанного с надеждой, накатилась на него. Перехватило горло, слёзы полились сами «плакучей рекой». Он уткнулся в угол, забылся и… вскоре уснул.

— Мальчик Женя, ты меня слышишь? — звучал женский голос где-то далеко-далеко, но всё настойчивей, всё ближе, всё ласковей.

Чьи-то нежные мягкие руки развернули его на скамейке, и чья-то верховная воля заставила его открыть глаза. Перед ним склонилась женщина. Её оголённые груди напомнили ему далёкое-далёкое, безвозвратно промелькнувшее детство, младенчество, маму. Он съёжился, боязливо отстранился, но тётенька сообщила: его отец жив.

— Твой отец, мальчик Женя, — ты меня слышишь? — ждёт он тебя!

Теперь она взяла его на своё попечение. Она теперь за него ответственная. Принесла подушку и попросила пассажиров потесниться. Уговорила мальчишку прилечь и ещё поспать.

— Утро вечера мудренее. Никуда теперь твой папка не денется, шалопай этакий, ждёт, поди, не дождётся, бедолага. А ты спи, спи, сынок, я тебя разбужу, ты не беспокойся, сынок. Давай я на тебя твою одежонку накину.

Женьке было чудно это, непривычно приятно как-то, что совсем незнакомая тётенька так правильно, не лживо, не притворно, называет его сыном… и другое, томящее. Он встречно улыбнулся ей, и слёзы опять, уже в который раз, сами собой навернулись на его глаза изумрудного цвета, но это были слёзы благодарности, спонтанной безбрежной любви к ближнему, к Мирозданию, к самому Существованию, что ли… через женщину, через Мать.

Вот бы папке такую тётеньку в жёны. Он улыбнулся несбыточному. Закрыл глаза и… вскоре погрузился в надёжный, теперь уже крепкий сон и не слышал, как поезд прибыл на конечную станцию, освободился от прежних пассажиров, принял новых и, отстояв положенное время, теперь уже на полной скорости вращал все свои колёса в другую сторону.

Гаснут звёзды. Появляются и другие первые признаки рассвета. Застучали, зацокали колёса. Эшелон не снижал скорости. Растягивал гармошку платформ… Но в этом постукивании уже чувствовался, уже слышался тотально приближающийся рассвет, то такой щемящий, печальный, то так… обнадёживающий.

Андрей стоит на перроне в ожидании ветки. Рядом железнодорожник с фонарём и зачехлёнными пока ещё флажками. Жёлтым и красным. Сжимается сердце отца. Тянется время. За путями разъезда — берёзовый лес. До деревни — около трёх километров. Почти никчёмный свет прожектора на бреющем полёте высвечивает-таки рельсы. Поезд сбавляет скорость. Женька уже стоит на злосчастной нижней подножке, намереваясь спрыгнуть. Пошмыгивает носом. Сжимается и его сердечко. Он побаивается. Молодая стройная симпатичная проводница при полной форме — на ступеньку выше, придерживает мальчишку за плечо… Андрей поднимает руки и… заключает сына в объятья. Заглядывает ему в глаза. Оба плачут…

Паровоз молча дёргает вагоны. Женька обернулся и помахал рукой доброй знакомой. А на ступеньках последнего вагона стояли та, голубоглазая,

неописуемой, как мечта, красоты девочка-поводырь и задумчиво смотрящий в заоблачную синь седобородый старик с гармошкой через плечо, по-походному,—война.

«Встретимся ли?..»

Женька и впрямь опасался, что папка будет его ругать, что назовёт трусом, но отец молча прижал его к себе снова… так, что пряжка его ремня касалась Женькиного подбородка.

Вставало солнце.

— Ну ладно, Женя, урок мне хороший, на всю жизнь. Искуплю кровью,—глубоко вздохнул Андрей Александрович.—Пошли, сынок. Надо добираться до «места жительства», как слышал, хотя нас там с тобой никто и не ждёт. Да, надо.

…А солнце, солнце поднималось над горизонтом—так безмятежно, так привычно и вечно. Освещало замешкавшиеся обрывки туч, ушедших за черту… на восток, спонтанно пролившихся здесь освежающими дождями. Ночь, как всегда, отступила на запад. Остро пахло зеленью.

И снова застучал, зашумел приближающийся поезд, приветствуя таким образом маленький разъезд—зачастили поезда; вагоны один за другим с лязгом стали прижиматься друг к другу…

— Смотри-ка, пап, пушки!

— Гаубицы,—уточнил отец.

Прошёл крупный отвесный дождь. Чисты кровли. Блестящи лужи. Солнце—всё выше и выше.

Сжевали по куску хлеба, чуточку утолив голод.

— Ну, теперь пойдём.

— Теперь уже близко…

— Близко-то близко, да как мы с тобой через лог переправимся? Воды теперь в нём по пояс, обходить—крюк с километр, не меньше.

Долго шли молча.

— А, будь что будет, пошли, Женя, напрямую… Берёзовым подлеском.

Женьке приключения—только подавай. Ботинки так и так промокли! Еле успевал за отцом—он у него ходок хороший. Ему частенько приходилось бывать в райцентре, мотаться от деревни к деревне—так судьба складывалась.

— Снимай брючишки,—сказал отец,—курорт, да и только, после дома отдыха… Иди за мной, тут могут быть ямы.

Вода была уже почти до пояса. Женька задирал всё выше рубаху.

Нужно было держать на руках и вещи. Вода чистая, как слеза.

Отец и ещё придумал-решил.

— А, была не была!

Осторожно положил чемодан плашмя на воду. На удивленье сынишки.

— Он же затонет—кирпичи всё-таки!

— Хорошо сделанный, плотный, да и удельный вес хлеба меньше удельного веса воды. Правда, ты ещё этого не проходил, но теперь знай.

— Ну надо же так: чемодан—сухогруз!..

Переныривают сороки пространство, а пёстрый чемодан—средство передвижения для хлеба. Женьке показалось это забавным. Все невзгоды—как рукой сняло. Вот и другой берег.

— Ну и ночь была, такой ливень прошёл.

Восток всё ещё алел. Окрестность оживала. День вступал, вступал в свои права, разгорался. Солнце приподнималось, уменьшалось в размерах, становилось всё ярче. Порхали, баловались воробьи, куролесили в лужах и трясогузки тоже. Сороки переныривали пространство с тряских осин на берёзы и дальше с пересадками…

А чемодан всё-таки потяжелел. Благо, идти оставалось не так уж и далеко.

— Водичка чистая, дождевая, ничего страшного, съедим,—оправдывал свои действия отец.

Шарахнулись утки. Женька совсем развеселился. Утренние слёзы, как роса, испарились.

— А хлеб всё-таки подмок!..

Стихотворение своё сегодняшнее вспомнил:

Стукоток
От колёс,
Стукоток,
Ты куда нас понёс?
— На восток,
На восток,
На восток,
На восток…
Стукоток от колёс,
Стукоток.

А кругом
За окном—
Темнота…
Там и дом—
Где-то там,
Где-то там,
Где-то там,
Где-то там…
Темнота за окном,
Темнота…

— Давай бросим птицам немножко хлеба, а, пап? А вон и вторая!

— Ну давай, пусть попробуют городского, сороки.

Отец достал нож.

— Дай посмотрю складешок!—попросил Женька.— Ловко-то как: вилка, штопор, лезвие! И костяная ручка, гляди-ка!

Хороший нож перочинный, ничего состругивает! Можно меч сделать.

Домашние голуби набирают высоту. По мелководью брассом куда-то скачет лягушка. Подпрыгивая, смешно вытягивает шею сорока. Смотрят в затылок жаворонка острые глаза коршуна… Вновь звено самолётов напомнило о войне.
— Это истребители,— объяснил отец.— Кому-то надо. Нашла коса на камень… в разгаре лета.

Страшно, баба Лиза, мне
Слушать сказку о войне!

Он их, возникающие стихотвореньица, не старался запомнить, не записывал — вольные птицы. Улетят — рукой помашет… Вспомнилась ласковая, мудрая, добрая, заботливая сказочница баба Лиза. Степановка. Дядя Гоша, тётя Поля… двоюродные братишки и сестрёнки… и Вовка…

Ну вот и долгожданная Шараповка. В ней живут этнические немцы, поселившиеся, как Женька слышал, ещё при царствовании Павла Первого.

И, кстати, стишата шуточные, ликбезовские, специально для русских кем-то составленные:

Стол — тыш,
Рыба — фиш.
Ножик — месер,
Лучше — бесер.
Что такое — васиздас,
Маслобойка — бутерфас!..

Возле правления совхоза стояла запряжённая в бричку пара красивых лошадей. Четверо мужчин, собранные по-походному, и провожающие стояли рядом. Курили. Ждали остальных. Бабы ревели, девчонки плакали, пацаны тёрли глаза кулаками.
— Андрей Александрович, вам тоже — повестка!.. Вот, распишитесь, что получили,— местная почтальонша — звонким альтом с немецким акцентом, с гармошкой-сумкой на плече.— Лошади уже, как видите, поданы, поторопитесь, а то…
— Дайте хоть до дому дойти,— огрызнулся было отец,— мальчишку пристроить-разместить! — но, понимая, что не по адресу, что могут и уехать, не дождавшись, и что тогда ему придётся хлебать киселя, топать пешком, месить грязь до Марьяновки, добавил: — Да уж пусть подождут, я — сейчас, вот только вещи дотащу да сынишку определю…

Прибавили шагу.

— Ну вот, Евгений, и поговорили,— отец обнял сынишку.— Ты-то хоть не плачь, мужик. Ничего, всё обойдётся.

…Зашли в полупустую квартиру на две комнатушки.

…Он прижал Женьку к себе, отстранил, заглянул в глаза, утёр ему слёзы.
— Мужик. Слушай меня внимательно. Вот тебе ключ от квартиры на всякий случай, но лучше будь дома. Что поесть — сообразишь, не маленький. Возьмёшь бидончик, сходишь к прежней нашей хозяйке. Помнишь Эмму Гергардовну? Я у неё снова на харчах. Она тебе нальёт молока. Мука в кладовке, в большой синей кастрюле. Со спичками — осторожней, Женя. Затируху варить умеешь. Или — вот ещё вспомнил, смотри сюда,— он достал с полки давным-давно купленную пачку толокна, покрывшуюся слоем пыли, потряс — почти полная.— Вскипятишь молоко и заваришь…

Отец сунул в вещмешок буханку хлеба, две пачки папирос, проверил, при себе ли ножичек… Встряхнул… вещмешок и определил его на спину, продев поочерёдно руки в лямки.
— Не провожай, не стоит, Женя,— остановил он сынишку на пороге.— Будь дома, суши хлеб. Я вечером приеду или приду. Тогда всё и обсудим.

«Нужно привезти младшего сына Вовку»,— вертелись в голове отца заботы.

Отец был уверен, что на этот раз его отпустят, а там, дальше как,— жизнь покажет…

день и **ночь**… но «лиха беда начало».

— День, **ночь**, день…—
Пощёлкивает
Щеколда.

солнце наше — явь колосса.
Звёзд *немеркнущая* россыпь.
Нам инопланетный свет
Смигивает «да» и «**нет**».

Не бездушно, не ревниво —
Жду ж, кресаю, взяв огниво —
искромёт, на трут сорю…
— Гимн, рифмуйся! — говорю

(Тоже тактику меняю:
то — стоять! то — погоняю.
Пара, с белой — **вороной**
конь… кнут чувствует спиной),—
Как проходит жизнь земная!

С кремня гимн: «Другой не знай я,
Переменно! — **ночи** — дни,—

То на солнце, то в **тени**…

Лана Райберг

Школьные заметки

Дженифер

Дженифер доверчиво вкладывает чёрную шершавую ладошку в мою руку.

Спускаемся по широким мраморным ступеням в подвал, где находится школьная столовая. Дженифер—не по возрасту серьёзная девочка. Она трогательно поджимает пухлые губки, расправляет на коленях складки форменной юбочки. Один чулок у неё порван. Вчера и позавчера, кажется, она была в одних и тех же чулках. Во всяком случае, они тоже были дырявые. Курчавые её волосы заплетены в упругие косички, стянутые на концах резинками с красными пластиковыми шариками. Розовая курточка Дженифер давно не стирана. Из семилетней её детскости проступают черты зрелой женщины. Я вижу Дженифер сорокалетней.

Она—приземистая, плотная и рассудительная. Жесты её скупы и неторопливы. Из-под фетровой шляпы, украшенной пластмассовыми ягодками, выглядывает широкое тёмное лицо с непроницаемыми агатовыми глазами. Женщина одета просто, возможно—очень бедно. Оживший портрет чернокожей горничной времён колониального режима. Картинка, сверкнув коричневым глянцем, скользнула в учебник по истории Америки.

У меня есть странная и ненужная, приносящая лишь печаль способность—видеть в детях стариков, а в стариках—детей. Это, скорее, не способность, а проклятие, не дающее мне ни на секунду забыть о конечности бытия.

Подружка Дженифер, Ашли, напротив, высокая, сутулая и вертлявая. Она ассоциируется у меня с высушенной на солнце ящерицей. Деревни Африки рождают таких женщин—длинноногих и длинношеих, с крутыми откляченными задами.

Они бегают наравне с леопардами, вздымая горячую пыль крепкими потрескавшимися пятками, они танцуют ночами под дробь барабанов, призывая богов пролить благодатный дождь.

В классе две эти девочки—единственные адекватные. У восьми остальных учеников—различные отклонения и психологические проблемы. В наличии синдром Дауна, гиперактивность, идиотизм и асоциальность.

Кенес, Патрик и Анна ходят в грязной одежде. Кенес и Патрик в свои девять лет не умеют читать и писать. Они не в состоянии распознавать и запоминать символы. Анна занимается в соответствии с возрастом, но она подвержена вспышкам неконтролируемой ярости. В первый мой рабочий день я бросилась защищать её, когда она сцепилась в драке с толстым, весёлым, но необыкновенно драчливым Голфредом. Короткая курточка Анны задралась. Тощее её тельце оказалось покрыто пятнами и язвами. Я оттащила Анну, обняла её, успокаивая. Девочку била крупная дрожь. Постепенно глаза её утратили выражение ярости, смягчились, а тело расслабилось. Тогда я её отпустила.

Через полчаса Анна опять дралась. Опять я её оттаскивала, отбивала, обнимала и утешала.

Каждый день прихожу с работы с новым синяком.

Чёрная, как смоль, миссис Винг напряжённо смотрит на меня. Я легко читаю её мысли. Она удивляется тому, что мне не противно прикасаться к грязным и больным детям. Ещё она думает о расовых различиях. Я—единственная белокожая в этой школе.

О том, что от детей можно заразиться, я не думаю. Не прикасаться к ним не получается: я то разнимаю дерущихся, то обнимаю, успокаивая, то беру за руку. Они вытирают об меня сопли и слёзы. Я застёгиваю их давно не стиранные курточки, завязываю им заскорузлые оборванные шнурки.

Мне очень жаль их и хочется им помочь. В конце концов, это моя работа.

Любой грязный и дерущийся чернокожий ребёнок, встреченный на улице, вызывает у меня раздражение и брезгливость. Здесь, в школе, я смотрю на ситуацию изнутри. Я существую внутри организма и, как могу, выполняю свои обязанности. Часто я забываю о цвете их или моей кожи.

С миссис Винг мы так и не подружимся, хотя, я знаю, она хорошо ко мне относится. Она со всеми держится несколько отстранённо, и мне кажется,

что учитель, мистер Сенат, её побаивается. Я уважаю её право на уединённость и никогда не сажусь на «её» стул или за «её» стол.

Мы обе бьёмся изо всех сил, пытаясь упорядочить безумный день.

Артес

Самая чистая и нарядно одетая девочка — самая неконтролируемая. Приручить её не удаётся. Артес злая. Учителю, добродушному и смешливому мистеру Сенату, она показывает голую попу и кричит: «Фак ю!» Она крутится, как юла, задирает детей и беспрерывно извергает ругательства. Сидящей на стуле, кажется, её никогда не видели. Её невозможно уговорить взять в руки книгу или фломастер.

Тем не менее, некое стадное чувство в ней присутствует. Она не настолько ненормальна, чтобы убежать из класса и, например, потеряться. Когда дети парами идут по коридору, нарядное платьице Артис мелькает, словно тень отца Фёдора, на многочисленных переходах и лестницах школы.

Она может надолго пропасть из поля зрения, но, тем не менее, прибывает по назначению — или в зал физкультуры, или на урок французского, или в библиотеку. Она умеет читать и писать, но мне непонятно, каким образом её смогли обучить грамоте.

Кроме ругательств, ничего другого от неё мы не слышим. Девочка осведомлена о взрослых сторонах жизни. По её поведению похоже, что она видела не только платонические проявления любви. Артес ложится спиной на стол, поднимает и раздвигает согнутые в коленях ноги и хохочет. Газетой, словно муху, сгоняю её с ложа.

Школа находится в неблагополучном чёрном районе. Выйдя из метро на станции «Ютика авеню», сворачиваю с широкой Истерн Парквей в переулки. Иду по серому тротуару. Пожухлые тени бездомными собаками трусливо жмутся к домам со слепыми, заколоченными окнами. Словно солдат, шагаю под прицелом оценивающих, часто недобрых глаз. Как могу, сохраняю невозмутимость. По проезжей части патрулирует полицейская машина. Вздыхаю с облегчением. Через неделю каждодневного туда-сюда маршрута чувствую себя получше. «Посторонние» по этим улицам не ходят. Мне кажется, что меня уже «срисовали» и занесли в реестр неприкасаемых, к которым относятся работники школы. Вскоре без опаски начну отвечать на улыбки и приветствия аборигенов. Только стараюсь не «передержать» взгляд. Скользнуть, приветить и уплыть, не увидеть, как в ловких руках возникают, откуда ни возьмись, крохотные пакетики, которые тут же исчезают в чёрных ладонях. Иногда только сверкнёт белым или взметнётся в воздухе край зелёной купюры и цифра «20» — столько стоит минимальная доза героина.

Весь день мы ловим Артес, пытаемся урезонить её, заставить читать или писать. Бесполезно. Как ртуть, она ускользает из пальцев, выкручивается, вырывается из кольца рук. Носится, как ураган, со свистом рассекая воздух.

Меня раздражает психолог. Сидит себе, наблюдает за поведением Артес, ведёт записи.

Все мои бесцельные педагогические потуги бесстрастно заносятся в журнал.

Может быть, стоит плюнуть на дрянную девчонку и усесться в углу, раскрыть блокнот?

Пусть сходит себе с ума.

Девочка явно асоциальна. Только следствие ли это душевной болезни или процесса воспитания, не знает никто.

Странно только, что каждый день на ней новое платье, чистое, красивое и явно недешёвое. Както я увидела её с мамой. Высокая, необыкновенно важная негритянка, одетая в клетчатый костюм, в шляпку с короткой вуалью, в туфли на шпильке, в крупные золотые украшения, вела за руку чинную Артес, похожую на дрессированного жеребёнка. Высокомерно дама кивает мне и проплывает дальше.

Наконец назначена какая-то городская комиссия, которая решит, помещать ли Артес в психушку или же в специализированную школу, в которой существует жёсткая дисциплина и где развита система наказаний и поощрений. Эта школа — чем-то сродни тюрьме для детей.

В течение всего трёхчасового заседания Артес смирно просидела на стуле, держа руки на коленях, и произвела на комиссию самое благоприятное впечатление. Педагоги, психологи и судья не могли поверить, что это милое дитя асоциально и неконтролируемо и что оно вообще способно на гадости. Мама утверждала, что на её дочь клевещут.

Артес перевели в частную школу, комиссия выделила деньги на её обучение из городской казны. Мы все вздохнули с облегчением, но легче работать всё равно не стало.

Кенес

Кенес с трудом тащит битком набитый портфель. Зачем ему учебники, ведь уроки-то он не делает? Пытаюсь разгрузить его портфель, вытащить что-то ненужное. Кенес яростно защищает

своё имущество. Он начинает кричать и плакать, утаскивает портфель в шкаф, прячет его в углу. На следующий день замечаю, что портфель ещё больше разбух и что молния на нём сломалась. Прорвалась жёлтая парусиновая ткань, и в прорехе торчат книги. Мальчик, согнувшись, за ручку тащит неподъёмный груз по полу.

Спрашиваю миссис Винг, кто его родители. Может, стоит им написать записку, чтобы обратили внимание на школьное имущество сына? Миссис Винг отвечает, что мама Кенеса не совсем адекватна, к тому же имеет проблемы с речью. Кажется, они живут в шелтере.

Я зациклилась на этом жёлтом, рваном и грязном ранце. Приходилось ждать Кенеса, пока он волочёт по полу портфель, поднимая вываливающиеся из него листы бумаги, книги и карандаши. Подкараулив, когда мальчик был в туалете, заглянула внутрь. Три одинаковых учебника, вышедших из обращения. Папки, набитые бумагами, рисунками, листочками из книг. Мусор вперемешку с мелками, карандашами, огрызки яблок, фантики, части сломанных игрушек, жирные смятые салфетки.

Покупаю красивую пластиковую коробочку, приношу её в школу и предлагаю Кенесу сложить в неё его карандаши. Глаза ребёнка загорелись. Рваный портфель, посомневавшись, он водрузил на стул. Сдерживая брезгливость, обеими руками выгребаю из грязных недр мусор. Выбираем из него кусочки карандашей и складываем в коробку. Под стулом я положила раскрытый пакет, куда воровато сбрасываю добытые из портфеля обрывки, объедки и обломки. Послав Кенеса за салфетками, молниеносно прячу в ящике стола три ненужных учебника. В следующую его отлучку прячу папки с бумагами. Отправляю мальчика в туалет мыть руки и выбрасываю мусор.

После ревизии сумка наполовину опустела. Теперь её можно поднять, хотя она всё равно остаётся тяжёлой. Но, во всяком случае, половинки сходятся.

Подумываю, не купить ли мне ему новый ранец. А что, неплохая идея!

Пацана мне жаль. Он тихий, старается. Книги обожает. Листает одну за другой. В том, что не может научиться читать, не его вина. У него букет расстройств и нарушений: он не различает буквы, не запоминает, не связывает понятия.

Терпеливо каждый день показываю ему буквы. Он покорно их повторяет, не запоминая.

Каждый день пунктиром пишу для него алфавит. Кенес старательно обводит пунктирные линии. Ему скучно и тяжело. Он не понимает, зачем я его мучаю, но он понимает, что пока он будет стараться, я буду рядом. Он гордится и дорожит моим вниманием. Если я отвлекаюсь на другого ребёнка, он сердится, расстраивается и ревнует.

Прошу его повторить букву «А», написанную в начале строки. Мальчик беспомощно смотрит на меня, он не понимает, чего я от него хочу. Все эти палочки, чёрточки и закорючки абсолютно ничего для него не значат. Он старается для меня. Ведь в конце концов я перестану его мучить и нарисую для него собаку, машину, лягушку, кота, крокодила, которые он с восторгом будет разукрашивать. Ну ведь узнаёт же он символы! После интенсивных занятий он, наконец, неуверенно тычет пальцем в «В», и «А», и «С». Назавтра с утра не помнит ничего. Всё начинаем сначала.

Память мальчика — как волна, которая набегает на песок и слизывает с него кем-то написанные знаки. Чувствую себя, как Сизиф, толкающий в гору камни, которые тут же скатываются. Бесполезно! Все эти титанические усилия и каждодневные занятия бесполезны.

Сегодня Кенес пришёл с новым портфелем. Родители наконец обратили внимание! Мальчик горд и счастлив. Красный, с чёрными ремнями, мягкий и большой — замечательный ранец! В конце дня замечаю, что Кенес собирает со столов работы других детей, вытаскивает из мусорного ведра скомканные салфетки. Тащит всё это добро и украдкой от меня запихивает в новый портфель.

Пытаюсь забрать у него мусор, но покладистый и добрый Кенес злобно выдирает у меня из рук лист мятой бумаги. Остервенело, чтобы не забрали, пихает в сумку. Лицо его искажено мукой. Каждый день, я знаю, он ворует у меня по карандашу. У него уже их целая коллекция, штук тридцать.

Наверное, он привык к кочевой жизни. Возможно, приходилось жить на улице. Ведь в шелтер попадают с улицы. Очевидно, ему приходилось голодать. Маленький человечек понял: всё моё должно быть со мной! Мало ли что может случиться! У него нет ощущения дома. Поэтому всё своё накопленное имущество, все богатства — мятые жвачки, огрызки карандашей, сломанные часы, красивая крышечка, страница из журнала с нарисованным Бэтменом, половинка яблока, — должны быть всегда с собой.

Украдкой подкармливаю пацана — приношу ему печенье и конфеты. Делаю вид, что не замечаю, что после завтрака в школьной столовой он собирает со столов объедки. Однажды миссис Винг отобрала у него недоеденный кем-то кекс. Кенес долго и отчаянно плакал.

На следующий день я незаметно от других помогла ему запихнуть в карман кусок вафли и печенье, завернув их в салфетку. Пусть ему будет спокойнее! Пусть знает, что у него есть еда!

После обеда агрессивный Патрик начинает задираться. Хватает со стола мои вещи и, хохоча, прыгает вокруг. Кенес берёт книгу, догоняет Патрика и бьёт его со всех сил по голове. Оборачивается и гордо смотрит на меня. Защитил! Мне хочется плакать.

Научится ли он в конце концов читать? Каково его будущее? Представляю взрослого Кенеса, неуверенной прыгающей походкой идущего по улицам родного города. Город враждебен и чужд. Одинаковые дома, одинаковые машины. Кенес пытается вспомнить, где он живёт, но знаки на домах ни о чём ему не говорят. Он даже не может спросить прохожего, где такая-то улица, потому что адреса своего не знает. С надеждой он всматривается в лица людей, как будто найдётся кто-то, кто возьмёт его за руку и отведёт домой. Узнает ли он меня, если случайно встретит на улице? Улыбнётся ли, узнавая, либо равнодушно пройдёт мимо?

Мой день напоминает пребывание в аду. Все усилия—тщетны и бесполезны. Дети дерутся, бегают, рвут книги и плюются кубиками для счёта. Флегматичный мистер Сенат, учитель, просто тянет время. Нам нужно продержаться до конца учебного года. Затем класс этот расформируют. Только Дженифер останется в этой школе, пойдёт в «нормальный» класс. Часто в комнате возникают опасные ситуации. Тогда мистер Сенат выходит из дрёмы (часто, прячась за газетой, он дремлет или ест) и применяет физическую силу. Голфред, Патрик, Джек и Анна временно затихают.

Дома на компьютере распечатываю для них красивые картинки—Синдереллу и Человека-паука. Предлагаю разукрасить. Изобразив интерес, Патрик тянет руку к рисунку. С надеждой протягиваю ему листок. Патрик, подпрыгнув, плюёт на бумагу, одним движением руки смахнув на пол коробку купленных мною цветных карандашей.

Тут же подскакивает Голфред и остервенело их топчет. Мальчикам весело. Они заливисто хохочут. Я даже не пытаюсь стыдить их. Будет ещё хуже.

Рисую Кенесу вертолёт и тщательно охраняю наш столик—островок в хаосе безумия.

В другом конце комнаты миссис Винг занимается с Дженифер и Ашли.

Анна обиделась на меня за то, что в пятницу я не дала ей доллар на мороженое. По наивности я пыталась манипулировать поведением детей с помощью поощрения. Будешь хорошо себя вести—дам тебе доллар. Во время ланча в столовой старшеклассники продают мороженое, за которое дети готовы душу заложить дьяволу. Миссис Винг предупреждала меня: не поможет. Один раз дашь деньги—будут требовать каждый день, и все разом. Ты не можешь каждый день покупать каждому из них по лакомству. А когда откажешь, они же тебя возненавидят.

Не поверила. Купила мороженое для Анны. Дженифер смотрит с обидой. Кенес чуть не плачет, он тоже хочет. Иду за мороженым для Кенеса, Дженифер, Ашли.

Тут же—откуда узнали?—прилепились, заныли: «А мне? А мне?»—Голфред, Патрик и Джек.

Анна смотрела волком весь день. Утром она набегалась, надралась, наревелась всласть.

Я изо всех сил игнорирую её, занимаюсь с Кенесом. Вдруг она подходит, садится возле меня с книжкой: «Почитай!»

Читаем вместе. Втихушку сую ей доллар: «Никому только не говори».

Она меня порывисто обнимает и бежит по классу с высоко поднятой зелёной бумажкой.

Её ловят, пытаются отобрать доллар. Тут же организовывается куча-мала, завязывается драка. Бегу их разнимать. Миссис Винг укоризненно смотрит на меня поверх очков.

Мистер Сенат, вздыхая, откладывает в сторону газету.

Алёнка

Алёнка прячется от меня под стол. Кричит: «Не мучайте ребёнка! Отпустите! А-а-а!»

Чувствую себя фашисткой. Тем не менее—выполняю инструкции. Мама Алёны утверждает, что её девочка может заниматься с остальными детьми, и поблажек ни в коем случае допускать нельзя. Нужно просто найти к ней правильный подход. Посмотреть в глаза, твёрдым голосом произнести инструкции, что и как нужно сделать, и пообещать—обязательно—вознаграждение. После выполнения задания похвалить. Очень просто.

Напоминает дрессуру собачки. Ап! Принесла палочку! Умница. Нá тебе конфетку. Не принесла палочку—вот тебе удар хлыстом.

Собачка, виляя хвостом, со всех ног несётся выполнять приказы хозяина. Радуется поощрению, прыгает, пытается лизнуть лицо кумира.

Алёнке начхать на мои похвалы. Она их и не собирается зарабатывать. Ну, может иногда постараться—только ради того, чтобы поиграть в неурочное время с игрушками. Мне не всегда удаётся даже сделать этот пресловутый контакт глазами. Беру её за ручку, начинаю говорить, чтобы заворожить, околдовать, успокоить, заинтриговать,—и ощущаю

пустоту. Она выскальзывает из моего силового поля, выпрыгивает, как рыбка из сачка. И поползла, поползла по-пластунски между рядами сидящих на ковре детишек. И поворачивает ко мне задорную мордашку: попробуй догони!

Стою раскорякой на краю ковра, как на берегу озера,—запретная, учебная зона! Озеро усеяно кочками детских головёнок—двадцать штук! За краем, на стуле, как рыбак, угнездилась мисс Блан. Скорее, как дрессировщик. Класс подобран отменный: отборные, развитые, умытые и умные человеческие детёныши пяти лет, из хороших семей, никаких вам там алкоголиков или безработных—ни-ни! Детёныши глаз не сводят со своего поводыря, дрессировщика: слушают, смотрят, приоткрыв ротики, повторяют послушно, в унисон: «Ма-ма-мы-ла-ра-му!»

А один, некондиционный, ползает, гадёныш такой! И начхать ему на порядок, тишину, дисциплину и учебный процесс. На то, что нужно учиться разбивать слова на слоги. На то, что в класс может зайти директорша, в конце концов. А меня ещё не приняли на постоянную ставку помощника учителя, а точнее, няни для Алёны. У меня—испытательный срок. А я с пятилетней девочкой справиться не могу!

Девочка больна аутизмом. Что это такое—с трудом представляю себе. Помню фильм «Человек дождя» с Дастином Хоффманом в главной роли. Его герой страдал аутизмом, был совершенно не приспособлен к нормальной жизни, но мог умножать трёхзначные числа. Алёнка в пять лет знает все буквы, может читать простые слова, считает до двадцати и совершенно свободно, виртуозно рисует. Зажав карандаш в кулаке, держа его, как плотник держит тесак, из одной поставленной в углу листа точки она вытаскивает изящную длинную линию. Линия свободно гуляет по бумаге, чертит прихотливые загогулины, из которых складываются—лошадка, овечки, динозавр. Такой большой, что шея не помещается на листе.

Словно лужу, огибаю ковёр, шёпотом завывая: «Алёнка, иди сядь на место! Давай послушаем тётю-учительницу! Посмотри, как все детки сидят! Потом с тобой поиграем!»

Быстро-быстро, на карачках, девочка ползёт через строй учеников обратно, на другой край ковра. Бедная мисс Блан, продолжая произносить слоги, умоляюще смотрит на меня. На корточках пробираюсь следом, пытаюсь схватить девочку за рукав. Со счастливым визгом она плюхается животом на пол и, словно змейка, сверкает обнажившейся спинкой. Усаживаюсь на то место, где должна сидеть Алёна, и слушаю мисс Блан. Оставшись без партнёра по игре, девочка, недолго думая, залезает под стол. Оттуда доносится её голос: «Надоели! Отстаньте! Это мой домик, буду здесь жить!»

Выволакивать силой её не буду. Школьному персоналу строго запрещено применять к ученикам физическую силу в любой, самой маленькой и оправданной, форме. Мигом можно заработать статью и лишиться навсегда права работать с детьми. Тем более что мама Алёны уже спрашивала меня, откуда у дочки синяк на ручке. Чёрт его знает, откуда этот синяк!

У меня ощущение, что мы все—мама, я и мисс Блан—ребёнка мучаем. Алёна обитает в счастливом мире фантазий, а мы дружно её оттуда извлекаем и заставляем повторять дурацкие слоги, ритмы и рифмы: коза, гроза, роза, мимоза… Неинтересно!

Она хочет играть. Рвётся в игровой уголок, хватает телефон, блестящую маленькую кастрюльку, вытаскивает из корзины пушистого пингвина. Пусть себе играет!

Поджав губы, осуждающе смотрит учительница. За спиной маячит призрак мамы, которая вечером будет выспрашивать подробности дня.

«Девочка должна делать то же, что и остальные! Она может заниматься! Вы просто неправильно к ней подходите!»

Мама делает всё возможное и невозможное. В два года её дочка ещё не разговаривала, никого не узнавала, и врачи предрекли ей жизнь «овоща». Оксана уволилась с работы и всю себя посвятила тому, чтобы вытащить ребёнка из ямы безмолвия, глухоты и пустоты.

Мама добивается у директора разрешения пригласить в школу психолога. Психолог проводит конференцию в комнате отдыха во время ланча—другого времени нет. Жуя бутерброд, она утверждает, что девочка может делать всё и поблажек ей давать нельзя. Своих учителей она должна бояться, знать своё место. Ей нельзя давать садиться на голову. Приказ—награда или наказание!

Выдираю из ручек Алёны пингвина. Говорю: «Потом, потом, а сейчас нужно посчитать палочки, ну пожалуйста! Сколько здесь палочек?»

Девочка выкладывает палочки в ровную дорожку, затем делает из них домик, забор, что-то ещё. За нашей спиной возникает мисс Блан.

«Алона,—спрашивает она по-английски.—Сколько палочек? Сколько? Считай!» И делает мне отмашку не переводить.

Я волнуюсь так, словно сама сдаю экзамен. «Каунт, каунт!»—повторяю с надеждой. Вдруг догадается? Двигаю две палочки—один, два…

Алёнина ручка зависает над дорогой, и нехотя — отвяжитесь, наконец, — она роняет: «Девять».

Мы с мисс Блан изумлённо переглядываемся.

Самое трудное для меня начинается, когда мы идём на занятия «артом» — изобразительным искусством. Хотя Алёна обожает рисовать, она не терпит навязанных идей. У неё полно своих. Пятилетних детей учат принципам и законам, существующим в искусстве. Например, они изучают типы линий: пунктирная, зигзагообразная, точечная, волнистая, — или цвета: контрастные или дополнительные, — и делают упражнения на заданную тему. Инструкции длинные, подробные. Дети следуют им шаг за шагом. Всё нужно выполнять скрупулёзно, поэтапно. В силу особенностей болезни — невозможности сфокусировать внимание на длительный срок, — Алёна начинает скучать. Она крутит головёнкой во все стороны, ведь в комнате столько всего интересного! Ныряя со стула, бежит к окну и хватает невысохшую маску из папье-маше. Мисс Луи закатывает глаза: «Нельзя трогать!»

Спасаю маску, водружаю её на подоконник. Егоза в это время заинтересовалась книгами по искусству, выставленными на полке. Нельзя! Выдираю книгу из её ручек и, как козу, гоню за стол. Дети в это время выклеивают из полосок и кусков бумаги бегущего человека. Алёна клеить не хочет. Чтобы её заинтересовать, сама выполняю задание. Алёна в это время сосредоточенно размазывает по столу кляксу клея. Согнулась низко-низко, локти растопырила, раздвинула: отстаньте от меня, — и пальчиком ковыряет в клее. Мисс Луи качает головой. Мы ей мешаем работать. Вытираю салфеткой измазанные Алёнины пальчики, свистящим шёпотом, по-русски, убалтываю: «Ой, мы сейчас такого человечка сделаем! Как он бежит? А ножки какого у него будут цвета?»

Алёна с воплем: «Отстаньте!» — ныряет под стол. Мисс Луи закатывает глаза. Я чуть не плачу. Мне кажется, что я пытаюсь согнуть металлическую палку.

Ну зачем мы мучаем ребёнка, заставляя его делать то, что тому неинтересно? Уверена, что если бы я дала Алёне просто лист бумаги, то она бы с удовольствием начала рисовать.

Неужели эти строгость и занудство оправданны? Разве нельзя немного отпустить вожжи? Дать девочке более лёгкое и интересное для неё задание?

Аутизм означает нарушение социальных связей. Аутист не нуждается в компании, в обществе. Ребёнок-аутист не играет с детьми, не чувствует привязанности к матери. Он может проявлять способности к чему-либо — к музыке, к искусствам. Такой ребёнок не слушает воспитателей, часто гиперактивен. В то же время может долго сосредоточенно чем-то заниматься. Например, следить за полётом мухи, смотреть, как капает из крана вода. В большинстве своём детский аутизм переходит в шизофрению.

В реальной жизни страдающий аутизмом без посторонней помощи обойтись не может. Поэтому чем больше в детстве занимаются с таким ребёнком, тем больше шансов у него адаптироваться к жизни.

Прошло три месяца. С Алёной мы друзья. Во всяком случае, мне так кажется. В одном пункте её поведение не совпадает с определением болезни: Алёна любит маму. И этим можно манипулировать — во всяком случае, пока.

У пятилетнего ребёнка вообще нет моральных норм. Дети слушаются, потому что их заставляют слушаться, потому что они не хотят огорчать маму или боятся учителя. А если ребёнок не любит маму и не боится учителя? Как его воспитывать? Как его научить читать и писать? Ведь это трудно и не всегда интересно. Как научить ребёнка делиться игрушками, оторвать от сердца и отдать кому-то нужную самому себе куклу или машину? Как привить уважение к чужой собственности, как убедить, что причинять боль живому существу нельзя?

Животным легче — у них инстинкт определяет поведение, помогает ему выжить. У человеческого детёныша инстинкты основные — есть, спать. Моё! хочу! — вот движущая сила их поведения.

Алёна может играть одна часами. Она рассказывает сама себе историю, расставляя игрушки по ходу действия. Иногда ей что-то нужно — кубик ли, чтобы изобразить стол, либо машинка, чтобы возить жирафа. Алёна оглядывается, находит нужную вещь и резко выдёргивает её из рук одноклассника. Отобрать эту вещь у неё очень трудно. Ведь ей она совершенно необходима для игры! Без этого кубика рушится вся история, не складывается декорация! Игра для Алёны реальна. Более реальна, чем окружающее. Она не видит, что находится в комнате, что вокруг играют другие дети. Она находится целиком и полностью в воображаемом мире. Украдкой от мисс Блан защищаю Алёну, убеждаю обиженного ребёнка, что тому этот кубик не так уж и нужен.

Через месяц замечаю, что Алёна совершенно не считается ни с чьими желаниями, что она всё более агрессивна в отстаивании своих интересов. Теперь она может ударить, отбирая игрушку. Я была неправа! Моя любовь к ней и понимание её нужд невольно укрепили в ней понимание того, что

всё, что ей нужно, она легко получает. Теперь я не даю ей отбирать игрушки у других детей. Алёна с обидой кричит: «Противная! Не люблю тебя!»

Пытаюсь сделать игру совместной, распределяю роли. Алёна кричит: «Сама! Не мешайте!»

Слава Богу, что Алёна обожает книги. Требовательно, повизгивая от возбуждения, она требует: «Читай, читай!»

Я заставляю её водить пальчиком по строчкам и проговаривать вместе со мной слова. Нетерпение гонит её вперёд, часто по картинкам она уже знает, чем закончилась история.

Она торопится схватить новую книжку, но мы ей не даём. Дадим только тогда, когда эту она прочитает сама. Покричав и подрыгав в воздухе ногами, она смиряется. Водит пальчиком по строкам, приговаривает: «Что лежит у тебя в коробке? Это подарок на день рождения!»

Я вижу, что глаз её уже косит на следующую страницу. Пронизывает догадка, что она запомнила, когда я читала для неё, и теперь повторяет текст, слово в слово!

Украдкой, когда не видит мисс Блан, читаю для неё более сложные истории.

Тест на английском Алёна прошла блистательно. За пять минут до начала теста она кричала, валялась по полу, отстаивая своё желание играть. Пришлось поставить плюшевого жирафа на стол, вопреки правилам. Я только шепнула Алёне на ушко: «Покажи жирафу, как ты хорошо учишься!»

Каждое утро, приходя в класс, Алёна обнимает меня и говорит: «Я тебя люблю, мисс Лана!» Моё сердце тает от счастья. Мне кажется, что она — самый лучший, самый умный, талантливый и неординарный человечек. И моя миссия состоит не в том, чтобы сломать её, заставить быть «как все», а чтобы сохранить её уникальность, развить её способности.

И в то же время её нужно научить жить в мире и ладить с этим миром.

Волошинский сентябрь: *«золото улова»*

Дмитрий Плахов

bifurcation

не дерево которое растёт
не птица что над деревом летает
но человек чей инструмент остёр
в моём мозгу незримо обитает

не серафим из города саров
не святополк коварный и неробкий
а кто ж тогда обрёл и стол и кров
в отдельно взятой черепной коробке

я помню всё хоть это был не я
ходил мальчишкой на плотах в заречном
дробилась философская струя
о философский камень и о вечном

шептала мне вернее нет не мне
тому мальчонке я его не помню
он был кретин и при пустой луне
шептал слова одной кретинке полной

тетрадь моей исписана рукой
как я провёл каникулы в толедо
в то лето я был в точности другой
но кто прочтёт но кто поверит в это

сейчас и здесь а не тогда и там
азм есмь пин-код своей кредитной карты
так кто за мною ходит по пятам
и кажет кукиш из-под школьной парты

так кто узнав секрет разрыв-травы
умалишённый с бритвою в деснице
в мансарду этой круглой головы
пролез сквозь обнажённые глазницы

та птица что над берегом реки
то дерево что непокорно корню
меня другим названьем нареки
я не был им я ничего не помню

Зинаида Кузнецова

Обгоняя солнце

1988 год

«Вить-вить-вить»,— настойчиво лез в уши, не давал уснуть чей-то дребезжащий голос. Нина достала из-под подушки часы — шесть утра. Кому это не спится? Она, свесив голову, посмотрела вниз: две женщины, разложив на столе съестное, пили чай. Одна была ей уже знакома, вчера вечером села на какой-то станции. Женщина ей не понравилась: всю дорогу поливала грязью всех, начиная с невестки и кончая собственным сыном. И на работе-то у неё все сволочи, и в магазинах обманывают, и чай проводница принесла некипячёный… Нина, устав от её бурчания, вышла в коридор. В соседнем купе весёлая компания отмечала чей-то день рождения. Слышались тосты, смех, звенела гитара. Красивый баритон затянул песню по ямщика, остальные дружно подхватили. Песня следовала за песней, Нина стояла совершенно очарованная. Она редко слышала русские народные песни, а тут целый концерт! Интересно, кто это поёт? Наверное, какой-нибудь фольклорный коллектив, едут куда-нибудь на конкурс. Песни смолкли, и из купе вышла молодая красивая бурятка. Достав сигареты, она вопросительно взглянула на Нину: покурим? Нина засмущалась и отрицательно качнула головой. Девушка прошла в тамбур вагона и, покурив там, вернулась. В купе опять запели: «Ой, да не вечер, да не вечер…» — у Нины сердце захолонуло от красоты мелодии.

— Вы артисты? — спросила она.

Девушка, тряхнув рыжеватыми густыми кудрями, засмеялась.

— Нет, мы все на ЛВРЗ в Улан-Удэ работаем. Слышала когда-нибудь о таком заводе? Крупнейшее в стране предприятие,— с гордостью сказала девушка.— А сейчас в командировку едем, в Тайшет.

— А что такое — ЛВРЗ?

— Локомотивовагоноремонтный завод.

Нина не могла представить, что такая роскошная девушка работает на железной дороге, ремонтирует вагоны и паровозы, и недоверчиво смотрела на неё.

— Заходи,— пригласила Нину девушка, но она отказалась — неудобно как-то, она же никого там не знает…

Соседи ещё долго пели песни, громко хохотали, вызывая гнев Нининой попутчицы. А Нина с удовольствием слушала и завидовала, потому что сама петь не умела. Потом она незаметно заснула, и разбудили её эти вот «вить-вить»…

Поздоровавшись с соседками, Нина пошла умываться, пока очередь не образовалась. Рано ещё, все спят. В коридоре она увидела вчерашнюю девушку. Та улыбнулась ей как старой знакомой.

Поезд шёл по извилистому берегу Байкала. Нина, не отрываясь, смотрела на синюю гладь воды, на еле заметный в туманной дымке противоположный берег, на белые барашки волн, на чаек, качающихся на волне. Через открытую дверь купе, в другом окне, она видела горы, покрытые снежными шапками, стремительные горные реки, торопливо бегущие к Байкалу… Было совсем рано, и горы были окутаны туманом, лишь высоко в поднебесье виднелись снежные вершины. Из-за гор медленно поднималось мутное солнце. Поезд огибал самую южную часть озера, такую извилистую, что Нина видела хвост поезда то с одной, то с другой стороны, и солнце оказывалось то справа, то слева от поезда.

— Смотрите, мы как будто убегаем от солнца, обгоняем его, а оно нас никак не догонит,— удивлённо сказала Нина.

— «Я бы лучше по самые плечи вбила в землю проклятое тело, если б знала, чему навстречу, обгоняя солнце, летела…»,— продекламировала девушка.

Нина вопросительно посмотрела на неё.

— Анна Ахматова,— сказала девушка,— слышала про такую?

Нина покачала головой. Девушка, опять достала сигареты, но, повертев пачку в руках, спрятала обратно в карман. Потом стала рассказывать об Ахматовой, о поэтах, о Серебряном веке… Читала стихи… Нина зачарованно слушала. Она стихи никогда не читала, они всегда казались ей скучными, непонятными. Да и не было у них, в интернатской библиотеке, стихов…

На станции Тайшет железнодорожники вышли. Жалко, вот бы с ними ехать и ехать…

— Читай больше,— на прощание сказала ей девушка.

К удивлению Нины, они все оказались бурятами. А как же русские песни?!

Попрощавшись с девушкой, она неохотно вернулась в купе, залезла на свою полку и попыталась снова уснуть. Почему-то было грустно. Железнодорожники ей понравились, понравилась их весёлая компания; наверное, и работать в таком коллективе интересно…

Прервав её мысли, дверь купе с лязгом открылась.

— Чай желаете?—неприветливо спросила проводница.

— Да вить мы уже вить!—откликнулась новая попутчица.

Нина не откликнулась, сделала вид, что спит.

— Ну, как хотите!—проводница сердито задвинула дверь.

Что это тётка всё время повторяет «вить, вить»? Что за «вить»?—безуспешно пытаясь уснуть, думала Нина, пока, наконец, не поняла, что соседка так произносит слово «ведь». Незаметно она заснула. Когда проснулась, попутчиц уже не было, где-то вышли. Ну и хорошо.

Нине нравилось ездить в поезде, но всегда хотелось, чтобы она была одна в купе, чтобы никаких попутчиков, чтобы можно было просто молчать, читать, спать сколько угодно и не стараться поддерживать разговоры со словоохотливыми тётками. Но пока что ей приходилось ездить в общем вагоне, да и то нечасто. В купе она ехала впервые. И хоть ей всё было интересно: новые места, новые люди,— всё-таки хотелось остаться одной. Но на каждой станции вваливалась толпа пассажиров, и рядом оказывался очередной попутчик, чужой человек.

Целые сутки с ней ехал дядька неопределённого возраста, с огромной лысиной, но с бородой. Он, как и Нина, сел в Благовещенске и успел ей порядочно надоесть. Не успел поезд тронуться, как он достал бутылку водки, гранёный стакан, какую-то снедь и принялся ужинать. Нина расстроилась: не хватало ещё с алкоголиком наедине ехать. Но мужик оказался тихим, спокойным. «Уговорит» бутылку—и спать. Проснётся—опять за стакан. Почти на каждой остановке бегал куда-то, приносил бутылку. Объяснял Нине, где на станциях находятся магазины, где можно отовариться водочкой.

— Зачем вы мне это рассказываете?—недовольно говорила Нина.

— Как зачем?—удивлялся мужик.—А вдруг понадобится?

— Не понадобится!—твёрдо отвечала Нина.

— Ну, не скажи. А если с мужем поедешь? Ему-то надо выпить! Вот и сама будешь знать, и ему подскажешь… Или он у тебя непьющий?

— Непьющий!—отвечала Нина, сердясь на себя, зачем она вступает с ним в этот глупый разговор.

— А чего ж так? Больной, что ли?—не отставал тот.

Нина замолкала, и сосед, приняв очередную дозу, заваливался спать.

Муж… Никакого мужа у Нины пока не было. А был жених, Ромка, Роман Соломин. Служил Ромка в армии, уже второй год, и сейчас Нина ехала к нему. Вроде бы и не совсем прилично незамужней девушке ехать к холостому парню—ведь не жена она ему, но получила она недавно от него письмо. Письмо было какое-то странное, не похожее на прежние, как будто Ромка, когда его писал, был не в себе. Намекал на что-то, что может случиться с ним в любой момент. Он с обидой писал, что вот, мол, к ребятам приезжают девчонки, а она не может приехать—значит, не любит. А может быть, и другого уже нашла. Нину письмо обидело: никого она не нашла и не собирается, она не из таких. И… решила всё-таки съездить. Сняла с книжки накопленные за полтора года деньжата, купила подарок—часы с браслетом, прихватила с собой копчёной рыбы, мешочек кедровых орешков, банку брусничного варенья, разных печенюшек— и отправилась в путь. А путь неблизкий: служил Ромка в Закавказье, город Мингечаур называется, в ракетных войсках.

Они с Ромкой оба воспитывались в интернате. Нина была младше на год. Родителей своих они не знали. От Нины мать отказалась в роддоме, а Рому подбросили. Фамилию свою мальчик получил из-за светлого, почти соломенного цвета волос, и с годами они становились всё светлей. И ресницы у него были светлые. Но Нине он нравился не из-за красоты, а потому что был добрый и всегда заступался за маленьких, за Нину в том числе. Мальчишка страстно мечтал, что его кто-нибудь усыновит или найдутся его родители, а Нина не мечтала и свою мать искать не хотела. Она знала, что та оставила её в роддоме,—значит, и искать нечего. Если она тогда была не нужна матери, так сейчас и подавно. Небось, завела новую семью и живёт себе припеваючи… Ну и пусть живёт! Она не то чтобы обижалась на мать, нет, она просто вычеркнула её из своей жизни.

Окончив школу, они решили пожениться, но тут Ромку взяли в армию, и пришлось им расстаться на долгих три года. Нина осталась работать в интернате, поступила учиться в заочный техникум, встала в очередь на получение квартиры—ей полагалось, как сироте, отдельное жильё. Впереди была целая жизнь, вот только бы Рома скорей вернулся…

Она то и дело выходила в коридор и изучала расписание движения—не опаздывает ли поезд: ей казалось, что он идёт слишком медленно.

После Байкала природа была не такая красивая, и Нине уже наскучило глядеть в окно на довольно однообразную картину. Горы кончились, пошла равнина, с редкими пролесками, чахлыми, местами уже пожелтевшими берёзками. И читать надоело, и есть не хотелось. Да и небогато у неё было с едой. Но она не расстраивалась—к голоду она

привычная. В интернате было несладко, а после и вовсе впроголодь жила. Зарплата мизерная, да ещё откладывала — на будущее их с Ромкой житьё.

Оставалось спать, что она и делала. Проснулась на какой-то большой станции. На перроне было многолюдно, на втором пути стоял встречный поезд Москва — Владивосток. Пассажиры толкались у многочисленных лотков и тележек с помидорами, огурцами, малиной и земляникой, пирогами и булками. Она не стала выходить — не с чем, денег было в обрез, — а опустила окно и смотрела на снующих с покупками пассажиров. На площадке вагона встречного поезда стоял красивый парень и с аппетитом ел большое красное яблоко. Она засмотрелась на него, и он тоже поглядывал с интересом. Доев яблоко, он прицелился и кинул огрызок в Нину. Она даже не успела отшатнуться, мокрый, скользкий комок попал прямо в лицо. Парень равнодушно смотрел, как она вытирает с губ мокрые ошмётки. Нинин поезд дёрнулся, мимо медленно поплыли ларьки, киоски, тележки с мороженым, здание вокзала с огромными буквами: «КРАСНОЯРСК»...

Добраться до части, в которой служил Ромка, оказалось делом непростым. Во-первых, часть была секретной, и на Нинины расспросы люди отрицательно качали головами, подозрительно смотрели на неё. Потом кто-то посоветовал обратиться в военную комендатуру, что она и сделала. Дежурный, проверив её документы и подробно расспросив, к кому и зачем она едет, был явно недоволен.

— Не вовремя вы, девушка, приехали, — буркнул он, возвращая ей документы, — сидели бы лучше дома.

«Почему?» — хотела спросить Нина, но, глядя на неприветливое лицо дежурного, промолчала. Ему-то какое дело!

— Ладно, — сердито сказал дежурный, — ночуешь здесь, а утром я тебя отправлю с кем-нибудь.

Он вызвал солдата и велел ему проводить Нину в комнату для отдыха.

Рано утром, когда только-только забрезжил рассвет, Нину разбудил стук в дверь. Вошёл стройный подтянутый капитан, в камуфляже, на голове панама — такие Нина видела в кино про войну в Афганистане.

— Капитан Ломов! — представился он. — Это вы невеста? Поторапливайтесь, надо пораньше выехать, по холодку, а то днём обещают пекло. Здесь сентябрь жаркий бывает... А позвольте узнать, к кому едем, кто у нас такой счастливчик?

Нина промолчала, пряча заспанное лицо. Капитан ей не понравился, в его голосе она почувствовала насмешку.

Она смотрела по сторонам, любовалась открывшейся панорамой — ничего подобного ей пока не приходилось видеть. Даже красивейшие места Прибайкалья померкли перед этой мощной и суровой красотой. Капитан, видя, что она не расположена разговаривать, тоже замолчал, насвистывал что-то, потом, кажется, задремал. Солдатик-водитель изредка с интересом поглядывал на Нину, но дорога была извилистая, серпантином обвивавшая высокую гору, так что и он скоро перестал обращать на Нину внимание. Она тоже задремала.

Проснулась, когда машина, резко взвизгнув тормозами, остановилась. Они уже были на территории части. Казармы, ещё какие-то здания, дорожки посыпаны мелкой галькой, всюду чистота и порядок. Перед казармой, на площадке, несколько солдат, раздетых до пояса, занимались физзарядкой. Нина искала взглядом Рому, но все лица ей казались одинаковыми. Вдруг один солдат выскочил из строя и бросился к ней. Строй смешался. Солдаты загалдели. Стоящий спиной к Нине старшина грозно закричал:

— Смирно!

Потом, обернувшись, увидел обнимающуюся, забывшую обо всём парочку и, всё поняв, дал команду разойтись.

Потом она долго ждала, пока Ромке оформляли отпуск, пока искали старшину, чтобы тот выдал Роману новый комплект обмундирования, пока он переодевался в новый китель, висевший в каптёрке, с пришитым белым лоскутком с его фамилией, пока приехал командир и подписал увольнительную — прошло почти полдня. Нина устала, хотелось есть и спать. То и дело в комнату заходили солдаты, с любопытством разглядывали Нину, пытались заговорить с ней, но она была уже на грани слёз и на их заигрывания не отвечала. Наконец появился Роман.

Их поселили в солдатской гостинице — так называлась комната в одноэтажном, похожем на барак здании на окраине военного городка, куда их отвёз всё тот же капитан Ломов. Ромке дали три дня отпуска. Растерянный, смущённый, он никак не мог поверить, что это на самом деле она, Нина, приехала к нему, что они будут вместе целых три дня!

В комнате стоял стол, весь изрезанный бывшими постояльцами, оставившими память о своём здесь пребывании. Две койки, заправленные солдатскими одеялами, на плите закопчённый чайник, стаканы, какие-то чашки-плошки... Нина с грустью осмотрела это убогое пристанище, и хоть она не привыкла к роскоши, всё же ей было не по себе. Не таким она представляла себе место, где должно было совершиться самое, может быть, важное событие в её жизни. В их с Ромкой жизни...

Она собирала на стол, доставала гостинцы, попросила его принести воды. Он сбегал к коменданту «гостиницы», принёс воды, включил электрическую плитку. Был Ромка какой-то растерянный,

даже подавленный, и как будто даже боялся взглянуть на Нину. Нелегко, видно, ему тут приходится, думала Нина, вон какой худой, взгляд потухший, как будто и не рад, что она приехала.
— Ты хоть сапоги-то сними,— сказала она, глядя, как он громыхает каблуками по дощатому некрашеному полу,— и разденься, на вот, мою футболку надень…

Он снял сапоги, ремень, но футболку не получилось надеть— мала оказалась.

Закипел чайник, Нина достала гостинцы. Ромка набросился на конфеты, печенье, ложкой поддевал из банки варенье… Она с жалостью смотрела на него.
— Соскучился по сладкому?
— Не говори! Ребятам присылают из дома, а мне кто пришлёт! А купить негде, да и солдатская зарплата, сама понимаешь…

«Ничего,— подумала Нина,— вот отслужит, поженимся, квартиру получим, зарабатывать будем вдвоём, и всё у нас будет— и конфеты, и колбаса, и всё-всё…»

По коридору затопали чьи-то шаги. В дверь, коротко стукнув, вошёл капитан Ломов.
— Собирайся, на дежурство некому заступать. Михайлова с аппендицитом увезли в санчасть! Давай-давай, быстро, машина ждёт!
— Но его же отпустили…на три дня…— робко пыталась протестовать Нина.
— Служба, девушка. Да вы не переживайте, ему потом продлят отпуск.

Он вышел, коротко бросив Михаилу:
— Поторапливайся!

Роман молча взял лежавший на кровати ремень и, виновато взглянув на Нину, вышел.

Она, не раздеваясь, легла на кровать поверх одеяла и долго плакала. Что же ей делать? «Ждать,— сказала она себе,— вернётся же, в конце концов. Только когда? Надо было у этого капитана спросить…» Она с ненавистью вспомнила о Ломове: если бы не он… Но тут же пристыдила себя: служба есть служба, она же понимает. Но всё равно было очень обидно. И за Ромку было тоже обидно. Мечтая о встрече, она представляла его совсем другим. А сейчас— он не то чтобы разочаровал её, скорее, вызвал жалость. Ведь он же не такой, он всегда был сильным, надёжным, готовым в любой момент подставить плечо. А тут… что с ним случилось? Какой-то весь потерянный, жалкий… Перед глазами неожиданно встал капитан Ломов— подтянутый, стройный, в начищенных до блеска сапогах. От него веяло уверенностью и силой. Она рассердилась на себя: при чём здесь Ломов?— и опять стала думать о Ромке, об их будущей жизни. Всё будет хорошо, осталось служить-то всего ничего.

В дверь постучали. Она удивилась: кто это может быть? Включив свет, она распахнула дверь— на пороге стоял капитан Ломов, держа в руках тапочки. Она с удивлением смотрела на тапочки, на него: что ему нужно? Он, улыбаясь, шагнул в комнату.
— Вот, тапочки привёз. Забыл твой жених переобуться, так в тапочках и уехал.

Она невольно рассмеялась, он тоже.
— Скучаешь?— спросил он, без разрешения усевшись на один из шатких стульев.— Ну ничего, это ненадолго…— оглядев стол, он усмехнулся.— Хорошо бы чайку попить… с вареньем… да пора ехать… вояку вашего обувать…

Весь следующий день она провела в этой жалкой гостинице. Взяв у коменданта ведро, тряпку, она вымыла окно, полы, красиво застелила кровати— больше делать было нечего. Пыталась читать, но не читалось. Время тянулось медленно, было очень грустно и всё время хотелось плакать.

Вечером под окном заурчала машина, и в коридоре послышались громкие, решительные шаги. Она почему-то сразу поняла, кто это. Постучав, вошёл капитан, начищенный, наглаженный, сияющий, как новенький пятак.
— Есть предложение,— сказал он,— сходить куда-нибудь— например, в ресторан или в кино. Как вы на это смотрите?
— Никак не смотрю,— сердито ответила Нина.— Я сюда не по ресторанам ходить приехала!
— Я помню,— рассмеялся он,— вы приехали к жениху. Да вы не бойтесь, я вас соблазнять не собираюсь, просто жалко— такая красивая девушка одна сидит, скучает…
— Нечего меня жалеть!— отрезала Нина.— Никуда я с вами не пойду!
— Ну, нет так нет!— капитан достал из портфеля бутылку вина, закуски.— Тогда давайте здесь посидим, пообщаемся.

Под окном что-то загрохотало, потом смолкло; капитан отставил бутылку, повернул голову к двери. По коридору, стуча сапогами, кто-то торопливо шёл, почти бежал, потом в дверь громко постучали, и на пороге появился солдат.
— Товарищ капитан, приказано срочно явиться в часть.

Он наклонился к уху капитана и что-то возбуждённо зашептал. Капитан, с сожалением бросив взгляд на стол и выругавшись сквозь зубы, поспешно поднялся. У двери он оглянулся на Нину и, помешкав немного, сказал:
— Нина, вы никуда в ближайшее время не выходите. Сидите дома, пока всё успокоится. Это приказ!

Что успокоится, и какое он имеет право ей приказывать?— хотела возмутиться Нина, но капитана уже не было в комнате. Снова взревел мотор, потом всё стихло. Она легла спать, но сон никак не шёл, на душе было тревожно.

Сидеть взаперти надоело, но, помня наставление капитана, Нина всё же не решилась выйти на улицу. Она чувствовала, что там что-то происходит,

что — она не могла понять. Туда-сюда проносились машины, слышались крики и даже выстрелы. Хотя, может быть, это ей просто показалось. Ближе к вечеру крики стали громче, у гостиницы собрались какие-то люди, возбуждённо кричавшие на незнакомом языке, подъезжали машины — в общем, творилось что-то непонятное. Нине было очень страшно, она сидела, не шелохнувшись, боясь малейшим движением выдать себя. Может, никто не знает, что она здесь. Но шум послышался уже внутри помещения, и вот шаги уже у самой двери, и в комнату ввалилась толпа мужиков, у некоторых в руках было оружие. Нина не понимала, что они говорят, но по их лицам, по громким гортанным голосам, по взглядам, которые они бросали на неё, поняла, что ждать хорошего ей не приходится.

Один из парней, видимо старший среди них, оглядел стол, взял в руки бутылку вина, посмотрел на этикетку и, брезгливо сморщившись, поставил её обратно на стол.

— У нас таким вином даже вилки-ложки не моют, — с сильным акцентом презрительно сказал он. — Ну что, красавица, поедэшь с нами? — он хрипло засмеялся. — Зачэм такой дэвушка скучать одной?

Он что-то сказал своим, и те загоготали, защёлкали пальцами, кое-кто даже облизнулся. Нина, как загнанный зверёк, следила за ними, лихорадочно соображая, как спастись. Но она понимала, что шансов на спасение было мало, а вернее, их совсем не было.

Вдруг на улице послышались рёв мотора, шум, гам, крики… Предводитель, оставив Нину, кинулся к окну, грязно выругавшись по-русски, выскочил из комнаты, парни поспешили за ним. Некоторое время стоял невообразимый шум, потом всё стихло, и у дверей снова загрохотали чьи-то сапоги. Нина, сжавшись от страха, ждала, приготовившись к самому худшему. Дверь распахнулась — на пороге стоял капитан Ломов.

— Быстро за мной! — крикнул он.

Нина, не помня себя от радости, кинулась к нему, уткнулась ему в грудь и сквозь хлынувшие слёзы что-то залепетала. Он схватил её в охапку и почти на руках вынес на улицу, усадил в БТР, и, подняв облако пыли, они рванули вперёд…

1993 год

День подходил к концу. С утра было солнечно и тихо, всё-таки середина марта, но к вечеру подул холодный северный ветер, солнце заволокло тучами, полетели хлопья снега, и скоро всё исчезло в белой круговерти. На улице ни души. В их маленьком районном городке и так-то жителей раз-два и обчёлся, а уж в такую погоду редко кто выйдет из дома. Да и неспокойно стало на улице, того и гляди ограбят, изобьют, а то и убьют.

Где же Виктор, что с ним? Всякое может случиться, вон на прошлой неделе соседа так избили, что попал с сотрясением в больницу — ни за что, ни про что. Возвращался с работы, сзади налетели, свалили на землю, испинали, даже сумку с продуктами не забрали. И мужик-то спокойный, тихий — кому он помешал, за что его так?..

А Ломов — он резкий, высокомерный, сам может нарваться на неприятности, что уже неоднократно случалось. Ну где вот он? И хоть не в первый раз так пропадает, а всё равно тревожно.

Нина вздохнула, включила старенький чёрно-белый телевизор. «…Мыши-полёвки отличаются от других видов некоторыми характерными особенностями, — медленно растягивая слова, объяснял своей собеседнице ведущий «В мире животных», — это и форма норки, и глубина её, и место расположения…» — «Но ведь они ещё отличаются и по выбросу при копке норки», — нетерпеливо перебила его собеседница. «Да, да! — радостно подхватил ведущий, блаженно улыбаясь, сияя всеми своими великолепными вставными зубами. — Это-то и есть самое интересное! Дело в том, что почва, выбрасываемая из норы, у полёвок имеет форму цилиндрика, тогда как у других…» Не дослушав, Нина переключила на вторую программу. «В Москве проходят многочисленные митинги. Собравшиеся требуют…» Нина выключила телевизор — всё надоело. Всё. Сколько можно? Жили себе, жили, не тужили, теперь всё вверх тормашками летит, не знаешь, что ждёт тебя завтра. По телевизору новости одна страшней другой, в Москве всё никак не поделят власть, почти ежедневно кого-то убивают, порой прямо среди белого дня. У них в посёлке «братки» разъезжают на джипах, ведут себя нагло, чуть что — в дело идут бейсбольные биты, а то и оружие… Рэкет, угрозы… Хозяева жизни… Все запуганы, боятся выходить на улицу. Работы нет, в магазинах ни продуктов, ни тряпок, ни мыла — вообще ничего нет. Нина недавно зашла в универмаг — на полках только консервные банки с морской капустой, она купила несколько, что-то же надо есть. В отделе обуви ровными рядами стояли резиновые галоши — никакой другой обуви не было. Она походила по пустым отделам, надеясь купить хотя бы ситца на пелёнки. Скучающие продавщицы на её вопросы отвечали насмешливыми взглядами: ты откуда взялась такая наивная?

Ну где же всё-таки Виктор?! Она уже не рада, что он устроился водителем на мебельную фабрику, возит директора. В последнее время дома почти не бывает. Работа такая, злится он на упрёки Нины. Он вообще, как из армии уволился, стал злым, раздражительным. Конечно, она понимала его: спас людей, успел вывезти на самолёте семьи офицеров, а его же и обвинили в самоуправстве и чуть ли не в дезертирстве! А если бы не вывез, что бы с ними стало? Сколько там погибло русских, когда резня началась… Самих офицеров «повстанцы»

кого расстреляли, кого заставили работать на себя. Несколько ракетных установок оказались у них в руках, а что с ними делать — никто не знал. Каждая из сторон то посулами, то угрозами старалась переманить военных специалистов... Хорошо, что хоть до военного трибунала не дошло. В наступившей всеобщей неразберихе как-то всё сошло на нет, уволили из армии, и всё.

Вот уже пятый год они живут в захудалом районном посёлке, на родине Виктора. Сначала жили у его сестры, в однокомнатной хрущёвке вшестером: они с Виктором, сестра с мужем и двумя детьми. Потом сестра решила перебраться в деревню, там легче выживать, а они так и остались в её квартире.

Тогда, после всех событий, он не отпустил её, да и куда она могла деться: ни документов, ни денег — всё осталось в той злополучной «гостинице». Первое время она, вспоминая о Ромке, заливалась слезами, не зная, жив ли он. Вести оттуда были неутешительными: долго зревший межнациональный конфликт перерос в настоящую войну. Много наших военных, да и гражданских тоже, погибло. Может, и Ромки тоже нет в живых... Но в это она не могла поверить и ругала себя за плохие мысли. Она не знала, как быть с документами, каким образом ей возвратиться в Благовещенск, что делать дальше. И надо ли вообще туда возвращаться? Кому она там нужна? Все, наверное, уже забыли про неё. А тут рядом Виктор, заботливый, сильный... Но тревога за Ромку и вина перед ним ещё долго не давали ей покоя. Она часто плакала, даже сходила разок к гадалке — узнать, жив ли он. Та ничего конкретного не сказала. А потом она узнала, что Рома погиб. Все на точке тогда погибли. Сообщил ей об этом Ломов. Он сказал, что узнал обо всём ещё там, но не хотел расстраивать её. Всё равно ничего нельзя поправить.

И ничего не осталось от него на земле. Даже фотокарточки Ромкиной не было у Нины. Там, в Благовещенске, остались его письма, но Благовещенск был далеко, и неизвестно, вернётся ли она туда когда-нибудь...

Поначалу они жили нормально. Со временем Нина стала забывать о своей прошлой жизни, о Ромке. Виктор работал, она сидела дома, ждала его с работы, варила борщи, пекла пироги. Она очень хотела устроиться на работу, но без документов её никуда не брали. Почти каждую неделю она наведывалась в паспортный стол, но пока безрезультатно. Узнав, что она беременна, Виктор обрадовался, подарил ей золотое колечко. Мечтал, что будет сын, имя ему вместе придумывали. А потом она потеряла ребёнка и надолго впала в депрессию. Но время лечит, понемногу как-то всё наладилось. И сейчас Нина опять ждала ребёнка, очень хотела девочку. И Виктор стал спокойнее, уравновешенней, выпивал редко... Только вот работа его Нине не нравилась, дома совсем редко стал бывать, пропадал на работе, объясняя всё служебной необходимостью. Часто на выходные уезжал в областной центр — дела. Что за дела в выходные, непонятно.

Вот и сегодня неизвестно когда придёт... В дверь постучали. Виктор? Нет, это соседка. Виктор звонит, к телефону требует. У неё одной на площадке был телефон.

— Алло! Алло! — кричала она в трубку.

Слышался сильный треск, ничего нельзя было расслышать.

— Витя, ты где? Ты где?

— Жду начальника, у них совещание затянулось. Приеду поздно. А может, и утром... Ну всё, пока.

Нина, держа трубку в руке, растерянно смотрела на соседку.

— На совещании он, оказывается. Ну, слава Богу, а то я уже переволновалась вся...

— Нина, — соседка отняла трубку, положила её на место, — ты что, слепая? Ты что, не видишь ничего вокруг?

— О чём ты?

— Да весь дом, весь посёлок знает...

— Что знает? Ты о чём?

— Да твой Ломов с главной бухгалтершей, с Альбиной, спутался, возит её везде, их недавно в ресторане видели...

— Не придумывай, Лена, — сказала Нина, а у самой все задрожало внутри. — Это он по работе, он же шофёр, начальника возит, приходится с ним и в ресторане иногда ужинать...

— Ага, с ним! Как же... Я их сегодня видела. Я за ней в очереди в магазине стояла, слышала её разговор с какой-то женщиной, она говорила, что в дом отдыха на выходные едет. А потом выхожу, смотрю, они в автобус девятнадцатый вместе садятся, Виктор твой и она. Не веришь? А давай проверим, у нас же телефон с определителем...

Она набрала номер, который высветился на мониторе:

— Позовите Виктора! Как какого? Ломова! Да что вы говорите! Я знаю, что он рядом с вами. Позовите немедленно, с его женой плохо, срочно надо в больницу везти!

Нина испуганно смотрела на соседку: что она вытворяет?! Но та протянула трубку Нине, и Нина услышала голос мужа.

— Алло, алло, — кричал он. — Что там с Ниной, Лена?

— Со мной всё в порядке, — сказала Нина. — А вот с тобой что? Ты, значит, начальника ждёшь?

— Жду, ну и что, — грубо ответил Виктор. — Чего ты названиваешь? Я же тебе сказал...

— Если ты сейчас же не приедешь, я... — она задохнулась от возмущения и обиды. — Я что-нибудь сделаю с собой! Или с ребёнком! Я таблеток наглотаюсь! — у неё начиналась истерика.

— Не пори горячку,—сказал он раздражённо.—На чём я приеду? Автобус только утром будет.

Он уже не скрывал, где находится.

— Пешком иди!—закричала она и бросила трубку.

Соседка ещё несколько раз звала её к телефону, но она не подходила и в конце концов не стала открывать дверь.

1990 год

…Она знала эту Альбину. Виктор тогда работал экспедитором в орсе, где она была главным бухгалтером. Они даже дружили какое-то время семьями. Вернее, Виктор дружил, а она что ж—куда иголка, туда и нитка. Ей многое не нравилось в Альбине: её апломб, золотые зубы, золотые кольца на каждом пальце… Нине становилось смешно, когда, принимая гостей, Альбина хвасталась коллекцией пустых бутылок с иностранными этикетками, рядком выстроившихся на импортной стенке, демонстрировала холодильник, до отказа набитый деликатесами. Стол всегда был обильно уставлен тарелками со снедью, а хозяйка ставила прямо поверх них ещё и ещё… На полу лежали два ковра—один поверх другого, на стенах тоже ковры. На потолок бы ещё пристроили, усмехалась про себя Нина.

Альбина и её муж любили погулять. Что ни день, то у них гости, что ни выходной—опять что-нибудь отмечают… Виктор тоже стал частенько бывать у них, приходил домой всегда навеселе. Нине надоедали эти бесконечные гулянки по поводу и без повода, и она старалась избегать их по возможности. Но с Виктором не поспоришь.

— Завтра поедем на остров,—объявил он однажды утром, бреясь в ванной.

Он сдул волосинки с электробритвы, смотал шнур и положил бритву в шкафчик, на отведённую для неё полочку. Нина улыбнулась про себя: сколько лет прошло, а армейские привычки остались—каждый день бреется, каждая вещь должна лежать на своём месте…

— Ну куда я поеду в таком положении?—она погладила выпирающий живот.—Может, лучше в кино сходим?

— Нет, мы уже договорились. Так что собирайся, часам к десяти будь готова.

— А кто ещё едет?

— Альбина с Николаем, Серёга со Светкой и подруга Альбины, ты её знаешь, Людмила.

— Не поеду я! Опять напьётесь там! Что ты с ними связался? Мне эта твоя Альбина совсем не нравится, скользкая какая-то, неискренняя…

— Разговорчики в строю!—прикрикнул Виктор.

— Не поеду, и всё!

Нина вспомнила, как Альбина нахваливала её новое платье, причёску, а сама смотрела с такой нескрываемой насмешкой, что Нина казалась самой себе какой-то ничтожной букашкой.

— Всё, я сказал! Не обсуждается!—Ломов вышел, хлопнув дверью.

Целый день они провели на природе. Вино и водка лились рекой. Магнитофон был включён на полную мощность. Даже лесных звонкоголосых птиц не было слышно, попрятались, наверно, от испуга. Нина устала, болела поясница, от шума, гама и запаха шашлыков её тошнило. День был жаркий, но к вечеру погода стала явно портиться. Подул сильный ветер, стали собираться тучи, того и гляди пойдёт дождь. Нина несколько раз просила мужа заканчивать всё это, но бесполезно—веселье продолжалось.

Начался дождь, костёр затух, ветер срывал расстеленные на траве скатерти с закусками. Компания наконец засобиралась домой. Погрузились в лодку, но встречный ветер не давал сдвинуться с места. Пришлось несколько человек высадить на берег. Решено было сначала одних отвезти в город, потом других. Никто не хотел оставаться, началась перебранка.

Проплывающая мимо лодка повернула в их сторону. Хозяин лодки предложил свои услуги, но опять стали спорить: кому ехать, кому оставаться. Нина села в лодку, ждала, когда муж присоединится к ней, но он сказал, что друзей не бросит…

Встречный ветер гнал высокую волну, натужно ревел мотор, лодка подскакивала на волнах; казалось, что вот-вот опрокинется. Крепко ухватившись за борта, Нина с ужасом представляла, как она тонет—плавать она не умела. Неожиданно лодку подбросило так высоко, что Нинино тело, оторвавшись от сиденья, тоже поднялось вверх, а потом с силой опустилось, больно ударившись о скамейку. Крепления, державшие сиденье, сломались, и Нина полетела вместе с ним на дно лодки, залитое водой…

Наконец они причалили. Нина, поблагодарив хозяина лодки, поднялась на берег. Всё тело болело и ныло. Она решила не идти домой и подождать мужа здесь, на берегу. Она села на скамейку, сквозь пелену дождя пытаясь рассмотреть поворот, из-за которого должна появиться лодка. Но её не было. Прошло полчаса, час—лодки не было. Дождь и ветер не прекращались. Она промокла до нитки и продрогла. Болел живот, порой боль была просто нестерпимой. Где же они? А вдруг что случилось, вдруг они перевернулись? Она пошла вдоль набережной, сидеть и ждать не было сил, потом вернулась к причалу. Появилась лодка, Нина обрадовалась: наконец-то,—но это были какие-то незнакомые люди. Она подошла, дрожащим от страха голосом спросила, не видели ли они лодку, там должны быть трое мужчин и три женщины. Нет, никого не видели, отвечали ей. Ну, всё, тоскливо подумала она, утонули… Она ещё минут тридцать с надеждой ждала появления лодки, потом поплелась домой. Всю её сотрясала

крупная дрожь, низ живота болел нестерпимо, но она тупо сидела, даже не переодевшись. Перед глазами вставали картины ужасной смерти мужа… Загудел лифт, в двери повернулся ключ. Она вскочила — Виктор! Живой!

— Где ты был? — закричала она, вцепившись в него. — Почему тебя так долго не было? Я думала, ты утонул!

И зарыдала. Он отвел её руки:

— Перестань! Утонул! Как видишь, живой и здоровый!

— Но почему так долго? Я чуть с ума не сошла!

— Да Альбина часы где-то потеряла, пришлось вернуться, весь берег облазили, так и не нашли. Завтра надо будет смотаться, часы дорогие.

Нина не сразу поняла, что он говорит. Какие часы? Куда завтра надо смотаться? Потом до неё дошло. Значит, когда она умирала от страха за его жизнь, он искал часы этой самой Альбины? А что с ней, с его женой, он думал?

Ночью начались схватки, вызвали скорую, и к утру она родила мёртвого мальчика.

1993 год

Виктор тогда уволился из орса, и дружба с семейством Альбины прекратилась как-то сама собой. Через три года Нина, оправившись после гибели ребёнка, решилась родить снова. Виктор устроился на хорошо оплачиваемую работу, но Нина не знала, что Альбина тоже теперь работала на этой фабрике. И вот, оказывается, он завёл с ней шашни. А она, как всегда, ничего не замечала…

А может, всё это неправда? Соседка любит языком потрепать. Пересилив себя, она постучалась к соседке. Надо ещё позвонить по этому номеру, может, правда начальника ждёт, а отвечала… а отвечала, например, секретарша… Нина долго слушала длинные гудки, но никто так и не ответил.

За окном завывала вьюга — наверное, последняя в этом году. Ветки тополя стучали в окно, где-то слышалась сирена скорой помощи или милицейской машины, громко хлопала дверь в подъезде. Нина прислушивалась к каждому шороху: не муж ли? Но его не было. Зачем, зачем я сказала, чтобы он шёл домой, уже терзалась она, вдруг в самом деле пойдёт и… замёрзнет… Воображение тут же услужливо нарисовало картину: он сбился с дороги и заблудился, силы оставили его, и он замерзает… один… среди поля… А весной снег растает, и его найдут… Она представила, как над полем кружится стая ворон, и только по этим воронам его и обнаружат… Она кидалась от окна к окну — не идёт ли, но на улице не было ни души…

Он явился на следующий день, уже ближе к обеду. Она ничего не сказала — у неё не было на это сил.

2005 год

В пятницу Нина пришла с работы пораньше, отпустили по случаю праздника — Дня города. Хоть окошко вымоет, а может, и нет, может, просто отдохнёт, почитает, послушает музыку… Если бы дочка была дома, они бы сходили куда-нибудь, погуляли. Но Верочка была далеко: группу ребят из интерната отправили в Москву, на целых десять дней. Нина радовалась за дочь, но сильно скучала, им ещё ни разу не приходилось разлучаться так надолго.

Каждый раз, подходя к дому, Нина, запрокинув голову, смотрела на своё окно на четвёртом этаже, и сердце её наполнялось радостью: наконец-то у неё есть свой угол, своя комната. И неважно, что вместе с ней в коммуналке живут ещё соседи, главное — это её жильё, законное, долгожданное. Возвратившись в город, она несколько лет мыкалась по чужим углам, потом вместе с дочкой жила в интернате, куда её взяли на работу, и не смела даже мечтать о своей квартире. Когда-то она стояла в очереди на получение жилья, как сирота, но ведь она отсутствовала в городе много лет, её, конечно же, давно исключили из всех очередей, да и какие сейчас льготы, время другое наступило… Но оказалось, что очередь до сих пор существовала, и, к Нининому удивлению, её из очереди не исключили. Наверное, просто забыли о ней, не знали, что она в городе не живёт… К тому же Наталья Прокофьевна, директор интерната, человек в городе уважаемый и авторитетный, помогла — в результате Нине выделили комнату в коммуналке. Ещё Наталья Прокофьевна оббила все пороги, но выправила Нине паспорт, благо, что в её личном деле сохранились метрика и другие нужные бумаги.

Нина была счастлива. После всех мытарств, после всего того, что ей пришлось пережить, она наконец-то была дома. Дома! И хоть «дом» был далеко не роскошным, она любила эту комнатку, украшала её как могла и всегда спешила вернуться в неё. Соседи попались нормальные. Точнее, соседка, тётя Люба, одинокая пенсионерка, живущая в самой большой комнате. А кто жил в третьей, Нина не знала, она пока ни разу не видела этих соседей. Дверь всегда была закрыта, за стенкой тишина. Тётя Люба тоже ни разу не видела соседей, они заселились, когда её дома не было — гостила у сестры, — и поэтому ничего не могла о них сказать.

Недавно соседка попросила Нину присмотреть за квартирой и отдала ей ключ от своей комнаты.

— Поеду к сестре, в деревню, поживу до осени, а ты цветочки мои поливай.

— Хорошо, тётя Люба, не беспокойтесь, присмотрю.

Квартира опустела, но Нине это даже нравилось, она любила иногда остаться одна, расслабиться,

поспать вволю, почитать… Но через несколько дней стало ясно, что это вряд ли ей удастся: на кухне в раковине стояли немытые чашки, в углу прихожей лежали какие-то вещи, на полочке в ванной — туалетные принадлежности. Соседи вернулись, поняла Нина. Но увидеть их пока не получалось.

Открыв дверь в квартиру, Нина услышала громкие голоса, музыку, в коридоре кучей лежали сумки, коробки, на вешалке висела незнакомая одежда… По звону посуды, по возгласам было понятно, что там что-то празднуют… новоселье, наверное.

Она прошла в свою комнату; пусть устраиваются, успеют познакомиться. Хотелось принять душ, но уж слишком шумно было у соседей, ладно, обойдётся без душа. А вот без чаю, наверное, нет. Она сходила на кухню за чайником, стараясь ступать как можно тише, — ничего, попьёт в комнате. Хотя, наверное, зря так осторожничала — у соседей стоял такой шум, что уши закладывало. «Ком-бат, батяня, батяня, ком-бат! За нами Россия, Москва и Арбат!» — гремел магнитофон. Заглушая магнитофон и перебивая друг друга, несколько голосов спорили о чём-то, то и дело слышались солёные словечки, взрывы хохота. «Ты чё, блин, Слон, чё гонишь? — доносилось до Нины. — Пошёл ты!.. Заткнись, Чак! Рэмбо, кончай травить, всё не так было! Акела, не темни!..» Боже мой, думала Нина, вот повезло: урки какие-то, видно, мат-перемат, клички… Она закрыла дверь на защёлку — на всякий случай, и сидела в темноте, чтобы не привлекать внимания. Она слишком хорошо знала, что от таких можно ожидать всё, что угодно.

При мысли, что ей придётся жить бок о бок с бандитами, её охватил озноб. Страх за дочку, который она всегда прятала в глубине души, стиснул сердце, словно клещами. *Они* везде, никуда от них не деться, а она-то думала, что всё в прошлом. Безжалостные, жестокие, наглые твари, не останавливающиеся ни перед чем…

1995 год

— …Нин, собери сумку, я сегодня вечером уезжаю, — Виктор искал что-то в серванте. — Ты мой паспорт не видела?
— Уезжаешь? — удивилась Нина, укачивая полуторагодовалую Верочку, никак не желающую засыпать. — Ты ничего не говорил, что собираешься куда-то.
— Не говорил, так вот говорю. В Кизляр еду.
— Куда-а-а?
— В Кизляр, город такой на Кавказе, что тут непонятного!
— Там же война везде, — испугалась Нина. — Зачем ты туда собрался?
— Договорился с мужиками, будем свой бизнес делать.
— Какой бизнес, Витя? Опять что-то затеваешь, лучше бы на работу устроился!

Виктор не работал уже целый год, перебивался случайными заработками, они еле сводили концы с концами. Он бы, может, и устроился, да куда? Фабрика, где он работал водителем, закрылась. Все мало-мальски значимые предприятия в посёлке тоже развалились, а если и работают, то денег не платят годами. Мужики спиваются, женщины стервенеют от такой жизни — беспросветное, убогое существование…
— Ты только никому раньше времени не болтай, — Виктор строго посмотрел на жену, — мы едем на коньячный завод, берём под реализацию коньяк и с этого будем иметь большой навар, понимаешь?
— Ой, что-то не нравится мне это, — вздохнула Нина.
— Ну мало ли что тебе не нравится. Понравится, когда денежки в кармане зашелестят… Ну ладно, всё. Пошёл я.

Приехал он через месяц. Денег не привёз.
— Скоро, скоро будут деньги, много денег, — успокаивал он Нину. — Тут с одной фирмой договорились, два вагона коньяка они у нас забрали под реализацию, скоро денежки потекут ручьём.

Время шло, но ни денег, ни тех, кто их должен быть отдать, не было. Виктор нервничал, уходил куда-то, пропадал целыми сутками, возвращался ещё более злой. Оказывается, фирма давно уже ликвидировалась, персонал исчез. Стали часто наведываться какие-то тёмные личности, нерусского вида, разговаривали на повышенных тонах, Виктор оправдывался, обещал, просил подождать…
— Кинули, похоже, меня, — вырвалось однажды у него.

Нина ничего не понимала в этих делах. Он объяснил, что и вагоны с коньяком, и люди, с которыми он заключил договор, бесследно исчезли, а он должен отдать деньги хозяевам этого коньяка. Потом он неожиданно куда-то пропал. Нина осталась с малышкой одна, в чужой практически квартире, без денег, даже хлеба не на что было купить. Продала подаренное когда-то мужем колечко, кое-что из тряпья, на эти копейки и жила. Где Виктор, что с ним, она не знала. Прошёл год, а от него по-прежнему не было ни слуху ни духу. Она не знала, жив ли он вообще. Надо было как-то жить, и она устроилась сиделкой к больной старушке, благо, что Верочку можно было брать с собой. Кредиторы не оставляли её в покое, регулярно навещали, грозили: не отдаст долг — пусть пеняет на себя. Они практически поселились в квартире, приходили как на работу, иномарка с двумя мордоворотами непрерывно дежурила у подъезда. Интересовалась Виктором и милиция.
— Я ничего не знаю, — плакала Нина, — оставьте меня в покое.

Возвращаясь вечером домой, она увидела, что иномарки у подъезда нет. Может, убрались совсем? Вот хорошо бы было! Она втащила коляску по лестнице на четвёртый этаж, отдышавшись, открыла дверь и… не сразу поняла, где она. В квартире было пусто. Вся мебель исчезла, включая детскую кроватку, остались одни старые шторы на окне. Вывезли буквально всё, не забыли даже посуду и постельное бельё.

Через несколько дней они появились снова.

— Где муж? Нет? Ну смотри! Это первый взнос,— главный обвёл вокруг рукой,— остаток за вами.

— Что вы ко мне пристаёте? У меня же ничего нет,— заплакала Нина.— Он должен, с него и спрашивайте!

— Спросим, не сомневайся!

Ещё через несколько дней бандиты заявились снова.

— Последнее предупреждение,— загнусавил главный.— Не объявится — будем действовать иначе,— он подошёл к детской коляске, посмотрел на спящую Верочку, повернулся, ухмыляясь, к Нине.— Девочка у тебя? Это хорошо. Это очень хорошо. Надеюсь, папа любит дочурку, а? Ну вот, захочет увидеть её живой — сам придёт.

Нина с ужасом смотрела на него: что он задумал?

— В общем, так. Даю ещё неделю. Ищи мужа где хочешь. Не найдёшь — забираю ребёнка и буду тебе его возвращать по частям: сначала один пальчик, потом второй, потом… ушко, может быть, потом ещё пальчик… в конверте… — глумился негодяй.

Нина потеряла сознание, а когда пришла в себя, в комнате никого не было. Машины под окном тоже не было. Она лихорадочно запихала в сумку дочкины вещички, взяла на руки спящую Верочку и вышла в ночь, даже не закрыв за собой дверь…

1996 год

…Около года добиралась она в родной город. Шла пешком, с Верочкой на руках, переправлялась на паромах через реки, ловила попутки, иногда удавалось проехать на автобусе. Зиму прожила у одинокой старушки в вымирающей деревне, а когда собралась снова в путь, старушка долго плакала и горевала… Нанималась на подённую работу, чтобы заработать на еду и билет… Приходилось ночевать в сторожках у путевых обходчиков, а то и в чистом поле, в стогу сена. Если везло, то садилась на электричку или в товарняк, однажды сердобольная проводница пассажирского поезда пустила в полупустой купейный вагон и даже накормила, и так — от города к городу, от села к селу — проехала, прошла полстраны. Она не думала, что её где-то ждут, но больше идти было некуда, а там был какой-никакой, а дом, где она прожила восемнадцать лет… И самое главное — там её никто не будет искать…

2005 год

…В дверь громко постучали. Нина, очнувшись от воспоминаний, испуганно открыла дверь.

— Сестрёнка,— в дверях стоял высокий парень в камуфляже, в распахнутой на груди куртке виднелась тельняшка,— вы не поделитесь посудой? Нам бы парочку стаканчиков, и, если можно, мы табуреточки у вас прихватим, а?

— Ух ты,— из-за плеча парня выглянул ещё один, с золотой фиксой, бритый, толстошеий,— какие у нас тут женщины! Мадам, разрешите представиться: Макс. А это мой друг, Рэмбо!

— Перестань! — высокий оттолкнул золотозубого, улыбнулся Нине.— Не обращайте внимания. Перебрал парень. Так я возьму пару табуреток? Вернём в целости и сохранности…

— А может, всё-таки составите нам компанию? — не унимался бритый, но его приятель дал ему подзатыльник и вытолкнул за дверь, прикрикнув: — Уймись, я сказал!

Нина закрыла замок на два оборота. Её всю трясло. Она прислушивалась к звукам, доносящимся через стенку, и со страхом ждала, что сейчас начнут ломиться в дверь.

За стеной вдруг стихло. «Давайте нашу, любимую»,— послышался чей-то простуженный голос. Зазвучала гитара. «На знакомой скамье я с тобой не встречаю рассвета, только сердцем своим я тебя постоянно зову, вот уж тополь расцвёл, белым пухом осыпался с веток, запорошил дорогу, запорошил траву…» — задушевно пел кто-то. Надо же, удивилась Нина, бандиты, а какие песни поют. Впрочем, она слышала, что преступники часто бывают сентиментальными. «Значит, вышло не так,— подхватили хором несколько голосов,— как хотелось, мечталось когда-то, ты меня не ждала, переписка напрасно велась. Я тебя не виню, нелегко ждать три года солдата, но друзьям напишу я — ты меня дождалась…» Нина вздохнула. Как будто про неё песня… Она редко вспоминала Ромку, свою первую любовь, и давно пережила и его смерть, и своё, как она считала, предательство. И похоронила в сердце воспоминания о нём. Это всё было в другой жизни. Но от песни стало вдруг грустно. Захотелось плакать.

В коридоре зашумели, кто-то опять постучался к ней, но чей-то голос произнёс: «Отбой, десантура! Спит уже, наверное».— «Понял, командир! А жаль, девочка ничего!»

Наконец хлопнула дверь, и всё стихло. Слава Богу, может, удастся заснуть. Но заснуть никак не получалось. Повезло с соседями, ничего не скажешь. За стенкой кто-то ещё долго ходил, курил — дым проникал через дверь, вызывал кашель. Слышался резкий стук, как будто кто-то ритмично стучал по полу металлическим предметом. «Десантура», «командир»… Как-то не вяжется

это с бандитами. Сквозь шум и гам она несколько раз слышала слова: «Чечня», «Грозный», «Минутка»… А может, это и не бандиты совсем? Что это она сразу: бандиты, бандиты… Каждого куста боится, людей боится… Что-то с грохотом упало на пол, Нину снова охватил страх: вдруг там драка? Потом всё затихло. Уснуть ей удалось только под утро. Но ненадолго. Чуть свет её разбудила громкая музыка за стеной. «Ком-бат, батяня, батяня, ком-бат! Ты сердце не прятал за спины ребят!»—во всю мощь орал магнитофон. Да что же это такое—ни днём, ни ночью покоя нет. Нина накинула халат и решительно постучала в дверь соседей.

— Открыто!—услышала она и толкнула дверь.

И застыла на пороге, потеряв дар речи.

На железной панцирной кровати сидел Ромка. Худой, постаревший, с лицом, изборождённым глубокими морщинами. На голове вместо волос соломенного цвета—короткий седой ёжик… Но она сразу узнала его. Увидев Нину, он сделал попытку встать и, не удержавшись на одной ноге, рухнул обратно на жалобно заскрипевшую кровать. Вместо правой ноги из короткой штанины выглядывала культя. К стенке были прислонены костыли, а рядом, на полу, валялся протез. Блестели хромированные детали.

Магнитофон смолк, наступила оглушительная тишина, и только шуршание перематывающейся кассеты нарушало её…

Волошинский сентябрь: *«золото улова»*

Ирина Четвергова

● ● ●

Ветер, кричащий в лицо запахом влажной земли
И зноем вечерним,
Я дам тебе слово, и не одно, если слова мои
Успокоят своим теченьем
Меня же, и рядом стоящего, и дальнего,
И горизонт отзовётся
Ветром, дождём и солнцем,
Ветром, дождём и солнцем.

Узел на память—развязан, лоскут—улетел, был таков,
Просто есть память, которой не надобно узелков.
Есть память, хранящаяся в камнях,
В обожжённой глине, в корне травы.
Для такой не надо грусти «от головы».
И только понять: мы люди всея Земли,
И лишних нет…
Эта память жива в человечьей крови.
Вот такие, ветер, слова мои
Каждому
На Земле
Говори.

Каринэ Арутюнова

Связь

— Знаешь, в чём цель несчастья? Цель несчастья приводит человека к тому, чтобы Святой, Благословен Он, посмотрел на него благожелательно, чтобы он стал для него желанным. Все беды только приближают нас к нему, делают нас приятными. «Зло» приходит к нам, чтобы мы пробудились. Всевышний преисполняется жалости и сострадания к человеку, и тот удостаивается «освещения» — света духовной радости. Таким образом, бывшие прегрешения превращаются в заслуги.

Иешуа вздыхает и ставит на место статуэтку эфиопского божка, — видишь, он одинок, сегодня я найду ему пару.

Сегодня он займётся богоугодным делом — в развалах яффской барахолки отыщет подругу для длинноногого и длиннорукого африканского юноши. Божок взирает невозмутимо — и покорно проваливается в глубины холщовой торбы.

Уже из окна тринадцатого этажа можно видеть согбенную спину Иешуа, его коричневую шею и крепкие кривоватые ноги в удобных кожаных сандалиях.

Иешуа — человек-легенда. Иногда мне кажется, что он любит свою землю на ощупь — осязая каждую впадину и каждый бугорок, наслаждается ею, как женщиной. Кусочки этой земли, её разрозненные фрагменты он тащит отовсюду — со свалок, барахолок; его тёмные пальцы любовно склеивают разбитые края продолговатых фаянсовых блюд, нежно-голубых ваз, округлых кувшинов с удивлёнными удлинёнными горлышками. Будто опытный хирург, бережно пальпирует внутренности изувеченных временем предметов. Прикладывает к уху возрождённую морскую раковину и улыбается блаженной улыбкой.

Мне кажется, он говорит с ними на каком-то особом языке. В разных углах квартиры вспыхивают светильники, медные лампы освещают несметные сокровища, восставшие из руин.

— Ты это видишь, Боже? — стоящая у окна Мара воздевает полные белые руки и уже через минуту энергично стряхивает пыль с многочисленных статуэток, картин, сундуков.

У Мары крохотные изящные ступни и властные ладошки. По плечам струятся некогда чёрные волосы. К моменту нашего знакомства волосы побелели, и из жаркой брюнетки Мара стала вызывающе яркой блондинкой.

— Мечта сухумского еврея, — усмехается она, водружая на голову изящную шляпку.

Сегодня ей нужно успеть в закрытое учреждение, то есть психушку, — навестить единственную дочь своей давней приятельницы Полины.

Полина, полнокровная высокая женщина с правильными — пожалуй, чересчур правильными — чертами лица, сдав девочку в дурдом, решительно помолодела. У неё началась стремительная и оттого ещё более сладкая и любвеобильная вторая (если не третья) молодость. Тут же нашлась вереница солидных состоятельных мужчин, готовых поддержать морально и всячески одинокую женщину в интересном возрасте.

Запертая в психушке дочь испытывает к матери вполне объяснимую ненависть — особенно после того, как в результате употребления сильнодействующих препаратов лишилась передних зубов.

Эстер — так зовут девушку — большеглазое, зябкое, похожее на мотылька существо, на вид абсолютно безобидное, но лишь до тех пор, пока не упоминается имя матери.

— Что ты знаешь? — всплёскивает ладошками Мара. — Бедное дитя — она играла на скрипке, писала стихи. А теперь ещё и без зубов. Ждёт, когда мать опомнится и оплатит услуги дантиста.

Мать не торопится. Завтра, нет, уже сегодня она летит на Кипр с бывшим банковским служащим, нынче моложавым и полным надежд пенсионером — по имени Моше или Давид.

Жизнь клонится к закату, а столько хочется успеть.

— Вот здесь у меня — свежий творожок, а в этой баночке — душистый мёд из кибуца. Шоколад, вафли, паштет, апельсиновый джем, — Мара заботливо прикрывает корзинку и продолжает свой рассказ. — Полина привезла девочку в пятилетнем возрасте, и крошка — златокудрая красавица — подавала блестящие надежды. Всё началось со школы. Времена были дикие — девочка оказалась единственным русским ребёнком в классе. Ну, ты понимаешь, местные дети не могут похвастать врождённой деликатностью. Прошло десять лет, и пять из них Эстер живёт в этом доме — от рецидива к рецидиву. Не бойся, заходи — она только

порадуется человеку с воли; главное — не оставлять её наедине с матерью.

Мы входим в светлую комнату с подростковым диваном и книжными полками. У окна спиной к нам стоит девочка.

Девочка как девочка, — скорее, девушка, но худая, как ребёнок, с огромными тревожными глазами и бледной матовой кожей. Тревога сменяется надменным, даже жёстким выражением. Мара о чём-то расспрашивает её, касается птичьего плеча; девочка вскидывает голову — гордая, не хочет жалости.

— Послушай, Мара, она же не идиотка. Зачем держать её здесь? Я видела, какие книги стоят на полке, и эти глаза. Она нормальна.

— Конечно, нормальна, — Мара поглядывает на часы: сегодня шук закрывают рано, а холодильник пуст. — Конечно, нормальна — но видела бы ты её в присутствии Полины. Бедняге не оставалось ничего иного. Что ты знаешь? Приходилось прятать ножи, вилки…

Мы пересекаем ухоженный парк, в котором стройные ряды алых и белых роз, а нежные завязи апельсиновых деревьев распространяют терпкий аромат.

Запрещаю себе оглядываться, но точно знаю, уверена: затворница, не отрываясь, смотрит нам вслед. Осталась ли тревога в её глазах? Или сменилась отчаяньем? Или безутешной печалью покинутого всеми ребёнка?

Шаббат шалом — молодцеватый сторож, темнокожий таймани, — запирает за нами ворота.

Шук заливается сотнями голосов, под ногами скользят банановые шкурки, — именно здесь продаётся самый вкусный ломкий шоколад, солёные фисташки и цукаты из апельсиновых корочек.

Немолодой мужчина в майке и спортивных штанах с лампасами выкатывает зелёный мусорный бак. На ногах его — отличительная особенность русского человека — сквозь прорехи в растоптанных босоножках проглядывают чёрные носки из вискозы. По мере приближения рот мужчины растягивается в радушной улыбке, обнажающей ладно пригнанные друг к другу металлические зубы.

Для местных жителей, понятное дело, русские — это что-то вроде цыган. Только на наших женщинах можно обнаружить скрипучие комбинации из искусственного шёлка, двадцатисантиметровые каблуки, обилие дешёвой бижутерии. И всё это — в условиях африканской жары. Только наши люди способны «скупаться на рынке» в двубортных пиджаках и умилительно-детских панамках. Но только одно «но», безусловно, смягчает некоторое, мягко говоря, недоумение аборигенов.

Женщины. Девушки. Их разнообразие. Разность. Их белая уязвимая кожа. Их восхитительная непредсказуемость. Доступность, чёрт возьми! Самоотверженность и кротость.

Ходят легенды об особенностях русских женщин.

«А вот у меня была русия…» — вздыхают добропорядочные отцы семейств, рачительные хозяева и заботливые мужья.

«Русия» — это лазейка в иное, иррациональное. Это фейерверк, праздник, неведомое доселе чувство свободы.

Истинные русские аристократки плывут по шуку. Полуденное солнце золотит их нежные спины. Огибает склоны и долины умопомрачительных фигур.

— Мара, золотко моё! Кого я вижу! — мужчина в майке стискивает что есть силы слабо протестующую Мару и пытается заодно обхватить меня.

Натянуто улыбаясь, Мара церемонно раскланивается и хватает меня за руку — только этого не хватало: один раз сделаешь доброе дело — и всё, проходу не дадут.

Мы углубляемся в людской поток, на ходу раскланиваясь, отвечая на расспросы.

Пройти, не встретив знакомых, в этом городе довольно сложно.

Вообразите, однажды в автобусе, следующем маршрутом Бней-Брак — Иерусалим, я встретила соседку по лестничной клетке из прежней жизни.

Никуда ты не уезжала, будто говорило её лицо — довольно вздорной и недалёкой бабёнки, ежедневно вытряхивающей половики над моим окном. Бывшая соседка смело жонглировала расхожими ивритскими выражениями, внезапно срываясь на суржик, а на голове её восседала шляпка с полями. Выражение лица этой женщины сделалось строгим и богобоязненным. Теперь она говорила: у нас, в Бней-Браке.

Стоит Маре выйти из дому, как тут же в толпе образуются заторы и пробоины: кто-то обнимает её, кто-то жалуется, плачет, делится житейскими неурядицами.

Если с вами что-то стряслось, не надо звонить в магендавидадом[1]. Звоните Маре.

Если Иешуа спасает глиняные вазы, то Мара склеивает человеческие судьбы. Поднимает падших, утешает, придает смысл будням и накрывает столы в праздник.

Рожает с каждой роженицей и провожает каждого усопшего. Она помнит, когда и у кого прорезался первый зуб, кто вылечился и от чего… «Ай-ай-ай…Что вы говорите? Такой молодой, я же буквально вчера…»

Нет в нашем городе человека, не знающего, кто такая Мара.

Если вы думаете, что мужчина, выкатывающий мусорный бак, — обычный мусорщик по имени Фима Зайчик, малоинтересный, пожилой и беззубый, то вы глубоко заблуждаетесь.

1. Скорая помощь.

Фима Зайчик с некоторых пор, а точнее, с марта месяца этого года,—не кто иной, как сам Ахашверош, царь персидский. По рынку ходят Мордехай, Эстер, Аман, царица Вашти[2]…

Я—не пекарь и не псарь,
А простой и скромный царь,
До границы небосвода
Я—властитель всех народов,
В общем, скромность моя
Замечательная!

Еще издалека завидев Мару, Фима Зайчик—Ахашверош—заключает её в свои объятия, и то же самое происходит при встрече с Мордехаем и Аманом.

Если бы вы только знали, сколько пафоса и неподдельной страсти звучало в монологах, произносимых со сцены матнаса[3]. А сколько смеха…

Дело в том, что роль царицы Вашти исполнял тоже мужчина. Репатриант из Аргентины, одетый в женское платье, напудренный, завитый и надушенный сладкими духами, упорно не произносил букву «ша» и вдобавок нетвёрдо выговаривал «р», и всякий раз, когда со сцены звучало «Ахасфелос», зрители, да и сами актёры, едва удерживались от рыданий.

Силами местного драмкружка, состоящего из безработных и пенсионеров, был поставлен гениальнейший из спектаклей Пуримшпиль. А дирижировала оркестром, конечно же, неутомимая Мара. Эка невидаль—поставить спектакль в настоящем театре, на настоящей сцене, с настоящими актёрами! А вы возьмите простых, совсем неинтересных с виду людей, далёких от театральных подмостков. И тогда вы поймёте, что такое театр!

Сколько волнения, неподдельной страсти, жара, всепоглощающего вдохновения!

Всякий раз, останавливаясь вслед за Марой в любой точке города, в любое время, пусть даже в ту самую минуту, когда из-под носа со страшным рёвом срывается последний предшабатний автобус, оставляя нас стоящими у трассы с бесчисленными пакетами… всякий раз я поражаюсь терпению и любви, струящейся из её глаз.

Мара любит людей. Причём всех до единого, не делая скидок на морщины, возраст, дурной запах изо рта, чёрную неблагодарность, тривиальную подлость.

— Что ты знаешь? Я плачу и смеюсь, встречая каждый самолёт, переполненный бесценным грузом. Ты думаешь, народ—это обязательно красавцы и умницы? Это бомжи, инвалиды, выжившие из ума старушки, больные дети, мужья и жёны, любовники, пасынки и девери. Это мой народ, какой есть, другого не будет. Это они правдами и неправдами выбивают пособия, это они сплетничают, сквернословят, но это их дети. Как тебе объяснить? Плоть от плоти… Это наши дети.—Мара прикрывает глаза и откашливается.—Ну что ты стоишь? Через час—шаббат, а нам ещё добираться…

Страннее пары я не встречала. Уже давно Иешуа изъясняется не простыми человеческими словами, а иносказаниями, трактовками—как будто цитирует кого-то,—он играет в слова, понятия, раскладывает слова на буквы, выворачивает их наизнанку, докапываясь до первобытного, животного и божественного содержания их. Порой меня не покидает ощущение, что Иешуа играет в какую-то игру, по-своему отыгрывается, возможно, даже мстит кому-то. Сидя за столом, он сосредоточенно жуёт и вдруг оживлённо вскидывается.
— А ты знаешь, почему женщина становится распутной? Вначале в неё входит дух глупости (шота—быть глупым). Вторая стадия—сата—сбиться с пути. И тогда наступает последняя стадия—сота—распутная. Ты видишь эту связь?
— Да,—торопливо киваю я, проглатывая измельчённые баклажаны, нашпигованные чесноком и орехами.

Я, безусловно, вижу эту связь, потому что с некоторых пор отчаянно поглупела.

Я стремительно меняюсь—похоже, сбрасываю старую кожу и обрастаю новой.
— От хумуса растёт грудь,—сообщает мне Аллочка, называющая себя на новый лад—Эллой.

Аллочка расписывает чашки и мезузы в мастерской Фанни—огромной белой женщины родом откуда-то из Айовы или Северной Каролины.

Фанни—бывшая оперная дива, единственная дочь незрячих от рождения родителей, удачно вышла замуж (кажется, в третий раз) и теперь снабжает американских евреев кошерной утварью, расписанной умелыми руками девочки из маленького украинского городка—то ли Мелитополя, то ли Херсона.

Во время работы Фанни включает стереопроигрыватель и распахивает рот с крупными желтоватыми зубами. Она ужасно непосредственная, наша Фанни. Всё, что она делает или говорит, она делает шумно, демонстративно, почти вызывающе. Сейчас закончится очередная оперная ария и начнётся подробное повествование о климаксе, которым бывшая певица страдает с недавних пор. Фанни очень физиологична и практически не ведает стыда. Она вздыхает, ёрзает огромными

2. Ахашверош, Аман, царица Вашти, Мордехай, Эстер—исторические персонажи, герои «Книги Эстер». «Книга Эстер» отличается разительно от всех остальных книг, входящих в ТаНаХ. Первое отличие, которое бросается в глаза,—это то, что в этой книге, единственной из всего ТаНаХа, ни разу не упомянуто имя Бога. И вообще, повествование очень напоминает комедию масок.

3. Матнас—Дом культуры.

полушариями зада, вспоминает о том, что сегодня у неё не было… Мелко хихикая, доверительно сообщает о том, что у неё пучит живот.

Мы с Аллочкой переглядываемся. Через час Фанни выдохнет своё знаменитое: «Пуфф»,—капризно оттопырит пухлую нижнюю губу и начнёт собираться. Уже с порога она в третий раз огласит список срочных дел и унесётся в сторону благополучной Раананы.

— Свобода!—кричу я, опрокидывая стул домомучительницы.

Долой постылую оперу, долой ведро, заполненное вязким раствором. Долой ряд белых, девственно белых тарелок и чашек.

Теперь мы можем насладиться унылой свободой промзоны. Пить кофе, болтать и смеяться.

— От хумуса растёт грудь,—сообщает мне Аллочка и распахивает рабочий халат.

Что-то с нами творится здесь, в этом душном помещении, за этой металлической тяжёлой дверью, раскалённой от полуденного африканского солнца.

Мы говорим о мужчинах. О чём ещё говорить нам? Из соседнего здания доносятся мужские голоса.

Это зона. Промышленная зона. Сотни мужчин и женщин с утра до вечера выполняют бессмысленную, отупляющую работу. Сотни не старых ещё мужчин и женщин фертильного, как его принято называть, возраста.

Фертильность наша не подлежит сомнению. И оттого мы рады появлению Мусы. Муса испуганно просовывает смоляную голову в проём двери: ну, толстая ушла? Он называет нашу хозяйку «шмена», то есть «жирная», но это, разумеется, за глаза; в глаза же—неудержимо лебезит. Фанни—настоящая мем-саиб, и в присутствии её великан Муса сжимается до размеров нашалившего школьника.

— Вы заметили, девочки, какой наш Муса красавец?—голосом сытой кошки интересуется Фанни.

Ещё бы; заметили и некоторое смущение самой Фанни, и то, какими пятнами покрывается щедро декольтированная грудь.

В отсутствие Фанни Муса садится довольно уверенно, забрасывает нога на ногу и принимает из Аллочкиных рук чашку с «боцем»—чёрным кофе, залитым крутым кипятком. Он бережно расстилает белоснежную салфетку.

— Баклава—настоящая, не какая-то чепуха с шука,—бери, не стесняйся—жена пекла.

Он произносит: «баклаоува»,—и во рту становится вязко и приторно.

Муса живёт в Газе, в небольшом домике на земле, окружённом оливковыми деревьями. Мне кажется, в каком-то сне я видела этот дом и босого полуголого мальчика, сидящего на корточках неподалёку. Молчаливую жену, выпекающую пресные лепёшки. Бельевую верёвку через двор и тощую козу, жующую горькую арабскую траву.

— Ма шломхем, банот? (Как дела, девочки?)

Никого не обманывает светское начало беседы и рассказ о больных ушках младшего, то ли одиннадцатого, то ли двенадцатого по счёту ребёнка. Через каких-нибудь полчаса из угла комнаты, прикрытого ширмой, донесутся голубиные стоны и притворно возмущённый Аллочкин вскрик—негромкий, впрочем:

— Куда, зараза, руки суёшь?!

Но Муса упорно суёт, потому что Аллочка сладка и горяча, как только что съеденная, обильно пропитанная мёдом баклава, и от местного хумуса у неё растёт грудь, в чём Муса собственноручно желает убедиться,—каморка становится нестерпимо жаркой, и распалённому Мусе, видимо, кажется, что он—хозяин такого небольшого гарема; на шее его пульсирует яремная вена; кажется, ещё чуть-чуть—и налитое тёмной кровью лицо взорвётся. Всё-таки удивительные эти маленькие девочки из провинции: крохотной ладошкой Аллочка отпихивает настырного гостя:

— Ма, ата метумтам? Ма ата осэ? (Ты что, с ума сошёл?)

Укрощённый хозяин гипотетического гарема вспоминает, что рабочий день вот-вот закончится, а дорога в Газу занимает немало времени, часа три, и на каждом посту он, взрослый мужчина, отец двенадцати, кажется, детей, должен стоять навытяжку перед желторотыми мальчишками в форме.

А в доме под цветущими оливами раскатывает тесто его горячая, сладкая, всегда желанная жена, которую зовут, допустим, Адавийя—летний цветок, или Азиль—нежность, а по двору бежит его сын, младший, с перевязанными ушками,—если Аллаху будет угодно, мальчика вылечат израильские врачи, но для этого потребуется разрешение.

Добрая Фанни всё устроит, вряд ли она откажет Мусе, и мальчика привезут в лучшую детскую клинику, и тогда он вырастет здоровым и крепким, как отец, и на шее его будет биться тугая яремная вена, когда, распахнув на мальчишеской груди дешёвую джинсовую куртку, купленную на летней распродаже вместе с рюкзаком и удобными мокасинами фирмы «Nike», выдохнет в толпу смеющихся школьниц и стариков с тележками: «Аллаху Акбар».

Это будет та самая остановка, с которой Иешуа делает пересадку на сто шестьдесят шестой автобус, идущий с центральной автобусной станции прямо к дому.

Красавица Яффа, с блошиным рынком, рыбными рядами и сбегающими к морю ступеньками, останется позади, а с высокой мечети донесётся записанный на плёнку полуденный азан, третий из четырёх в этот день.

4. Азан—призыв к молитве. Текст призыва один и тот же. По всему мусульманскому миру этот побудительный призыв провозглашается пять раз в день.

Итак, сначала женщина глупеет, потом—сбивается с пути.

Всё по порядку. Нет, вначале я познакомилась с этим человеком. Потом…

Потом начались нагромождения глупостей, череда неприятностей и неловких ситуаций.

Таких, например, как потеря месячного проездного билета. Не знаю, каким образом выскользнул он из моих рук. Разве бегущая к автобусной остановке женщина того самого (смотри выше) возраста, да ещё после бесконечного трудового дня, в предвкушении долгожданной свободы…

Начнём строго по порядку. Тот факт, что не встретиться, не пересечься мы никак не могли, не подлежит сомнению. Каким образом могла я обойти стороной перевязанного кокетливой косыночкой-банданой плотно сбитого мужчину с шальным взглядом голубых глаз?

Хорошо, предположим, я сделала вид, что не заметила, совершенно не заметила его заинтересованного, мягко говоря, взгляда, и решительно двинулась в сторону пекарни Ицика на углу. В пекарне я некоторое время металась между усыпанными пудрой и облитыми глазурью марципанами и солёными слоёными пирожками. Я обожаю выпечку. Запах свежеиспеченного хлеба способен вдохнуть в меня жизнь.

Конечно же—каждым позвонком, хребтом ощущала я его присутствие,—конечно же, таинственный незнакомец последовал за мной.

Через какую-то четверть часа, сверкая глазами из-под сбившейся повязки, он поведал мне страшную тайну. И спросил, желаю ли я сопровождать его во время секретной поездки к резиденции Арафата?

То, что за всей этой удивительной историей тянется след ФСБ, не вызвало у меня никаких сомнений. Уже в однокомнатной подвальной квартирке с единственным крохотным окошком незнакомец решительно стащил со шкафа некий цилиндрический предмет.

—Это подзорная труба,—строго ответил он на мой немой вопрос и чёткими, невыразимо прекрасными движениями развернул желтоватую тряпицу.

Упоминала ли я о том, что с детских лет питаю слабость к огнестрельному оружию? Все эти гладкие воронёные поверхности, изгибы, отверстия…

—Иди сюда, быстрее,—прошептал он и сдавил моё горло довольно крепкими пальцами.

Пошатываясь, я вышла из подъезда. Должна заметить, не в первый и не в последний раз убедилась я в удивительном свойстве моей психики.

Лабильность—кажется, именно так это называется.

Меня изнасиловали, тупо констатировала я, вдыхая вечернюю духоту полной грудью.

Дело в том, что акт изнасилования случался в моей жизни не раз и не два, и я, обладая той самой пресловутой лабильностью, прослеживаю определённые закономерности.

По улицам ходит немало красивых, молодых, сексапильных и просто хорошеньких женщин. Что же такого находят во мне эти разного возраста, вероисповедания и социального статуса мужчины?

Да, уши. У меня прекрасные уши, маленькие, изящные, как у породистого арабского скакуна. Уши эти расположены по обеим сторонам довольно милой головки, украшенной также замечательным ртом и задумчивыми глазами.

Уши мои чутки к малейшим, тончайшим нюансам и колебаниям, частотам и резонансам. Нежные, с бархатистой мочкой, они доверчиво тянутся в сторону всякого, кто произносит моё имя…

Кроме ушей, я обладаю зыбкой, неуравновешенной, плавающей походкой, выявляющей во мне человека сомневающегося, внушаемого, неуверенного в себе.

А насильники кто? Глупости, вовсе не брутальные мачо, самцы группы алеф,—напротив, это люди с травмированной психикой, зачастую весьма болезненной.

При виде моих прижатых к голове ушей и зыбкой походки они, эти несчастные, видят якорь, мачту, в некотором роде спасение и утешение, и несутся за мной, точно гончие по следу.

Где-то я упоминала уже о своей неистребимой внушаемости и—да—ужасном, гипертрофированном любопытстве!

Я всегда хочу знать, чем закончится история. Любая, самая невзрачная, самая плохонькая…

Один раз, ведомая собственным неуёмным любопытством, я без малейшего сопротивления последовала за молодым человеком, который честно сознался, что совершил побег из тюрьмы и давно не слышал запаха женщины. А я как раз примерно в то же самое время находилась под неизгладимым впечатлением от игры Аль Пачино в фильме «Запах женщины»—помните? Конечно, мой новый знакомый несколько не дотягивал до харизматичного итальянца…

Меня изнасиловали—шаря по дну сумки в поисках проездного билета, я убедилась, что расплата не замедлила явиться в такой банальной форме. Пострадавший отделался лёгким испугом, заключила я, потирая шею,—но, кажется, в начале нашего повествования мы говорили о глупости?

Что-то непостижимо притягательное было в медвежьей сноровке и в этой не вызывающей сомнения властности, с которой он, слегка, совсем легонько, подтолкнув меня в грудь, рявкнул: сидеть!

Он сбросил короткую куртку из пятнистой маскировочной ткани, и оказалось, что плечи у него пухлые, как у купчихи, а грудь обтянута видавшей виды полосатой майкой-тельняшкой в подозрительных разводах цвета засохшего кетчупа.

Голубоглазый назвался снайпером и с удовольствием поделился воспоминаниями о том, как вот этими вот руками — тут он выразительно развернул ладные мужские ладони, — вот этими вот руками стрелял и душил, стрелял и душил.

— Чечня, сама понимаешь, плановые зачистки.

Я втянула голову в плечи.

— Ребят наших жалко, — скрипнул зубами он и жадно затянулся.

Комнату заволокло сизым дымом, словно после взрыва.

— Я человек подневольный: куда пошлют, там и работаю. Сегодня — здесь, завтра — где угодно. Хоть в ЮАР, хоть в Танзании. Поедешь со мной?

Ослабив тиски, снайпер свернулся уютным калачиком и мирно засопел.

— Пожрать бы, — мечтательно зевнул он — так мог бы зевнуть изголодавшийся хищник — и, доверительно приобняв мои плечи, поведал грустную, трагическую даже историю необыкновенной любви к третьей жене, которую случайно обварил кипятком и которая буквально через пару недель после досадного происшествия разбилась на комфортабельном лайнере Сочи — Гудермес.

— Представляешь, я мыл ей голову, а голова у неё была крохотная, облепленная мокрыми волосами, почти младенческая, — мне так и хотелось сдавить её и услышать хруст, я едва удержал себя, но вот не знаю, что на меня нашло — почему я забыл разбавить кипяток в чайнике…

Голубоглазый обхватил щёки руками и с силой потянул их вниз — будто бы вознамерившись оторвать совсем. Но щёки были довольно упитанные, переходящие в бычью шею, поросшую пегой щетиной.

Я чувствовала себя зрителем, в результате счастливой случайности попавшим на сцену в качестве главного героя, да что там — героини! Мне надлежало сыграть свою роль по всем законам жанра. В конце концов, Его Величество Случай избрал меня, именно меня для исполнения важной, по всей видимости, миссии.

И я осталась сидеть, осталась — повинуясь непреложному закону — увидеть, чем закончится история с русским шпионом, вербующим попутчиц в резиденцию Арафата.

— Гилель[5] любил повторять: моё унижение — моё возвышение, — начал Иешуа очередную шаббатнюю речь.

В углу комнаты мерцали свечи, стол был накрыт праздничной скатертью.

— Ибо и плохое — тоже хорошее. Всякому созиданию следует разрушение, — произнёс он, не глядя в мою сторону. — В серебряных покровах, говорит рабейну Бахья, есть маленькие отверстия, и сквозь них мы видим золотые плоды.

Иешуа преломил лежащую на столе халу и посмотрел на сидящую рядом жену; напротив изгибались точёные фигурки, вырезанные из чёрного дерева: одна мужская и одна женская.

Шаббатняя звезда взошла над спящим городком, над домами, маколетами, детскими площадками.

Некто, чьё имя не принято упоминать всуе, свесив ноги с пухлого облака, вырезал в серебряной фольге крошечные отверстия-глазки. Он ловко орудовал миниатюрными ножницами, воспользовавшись, по всей видимости, моим маникюрным набором.

— Что ты творишь, Отче! — вскричала я.

Но Отче подмигнул мне, совсем как Ицик из пекарни на углу, и тогда, приложив фольгу к левому глазу, я увидела автобусную остановку и семилетнюю девочку, улыбающуюся золотозубым ртом. На голове девочки блистала корона, а в руках она держала скрипку, похожую на покрытую чёрным лаком китайскую шкатулку. Вокруг девочки плясали и прихлопывали в ладоши плешивый царь Ахашверош, Аман и переодетая царица Вашти.

— Видишь? — обернулся Отче, и я отшатнулась, потому что лицо у него было покрыто кирпичным загаром, а на ногах красовались пыльные сандалии из кожи.

— Ты — Иешуа? — обрадовалась я, но Отче нахмурил перевязанный пёстрой банданой лоб, и глаза его стали нестерпимо-голубыми.

Он рванул на груди полосатую майку и, скрипнув зубами, выдохнул в ставшее красным небо:

— Аллаху Акбар!

1. Гилель (3648–3768 / 112 г. до н. э. — 8 г. н. э. /) — один из величайших еврейских мудрецов всех поколений. Был главой Санхедрина в течение 40 лет, с 3728 г. (32 г. до н. э.) и до последних дней своей жизни. Гилель родился в Бавеле (Вавилоне) и там прожил первые сорок лет. Несмотря на происхождение из рода царя Давида, он был крайне беден и зарабатывал на жизнь тяжёлым ремеслом дровосека. В 3688 г. (72 г. до н. э.) Гилель отправился в Землю Израиля, чтобы изучать Тору у величайших мудрецов.

Евгений Мамонтов

Искусство невинности

Любопытство

Все говорят, что женщинам свойственно любопытство. Это — неправда. Любопытство свойственно мужчинам. Это они открыли Америку, пенициллин и все спутники планет Солнечной системы. Зачем? Ну, из пенициллина делают лекарства — ладно, спутники совершенно бесполезны, а от Америки, как мы видим сейчас, один только вред. Даже прялку, как и все предметы в древности, изобрёл Леонардо да Винчи. А ещё до этого — Пифагор.

Может быть, любопытство женщин простирается в некой иной области? Например, женщина любит спрашивать: ты меня любишь? Или: где ты был вчера вечером? И даже никогда не спросит: как ты думаешь, с каким счётом завтра сыграет наш «Спартак» с мюнхенской «Баварией»?

Мне скажут: это неправда, есть женщины-биологи, юристы и политики; их интересует деление клеток, гражданское и уголовное право, беспокоит напряжённость на Балканах. А я вам скажу — нет. Таких женщин нет. Это сфера мужских естественнонаучных и прочих интересов. Понятно, что в эту сферу может забрести или намеренно попасть и женщина. Но ведь вы, дорогой мой, от поездки в Китай не становитесь китайцем. Хоть сто лет там проживите, а китайцем не станете.

Тут я уже слышу, как наиболее просвещённые и либеральные голоса прямо кричат мне в лицо: да это просто сексуальный расизм!

Да, отвечаю я. Но сначала разберитесь, в чью пользу этот «расизм»

Видите ли — не я открыл закон всемирного равновесия. Он как-то сам собой организовался, и если где-нибудь прибавляется, то, значит, где-то убывает — если уж совсем просто этот закон толковать. Если мужчины изобрели всё на свете, то должен быть кто-то — ну хотя бы просто в пику им (и для равновесия, конечно),— кто ничего не изобрёл. Это и есть женщины. Действие уравновешено в этом плане бездействием. И если вы думаете, что последнее не требует особых способностей, то серьёзно ошибаетесь.

Я попробовал как-то весь день просидеть дома и ничего не делать. Кошмар. Ничего не получилось. Одни нервы. Мысли всякие полезли. С ума сойти можно. Недаром недеянию — как высокой науке — учили первейшие мудрецы человечества Лао-Цзы, Будда… Собственно, и Христос не советовал особенно напрягаться и собирать богатства на Земле. Собирайте на небе, говорил он. Блез Паскаль считал, что всякая светская, экономическая и военная деятельность суть средство не остаться наедине с собой и своими мыслями.

И как же это удаётся женщине? — вы спросите. Путём каких упражнений?

Ну, во-первых, ей это не удаётся тоже. Женская природа за последние тысячелетия сильно засорена элементами мужского сознания. Это самый крупный экологический вред, который нанесён женщине. Современная женщина вынуждена думать, вместо того чтобы жить согласно своей природе. Без мыслей.

Заметьте: когда вы счастливы, вы не думаете. Задумываться мы начинаем только с приходом проблем. Тут-то и рождается всякая философия.

И напротив: стоит нам задуматься в момент удовольствия или просто покоя, как и покой, и удовольствие меркнут. Самые светлые и безмятежные минуты нашей жизни отмечены как раз — не мышлением. Чувством. В этом природно сильна женщина.

Рене Декарт был, возможно, прав, когда сказал: «Мыслю — следовательно, существую». Однако, по закону возмещения, существую — следовательно, умру. Лао-Цзы и Будда, изгнав из себя мышление, достигли просветления, бессмертия.

Самая блестящая и гениальная мысль по своей природе слабее (смертнее) самого пустякового чувства. Для проверки попробуйте сосредоточиться хоть на чём-нибудь, когда у вас болят зубы. А ведь это ещё не самая страшная вещь.

Продолжая спекулировать на философские темы в подобном ключе, мы приходим к выводу, что женщина — рождена для бессмертия. В противоположность человеку (мужчине), который обречён смерти. (Не по этой ли самой причине он всё так спешит и торопится что-то сделать, изобрести, изменить, разрушить или построить — жизнь коротка?) Женщина подсознательно знает, что жизнь вечна и смерть — лишь исторический эпизод, навязанный ей реалиями сиюминутного, но не вечного.

Полагаю, что именно отсюда происходит её недоумение, которое мужчины принимают за пустое любопытство. Посмотрим: так ли уж оно «пусто»?

Мы помним, что честь быть изобретателями и «открывателями» всего на свете принадлежит по преимуществу, включившему в себя, баловства ради, пару исключений, именно мужчинам. Мы с вами создали вторую природу, новую реальность! Мы не мыслим теперь собственного существования вне её пределов почти так же, как нельзя помыслить себе какую-либо вещь, находящуюся за пределами Вселенной. Для того чтобы верно понять значение этого феномена, придётся подыскать ему сравнение. Всё познаётся в сравнении. Проще всего сравнить вторую реальность с первой, богоданной. Не в плане того—что лучше, а просто по аналогии деяния. Бог создал мир, и мы тоже создали мир. Не важно, чей лучше. Главное—принцип. И вот из своего «второго мира» мы часто задаём вопросы творцу «первого»: «Ну почему, почему мне так не везёт?»; «Почему меня посылают в командировку в Лесозаводск, а Кондратьева—на книжную ярмарку в Мюнхен?»; «Почему я до сих пор не генеральный директор?»; «Почему у меня сын двоечник, а у Кондратьева дочка отличница?»; «Почему у соседа по даче картошка с два кулака, у меня—горох?»; «Почему жизнь так коротка?»... Думаю, что с точки зрения Создателя такие вопросы выглядят чисто «дамскими». Хотя мы—задающие их мужчины—можем считать себя просвещёнными, многократно дипломированными, развитыми личностями. Но иногда хочется поддержки, прямого ответа или хотя бы кивка от того, кто всю эту кашу заварил. Так и женщине хочется спросить у нас о простом. Нет, я не хочу сказать, что женщина, тем более современная, видит в мужчине бога. Скорей уж—товарища по здешнему бытию; того, кто выдумал всю политику, экономику и географию, от которых у нас порой столько хлопот. И вот, чтобы мы не сошли с ума, не заблудились в лабиринтах собственных расчётов, она спрашивает: «А вот эта дама, которая была на банкете с вашим директором, она ведь ему не жена?»

Уверен, будь у вас возможность, вы именно что-нибудь в этом роде спросили бы у Бога: «А вот этот самый первый Ваш ангел, как бишь его—Денница, ну тот, что отрёкся от Вас,—он Вам ведь получается как первый сын, нет?» И старик в ответ морщится от вашей бестактности...

Искусство невинности

Невинность толкает фантазию к особой живости там, где отсутствует опыт. На этом неписаном законе основаны научная фантастика и подростковая гиперсексуальность. Вообще, «белые пятна» пробуждают в нас зуд, схожий с тем, что вызывает белая стена у идиота с баллончиком краски. Вот, например, много ждут от встречи с инопланетными формами жизни. То-то, дескать, будет событие эпохального масштаба, когда мы наконец встретимся! А она—эта инопланетная жизнь—возьми да окажись какой-нибудь кремниево-германиевой структуры и вся будет, положим, укладываться в спектр излучений в ультракоротком диапазоне. Вот вам и встреча миров. Поздравляю! И будут с этими инопланетянами общаться только избранные умы из мира науки, одиночки-интеллектуалы из тех чудаков, кто сегодня может свободно поговорить о Вергилии или квантовой механике. То есть в общественной картине мира мало что изменится. А то мы всё мечтаем затащить инопланетянина в пивную и там поглядеть, как он ухрюкается,—а что ещё с ним делать?.. Будут, конечно, и другие идеи: например, продавать инопланетянам отечественные автомобили или швейцарские «ролексы» и «картье», с доставкой прямиком из Суйфуньхе, или заставить их вместо узбеков чистить снег... Если же существа эти окажутся высокоразвиты гуманитарно и художественно, то человечество, чего доброго, надорвётся в потугах показаться лучше, чем оно есть в своей массе, и придётся срочно спрятать подальше фантастические фильмы Бондарчука-младшего и прочие компрометирующие артефакты. Но тут я уже сам вторгаюсь в область фантазии, порождённой невинностью и приправленной в моём случае скепсисом...

Невинность обладает необычайным потенциалом, это эмоциональная протоплазма, способная со скоростью вспышки развернуться в любом направлении. Опыт («сын ошибок трудных») всегда сопряжён с преградами, которые ставит осторожность. Пуганые вороны опыта всегда готовы накаркать нам множество бед при первом проблеске дерзкого замысла. Разница между опытом и невинностью в том, что первый знает слишком много, тогда как вторая часто не подозревает даже о собственном существовании. Это, конечно, характеристика в абсолютном смысле, в области платоновских идей, так сказать... Потому что в жизни, в нашем извращённом мире мы достаточно часто наблюдаем обратную ситуацию. Невинность смущается самой себя и изо всех сил рядится предстать опытностью, как бы жалко это ни смотрелось. Зато опытность—опытность записывает невинность в число своих инструментов, самых тонких и опасных. (Вспомните миледи из «Трёх мушкетёров».) Здесь нужно быть мастером. Неопытного хитреца разоблачить легко. Настоящая, небесная невинность приходит с опытом. Но если всё получится—эффект сильный. Едва ли не лучше всех использовал этот приём Сергей Есенин. Такой вот, дескать, я русский, такой народный, простой и задушевный... И возьмёт в валенках заявится на литературный вечер

к поэтессе Гиппиус, и в скатерть высморкается в гостях у Пастернака… И трудно представить, как это он в смокинге пишет бриллиантовым кольцом по зеркалу в отеле Савой: Дункан, я Вас люблю…

Есенин сам прекрасно знал за собой эту мёртвую хватку простодушия. И терпеть не мог собственных подражателей, недостаточно опытных, чтобы выглядеть невинно. В своей последней поэме он откровенно написал:

В житейскую стынь…
И когда тебе грустно,
Казаться улыбчивым и простым—
Самое высшее в жизни искусство.

В театре недаром самыми лёгкими считаются роли откровенных злодеев—пиратов, людоедов и всяких карабасов с бармалеями. Куда сложнее играть простодушие, покоряющую сердце неопытность. Здесь нужны серьёзная школа и настоящий опыт.

Я нарочно беру высокие образцы искусства невинности, а в охоте за низкими можно пойти куда угодно или просто включить телевизор.

«Все собаки попадают в рай». Есть мультфильм с таким названием. Название очаровательное, а мультфильм я не смотрел. Ортодоксальная теология обходит стороной вопрос о том, существует ли рай для животных. Когда-то все они изначально были в раю вместе с Адамом и Евой. Сведений об изгнании животных из рая мы не находим. Следовательно, они до сих пор там, а мы здесь. Я говорю своему лабрадору: Монти, дай лапу. Он даёт. И смотрит мне в глаза. Нас ничто не разделяет. Но при этом он, не вкусивший от Древа познания, в раю, а я здесь. Занятно. Условность границы между земным и небесным завораживает меня настолько, что псу становится скучно, и он выдёргивает лапу из моей руки и ждёт награды за выполненную команду. Я даю ему печенье. Отправляю продукт с земли в рай.

Все животные—и травоядные, и хищники—невинны. Они следуют своей природе, над которой не тяготеют понятия добра и зла. Животное не может совершить преступления просто потому, что ему нечего преступать. Человек в меру сил пытается нарушить эту гармонию путём дрессуры, поэтому цирковые звери так печальны. Утратив природную невинность, они уже не могут обрести искусственной. Они честнее. Зато мы хитрее, и именно поэтому в амфитеатре сидим мы, глядя, как медведи катаются на велосипедах, а собаки изображают пожарных и прыгают через горящий обруч, и забывая, что в повседневной жизни сами мы выделываем фортели куда похлестче, часто надеясь скрыть их под маской невинности, насколько это позволит нам опыт…

Поколение

Если бы я был физиком, я бы начал с того, что поколения подчиняются фрактальным законам, и сразу бы потерял половину читателей. Потом бы добавил, что динамическое развёртывание подобного фрактала происходит линейно в геометрической прогрессии, и потерял бы всех остальных, оставшись один на один с законченной, в сущности, статьёй и вопросом, почему в советской школе у меня была тройка по физике.

Но, к счастью (в частности и для физики), я не физик, поэтому зайду с другого лада, попроще.

Моё поколение смотрит вниз, моё поколение не смеет петь!—пел Костя Кинчев в конце восьмидесятых. Это были песни протеста, смелый вызов, поэзия бунтарей. Было так здорово чувствовать себя этим поколением. Я гордился этой суровой обречённостью. Но странная вещь: поэзия, в том числе и бунтарская, в социальном смысле—вещь прогарная. Она никогда ничего не побеждает. И теперь я знаю, что это правильно, это хорошо, потому что один раз я увидел, как она победила. Теперешнее поколение очень молодых людей только и делает, что поёт или слушает песни. Кругом всевозможные ди-джеи, фабрики звёзд и тому подобное. Музыка примитивная, слова идиотские, но при этом никто и не думает опускать глаз. Смотрят прямо и уверенно. Худо-бедно наблатыкавшись в культурологической фене самого попсового разлива, утверждают: «В этом есть message!»—«Угу, whoessage»,—думаю я про себя и сам отвожу глаза. Конфликт поколений!..

Ну, допустим, ладно. Допустим, я не прав. Моя дочка со снисходительной улыбкой слушает включённую мной «Машину времени» и потом спрашивает нежно и убийственно: «И ты под это тащился?»

Вообще, судить о поколениях по музыкальным пристрастиям несколько легкомысленно.

Двадцатый век сделал популярной жевательной резинку и вооружился огромной стирательной резинкой. Межрасовые браки, объединения Европы, климатические фокусы, мода на гомосексуализм и постмодернизм, религиозное бродяжничество. Резинка стирает все прежние барьеры, грани и перегородки. Сейчас не важно, хорошо это или плохо. Не об этом речь. Сейчас Большая резинка работает над тем, чтобы стереть две вещи, о которые она прежде запиналась. Первая—это грань между реальностью реальной и виртуальной. Человек хочет туда, в созданную им реальность, придумал очки 3D; наверное, лет через двадцать придумает 100D, чтобы можно было жить в виртуальной реальности, не выходя наружу. Вторая грань—это условный порог, отделяющий одно поколение от другого. Действительно, обидно, когда тебе тринадцать и ещё почти ничего нельзя.

Ещё обиднее, когда тебе шестьдесят и уже почти ничего нельзя. Надо как-то бороться, даже если это противоречит здравому смыслу. Замечено, что за всё сомнительное, просто невозможное и даже ненужное люди борются с особой страстью. Воплощать мечту—самую дурацкую—куда «прикольней», чем вкалывать на заводе от гудка до гудка.

Прежде поколение вырастало как дерево. У него были корни—традиции отцов, ствол—отвага дерзания, ветви, чтобы обнять этот мир, и листва—как вера, продолжение и улыбка. Такое дерево растёт долго, ему нужно время, и раньше это время у него было в избытке, как самая питательная почва—неспешность. Средневековые поколения вырастали династиями врачей, ремесленников, землепашцев, воинов, торговцев. Традиция порождала чувство достоинства и ответственности. Стыдно было запятнать свою фамилию. Предков знали до четвёртого-пятого колена. Слово патриарха в семье было решающим. Кто сегодня станет слушать всерьёз восьмидесятилетнего прадедушку? Да и сам этот прадедушка не станет, если он в здравом уме, соваться со своими советами. Мир успел десять раз перемениться. В этом-то и беда: мир меняется чересчур быстро, чтобы человек утвердился в нём, сориентировался сам и смог помочь советом своим детям. Конечно, он посоветует им быть честными, добрыми, смелыми. Это из области вечных ценностей. Стратегических. Но совет практического характера дать всё сложнее. Темп современной жизни дробит поколения, не давая им сформироваться. Теперь это уже не дерево, прочно и гордо тянущее вверх по стволу соки из почвы,—теперь это какие-то семена, дающие мгновенные всходы на гидропонике. Дробится масштаб самой единицы измерения. Разница в десятилетие, не имевшая практического значения раньше, сегодня разница почти колоссальная. Взаимозаменяемые, одноразовые, быстрорастворимые в котле жизни поколения. И самое важное—они перестали отличаться одно от другого, опознаются по причёскам, моде, новым сегментам сленга. Скорость копирования возрастает, и коэффициент детализации, индивидуальной прорисовки падает…

Но, возможно, так было всегда, приближение стирает черты, делая их практически неразличимыми, большое видится на расстоянии. Подумайте: тысяча, а может быть, больше доисторических поколений охотников-собирателей не оставили практически никакого следа, ни одного имени. Кто изобрёл копье? А колесо? Неизвестно ещё, больше пользы или вреда принесла индивидуализация. А стремление быть индивидуальностью наложило и вовсе непристойный глянец на поколения рабов постиндустриальной эпохи, лишив его, кажется, последнего достоинства—естественности. Современный молодой человек, как правило, не понимает, что со времён разложения родового племени и появления социума никакой другой, кроме рабовладельческой, системы никогда не было и, наверное, не будет, Рабство просто носит иной характер, чем во времена строительства пирамид. Формально мы свободнее, но, полагаю, если бы можно было сравнить способность чувствовать окружающий мир, мы бы оказались в глубоком проигрыше. Современный человек как бы вовсе отлучён от собственных органов чувств, недаром он стремится их всё время подстёгивать; я даже не имею здесь в виду алкоголь или наркотики—просто вечная погоня за новизной, вечный зуд, требующий взбадривать нервную систему: свежий журнальчик, новая серия по тв… Мы настолько рабы, что нас можно держать на воле—не убежим: некуда, незачем, и сами не захотим…

А новое поколение—причём каждое новое поколение—ещё надеется как-то выскочить, проскочить, увернуться от этого рабства, они каждый раз уверены, что у них получится… Поэтому я, зная их грядущую судьбу, стараюсь быть тактичней, улыбаюсь, киваю и даже соглашаюсь, едва не заискивая: да, да, есть какой-то message…

Людмила Черных

Покорение Эвереста

Рассказы размером с горошину

Само-лётчица

— Ура! Ура! Ура! — бегут и кричат ребятишки.

У нас событие: взаправдашний самолёт прилетел и стоит на поляне, в районе «Новостройки», — это же такое чудо, ведь у нас и машин-то мало, а тут… а тут — самолёт!!!

Мы побежали, и взрослые тоже бегут за нами — такое время тогда было, люди были добрые, новостей почти неоткуда было узнать, а здесь такое событие.

Стоит себе «кукурузник», а из него какие-то мешки выгружают — как потом мы узнали, это были химикаты для обработки леса или полей, я не помню точно.

Всё время я думала о том, как бы мне полетать. Как я ни просилась, меня не брали. Было у меня «богатство» — большущий гвоздь, так вот я решила отдать лётчикам этот гвоздь. Рассказав им, что я нашла этот гвоздь в грязи давным-давно, что он был грязный и ржавый, а я отчистила его, и теперь он вон какой красивый, и у мальчишек ни у кого нет такого гвоздя, и как они ни просят меня поменяться на что-нибудь, я не меняюсь, я предложила это сокровище лётчикам, чтобы они разрешили мне прокатиться на самолёте. Представляю, как они покатывались со смеху, когда я ушла, но в тот момент они хорошо себя держали, а меня всё-таки они не взяли в самолёт, сказали, что порошок, который они распыляют, — ядовитый.

Но они не знали меня: если я поставила цель, я буду добиваться её во что бы то ни стало.

Целыми днями и даже ночью, просыпаясь с сильно бьющимся сердцем, я представляла, что я летаю на самолёте.

Подождав, подкараулив, когда лётчики сядут в кабину, я взгромоздилась на колесо шасси и уселась на нём, крепко обхватив руками стойку. Мне повезло, что самолёт не поднялся в воздух и не были убраны шасси, так как один из лётчиков спрыгнул на землю, потому что забыл убрать тормозную колодку возле колеса.

Как после он признался, в тот момент он был настолько потрясён, что ничего спросить у меня не смог. «Само-лётчица» — назвал он меня впоследствии.

Всё-таки я добилась своего: меня посадили в кабину, и я полетела. Это был старый-престарый Ан-2, я могла любоваться окрестностями не только через стекло кабины, но и — можете не верить, но это правда — через неплотно подогнанные дощечки в полу.

Вам, наверное, не нужно рассказывать, каким героем я себя чувствовала, ведь я ещё не училась в школе, а уже летала на самолёте!

Дед Гоша

Странные эти взрослые: думают, если тётеньки носят платья, то и все девочки только и мечтают в них ходить. Взяли да и подарили мне на день рождения платье, а я так мечтала о шароварах.

Платье было красивое, с оборками, материал нежно-зелёного цвета, а на нём разные слоники, куклы, мячики. Шёл 1953 год, и купить такое платье было сложно, но я ведь этого тогда не понимала.

Летом родители разрешали мне приходить в гости к родственникам, на соседнюю улицу. А на ней, рядом с их домом, жил дед Гоша. Мне было пять лет, и он казался совсем старым, с большой седой бородой, он курил самокрутку, а когда не было газет, то курил трубку. У деда Гоши была привычка садиться на скамейку возле нашей калитки. А я на улицу через калитку не выходила, а любила лазить через забор, мне так казалось удобнее, потому что на калитке был сложный засов, с которым я не всегда могла справиться. Так вот, перелезая в новом платье через забор, я зацепилась этой оборкой за гвоздь и повисла, а дяде Гоше захотелось покурить. Он садится на скамейку, закуривает, дым идёт на меня, и я начинаю возмущаться, повторяя слова тёти Нины, его жены:

— Совсем закоптил, старый.

Дед Гоша хватается рукой за грудь, как-то странно сгибается, самокрутка падает на брюки, и они начинают гореть. Хорошо, что в этот день было много гостей, и нам помогли.

Только потом дед Гоша, увидев, что я иду в гости к родственникам, уходил к себе домой, приговаривая:

— Инфаркт идёт, пойду к себе, от греха подальше, а то опять учудит чё-нибудь.

Покорение «Эвереста»

Странные эти взрослые. Построили новую котельную, с такой большой трубой, и никто на неё не залезет, чтобы посмотреть на городок сверху.

Вот бы мне туда вскарабкаться, рассуждала я, разглядывая трубу с высоты своего пятилетнего роста. Почему птички садятся на провода, а на неё не садятся? Какие хорошие железные штучки! По ним, наверное, удобно забираться на самую верхотуру.

Сколько времени я бродила вокруг котельной, не знаю, но хорошо помню, что снаружи я так и не увидела места, с которого можно подняться наверх. Нужно подружиться с кочегаром, решила я, чтобы поближе подойти к трубе и всё разведать.

И вот настал долгожданный день, когда, изучив все ходы и выходы в котельной и увидев, что кочегар занялся делом, я ступила на первую скобу. Расстояние между этими железяками, по которым нужно забираться наверх, было рассчитано на взрослого человека, и мне приходилось подниматься на носочки, чтобы ступить на очередную железяку.

Подъём оказался не таким уж и сложным, я его представляла более трудным. И запахи на высоте совсем другие, и ветер, как мне казалось, со всех сторон обдувает. Самым же интересным было наблюдать за тем, что делается внизу, на земле. Я смотрела и не узнавала привычных домиков, полянок… улиц. Крыши домов казались отрогами с шиферными склонами, трава — какими-то седыми залысинами, а не привычной — зелёной.

Я смотрела сверху и искала свой дом. Где же он?

Неожиданно завыл ветер на басовитой тоскливой струне, ожило нутро трубы, откликнувшись ворчливым барабанным эхом. Мне вдруг показалось, что меня раскачивает, и я изо всех силёнок вцепилась в железяку.

Спущусь обратно вниз, решила я, и стану пробовать вновь и вновь подниматься — каждый раз всё выше и выше, пока не доберусь до самого верха.

Первая попытка вызвала удивление, когда я не могла нащупать ногой опору, нижнюю скобу. Ведь, залезая наверх, я подтягивалась на руках, чтобы ухватиться за верхнюю железяку. Зависнув так на высоте, вдруг слышу:

— Здорово, Семёныч!

— Приветствую тебя, Кузьмич.

Это на смену моему другу-кочегару пришёл напарник.

— Семёныч, ты пошто так низко приладил флаг на трубу, да и близко к ей? Как котельня почнёт работать — спалит флаг-то. Право слово, шибко высоко тож ни к чаму — колом станет от сажи и дыма.

— Ты чё, Кузьмич, болташь? Какой такой флаг? Сроду я ничё не цыплял туды.

— Выдь из котельни, посмотри сам.

— Да это вроде девчонка вечёрошняя-то зацепилась за трубу. Это её платье трепыхается и полощется на ветру, будто бы флаг. Слезть не могёт…

— Как она туды попала?

— А я почём знаю? Стою тут с тобой, балакаю.

И они, не сговариваясь, побежали к трубе.

— Чья же это стрекоза?

— Да врачихина девчонка чудит…

— Ну кто б сумлевался. Ишь ты, новое шкодство, прям от ейных придумок весь больничный городок не знат, чё она завтра утворит.

— Да никак «самолётчица»?

— Она самая, личной персоной!

— Горазда на придумки.

Не помню, кто и как снял меня с этого «Эвереста».

— Брысь отсюдова, попробуй ещё раз причапать сюды, я вот прутьев наготовлю, специально для «гостьи дорогой», ужо я тебя исхвастаю, мало не покажется.

— И чё ты, Кузьмич, расшумелся? Всё ведь хорошо обошлось, и чё ты думашь — молодец, девчонка, придумщица, она ведь ничаво плохого не сделала. Глядишь, как вырастет, выучится на инженершу.

…А «Эверест» я всё-таки покорила.

Закончив школу, я поступила в политехнический институт и получила специальность… инженера-промтеплоэнергетика.

Вероника Шелленберг

Линия жизни—река

● ● ●

Ночью из пены речной вылепляются лица,
сплетаются струи в тугие тела.
В русле идёт нескончаемая вереница
духов реки…
Я видела…
Или спала?

И звала… Затянула гортанную, низкую ноту,
подобно самой реке, не разделяющей речь
на словесное крошево… пересиливая дремоту,
протянула руки—воду рассечь.

Ледяная, бугристая… Сон ли это?
Он ли, она—запястья схватили, аж
просверкнуло, из памяти выпало лето.
Осторожнее! Всю же себя отдашь!

А не жалко. Столько раз я входила в стремнину,
что речною душой наполнена до краёв,
но ещё берегу человеческую сердцевину
ради слов крошащихся,
ради этих слов.

● ● ●

Полдень.
Мысли медлительны, как облака,
отчётливой формы не примут никак.
Ленива
зелень Катуни.
Улово крутит и крутит ветвистый топляк.
Усилия родника
пропадают втуне—
уходит в песок
витиеватый живой волосок.

Только испуганной птицей поёт
мост навесной.
Только белеет на серой скале
полоса
от разлива весной.

Неразделимо отныне спокойные волны несут
белокипенный Аккем,
сумасшедшую Чую,
суровый Аргут.

● ● ●

Кто-то небо открыл в парашютном прыжке,
кто-то обнял весь мир с высоты ледника,
ну а мы доверяемся горной реке,
наша линия жизни—река.

Снова Чуя почуяла дерзость весла,
понесла, понесла, поднялась на дыбы.
Захлестнула волна, закипела, бела,—
скалы сморщили чёрные лбы.

Нас Турбина крутила, рыча, хохоча,
но по тихой воде проходить не резон.
«Жёстче, жёстче гребём!»—рулевой прокричал…
Нам откроется
горизонт…

Чтобы реку понять—реку надо пройти:
протаранить волну, пересилить порог…
Это чистый восторг—из горсти по пути
усмиряющий жажду глоток.

Только жажда реки своенравна, темна,
и не спросит волна:
«Что ты делаешь здесь?»
Не оставить бы наших друзей имена
на скале, обрамлёнными в жесть.

● ● ●

Молча, не думая ни о чём, совершенно одной
хорошо у реки.
Поменяла у егеря свой ножичек выкидной
на клык кабарги.

В косы вплетаю,
пристально на реку глядя,
говор воды серебристый,
конского волоса пряди

вороные. Ещё середина дня…
На рассвете
седлать
коня.

● ● ●

Ночью
вокруг костра
отвесна стена темноты.
Лица —
красной охрой наскальный рисунок.

Лишь колебание пламени выдаёт —
это
происходит сейчас.

Крошечен костерок.
В сторону два шага —
и темень густую пригоршнями черпай.

Нескончаемый шум реки
гасит
ненужные разговоры.

Камни
терпеливо полуденный жар отдают.
Спят под ними муранги —
живые комочки тепла.

Ты их не видишь,
а они существуют!

● ● ●

Нас мало — нас восемь, —
всего восемь вёсел.
Прощай, сухопутный покой!
Как пёрышко, лодку
уносит, уносит
суровою горной рекой.

Нас много — нас восемь!
Мы вёсел не бросим —
порог не пройдёшь на авось.
Гребём, выгребаем
во все восемь вёсел,
волну пробивая насквозь.

На гребне порога,
на гребне восторга
небесная речка видна…
Там ближе немного
до Господа Бога,
и души промыты до дна.

● ● ●

Проснуться —
А? Что?..
Ошарашена,
вздёрнута звоном будильника,
рыбиной на берег брошена
вдруг — из глубокого сна…

Проснуться не так!
Пробудиться самой.
Медленно…
Полог палатки раздвинуть,
первым делом надеть
от росы сбережённые кеды,
встать в полный рост
и, свежестью утра дыша,
поздороваться с миром!

Умыться — поклониться реке.
Долгими пить глотками
Катуни упругую плоть —
желанную,
полусонную
на границе ночи и дня.

На границе ночи и дня островок —
набросок,
ещё не насыщенный цветом.
Пустая залысина отмели,
тонкие деревца:
давно ли
вот здесь пробивала русло река?
Обглоданы камни, обкатаны,
и — тишина…

И в тишине из тумана
проступает гора за горой.

Надо разжечь костёр…
В пепле ночных песен
теплится головешка.
Дуну —
солнце взойдёт.

Алёна Бабанская

Никодим

● ● ●

Мир ловил меня, но не поймал.
Гр. Сковорода

Мир ловил меня — не поймал,
эти патока и крахмал —
кружевных облаков оборки,
рек кисельные берега,
солнца блеск, карамель, нуга,
захолустье, Европ задворки.

Мир ловил меня — не поймал,
не таким он судьбу ломал,
не такие от боли выли.
Я ж, не пойманный певчий птах,
не отсиживался в кустах,
но зазря не подставил выи.

Мир ловил меня за рукав,
для чего искушал, лукав,
недопитым любовным мёдом.
Я прощаю, ведь он не злой,
неприметной лечу пчелой
к незаполненным Божьим сотам

мнимому больному

Скажись простуженным и хилым,
Пока гроза втыкает вилы,
Ерошит сено над Москвой
И пахнет свежестью морской.
Гроза сойдёт волною мутной,
Ты будешь слабостью минутной.
Покашляй для отвода глаз.
Дорога высохнет за час.
Любезный друг, меня не слушай,
Бей драгоценные баклуши,
Глотай у подмосковных дач
Жасмина огненный первач.
На речке с удочкой зависни
И, отогнав дурные мысли,
Лови шершавую плотву.
А я тебя не позову.

Ночь

Какая ночь над нами вздыблена,
что ни одной по небу звёздочки.
Лишь только тьмы немая рыбина
перемывает свету косточки.
И все её движенья гибельны,
ты для неё кусочек лакомый,
и никого она не выплюнет:
ни червячка, ни крошки маковой.

Тарабарское

А. Рязанскому

А за синими холмами
Только синие холмы.
Что же было между нами?
Две деревни, три войны,
Были сны реальней яви
С журавлями в облаках,
Да бежал по речке ялик
На высоких каблуках.
Брал алтын за переправу
И красивые слова.
Я каталась на халяву,
Ни жива и ни мертва.
Что же было между нами?
Всё скажу, что не про нас:
Тучи небо пеленали —
У младенца выбит глаз.
Что хранили — не имели,
Чем теряли — спасены.
Восемь пятниц на неделе,
Две поклёвки, три блесны.
И гулял холодный ветер,
Тарабарский говорок,
Он ловил в густые сети
Чёрных галок и сорóк.
Мы сидели, ножки свесив,
Примостившись на мосток.
Плыл на запад тонкий месяц,
Отраженье на восток.

(не) путевые заметки

Пейзаж, куда ни глянь, не нов: снега, снега, снега.
Бежит дорога меж холмов, как водится, долга.
И время замедляет ход, и даже думать лень.
Какой придумывал удод названья деревень?
Такой фантазии полёт—с какого бодуна?
Но, видимо, каков народ, такая и страна.
Повсюду скудная земля—что поле, что погост.
К дороге жмутся тополя в пушистых кляксах гнёзд.
Последняя метель летит, несутся кони блед.
Церковной маковки фитиль горит, как маков цвет.
Провинциальный город N с кремлёвскою стеной.
Не ожидают перемен в прорехе временно́й.
Провинциальный город N, одно из жутких мест,
Где человеку бизнесмен, конечно, люпус эст.
Но тянет дымом и весной. Вблизи дорожных плит
Наличник светится резной, старуха семенит.
Я ворочусь издалека, неся благую весть:
Пускай лишь теплится слегка, но жизнь за МКАДом есть!
В медвежьих брошенных углах, меж пьяни и жулья,
Из света в тень, из праха в прах течёт сестра моя.

поломка

любовь не заслужишь ни делом, ни словом.
прощай, человечек, твой двигатель сломан.
всегда не в себе, но сегодня притих:
на кнопочку жмёшь, а моторчик—пых-пых.
ты вовсе не лётчик, не Карлсон, поди же—
унылой фанерой паришь над Парижем,
то черта клянёшь, то помянешь святых.
на кнопочку жмёшь, а моторчик—пых-пых.
любовь не заслужишь ни словом, ни делом,
любовь—это дар неспокойным и смелым.
прощай, человечек, в починку иди,
чтоб било в груди, чтоб болело в груди,
чтоб рядом с тобой обдавало горячим,
чтоб солнечный диск из-под рёбер маячил.

Никодим

Темнеет, и ты никуда не ходи.
Там нож на тебя наточил Никодим.
Он спрятан в овине меж сваленных кож—
Ни в чём не повинный заточенный нож.
Заблеяли овцы, от страха дрожа.
Уйдёшь со двора—не уйдёшь от ножа.
Ведь даже у тучи над нашим селом
Стальная заточка под левым ребром

мимолётное

Упал туман, лишился чувств,
Подрагивает кожей.
Я поднимать беднягу мчусь,
А он привстать не может.
Немые тянет языки,
И, судя по тирадам,
В тумане бродят рыбаки,
Ему совсем не рады.

Зимнее, холодное

Господи, что я знаю?—
Только просить и ныть.
Ветер над хатой с краю
Дымную тянет нить,
Снег через сито сеет,
В инее лес и луг.
В спальню крадётся север,
Точно чужой супруг.
Стынет в зобу дыханье,
Птица спешит к жилью.
Как говорить стихами
Бедному воробью?
Смолкни, писака праздный,
Слово, внутри замри!
Над горизонтом красный
Кровоподтёк зари…

Способ

Если некуда идти—
Стой, где во́ткнут.
Или разум замути
Сном да водкой,
Или, может быть, спляши.
Есть же способ
Для спасения души
Безголосой.
Свету белому не рад,
Смотришь хмуро.
Есть же омут, есть же яд,
Пуля-дура.
Ведь давно отводят взгляд
Домочадцы.
Если нечего терять,
Что теряться?

Константин Комаров

Оставшаяся на фото

● ● ●

А. Рембо

Когда всё исчезнет, когда всё закончится разом
и в рыбьем желудке умрёт оловянный солдат,
мы правду узнаем по глупым и лживым рассказам
на жёлтых листах, не скреплённых наличием дат.

Ведь звук первородный извечен, но так изувечен,
что в этой тональности трудно становится петь,
поэтому и отвечать нам практически нечем
на то бормотанье, с которым здесь шествует смерть.

Вода здесь мутна, и безумием воздух изъеден
в тех злых городах, что растут, как грибы в голове.
Да ну их всех к чёрту, давай лучше в Африку съедем
и будем в Сахаре резвиться на свежей траве.

Мы время обманем легко, оказавшись далече
от скрюченных им беспокойных мясных автострад,
презрев априорную ложь человеческой речи,
отправимся с чистой душой на каникулы в ад.

Иду за тобою, мой дальний неназваный брат.

В дождь

1.

Изныло небо под свинцовой краской,
И я под слоем времени изныл,
А ливень со спины ко мне подкрался,
Пугая предвкушеньем новизны.
Но он ушёл, как дверью, хлопнув громом,
Оставив мутную унылость луж.
Как этот мир, на первый взгляд, огромен,
И как он мал сквозь призму наших душ.

2.

Входит заря-кокотка
В свежее майское небо,
Грома лужёная глотка
Лужам орёт на потребу.

Капли низринутся скопом,
Отбыв в атмосферном плену,
И, как в окуляр телескопа,
Тайком я в твой сон загляну.

● ● ●

Ты — только мой похмельный бред,
что у зари на страже,
тебя и не было, и нет,
но что не будет — страшно.

Ты — только мой шершавый стих,
печальный и разбойный,
и срок мне вечность не скостит,
что я душой разболтан.

Ты — только мой табачный вздох,
скупая света долька.

Но если я ещё не сдох,
то значит, что не только.

● ● ●

Молчанью не нужен рупор.
Смотри на меня в упор!
Смотри и молчи, чтоб глупым
не вышел наш разговор.

Молчи и смотри. Готово.
Не наша с тобой вина,
что не различает Слово
предметы и имена.

В безумии волн фотонных
теряется слова след.
Насколько мудрец — фотограф,
настолько же глуп — поэт.

Но если не станет света
с последнею головнёй,
мы выживем только этой
нелепейшей болтовнёй.

Ни кисти мазок, ни нота
не смогут помочь — не ври.
Оставшаяся на фото,
со мною поговори.

● ● ●

Пространство сладко, словно карамель,
и ядовито, как плохая проза.
Каминная карминная Кармен
жестоко гибнет в пламени мороза,

а я не слышу пенья аонид,
а вижу только исполненье планов,
и говорит со мною Леонид,
известный под фамилией Губанов.

Он говорит, но тихо и с трудом,
и я его почти уже не слышу.
Передо мной желтеет каждый дом,
охреневает и теряет крышу.

В моём подвздошье застревает ложь
в потеху изолгавшемуся люду.
И ты когда-то к этому придёшь,
но я тому свидетелем не буду.

Dum spiro, spero… Чёрта ли?! Глоток
небытия мне повредит едва ли,
ведь этот сумасшествия виток,
наверное, последний по спирали.

А наверху… Там пусто, наверху.
Там скучно, там за час идёт минута.
Скелет в шкафу рассыпался в труху.
А я струхнул. И выжил почему-то…

И снова вижу серые дома,
И вновь штампую мрак напропалую.
Идёт такая лишняя зима.
И сигареты я взатяг целу́ю…

● ● ●

Наплевать, что слова наплывают
друг на друга в усталом мозгу.
Обо мне ничего не узнают,
если я рассказать не смогу.

Но не в этом ирония злая
задыхания строк на бегу.
О тебе ничего не узнают,
если я рассказать не смогу.

Снова рифмы морскими узлами
я бессонные строфы вяжу.
Ни о чём ничего не узнают,
если я обо всём не скажу.

● ● ●

О, как стенные трещины узорны!
Мир герметичен и геометричен.
Люблю тебя, как Данте Беатриче,
И размягчаюсь, словно звук сонорный.

Смотрю в окно, а там пейзаж неброский,
Под глазом неба пыльные мешки,
И набело, не делая наброски,
Пишу тебе влюблённые стишки.

И пахнет время пряником с корицей,
И сердце рвётся изнутри на части,
И хочется кому-то покориться,
Чтобы не сдохнуть от такого счастья.

Гармония не делится на три,
Как две уснувших в пачке папиросы.
Не задавай дурацкие вопросы,
А пристально в глаза мне посмотри.

● ● ●

Бессонница, Гомер, тугие паруса…
В конце концов, всё попадает в списки:
и шмель живой, и мёртвая оса,
вся водка, анекдоты да ириски.

А что же остаётся? Ничего,
за вычетом протяжных отголосков,
на чернозёмной почве речевой
взрастающих лениво и неброско.

Слова просты, и нет у них фамилий,
как брёвнышки Харонова плота,
но сквозь густой туман полифонии
я слышу, как хрустальна немота,

сквозная и внесписочная тоже,
красноречивей смерти говоря,
она меня когда-то подытожит,
другие звуки заново творя.

Я окажусь в последнем списке списков,
среди джедаев, сов и кораблей.
Ах, ласточка, как ты летаешь низко!
Приклей меня к молчанию, приклей…

Алексей Антонов

Там, где упал «боинг»

«Фоторамка на забытой стене» (так называется книга, вышедшая в московском издательстве «Вест-Консалтинг») — первый опыт в прозе пермского поэта Романа Мамонтова. Повесть «Суки-Буги-Дэнс» и цикл рассказов, давший название всей книге, на первый взгляд, поданы в манере обычной «постсоветской чернухи». Да и населены большей частью малосимпатичными персонажами. Здесь и Варька-обмуровка, и Серёга-хлыщ, парнишки-школьники, тырящие в автобусах мелочь, передаваемую на билеты, предприимчивый студент, ухитрившийся обсчитать гаишников при даче взятки… Под стать населению книги и её сочный язык: «На быструю руку можно и суку» (рассказ «До первого снега»), «За трахи-охи и мы не лохи» («Суки-Буги-Дэнс»)…

Однако вскоре понимаешь, что обозревание «тёмной стороны» жизни — не самоцель для автора. И что перед тобой настоящая литература с её всегдашним вниманием к человеку, каким бы он ни был. Те же герои повести «Суки-Буги-Дэнс» — застигнутые врасплох лихими девяностыми студенты, играющие рок, — несмотря на всю их подростковую брутальность, сленг и постоянные выпивки, заняты, в сущности, мировоззренческими вопросами: как не потеряться в мире денег, в котором нет места искусству, как сохранить это искусство в себе. Конечно, они понимают, что «надо, пацы, зарабатывать. Сейчас время такое! <…> Из воздуха делают состояния…». Или: «…Млечный Путь… делит небо пополам», а деньги делят под ним всё остальное. И среди героев повести найдутся люди, готовые за деньги сдать что угодно: друзей, команду, саму музыку. И всё-таки искусство останется вечным. Ибо воздвигнутся единицы, которые, вопреки всему, отыщут редчайшую, может — единственную, траекторию в жизни, не отказавшись при этом ни от неё, ни от музыки… Об этом, собственно, и повесть.

«Фоторамка на забытой стене» — удивительно точное название для цикла рассказов. Это не просто развёртывание в памяти мгновений прошлого. А прицельное, «фотоувеличительное» всматривание в них: «Я сижу за письменным столом и листаю фотоальбом. Что-то накатывает; вроде бы не сентиментальный…» («Ясырев»).

И вот уже в «фоторамке» проявляются частные дома в районе пермской Бахаревки, школьная лыжня вдоль железнодорожной трассы, где знакомы каждый спуск и ложбинка, подгоняющий лыжников учитель физкультуры Боб… И тут же в калейдоскопе памяти эту картинку догоняет новая: «Мне стукнет тридцать шесть, и рядом с тем местом, где, будто крышка секундомера, сверкала лысина Боба, упадёт пассажирский самолёт «Боинг-737», прямо в ложбинку, вспахав шпалы и рельсы. <…> В дождливое утро по центральным каналам телевидения прозвучит фраза: «…крушение борта «Боинг-737» в районе «Бахаревка». Скупое сообщение, а для меня целый мир втянут временно́й воронкой этого места…» («Всё лучшее впереди?»).

«Фоторамка на забытой стене» и есть эта «временна́я воронка», в которой отражается не столько пространство, сколько время. Это не ностальгия по прошлому, которое дорого само по себе, а долгое пристальное вглядывание: чем же оно было на самом деле? Ведь странным образом трагедия вписывает прошлое в какое-то новое непонятное измерение…

В рассказе «Дачный суп» мы видим обычный дачный домик на маленькой железнодорожной станции. Автор повествования идёт на станцию за супом-концентратом в пакетиках, чтобы приготовить незатейливый обед, и задерживается в дороге. Его друзья Макс и Эдик, которым хочется есть, недовольны. «Они кипятятся и кричат: „Кто поступает так? Одни ботаники или уроды!“»… «Июль. За нами школа»… «Мелкая дрожь огней станции Оверята, что посвистывает в низине маневровыми тепловозами…» Обыденность?

Но дальше следует опять-таки временно́е измерение сцены: «Им глубоко плевать, что через пятнадцать лет Эдик будет служащим британской нефтяной компании, причём успешным, со всеми соответствующими атрибутами: квартира в Глазго, автомобиль и белая яхта у пирса. Однажды компания зальёт Мексиканский залив нефтью, а Макс — до краёв себя водкой…» Что делать, у памяти собственная, неподвластная науке логика: после того — значит, вследствие того…

Многим понравится стиль молодого автора — лирично-ироничный стёб. Генерал у него — «сержант с лампасами» («Степь да степь. Кругом!»).

«Неподражаем вкус и цвет кофе из гранёного стакана имени Веры Мухиной!» («Поликлиника»). Роман Мамонтов хорошо цепляет жизнь глазом: «„А ну брысь, лешак полосатый!“—Антонида Кузьминична погрозила полотенцем коту, пытавшемуся лапой сбить со стола кусочек сала. Тот спрыгнул на пол, отвернулся и обиженно заводил хвостом» («Леса достославные»). Метко припечатывает словом: «Им нравился вокал шароварного Вадима Казаченко» («Степь да степь. Кругом!»). А ведь и в самом деле—ничем иным не запомнился!

В то же время автор уже многое знает про жизнь во всех её проявлениях: «Надо быть осторожным с такими девушками, поскольку дьявол щиплет им задницы и толкает на какой-нибудь эрудированный член. Но проходит предначертанное время, и, пресытившись тусовками, квартирами и скрипучими диванами, они успокаиваются—находят мужика неопределённых лет, рожают ему чадо и благополучно расстаются с искусством. Иные—спиваются…» («Поликлиника»).

Но до настоящих вершин Роман Мамонтов добирается лишь тогда, когда забывает про эпатаж и иронию, про всю эту внешнюю занимательность. Там, где он вырывается на просторы чистой лирики,—строки его дышат неподдельной силой…

«По дороге идут старухи. Дорога жмётся к обрыву, шикает под ногами галькой. Старые платья, холодные губы, крупные морщины и по-детски светлые глаза. Сгорбленные старухи—бывшие матери и невесты, жёны и любовницы, куда улетели ваши годы? какие песни вы забыли? какие сказки не дослушали? Идёте, идёте, опираясь на свою жизнь, нагруженные котомками, сумками и авоськами; простуженные станциями, улицами, городами; согретые пеплом былого счастья» («Идти, идти, идти…»).

Вероятно, убелённый сединами маэстро найдёт в этих рассказах немало необязательных слов и подробностей. Они ещё очень неровные по художественному уровню. Однако в них есть настоящее чувство.

И потом—это очень пермские рассказы. Ведь только по-настоящему чувствующий город не как пространство общего бытия, а как частичку самого себя человек мог написать: «В районе оперного, в исторической части города, осенью всё напоминает о прошлом» («Поликлиника»). «Холодный ветерок шлифует трамвайные рельсы, в них отражаются низкие облака и медленно уплывают к набережной».

Как известно, Пермь не скупа на таланты. Здесь когда-то взошли на крыло Виктор Астафьев, Лев Давыдычев, Алексей Решетов, Виктор Болотов, Лев Кузьмин, Николай Бурашников, Нина Горланова, Алексей Иванов… Но сегодня её можно поздравить с рождением ещё одного литературного имени.

Д*и*Н встречи

Волошинский сентябрь: *«золото улова»*

Павел Сердюк

* * *

«Как ядро к ноге прикован шар земной».
Никуда мне от Земли не деться.
В час, когда судьба придёт за мной
и не даст минуты оглядеться,
я с планетой стану заодно,
растворюсь в соцветиях и листьях.
Выход из игры—могилы дно.
Он же—вход в просторы закулисья.
Я неважный в жизни был актёр.
В лицедействе не был лицемером.
Был я прост. А лучше б был хитёр.
Был я глуп и был дурным примером.
Я терял любимых по пути.
Веру и надежду с ними вместе.
Шар земной, пока я здесь, прости.
Я к тебе прикован, но не местью.
Не златые звенья у цепи.
Все мои прибытки—птичье пенье.
Подари покой и усыпи
во блаженном, Господи, успении.

Владимир Коркунов

Нетабуированная книга

Жизнь офисных работников без преувеличений

Новая книга Евгения Степанова «Секс в маленьком московском офисе» (М.: «Вест-Консалтинг», 2012) состоит из двух неравноправных частей: романа, давшего название книге (ранее он издавался под лаконичным заглавием «Лю»), а также пригоршни рассказов—жизненных, задорных (но и—нетабуированных). Роман—весьма спорный, на грани запретного и литературного; интерес к нему вырастает из биографическо-автобиографической плоскости (непонятно, кто чью биографию пишет: автор—главного героя или протагонист—автора). «Секс…»—в некотором смысле клиповое полотно (о подобном мышлении—и это в некоторой степени применимо и к разбираемому нами роману, если говорить о клипе как рекламном методе,—говорил Вячеслав Куприянов в «ЛГ» №28/2012; только в нашем случае дорога ведёт не вниз, что и хотел продемонстрировать Куприянов, а параллельно—самой жизни). Итак, роман—дневник, а сама книга—дитя времени, века-интернета (незаметно пришедшего взамен веку-волкодаву).

Совсем иное впечатление производят рассказы. Они, можно сказать, уравновешивают книгу, добавляя немного классической строгости в подаче материала. Роман—если опираться на литературные признаки (чуть не сказал «призраки»)—скорее психологическое полотно и может стать близок читателю органически, непроизвольно, рефлекторно. Рассказы—в духе времени, это необременительное чтение, приправленное юмором. Они—реалистично-выпуклые, записанные «по личным впечатлениям», и также, хотя подчас весьма неявно, автобиографичны. Описания столь скрупулёзны, что создаётся впечатление реальности происходящего (этим мастерски владел Драйзер, однако он создавал миры, имеющие в прототипах подчас лишь локации). И эта реальность—отчасти грубая, отчасти животная, а ещё—лирическая и философская,—щедро представлена в россыпи рассказов. Но роман на то и роман, чтобы поговорить о нём детальнее. И нам ничего не остаётся, кроме как приблизиться на полшага к нововышедшей книге и внимательно изучить хитросплетения «Секса в маленьком московском офисе».

С ходу и не поймёшь—самотерапия это или литературный приём, дневник перед нами или история нервного срыва—через локальные психологические победы и поражения.

Или—герой находится на стыке реальности и вымысла, приобретая авторские черты, но осмеливаясь поступать и судить о жизни по-своему. Зачин—приметой времени и нравов—прост:

«Их взгляды, как поётся в пошлых, однако нестареющих романсах, встретились, они узнали друг друга. И поняли: просто так эта встреча не закончится».

«Нестареющий романс»—не просто красивый образ, пришедшийся к месту; сама Лю, главная героиня, кажется своему визави выходцем из той эпохи: «В её речи он слышал полузабытые слова. „Мой возлюбленный“ (про гражданского мужа), „велеречиво“ (о чём-то возвышенном) и т. д. Она походила на девушку из прошлого века».

Что цепляет протагониста, Сидора Иванова, в Лю—непонятно. То ли взыграл мужской инстинкт, то ли Лю, ещё студентка, казалась ему, тридцатипятилетнему, притягательно чистой, кому он сможет (а это уже и отцовский инстинкт!) передать свои знания и опыт, используя—сберечь? Кто знает. И знал ли сам Сидор—большой вопрос.

Но мужское взыграло. Тактика соблазнения: опыт, помноженный на расчёт. Сидор, чувствуя интерес девушки (разница в возрасте как-никак пятнадцать лет), старательно демонстрирует равнодушие, добавляя вистов серьёзностью, профессиональным отношением к делу—надевает маску не мужика, но мужчины. И, соответственно, ведёт игру по своим правилам, на которую Лю ловится (разрывая прошлые связи) безукоризненно.

«Они стремительно шли навстречу друг другу, *предавая* своих самых близких людей (Лю—Игоря, а Иванов—дочку и бывшую жену, с которыми он, несмотря на развод, поддерживал самые тесные и высокие отношения, а также свою постоянную любовницу Таньку)».

Но счастье вечным бывает лишь в концовках сказок, а потому очень скоро, когда герои насытились друг другом (но не пресытились!), между ними пробегает электрический разряд конфликта.

Лю, его Лю, поддавшаяся и поверившая в «игру», затевает собственную, показывая истинную силу и власть женщины.

Следует калейдоскоп событий, когда юная соблазнительница флиртует с коллегами и друзьями Сидора, демонстративно подстраивает встречи и звонки—чтобы больнее уколоть, вызвать очередной приступ ревности, задеть.

Но—не уходит, а, отойдя на пару шагов, возвращается, вскармливая и продлевая агонию.

Персонажи то мирятся, то ссорятся, но—вот парадокс!—продолжают любить друг друга. Война—это тоже любовь, но к чему?

Ответ находится как бы случайно: «Любовь—это высшая власть. Лю очень хотела власти».

Её поведение не было местью или капризом, она умело—как заправский манипулятор—дёргала за ниточки, вынуждая взрослого и познавшего жизнь мужчину писать мучительные многостраничные письма (и как школьника—не отдавать!), признаваться, каяться, искать компромисс. Накатывающее безумие перемежается лёгкими передышками, и—новый взрыв. Сидор накручивает себя сам, уже без помощи Лю. Вернее, ей достаточно дать малейший намёк, и костёр ревности, страстей, да сам чёрт не разберёт чего,—вспыхивает с новой силой.

Здесь же приметы времени, биографические штрихи, люди—легко узнаваемые, то тут, то там появляющиеся на страницах дневника-романа: поэт Лисин, друг детства Серёга Арутюнян, поэт Татьяна Бокова,—персонифицируют Сидора Иванова как Евгения Степанова, но не напрямую, а путём намёка, искажения. Попытка понять—реальный это интимный дневник или воображаемый—только добавляет интереса.

Таким образом читатель глубже погружается в подёрнутый психологическим надломом мир Сидора.

Выход находится сам собой: Иванов начинает записывать мысли, стараясь понять, что произошло в его жизни, кто такая Лю и что она делает с ним. Он переносит её на бумагу, переливая из души и одновременно освобождаясь.

«Чтобы как-то выжить, он стал записывать все свои мысли и эмоции. Так он лечился. Он выговаривался. И она—Лю—точно тяжелейшая болезнь—выходила из него».

Он жалел её, любил и ненавидел одновременно. И—восхищался. За его плечами был опыт («К шестнадцати годам у Иванова был огромный опыт побед и поражений. Иванов знал: после поражения жизнь не заканчивается»). За её—только представление о нём (опыте).

«Бедняжка Лю ещё не знала Иванова. И не знала жизни. И не знала себя. Она забывала, что мир всегда развивался—как в спорте—в рыночных условиях. Она блистала на фоне женщин, которые были старше её вдвое.

Иванов жалел Лю. И не брал на работу её сверстниц. Он боялся, что ей будет неприятно. И больно».

В конце концов, мысли и эмоции были записаны. В этой битве Иванов одержал очередные победы, потерпел очередные поражения, но жизнь—и это ключевое—не закончилась. Перевернулась страница. Завершилась глава. Для Лю это произошло позднее.

Взаимоотношения мужчины и женщины—основная тема книги. Ибо женщина появилась после мужчины, из ребра его; а без женщины не могло возникнуть и последующих поколений человеческих. Потому и тема эта вечна; потому, показанная под разными углами, она неизменно, вот уже много веков и даже тысячелетий, привлекает читателя. Книга Евгения Степанова «Секс в маленьком московском офисе» становится ещё одной страницей—главой—этого противостояния полов. Вечного и бесконечно притягательного.

Лев Бердников

Урок анатомии

В то хмурое мартовское утро 1719 года она шла на плаху, как на праздник,—в белом шёлковом платье; в роскошные пепельные волосы были вплетены чёрные ленты. Даже видавшему виды палачу не приходилось рубить голову такой красавице. Белизна её наряда символизировала радость, и сама обречённая была, казалось, исполнена веселья. Значит, была ещё жива надежда на спасение. Ведь наряжалась и прихорашивалась она не для всех, а только для него одного—для главного своего судьи и повелителя, царя Петра Алексеевича. Увидит государь такую раскрасавицу—и вспомнит о своей прежней страстной любви к ней, фрейлине Марии Гамильтон. Вспомнит—и, конечно, помилует. И вдруг—фигура царя взметнулась над толпой зевак. Вот Пётр уже поднимается на помост, подходит ближе, целует её. Впрочем, он лишь прикасается губами к её губам, принимавшим от него когда-то иные поцелуи…

А всё началось в 1709 году, когда при дворе Петра I появилась очаровательная Мария Даниловна Гамильтон, девица бойкая, смышлёная, да к тому же знатного происхождения. Ведь Гамильтоны принадлежали к числу старинных дворянских шотландских родов. Некоторые из них, спасаясь от бесконечных войн между Англией и Шотландией в XV–XVI веках, покинули туманный Альбион и отважились поселиться в холодной Московии. Случилось это ещё во времена царствования Ивана Грозного—на государеву службу вступил тогда иноземец Томас Гамильтон. А его сын Пётр уже вполне обжился на новом месте, состоял «на службе по Нову-Городу», обзавёлся семьёй и стал родоначальником именитых дворян Хомутовых—так русифицировали свою фамилию потомки шотландских Гамильтонов.

Одна из представительниц рода, Евдокия Григорьевна Гамильтон, была женой знаменитого «ближнего боярина» Артемона Сергеевича Матвеева, воспитателя царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной. Матвеев был убит в мае 1682 года мятежными стрельцами за свою верность царевичу Петру. С воцарением же Петра I Гамильтоны пошли в гору и стали процветать. Кому-то из них, как Марии Даниловне, задалась придворная карьера. Её приняла в свой штат и сделала своей фрейлиной Екатерина Алексеевна, тогда ещё невенчанная жена царя, родившая ему двух ещё не признанных дочерей. Обеих дам объединили тяга к роскоши, страсть к нарядам и новым французским модам, а также внимание женолюбивого Петра.

«Быть пленником любовницы хуже, нежели быть пленником на войне; у неприятеля скорее может быть свобода, а у женщины оковы долговременны»,—говорил царь и при этом лукавил, потому что никакими оковами с прекрасным полом себя вовсе не связывал. Патологическая неверность даже по отношению к тем дамам, с которыми его объединяли длительные отношения, отличала монарха. Свою постылую жену Евдокию Лопухину он, увлёкшись дочерью виноторговца из Немецкой слободы Анной Монс, заточил в монастырь. Но и во время своего романа с Анной, длившегося более десяти лет, он беспрестанно изменял ей, в том числе и с её подругами.

Пётр отнюдь не был нежным романтиком. В делах любви он действовал грубо и напористо; за любовь платил деньгами и подарками, а если метресса выказывала недовольство платой, то он ничтоже сумняшеся парировал, что за те же деньги «у меня служат старики с усердием и умом, а эта худо служила». Так царь ответил однажды светлейшему князю Александру Меншикову, который рассказал ему о жалобе одной из таких жриц любви. На что Меншиков, такой же циник, как и Пётр, заметил: «Какова работа, такова и плата».

Петра ничуть не заботило, какое впечатление производят на окружающих его романы то с английской актрисой, то с портовой девкой из Саардама, то с жёнами собственных подданных. Он не умел и не желал сдерживать свои порывы, стремился овладеть буквально каждой женщиной, которая пришлась ему ко вкусу, не исключая даже собственных родственниц. Рассказывали, что в Берлине царь встретился со своей племянницей, герцогиней Екатериной Иоанновной Мекленбургской, поспешно пошёл ей навстречу, обнял её и отвёл в комнату, где уложил на диван, а затем, не затворяя двери и не обращая внимания на людей в приёмной, предался своей необузданной страсти.

Чтобы добиться своего, царь не останавливался даже перед беззастенчивым обманом. Так, в 1706 году в Гамбурге Пётр пообещал дочери одного лютеранского пастора развестись с Екатериной,

так как святой отец соглашался отдать свою дочь только законному супругу. Вице-канцлер Пётр Шафиров получил уже приказание подготовить все нужные документы. Но, к несчастью для себя, доверчивая невеста согласилась вкусить радости Гименея раньше, чем был зажжён его факел. После этого её выпроводили; пришлось, правда, уплатить ей за поруганную честь тысячу дукатов.

Перечислить всех метресс Петра затруднительно. По данным историка-публициста Андрея Буровского, «общее число известных бастардов Петра I достигает по крайней мере 90 или 100 человек. Число неизвестных детей Петра, может быть, ещё больше». По многочисленности потомство царя вполне сопоставимо с отпрысками «короля-солнце» Людовика XIV. Правда, их всех перещеголял венценосный «брат» Петра Август II Сильный, король польский и курфюрст Саксонский, признанный дамский угодник и, между прочим, советчик русского царя в альковных делах,—по преданию, у того было 700 метресс и свыше 350 детей. Мы не знаем, где фиксировал Август II свои любовные победы, а у Петра для сих целей имелся специальный «Постельный реестр», куда он вносил имена тех, кто непременно должен оказаться в государевой постели.

В этот царёв реестр попала и Мария Гамильтон, отличавшаяся редкой красотой и, как бы мы сказали сейчас, отчаянным кокетством (это слово появилось в русском языке позднее—тогда же переводили «глазолюбность»). Пётр распознал в юной красавице дарования, на которые, выражаясь языком той эпохи, невозможно было «не воззреть с вожделением». И вот уже Марии приказывают постелить постель в опочивальне монарха.

Обладая авантюрным характером и неукротимым стремлением к роскоши, юная шотландка, став фавориткой монарха, уже мысленно примеряла на себя царскую корону. Что ей до безродной стареющей Екатерины? Разве может эта плебейка сравниться с ней, поистине царственной, пленительной Гамильтон?! Но Марии не довелось праздновать победу. Пресытившись страстью, монарх вдруг сделался к ней совершенно равнодушен и уже искал новых любовных побед на стороне. Однако никакие фаворитки не могли заменить Петру «свет-Катеринушку», которая приковала к себе живым сочувствием ко всем его делам и заботам, столь ему необходимым. В отличие от Марии Гамильтон, бывшая портомоя сумела стать нужной Петру—его непременной подругой и поверенной в делах.

Но, как известно, свято место пусто не бывает, и у отвергнутой монархом фрейлины нашлось немало утешителей. Публицист Василий Владимиров в своей статье «Русская леди Гамильтон» пишет: «До того перебегать Петру дорогу было просто смертельно опасно, но вот после очень даже лестно для самолюбия переспать с бывшей царской фавориткой. Тем более с такой красавицей». На самом же деле «смертельная опасность» сохранялась и после разрыва царя с Марией Гамильтон, поскольку Пётр не прощал измены даже бывшим своим метрессам. Всё это заставляло домогавшихся Марии Даниловны придворных сердцеедов соблюдать крайнюю осторожность.

Мы не знаем имена всех утешителей Марии. Есть сведения, что мимолётное внимание на неё обратил такой утончённый сердцеед, как камергер Виллим Монс (по иронии судьбы, кончивший жизнь на эшафоте). Однако, несмотря на все свои любовные похождения, мысль вновь завоевать сердце Петра не оставляла Гамильтон. И только осознав, в конце концов, тщету своих усилий, она остановила свой долговременный выбор на царском денщике Иване Орлове.

Стоит заметить, что во времена Петра денщики подбирались самим государем (а он слыл тонким психологом и физиономистом!), являлись близкими ему людьми, коих тот посвящал во многие сокровенные дела державы. И подбирались они не «из лучших дворянских фамилий», как полагает Василий Владимиров, а по «годности», то есть по личным заслугам.

Вне дворца Орлов и Гамильтон вели жизнь бесшабашную: шумные развлечения, возлияния, кутежи и всё примиряющая постель. Как и его патрон, Орлов бывал по-петровски груб и столь же непостоянен: иногда в сердцах ругал её поматерному, а случалось, потчевал и кулаком. Никакого политеса! Не оставалась в долгу и Мария—тоже наставляла ему рога. И всё-таки этих двоих тянуло друг к другу—связь их продолжалась несколько лет. Мария несколько раз носила в себе греховный плод их любви, но всякий раз ей удавалось от него избавиться, хотя дело это было крайне рискованным. Однако всё вдруг вышло наружу.

В 1717 году у государя пропал важный пакет. Виновником в этом деле посчитали денщика Ивана Орлова, раздевавшего Петра в тот роковой день. Как потом выяснилось, пакет просто завалился за подкладку царёва сюртука, а тогда Орлова, не дав тому опомниться, связали и начали бить. Не ведая причины монаршего гнева, испуганный денщик бросился в ноги Петру и повинился в своей «беззаконной» тайной любви к бывшей фаворитке Его Величества фрейлине Марии Гамильтон. В этой зазорной связи, как и в других грехах, Орлов, выгораживая себя, всецело обвинял искусительницу Марию. Тут весьма кстати царь вспомнил, что недавно в дворцовом саду нашли трупик младенца, завёрнутый в дорогую салфетку. Он тут же соотнёс сей факт с «блудодейкой» Гамильтон и приказал схватить фрейлину.

На дыбе Гамильтон призналась в том, что дважды вытравливала плод зазорной любви. Не утаила,

что для покрытия долгов любовника (имя его не назвала) не раз крала у своей благодетельницы Екатерины Алексеевны деньги и разные драгоценные вещи. И, кроме того (и об этом донёс словоохотливый Орлов), рассказывала Мария, что царица, мол, кушает воск, дабы вывести с лица угри. По нынешним меркам—это ничего не значащий пустяк, сплетня, а в ту эпоху это было тяжким преступлением, злонамеренным раскрытием тайн косметических уловок первой дамы России, распространением слухов, порочащих Её Величество.

А что Екатерина? В той далеко не простой ситуации она проявила истинное благородство и добродушие. Ведь в руках мужа была не просто жизнь её фрейлины, ограбившей госпожу ради сожителя, но в первую очередь—судьба её бывшей соперницы, которую Пётр когда-то мог предпочесть ей, Екатерине! Искушение отомстить было крайне велико… Но Екатерина не только сама ходатайствовала за «преступницу», но даже заставила вступиться за неё вдовствующую царицу Прасковью Фёдоровну. Заступничество царицы Прасковьи имело тем большее значение, что всем было известно, как мало она была склонна к милосердию. Но Пётр оказался неумолим: «Я не хочу быть ни Саулом, ни Ахавом, нарушая Божеский закон из-за порыва доброты».

Нельзя сказать, что приказ Петра I «казнить смертию» Марию Гамильтон за вытравливание плода и детоубийство было проявлением его личной жестокости. Это преступление противоречило как юридическим узаконениям эпохи, так и православной морали.

В Библии ясно и недвусмысленно прослеживается мысль о том, что жизнь человека начинается не с момента его рождения, а с момента зачатия. Правило 91 6-го Вселенского Собора гласит: «Жён, дающих врачества, производящие недоношение плода во чреве, и приемлющих отравы, плод умерщвляющие, подвергаем епитимии человекоубийцы». А святой Василий Великий провозглашал: «Умышленно погубившая зачатый в утробе плод подлежит осуждению смертоубийства. Тонкаго различения плода образовавшегося или необразованного у нас несть…»

В христианских странах до конца XVIII века убийство нерождённых детей было запрещено законом. А на Руси официально смертная казнь за аборт вводится в 1649 году в Уложении, принятом при царе Алексее Михайловиче (гл. 22, ст. 26): «А смертные казни женскому полу бывают за чаровство, убийство—отсекать головы, за погубление детей и за иные такие же злые дела—живых закапывать в землю».

До Петра Великого отношение к незаконнорождённым детям и их матерям в России было ужасным. Чтобы не навлекать на себя беды, матери, несмотря на строгость наказания, подбрасывали прижитых детей в чужие семьи, или же малютки безжалостно вытравлялись из чрева, а коли родились, то нередко умерщвлялись самими родителями. В целях искоренения этого зла 4 ноября 1715 года Пётр I издаёт указ «О гошпиталях», где, в частности, отмечает: «Зазорных младенцев в непристойные места не отмётывать, а приносить в гошпитали и класть тайно в окно». И далее—вновь угроза матерям-детоубийцам: коли кто умертвит такого младенца, «то за оные такие злодейственные дела сами казнены будут смертию».

И всё-таки, по понятиям старой Руси, для таких преступлений, как детоубийство, находилось много смягчающих вину обстоятельств. Но Пётр, решая судьбу преступницы, не только неукоснительно следовал букве закона—его одушевляло мстительное чувство оскорблённого любовника. Непостоянный, сам изменявший женщинам с лёгкостью, царь в то же время не прощал неверность даже своих бывших фавориток. Вспомним, в какую ярость привела царя им же брошенная первая жена лишь тем, что посмела кого-то, кроме него, полюбить! А как был жестоко пытан и мученически казнён её возлюбленный майор Глебов! А разве не мелок был Пётр по отношению к своей прежней любовнице Анне Монс: у неё отобрали дом и ценные подарки; годы находилась она под домашним арестом—ей запрещалось ездить даже в кирху. А в Преображенском приказе до тридцати человек сидели по «делу Монсихи» и давали показания о том, как Анна злоупотребляла доверием царя… Пётр был самодержец и собственник, не желавший ни с кем делиться даже своим прошлым.

Марию Гамильтон несколько раз пытали в присутствии царя, но до самого конца она отказывалась назвать имя своего сообщника. Последний же думал только о том, как бы выгородить себя и во всех грехах снова винил её. Этот предок будущих блистательных Орловых—фаворитов Екатерины II—вёл себя отнюдь не геройски.

Есть гипотеза,—впрочем, прямо-таки фантастическая!—что ярость царя была вызвана тем, что убиенный Марией младенец, найденный в дворцовом саду, был прижит ею не от Орлова, а от него самого. Но подтверждений этому нет…

…Поднимаясь к эшафоту, Мария пошатнулась, теряя от страха сознание, и Пётр заботливо поддержал её, помогая сделать последний шаг к плахе. Затрепетала Гамильтон, упала на колени перед государем. Но царя уже сменил палач, и голова несчастной покатилась по эшафоту. Современник сообщает потрясающие подробности: «Великий Пётр… поднял голову и почтил её поцелуем. Так как он считал себя сведущим в анатомии, то при этом случае долгом почёл рассказать и объяснить присутствующим различные части в голове; поцеловал её в другой раз, затем бросил на землю, перекрестился и уехал с места казни».

Василий Димов

Анабечди[1]

Игра

Игра воображения—действительно игра.

И, пожалуй, самая захватывающая из всех доступных человеку игр.

В ней можно позволить себе всё: быть тем, кем хочешь, стать таким, каким мечтаешь.

В ней можно даже рискнуть и оказаться тем, кто ты есть на самом деле.

В ней можно манипулировать временем, пространством, мыслями, представляя себя философом или оратором, выдавать чужие великие идеи за свои, с головой погружаться в нескончаемые сложносюжетные капризы, а потом, не стыдясь, безболезненно исправлять многочисленные ошибки, умело ретушировать глупость и, в конечном итоге, из раза в раз, как ни в чём не бывало, начинать жизнь заново.

Вот когда удаётся с лёгкостью менять любые маски, неприкрыто лгать и относиться к этой лжи как к полноценной правде.

Более того—появляется соблазн опережать события, бравировать ещё не совершёнными грехами и, не боясь наказания, заигрывать с небесами.

Игра воображения—игра, способная создавать параллельную реальность, которая в большинстве случаев выглядит куда выразительнее, чем бытие.

А иногда достойнее.

Логичнее.

Откровеннее.

Нет, речь не идёт о пренебрежении к миру или о бегстве от собственного «я».

Напротив, это естественный поиск «я» истинного.

Скрытого зачастую не столько от посторонних, сколько от самого себя.

Но насколько можно доверять всякого рода надуманным параллелям?

Какой из двух поступков искреннее—воображаемый или совершённый наяву?

Как относиться к остальным homo sapiens—беря пример с книжных героев или исходя из личных слабостей и корысти?

Появление таких вопросов способно вывести психику из равновесия.

А то и вовсе лишить ума.

Воображение же—всегда отдушина.

И надёжное укрытие.

Где можно перевести дух, разобраться с комплексами и фобиями.

Где можно собраться с силами, позволив себе многое: и дерзость с коварством, и отчаяние, на которые прилюдно обычно не хватает характера.

Это самый доступный способ свержения стереотипов.

Первый шаг к обновлению.

А значит, и к созиданию.

Трудно найти себе более верного друга.

Воображение никогда не предаст.

Оно спасает даже самого безбожного, трусливого и наивного.

Разрешает открыто любить запретное и покушаться на бессмертие.

А ещё позволяет по-настоящему ненавидеть и не искать объяснений своей ненависти.

Ничто так не приводит в движение чувства и не провоцирует на неожиданные выходки, как неуёмная человеческая фантазия.

Ничто так не искушает и не заражает азартом, как попытка представить мир иным.

И себя в том числе.

Почти всегда получается.

Почти всегда получается ярко.

Хотя порой и с трудом узнаваемо.

Главное—держаться подальше от судей.

Пусть лучше их место займут кумиры.

Которых всегда можно принести в жертву.

Чтобы потом навыдумывать себе новых.

Игра воображения…

Нескончаемая.

Длиною в вечность.

Её ДНК целиком и полностью состоит из образов.

Иногда сложных.

Иногда пустых.

Иногда неосторожных.

А иногда умышленно неосторожных.

«Семь раз отмерь»—здесь неуместно.

От идеи до воплощения всего мгновенье.

И чем процесс скоротечнее, тем слаще результат.

Другой такой игры нет.

И по простоте.

1. Отпечаток *(груз.)*.

И по глубине погружения.
Она сама себя выдумала.
Из воздуха.
И настроения.
Её принцип—импровизация.
Её блеск—в остроте.
Особенно это ощущаешь, когда оказываешься перед чистым листом бумаги с карандашом в руке.
Кириллица, латиница, грузиница отныне в твоём беспощадном распоряжении.
И ты бросаешься в бой.
За своего героя.
Не боясь быть непонятым или осуждённым.
Не боясь ни собственной совести.
Ни ответственности.
Ни безответственности в том числе.
Ты—один на один с собой.
Будто нагой.
Бросивший вызов отражению.

Берлин

Да, Берлин—не вся Германия.
Тем не менее, Берлин—вся Европа.
Ведь сердце и есть всё и вся.
Не в том романтическом смысле, как в песнях.
А в прямом, анатомическом.
Эх, хочется, облачившись однажды в белый халат, покопаться в человеке и человечестве.
Почувствовать себя хирургом-проктологом-гинекологом.
Но ни в коем случае не анестезиологом.
Берлин—самый удачный для этого эксперимента пациент.
Он же—самая подходящая для подобного садизма арена.
Без лишних декораций и прочих выпуклых условностей.
Здесь аллюзии быстро расправляются со временем.
И превращаются в абстрактные каменные изваяния.
Здесь реальность беззащитна перед континентальными амбициями.
И, вопреки логике, готова идти на уступки.
Когда показательно, когда закулисно.
У этого города все признаки истории налицо.
Диагноз—пустая формальность.
Как и многотомная справка сорок шестого года, где он был в деталях описан.
И зачем Берлин брали штурмом?
Жгли.
Рвали.
Кромсали.
Он и сам бы отдался.
На расчленение.
К тому же гораздо раньше отведённого ему срока.
Театр начинается с вешалки, *история—с виселицы.*
Виселицей она и заканчивается.
Таков окончательный зрительский приговор.
Который обжалованию не подлежит.
Театр можно назвать Берлином.
А можно Нюрнбергом.
Лица одни и те же.
И никакой самодеятельности.
Обожаю Лени Рифеншталь[2].
От её шедевров до сих пор мурашки по телу.
И слюны полон рот.
Ничего более оголённо-нервного в Белых Столбах[3] мне отыскать не удалось.
После её сеансов сразу потянуло на подвиги.
Захотелось скорчить рожу кайзеру-монументу.
Примерить на себя музейную концлагерную форму.
Заняться любовью в бункерном будуаре Гитлера.
Даже спустя месяцы после посещения Столбов я с удовольствием попивал мутное баварское на ступеньках Рейхстага, а потом там же разбрасывал пустые банки, которые с грохотом скатывались вниз.
Не испытывая ни страха, ни угрызений совести.
Полиция при этом меня молча прощала.
Fair play[4] в Германии нынче в моде.
Четыре здоровяка в форме равнодушно наблюдали за маленькой вакханалией.
Ну как не воспользоваться такой свободой?
Прямо у них на глазах я покорил ближайшую гору неистребимого бетонного мусора.
На всю округу извергая из себя благое многообразие родной русской речи.
Поупражняться в нецензурной брани на развалинах Берлинской стены—бесплатная забава для многих восточноевропейских туристов.
Не удалось в своё время под дулами автоматов на неё вскарабкаться, зато теперь посчастливилось от души проорать всё, что когда-то ты о ней думал.
Берлин—открытый урок прошлого.
И на нём вправе присутствовать любой гражданин мира.
Без приглашения.
Визы.
И не только еврей.
Ещё на примере Берлина любопытно наблюдать, как миллионы прячутся от своей истории.
Отчаяннее немцев этого не делает никто.
Они продолжают пугаться собственной тени.
Втянув голову в плечи.

2. Лени Рифеншталь (1902–2003)—немецкий кинорежиссёр, работавшая в период расцвета национал-социализма в Германии.
3. Белые Столбы—посёлок в Подмосковье, где находится архив Госфильмофонда РФ; там же находится и одна из крупных психолечебниц.
4. Свод моральных законов, связанных с честностью игры в спорте *(англ.)*.

Без умолку болтая о покаянии.
Осталось лишь переименовать Берлин в Берл-Авив, а Гамбург — в Хайфу.
И стоило тогда заваривать кашу?
Точнее, целых две мировых каши.
После которых даже пустых мисок не осталось.
Ладно, не будем злопамятными.
Великий великого должен прощать.
Ведь среди проигравших был и сам Маркус Вольф[5].
Цвет глаз: пятнадцатый.
Цвет волос: «В».
Категория: годен.
Давайте относиться к себе подобным по-родственному.
В конце концов, мы все появились на этот свет из одного общего смысла.
И все в единое бессмыслие уйдём.
Ещё раз респект Лени Рифеншталь.
Спасибо нордической красотке.
Её мир — не просто проктология с гинекологией.
Это круче.
Это триумф воли.
Арийской.
Хоть и вперемешку с женской.
Жаль, что её не вдохновили неарийцы — Рузвельт, Сталин, Черчилль.
Мы бы ещё такого кино насмотрелись!
И уж совсем непонятно, почему ей не пришёлся по вкусу обаятельный пионер-отличник Хонеккер.
Не повезло очкарику.
Не повезло четверти всех немцев.
А вместе с ними и Белым Столбам.
Лени, ты восхитительна!
И не по-женски отважна.
Ты заглянула в экранное зеркало от имени сходящей с ума нации.
Более того, ты показала миру всё, что в нём увидела.
И в чём так боялись признаться твои соплеменники.
Кино, правда, — самое безжалостное из искусств.
Берлин прочувствовал это на своей шкуре.
Ещё задолго до расчленения.
Коалиция же сделала вид, что ничего не видит.
Да и позже она мало чего замечала.
Тем временем у мучителя-мученика появились свои поклонники.
Можно не сомневаться: скоро народятся и новые боги.
Нарисуются новые оси.
Никто не знает, сколько времени осталось до очередной каши.
И неважно, кто её на сей раз заварит.
Стол не может быть долго пустым.
За аппетитом же дело не станет.
Неубитые медведи всё ещё бродят по лесам, проспектам, странам и континентам.
Так что будет что делить.
И с кем из друзей-врагов ссориться.
«Прощай, оружие» — не про нашу эру.
У голодных и жадных свои счёты с миром.
Свои дорожные карты и свои расчёты.
Флагшток им в руки.
А кусок нужной тряпки подберут по ходу, ближе к очередному «блицу».
Чёртово колесо Истории крутится.
Без тормозов.
И ничего, что со скрипом.
Даже не важно, в какую сторону.
Да хоть во все сразу.
Mahlzeit[6]!

Контрабас

Если о ком-то и можно сказать, что медведь ему на ухо наступил, так это обо мне.
Даже в моём разбухшем личном деле, хранящемся на одной известной московской площади, данный нюанс выделен красным фломастером.
Что повышает авторитет моего полуглухого уха до уровня объекта государственной важности.
Но, слава Богу, их у человека два.
И слава медведю с *товарищами*, которые моё второе то ли не заметили, то ли великодушно пощадили — вдруг оно ещё пригодится обществу.
Так или иначе, мне сохранили полноценную жизнь.
А для музыки — ещё одного, хоть и не совсем внятного, но страстного любителя.
Всё же лучше слушать музыку одним ухом, нежели не слушать вообще.
На фестивале в Байройте я в этом убедился.
Во всяком случае, спящего в сотне шагов от концертного зала Вагнера присутствие столь сомнительного ценителя классики не разбудило и не возмутило.
Нибелунгов с мейстерзингерами тоже.
Стерпели.
Более того, от них от всех я получил удовольствие ничуть не меньшее, чем остальные слушатели.
Впрочем, не Вагнером единым…
Мои восторги, несмотря на природный казус, относятся в равной степени к любой музыке.
Я — всеяден.
То ли от недообразованности, то ли такова специфика моего выбора.
Но особое место в этой бесконечной коллекции занимает контрабас.
Он будоражит внутреннее состояние от первого до последнего звука.
Он затачивает нервы.

5. Маркус Вольф (1923–2006) — руководитель внешней разведки ГДР с 1958 по 1986 годы.
6. Приятного аппетита *(нем., просторечное)*.
7. Байройт — город в Баварии, в котором похоронен Рихард Вагнер и где проводится Вагнеровский музыкальный фестиваль.

Заставляя колотиться сердце в одном ему понятном, неповторимом ритме.
Вот только не знаю, любил бы я контрабас, если бы на нём не играл Ираклий[8].
Как и не знаю, любил бы я Ираклия, если бы он не играл на контрабасе.
Но нам троим повезло.
На гэдээровских развалинах последнего рейха мы ощущали себя в полном триединстве.
Целых три месяца.
Подчинив себе, как рабов, и музыку, и мысли, и благоухающее весной пространство.
Даже скачущий по столу белый теннисный мячик до сих пор вызывает умиление.
Время же, увы, подчинить не удалось.
Оно всегда рубит наотмашь.
Был Ираклий—нет Ираклия.
Был контрабас—нет контрабаса.
Однако музыка под натиском времени устояла.
Признанию не обязательны слова.
Ему достаточно нот.
Смычок пилит.
Струны воют.
Без жажды аплодисментов.
В стиле польского постмодерна.
Ираклий не пожалел собственного эгоизма, сумев красиво себя посвятить.
Одному-единственному слушателю.
В бархатном саду среди облезлых античных статуй.
И посвящение это вернулось ему взаимностью.
У замка Виперсдорф оказалась не только богатая история, но и благородная аура.
Привидения не вмешивались в чужое таинство.
И не навязывали своих средневековых вкусов.
Они были лишь частью интерьера.
Проводниками духа.
Я до сих пор дышу хвойным запахом тех мягких зеленовато-кокаиновых вечеров.
А резкие взмахи длиннющих рук всё ещё всплывают в слегка замутнённых воспоминаниях.
Viva Gabrys[9]!
Viva гений!
Ведь ты и был тем Ираклием.
И благодаря тебе он остался навсегда.
Щепотка белого «снега» альянсу не мешала.
Живая музыка хоть и дружит с запретным, насильно в рай никого не тянет.
Так что земная любовь торжествовала.
Выше её нет ничего.
Однажды родившись, чудо не умирает.
Жаль только, что рождается оно редко.
Случайно.
И в том есть его уникальность.
Вагнер и контрабас могут подтвердить.
Они—вне конкуренции.
А значит, вне ревности.
Они знают цену всему утончённому.
Смычок пилит.
Струны воют.
Соло продолжается.
Который год подряд.
Как со сцены, так и по ночам, в записи.
И ничего, что для одного уха.
Щёки всё равно горят.
До утреннего пробуждения.

P. S.
Ещё раз слава медведю.
А то ведь он мог бы и на второе…
Спросонья, например.
Или спьяну.
Или по наводке товарищей.

Liberty

Самое избитое слово из скудного плебейского лексикона.
На каком бы языке оно ни звучало.
И в каких бы горах эхом ни отдавалось.
На него был, есть и будет спрос.
Оно лишено альтернативы.
Хотя не лишено харизмы.
И ему всегда найдётся видное местечко.
Поближе к сердцу обывателя.
Чтобы стреляло в цель наверняка.
Свобода.
Слово-плакат.
Слово-гранит.
Слово-коллаборационист.
Приложений можно придумать тысячи.
И каждое из них по-своему впишется в образ.
По затасканности, по частоте звучания в мудрёных речах с этим словом не сравнится никакое иное.
Более того, оно с лёгкостью затмевает в новостях любое событие и даже любую проблему.
Потому что уже само по себе оно есть проблема.
От которой никогда не избавиться.
Из-за которой можно лишиться разума.
Поговорите о свободе—вас крупным планом покажут по «ящику».
Покричите с флагом в руках—выдвинут в депутаты.
Не упускайте шанс.
Отвечать за сказанное не придётся.
Ведь ваша персона—всего лишь прикрытие.
Свобода давным-давно перестала быть категорией личностной.
И уж тем более личной.
Превратившись в главного покровителя зла.
Всё, что продаётся в мире,—от её имени.
Всё, что губит душу людскую,—связано с ней.

8. Главный герой романа «Тбилиссимо», игравший на контрабасе.
9. Александр Габриш—современный польский композитор и контрабасист.

Можно, конечно, подать на неё в суд, но, увы, судить её будет некому.
Ну кто осмелится на подобный вызов?
И тем более кто рискнёт привести в исполнение обвинительный приговор?
Гораздо проще найти с ней общий язык, чтобы использовать в меркантильных интересах.
Чаще всего именно так всё и происходит.
Правда, под маркой интересов куда более значимых и глобальных.
Толпа — опытный купец.
Толпа — старый еврей.
Уж она-то знает, что со свободой делать.
Потому что она всегда во главе борьбы.
Даже если это — имитация.
Даже если это — провокация.
Однако, вопреки разным ухищрениям клоунов и иллюзионистов, история аккуратно всё фиксирует.
А значит, и приговор свой когда-нибудь вынесет.
В былые времена под свободой подразумевалась пролитая за неё кровь.
Теперь она чаще ассоциируется с баррелями, кубометрами и симметричными оскалами президентов.
Бедный усатый Ницше — его, наверное, на том свете тошнит от всего происходящего на свете этом.
Но что поделать, сам виноват, не надо было задирать так высоко планку.
Теперь о свободе духа вслух говорить не принято.
Слишком экзотично и не материально.
Поэтому вряд ли кто станет с ней разбираться.
Такая свобода выстрадана не выгодой и спросом.
И не управляется специальными институтами с заумными названиями.
Такая свобода не просто индивидуальна.
Она — безмерно глубока.
Она — интимна.
У каждого к ней свой неповторимый путь.
Ухабистый.
Извилистый.
Долгий.
И не надо стыдиться роковых ошибок и заблуждений.
Потому что они — часть этого пути.
Не надо за них просить прощения у будущих поколений.
А заодно у прошлых.
Да вообще ни у кого.
Такая свобода есть частная собственность.
Она неприкосновенна.
И неповторима.
Более того, она даже незрима.
Будучи вершиной самопознания, она умирает одновременно с человеком.
Тоже физически.
Такой свободе памятников не ставят.
И гимнов не поют.
Такой свободе посвящается жизнь.
Именно об этой свободе говорил Заратустра.
Но сейчас позабытый жрец и пророк молчал.
В городском путеводителе одной из столиц, который я просматривал в переполненном вагоне метро, разумеется, говорилось о другой свободе.
И я не стал с красочной брошюрой спорить.
Я пребывал в отличном майском настроении, направляясь по случаю праздника в центр города, поэтому решил не отвлекаться на философские изыски.
В конце концов, у каждого существа своё представление о свободе.
Значит, и сегодняшний парад в её честь имел право на размах и помпезность.
Тем временем пассажиры в вагоне, словно готовясь к старту, засуетились.
Все улыбались.
Все громко разговаривали и смеялись.
Напоминая возбуждённых фанов победившей команды.
Неожиданно и я почувствовал себя частью этого счастливого народа.
Голос диктора развеял последние сомнения.
Осторожно, двери закрываются.
Следующая станция — «Площадь Свободы».

One

Части тела на выбор.
Цвета, формы, размер.
Что Амстердам.
Что Репербан[10].
Что центральная улица любого города России.
Ты стоишь, будто приклеенный спиной к стене.
Не помня, был ли ты здесь вчера.
И не понимая, как здесь оказался сегодня.
Ты стоишь уже который час.
Не слышащий самого себя.
Невидимый для остальных.
Вроде бы всего и вся вокруг в избытке, но ты этим разнообразием пренебрегаешь.
Ты существуешь в иной плоскости.
В ожидании внутреннего взрыва.
Но взрывать некому.
В голове мелькают лишь случайные мысли для поддержания пульса.
Ни креатива.
Ни азарта.
Ни тлеющего перманентного сумасбродства.
Телефон дёргается в кармане от звонков — тебя хотят видеть близкие, дальние, разные.
Но среди них нет того, с кем бы хотелось говорить.
Или хотя бы обменяться молчанием.
Одиночество — не отсутствие людей вокруг.
И не пугающая забвением тишина.
Это пустота в тебе.

10. Улица «красных фонарей» в Гамбурге.

Это отсутствие того единственного звука или блика, способного заставить тебя творить, претворять или, на худой конец, вытворять.
Когда всё задуманное (исполненное и неисполненное) уходит в безвозвратное прошлое.
Ты замираешь в ожидании чего-то нового.
А оно, будто в наказание, не наступает.
Можно, конечно, все неудачи свалить на стечение обстоятельств.
На всевышние капризы и недоразумения.
Однако сколько ни оправдывайся, сколько ни выискивай в своей душе добродетель, в какой-то момент всё равно осознаёшь, что твоя персона больше ни для кого не представляет ни интереса, ни ценности.
И в первую очередь—для самого себя.
Одиночество—вирус.
Почти не исследованный наукой.
И не признаваемый медициной.
Тем не менее, ты чувствуешь его каждой клеткой.
Каждой воспалённой извилиной.
От него нет прививок и лекарств.
Как нет их от суицида.
Вот почему трудно избавиться от этого наваждения.
Его не сломить разгулом и не заглушить оркестром.
Его ни задобрить, ни запугать.
Одиночество—терминатор.
С генами ада и бессмертия.
Ты стоишь в ночи, им поглощённый.
Не сопротивляясь.
И только мозг где-то в глубине по инерции тихо отстукивает азбуку Морзе…
Озарение наступает спонтанно.
Словно в ответ приходит неведомый сигнал из космоса.
Ты получаешь команду взять в руки спички.
И развести костёр.
Пусть горит.
Обжигает.
Пусть возносится пламя до небес.
Вселенная должна очнуться от прикосновения света.
Признать в тебе частицу себя.
И лишь тогда жар от костра вернёт тебе способность воспринимать мир.
А это уже надежда.
Или хотя бы намёк.
Ещё вчера было не важно, кто тебя окружает, с кем ты отсчитываешь время.
Не имело значения, кто смотрит на тебя, тебя не замечая.
Днём ты жил почти вслепую, по ночам же оказывался под гипнозом тусклой настольной лампы, наедине с комнатными тенями, лишённый своего имени и родства.
И вдруг появляется шанс.
Найти в уличной толпе образ, близкий лично тебе.
Ты снова начнёшь искать.
И поиск этот станет твоим нервом и кровью.
Превратится в непредсказуемый спектакль.
А будет новое действующее лицо в нём придуманным или реальным, не столь важно.
В конце концов, какая разница, кому быть благодарным за спасение?
Главное, что целительные иллюзии начинают дарить неведомые до сих пор чувства.
И в первую очередь—альтернативу твоим затянувшимся заблуждениям.
Без свежих замыслов-вымыслов, правда, можно в петлю залезть.
И жалко себя не будет.
Так ударим воображением по одиночеству!
Невзирая на собственные комплексы и выкрутасы психоанализа.
Превратим неизбежность бытия в победу над пустотой!
Вот только не потерять бы в очередной раз голову.
И не поддаться на оптический обман.
Одиночество—призрак.
Оно никогда далеко не уходит.
Но даже временное спасение от него способно изменить тебя.
Рассвет.
На Репербане гаснут фонари.
Ты отрываешься от стены.
И, кажется, на сей раз знаешь, куда идти.
Чем не повод для маленького торжества?
За компанию приглашаются все желающие.
Приглашаются все одинокие.
Факел как ориентир.
Renaissance.
Или проще: *реанимация*.

C_2H_5OH[11]

Сам по себе сей искуситель ничего не значит.
Градус—он и есть градус.
Ценность представляют лишь его художественные последствия, которые надолго оседают в памяти, как в музейном запаснике, всплывая время от времени на трезвую голову.
Вы когда-нибудь видели пьяного дельфина?
Я видел.
Вживую.
Более того, я пристально за ним следил.
И в профиль, и анфас, и в полный рост.
Не пропуская ни одного его упрямого слова, ни одного размашистого жеста.
Правда, для всех, кроме меня, он с виду не очень-то и дельфин.
Даже не безрогий олень, от которого, по домыслам генетиков, миллионы лет назад произошли эти милые гладкошкурые животные.

11. Формула этилового спирта.

И ходит всегда на полусогнутых, как профессиональный регбист.
И штаны на нём сарафаном висят, как на потерявшем подтяжки Карлсоне.
А то, что он был пьян,—ничего.
Я ведь тот день тоже начал борьбой с похмельем.
Ему была суша по барабану.
Мне—море по колено.
Короче, мы нашли друг друга.
И в редком согласии, и в отчаянных спорах.
Периодически меняя одну полутёмную забегаловку на другую.
И общий язык нашли сразу.
Потому на вопрос респектабельной «Frankfurter Allgemeine»[12], можно ли рассуждать о мировой истории за стойкой бара, без тени пьяного кокетства отвечаю: «Можно!»—и ещё как.
Эта тема—лучшее дополнение к любому будоражащему кровь напитку.
Даже закусок не надо.
Так что ханжеский и лицемерный вопрос газетчиков абсолютно неуместен.
Им тоже свойственно заблуждаться.
Да и вообще, с полным стаканом в руке можно умничать о чём заблагорассудится.
Хоть о бейсболе.
Хоть о сексуальных пристрастиях улиток.
Хоть об акварелях фюрера.
Причём не важно, в стакане водка, коньяк или одеколон из галантерейного ларька.
Ничего страшного, даже если все три—в одном.
Каждый живёт по собственному рецепту.
Градуснику.
И компасу.
Дельфины—не исключение.
Они ведь тоже люди.
И на историю у них есть свой взгляд.
Который, кстати, ни с моим, ни с газетным очень часто не совпадает.
Гаумарджос[13]*!*
Или, как восклицают на Майне: «Prost[14]*!»*
Я уже не одно десятилетие дружу со многими спиртопотребляющими.
И надо сказать, что гуманитарные вопросы ещё ни разу меня ни с кем не ссорили.
А тут вдруг обида на целую газету.
Но заядлого пьяницу это не изменит.
Не протрезвит и не исправит.
Моё воображение не выбирает пепси.
Так что не стоит путать высокое с вульгарным.
Бесполезно навязывать человеку с устойчивыми взглядами на прошлое приторные вкусы.

12. Речь идёт о статье «История за стойкой бара», опубликованной в этой газете в 1999 году по поводу романа «Аллюзии Святого Поссекеля».
13. Здравица *(груз.)*.
14. Здравица *(нем.)*.

С русской рулеткой они не сочетаются.
Как и с нерусским Вагнером.
Остальным моим (по крови вашим) персонажам они тем более чужды.
Я—в своих слабостях последователен.
Поэтому что хочу, то в своих текстах и ворочу.
Не ваше дело, господа бумажные.
Мы сами с усами.
И даже с бородой.
Так что не судите строго.
И не приписывайте лишнего.
Мистикой я не злоупотребляю.
Идеологией тоже.
Злоупотребляю только алкоголем.
И с огромным удовольствием.
Впрочем, чего я перед вами оправдываюсь?
Меня вам всё равно не понять.
Вы же никогда не видели наяву пьяного дельфина.
Точно знаю, что не видели.
А я видел.
Так-то!
И даже до глубокой ночи шатался с ним в обнимку по улицам и разным хинкальным.
Жаль только, что на брудершафт мы не выпили.
Забыли.
Наверное, нужно было пригласить в компанию сказочницу Линдгрен.
Вот кого не хватало.
Она бы напомнила.
Затмив своей непосредственностью все спорные злоключения мировой истории.
И может, заодно б подтяжки в подарок дельфину прихватила.
Для полноты образа.

Двое

Дружба—всегда зависимость.
Дружба с алкоголем—зависимость вдвойне.
Иногда настолько привыкаешь к главной способности любимого напитка отправлять реальность в нокдаун, что надолго выпадаешь из повседневного графика и забываешь о существовании реальности вообще.
Такая дружба редко терпит третьего лишнего.
Она сродни оргазму, делиться которым ни с кем не хочется.
Я наливаю рюмку за рюмкой.
Без праздного шума и свидетелей.
Без спешки, льда и тостов.
Я наливаю рюмку за рюмкой, и окружающее пространство постепенно теряет свой обывательский лоск, а заодно привычную форму и устойчивость.
Сорокаградусный импрессионизм надолго погружает в густой нелётно-погодный туман.
Но ухудшающаяся видимость меня не отвлекает.
Идей с каждым глотком всё больше.
Они всё смелее и разнообразнее.

И друг с другом не соперничают.
Они с лёгкостью перемешиваются, как джин с тоником, превращаясь в бесконечно тягучую пьяную гениальность.
Которую нельзя ни скорректировать, ни оспорить.
А по форме напоминающую то ли строгий выговор, то ли приговор.
Возбуждённый мозг начинает рулить на полную мощь и по всем направлениям.
Мозг—безумец.
Обольститель.
Творец.
Я удивляюсь своей заведённости, своим спонтанным открытиям и способностям.
Не понимая, откуда их столько и сразу.
И лишь одному алкоголю известна подоплёка этой поистине неземной плодовитости.
Вот из чего рождаются типажи.
Слезливые и высокопарные.
По замыслу—величественные, по мнению критиков—слащаво-смазливые.
Одним словом, художественные.
Дружба всегда держит автора в тонусе.
Но она не только продуктивна.
Она—репродуктивна.
Особенно с того момента, когда появляется мягкое головокружение к концу дебютной бутылки.
Наступает время нового восприятия.
Время—без времени.
Лишённое колкостей и нудностей бытия.
Переполненное ехидством и злым юмором.
Да здравствует вседозволенность!
Долой жеманство и уставное приличие!
Я наливаю рюмку за рюмкой.
И готов проявить себя в самой сумасбродной роли.
Но готовность эта остаётся невостребованной.
Энергия кипит исключительно внутри.
И выплеснуться наружу ей не позволяет отсутствие уверенности в ногах.
В конце концов я смиряюсь.
Окончательно зарывшись в свои эмоции и мысли.
Через пару часов, по пути из кухни в спальню, меня нечаянно останавливает собственное отражение в зеркале.
Разглядеть в колышущемся силуэте знакомые очертания удаётся с трудом.
Я стою и смотрю на себя.
С высоты предвзятого зрителя.
Оцениваю свой размазанный портрет работы неизвестного художника.
И нахожу себя героем.
Губы надуваются от важности.
Рука небрежно тянется за сигаретой.
Кто сказал, что я пьян?
Не-е-ет…
Последняя рюмка ещё не выпита.
Самая умная мысль ещё не зафиксирована.
Вектор моего движения меняется по беззвучному велению: «Кругом!»
В игру вступает второе дыхание.
Из холодильника появляется новая бутылка.
Недозамкнувшись, круг вновь размыкается.
Моё состояние—прекрасно!
И отнюдь не похабно.
Я не могу нарадоваться этому открытию.
За что всечеловеческая органическая благодарность Дмитрию Ивановичу.
Менделеев как синоним бессмертия!
Его величайшая интуиция породила в моём мозгу не одно поколение шестистопных ямбов.
И эту цепь химических реакций не остановить…
Вторая бутылка пьётся с ещё большим удовольствием, чем её предшественница.
А то, что после такого размаха я могу и не добраться до постели, меня совершенно не смущает.
Сон—он и за столом сон.
И на полу сон.
Главное, чтобы его никто не потревожил.
Вот только жажда тебя никогда не пожалеет.
О дружба, ты не знаешь границ!
С какого ракурса на тебя ни взгляни.
Двое навеки.

Тифлис

Наверное, нигде и никогда я не испытывал столько восторгов и разочарований, как в Грузии.
Иногда по одному и тому же поводу.
А ещё чаще—по отношению к одним и тем же людям.
Моментами я даже не соображал, что происходит.
Особенно за моей спиной.
За кого меня принимают.
Или за кого себя выдают.
У грузина на тысячу настроений тысяча мнений.
Причём сориентироваться в его шквалистых эмоциях, которые зачастую не вписываются ни в какие кодексы, удаётся не сразу.
Не говоря уже о том, чтобы разобраться, где причина, а где следствие.
В Грузии тебя могут мгновенно полюбить.
И точно так же, без какой бы то ни было причины, от души возненавидеть.
Среднего не дано.
Мне довелось на себе испытать все эти американские горки грузинской ментальности.
Резкие перепады которой способны вывести из равновесия любого инородца.
В первых письмах из Грузии я настолько путался в своих впечатлениях, что, перечитывая текст перед отправкой, иногда себя же не понимал.
Точнее, сам себе не верил.
Но наступавший новый день все нестыковки и неправдоподобности, увы, подтверждал.
Независимо от конкретных лиц и обстоятельств.

Независимо от того, появлялась ли на кого-то скрытая обида или нет.

Грузин не стесняется своих радостей и слёз.

Напротив, он гордится ими.

Превращает их в роли.

Особо это проявляется при скоплении народа.

В возбуждённом состоянии.

И конечно, за столом.

Когда сумма температур всех присутствующих тел превращает пространство в баню.

А молодое вино на пару с чачей становятся символом всего самого достойного, крепкого и мудрого.

Мера—потеря имиджа.

Мера—всегда за скобками.

Каждый недопитый бокал считается оскорблением не только присутствующих, но и чуть ли не всей нации.

Возражение бесполезно.

Как и опасно наличие любого отличного от Стола мнения, высказанного вслух.

Так можно всех собравшихся против себя настроить.

А там, глядишь, и страна поднимется.

Чтоб дать отпор пришельцу.

Чем не очередной подвиг для обновлённых учебников истории?

Грузины—люди с фантазией.

Которая служит им часто не только стимулятором тщеславия, но и оружием.

Убивающим репутацию человека наповал.

После чего вовек ни оправдаться, ни отмыться.

Ни в узком личном, ни в широком публичном смысле.

Удостоить врага чести, принести друга в жертву, сочинить оду новому покровителю.

Одни называют это смелостью и талантом.

Другие—клеймом конформизма.

Но сколько бы ни спорили грузинолюбы с грузинофобами об уникальности homo cartvelicus[15], выявить правого им не под силу.

Время на «горячо-холодно» не влияет.

Любовь и ненависть продолжают поочерёдно обрушиваться на всех подряд.

Без разбора.

И снисхождения.

На любом уровне.

По разным случаям.

Впрочем, в Грузии ко всему привыкаешь.

Сумбурные эмоции, помимо воли, постепенно захватывают и твоё инородское сознание.

Пафос понижается до уровня будней.

И ты уже не стесняешься воспринимать некогда чужие мысли как свои.

Однажды даже покажется, что таким ты и родился.

Причём не где-то далеко, а на берегу Куры.

У подножия плечистых гор.

Где любовь и ненависть нанизаны на один шампур.

Ты, конечно, можешь изредка покрутить носом.

Схватиться за голову.

Но никто тебе не даст нарушить местную гармонию.

Хоть кулинарную, хоть моральную, хоть театральную.

Грех—не грех, если его нельзя искупить.

Бред—не бред, если нельзя поставить точный медицинский диагноз.

Традиционное недержание чувств проще списать на темперамент.

Точнее, на генетическую вольность богатого национального колорита.

Последние годы, находясь в Грузии, письма я сочиняю всё реже и всё короче.

Чтобы не повторяться.

И лишний раз не заблуждаться.

Но заканчиваю их по привычке одинаково.

Из Тифлиса с любовью.

Растаявший апофеоз.

Алиби

Человек с рождения ощущает в себе двух извечных антагонистов: амбиции и лень.

Так и тянется эта вражда изо дня в день.

С унылым постоянством.

С умным видом.

И переменным успехом.

Независимо от возраста, физических данных и интеллекта.

Зачастую даже назло здравому смыслу.

Однако стоит самому разумному из земных существ осознать, что с ним и в нём происходит, что ему больше всего мешает, как он решается на хирургическое вмешательство, избавляясь от одного из конкурентов.

И вот выбор сделан.

Оставшийся в живых торжествует.

А воспоминания о междоусобицах остаются лишь в старых дневниковых записях, которые рано или поздно всё равно оказываются на свалке.

Копание в себе—не от безделья.

Это форма существования.

Которая низводит почти до нуля значение среды обитания.

Лучше дружить с одним победителем, чем с двумя побеждёнными.

Citius, altius, fortius.

В честь наведённого порядка сразу зажигается олимпийский огонь.

И его уже не погасить.

Даже если твоим лидером становится лень.

Так что с этой минуты «я» можно смело писать с заглавной буквы.

Можно заводить новый дневник.

Награждать себя новыми перспективами.

15. Cartveli—грузин *(груз.)*.

Комплиментами.
Мифами.
И любить себя с удвоенной силой.
Тучи над головой рассеиваются.
На фоне синевы появляется нимб.
Homo и sapiens наконец обретают положенное им по рождению единство.
Эго торжествует.
Эго как солнце.
Именно оно в первую очередь страдает от разных внутренних распрей.
И несёт ответственность за всё в себе.
Эго не терпит несовместимостей.
Презирает двусмысленность.
И злится, когда его будоражат «свои» же.
Будучи властью верховной, оно готово без оговорок признать любую власть исполнительную.
Для него всё равно: что лень, что амбиции.
Главное, чтобы его не беспокоили.
И не заставляли спускаться с высот на землю.
В конечном итоге, эго нет дела до того, каков есть человек по сути.
Оно в такие мелочи не вникает.
И, несмотря ни на что, примет и себя-убийцу, и себя-спасителя.
Линия жизни как линия тщеславия.
Вот оно—нефильтрованное естество человека!
Вот она—невозмутимость жанра!
Это и есть любовь к себе.
В чистом виде.
Без примесей и суррогатов.
И в другом виде её не бывает.
Причём любовь эта—не часть характера, и вообще она не может быть частью чего-то.
Она над характером.
Над телом.
Над всем.
Она существует вне религии и уж тем более ничего не знает о муках совести.
А вся её квинтэссенция выражается одной незамысловатой, но броской фразой: «Я плевать хотел…»
Но на что или на кого конкретно, значения не имеет.
Мир громаден.
Соблазнов—тьма.
Плюй, пока сил хватит.
И хотя объекты меняются, отношение остаётся.
Вглядитесь в лицо старости.
Даже приближение смерти на это отношение не влияет.
Наоборот, с годами оно превращается в жгучую, злобную потребность.
Иногда без него не то что жить—дышать тяжко.
Плевок—не просто средство выражения чувств.
Это самый точный отпечаток себялюбия.
За который не надо ни перед кем краснеть.
Который всегда готов на преступление.
Но никогда не опустится до покаяния.
Он—за пределами реалий.
Аналогий.
И патологий.
Он—враг всех авторитетов.
Знаний.
И пониманий.
«Я плевать хотел…»—это ген.
От него не избавиться.
Впрочем, себя мне уже не изменить.
Каков есть, таков есть.
Может, орёл, а может, решка.
Может, стихи, а может, стихиЯ.
Дактилоскопия.
Души.

Россия

Мой вечный транзит.
Мой родной неуютный вокзал.
Шумный.
Серый.
Безразличный.
Лишённый улыбок и грусти.
Смешавший в нетрезвое тягучее месиво всех своих пассажиров.
И сам растворившийся в них.
Я стараюсь не распаковывать свои чемоданы, даже когда в России живу.
Даже когда возвращаюсь из затянувшейся поездки с мыслью: «Наконец дома».
Но надолго никогда не получается.
Надежды быстро меркнут.
А вслед за ними и настроение.
Потому что меньше всего друзей у меня в России.
И меньше всего меня ждут именно здесь.
«Лучше бы я не приезжал»,—эта мысль возникает уже через несколько дней после приезда и каждый раз звучит как прокурорский вердикт.
Убеждать себя не торопиться—бесполезно.
На очередные сборы уходят считанные минуты.
Никакого волнения.
Ни прощальных звонков, ни «до свиданий».
И опять—в дорогу.
За новыми приключениями.
В надежде на новых спутников.
А может, и единомышленников.
Отъезды-приезды уже давно превратились для меня в обыденность.
Нет мужества уехать навсегда.
Нет терпения оставаться.
Разрыв отношений с прошлым—болезненный и сложный.
Для этого нужно либо окончательно потерять память, либо напрячь силу воли, с которой у меня слабовато.
Но порой хочется решить всё одним махом.
Не задумываясь о последствиях.
Без оглядки на совесть.

И ни перед кем не оправдываясь.
Идеальный образ России — на расстоянии.
Вблизи же слёзы радости почти всегда приобретают вкус горечи.
Вот и получается, что *ностальгия — понятие метрическое.*
Когда-то давно интуиция подсказала мне формулу: «Я везде чужой, и потому — свободен».
И Россия не стала исключением.
Более того, время эти слова не только подтвердило, но и придало им пророческий смысл.
Заставив меня в них поверить.
Поначалу мой оптимизм пытался их опровергнуть, однако суть так и не изменилась.
В конце концов они стали моим знаменем.
Во всех моих удачах и поражениях.
В этом нет ничьей заслуги.
И ничьей вины.
В том числе моей.
Впрочем, быть чужим — не только тяжкая ноша.
Это ещё и привилегия.
Для кого-то транзит — воплощение временности, неустроенности, неопределённости.
Для меня же это форма.
Характер.
Стиль.
А содержание подойдёт любое.
Его всегда можно выдумать.
Потому что оно не более чем наполнитель.
Который время от времени приедается.
И требуется замена.
Такова география личной свободы.
Между двумя полюсами.
Легкомыслием и абсурдом.
Что остаётся делать?
Лишь искать какой-то особенный полюс, третий.
Периодически переключаясь с одной волны на другую.
Пока не поймёшь, что этого третьего в природе не существует.
До сих пор все пути вели меня не в Россию, а из неё.
Спасибо, что пути эти меня ещё уверенно ведут.
Спасибо Богу.
Спасибо ветру.
Без них не достичь победы.
Победы воображения над рассудком.
А точнее — себя над собой.
У художников-бродяг своё особое представление о родине.
Для них это не то место, где они родились, а то, где им хочется умереть.
Вот и носятся слишком впечатлительные человеки до последнего вздоха.
По земле.
В поисках надгробного камня.
Чтобы успеть высечь на нём крест.
Кто-то успевает.
Кто-то нет.
Самая длинная дорога — в никуда.
Самый пристальный взгляд — из ниоткуда.

ДиН встречи

Волошинский сентябрь: *«золото улова»*

Сергей Чаплин

За чертой

Перешагнув запретную черту,
я подошёл к безумию вплотную
и, если говорить начистоту,
увидел подноготную земную.
Наверное, не зря и неспроста
заклинивает стрелки циферблата,
когда я на себя, как на Христа,
гляжу глазами Понтия Пилата.

Во мне перетасованы века
и время, на поверку, торжествует;
я знаю тех, которые пока
не родились, но тоже существуют.
Они стоят поодаль, налегке,
и тихо говорят между собою
на вечном и понятном языке
земли, травы, поэзии, прибоя.

Андрей Ключанский

Зга

Летний солнцеворот

Тиховею К.

То, что набрало Солнышко,
а и благода́рит всласть.
От самого отца моего зёрнышка
роща плодов началась.

Зачатое зрит, созревая,
свет приводя во плоть.
Убыль солнечная—здесь—быль живая,
узнавание и обмолот.

Пока ещё Солнце высоко
и нам не пришёл собор
того, что мы сеем глубоко,
беги, сынок, возводи костёр!

Правят кострами радости
предки и детки твои,
корни и ветви твоей благодарности!
Сердце откроется—песню твори!

Зимний солнцеворот

Ивы желтеют, смотри, изнутри
зелени своего лета.
Скоро обледенеет в пути
речи проточное тело.

Вмёрзнет молитвенный шёпот ив
здесь в *прибережный* лёд.
Останется свист этих веточек их
да натянутый их переплёт.

И обнажится их суть—зиме.
И нечего тут читать.
И я ничего не хочу себе.
И некому быть дать.

Всюду *остудная зга* да пурга.
Арктическое *покрыло*.
Вот мы и приняли эти снега.
Вот нам и храм намело.

Вот и я уже—это ты.
Вот и мы—это всё
то, что вокруг, любви да воды
кристаллы блистающие,
агнивьё.

Ранняя весна

Такая безнадёга… ну… когда
пытаешься согреться от костра
из прелых листьев.
И как зимою жить я мог?
Молил весну и вот—продрог.
И отвечает лишь дымок
моей молитве.

Вот так и молимся—живьём:
то разгребаем, то гребём
носком ботинка.
И небо низко над землёй
над костерком склонилось—мной:
лист перепрелый, перегной,
дымок… и дымка.

[фотосинтез]

Клевер в кедах,
стрекоза на поплавке,
солнечные блики
на волнах в озерке,

блеск и мелкий плеск
небес о край земли,
о горячий борт
резиновой ладьи.

Обо мне не спрашивай—
где же я вдали?
Я на отражающей
поверхности земли.

Не мутнеет зеркальце,
рыбка не клюёт,
потому и птичка
в камышах поёт.

Потому и целые
всюду облачка,
что под поплавочком
нету ни крючка!

Я плохой рыбак.
Я могу и так.

Зга

[к вопросу о тёмной материи]

1.

Бог мотыльков танцует на вершине
свечи, и дремлет в стеарине
ось мира, освещённого кругом.
Примета каждой вещи в доме
ждёт имени себе во мгле и дрёме
ночной. Всё неподвижно, кроме
теней и пламени под сквозняком.

И я бы замер безымянной вещью,
когда б не это божество над свечью;

и я бы стал сплошным зрачком,
когда б не света окоём.

2.

Я так один.
Р.-М. Рильке. Из стихотворений,
написанных на русском языке

Мне очень-очень одиноко,
и одиноко так далёко,
что там уже и тьмы-то нет.
Всё без тебя здесь в одиночку.
Вселенная уходит в точку.
Здесь не любовь выводит строчку,
здесь точка всасывает свет.

«Я так один»,—сказал когда-то
я, так один и однook,
что вот оно—одно, зрачок
сплошной, ничто, расплата
за звук, за слово, и молчок.

Но вот же—ты! Под одеялом
со мною, близко так, что я,
я так с тобой, что даже в малом
в тебе теперь, любовь моя…

О эта взвесь, туман багровый
над сердцем боли и любви.
Дышу с трудом, и каждый новый
вдох мой купается в крови.

О вдох мой, воздух утешенья
тому, что буду выдыхать
тому, кто ровного теченья
любви устал искать и ждать.

3.

Прощай, снежинка на ладони,
и здравствуй, капелька воды!
И нет меня, всё это—ты,
слова, ладонь, и дале, доле…

Ты есть—кто это произнёс,
тот начал путь от слёз до звёзд.

Ты есть—кто этим озарён,
по-настоящему есть он.

Ты есть—и этот ветер вслед,
и не ослеп, когда стал свет.

……………………………….

Осеннее равноденствие

Только этого мало.
Арс. Тарковский

Я бывший дворник.
Мой осенний парк
прекрасно подметает сам себя.
Шуршат аллеи.
Метут ежесекундный листопад
ветра степей, морей,
борей Гипербореи…

Моя метла весною ожила,
пустила корни и листву густую
смогла и развернула, вознесла
сама себя, во всю свою лесную…

Я бывший царь, и я устал царить
над собственным враньём,
поверием в себя
и вороньём придворным…
Теперь я дворник: вам теперь—сорить,
а мне всё это—месть
движеньем *кruготворным*.

Ничто не получается никак!
Зимою—снег, а летом—пыль да мусор:
всё—есть, и пребывает ровно так,
что есть и я, и каждый миг—премудр

и *преначален*.

Если было мало—
не будь печален,
отпускай начало.

Чёрный Георг

Психоделические альфа-ритмы современной поэзии

Несмотря на то, что психоделические произведения, как и альфа-ритмы, существовали всегда, теории, их описывающие в научном и неспекулятивном ключе, возникли лишь в самое последнее время — и продолжают принимать законченные очертания непосредственно перед нашими глазами. Прежде всего, для тех, кто ещё не знаком с понятием *литературной психоделики*, дадим несколько кратких определений — не претендующих на точность или исчерпываемость, но дающих общее представление о предмете. Итак, «психоделическими» мы называем такие просодические тексты, которые несут в себе ярко выраженную энергетику, причём энергетику, направленную на читателя. *Психоделика*, если рассматривать её с позиций коммуникативных дисциплин и подразумевать под «дискурсом» процесс актуализации художественного текста при его чтении, представляет собой сложный комплекс методов и техник по созданию произведений, которые делают возможным процесс самопроизвольной амплификации такого дискурса.

Психоделику можно понимать как суггестию, доведённую до крайних форм и перешедшую на качественно новый уровень — когда она перестаёт «предлагать» или «настойчиво подсказывать» читателю какие-то предпочтительные варианты восприятия, от которых ему сложно отказаться, а попросту погружает его в определённое русло восприятия, где у него не остаётся возможности выбора. Психоделика строится на двух фундаментальных принципах: 1) тщательно структурированной многоуровневой композиционной организации текста, где особое внимание уделяется мезоархитектонике, и 2) кумулятивном или каскадном типе взаимодействия элементов низкого уровня, присутствующих в произведении. Совокупность этих принципов и позволяет художественному тексту становиться психоделическим, способным вызывать в читателях пси-эффект.

Пси-эффектом мы называем такой тип дискурса между текстом и читателем, который приводит к существенному изменению внутреннего состояния последнего. Под «изменением внутреннего состояния» можно понимать изменение состояния сознания читателя, пусть даже в незначительной степени, но которое регистрируется им самим. Важно понимать, что психоделика, как и любой другой феномен, касающийся индивидуального восприятия, является достаточно «личностным» явлением, неким субъективным процессом, и потому — чтобы рассматривать психоделические тексты как достоверные объекты — необходимо пользоваться статистическими методами оценок. На практике это означает, что для того, чтобы говорить с уверенностью о психоделичности того или иного текста, необходимо, чтобы он был способен вызывать пси-эффект у статистически значимой доли читателей (слушателей), входящих в его «целевую аудиторию». Таким образом, психоделика представляет собой, с одной стороны, метод для создания высокоэнергетических текстов, обладающих крайними степенями суггестивности, а с другой — литературное направление, образованное совокупностью художественных текстов, где этот метод представлен достаточно ярко.

Чем характеризуется психоделика как метод? В первую очередь — тем, что она не абсолютизирует никакие отдельные литературные приёмы или техники, подходя к ним взвешенно и критически. Поскольку психоделика нацелена на читательское восприятие и ставит перед собой цель именно этот аспект максимизировать, она совершенно не лимитирует автора в выборе художественно-выразительных средств, а равно и не пытается навязывать ему какую бы то ни было идеологию. С другой стороны, психоделика не заставляет автора становиться «рабом» читателя, следуя любым его требованиям, поэтому подлинно психоделические тексты крайне редко грешат заметной «попсовостью». Необходимо помнить, что психоделика всегда пишется авторами с интуитивных уровней, что она — не своеобразный конструктор, из кубиков которого можно механистически складывать готовые психоделические тексты.

В определённом смысле, психоделику можно представить себе в виде своеобразного альфа-ритма современной поэзии. Будет ли такая метафора выглядеть слишком притянутой? Вспомним, что альфа-ритм представляет собой основной

ритм электроэнцефалограммы в полосе частот 8–13 Гц, регистрируемый у здоровых взрослых людей в состоянии покоя, обусловленный таламокортикальной и интракортикальной активностью и играющий важную роль в когнитивных процессах. Медицинские исследования свидетельствуют о том, что *альфа-ритмы* (более широкий концепт, чем классическое определение, включающий альфа-частоты мозга) служат для синхронизации различной мозговой активности[1], что они способны изменяться при обучении[2], при музыкальном и лингвистическом воздействии[3]. Недавно было установлено, что альфаритм, используемый клетками внешнего слоя коры больших полушарий мозга для регуляции поступления информации, относящейся к осязанию, зрению и слуху, помогает подавлять шумы и отвлекающие ощущения, а также регулировать поступление сенсорной информации и её передачу между участками мозга[4].

Спросим себя: не подобную ли регулирующую функцию выполняет психоделика по отношению к современной художественной литературе, устраняя шумы и аберрации в системе восприятия, обеспечивая более плотное «прилегание» текста к читателю, что особенно важно в связи с постоянным ростом антагонизма между последними в рамках парадигмы постмодерна? Теории постмодернизма давно усвоили модель, в соответствии с которой полярность связи в трофической цепи «читатель-текст» является неопределённой: читатель и текст существуют независимо друг от друга, зачастую в разных системах координат. Психоделика, подобно альфа-ритму, служит процессу синхронизации текста с читателем, а также способна выступать гармонизирующим звеном в отношениях между литературой и синтетическими видами искусств, к литературе примыкающими.

Дальнейшие, значительно более подробные, сведения о психоделике читатель сможет почерпнуть из недавно опубликованных теоретических работ[5,6], где были систематически рассмотрены вопросы, касающиеся терминологической базы психоделики, её онтологических предпосылок, принципов работы, механизмов и характерных черт, а также наиболее важных аспектов практического приложения. «Испытательным полигоном» для тестирования и дальнейшего развития положений теории психоделики продолжает служить *Литературное Сообщество «Психоделика»*, образованное в 2008 году; сегодня известный уральский поэт и литературный редактор Александр Петрушкин любезно согласился представить некоторых постоянных участников этого сообщества с подборками психоделических стихотворений читателям «*Дня и ночи*».

1. John Crosley Shaw. The Brain's Alpha Rhythms and the Mind. Amsterdam: Elsevier Science B. V., 2003.
2. D. A. Peterson, D. T. Lotz, C. Elliott, S. Makeig, T. J. Sejnowski, H. Poizner. Alpha desynchronization reflects prediction error in rewarded learning. *Society of Neuroscience Abstracts*, 2008, S-14183-SfN.
3. R. L. Gordon, C. L. Magne, E. W. Large. EEG correlates of song prosody: a new look at the relationship between linguistic and musical rhythm. *Frontiers in Psychology*, v. 2, 352, 2011, p. 1–13.
4. C. E. Kerr, S. R. Jones, Q. Wan, D. L. Pritchett, R. H. Wasserman, A. Wexler, J. J. Villanueva, J. R. Shaw, S. W. Lazar, T. J. Kaptchuk, R. Littenberg, M. S. Hämäläinen, C. I. Moore. Effects of mindfulness meditation training on anticipatory alpha modulation in primary somatosensory cortex. *Brain Research Bulletin*, vol. 85, 3–4, 2011, p. 96–103.
5. Чёрный Георг. Введение в теорию психоделики. *Сетевая Словесность*, дата публикации: 12.06.2011, http://www.netslova.ru/b_georg/psychodelic-theory.html
6. Чёрный Георг. Психоделика в первом приближении. *Новая Литература*, дата публикации: 20.01.2012, http://newlit.ru/~blackgeorge/4649.html

Михаил Горевич

Идущий в осень

И было утро

Земля любая — для меня приют,
Когда слова приходят к ночи сами,
Когда стихи прекрасные поют
Единственными в мире голосами

И гонят прочь недоброе, и вновь
Под утро видишь небо без соринки,
Так вод хрустальных золотое дно
Плывёт и солнцем светится, а в крынке

Холодное не киснет молоко,
И длится день, и ночь не за горами,
И голоса, их слышно за рекой,
Спешат к другим — вечерними дворами.

Exegi monumentum

Всё меньше остаётся слов
И больше горького молчанья,
Как будто души на засов
Закрыты.

Небо в глухомани
Так низко пало, что звезда
Лежит в реке без отраженья,
И тень крадётся по задам
Участков.
Огородов пенье
Звучит в крапиве, лопухах,
Перетекает в сруб колодца…

Чья тень? И кто посеял страх?
И кем под утро обернётся?
Какие имена звучат,
Когда во тьме кружится ворон?

Глазницы опустели — сад
Без яблок слепотою полон,
И тень проходит на крыльцо,
Скрипят под шагом половицы,
Лицо припудрено пыльцой —
И плоть должна остановиться.
И умереть.

И в тот же миг
Взметнётся над калиткой птица,
И успокоится старик
С тяжёлой медью на ресницах.

Времена рядом

Пусть бузину ругают, что из слов,
По-детски через трубочку я дуну —
Летит бузинный шарик — и под кров,
К твоей ладошке. На, зажми! И струны

Светло споют в завешенных веках,
Как будто ждали, немотой болея,
А это пенье победило страх
И стало словом юноши Алкея.

Он смотрит на Сапфо, но та молчит.
Кого с улыбкой ищет лесбиянка?
Эрота шар, пульсируя в ночи,
Заменит сердце, и засохнет ранка…

И вдруг пойму — сквозь время, напрямик,
Глаза в глаза, в тебя влюбившись насмерть,
Уставился Алкей, и через миг,
Его ловя, ты на пол сбросишь платье…

С другим уйдёт вдоль берега Сапфо
В свой дальний дом, где луч сквозь окна длинный,
Увидит, что на свитке до сих пор
В росинках шарик, утренний — бузинный.

В осень

За поворотом летние деньки —
Как дети ждут, готовятся к спектаклю…
Кто песенку споёт, а кто стихи
На даче прочитает…

С неба каплет.

За лёгкой занавеской облаков
Скворцы важны, болтают и смеются,
Появятся и скроются, и слов
Понять нельзя…

Но счастьем остаются

И дождь грибной, и шишки на песке,
Заката свет сквозь редкий гребень сосен…
И я — вот повернулся… видно? Нет?
Тот, сбоку, к вам спиной…

Идущий в осень.

Ирина Каменская

Сужая круги

Даже если ты прав

Ей хочется считать себя частицей.

Не говори ей, что она — волна,
Которой не дано осуществиться
Во временной реальности сполна.
Ей легче — осознав себя отчасти —
Любить огромный мир, как старый дом,
Где вечерами маленькое счастье
Горит под невысоким потолком.

За стенами волнистые пространства
И времени прохожие шаги,
А здесь — она, и если постараться,
То вечности больные сквозняки,
Прикидываясь птицей Метерлинка,
Не разглядят за плоскостью окна
Сиюминутку, зёрнышко, пылинку.

Не говори ей, что она — волна.

В такой-то век и год такой-то

За постепенность перемен,
за сумрак недопониманья
что я отдам тебе взамен,
распорядитель угасанья?
Какая из моих харит
тебе покажется достойной?

Любовь последняя горит
неустрашимо и спокойно
на самом верхнем этаже.

О мой недремлющий пожарный,
не торопись, не будет жертв,
стенающих в бреду угарном.

Но выбор сделан — и давно.
Твои холодные брандспойты
нацелены в её окно.

В такой-то век и год такой-то,
покончив с внутренней борьбой,
не победив, не покорившись,
она возьмёт меня с собой,
бессильно падая всё выше.

Пуля-дура

Если послышится вдруг, что чирикает мрачненько
Птичка-фортуна при самой душевной погоде,
Прежде чем взяться за трудную роль неудачника,
Вспомни, что я не задела тебя на излёте.

Цел-невредим — остальное наступит и сбудется,
Станется, выльется, выпьется буря в стакане.
Путаясь в лицах, словах, колеях и распутице,
Не забывай, что ты мной не убит и не ранен.

Встанет рассвет, в безотчётную радость окрашенный.
Не говори, что в тебе недостаточно жизни,
И ни о чём просвистевшую смерть не расспрашивай:
Пуле противен причинный дефект альтруизма.

Сужая круги

Дотяну до последнего, скомкаю
С неуступчивым прошлым свидание,
Разминусь с некрасивой девчонкою —
Той, которой остаться не дали мне.

Ей казалось, страшнее банальности —
Только гордые белые лебеди,
Из призывно звучащей неданности
Свысока обронившие: «Где тебе!»

Я б осталась синичкой-воробушком
И была бы намного любимее
Тем, кто мне прошептал: «Не попробуешь —
Не узнаешь ни рока, ни имени».

Я бы… что теперь. Годы не ведают
Белизной моего оперения.
Гордым, сумрачным, царственным лебедем
Я кружу над синичковым временем.

Дмитрий Дёмкин

Синий бархат

memento

перелесок, застывший в полудне.

в нём прячется птица—
старается слиться с полуденной зыбью,
пастушьей сумкой и зверобоем.

слева—покос,
сухо и неразделимо
которое было—
клевер, ежа́ и вика.

справа—не приходили ещё,
там трав разнословие длится.

всё это вчера.
а сегодня—не жаль и легко:
«хорошо, что тепло и танцует пчела
над невидимым миру цветком».

Синий бархат

Где красное стекло и синий бархат—
Неотличимость единицы тьмы
От сотни сотен наступивших «завтра».

Чернее, чем на ве́ках слой сурьмы,
Там ворон—каркнет, во́рона увидев:
«Двоим нам хватит спящих на земле».
Ты сделаешься тих.

И безобиден,
Бессмыслен станет сон-не-о-тебе
(Где черви роют ход длиннее Нила,
Роскошнее, чем эхо под горой…).
Ты бросишь вниз: «Алё, так в чём же сила?»—
И Ньютон покачает головой
Из мышьяковой стриженой соломы.

Двенадцать неубитых партизан
Откроют местность, где герои Соммы
Всю ночь впадают в озеро Хасан.

…А утром встав, увидишь:
Несочтённый
Идёт по вдоль исхоженным местам,
По стриженой траве (всегда зелёной),
Прикладывая стёклышки к глазам.

владимиров

владимиров на розвальнях
а розвальни пусты
он был одетым в со́боля
и соболем простым
подался в конспирацию
да о вечерний снег
споткнулся и сломал себя
как трижды человек

возница не огля́нулся
быв с троечкой одно
не выдуманный пятиться
не требующий но
когда сбежавший кончился
почудилось ему
что был он как бы троица
и будто на миру

три раза разно вышел он
и в разных сторонах
трём классам не учить его
за совесть и за страх
пропал как есть владимиров
на шкуре и звезде
без трепетной войны миров
закончился везде

но три возницы поняли
сошедшись у кантин
что будто бы их трое и
будто бы один
и съевши на троих одно
ячменное зерно
они пошли одной толпой
в воскресное кино

там троечку всю белую
зарезали в гранит
и те кто это сделали
увидели летит
благая весть столицами
в прелестные листы—
что ленин спел в грибнице
и сани не пусты

Чёрный Георг

Звезда в надире

Баллада о Чжан Ли

Жил-был случайный человек по имени Чжан Ли.
Он в первый год не сеял рис—ни у подножий гор,
Ни на террасах над рекой, ни у восьмой скалы
(Там почва—лучшая из всех, где пашут до сих пор).
И можно лишь вообразить труды Чжан Ли, когда
Он этот рис не поливал у старого пруда.

Приходит следующий год (едина цепь времён!)—
Чжан Ли работает, как вол, не покладая рук:
На склонах гор и на холмах Чжан Ли не сеет лён
И не растит его потом—вложив упорный труд
В то, чтоб обильный урожай не собирать совсем
И игнорировать вдвойне непрошеный посев.

На третий год весна пришла—Чжан Ли не сеет мак
В долинах, где густа трава и воздух шелковист.
С усердием, как шелкопряд, когда грядёт зима,
Не проверяет: вызрел он, прополот ли, мясист?
А сколько времени, и сил, и денежных затрат
Потребовалось, чтоб его вообще не собирать!

Вот так идёт за годом год, а урожай растёт—
Не сеянной горчицы, льна, овса и конопли.
Всё больше трудится Чжан Ли, всё реже без забот
Проводит время, пострадав от щедрости земли.
И всё трудней—не убирать ненужный урожай
И независимым от дел себя воображать.

…И если вдруг когда-нибудь, не посадив горох,
Ты обнаружишь урожай настурций и бобов,
То знай, что так же, как Чжан Ли, себя не уберёг—
От иллюзорности трудов, поступков или слов.
И, как Чжан Ли, не обрывал—плоды, ростки, цветы,—
Взгляни. Подумай. Убедись, что стал таким же—ты.

Уходят люди, лишь Чжан Ли старается вовсю.
Не тратит попусту ни дня на бренные труды,
Ни даже часа—для молитв Небесному Отцу…
Чжан Ли, случайный человек, бесформенней воды.
И вся немыслимая жизнь, которой дорожат,
Ему—крупинка ржавчины на лезвии ножа.

Небесные цветы произрастают без корней,
Им неизвестны бури и не интересна жизнь.
(Ведь и твоя природа заключается не в ней.)
Но на девятом небе—непременно убедись,
Став облаком—в местах, где не летают журавли:
А не твоё ли имя произносят как «Чжан Ли»?

Звезда в надире

Когда засыпает ветер
и зима становится внутренностью стеклянного шара,
где какие-то белые хлопья лежат так тихо, невинно,
словно и не было — ни в Москве, ни в Лондоне — никогда никаких пожаров,
не случалось чумы в Венеции, а страшные маски птичьи —
просто странные монстры, сошедшие с Босха картины…
И когда засыпает ветер,
а прозрачный короткий вечер стекает на плоскости тротуаров,
опусти вверх глаза, как если бы Земля тебе не мешала:
там, в надире, — звезда, что только тебе одному светит.

И ты, выходя под дождь
из какого-нибудь напичканного кольцами ювелирного магазина,
где-то в районе Сан Марко, Старого Арбата или Пикадилли,
удивляешься: столько колец, столько, столько!
Кому они все необходимы?!
Словно сделали их гномы, гоблины или тролли —
по одним им понятным причинам, — сделали и забыли…
Так вот, выходя под дождь,
но вспомнив зачем-то об этой звезде в надире,
понимаешь — внезапно, неумолимо, —
что для неё одной живёшь.

Поднимая очередное звено
(а какой в этом смысл, если часто не знаешь даже, где середина?..),
находясь в середине мира, равноудалённой от конца света и его начала,
причём оба они — просто события, что вообще ничего не означают,
никакого отношения не имеют ко времени, к его младенчеству и сединам,
вдруг ловишь себя на том, что думаешь о ней — снова и снова,
днями, ночами, непрестанно…
Остаётесь связанными друг с другом: ты — в этом подлунном мире,
а она — где-то там, где потоки невидимых жёстких лучей и чёрные дыры,
даже не в уголке твоего экрана, даже вовсе не на экране,
но всегда и везде оставаясь звездой, что сияет тебе одному в надире…
Итак, поднимая очередное звено
и не делая ни малейшей попытки что-то менять, решать или строить планы,
знаете оба — зависимо, независимо, беспричинно,
без тени сомнения, бессознательно, постоянно, —

что ты и она — *одно.*

Алексей Конаков

Вид Отечества

Лубок

Пролог

И вовсе не обязательно быть крупным специалистом по стихам. Вовсе не обязательно тонко чувствовать под пальцами тугие узелки аллитераций, внезапные пробежки рифм, прихотливое петляние иного тактовника. И из двух атмосферных топонимов русского литературоворота вполне достаточно, забыв про высоколобую лабораторию «Воздуха», посетить по-коммерчески неразборчивую лавчонку «Ozon'а»: обилие поэтических книг поразит вас даже визуально! Расцвет поэзии в современной России красочен, ярок и убедителен, однако в самой своей основе он содержит напряжённый и весьма обширный конфликт. Два способа письма—двести лет родная силлабо-тоника и до сих пор диковинный верлибр—не на жизнь, а на смерть бьются за господство в литературе. В долгосрочной перспективе должен, очевидно, победить последний—как более ресурсообеспеченный. Но, быть может, именно благодаря массированному натиску свободных стихов столь роскошно оперилось ныне и консервативное крыло русской поэзии. Теснимая со сцены система стихосложения вынуждена напрягать все свои силы, дабы хоть как-то удерживать неоспоримые некогда пространства. Интереснейшая картина: привольно шествовавший господарь напропалую изощряет зрение и застенчиво копошится по тёмным углам в поисках хоть какой-нибудь поживы! (Вспомним здесь, например, сверхдлинные и сверхкороткие размеры петербуржца Н. Кононова, самим своим видом иллюстрирующие идею обитания на краях силлабо-тонической ойкумены.) Поэтический климат очень сильно изменился с конца восьмидесятых годов, и сейчас уже нельзя писать стихи по-старому, используя ровные ритмы, гладкие рифмы и чёткие катрены—это, если угодно, «нулевая степень» стихосложения. Напротив, атакованная силлабо-тоника должна неустанно и непрестанно демонстрировать чудеса фехтования лучшими своими клинками. Как закономерное следствие, требующий высочайшего мастерства формальный ресурс—резкие рифмы, оригинальная строфика, неожиданные перебои размеров—вновь оказывается одним из самых важных. Именно в этом направлении и работает сейчас большинство признанных мастеров, пытающихся так или иначе отстоять своего читателя. Строфические хитросплетения Б. Херсонского, ритмические курсивы С. Гандлевского, горькие диссонансы Е. Фанайловой—всякое лыко идёт в строку спешно сооружаемой стены осаждённого Карфагена. Жаль, что теперь не хватает критиков-баталистов, ибо, отступая и огрызаясь по мере сил, рушащаяся парадигма стихосложения разворачивается перед читателем таким великолепным полотном, каких, возможно, не было никогда в русской литературе. Что касается меня, то вполне объяснимое желание хоть отчасти запечатлеть сию красоту дополняется ещё и привкусом терпкой жалости к героям, чьё дело—несмотря на все прилагаемые ими усилия—окажется, в конце концов, проигранным вчистую. Уже сейчас излишне громкие заявления о своём пристрастии к канонам классической просодии зачастую воспринимаются как нудноватое маргинальничанье. (Здесь, конечно же, отчасти виноват извечный страх перед ретроградами и охранителями. Никуда не денешься, требование писать ровным трёхсложником выглядит в наши дни как сугубо пенитенциарное, а современной версией галичевской строчки «Облака плывут в Абакан» будет кушнеровская «Облака выбирают анапест».) Впрочем, что за беда? Расковыряв огарки второго тома великой поэмы, грянем знаменитое, щепкинско-гоголевское: «Полюби нас чёрненькими, а беленькими нас всякий полюбит!» Потому-то я не буду портретировать здесь знаменитых верлибристов (от А. Драгомощенко до С. Круглова) и авангардистов (от Н. Скандиаки до Н. Азаровой), но некоторое количество откровенно (бесстыдно!) пафосных разговоров и признаний в любви к «чёрненьким»—растерянно стоящим или яростно бьющимся на последних рубежах уходящей в литературное небытие силлабо-тоники—приведу ниже.

1. Сергей Гандлевский

Ещё несколько лет назад явное пристрастие толстых журналов к стихам общеакмеистической

выделки приводило к любопытной ошибке апперцепции в читательской среде: словосочетание «поэтический мэйнстрим» поголовно воспринималось как «Московское время». Сейчас ситуация несколько изменилась, однако поэты помянутой группы по-прежнему располагаются в самом центре наличествующей «литературной карты». При этом первым среди равных следует, очевидно, считать Сергея Гандлевского. Незаметно оттеснив А. Цветкова и Б. Кенжеева, именно С. Гандлевский в последние десять лет претендует на статус одного из главнейших классиков современной русской поэзии (доказательством чему можно считать премию «Поэт», полученную им в 2010 году). Почти все, пишущие о Гандлевском, так или иначе упирают именно на «классичность» его стиха, на величественность и монументальность каждой без исключения стопы, строки и строфы. При этом для большинства основной манёвр поэта выглядит практически оксюмороном: явно акмеистическая (чуть ли не ахматовская) поэтика издевательски переориентируется Гандлевским на описание сероватой реальности позднего застоя! Отметим, что очевидным достоинством-недостатком такого трюка оказывается чересчур жёсткая временна́я привязка, в связи с чем — весьма «продвинутый» когда-то — ныне вектор этой поэзии явно устремлён в прошлое. Так формируется и формулируется знаменитый «критический сентиментализм». Но, даже не слишком пристально вглядываясь в исследуемые стихи, можно заметить, что практически все сантименты посвящаются Гандлевским социалистической эпохе («в рыгаловке рагу по средам»), а определение «критический» незаметно подтягивает за собой слово «реализм». И хочется спросить: не преподносят ли нам под благообразной личиной «критического сентиментализма» реинкарнацию старого доброго соцреализма? Не этот ли — нелюбимый многими — термин адекватнее всего способен описать стиль и поэтику зрелого Гандлевского? Чтобы прийти к данному выводу, нужно, конечно, немного поломаться. В силу введённой ещё Чуковским дихотомии, упоминание об акмеистической выделке стихов Гандлевского автоматически исключает любые мысли о Маяковском. Между тем для максимально широкого и позитивного понимания соцреализма (скорее по Синявскому, чем по Горькому) именно эта фигура является важнейшей. Любой читатель Гандлевского в числе самых заметных качеств предлагаемых ему стихов наверняка отметит их необычайную яркость; а также — понятность, почти дидактическую доходчивость «месседжа». Если поэту необходимо продемонстрировать кручение, он действует запросто («вертеть туда-сюда — то передом, то задом / одну красавицу, красавицу одну»), если неизменность физико-географических процессов — то ещё проще («Значит, мы умираем, и делу конец. / Просто Волга впадает в Каспийское море. / Всевозможные люди стоят у реки. / Это Волга впадает в Каспийское море»). Именно благодаря подобной иконичности перед нами оказывается воочию явлена глубинная «логика плаката» — художественного произведения, не скрывающего, но дополнительно подчёркивающего свою цель. Вообще, чеканная афористичность множества строчек Гандлевского («словом, полный анжамбеман»), металлический звон и рельефная отчётливость стиха («сколько зим мы знакомы, питомец муз»), масштабное каламбурное остроумие («когда волнуется желтеющее пиво») и почти изобразительная броскость речи («жаркой розой глоток алкоголя / разворачивается в груди») гораздо больше напоминают о работах Маяковского в «Окнах РОСТА», чем об изысканных и миниатюрных акмеистических зарисовках. Быть может, всё без исключения творчество Гандлевского и есть — попытка остроумной рецепции позднего Маяковского, подспудная реабилитация (и актуализация) лучших его находок, догадок, самого стиля. Своей работой Гандлевский словно счищает густую патину эпигонства с того типа поэтики, который был изрядно скомпрометирован восторженным сонмом наследников разной степени бесталанности. С учётом вышесказанного, далеко не случайной кажется и продолжительная работа С. Гандлевского рядом с Д. Приговым («Задушевная беседа»), ведь его остранённый ностальгией соцреализм — двоюродный брат приговского соц-арта. (Основную разницу можно попытаться найти в том, что изощрённое концептуалистское ви́дение заменяется (в случае Гандлевского) живой сентиментальностью и сдержанной поэтической грустью, но тогда придётся забыть, что и классический сентиментализм был лишь эстетическим следствием одной из влиятельнейших теорий познания — локковского сенсуализма.) Конечно, стихи Гандлевского дальней околицей обходят утрированный инструмент Милицанера, но иные ракурсы получаются ничуть не хуже, взять хоть этот: «Супруг супруге накупил обнов, / Врывается в квартиру, смотрит в оба, / Распахивает дверцы гардероба, / А там — Никулин, Вицин, Моргунов». Без пяти минут «концептуалистская» ирония таится в неизменном — кино ли, стихи ли! — порядке персонажей: в случае явной опасности в центр троицы всегда выдвигается несчастный Вицин. Здесь, быть может, и зарыта самая горячая из собак: Гандлевский — соцреалист не хуже любых Гайдаев, но соцреалист — тщательнейшим образом замаскированный. Причём лучшей маскировкой служат ему высокая степень собственной одарённости и таланта вкупе с массовым (до сих пор!) интеллигентским убеждением, что соцреализм принципиально не может быть хорош (и даже великолепен).

2. Михаил Гронас

Михаил Гронас, вне всякого сомнения, один из самых загадочных русских поэтов. Быть может, как раз такая загадочность и обуславливает господство экстернализма в описаниях его поэтики: стиль Гронаса чаще всего напрямую возводят к Траклю и Целану, коих он довольно давно переводит. Между тем с чисто формальной точки зрения Гронас нигде не изменяет отечественной традиции стихосложения: в его текстах наличествуют и рифмы, и классические размеры; разве что любит он порой записать стихи своего четырёхстопного хорея не в столбик, а в длинную строчку, опустив при этом знаки препинания: «это я твой брат пернатый на погибели женатый в час невыгодный рождённый замерзаю охлаждённый» и т. д. Что, однако, сильнее всего поражает читателя в текстах Гронаса? Во-первых, весьма странная нездешность тематики: стихи о погорельцах, сиротах, зэках и цыганах как-то не вяжутся с повседневным бытом преподавателя Тринити Колледжа в американском Хартфорде. Впрочем, нужно ли настаивать на такой связи? При продолжительном чтении Гронаса создаётся стойкое впечатление, что тема ему вообще не важна; более того—его тексты в принципе кажутся весьма слабо соотнесёнными с реальностью. Здесь Гронас являет полную противоположность своему непосредственному учителю—Льву Лосеву, чьё зрение было как раз таки очень зорким и конкретным. (И Лосев, и Гронас—известные филологи; однако тонкая филологическая оптика Лосева всегда выполняла лишь прикладную роль, усиливая и без того чёткую, достоверную картину мира: «ММММ—кремлёвская стена» и т. п.) В то же самое время Гронаса можно-таки попытаться объявить «наследником Лосева» в том смысле, что он довольно активно—хотя и другими средствами—продолжает начатую учителем экспансию филологии в область поэзии. Однако в данном случае филология перестаёт быть подсобным инструментом и тактическим приёмом, её статус повышается, а задачи—усложняются. Фокус, иными словами, состоит в том, что Гронас выносит свою работу в «высшие сферы». Он—не занимается описанием, но ищет другие пути. Его поэзия—никогда не воссоздаёт остроумно действительность, зато с лабораторной тщательностью исследует новые выразительные ходы и обороты. Потому-то она и освобождена от реальности, потому-то и тяготеет так к абстракции—ничто не должно мешать мысли! Сироты и погорельцы Гронаса—сродни совершенно условным рабочим и канавам из советских учебников алгебры (где именно благодаря полной абстрактности ситуации может получиться абсурдный ответ: «два с половиной землекопа»; но разве не таковы все герои поэта: «тот кого ты видел не входит в расчёт и его судьба рассечёт»?) В этом плане гораздо более близкой к Гронасу фигурой кажется Вс. Некрасов—с его систематической (почти математической!) проработкой клише и условностей советского языка, с его разреженной, однообразной, визуально-выразительной строкой, с его практически научным подходом к исследованию различных штампов сознания и ассоциативных цепей. Уравнения Гронаса («забыть значит начать быть») очевидно наследуют знаменитым формулам Некрасова («свобода есть / свобода есть / свобода есть свобода»), однако и здесь он умудряется пройти дальше: всё же даже Некрасов был слишком сильно привязан к настоящему (цикл о Ленинграде, частая Тверь), укоренён в нём. Гронас же умеет абстрагироваться от реальности вовсе! Его стихи, по большому счёту, именно что нереальны; там, в чистом и разреженном космосе абстракций, идёт его работа—умозрительное и рассудочное сооружение новых поэтических конструкций. Отсюда—то значение интервалов, пустот и прорех, о котором говорят критики: это дышит сама переходящая в вакуум атмосфера гронасовских стихов. В книге Гронаса перед нами, по сути, явлена редчайшая версия квазиматематического анализа русской поэзии: небрежно брошенный иным сочинителем образ («сухая, сгущённая форма света—/ снег, обрекает ольшаник, его засыпав, / на бессонницу, на доступность глазу») записывается Гронасом в систему аккуратных тождеств («свет небес: / снег/ <…> / на глазах: / лес»), формулы действия разлагаются в ряды («нырни за ним вне / верни меня мне / нырни меня мне»), сюжетные матрицы транспонируются («идёшь идёшь, а уже и тонешь / тонешь тонешь, / а уже идёшь под водой»), а слова начинают работать как функции от нескольких переменных («о авиационный налёт наших отцов и наш—на языке»). Стихи Гронаса относятся к стихам современников, как высокая философия к литературоведению или как стерильная лаборатория молекулярной физики к химзаводу. И если мы попытаемся определить жанр единственной книги Гронаса «Дорогие сироты», самым точным словом будет «диссертация». На это указывает даже структура: от предельно простых выкладок и дефиниций («четыре шесть восемь двенадцать звуков») поэт постепенно переходит к более прихотливым формулам («время делится / на ноющее, колющее, тупое / и с тобою»), а под конец триумфально демонстрирует всю мощь создаваемого им—перед нашими же глазами!—метода на ряде совершенно уже земных, здешних стихотворений («в общем в америке жить непаршиво хотя измерима общим аршином и ни третьего рима ни второй трои вроде не строят») и переводов. В принципе, главный парадокс поэзии Гронаса в том и состоит, что она, по сути, является более наукой, чем искусством. С этой точки зрения—сообщество

утончённых ценителей литературы грубо просчиталось, присудив поэту «всего-навсего» Премию имени А. Белого вместо учёной степени.

3. Николай Звягинцев

На любого читателя, открывающего книгу Николая Звягинцева, незамедлительно обрушивается бурлящий прихотливый поток: запахов, ощущений, предметов. Парусники и лодки, балконы и переулки, яблоки и шоколад, Фонтанка и Рождественский бульвар дышат, блестят, плывут и поют в его стихах. Это целый мир, состоящий из детских подробностей и детективных улик, и поначалу весьма затруднительно сказать, чего же в данном мире нет. Впрочем, разом проглотив многоцветные строки, обнаружив там и зимние трамваи, и бдительные чаепития, и субалтерн-офицеров, и вилочку за роялем, вы начнёте понимать, что из него (из этого мира) полностью удалено время. В стихах Звягинцева нет ни прошлого, ни будущего; там царит всегдашнее «сейчас» или, на худой конец, «только что». Причём хронос оказывается обезоруженным не только внутри, но и вне стихов: звягинцевской поэтике словно бы чужда всякая эволюция, и тексты восьмидесятых мало отличаются от текстов, написанных в двухтысячных. Тот факт, что поэт за четверть века ни разу не задумался о поиске возможных альтернатив, весьма красноречиво сообщает: найдено богатейшее месторождение. Но каков же химический состав этой драгоценной руды?! Говоря о поэтике Звягинцева, критики отмечают два ключевых момента: во-первых, отчётливое наследование его стихов Пастернаку, во-вторых—перманентный конфликт намеренно хаотичного содержания со строгой (без малейших вольностей!) силлабо-тонической формой. Положения эти весьма близки друг другу (кто-то вообще посчитает второе из них—экспликацией первого), но не напрямую, а с любопытной подковыркой, о которой и хотелось бы поговорить. Читая восторженные строки, что-нибудь вроде «Спешил со всех охот к заправке зажигалок, / Любовно ворошил лисичьи адреса, / Где мыслился поход и дробь не достигала, / Где маковых вершин чурается оса», Пастернака вы вспомните всенепременно; да Звягинцев и не стесняется такого воспоминания! В отличие от подавляющего большинства современников (внутри которых так или иначе блумкает знаменитый «страх влияния»), автор освежающих лицо «Крыма нз» и «Улицы Тассо», кажется, ни капли не боится прослыть подражателем. Впрочем, что такое Пастернак? Его ведь не существует как целой (или средневзвешенной) фигуры, и никак невозможно говорить о «Пастернаке вообще»; его эволюция столь потрясающа, что всегда приходится уточнять, спрашивая: «ранний» или «поздний»? «любительский» или «докторский»? Разумеется, в случае Звягинцева поминают прежде всего раннюю ипостась. При этом темнота, запутанность и девичья необязательность семантики звягинцевских стихов (по прихотливому рецепту: «Сравните ежа с водосточным шаром, / Двух собак с одним петухом») далеко превосходят свой великий образец. Всё же у Пастернака можно было понять, о чём стихотворение (степь, дождь и т. п.), а как понимать такое: «Двое да пробочка минус вершок, / Рыльце кофейное сторожа капель. / Беленький заяц, как Пушкин—стишок, / Сам барабанил по зеркалу лапой»? Также на создание большей по сравнению с Пастернаком хаотичности работают у Звягинцева и зачастую неточные мужские рифмы («дом—холодок», «бор—грибов») и практически полный отказ от применения густых аллитераций. Весь этот великолепный, блистательный бардак—как уже отмечалось выше—упаковывается в строжайшие, чуть не педантичные, силлабо-тонические формы. Почти все стихи Звягинцева зарифмованы в аккуратные катрены, в них живёт и здравствует альтернанс, на целую книгу попадётся одно разноударное созвучие, а уж срывов метра в какой-нибудь тактовник или акцентный стих не наблюдается вовсе (так же как, заметим, и вполне невинной полиметрии). Вопрос: о каком классике напоминает такое строгое обращение с просодией? кто ещё добровольно накручивал на себя столько «нельзя», хотя в принципе было «можно»? Речь, разумеется, снова идёт о Пастернаке—только уже позднем, неустанно добивавшемся от стихов знаменитой «неслыханной простоты». Но чья же—если не звягинцевская—форма выглядит сегодня прямо-таки нарочито упрощённой на фоне повседневных строфических ухищрений и ритмических экспериментов?! И вот какая любопытная выходит картина: парадоксальнейшим образом Звягинцев одновременно оказывается и хаотичнее раннего (на уровне содержания), и строже позднего (на уровне формы) Пастернака! Не в этом ли весь секрет? Повсеместно поминаемую логику наследования необходимо просто-напросто додумать до конца. Очень легко заимствовать только у раннего или только у позднего Пастернака—на этом гибнут сотни начинающих поэтов; Звягинцев же—единственный—сумел взять сложнейший интеграл двух поэтик, умудрился, как некий сверхэпигон, подражать всему Пастернаку сразу! Великолепные плоды такой стратегии внятны каждому, кто хоть раз открывал книги звягинцевских стихов. Заметим: их сок ещё и в том, что классику для остранения юной сложности зрелой простотой потребовалась целая жизнь, Звягинцев же реализует этот эффект—в каждой строчке. Таким образом, полувековая эволюция поэтики первого конвертируется в сиюминуту-наличествующий конфликт формы и содержания стихов второго. Несчастное время—что

за напасть!—и здесь оказывается поглощённым, проглоченным, уничтоженным. «Девочка, комната, лето и мама. / Время само, как пятном сарафан. / Слишком ломаешься, пальцы ломая, / Как не дающая губы строфа»; не такие ли вот стихи—дивные, ароматные, нежные!—сочиняют в выдавшуюся свободную минутку лангольеры?!

4. Василий Ломакин

Неширокая, но вполне весомая известность настигла Василия Ломакина, когда ему было уже за сорок. В 2002 году блестящий дуплет—две публикации никогда доселе не печатавшегося автора—привёл его в короткий список самой престижной литературной премии России; ещё через год вышла книга. Но очень странное впечатление оставляли ломакинские стихи! В какой-то момент можно было даже подумать, что интернет-журнал «TextOnly» (тратящий львиную долю энергии на то, чтобы—не дай Бог!—не оказаться похожим на привычных «толстяков») опубликовал Ломакина в порядке провокации, с целью продемонстрировать уровень, до которого может опуститься поэт, излишне держащийся в нынешних условиях за классическую просодию. Белые нитки заимствований из Мандельштама («стигийский лёд», «слепая ласточка») в сочетании с удивительными грубостями («эмигранточка в рот себе ссыт»), стёртые размеры и глагольные рифмы («умирает—пожирает»), непонятно чем мотивированные сбои ритма («Я плюю, возвращаю билет / Двадцать третьему трамваю») и какое-то юродивое словотворчество («Сестрица-москвица, я стану кремлец») вызывают вполне ожидаемое—и довольно острое!—недоумение у рядового читателя. Как совместить столь явное нарушение (или даже—незнание?!) практически всех существующих поэтических конвенций с проблесками действительно сильного, горького чувства: «Слышу: папа, купи мне маму, / И мои глаза наполняет/ Мир, которого больше нет»? Очень вероятно, что ещё четверть века назад такие стихи объявили бы опытами малоталантливого ученика или даже болезненной графоманией, однако ныне (спасибо концептуалистам!) в головах прочно укоренилась, скажем так, «презумпция мастерства». Потому и о Ломакине я ни в коем случае не решусь ляпнуть наобум: «Бездарность!»—но лишь позволю себе осторожно поинтересоваться: «Быть может, это сознательное изображение бездарности?» Мне незамедлительно возразят: зачем же нужен В. Ломакин, когда есть уже Д. Пригов? Но дело здесь в том, что—при сходном методе—у этих поэтов различные ареалы обитания: если Пригов изображал бездарь торжествующую (громогласного, гомерического графомана), то Ломакин рисует—бездарь неудачливую, забито озирающуюся из грязного угла. Соответственно, разнится и результат: выдающие концептуалистский взгляд приговские «довески», проглоченные слоги и тавтологические рифмы практически не встречаются у Ломакина; стихотворная техника в его случае словно бы притворяется не осознающей собственной тривиальности и неумелости. Вероятно, в этом и заключается основное задание. Поэт со страстью естествоиспытателя (экий пламенный Ломак!) достаёт в своих текстах до низшей, начальной ступени литературной эволюции: моделируемый им герой—«юноша бледный со взором горящим», ещё не владеющий толком ни рифмовкой, ни метрикой, ни лексикой (чем, если не «паучьей глухотой» такого персонажа, можно объяснить избитейшие обороты его стихов, вроде «святого солнца» или «лазурных взоров»?). Впрочем, тексты Ломакина кажутся слишком удивительными для решения столь простой задачи, а потому метафора нуждается в усилении. Если представить русскую классическую поэзию как некий гигантский организм—живущий, растущий, развивающийся,—то конечной целью Ломакина будет, пожалуй, демонстрация и почти медицинский анализ разнообразных биологических отправлений этого организма. Литераторы знают, что животное традиционной силлабо-тонической просодии существует за счёт непрестанного выделения большого количества своеобразных «экскрементов» (избитых рифм и размеров, стёртых метафор, пошлых клише, навсегда умерших эпитетов), а издержкой производства одного сильного поэта оказывается появление тысячи утомительных строчкогонов и подражателей. Такие «отправления поэзии» непрерывно канализируются, и при хорошей работе редакций у них практически нет шансов попасть на страницы приличных журналов и альманахов. Между тем без их производства невозможна сама жизнь гетеротрофного существа, коим является литература, и они же—эти экскременты—могли бы поведать нам много интересного! Кажется, новизна Ломакина в том и состоит, что он, будучи весьма сильным автором, вхожим в лучшие журналы России, в то же самое время рисует для нас именно экскрементальную фигуру, своеобразный «отход жизнедеятельности» большой литературы. Далеко не случайны множественные обороты его стихов, вроде «руки сраные помою», «про сраного Хас-Булата», «рваные сраки» и т.п. (Отметим, что здесь логично пристёгивается и значимое эмигрантское измерение ломакинской поэзии, ибо «первая волна» была как раз «отправлена» за рубеж, со всеми биологическими коннотациями этого слова.) Стихи Ломакина намеренно сделаны, склеены из дерьма самого странного состава: «Просто конфета с начинкой такой—/ Будто налита водой дождевой / Детской письки холодной соплёй». Дерьмо это словно бы встаёт на ноги и демонстрирует себя, говоря читателю

во весь голос: «Смотрите же, что выделяется в результате цветущей жизнедеятельности великой русской поэзии!» По сути, вся стилистика ломакинских книг выдержана в духе компромата, какого-то литературного WikiLeaks; более всего они напоминают базу данных, где представлены всевозможные обвинения в адрес тоталитарной системы силлабо-тоники, пережёвывающей и отправляющей вон массы словесного материала. И если у поэзии Ломакина есть какое-то высшее предназначение — оно именно в том, чтобы стать горестным голосом таких «масс».

5. Вера Павлова

Присутствие женщин в современной русской поэзии велико как никогда, и вряд ли кто-то станет с этим спорить; однако собственно «женских тем» нынешние поэтессы разрабатывают на удивление мало. Хуже того: полагаю, многие из них с гневом отказались бы от самого звания «поэтесса», претендуя на более масштабные творческие проекты, чем извечные медитации по поводу альковов и амуров. На таком литературном фоне Вера Павлова выглядит поэтессой par excellens. Её темы, образы, манеры — характерно, вызывающе женские, и неслучайно именно к её текстам оказался прилеплен сомнительный ярлык «эротической поэзии». Изящные восьмистишия Павловой, посвящённые любви, свадьбе, сексу, родам и проч., словно бы венчают всю историю феминной, гендерной лирики, включающей в себя не только М. Шкапскую и С. Парнок, но и ранних А. Ахматову с М. Цветаевой. (Иные остроумцы довольно любопытным способом пристегнули сюда и Черубину де Габриак, объявив прославившую Павлову подборку в газете «Сегодня» литературной мистификацией и усомнившись в существовании автора.) Но, конечно же, из всего однообразно-пёстрого ряда русских поэтесс именно ранняя Ахматова является фигурой ключевой для поэтики Павловой. Точность бытовой детали, тщательно продуманная инструментовка, в меру изломанный дольник и частушечная фрагментарность стиха — всё это роднит Павлову с Ахматовой и, как следствие, заставляет непрерывно переживать и нервничать, напряжённо пародировать и едко шутить («Когда б вы знали, из какого сора / Растут у нас в деревне сорняки!»), очевидно борясь с пресловутым «неврозом влияния». Впрочем, от полного совпадения с великой предшественницей Павлова застрахована самой судьбою. Как известно, поэтика зрелой Ахматовой конституируется двумя полюсами, и «женская лирика» — лишь один из них. Вторым полюсом являются трагическое и сакральное измерение бытия, книги Ветхого Завета и Четвероевангелия, опыт жены и матери «в страшные годы ежовщины». Осцилляция между двумя названными ориентирами, создающая самоё существо ахматовской поэтики, чётко зафиксирована в знаменитом сравнении её с «монахиней-блудницей». Но как раз трагического «второго полюса» и не хватает Павловой, отчего большинство её стихов, в сравнении с вещами Ахматовой, выглядит попросту плоско. Впрочем, если бы поэтесса остановилась в недоумении перед такой ситуацией, мы не вели бы сейчас этого разговора и вообще вряд ли бы что-то слышали о ней. Умный и по-женски неожиданный ход, предпринятый Павловой, заключался в волевом решении найти-таки дополнительный ориентир для придания многомерности своей поэзии — изобрести его хотя бы на словах, коль он отсутствует в биографии. Этим ориентиром оказался для поэтессы сам язык, точнее — разнообразные филологические игры, особым образом выстроенная работа с материалом, когда поэтика тела реализуется с помощью изощрённой (по определению одного из поклонников) «поэтики буквы». Думается, именно необычность полученного сплава, тонкое сочетание двух заданий (какое победит?) — и обусловили шумный успех Павловой в конце девяностых. Характерный пример: «Эпос, лирика, драма, / Если б могла узнать я, / Кончила ли мама/ В час моего зачатья, / От соседей в подушку / Спрятала ль стон благодарный / В Норильске, на раскладушке, / Холодной ночью полярной?» Ведь основное послание стиха — вовсе не дерзкий вопрос об оргазме, но бытийная синонимия двух обстоятельств места: «в Норильске» и «на раскладушке», выраженная через синонимию консонансную («нрлск» — «нрскл»)! Эротический кунштюк третьей строки, таким образом, лишь отвлекает внимание от главной и горькой мысли, таящейся в строке седьмой и подразумевающей определённое знание чисто бытовых реалий: в Норильске вы всегда, по сути, живёте «на раскладушке», сидите на чемоданах, зарабатываете на будущее, вахтуете в ожидании лучшего. Глобальная заворожённость Павловой языком, склонность доверять даже не словам, но буквам, довольно специфическая образность («неразлучны, как точки над „ё“») и очевидная любовь к анжамбеманам — убедительно говорят нам о её сознательном подключении к поэтике поздней М. Цветаевой (понятой во многом через призму Бродского). Весь проект, таким образом, строится на парадоксальном сочетании взаимноперпендикулярных подходов зрелой Цветаевой и ранней Ахматовой; собственно, мерцающая точка пересечения двух этих силовых линий и должна называться «В. Павловой» — по имени первооткрывательницы. Результат геометрических построений выглядит примерно так: «Ты филолог, я логофил. / Мне страшна твоя потебня. / Можешь по составу чернил / Воскресить из мёртвых меня?» Противопоставление адресата

и адресанта в первой строке реализовано буквально — через хиазм корней, фамилия Потебни за счёт многоуровневой игры с контекстами (от посыла стиха до эротической репутации поэтессы) превращается в нецензурное слово, а сакральное «воскрешение из мёртвых» планируется путём апелляции к «чернилам», «письму». «Эротизм» стихов Павловой — своднической природы; её талант проявляется в умении заставить разнонаправленные поэтики Ахматовой и Цветаевой ежедневно выбирать друг друга. Плодами такой (уже пятнадцатилетней) «любви» и оказываются павловские стихи. Впрочем, если силы когда-нибудь покинут поэтессу, если она не сможет вдруг удерживать означенные выше линии — мы станем свидетелями удивительного распада её поэтики на чисто «женские штучки» и чисто «языковые фокусы».

6. Андрей Родионов

Мне всегда казалось, что знаменитая фраза русского учёного о литературном наследовании, которое идёт не от отца к сыну, а от дяди к племяннику, является скорее рецептурной, чем описательной. В последние двадцать лет данный рецепт был очень востребован молодым поколением поэтов, более всего на свете боявшихся угодить в подражатели к Бродскому. Разработка поэтики нобелиата действительно весьма опасна: первый же неосмотрительный анжамбеман способен немедленно опрокинуть вас в пучину эпигонства. И потому сонмы юных талантов предпочитают рыскать в поисках насущного хлеба по книгам концептуалистов и метаметафористов, потому нарочно и очевидно искажают действительную иерархию величин; но потому же — неподдельный интерес вызывают и те немногие авторы, которые находят в себе силы перебороть страх и выйти на размеченные Бродским области, дабы продолжить там уже свои собственные изыскания. Из числа таких — и певец городских окраин Андрей Родионов. На первый взгляд, заявленное сближение может показаться более-менее дешёвым парадоксом, ибо бытующую в квазиантичных декорациях философию стоицизма как-то трудно соотносить всерьёз с приключениями пьяных люмпенов в подмосковных трущобах. Однако если мы отвлечёмся на время от семантики и рассмотрим сугубо техническую сторону дела, то окажется, что тексты «зрелого» Родионова не то чтобы просто «отсылают», но скорее вопиют во всеуслышание о наследовании поэтике Бродского. В книгах Родионова мы без труда найдём почти все извивы стиля великого предшественника: длинную строку многоиктного тактовника («у одной девочки в вагоне папа билет потерял»), показательное применение пародийно-сложного синтаксиса («глупо, конечно, что трогательно, что я запомнил, что он нёс коробку»), очевидное пристрастие к изощрённым инверсиям и переносам («и вырывается пар из чайника / гордого как у титаника носика»). Концентрация характерных черт столь высока, что наводит на подозрения, а читательскую гортань неизбежно начинает саднить одно-единственное слово: «шарж». При обращении к содержательной стороне родионовских стихотворений это ощущение только усиливается. То там, то тут мелькают в вещах Родионова интертекстуальные отсылки к Бродскому, однако Бродский этот оказывается словно бы нарочито сниженным, окарикатуренным и уценённым. И если у нобелиата «во рту развалины почище Парфенона», то у Родионова «во рту зубы, словно улица старого Норильска»; если Бродский помянет «подъезды, чье нёбо воспалено ангиной / лампочки», то Родионов незамедлительно хмыкнет, что «лампочка — раскалённый клитор подъездного срама»; наконец, если у первого ветер, который «волосы шевелит / на больной голове», возвещает лишь приход зимы, то у второго «ветер, который сейчас шевелит мои волосы», должен пригнать грозу, в которую убьют деревенского идиота, укравшего рулон туалетной бумаги. Снижению подвергаются не только сюжеты, но даже отдельные лексемы: воспетая Бродским Иския («У. Х. Оден вино глушил») превращается у Родионова в «речку по имени Ичка», на берегу которой пьют водку городские отщепенцы, а знаменитое «Время» нобелиата — «Хронос» — обнаруживает себя в смачном существительном «хронь». Последовательная и многоуровневая пародийная игра убедительно сообщает: перед нами не набор совпадений, но продуманная стратегия. При этом конечной целью всего родионовского предприятия, как кажется, является нечувствительная экспроприация — фактически кража! — отшлифованной поэтики Бродского, а перманентное шаржирование выполняет роль более чем эффективной маскировки, ибо лучший способ не дать человеку узнать себя — показать ему злую карикатуру. Один из первейших в мире «бродскистов» писал как-то о проницательности сравнения поэтики нобелиата с Маяковским. Опираясь на это, можно было бы сказать, что Родионов — это очень сильно «провисший» Бродский; словно начисто удалили из его стихов влияние римлян и англичан, Мандельштама и Цветаевой — и остался только голый каркас маяковской ритмики да знаменитая «трезвость взгляда», иронично реализуемая в речах вечно пьяных родионовских персонажей. В плавильном котле по имени «поэтика Бродского» Родионов выискивает лишь нужное позарез: как правило, технические приёмы и риторические ходы. Однако постоянное пародирование, применяемое для маскировки такой операции, довольно неожиданным образом подсвечивает и целый ряд подспудных мотивов, всегда существовавших в поэзии нобелиата, но

не выходивших на первый план. Так, стараясь перекривлять Бродского, Родионов своими стихами напоминает нам об интересе классика, например, к теме индустриальной трущобы: из «От окраины к центру» запросто выводятся почти все родионовские пейзажи—разумеется, сниженные. Точно так же из вульгаризации важнейшего для нобелиата принципа «амбивалентности» произрастает повсестрочная родионовская матерщина, а в знаменитом бродском «стоицизме» обнаруживается малоприметная струя откровенно пэтэушного душка: декларация «пусть ты последняя рванина, / пыль под забором» отлично подошла бы любому подмосковному гопнику. Именно после прочтения грубых родионовских баллад начинаешь вспоминать в августейшей фигуре римского профиля—нагловатого ленинградского юношу, не пренебрегавшего резким жестом и крепким словцом. Быть может, сверхпопулярность выступлений Родионова и совершенно искренний смех, раздающийся на них, вернее всего свидетельствуют именно о радости такого узнавания.

7. Фёдор Сваровский

Фёдор Сваровский известен русской публике как автор самого, пожалуй, знаменитого поэтического манифеста нулевых—«Нескольких слов о „новом эпосе“», в котором подробно описывалась тенденция целого ряда современных поэтов к освоению сверхпротяжённых стиховых пространств, существенно искажающих (или вовсе элиминирующих) прямое лирическое высказывание. Фантастические баллады самого Сваровского о галактических перелётах, нашествиях инопланетян и киберпобоищах прочих андроидов считаются ныне классикой заявленного жанра. И скажем сразу: эти вещи действительно интересны; более того—они беспрецедентны для русской поэзии и захватывают читателя с первых строк: «бой при Мадабалхане / там четвёртые сутки / по кайнагорцам / в упор / работают плазмой и тяжёлыми лазерами сталлане». Вопрос: чем захватывают? Подробностями, которые придуманы из головы? Большой формой, от которой легко устать? Сюжетом, который дан весьма схематично? Отметим, что как раз собственные произведения Сваровский в составленную им антологию «нового эпоса» (ж-л «РЕЦ») включать не стал; объясняют это скромностью, но напрашивается и другая интерпретация—честность. И я рискну заявить, что поэт Сваровский—вообще не эпичен, что его «как-бы-эпос» в лучшем случае является лишь неким обманным манёвром. Здесь полезно вспомнить старую идею формалистов о том, как книга небольших лирических стихотворений может складываться в сюжетный роман со своими героями, фабулой и т. п. Поэзия Сваровского интересна тем, что упомянутая концепция оказывается в её случае словно бы перевёрнутой вверх ногами: протяжённые повествовательные «баллады» при ближайшем рассмотрении легко распадаются на множество коротких лирических отрезков. Это видно уже на уровне строфики, в явном пристрастии автора к отдельно стоящим трёх-, четырёх- и пятистишиям, слабо связанным с сюжетом. Таким образом, за пышным фасадом фантастического нарратива внезапно обнаруживаются подборки истинно поэтических миниатюр, поражающих читателя честностью и чистотой лирического чувства: «вся жизнь—это лес и деревни / и города / в них—тишина / вода / и порванные провода», «но если это возможно / господин живого / и неживого / послушай вот это слово: / спаси меня», «он посмотрит на жёлтые склоны / на траву / на скалы / и / довольно / а это—уже немало». Минимализм выразительных средств, поиск поэзии в объективных картинах мира, лаконичность и простота речи позволяют распознать в коротких строфах Сваровского своего рода хокку, на мгновение вышедшие из-под деспотического контроля силлабики: «жаркий день / прошёл / наступает вечер», «насекомые / выползают из-под моей / расстёгнутой на груди рубашки», «в чёрном мареве боя / на горизонте расцветают / ядерные цветы». И словно бы имея в виду такое сравнение, поэт порою нарочно «обнажает приём», создавая трёхстишия самым невероятным образом: «а монголы точат уже ножи / заключённым недолго осталось жи- / ть». Если проводить параллели с современной русской поэзией, то следует указать, что во многом сходную работу проделывал и Л. Рубинштейн—с той только разницей, что роль эпоса у него выполнял взятый «из жизни» кусок речевого потока, строфы состояли из одной строки и были записаны на карточках, а лирика внезапно обнаруживала себя в залежах повседневного языкового сора. По сравнению с предшественником Сваровский куда менее радикален: так же монтируя произведение из фрагментов, он возвращает на смену идеологиям концептуализма и реди-мейда литературную возвышенность высказывания. Причём метод, с помощью которого эта откровенная литературность («одно выражение твоих глаз / достойно рассказа или стиха») освежается и обновляется—весьма стар. В предисловии к одной из книг Сваровского рецензент, со ссылкой на работы Ф. Джеймисона, справедливо замечает, что фантастика как таковая—есть лишь средство изощрённого остранения реальности, придания большей остроты восприятию сегодняшнего дня. Эту верную мысль следует, однако, додумать до конца: сама крупная форма, сам эпос служат Сваровскому для остранения чистого лирического высказывания, для его легитимизации в эпоху постмодернизма и постконцептуализма. Кажется, только таким манёвром и можно ныне

реабилитировать фразы типа: «реки, наши поля и леса родные, / и берёзы, и эти дожди косые» или «как прекрасна моя страна / посмотри же / что за дивная пелена / что за дымка летит / над степной травой». Будучи включены в фантастическое повествование, подобные зарисовки чудесным образом перестают казаться пошлыми штампами, начинают дышать нежной и робкой, а-ля А. Фет, поэзией. «Она никого не ждёт / ей 12 лет и она осталась одна / с ней только её друзья—/ рваный медведь и набитая рисом собака / обломки какого-то пластмассового зверья»,—увы, весь огромный объём печали, содержащийся в этих пяти строчках, можно оценить только на фоне обнявшего их постапокалиптического эпоса, лишь полностью прочитав всю внушительную «Монголию» Сваровского! Неоднократно атакованная в двадцатом веке лирика пытается устоять, окружая себя подпорками и костылями в виде фантастических историй: «Олег со звёзд», «Один на Луне» и т. п. В смысле анатомии, баллады поэта более всего напоминают кузнечиков, вообще насекомых. У них внешний скелет—эпическое повествование, к которому крепятся изнутри лирические фрагменты потрясающей силы, и как раз такая попытка контрабандного ввоза лирики в нелирические времена делает предприятие Сваровского—уникальным.

Д*и*Н встречи

Волошинский сентябрь: *«золото улова»*

Елена Буевич

● ● ●

Не Алушту сладчайшую летнюю,
одна тысяча девятьсот..,
где больную тебя, шестилетнюю,
мама с пляжа «домой» несёт,

но Алушту недавнюю, зимнюю—
с солнцем мёртвых на пляжах твоих,
с мандаринно-январской корзиною
в крымубежище на двоих,

с той тоскою неубиваемой
от напитанной кровью земли,
со шмелёвской, неупиваемой,
синей чашей морской вдали,

с новогодним контентом из телика,
с контингентом в кафешках из зон,
и шестого—с террасы отелика—
Рождества колокольный звон.

И трёхдневную, непространную,
в недоверчивом сердце дрожь.
И разлуку, с улыбкою странною.
Впрочем, что же в ней странного, что ж?..

Виктор Коллегорский

● ● ●

Всё смешалось, и не моя вина,
Что уже ничего не сберечь,
Что заржа́вела лира Державина
И умолкла Языкова речь,

Что, едва разрешившись от бремени
Немоты, из которой возник,
Стал подвержен коррозии времени
Человеческий смертный язык,

Что душа и в синичьем обличье,
Как и в нищенской лире своей,
Не свободна от косноязычия
В постижении сути вещей.

Но душа не подвержена тлению,
И, пока существует она,
С ней и слово избегнет забвения
И пребудет во все времена.

Дмитрий Косяков

Искусство и рыночное общество

Стать революционером или быть проституткой. Третьего не дано в современном обществе, а стало быть, и в современном искусстве. Что значит быть художником в наши дни?

Состояние современного искусства отражает состояние современного общества. И что бы ни пели художники о своей индивидуальности или независимости, их сознание отражает представления своего времени, а деятельность в большей или меньшей степени встроена в существующую экономическую систему.

Давайте вникнем. Если упрощать, схема рыночной экономики такова.

Владелец средств производства (например, хозяин завода) нанимает рабочую силу, чтобы этими средствами оперировать; получившийся продукт, пройдя через ряд посредников (дилеров, перекупщиков), попадает к потребителю. В итоге мы имеем феномен, именуемый в науке «отчуждением». Рабочий не заинтересован в том, чтобы делать свою работу хорошо, его цель — получение зарплаты, а качество продукта — лишь один из факторов, косвенно влияющих на эту зарплату. В свою очередь, владелец средств производства также не заинтересован в том, чтобы его продукт был действительно полезен потребителю. Он относится к продукту не как к вещи, способной улучшить жизнь человека, а как к товару, который нужно продать. Причём продать даже не конечному потребителю, а одному из распространителей. Продавец с помощью рекламы стремится навязать покупателю товар, заставить покупать вне зависимости от того, есть реальная потребность в товаре или нет. В ход пускается не только жёсткое давление на подсознание или самые низменные инстинкты, но даже прямое запугивание, как это вышло со свиным и птичьим гриппом, когда люди покупали различные медикаменты из-за мнимой угрозы эпидемий. Да и сам покупатель нередко не пользуется тем, что приобретает, для него важна не реальная польза (функционал) купленной вещи, но тот фетиш, которым она обладает.[1]

Главная цель производства в современном капиталистическом обществе — получение прибыли, а удовлетворение чьих-то там потребностей — это лишь одно из сопутствующих обстоятельств. В такой ситуации и сам процесс труда уже не приносит удовлетворения, он стал тяжёлой принудиловкой, человек больше не чувствует себя творцом.

Неудивительно, что спасения от такой ситуации многие люди ищут в искусстве. Здесь художник является не одним из множества рабочих у конвейера, он сам приобретает средства производства (например, кисти и краски), сам по собственному замыслу полностью создаёт произведение, сам презентует его публике и непосредственно получает благодарности, похвалы или замечания, наблюдает эффект, который произвела его работа.

Однако эта схема работает только до тех пор, пока художнику не понадобятся *деньги*. И вот тут оказывается, что от экономической системы никуда не деться, и на сцену выходят всё те же рыночные отношения:

1. Владелец средств производства

Средства производства в изобразительном искусстве — это не только краски и кисти (тоже не дешёвые, кстати), но и художественные мастерские, склады, а для керамистов — специальные печи и другие технические приспособления. Для киноиндустрии это киностудии и операторская техника, не говоря уже про огромный штат сотрудников. Для литературы это — издательства, периодические издания и раскрученные интернет-порталы. Для музыки — репетиционные и звукозаписывающие студии, концертные площадки, концертная аппаратура.

Купить всё это художнику без стартового капитала невозможно; стало быть, ему придётся идти к тем, у кого всё это есть, и *продавать* свои умения, то есть работать на заказ. В советское время владельцем дорогостоящих средств производства являлось государство. Взамен требовалось выполнение идеологического заказа. Причём «идеологический заказ» здесь стоит понимать широко. СССР формально опирался на идеологию марксизма, которая требовала создания «высокого искусства»; кроме того, государство было заинтересовано

1. Мы рассмотрели схему создания материальных ценностей, но она также применима и к производству информации.

в определённом культурном развитии, поскольку оно поддерживало имидж Советского Союза в соревновании с капиталистическими странами. Так что создавалась культурная среда, включавшая образование и науку, которая позволяла развиваться подлинным талантам, которые вполне могли творить на отвлечённые, неполитические темы, а в свободное от работы время эти люди могли себе позволить подиссидентствовать в узком кругу единомышленников.

Сейчас у нас государство тоже не такое уж бедное, но тратит деньги на непрерывное повышение зарплат своего чиновничьего аппарата, и позволить себе содержать многих художников оно не может (или не хочет); соответственно, количество придворных художников резко сократилось, и идеологические требования к ним ужесточились. Те, кто оказался за бортом, вынуждены либо кучковаться вокруг учреждений образования (дни которого сочтены), либо идти на поклон к богатым предпринимателям, как в семнадцатом веке.

2. Работник

Итак, художник становится наёмным работником и вынужден, по крайней мере, часть своего времени тратить на выполнение заказов владельца. В остальное время он может творить то, что ему нравится. Но владелец заинтересован в распространении только того продукта, который сделан по его заказу, а то, что художник делает «от души», его не интересует.

3. Продавец

Чтобы донести до людей своё творчество, художнику потребуется опытный и умелый менеджер. Он должен обладать необходимыми связями, знать, на какое искусство существует спрос, понимать, по каким каналам можно реализовать тот или иной продукт. Таким образом, художник оказывается зависим от существующей на рынке конъюнктуры, вынужден подавлять свою творческую индивидуальность и вырабатывать вместо неё «имидж», то бишь некий образ, который сделает его легко продаваемым и адекватным той аудитории, которой он желает понравиться. Так каждый художник вынужден найти свою тему или довольно небольшой набор тем и бесконечно воспроизводить одно и то же. Выйти за рамки своего имиджа — значит, потерять прежнюю аудиторию, а значит, и доходы, и, что ещё хуже, доверие в деловых кругах продавцов искусства, поскольку каждый продавец предпочитает долгосрочные проекты и прежде всего ожидает от художника (то есть поставщика) стабильности, а не экспериментаторства.

Казалось бы, независимым путём к известности и деньгам может стать участие во всевозможных творческих конкурсах и грантовых программах. Но и здесь позвольте напомнить вам, что художественные премии являются средством подкупа авторов представителями доминирующего класса. Каждый конкурс обладает своими критериями оценивания, так что опытный автор, будучи в курсе этих критериев и требований, сочиняя какое-либо произведение, заранее ориентирует его на тот или иной конкурс, то есть занимается самоцензурой. Чрезмерная оригинальность или свободный полёт фантазии грозят произведению надолго лечь в стол. Напротив, работа в жёстких рамках и канонах увеличивает шанс на победу в конкурсе или на издание.

То есть первый вопрос, который задаёт себе опытный, нашедший свою нишу автор, перед тем как начать создавать новую вещь: «А кому я её продам?» Так что рекомендую и читателю начинать знакомство с книгой с вопроса: «А на чьи деньги это опубликовано?» Ибо зачастую автор стремится выразить не собственные мысли, а умонастроение своего заказчика.

4. Потребитель

Как правило, продавец навязывает покупателю свой товар при помощи рекламных трюков. Тут реальные качества товара отходят на второй план. Художник может быть талантлив или бездарен, творить в той или иной манере, потребители будут приобретать его работы, если продавцу удастся превратить их в фетиш.

Тут могут быть задействованы различные механизмы: обеспечение положительных рецензий в солидных изданиях (журналистам ведь тоже хочется есть), создание шумихи в прессе, создание информационных поводов, получение престижных премий и наград, выставки в раскрученных галереях. Причём весь этот шум необходимо поддерживать непрерывно: стоит ненадолго выпасть из «тусовки» — и тебя могут забыть, ибо конкуренция высока, а уровень требований к претендентам на творческие лавры сегодня очень низок.

В итоге можно сказать, что именно в самопиаре и заключается главная ценность художника и его работ. Приобретая их, потребитель стремится причаститься к виртуальному миру медийных страстей, пытается компенсировать собственное ничтожество чужим величием.

— А кто такой Иван Иваныч?
— А это тот, у кого в спальне Энди Уорхол висит.

Мы получаем классическую ситуацию: «иметь» вместо «быть». Обывателю кажется, что сам он становится более значительным, если приобщается к миру значительных людей. Так молодые жеребцы катаются по помёту вожака табуна, чтобы источать его запах.

Ясное дело, что таким извращённым способом (покупать произведения дутых авторитетов)

человек не способен преодолеть проблему собственного ничтожества и бессмысленности своего существования. Как мы уже отмечали вначале, хотя бы частично решить проблему отчуждения он может, только самостоятельно занимаясь творчеством (в самом широком смысле этого слова).

Задача рынка — лишить человека надежды на самостоятельное решение проблемы, иначе он не станет покупать чужие произведения или, чего доброго, усомнится в талантливости их исполнителей. Значит, необходимо максимально отдалить художника от людей, объявить его «высшим существом», «не от мира сего», и вознести его над «презренной толпой». Таким образом, художники превращаются в новых шаманов, медиумов и пророков (обратите внимание на популярность мистических мотивов в современном искусстве)[2], а искусствоведы и критики берут на себя роль фарисеев и жрецов — толкователей воли божества в больных видениях художника. Теоретики искусства уснащают свою речь птичьим языком терминов вперемешку с религиозными определениями, любой, самый никчёмный мазок кисти обрастает страницами надуманных объяснений.

В итоге, посетитель выставки боится хоть что-то самостоятельно подумать о том, что он видит перед собой, боится прислушаться к своим ощущениям и дать собственную оценку произведениям. Что красиво, а что уродливо? Отныне это решают профессионалы. Они же и назначают цену. А нам с вами остаётся только платить.

В такой ситуации единственное спасение для художника — выйти за пределы рынка, перестать превращать себя и свои произведения в товар. Необходимо выстроить иную систему существования распространения произведений искусства, в обход бюрократических и коммерческих структур. В этом нам может пригодиться опыт советского и западного художественного андеграунда. Необходимо построение сети обмена «творческими единицами» между городами. Если аудитория действительно заинтересована во встрече с конкретным писателем или музыкантом, в организации выставки определённого художника — пускай организует его приезд на собственные средства. Зачем приплачивать всевозможным менеджерам и чиновникам, которые наживаются на платных концертах, выставках и кинопоказах? Конечно, на общественных началах «Звёздных войн» не снимешь, но художественная ценность подлинного искусства заключается не в астрономическом бюджете, и пока у нас нет такого государства, которое было бы заинтересовано в культурном просвещении своих граждан, придётся довольствоваться малым.

Да и художникам придётся умерить свои аппетиты. Конечно, здесь не предлагается срочно побросать свои рабочие места и умереть голодной смертью. Мы должны зарабатывать, чтобы выжить. Но, как сказал в пьесе «Суд над судьями» Эбби Манн, «просто так выжить недостаточно. Мы должны выжить, представляя собою что-то». Любой способ заработка в нынешнем обществе связан с определённым компромиссом с несправедливостью существующей системы. Значит, художнику необходимо противопоставить своему подчинённому положению в качестве работника свою независимость в сфере искусства.

Но даже такой смелый поступок не гарантирует свободы. Как мы только что выяснили, критерии художественности определяются не самими художниками и не их публикой. Критерии прекрасного уже определены ещё до того, как художник приступает к работе. Хотя — кто говорит о прекрасном? В мире современной культуры принято говорить о «качественном» или «успешном» продукте. И даже сознательно отрёкшись от рыночных механизмов реализации своего творчества, художник продолжает творить по меркам и лекалам масс-культуры.

Яркий пример такого самоподчинения автора — Евгений Гришковец, успешный писатель из провинции. Его первый моноспектакль «Как я съел собаку» был полностью посвящён воспоминаниям о детстве и службе в армии, то есть был составлен на провинциальном материале. А точнее — на материале советского детства, которое в позднем СССР было у всех более-менее одинаковым. Это сейчас дети разделены по уровню жизни их семей: кто-то ходит в элитные учебные заведения, а кто-то и вовсе ни в какие. Воспоминания о советском прошлом — последнее, что объединяет обитателей нынешней России. Кстати, эту же карту разыграли и Санаев, и Садулаев, и ещё много кто. Вот и Гришковцу с этой темой удалось покорить столицы. Что характерно, следующие спектакли и книги Гришковца быстро теряют провинциальный колорит, лирическим героем становится преуспевающий предприниматель, а местами действия — рестораны, презентации, отели, пляжи и пробки. И дело не только в том, что изменились статус и образ жизни переехавшего в столицу Гришковца, но и в том, что он верно почувствовал свою новую аудиторию. Его знаменитая мелодекламация «Настроение улучшилось» — гимн мещанского самолюбования.

2. Многие художники поотрастили себе дугинские бороды и проводят досуг в обсуждении «философии» Лосева, филологи расхватали на цитаты Бердяева, всем остальным довольно мантр БГ. Наши статусные интеллигенты как начали ещё в советское время «баловаться религией», так и балуются до сих пор. Только в СССР это казалось оригинальным в силу запретности, а теперь это выглядит уже откровенно пошло.

Почему так происходит? Потому что общественное мнение уже подсунуло художникам бездарные и безликие поделки в качестве эталона, потому что сам художник принимает массовый культурный продукт за подлинное искусство. Он принимает правила игры и оказывается просто не в состоянии вырваться за рамки навязанной ему картины мира. Вот что пишет об этом философ Эрих Фромм: «Средний посетитель музея, рассматривающий картину знаменитого художника, скажем Рембрандта, находит её прекрасной и впечатляющей. Если проанализировать его суждение, то оказывается, что картина не вызвала у него никакой внутренней реакции, но он считает её прекрасной, зная, что от него ожидают именно такого суждения. То же самое происходит с мнениями людей о музыке и даже с самим актом восприятия вообще. Очень многие, глядя на какой-нибудь знаменитый пейзаж, фактически воспроизводят в памяти его изображение, которое неоднократно попадалось им на глаза, скажем, на почтовых открытках. Они смотрят на пейзаж, искренне веря, что видят его, но в действительности видят те самые открытки. Если при них случается какое-нибудь происшествие, то они воспринимают ситуацию в терминах будущего газетного репортажа. У многих людей любое происшествие, в котором они принимали участие, любой концерт, спектакль или политический митинг, на котором они присутствовали,—всё это становится для них реальным лишь после того, как они прочтут об этом в газете»[3].

Так, пещерный человек с его Неолитической Венерой не смог бы оценить красоту Венеры Милосской. Только разница заключается в том, что пропорции Неолитической Венеры отвечали потребностям древнего человека, а вот современный культурный продукт устраивает далеко не всех.

Даже маленькие дети охотно признают неинтересность, предсказуемость голливудских киноизделий и их местных клонов—российских, европейских и т. п. фильмов. То же самое и с музыкой, живописью, литературой. Интерес ослабевает, сборы падают, но как ни пыжатся местные и заокеанские форды культуры, они не в состоянии выдать ни одной оригинальной идеи или более-менее самостоятельного произведения (т. е. не состоящего на три четверти из цитат и аллюзий).

Чтобы разобраться, как с этим быть, давайте уясним себе, что же произошло.

Идеология общества определяется идеологией господствующего в этом обществе класса. Это происходит не только потому, что господствующий класс способен контролировать школу и средства массовой информации, но и потому, что привилегированные группы обладают в обществе таким высоким престижем, что представители низших слоёв общества готовы принять идеологию и ценности своих господ, даже несмотря на то, что господа всё равно никогда не позовут их в свой круг.

Российским провинциалам интересны истории из столичной действительности, поскольку они мечтают об уровне жизни столичного «среднего класса», а многие и вовсе хотели бы переселиться в Москву или Петербург.

С другой стороны, не стоит забывать, что, в свою очередь, московская культурная среда воспроизводит художественные клише США и Европы. Так, в большинстве своём современная российская фантастика является неудачной копией западных образцов, то же самое—с сентиментальными (дамскими) романами, фэнтези; я уж не говорю про так называемую «современную поэзию» или прозу в стиле «потока сознания».

Многие москвичи демонстрируют такое же провинциальное подобострастие по отношению к США и Европе, мечтают об их уровне жизни, боготворят иностранных писателей, мечтают о переезде[4]. Не стоит забывать, что такие раскрученные писатели, как Сорокин, и среда, из которой они вышли, так называемый «московский концептуализм»,—явления, ориентированные на экспорт культуры. Как только рухнул Советский Союз, многие концептуалисты эмигрировали в Европу и США, а оставшиеся принялись разрабатывать именно тот образ России, который хорошо покупали на Западе—образ дикой варварской страны. Кабаков изображал «ужасы» коммунального общежития, Михайлов фотографировал обнажённых бомжей и т. д. Эти авторы с презрением относились к своей «отсталой» родине и благоговели перед «культурным» Западом.

Примерно то же мы наблюдаем и в Красноярске. Большинство культурных проектов ориентированы не на поддержку тех явлений (сообществ, авторов), которые уже сложились здесь, а на механическую пересадку столичных образцов на местную почву. Так произошло с «поэтическим слэмом», завезённым в Красноярск москвичом Андреем Родионовым, так происходит с экспозициями Культурно-исторического музейного комплекса и т. д.

Наше общество—рыночное, то бишь капиталистическое, то бишь буржуазное. Это значит, что господствующим классом в нём являются буржуа. Кто они такие, каков их внутренний облик, и какие ценности они транслируют людям через школу, прессу и массовую культуру?

3. *Фромм Э.* Бегство от свободы. http://lib.ru/PSIHO/FROMM/fromm02.txt

4. «Русские типы…» http://baxus.livejournal.com/389839.html

Буржуа, мещане, обыватели—это те, о ком Гёте сказал:

Что в руки взять нельзя—того для вас и нет,
С чем не согласны вы—то ложь одна и бред,
Что вы не взвесили—за вздор считать должны,
Что не чеканили—в том будто нет цены.[5]

В основе современной буржуазной идеологии (её ещё называют неолиберальной идеологией) лежит определённая система ценностей. Постараемся выявить хотя бы некоторые, наиболее очевидные.

1. Собственность

Фрей Бетто в статье «Неолиберализм—новая фаза капитализма»[6] сказал: «С неолиберальной точки зрения, человек как таковой, видимо, не представляет никакой ценности. Поэтому тот, кто не владеет материальными благами, обесценен и исключён. Кто владеет—завиден, обхаживаем и отмечен вниманием».

Центральной фигурой современной культуры стал бизнесмен. Неудивительно, ведь бизнесмены и являются спонсорами художников, создают фонды, выделяют гранты. Современные скульпторы и живописцы наперегонки делают изображения богатых купцов и промышленников прошлого. На красноярских выставках я неоднократно сталкивался с образами купца Гадалова—один другого краше. В учебных заведениях, от школ до художественных вузов, поют дифирамбы «российским меценатам» Мамонтову и Морозову. Так, например, заведующая кафедрой искусствоведения Красноярского художественного института Худоногова Елена Юрьевна с пеной у рта доказывала мне, что «русские купцы—вот кому надо ставить сегодня памятники». Также принято умиляться, рассказывая о том, как Василий Суриков смог обучаться в Петербурге благодаря спонсорской помощи. Хотя, при здравом рассуждении, сама ситуация зависимости таланта от денежного мешка должна вызывать возмущение!

Думаю, этим же феноменом можно объяснить противоестественную любовь народа к Михаилу Прохорову, точнее, к его образу, созданному СМИ. Простой паренёк из обычной семьи, своим умом и упорством поднявшийся на вершину общества, ставший богатым предпринимателем. Обыватели даже не хотят слышать о том, что Прохоров происходит из *семьи высокого партийного начальства* и свой кусок народного богатства получил без каких-либо усилий при грандиозном распиле под названием «Приватизация». Об этом наши мещане не желают знать, ведь это нарушает стройную буржуазную мифологию в их голове!

Любимый супергерой американских, а теперь и наших ребятишек—Бэтмен—тоже является крупным бизнесменом, главой корпорации. А все его враги, которых он со смаком избивает, обитают в канализациях или городских трущобах.

Кстати, важно отметить, что любовь к «успешным» бизнесменам своей обратной стороной имеет презрение и ненависть к беднякам (к которым, по западным меркам, принадлежит почти всё население нынешней России). Ещё одним объектом ненависти мещан-собственников является собственность коллективная. Чужую собственность они готовы уважать (до тех пор, пока не могут её тихонько присвоить), а вот собственность коллективная или нечто, не подлежащее приватизации, вызывает у них раздражение.

Обратите внимание на наши дачные посёлки. В пределах оградок—чистота и благолепие, зато буквально за порогом начинается свалка. Если лес ничей (народный, государственный), то его можно вырубать и загаживать. То же самое и с публичными парками, улицами, памятниками. Вопреки либеральным сказкам, собственник—самое безответственное существо на свете!

Итак, собственность, богатство, бизнес. Что же дальше?

2. Праздность

Не слушайте наших обывателей, когда они начинают рассказывать трогательные сказки о том, как тяжко живётся нашим бизнесменам, о том, как тяжело быть крупным начальником, насколько больше вкалывают бизнесмены по сравнению с наёмными работниками. Всё это ерунда. Если бы наёмным работникам жилось проще, то все наши мещане записались бы в пролетариат, поскольку одна из важных ценностей буржуазного мировоззрения, неоднократно воспетая массовой культурой,—это безделье.

Тот же Фрей Бетто пишет: «Прежде система оценивала труд как фактор, придающий человеку достоинство, обеспечивающий благополучие. Теперь правильным считается зарабатывать деньги на спекуляциях, жить на ренту, наслаждаться жизнью, не трудясь. Для СМИ самые счастливые—это самые праздные»[6].

Конечно, у всех у нас перед глазами масса суетливых и оборотистых мелких буржуа, весь наш мелкий бизнес вынужден вертеться и лавировать между пассивным (а иногда и активным) сопротивлением наёмных рабочих, давлением конкурентов и произволом чиновников. Но позвольте напомнить простой закон: бизнес либо растёт, либо гибнет. А крупный капитал и его владельцы живут по совсем другим законам.

5. *Гёте В.* Фауст. http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=4538
6. *Бетто Ф.* Неолиберализм: новая фаза капитализма. http://scepsis.ru/library/id_2298.html

Чем там у нас занимается супергерой Бэтмен? Я имею в виду не его хобби—борьбу с преступностью, а то, при помощи чего он зарабатывает деньги (и немалые!). Начнём с того, что своё огромное состояние Бэтмен не заработал, а получил в наследство от родителей. И всё, чем занимается этот персонаж в качестве руководителя мега-корпорации,—это щеголяет в смокинге на бесконечных светских приёмах и презентациях.

Кстати, все те позитивные качества, которыми наделяют себя мелкие буржуа, характерны и для обыкновенных бандитов. Та же предприимчивость, изобретательность и риск. Причём бандиты рискуют не меньше, а гораздо больше бизнесменов, то есть превосходят их смелостью. В этом смысле между Бэтменом и Джокером нет принципиальной разницы. Они оба отважны, любят перехватывать инициативу, не могут сидеть без дела. Только на стороне Бэтмена вся полиция, а Джокер довольствуется помощью нескольких головорезов (кстати, выходит, что и он создаёт рабочие места).

Далее. Почему наши буржуа так ненавидят чиновников, которые ограничивают свободу торговли, требуют взяток, придавливают предпринимателей всевозможными бюрократическими процедурами? У большинства наших чиновников есть свой собственный бизнес, так что они—те же буржуа, только ещё более предприимчивые, догадавшиеся задействовать в свою пользу административный ресурс.

А где вообще персонажи-трудяги в сюжетах масс-культуры? Если главный герой какого-нибудь широкоэкранного фильма и зарабатывает себе на хлеб, то его работа не интересует ни зрителя, ни автора, процесс труда вынесен за скобки, а в центре внимания—приключения и развлечения. И даже если герой сталкивается с опасностями и рискует жизнью, то он никогда не рискует качеством своей причёски или нежностью своей кожи. Где вы видели, чтобы во имя спасения Вселенной хоть один голливудский персонаж стал бы калекой или хотя бы натёр мозоль? Вселенная Вселенной, но лак на ногтях—это святое!

Сравните метросексуальных «героев» современной масс-культуры, например, с персонажами фильмов «Это сладкое слово—свобода!» Жалакявичуса или «Операция „Чудовище“» Понтекорво, которые на протяжении всего сюжета роют тоннель. Этой тяжёлой, однообразной, но необходимой работе главные герои отдают все свои силы и время. Вот что значит подлинный подвиг!

И здесь мы переходим к следующей неотъемлемой части буржуазных «идеалов».

3. Комфорт и роскошь

Буржуазные авторы и их персонажи помешаны на комфорте и роскоши, никого больше не увлекает образ нищего художника, сумасшедшего философа-изгоя. Всё должно быть уютненько, и при этом лучше, чем у соседа. Верно подмечено, что зависть—одна из главных добродетелей «среднего класса». Именно на зависти построена потребительская психология. Гламурные дуры меряются размером своих бриллиантов, а их «папики»—размером грудей и длиной ног своих подруг. Раньше отупевшие от сельской жизни мужики соревновались своими размерами в бане—теперь они меряются в гараже марками своих автомобилей. Производители тратят миллионы долларов на изготовление всё более удобных приспособлений, бесконечно комбинируя и упрощая их функции, как в известном анекдоте про совмещение ванны с унитазом. А что? Идеал рептильного существования нынешнего обывателя—залиться алкоголем, залезть в ванную и смотреть телевизор. А в телевизоре подтянутые и ловкие герои будут спасать мир и совершать подвиги. Кстати, какой мир они будут спасать? Этот самый, в котором во имя сытого и комфортного существования «среднего класса» девяносто процентов населения планеты обречено на вымирание.

Но этого, как верно отметил Александр Тарасов, «обыватель удивительным образом не замечает»[7]. Ведь сам-то он уже сидит в своём мещанском раю или всё ещё питает тщетную надежду туда попасть. И вот мы вытаскиваем на свет Божий ещё одного кита, на котором держится буржуазная утопия.

4. Стабильность

Обыватель помешан на стабильности, поскольку он убеждён, что «рай на земле» уже построен, что общество уже достигло своего идеала, осталось только самому в этот рай пролезть, и если пролез, то выгнать оттуда всех лишних и поубивать экстремистов, которые ждут каких-то там перемен, всяких там чацких, твердящих: «что старее, то хуже».

Интеллектуально в этом плане буржуа находится на уровне черепашки-ниндзя. Все в детстве смотрели этот мультсериал. Каждая серия строится по простой схеме: злодеи что-нибудь изобретают, а ниндзя-черепашки в конце эпизода это изобретение ломают палками. Меня всегда удивляло: почему же они не пытаются эти изобретения захватить, исследовать, переоборудовать? А потом понял: зачем? Ведь пицца у них и без того есть, и Эйприл О'нил по телевизору показывают. И так практически во всех телесериалах. На этом и построен их принцип: в конце серии всё

7. *Тарасов А.* Очень своевременная повесть. Феминистка как стриптизёрша: культурологический анализ. Издательство Академии Искусства и Науки XXI века «Норма». М. 1999.

должно вернуться к исходным условиям. Чтобы шоу продолжалось, оно не должно иметь ни цели, ни развития. Долой прогресс: идеал нынешнего общества—Сизиф!

Одна моя знакомая учительница регулярно голосовала за Путина, приговаривая: «Я так устала от перемен». Может быть, Путин её и от смерти вылечит, и солнце в небе остановит? Мечта современного обывателя—заламинировать свою жизнь, обернуть её целлофаном и выставить на витрину. Мещанский рай—это тишина сельского кладбища. Да вот незадача: трупы тоже меняются—они гниют. Именно так и гниёт наше общество, наша страна, в которой торжествуют мещане, во имя своей священной стабильности противостоящие любым переменам. Да что тут говорить, читайте Грибоедова.

Ругать и проклинать психологию нынешнего российского общества можно долго, она того заслуживает, но давайте остановимся ещё на одной ценности буржуазной культуры.

5. *Индивидуализм*

Либеральная пропаганда любит твердить, что коммунисты мечтают всех сделать одинаковыми, что революции—это торжество толпы, а вот сегодня-де мы имеем общество, ориентированное на развитие личности. Особенно часто это приходится слышать в школе. И что же мы имеем в реальности? Поколение серых посредственностей. Вот она, диалектика: пестующие свой индивидуализм эгоцентрики похожи как две капли воды, а революционеры-коллективисты оказались сильными личностями, сумевшими оставить заметный след в истории и уникальное творческое наследие.

Буржуазный эгоизм, «дюжинное мещанское я»—необходимое условие непрерывной «борьбы всех против всех» в разобщённом, «атомизированном» обществе. И все разговоры о любви к ближнему без попытки такое общество изменить становятся чистым фарисейством.

Социальное расслоение неизбежно порождает классовые конфликты, а культура, лицемерно затушёвывающая подлинное положение дел, кормящая всех иллюзиями о равных возможностях, лишь подливает масла в огонь. Низы обречены на фрустрацию, верхи также готовы показать зубы, оберегая свой крохотный рай.

Великий режиссёр Пьер Паоло Пазолини, не игравший по правилам буржуазного искусства, а занимавшийся настоящим творчеством, сказал: «Жуткая несчастность или преступная агрессивность пролетарской и люмпен-пролетарской молодёжи вызваны непосредственно противоречием между культурными и экономическими условиями: невозможность реализовать буржуазную культурную модель из-за устойчивой бедности, замаскированной иллюзорным улучшением уровня жизни»[8].

И как убедительно показал Александр Тарасов[9], хвалёное «гражданское общество» западного мира, о котором так мечтают и наши либералы,—это «общество мещан», которых ничего не интересует, кроме личной сиюминутной выгоды. Это мир, где «человек человеку—волк».

Что и говорить о безликой веренице образов героев-одиночек в современной масс-культуре. Герой зациклен на своём внутреннем мире, так же как и автор. Даже историю нам преподают в виде биографий «великих личностей». То есть Русь крестил Владимир, революцию сделал Ленин, войну затеял Гитлер, а выиграл Сталин—вот и вся история. Индивидуальными психологическими портретами нам пытаются подменить огромные социальные сдвиги, смену экономических формаций, жизнь многомиллионных масс.

В утверждении индивидуализма буржуазная идеология доходит до прямой апологии элитаризма, то есть признания неравенства основополагающим принципом общества. Одни люди объявляются лучше других по праву рождения. Старшее поколение так просто без стеснения признаётся в любви к русским царям и мечтает о возрождении сословий. Молодые в качестве новой аристократии принимают мир столичной богемы. Вот уж воистину новое средневековье!

И в этом тоже сказывается диалектическая закономерность: провозгласив свободу личности и толерантность, современная буржуазная культура очень быстро пришла к превозношению иерархии и сегрегации. «Терпимость» в этом обществе означает прежде всего терпимость к несправедливости, то есть равнодушие.

При таком положении дел даже самый «независимый» и артхаусный художник не может быть самостоятелен до тех пор, пока он разделяет буржуазную систему ценностей. Деление современного искусства на «массовое» и «элитарное» довольно условно. В разных обёртках нам предлагают один и тот же залежавшийся товар. Сколько восторгов было вокруг фильмов «Амели» и «Сияние чистого разума», но что они предлагают нам, кроме пошлой мечты о мещанском счастье? В этом смысле буржуазное «кино не для всех» ничем не превосходит мультики «Том и Джерри», в которых идеология потребительства и варварской конкуренции предельно обнажена. Не забудем и наших

8. *Пазолини П.* Почти завещание. Три текста 1975 года. Свободное марксистское издательство. 2007.
9. *Тарасов А. Н.* Долой продажную буржуазно-мещанскую культуру посредственностей, да здравствует революционная культура тружеников и творцов! http://noogen.narod.ru/culture.htm

отечественных «гениев» Звягинцева или Муратову, обильно припудривающих мистицизмом свою обывательскую сущность.

Кстати, на рынке искусства выделен сектор и под культуру «протеста». Хотите протестовать? Тогда вам в соответствующий отдел магазина. Здесь бал правят рокеры. Старые в большинстве своём ударились в религию и пересыпают свою речь церковнославянизмами, те, что помоложе, носят майки с Че Геварой, порой даже употребляют слово «революция», но под всеми этими бунтарскими бантиками отчётливо видны интеллектуальная ограниченность и жажда коммерческого успеха.

Неправ был Борис Кагарлицкий, когда утверждал, что «чёткой границы между массовой культурой и контркультурой не существует»[10]: эта граница лежит между двумя системами ценностей. И эти ценности принципиально несовместимы. Контркультура шестидесятых потерпела поражение потому, что её идеологи и творцы порой были недостаточно конкретны в своих отрицаниях и требованиях. Что осталось нам от лозунгов поколения рок-н-ролла? Любовь… хайр… рок-музыка… Эти требования мещане Запада вполне смогли добавить в свою «потребительскую корзину». Сексуальная революция выродилась в индустрию секс-развлечений, дресс-код буржуазии включил в себя джинсы и разнообразные причёски, рок породил попсу. А тех, кто требовал большего, пришлось устранять физически. Смерть Джона Леннона, Джима Моррисона, Виктора Хары и им подобных лишь доказывает, что не каждый талант можно поставить на службу денежному мешку.

Но для того, чтобы преодолеть буржуазную идеологию, мало осознанно отвергнуть мещанские либеральные ценности, необходимо осознать и принять ценности подлинно гуманистические, берущие своё начало в раннем христианстве и ему подобных этических учениях, развитые европейским Просвещением и подхваченные революционной марксистской традицией: знание, жертвенность, прогресс, труд, равенство.

Эти ценности мы встретим в величайших произведениях мировой культуры: в проповедях Христа и Иоанна Златоуста, в лозунгах китайских тайпинов и французских коммунаров, в манифестах парижского «Красного мая» и трудах Франкфуртской школы, в песнях американских фолк-сингеров и рокеров шестидесятых, в статьях Белинского и стихах Блока, в спектаклях Брехта и фильмах Годара, в повестях Воннегута и романах Толстого.

Осознанное вступление на путь следования этой великой культурной традиции не только выведет автора за рамки буржуазного искусства и обывательского сознания, но и предоставит массу материала для экспериментов в области формы художественного произведения. Поскольку, как верно заметил Троцкий, «новая форма открывается, провозглашается и развивается именно под давлением внутренней потребности, коллективно-психологического запроса, который, как и вся человеческая психология… имеет свои социальные корни»[11]. Подлинный авангард рождается не благодаря формалистическим исканиям эстетов или фрондёрским выходкам а-ля группа «Война»[12]. Подлинный авангард начинается с системного критического осмысления окружающей действительности.

Художнику необходимо не только признать некую систему ценностей, но принять на себя обязательства по их защите и провозглашению, найти своё место в борьбе двух традиций — масскультуры и культуры гуманистической. Вспомните творческое и жизненное кредо Герберта Уэллса, который считал, что «сильнее всех тот художник, который умеет в живых образах передавать полезные мысли, могущие способствовать движению его современников вперёд, словом, художник, участвующий в общем движении человечества ко благу»[13]. Такой же позиции придерживался и Чернышевский.

Буржуазное искусство окончательно деградировало, превратилось в бизнес. Рыночные механизмы вытравили из него всё живое, оригинальное, превратили его художников в механизмы по производству развлечений. Ценности буржуазной идеологии коверкают человеческое сознание, это ценности потребителей-паразитов.

Если художник хочет сохранить себя, остаться творцом, он должен, во-первых, стать аскетом, подвижником. Где это видано, чтобы пророкам платили деньги? Во-вторых, он должен встать на защиту гуманистических идеалов, причём не только как художник, но и как человек; он должен продемонстрировать бессмертие идеалов разума, братства и труда всей своей жизнью.

Но сразу следует предупредить тех художников, кто вступит на этот путь: объявив себя принципиальными врагами мещанских ценностей, они автоматически становятся классовыми врагами буржуазии. Как минимум, они сделаются объектами насмешек или презрительного отторжения. Зато, с другой стороны, их творчество станет жизненно необходимой поддержкой для всех тех, кто расторг свой союз с буржуазным обществом потребления и его идеологией. Именно про них

10. *Кагарлицкий Б. Ю.* Марксизм: не рекомендовано для обучения.
11. *Троцкий Л.* Литература и революция. М., 1991. с. 132.
12. *Соловьёв С.* «Война» как симптом http://scepsis.ru/library/id_2947.html
13. *Луначарский.* Разговор с Гербертом Уэллсом. «Советская Россия». М. 1968, с. 329

говорил Егор Летов: «Я жадно, всеобъемлюще и безрассудно благодарен и им, и всем тем, кто не дал мне потонуть в слабости и инерции. Может быть, всё ими сотворённое в искусстве предназначалось только для того, чтобы я или кто-то другой в некий момент не загнулся»[14].

Общество меняется не только под воздействием искусства, оно идёт путём научных открытий и революций. И задача подлинного художника — найти своё место в борьбе за лучшее будущее. Тогда он поймёт, на чьей стороне и против кого он борется. И уж коли он борется против буржуазии как класса, социального слоя, который ничего не создаёт, но живёт чужим трудом, то художник, как творец, должен встать на сторону трудящихся и угнетённых, то есть занять отчётливую классовую позицию.

В этом смысле весьма полезно изучение опыта советской революционной культуры двадцатых годов и европейского неореализма. Вообще, самые мощные всплески искусства происходят в тесной связи с революционным подъёмом масс. Художникам полезно знать историю. Революционная волна начала двадцатого века обновила искусство целого ряда стран, протестные движения шестидесятых сформировали также собственную контркультуру. С другой стороны, даже в периоды революционного спада, в период пассивности масс, во время разгула реакции искусство способно сопротивляться общим настроениям упадка и распространению мещанской приспособленческой идеологии. Как писал Троцкий, «необходимые революции идеологические предпосылки слагаются до революции, а важнейшие идеологические последствия её являются только значительно позже».

Обратимся к опыту великих русских писателей-гуманистов. Грибоедов, Белинский, Добролюбов, Некрасов смело и бескомпромиссно вставали на защиту народа от произвола власть имущих. Казалось, их голоса были воплем в пустыне сытого равнодушия одних и испуганного молчания других. Но борьба этих гениальных одиночек принесла свои плоды. Выживает тот, кто сопротивляется. Побеждает тот, кто наступает.

ДиН встречи

Волошинский сентябрь: *«золото улова»*

Снежана Холодова

Род-не

Кровные узы похожи на кровную месть
Для экзотической птички — урода-утёнка.
Масть подкачала, подпортив фамильную честь.
Связей суровые нити порвутся, где тонко.

Розовый сад превращён в Революцию Роз,
Разом заброшены книжки, игрушки, потешки,
Змеем над прудиком вьётся квартирный вопрос.
Разные птицы, неловко прощаемся в спешке.

Каждый по-своему прав и по-своему слеп,
Каждый осудит с поправкой на ветреность взгляда.
Стало гнездо родовое похоже на склеп.
Я улечу, мне чужого болота не надо.

14. Приятного аппетита! (Интервью с Егором Летовым), http://www.gr-oborona.ru/pub/anarhi/1056981236.html

стр. 35 **Алейников Владимир Дмитриевич**
Москва/Коктебель, 1946 г. р.

Родился в Перми, детство провёл в городе Кривой Рог на Украине. Поэт, писатель, переводчик, художник. В 1963 году окончил музыкальную школу по классу фортепьяно. Учился на отделении истории и теории искусства истфака МГУ. Основатель и лидер легендарного содружества СМОГ. С 1965 года публиковался на Западе. Более четверти века тексты широко распространялись в самиздате. В восьмидесятых был известен как переводчик поэзии народов СССР. Автор многих книг стихов и прозы—воспоминаний о былой эпохе и своих современниках. Лауреат премии Андрея Белого. Член ПЕН-клуба.

стр. 201 **Антонов Алексей Васильевич**
Пермь, 1952 г. р.

Окончил филологический факультет Пермского государственного университета (1977), Высшую партийную школу в Москве (1986), аспирантуру по культурологии при ППИ, докторантуру на кафедре философии ПГУ. Кандидат философских наук. Работал на кафедре философии ПГУ.

стр. 183 **Арутюнова Каринэ Вячеславовна**
Тель-Авив, Израиль/Киев, Украина

Прозаик, художник. Родилась в Киеве, с 1994 года живёт в Израиле. Лауреат фестиваля памяти Ури Цви Гринберга в номинации «Поэзия» (Иерусалим, 2009). Публикации в иностранных и российских журналах «Порт-фолио», «Отражение», «Зарубежные записки», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Сибирские огни». Шорт-листер премии Андрея Белого за сборник рассказов «Ангел Гофман и другие», лонг-листер премий «Большая книга», «НОС» за дебютный сборник «Пепел красной коровы», выпущенный издательством «Колибри» в серии «Уроки русского». Вторая книга «Скажи красный» вышла в издательстве «Астрель» в 2012 году.

стр. 197 **Бабанская Алёна**
Москва

Родилась в подмосковном городе Кашира. Окончила филологический факультет МПГУ им. В. И. Ленина. Работала переводчиком в издательстве «Панорама». Публикации в журналах «Дети Ра», «Литературная учёба», «Кукумбер», «Крещатик», «Арион». В настоящее время работает в банковском журнале.

стр. 130 **Бажина Елена Александровна**
Москва

Родилась в городе Кизел Пермской области, среднюю школу окончила в городе Тольятти Куйбышевской (ныне Самарской) области. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького (семинар прозы А. Е. Рекемчука). В 1990-е годы работала на «Радио России». Публикации в периодических изданиях «Знамя», «День и ночь», «Грани», «Русская мысль», «Новая Европа», «Меценат и мир», альманахе «Начало» и др. Член Союза российских писателей. Работает в журналистике.

стр. 66 **Беликов Юрий Александрович**
Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. Поэт, эссеист, публицист. Автор трёх поэтических книг: «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!» и «Не такой». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и всероссийской литературной премии имени Павла Бажова (2008). Основатель трёх поэтических групп—«Времири» (конец 70-х), «Политбюро» (конец 80-х) и «Монарх» (конец 90-х). Лидер движения «дикороссов». Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина»), «Иерусалимский журнал» (Израиль). Награждён Орденом Велимира «Крест поэта». В настоящее время—собкор «Литературной газеты».

стр. 205 **Бердников Лев Иосифович**
Лос-Анджелес, США, 1956 г. р.

Родился в Москве. Окончил филологический факультет Московского областного педагогического института. Кандидат филологических наук. Автор историко-публицистических монографий и многочисленных публикаций в разных странах мира на русском, английском и датском языках. Член Русского ПЕН-центра и Союза писателей Москвы. Член редколлегии журнала «Новый берег» (Дания). Лауреат Горьковской литературной премии. Почётный дипломант Всеамериканского культурного фонда Булата Окуджавы.

стр. 223
Горевич Михаил Исаевич
Москва, 1948 г. р.

Математик. Поэт, прозаик, драматург. Автор романов «Венецианец» и «Праздники Каина» (совместно с В. Лейбовичем, под псевдонимом Лейбгор). Выступал на радио «Эхо Москвы» в еженедельной передаче в 1991–1992 годах, номинировался на премию «Букер». Циклы стихов, проза, эссе публиковались в журналах «Крещатик», «День и ночь», «Зинзивер», «Мегалит», «Za-Za», «Волга», газетах «Поэтоград», «Интеллигент. Санкт-Петербург». Член СП XXI века. Либретто и другие тексты, положенные на музыку композитором Михаилом Броннером, исполнялись в рамках постановок: «Крестовый поход детей» (Евангелие от Петера) для концертного детского хора и камерного оркестра, «Русский Декамерон», спектакль Московского хорового театра Бориса Певзнера, представление «Золотой осёл» по книге Апулея для гобоя, певца и камерного оркестра.

стр. 225
Дёмкин Дмитрий
Калуга

Родился и проживает в Калуге, высшее образование получил там же. Публиковался в сетевых литературных журналах. Увлекается экспериментальными и психологическими поэтическими формами. Является редактором Литературного Сообщества «Психоделика» и членом попечительского совета Творческой Мастерской «ЕЖИ».

стр. 208
Димов Василий Александрович
Москва, 1957 г. р.

Родился в Бессарабии, на Дунае (современная Украина, Измаил). Выпускник факультета журналистики МГУ. Автор сборника повестей «Профиль в склеенном зеркале», романов «Аллюзии Святого Поссекаля», «Тбилиссимо», «Москва по понедельникам». Публикации в журналах «Lettre International», «День и ночь», а также в российской, немецкой и болгарской прессе, в прессе стран СНГ.

стр. 123
Дьячков Александр Андреевич
Екатеринбург, 1982 г. р.

Родился в городе Усть-Каменогорске (Казахстан). В 1995 году семья переехала на Урал, в Екатеринбург. Окончил ЕГТИ (Екатеринбургский государственный театральный институт) по специальности «актёр театра драмы и кино». Выпускник Литинститута им. А. М. Горького. Участник литературной группы «Разговор». Стихи публиковались в журналах «Арион», «Нева», «День и ночь», «Сибирские огни», «Фома», в «Литературной газете». Некоторые произведения переведены на вьетнамский и болгарский языки. Автор двух поэтических сборников.

стр. 92
Ерёмин Николай Николаевич
Красноярск, 1943 г. р.

Родился в городе Свободном Амурской области. Окончил Красноярский медицинский институт и Литературный институт им. А. М. Горького. Автор ряда поэтических сборников и книг прозы «Мифы про Абаканск», «Компромат», «Харакири», «Наука выживания», «Комната счастья» и др. Лауреат премии «Хинган». Победитель конкурса «День поэзии Литературного института-2011» в номинации «Классическая Лира». Дипломант конкурса «Песенное слово» им. Н. А. Некрасова. Публиковался в журналах «День и ночь», «Новый Енисейский литератор», «Истоки», «Бийский вестник», «Вертикаль» (Нижний Новгород), «Огни Кузбасса», «Провинциальный интеллигент», «Интеллигент» (Санкт-Петербург), «Русский берег» (Благовещенск), «Флорида» (Майами), «Лексикон» (Чикаго) и др. Член Союза писателей СССР, Союза российских писателей.

обл.
Исаенков Андрей
Красноярск

В 1985 году окончил Красноярское художественное училище им. В. И. Сурикова, в 1993 — Красноярский государственный художественный институт. Стипендиат Министерства культуры РФ (2002 год). В 2000–2001 годах обучался в Международной летней академии изящных искусств (Зальцбург, Австрия). Участник краевых, региональных и международных выставок с 1989 года. Персональную выставочную деятельность начал в 1991 году. Картины Андрея Исаенкова находятся в частных коллекциях России, Германии, Австрии, Норвегии, США, Канады.

стр. 224
Каменская Ирина Борисовна
Евпатория, Украина

Родилась и выросла в Украине. Окончила Симферопольский государственный университет. Филолог, преподаватель, поэт, переводчик. Работает в Крымском гуманитарном университете, кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков. Преподаёт английский язык, лексикологию, теорию и практику перевода, основы когнитивной поэтики, литературу постмодернизма и др. Член ряда ЛИТО. Публикации в газетах и коллективных сборниках. Автор сборника стихотворений «Недосказанность» (2010). Автор электронной книги стихов «Дождь идёт домой». Действующий участник Литературного Сообщества «Психоделика».

стр. 219
Ключанский Андрей Георгиевич
Омск, 1968 г. р.

Родился в Омске. Поэт, прозаик. Стихи печатались в российских журналах и альманахах: «Арион»,

«Дети Ра», «День и ночь», «Иркутское время», «Голоса Сибири», «Складчина», «Омская муза» и др. Автор поэтических сборников: «Хочу домой» (2002), «Бесследная душа» (2003), «Настой из летних трав и настоящего» (2009) и книги сказок «Медведь, который всё придумал» в соавторстве с Ольгой Красковой (2004). Член Союза российских писателей.

стр. 199

Комаров Константин Маркович
Екатеринбург, 1988 г. р.

Родился в Свердловске. Поэт, критик, литературовед, член Союза писателей России. Аспирант филологического факультета Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина. Рецензент журнала «Урал». Лауреат премии журнала «Урал» за литературную критику (2010). Лонг-лист премии «Дебют» в номинации «Эссеистика» (2010). Участник Форума молодых писателей России и стран СНГ в Липках (2010, 2011), Первого Всероссийского совещания молодых писателей в Переделкино (2011). Публикации в журналах «Урал», «Новый мир», «Вопросы литературы», «Бельские просторы», «Уральский следопыт», российских сборниках и альманахах, на портале «Мегалит» и др. Автор трёх сборников стихов.

стр. 228

Конаков Алексей Андреевич
Санкт-Петербург, 1985 г. р.

Родился в Ленинграде, до 2002 года жил на Севере, в городе Ухта Республики Коми. Окончил Санкт-Петербургский политехнический университет. В настоящее время сотрудник Центрального котло-турбинного института в Санкт-Петербурге. Первая публикация — в журнале «Звезда» (№ 6, 2003), после которой активно не занимался литературной деятельностью из-за продолжительной тяжёлой болезни. В последние три года — публикации в журналах: «Дети Ра», «День и ночь», «Запасник» (премия «Летающие собаки»), «Трамвай» (Новосибирск).

стр. 117

Конев Николай Михайлович
Саяногорск, 1935 г. р.

Родился в городе Артёмовске Красноярского края. После семилетки учился в железнодорожном училище в Красноярске. Работал на заводе ПВРЗ (паровозовагоноремонтном заводе). Десятилетку окончил в школе рабочей молодёжи. После службы в армии жил в Хакасии, где и работал в основном на строительстве в качестве плотника, мастера, прораба. Был участником семинаров молодых сибирских писателей в шестидесятых годах. Публиковался в газетах, журналах и поэтических сборниках.

стр. 203

Коркунов Владимир Владимирович
Кимры, 1984 г. р.

Поэт, литературовед. Родился в городе Кимры Тверской области. Работает журналистом. Лауреат литературных премий и конкурсов. Двукратный обладатель государственных стипендий Министерства культуры РФ в области литературы (2009, 2011). Автор нескольких поэтических сборников. Публикации в журналах «Юность», «Знамя» (с предисловием Беллы Ахмадулиной), «Арион», «Российский колокол», «Дети Ра», «Аврора», «Волга XXI век», в «Литературной газете», газете «Литературная Россия», «НГ Ex libris» и др. Член Союза журналистов России, член Российского профессионального Союза литераторов, член Клуба юмористов «Чёртова дюжина».

стр. 237

Косяков Дмитрий Николаевич
Красноярск, 1982 г. р.

Родился в Томске. Выпускник филологического факультета КГУ, «Школы культурной журналистики» Фонда Михаила Прохорова, арт-критик и искусствовед, журналист, поэт-мелодекламатор, основатель дайв-театра, автор и ведущий дискуссионных клубов, преподаватель, сценарист кино и театра.

стр. 112

Куделин Борис
Монжерон, Франция, 1940 г. р.

Поэт, прозаик. Родился в Омске. В 1948 году вместе с родителями приехал в Кишинёв. Окончил отделение французского языка и литературы Кишинёвского государственного университета. Работал учителем в селе, позже учителем французского языка в Кишинёве. Заочно окончил факультет физического воспитания педагогического института. Работал преподавателем физкультуры в Кишинёвском государственном университете. Приехал во Францию в 1998 году. Пишет стихи с семнадцати лет. Автор поэтических сборников «И всюду Небо…» (1989), «И пусть останется любовь…» (2002), книги «Попутный ветер до стен Нотр-Дам де Пари».

стр. 172

Кузнецова Зинаида Никифоровна
Зеленогорск

Родилась в Воронежской области, в большой крестьянской семье. В Красноярск-45 (ныне Зеленогорск) приехала в 1966 году. Работала электромонтёром связи на Красноярской ГРЭС-2, в течение тридцати семи лет была секретарём высших руководителей города. Литературным творчеством занимается с двадцати пяти лет. Автор поэтических сборников «Настроение», «Медовый август», «Ночной звонок», «Память сердца», «Облака», «Куст калины» (1-й том 2-томника), «Забытые острова», сборников рассказов «Райские яблоки», «Болеутоляющее средство», «Белый снег, дорожка чёрная…». Многочисленные публикации в газетах, в журналах «День и ночь», «Енисей», «Светлица», «Совершенно открыто», «Молодая гвардия», «Новый Енисейский литератор»; в коллективных

сборниках «Поэзия на Енисее», «Поэтессы Енисея», «Антология поэзии закрытых городов» и многих других. Руководитель литературного объединения «Родники» Зеленогорска, составитель и редактор коллективных и авторских сборников городских поэтов. Член Союза российских писателей, член правления Красноярской писательской организации.

стр. 66 **Курбатов Валентин Яковлевич**
Псков, 1939 г. р.

Литературный критик, литературовед, прозаик. Родился в Ульяновской области. Долгое время жил на Урале. Служил на Северном флоте. Окончил ВГИК. Выпустил книги о В. Астафьеве, гоголевском иллюстраторе А. Агине, М. Пришвине, В. Распутине, автор множества статей по русскому искусству, русской и зарубежной литературе. Член Союза писателей России, член жюри литературной премии «Ясная Поляна». Академик Академии российской словесности, лауреат премии Л. Н. Толстого за 1998 год, премий за лучшую работу года журналов «Наш современник», «Литературное обозрение», «Смена», «Урал», «Москва» и др.

стр. 107 **Кучерова Ирина Викторовна**
Торжок, 1968 г. р.

Родилась в городе Торжке Тверской области. Окончила Тверской государственный университет. Работала журналистом в ряде местных и областных газет, с 2002 года—на телевидении, главный редактор телецентра «Беркут» (Торжок). Автор книги стихов «Спутница сенбернара». Публиковалась в периодической печати и альманахах. Неоднократный победитель литературных конкурсов. Член жюри фестиваля «Каблуковская радуга». Член Тверской общественной организации «Тверское содружество писателей».

стр. 12 **Кучин Сергей Павлович**
Железногорск, 1924 г. р.

Инженер-геолог, публицист. Родился в Иркутске. Участник Великой Отечественной войны, награждён боевыми орденами и медалями, в том числе медалью «За отвагу». В 1952 году окончил Иркутский горно-металлургический институт. С 1953 года работал геологом на строительстве Железногорского ГХК. Карьеру геолога завершил заместителем директора проектного института. Сейчас работает заместителем директора Музейно-выставочного центра по научной работе. Автор около двух десятков документальных исследований по истории города Железногорска и о судьбах его созидателей. Член железногорского Совета ветеранов войны и труда. Лауреат премии Совета министров СССР, почётный гражданин Железногорска.

стр. 127 **Макарова Ирина**
Москва

Поэт, переводчик. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Автор книги стихотворений «Без оружия» (2008), пьесы в стихах «Молох любви» (2010). Публикации в нескольких коллективных поэтических сборниках, журналах «Юность», «Московский вестник», «Литературная учёба», «Теегин герл» (Калмыкия) и др. Член Байроновского общества.

стр. 189 **Мамонтов Евгений Альбертович**
Владивосток, 1964 г. р.

Родился во Владивостоке. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького в 1993 году. Лауреат премии им. Виктора Астафьева в номинации «Проза» (2004). Публиковался в журналах и альманахах: «День и ночь», «Дальний Восток», «Октябрь», «Рубеж». Преподаёт русскую и зарубежную литературу в Дальневосточной государственной академии искусств.

стр. 154 **Мартынов Евгений Александрович**
Зеленогорск, 1930 г. р.

Родился в деревне Сиб. Саргатка Омской области. Окончил Омское речное училище, машиностроительный институт. Работал в литейных цехах заводов Омска, Новосибирска и Бердска мастером и начальником цеха, преподавателем электромеханического техникума в Бердске и Зеленогорске, директором спортсооружений, слесарем, воспитателем Школы космонавтики, преподавателем и мастером производственного обучения по изготовлению художественных изделий из керамики УПК. Автор нескольких поэтических сборников, среди которых: «Про Зеленогорск», «Чем солнце не гончарный круг?», «Такое детство», «Вечность», «В поисках веры», «Походы были», «Огниво», «Саяны будят», «Взвесь на ладонях» и др. Автор романов «Промысел Божий» и «Таинство и тайна». Публикации в коллективных сборниках и журналах «Сибирские огни», «День и ночь», «Совершенно открыто», альманахе «Тритон». Член Союза российских писателей.

стр. 10 **Милях Александр Владимирович**
Кишинёв, Молдова, 1942 г. р.

Родился в Красноярске. Окончил Кишинёвский политехнический институт. Служил в Советской армии рядовым и в погранвойсках лейтенантом. Работал на стройке ВАЗа, в сельском хозяйстве и в дорожной отрасли Молдовы, в ленинградском речном порту. Мастер спорта СССР по боксу. В 1986 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор книг «Три весны» (1984), «Опушка» (1990), «Птица огневая» (1995), «Из века XX-го родом» (2000), «Тепло России» (2002)

и др. Член СП СССР, член СП России, Мастер литературы республики Молдова. Лауреат юбилейной Есенинской литературной премии (Молдова, 1995), Пушкинской литературной премии «К юбилею поэта» (Молдова, 1999), Всероссийской литературной премии «Традиция» (Москва, 2002). Член-корреспондент Международной академии поэзии (Москва). Публикации в литературных альманахах России, Балтики, Украины, Казахстана, Молдовы и других стран. Стихи вошли в ряд антологий русской поэзии России и ближнего зарубежья.

стр. 165
Райберг Лана
Нью-Йорк, США

Родилась в Минске. Образование получила в Витебске, где в 1982 году окончила художественно-графический факультет пединститута. Работала воспитателем в детском саду, маляром, чертёжницей, художником-оформителем в строительной организации, дизайнером на телевизионном заводе, преподавателем декоративно-прикладного кружка в Доме культуры железнодорожников, выставляла акварели на городских и республиканских выставках. Сотрудничала с редакцией газеты «Витебский курьер». Эмигрировала из Витебска в США в 1992 году. В Университете искусств Филадельфии преподаёт искусство младшим школьникам. Член Лондонского объединения художников воображения и Бруклинской ассоциации художников. Состоит в Клубе писателей Нью-Йорка, ежегодный автор альманахов эмигрантской прозы «Побережье» и «Арена». Автор книг: «Картонная луна», «Олежкины истории», «Кризис жанра», «Записки провинциалки». Постоянно выставляется в электронном журнале «Русский переплёт». Рассказы публиковались в иммигрантских русскоязычных журналах и сборниках-альманахах «Побережье», «Пилигрим», «Арена», «Панорама»; журналах «Русская Америка», «Потомак», «Анна», «Вестник», «Русский Ванкувер»; газетах «Новое русское слово», «Русский базар» и др.

стр. 74
Русаков Эдуард Иванович
Красноярск, 1942 г. р.

Писатель, журналист. Родился в Красноярске. Окончил Красноярский медицинский институт (1966) и Литературный институт им. А. М. Горького (1979). Работал врачом-психиатром (1966–81), редактором на Красноярской студии документальных фильмов (1981), руководителем литературной студии при Красноярском Дворце культуры (1982–91), корреспондентом газет «Евразия», «Вечерний Красноярск» (1991–98). Обозреватель газеты «Красноярский рабочий» (с 1998), заместитель главного редактора журнала «День и ночь». Печатается как прозаик с 1966 года. Автор нескольких книг прозы. Произведения переводились на азербайджанский, болгарский, венгерский, казахский, немецкий, словенский, финский, французский, японский языки. Член Союза российских писателей, международного ПЕН-клуба (Русский ПЕН-центр, Сибирский филиал), Экспертного совета благотворительного общественного фонда им. В. П. Астафьева.

стр. 121
Спектор Владимир Давыдович
Луганск, Украина, 1951 г. р.

Поэт, публицист. Публикуется также под псевдонимом В. Давыдов. Родился в Ворошиловграде (ныне Луганск). Окончил Ворошиловградский машиностроительный институт (1973). Работал на предприятиях Харькова и Луганска. Автор двадцати пяти изобретений. В 1990-е годы получил возможность реализовать свои способности на радио и телевидении, где создал сотни авторских программ, став лауреатом региональных журналистских конкурсов. Автор более двадцати книг стихотворений и очерковой прозы. Заслуженный работник культуры Украины, лауреат международных литературных премий имени Ю. Долгорукого, В. Даля, А. Тарковского, премии «Облака» имени С. Михалкова и др. Руководитель Межрегионального Союза писателей Украины. Член Национального Союза журналистов Украины, главный редактор литературного альманаха «Свой вариант», научно-популярного журнала «Трансмаш». Член Исполкома МСПС и Президиума Международного литературного фонда.

стр. 119
Хомутов Сергей Адольфович
Рыбинск, 1950 г. р.

Родился в Рыбинске Ярославской области. Выпускник Литературного института им. А. М. Горького (1987). Работал на предприятиях Рыбинска (1969–1982), в многотиражной районной и областной газетах (1982–1990), директором издательства «Рыбинское подворье», с 1994 года — главный редактор литературно-исторического журнала «Русь». Автор книг стихов «Пускай растёт берёзка», «Дом над рекой», «Земные мгновения», «Непокой», «Человек, полюби человека», «Русская дорога», «Огонь, несущий свет» и др. Член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ, действительный член Петровской академии наук и искусств.

стр. 125
Хусаинов Айдар Гайдарович
Уфа, 1965 г. р.

Поэт, прозаик, переводчик, драматург, общественный деятель. Родился в селе Кугарчи Зианчуринского района Башкирской АССР. Окончил факультет землеустройства и лесного хозяйства Башкирского сельскохозяйственного института (1987), Литературный институт им. А. М. Горького

(1995). Работал лесничим, затем корреспондентом, редактором отдела публицистики журнала «Бельские просторы». Член Общественной палаты при Президенте Республики Башкортостан, председатель секции перевода Союза писателей Башкортостана, руководитель литературного объединения «Уфли», член редколлегии журнала «Крещатик», соредактор альманаха «Голоса вещей». Автор поэтических книг «оэ!..», «Ясное сознание», романа «Башкирский девственник», книги рассказов «День. Душа. Диоксин». Лауреат литературной премии газеты «Вечерняя Уфа» (1995), финалист Международного конкурса драматургии «Евразия» (2006, 2007) и конкурса «Исламский прорыв» (2007).

стр. 193

Черных Людмила Петровна

Зеленогорск, 1948 г. р.

Родилась в городе Сызрань Куйбышевской области. Публикации в коллективных сборниках. Неоднократный победитель различных городских, краевых и региональных конкурсов. Автор поэтических книг: «Цветы Сибири в японской вазе», «Зелёная талия ивы», «Лепестки слов», «Капли хрусталя», «Дикая кошка», «Ручей поющих птиц». Обладатель городской премии «Ника» за достижения в области культуры и искусства. В 2002 году присвоено звание «Социальная звезда края». Руководитель творческого объединения «Ларец».

стр. 226

Чёрный Георг

Кардифф, Великобритания

Поэт, доктор химии, основатель международного литобъединения Творческая Мастерская «ежи» и Литературного Сообщества «Психоделика». Преподавал и занимался научной работой в области химии и медицины в университетах бывшего Советского Союза, Восточной и Западной Европы. Член Королевского химического общества. Автор большого количества научных статей и патентов. Стихи и прозу начал писать более четверти века назад, публиковался в русскоязычных и англоязычных журналах и сборниках. Лауреат различных поэтических конкурсов; много лет занимается разработкой сложных прикладных аспектов взаимодействия текста с читателем. Создатель теории психоделической литературы, автор монографии «Введение в теорию психоделики».

стр. 195

Шелленберг Вероника Владимировна

Омск, 1972 г. р.

Поэт, художник. Выпускница Литературного института им. А. М. Горького. Лауреат ежегодной областной литературной молодёжной премии им. Ф. М. Достоевского (1998). Дипломант Всероссийского литературного конкурса им. В. П. Астафьева (2006). Лауреат городского поэтического конкурса профессиональных авторов «Омские мотивы» (2008, 2010). Лауреат премии губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства им. Л. Н. Мартынова (2011). Публиковалась в журналах и альманахах «Арион», «День и ночь», «Дети Ра», «Сибирские Афины», «Сибирские огни», «Иркутское время», «Складчина», «Стороны света», «Литературный Омск», «Урал», «Лоза», «Сияние лиры», «Москва», «Огни Кузбасса» и др., в антологиях «Сегодня и вчера» (Омск, 2005), «Заря не зря, и я не зря!..» (Омск, 2010), «На солнечной гриве» (Омск, 2011), а также в антологии современной русской поэзии и прозы «Лёд и пламень» (Москва, 2009). Автор стихотворных сборников: «Если б не ты…», «Рождение», «На языке огня», «Одно только слово», «Полосатая корова» (стихи для детей), «Сны на склоне вулкана». Член редколлегии альманахов «Складчина», «День и ночь» и журнала «Омская муза». Член Союза российских писателей.

стр. 105

Шигин Борис Владиленович

Пенза,1952 г. р.

Родился в городе Балашове Саратовской области. Окончил историко-филологический факультет Пензенского государственного педагогического университета, филолог. Работал на Пензенской студии телевидения. Заслуженный работник культуры РФ. Лауреат премии Союза журналистов СССР им. Карпинского, трёх премий губернатора Пензенской области за достижения в области журналистики и литературы, дважды лауреат Всероссийской литературной премии им. М. Ю. Лермонтова. Лауреат всесоюзных фестивалей авторской песни в Москве, Харькове, Калинине, Новокуйбышевске. Награждён Большой золотой медалью Российского Фонда Мира за благотворительную деятельность в рамках международной программы «Русская инициатива». Автор семи поэтических книг и трёх песенных альбомов на CD. Член Союза писателей России. Главный редактор пензенского литературного журнала «Сура».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Марина Саввиных

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

по прозе

Эдуард Русаков

Александр Астраханцев

по поэзии

Александр Щербаков

Сергей Кузнечихин

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Андрей Леонтьев

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Николай Алешков
Набережные Челны

Юрий Беликов
Пермь

Светлана Василенко
Москва

Валентин Курбатов
Псков

Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург

Александр Лейфер
Омск

Марина Москалюк
Красноярск

Дмитрий Мурзин
Кемерово

Марина Переяслова
Москва

Евгений Попов
Москва

Лев Роднов
Ижевск

Анна Сафонова
Южно-Сахалинск

Евгений Степанов
Москва

Михаил Тарковский
Бахта

Владимир Токмаков
Барнаул

Вероника Шелленберг
Омск

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

О. А. Карлова

и. о. ректора Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева

А. М. Клешко

Заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края

Е. Г. Паздникова

Министр культуры Красноярского края

Т. Л. Савельева

Директор Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края

Издание осуществляется при поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Редакция благодарит за сотрудничество Международное сообщество писательских союзов.

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании принимал участие В. П. Астафьев. Первым главным редактором с 1993 по 2007 гг. был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

В оформлении обложки использована картина Андрея Исаенкова «Ловцы рыб».

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“».

ИНН 246 304 27 49
Расчётный счёт 407 028 105 006 000 001 86
в Красноярском филиале «Банка Москвы»
в г. Красноярске.

БИК 040 407 967
Корреспондентский счёт 301 018 100 000 000 967

Рукописи принимаются по электронной почте: dayandnight@bk.ru или по адресу: 66 00 28, Красноярск, а/я 11 937, редакция журнала «День и ночь».

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75а, офис «День и ночь»

Телефон редакции: (391) 2 43 06 38

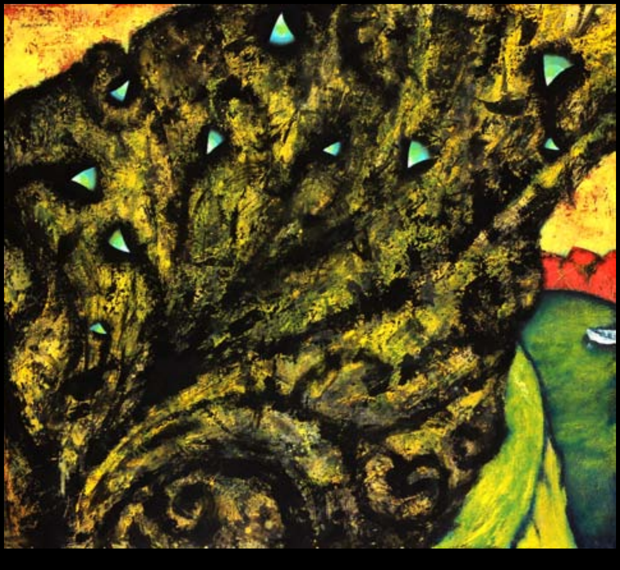
Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 25.09.2012

Тираж: 1500 экз.

Отпечатано ИП Азарова Н. Н.
в типографии «Литера-принт»,
г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10
эл. почта: 2007rex@mail.ru, т. 294 15 77

Небо над городом | 2012
90 × 70 | холст, масло



Прогулка по берегу осенней реки | 2012
75 × 90 | холст, масло

На обложке:
Ловцы Рыб | 2011 | 70 × 60 | холст, масло

Соль | 2012 | 90 × 70 | холст, масло